Память

Игнатий Ростовцев

НА КРАЮ СВЕТА

Память

Игнатий Ростовцев

НА КРАЮ СВЕТА

Записки очевидца

«СОВРЕМЕННИК»
МОСКВА
1985

Р2
Р78

Рецензент В. Курбатов

Ростовцев И. Г.

Р78 На краю света: Записки очевидца / Предисл. Л. Скворцова.— М.: Современник, 1985.— 686 с.— («Память»).

В пер.: 2 р. 80 к.

Повествование Игнатия Ростовцева знакомит читателя с картинами жизни русского народа предреволюционных лет. Устами своего героя, деревенского мальчика Кеши Трошина, автор подробно рассказывает о быте и нравах одного из глухих мест Восточной Сибири, что «в пяти днях обозного пути по Енисею от Красноярска». Писатель воскрешает страницы истории сибирского крестьянства, напоминает о живых нравственных уроках нашего прошлого.

Р $\frac{4702010200-116}{М106(03)-85}$ 70 — 85

ББК84Р7
Р2

Светлой памяти
сына моего Сережи

Страницы русской истории

Имя И. Ростовцева мало что говорит широким читательским кругам. Тем более приятно и радостно сообщить, что их ждет подлинное художественное открытие, знакомство с новым, неведомым миром.

Страницы нашей истории... *Так, скорее всего, можно назвать записки И. Ростовцева «На краю света» и «Подписаренок», объединенные в одной книге историко-биографического характера.*

Думается, эта книга вряд ли кого-либо оставит равнодушным. И это вполне понятно. Наше время глазами все новых поколений советских людей, наследников Великого Октября, пристально вглядывается в свою историю. И такой интерес — всегда показатель духовной зрелости нации, ее острого понимания своей роли, своего места в нынешней тревожной жизни.

Любой этап истории родного Отечества интересен, а тем более — времена, о которых мы знаем пока еще довольно мало. Среди них события последних предреволюционных лет на окраине царской России, «на краю света», как об этом говорит сам автор,— в таежной сибирской деревне Кульчек и глухом селе Кома.

Автор записок — бытописатель в лучшем, в наши дни, правда, несколько позабытом, смысле этого слова. Автор-повествователь своей книгой продолжает и расширяет традиции бытописания, которое как историко-художественный жанр всегда занимало достойное место в национальной русской литературе. Из писателей прошлого достаточно назвать имена С. Т. Аксакова, В. И. Даля — Казака

Луганского, С. В. Максимова, а из наших современников — Вл. Солоухина, В. Белова, художника-писателя Ник. Кузьмина.

Непритязательно и внешне крайне просто авторское повествование. Но за ним — живой взгляд ребенка на окружающее: русский крестьянский быт Сибири начала нынешнего века, поверья и рассказы старших о домовых и леших, о местных разбойниках, о повадках животных и птиц...

Путешествие рассказчика мальчика Кены — Иннокентия — в недалекий Шерегеш превращается в праздник юной души. В познании и открытии мира, природы Сибири проявляется детская любознательность и свежесть восприятия разнообразных новых впечатлений.

Органично и естественно включаются в канву повествования народные предания, а в их числе рассказ о легендарных «чудских» курганах и своенравном народе, который предпочел рабству под «белым царем» добровольную смерть в курганах-склепах.

Перед читателем проходят неторопливые сцены повседневной сельской жизни, деревенских посиделок, вечёрок, народных праздников, колоритные эпизоды знахарского лечения и многое другое.

Но в этом неторопливом и пристально-подробном повествовании, воскрешающем в странно узнаваемых деталях черты национального — давно уже забытого — русского быта, нет и намека на какое-либо самолюбование или на воспевание патриархального крестьянского уклада жизни. Тяжелый, упорный, постоянный, но необходимый и урочный труд на земле в поте лица с малых лет и до конца жизни — вот удел русского крестьянина. Виды на урожай, состояние пашни, рост кормовых трав, жизнь сельского стада — все это становилось предметом практического интереса и нелегких каждодневных забот с младенческого возраста. Мальчик Кено едет на боронование по просьбе дяди Ильи, дальнего родственника отца, и целые сутки напролет трудится на дальней таежной пашне. Выполняя нелегкую службу землепашца, мальчик познает этот труд своим неокрепшим телом, принимает

распрямляющимся сознанием, постигает всю тяжесть и радость его итогов.

Контрасты деревенского бытового уклада: пьянство, похмельный разгул — и подлинное благородство; жестокость — и душевная нежность — все это соседствует и в реальной жизни тех лет, и на страницах повестей И. Ростовцева.

Удивительно поэтичны и жизненны сцены знакомства с книгой Ушинского «Родное слово», коллективного семейного чтения «Конька-Горбунка» П. П. Ершова в деревенской избе. Сельские грамотеи бережно относятся к книге, тянутся жадно к печатному слову и знаниям, как к свету, да и само чтение в свободное вечернее время прямо связано со светом — лампы, лучины, свечи, прямо зависит от него. И как часто нехватка керосина или свеч оборачивалась отказом от радостей чтения: необходимо было беречь и керосин, и свечи, не входить в лишние расходы, ибо каждая крестьянская копейка буквально на счету, а поборы и налоги нескончаемы и разнообразны.

Чтение и учение — счастье пытливого деревенского подростка, и в повести «На краю света» школьные сцены и эпизоды — самые светлые и яркие. В них подробно и душевно представлена личность учителя Павла Константиновича, русского сельского интеллигента, несущего в народ свои знания, духовно формирующего крестьянских детей, а заодно и их родителей, для которых он — высший авторитет во всех вопросах.

Понятно, что в дореволюционном крестьянском быту одно из ведущих мест в общественном воспитании занимала церковь. И автор подробно говорит об этом, вводя нас в классы церковноприходской школы, подвергаясь на наших глазах строгому церковному причастию, рассказывая о нравах церковного причта.

Книжные церковные премудрости по-своему воспринимаются цепким и практичным крестьянским умом, сплошь и рядом приводят к бунту, к скептическому недоверию, вызываемому благостными сказками житийной литературы со всеми их «чудесами святых». Характерно и отношение народа к «старцам» и монахам, о котором автор пишет

так: «В народе у нас почему-то не любят богомольных мужиков, относятся к ним с насмешкой, считают их лодырями, отлынивающими от тяжелой мужицкой работы». В день смерти Л. Н. Толстого учитель Павел Константинович распускает детей по домам в знак всенародного траура, не скрывая того, что у великого русского писателя были сложные отношения с православной церковью. Немалая смелость по тем временам, но оправдана она самим отношением народа к церковникам.

В круговороте повседневной жизни перед нами проходят сцены свадеб и наборов в рекруты, пения любимых песен, теплых родственных отношений и бытовых невзгод — болезней, борьбы как спортивной забавы и как жестокой кровавой драки, охоты как промысла, пастьбы скота, пчеловодства, смолокурения, добычи сорок для выделки из них чучел, походов к дальним заимкам и многое другое.

Время — главный герой повествования И. Ростовцева. Именно во времени происходит взросление и мужание автора-рассказчика, его открытие мира природы и мира людей. В естественной сезонной смене времен года проходят перед нашими глазами важные исторические события: русско-японская война 1904 года, так близко затронувшая «бойцов» и «полубойцов» Западной и Восточной Сибири, отголоски первой русской революции, начало первой мировой войны (с большим трудом воспринимаемой сибиряками — не как понятной войны с «японцем», а как необычной войны с «германцем» и «австрияком», традиционными союзниками русского царя). И в далекую Енисейскую губернию приходят знойным летом 1914 года газетные сообщения о «патриотических» манифестациях в Петербурге и Москве, о введении военной цензуры, особого положения для всей страны и военного положения — для Сибирской железной дороги...

Автор говорит о социальных отношениях предреволюционной России: нарастании «злости мужика», готовности народа к неосознанному бунту, ожидании им просветляющего слова большевистской правды о классовой борьбе. Старшина волости

и новое начальство напрасно пытаются «пресечь беспорядки и настроения» — надвигается пора необратимых перемен. Это прекрасно чувствуют и служащие волостных административных учреждений — волостные писари и их помощники.

Последние главы первой повести тематически подготавливают вторую книгу. Автор рассказывает о сельском сходе, о начале своей трудовой деятельности в качестве «подписаренка» в волостном правлении.

Эта малоизвестная сторона жизни низовой администрации предреволюционной России впервые так широко и обстоятельно описана в русской художественной литературе. Будни делопроизводства, судебные разбирательства, быт волостной администрации, податные дела и судебное крючкотворство, взаимные тяжбы крестьян, их поведение на суде — все это чередой проходит перед глазами читателей.

Персонажи повестей И. Ростовцева достоверны и зримы, мы легко представляем каждого из них. Будь это учитель Павел Константинович, учительница и библиотекарь Таисия Герасимовна, ссыльнопоселенцы Сергей Измаич и Таисия Александровна, служащие волостного правления, староста Финоген, тетка Татьяна и тетка Марья, родители, братья и сестры, друзья детства автора-рассказчика.

Интересен сам образ автора — крестьянина-хлебопашца, книгочея, зрителя театральных народных представлений, летописца событий, участником и очевидцем которых он был. Через всю книгу проходит мысль о том, что трудолюбие и честность, порядочность и совестливость — основа высокой духовности человека, его душевной красоты. И не случайно завершается рукопись кратким и поэтичным рассуждением автора о необходимости и вечности труда как творческого начала жизни:

«Я был здоров, трудолюбив и не сознавал свою жизнь без работы. И будущее предстояло предо мной как огромное поле, на котором придется вечно трудиться...»

Достоверность и фактографичность повестей И. Ростовцева носят в целом художественный ха-

рактер и не мешают, а напротив, помогают живому читательскому восприятию описываемых событий и ситуаций.

Точность деталей, индивидуализация языка персонажей способствуют психологизму повествования, его динамике — движению от видения мира наивными глазами ребенка и подростка до понимания его взрослым, достаточно зрелым человеком. Наиболее ярко психологизм описания проявился в эпизодах судебных разбирательств, в частности, в описании тяжбы проезжекомских мужиков с витебскими переселенцами по поводу мнимой потравы ржаного поля. Интересны в этом же плане и сцены мобилизации, «обряда прощания» рекрутов. Поэтичен и достоверен зимний таежный пейзаж, в описании которого в полной мере проявляется авторское внимание к деталям при целостности общей картины замершего и обледеневшего леса:

«...Я попробовал о чем-нибудь думать. Но ни о чем почему-то не думалось. Тогда я решил выйти ненадолго из избушки. Снаружи здорово загвоздило. Отвесная сопка над нашим зимовьем, высокие горы, покрытые лесом, как бы оледенели от мороза. Над всем стояла тишина, совсем не похожая на тишину летом. Деревья летом в тайге все-таки живые и трава живая. Иногда прошумит слабый ветерок, прокричит ночная птица; как выстрел, раздастся резкий звук сломившегося сучка. А здесь все как бы умерло и обледенело... Только редко-редко снег беззвучно упадет с пихтовой или еловой ветки. И хотя наше зимовье было в глубокой распадине между высоких гор, но казалось, что мы находимся здесь где-то высоко-высоко под самым небом, а наш теплый уютный Кульчек лежит далеко-далеко внизу, за пределами бесконечного заледеневшего леса».

В книге И. Ростовцева нет нарочитого украшательства, стремления к «художественности» во что бы то ни стало. И это очень хорошо и органично. Бытописательский жанр по сути своей чужд стилистических побрякушек, словесных елочных украшений. Сила его — в точности деталей и языка, в правдивости жеста, воплощенного в слове. Всем

этим писатель владеет как настоящий мастер.

Удивителен язык повестей — разнообразный и индивидуализированный, точный, а местами по-сибирски сочный. Диалектные слова и выражения вполне понятны из контекста, и не они составляют основу повествования. Словообразовательные диалектизмы типа «листвяг» (то есть лиственный лес) или экспрессивные глаголы вроде «изнахратиться» (испортиться, зазнаться), «загвоздить» (заморозить, ударить морозом, стужей) — вот основа авторского лексикона, вводящего нас в стихию народной русской речи. А таким словам-понятиям, как «потёма» (способ зимнего ночлега охотников под открытым небом, на выжженной костром земле) или «гоньба» (порядок передвижения на бесплатных подводах), автор посвящает отдельные сюжеты, подробно описывая соответствующие реалии старого быта.

Автобиографический, историко-этнографический, бытовой жанр художественной литературы, так удачно представленный в книге «На краю света», помимо всего прочего служит в наше время осуществлению языковой «экологической» задачи — сохранению и возрождению народного словотворчества, расчистке живых истоков русского слова в его национальной неповторимой складке, природном органичном звучании. И в этом смысле проза И. Ростовцева делает полезное и нужное дело.

ЛЕВ СКВОРЦОВ,
доктор филологических наук,
зав. сектором культуры речи
Института русского языка АН СССР

НА КРАЮ СВЕТА

Глава 1
НАШ БЕДНЫЙ ПЕСТРЯ, БАБУШКА И Я

— Ну и зима нынче, — говорит бабушка, глядя в заиндевевшее окно. — Свету божьего не видно. Ночью-то так и бухает, так и стреляет. Земля-то, бедная, уж не держит. Рвется от морозу-то. Последние времена, видать, пришли. Прогневили бога, вот и мучаемся за грехи за наши. Ешь, милок! Ешь! Доедай хлеб-то...

Я смотрю в окно и вижу, что на улице действительно света божьего не видно. Морозная пыль скрыла солнце, и сквозь нее еле-еле виден наш переулок, ограда соседей Крысиных и далекие горы, покрытые щетинистым лесом. На улице все обледенело. Но у нас в избе тепло и уютно. У самых дверей, под полатями, весь день весело шумит и потрескивает железная печка. Большая русская печь тоже основательно протоплена, и из нее сильно пахнет свежевыпеченным хлебом. Отец раным-рано уехал в тайгу за дровами. Брат Конон с утра в школе. Мама с сестрой Чуней тоже куда-то ушли по хозяйству. А мы с бабушкой сидим за столом, и я охминаю пшеничный хлеб со сметаной. Бабушка кормит меня терпеливо, с ласковыми назиданиями.

— Облизьяна ты, вот кто! — говорит она и вытирает мои руки и мое лицо, вымазанные сметаной. — Не лезь руками в блюдцо-то! Ах ты, восподи! Ну, что за парнишко! Прямо беда с тобой. Бери хлебца-то побольше, а сметанки-то поменьше!

Я послушно стараюсь брать побольше хлебца и поменьше сметаны. Но у меня все получается как-то наоборот, и я наворачиваю на маленький кусочек хлеба почти всю сметану из блюдца. И снова бабушка терпеливо обтирает меня рушником и даже не особенно сердится, так как думает в это время о чем-то о своем.

— Ночью-то пошла в охлев посмотреть теленка, — говорит она не то мне, не то сама с собой. — Не замерз бы,

думаю, теленочек-то. Вышла на крылечко... На дворе ни зги не видно. Грудь от морозу спирает. Только спустилась это с крылечка-то, вдруг под ногами-то у меня как ухнет... Прямо как из ружья. Я так вся и обмерла. Не могу с перепугу-то ни ногой, ни рукой шевельнуть. Только молитву читаю: «Свят, свят, свят восподь Саваоф!» Читаю это молитву-то, а под ногами у меня, вижу, щель в земле объявилась. И пар из нее так и стелется. За грехи, думаю, карает нас восподь, за провинности... А идти дальше-то уж боюсь. Так и не пошла в охлев-то. Отец уж твой ходил потом. Живой теленочек-то, слава богу...

Мне непонятно: за что нас с бабушкой все время карает господь бог? Очевидно, мы его чем-то сильно прогневили, если на улице все так обледенело, что даже земля колется от мороза.

— Теперь что... — продолжает бабушка, шуруя железную печку. — Теперь мы живем, слава богу, в тепле. А ведь на моей памяти этих железных печек-то и в помине не было. А морозы-то разве такие стояли... Птицы на лету замерзали. Вот какие морозы были. Летит это воробей, летит и вдруг падает камнем на землю. Подбежишь, схватишь его в руки, а он, бедняжка, уж богу душеньку отдал. Начнешь его отогревать... Он, глядишь, и затрепыхается. Так и жили. А что делать. Надо было как-то жить. Натопят большую печь как следует, да жар-то, ну, уголья-то, и выгребут в большие горшки. Потом накроют эти горшки каменными плитками да и расставят в избе по всем углам. Ну, оно и потеплеет немного. А теперь что... Благодать... — Не торопясь, бабушка подбрасывает в железную печку дров, подходит к окну и долго смотрит на улицу: — Отецто за дровами в Шерегеш поехал. Не случилось бы чего с мужиком — такой мороз. Весь день в снегу по горло. Снасть рвется. Мало ли что в тайге может приключиться.

Пока на улице стоят такие морозы, мне ничего не остается, как весь день отсиживаться в избе, играть на полу, томиться на лавке у окна, рассматривая морозные узоры на стеклах, щепать лучину около железной печки или просто валяться на полатях.

Из всех мест в нашей избе мне почему-то больше всего нравится сидеть под кроватью. Залезешь туда да и смотришь из-за занавески на то, что у нас делается в доме. Из-под кровати все выглядит в избе как-то по-особенному. Вот открылась дверь, и из сеней врывается сначала белый холодный пар и медленно стелется по избе. А потом

появляются чьи-то ноги в валенках. Они потоптались немного у порога, потом подошли к железной печке и тут остановились. И я знаю, что это пришел домой тятенька, что он стоит сейчас у печки и сдирает со своей бороды сосульки, которые намерзли у него, пока он ездил в Шерегеш за дровами. Сосульки с шипением падают одна за другой на раскаленную печку, а тятенька стоит рядом да рассказывает о том, какой большой снег нынче в Шерегеше и как трудно было сегодня протаптывать дорогу к дровам.

А вот вошли чьи-то сагыры и тоже потоптались у порога, потерли себя немного о половик, а потом раздался мамонькин голос: «Ты чего же это, Чуня, сидишь да сидишь за своей прялкой? А кто за нас коров погонит на речку поить?..» И тут, через некоторое время, мимо меня пробегают в сени Чунины валенки. И я понимаю, что это Чуня побежала поить на речку нашу скотину.

А под кроватью у нас много всякого добра. Зимой, особенно в морозы, все ходят в валенках, а свои сагыры бросают под кровать. А иногда туда затешется невзначай с печки старый валенок. И вот они лежат там вместе в полутемноте, и большой сагыр с согнутым морщинистым голенищем и с задранным кверху носом вроде что-то шепчет лежащему около него дырявому валенку. Того и гляди, сговорятся да и пойдут ходить вместе по избе.

Иногда отец принесет в избу два-три хомута для починки и тоже бросит их под кровать. Один хомут красивый, с крашеными клешнями, с кожаным подхомутником, с сыромятной супонью. И шлея у него тоже кожаная, с красивыми кистями и вся изукрашена медными бляшками. Одни бляшки крупные, другие помельче, одни совсем новые, а другие тусклые и потертые.

Второй хомут уже похуже. Он хотя и с кожаной шлеей, но эта шлея изорвана и починена в разных местах. А третий хомут уж совсем плохой, с холщовым подхомутником и веревочной шлеей. И надевают этот хомут на уросливую кобыленку, когда едут в Шерегеш за крежником.

А хороший хомут тятенька надевает на нашего Гнедка. Наденет, запряжет в выездной коробок и поставит под окнами у ворот. И вот стоит наш Гнедко такой нарядный, как именинник. Шлея на нем вся изукрашена и блестит, дуга с колокольцами. Садись и поезжай в гости к кому надо.

Еще я люблю лежать на полатях... Лежишь и смотришь

оттуда, сверху. И все видишь в избе как на ладони — что делает мамоиька, что делает Чуия, что делает бабушка... Иногда придет к иам тетка Марья али тетка Аиисья и поведут с мамоиькой да с бабушкой разговор о хозяйстве али насчет здоровья. А бывает, что и обо мие начиут говорить. Как я да что я... Еслн оии хвалят меия за что-нибудь, тут я посматриваю на иих сверху да ухмыляюсь. Если же начиут за что-иибудь ругать да журить, тут я сразу прячусь на полатях в самый уголок. Сижу да помалкиваю. Пусть себе ругаются.

А подполье наше я знаю пока еще плохо. Я бывал, конечно, там, ио или с мамой, или с бабушкой. Оии спускаются туда всегда илн с лампой, илн со свечой. Подполье пугает меия своей таинствеииой темиотой. А иедавио я свалнлся в него нечаянно, когда бабушка отошла куда-то по делу. С перепугу я орал благим матом. Да н как ие заорать, когда полетншь кувырком винз, в темную яму, а потом сообразншь, что ты попал в то самое подполье, в котором живет дедушко-суседушко.

Пока я сндел и ревел там, дедушко-суседушко не подавал иикакнх признаков присутствия. Может быть, иа этот раз его ие было дома, а может быть, ои сам был испуган монм ревом. Вообще же дедушко-суседушко нмеется у иас в каждом доме, н живет он у всех в подполье. Каждую иочь ои выходнт оттуда, прячется в разиых темиых углах, главиым образом под печкой, устранвает разные каверзы хозяйкам, пугает непослушиых ребятишек.

У иас дедушко-суседушко тоже очень часто дает о себе зиать. Когда вечером я, вопреки увещаниям бабушки, упорно ие хочу засыпать, вдруг ии с того ни с сего то резко скрипиет половнца, то послышится тяжелый вздох в темном углу, то кто-то иачнет царапаться иад потолком. А одни раз, когда я куражился иад бабушкой, вдруг взбеснлась наша кошка. Сиачала оиа стала произительно урчать и мяукать на печке, потом с шумом спрыгиула иа пол и стала метаться по избе. Тогда бабушка открыла скорее дверь, и кошка как пуля вылетела в сени.

В таких случаях я сразу соображаю, что́ все это зиачит, иакрываюсь с головой и стараюсь скорее заснуть.

Но больше всего я боюсь в иашем доме божеиьки. По правде говоря, его я боюсь даже больше, чем дедушки-суседушкн. Дедушко-суседушко живет в темном подполье, прячется под печкой и по темиым углам и дает о себе зиать только по ночам. Божеиька же живет у иас иа самом вид-

ном, на самом почетном месте — в переднем углу на божнице, где стоят несколько старых, почерневших от времени икон.

Если дедушко-суседушко чаще всего только пугает балованных и уросливых ребятишек, а на самом деле ничего плохого им не делает, то боженька старается непременно сделать каждому парнишке какую-нибудь пакость. От него ни днем, ни ночью нигде не спрячешься — ни под столом, ни под кроватью, ни на печи, ни на полатях... Чуть что сказал или сделал неладно, он уж со своей божницы все видит и, конечно, все слышит. Мало того, он все знает, если ты даже только подумал что-нибудь не так, как надо. Моя бабушка все время старается держать меня в страхе божьем и с утра до вечера грозит мне за все мои провинки и проступки божьим наказанием. Не успеешь еще как следует проснуться, а она уж наставляет: «Не балуй! А то боженька... Не бери без спросу! А то боженька... Не ругайся! А то боженька... Не делай того, не позволяй себе этого!..» Даже думать надо с оглядкой на боженьку. Поначалу мне грозили тем, что боженька непременно стукнет меня за первую мою провинность камешком по головушке. А когда я немного подрос, мне объяснили, что теперь я, слава богу, уж не маленький и должен сам понимать, «что к чему». Теперь боженька — втолковывали мне — не будет больше стукать тебя камешком по головушке, а станет карать за всякую провинность по-особому, сообразуясь с твоей виной. Все несчастья, которые время от времени происходят со мной, все это, оказывается, от боженьки. Порезал ножом палец — значит, так и надо, значит, боженька за что-то наказал тебя. Всадил в ногу занозу — опять же неспроста — провинился в чем-то перед ним. Зашиб себе колено, разбил нос, свалился в подполье — сам во всем виноват, не угодил чем-то ему, милостивцу. И я со страхом всегда смотрю на нашу божницу, где живет у нас боженька. Мало ли что он может вытворить. Жить-то живи, да оглядывайся.

Не только я, но и бабушка, и тятенька, и мамонька, и Конон, и Чуня — все у нас, каждый по-своему, боятся боженьки и молятся ему. Сильнее всех боится его наша бабушка. Утром, когда я еще дрыхну в постели, она уж просит его отпустить ей все ее вольные и невольные провинности. В течение дня она несколько раз упрашивает его помочь ей хоть немного по хозяйству. Но боженька не очень-то прислушивается к ее просьбам, и бабушке при-

ходится каждый день убеждаться в том, что она опять его чем-то прогневила. И ей все время приходится расплачиваться за это. То нечаянно разобьет за столом чашку, то опрокинет в подполье крынку сметаны, то забудет в сенях кусок мяса и его утащат собаки. А бывают дела и похуже. Нынче летом у нас в табуне волки задрали жеребеночка. А потом, во время грозы, молния ударила на гумне прямо в зарод соломы. Зарод сгорел. Гумно и ригу отстояли. «Спаси, восподи, и помилуй!.. — все время твердит теперь бабушка. — За грехи за наши карает нас. Прогневили его, милостивца!»

Но вот мороз немного сдал, и я собираюсь на улицу. На меня, как на взрослого, надевают катанки, шубу, крепко-накрепко затягивают опояской, водружают на голову большую шапку, а на руки теплые рукавицы. После того как бабушка окончательно уверилась, что я еле двигаюсь и еле дышу, надежно упакованный в шубу, в катанки и в рукавицы, она осторожно выталкивает меня из избы и спокойно закрывает за мной дверь. Теперь я остаюсь один в холодных сенях и начинаю внимательно осматриваться.

Сени у нас невелики. С одной стороны в них кладовка, в которой имеется несколько полок с горшками, туесками и деревянными корытцами для соли, крупы и печеного хлеба. На полу в кладовке несколько кадушек и большой окованный сундук с нашей лопатью и маминым холстом.

Против кладовки — лестница на подволоку. Около лестницы — скамейка с опрокинутыми ведрами, а под нею лежит крашеное коромысло. На стене висят три ружья и большая собачья доха, в которой тятенька ездит в тайгу за дровами.

И почти всегда лежат здесь на полу то один, то два топора. Иногда один из них берут в амбар нарубить мяса хозяйкам и после приносят его обратно. Теперь топор покрыт крошками мяса. Они крепко примерзли к нему и выглядят очень аппетитно.

А на дворе собаки — Кучум, Полкан, Пестря. Собаки у нас хорошие, ласковые. Только их почему-то никогда не пускают в избу. Даже в сени. Утром они крутятся на крыльце и ждут, когда хозяйки вынесут им по ломтю хлеба. А сени открыты, и там у дверей, на самом виду, лежит этот топор с аппетитными крошками мяса. И вот Пестря, в нарушение принятого порядка, осторожно крадется в сени, чтобы слизнуть их. Но как только он коснулся... Тут-то его язык моментально и примерз к железу. И наш Пе-

стря оказался как в капкане. Но он не рвется, не мечется, не лает, а смирнехонько стоит, уткнувшись мордой в топор. И только жалобно повизгивает. Кучум и Полкан видят, что Пестря попал в беду, и смотрят на него с крыльца. Но в сени не лезут. Понимают, что им ходить туда не полагается.

И в этот момент я как раз выхожу из избы и вижу в сенях Пестрю. Поначалу мне непонятно, почему он уткнулся мордой в топор и повизгивает. Но потом я соображаю, что случилось с Пестрей, но не знаю, как ему помочь. И тут как раз вышла из избы бабушка. Она сразу же увидела Пестрю у топора и почему-то сильно рассердилась.

— Ах ты, паршивец! — закричала она и схватила с пола коромысло.— Топором-то мясо рубим на еду, а он опять его запоганил!

И бабушка огрела Пестрю коромыслом. Бедный Пестря с визгом бросился в открытые двери, с кровью оторвав свой язык от топора. А бабушка как ни в чем не бывало положила коромысло под скамейку и пошла во двор по своим делам.

Я остаюсь в сенях один. Но теперь все мои мысли сосредоточены на Пестре. Глупый, глупый Пестря... Не понимает, что нельзя облизывать крошки мяса на топоре. Теперь лежит где-нибудь под амбаром с ободранным языком да воет. Я еще раз гляжу на заиндевевший топор на полу, и меня начинает занимать мысль о том, почему все-таки этот топор схватил Пестрю за язык? А что, если мне лизнуть его? Неужели и меня он тоже схватит?

И вот я нерешительно подхожу к топору, наклоняюсь и вижу на нем крошки мяса и лафтаки от Пестриного языка. Наконец я отдумываю лизать топор и решительно направляюсь из сеней на крыльцо. Но тут мое внимание привлекает замочная скоба на дверном косяке. Она тоже железная и, подобно топору, вся покрыта мелким белым бисером изморози. «Лизну ее!» — решаю я и осторожно, самым кончиком языка, прикасаюсь к скобе. И сразу кто-то невидимый чем-то холодным схватил меня за язык. Поначалу я не сообразил еще, в чем дело, и хотел отодрать язык от скобы. Не тут-то было. Тогда я начинаю орать благим матом, и из избы выскакивает перепуганная Чуня. Увидев меня прикованным к дверной скобе, она кричит:

— Не рвись! Не болтай головой-то! Не шевелись, а то сдерешь всю кожу. Дыши на нее! Дыши, говорю! Железо согреется и отпустит.

Тут Чуня сама начинает усиленно дуть на скобу. Глядя на нее, я тоже с ревом изо всех сил дышу. И действительно, через некоторое время скоба нагрелась и отпустила язык.

После этой оказии Чуня сразу же увела меня в избу, и я долго хнычу там, слушая назидания бабушки:

— Ишь ведь, что удумал. Железную скобу на морозе лизать. А того не понимаешь, что язык мог себе отморозить. Будешь потом картавить, вроде Ефимушки Крысина.

Тут бабушка ловко передразнила, как наш сосед Ефим Крысин покрикивает на своих ребятишек:

— А вот я вас выдеу как следует, чейтенята! Пьямо мочи никакой с вами нет. Вайнаки!

— А он что? Тоже скобу в сенях лизал? — сквозь слезы спрашиваю я бабушку.

— Так же, вроде тебя. Вышел зимой — маленький еще был — в сени да и лизнул ее, проклятую. Ну, она его сразу и прищемила. Он туды-сюды, а она никак. Держит его за язык-то. Он орать. А она его держит. А матери-то в избе не было. Видать, ушла куда-то по хозяйству. Пока-то она пришла домой, отогрела эту самую скобу, язык-то у него и испортился. Так с тех пор и картавит. Вот оно что бывает, когда старших-то не слушают.

Потом мне не раз еще приходилось наблюдать подобную историю с Пестрей. Выйдешь в сени, а он, бедняга, стоит над топором с прихваченным языком и жалобно взвизгивает. И почти каждый раз кто-нибудь бьет или пинает его.

А мне жаль Пестрю. Тятенька, я знаю, его не уважает. Кучума и Полкана он держит на медведей и на волков. Они — собаки огромные, злые и гордые. Они никогда не полезут в сени облизывать мясные крошки. А Пестря какой-то глупый. Его взяли щенком у дяди Ильи на белку. Кормили его, растили... А он на белку не пошел. И вообще, уродился какой-то бестолковый. Когда на охоте надо лаять, он не лает, а когда надо молчать, тогда он начинает бубнить на всю тайгу. И дома — придет чужой человек или бродяжка какой, Кучум и Полкан готовы их задрать. А Пестря — наоборот — ластится. Сколько раз били его за это, а он все никак не поймет, что любить чужих не полагается.

А скобу лизать на морозе я все-таки научился. Как-то в трескучий мороз решился и опять лизнул ее. Не сразу, конечно, решился. Поначалу долго ходил по сеням, все на

нее посматривал. А потом лизнул. Ну, она, конечно, тут же схватила меня за язык. Но теперь я испугался самую малость и начал изо всей силы дышать. Через некоторое время скоба действительно меня отпустила.

Потом я много раз пробовал: лизну ее и как бы жду чего-то, как Пестря над топором. Только не тявкаю. А потом отогрею железо, оно меня и отпустит. Вскоре лизать эту скобу мне стало уж неинтересно. Идешь мимо, а она вроде смотрит на тебя и ждет, чтобы ее лизнули. А я посмотрю на нее, на крупинки изморози на ней, и иду себе мимо на крыльцо, а там уж на двор.

Глава 2
БРОДЯЖКА

Но вот прошла яркая, шумная и многоцветная троица, и наступили петровки. Весенние работы уже закончены, а сенокос еще не подошел. Природа в торжественном уборе. Все цветет и зеленеет. Заморенная за зиму скотина с утра до ночи отъедается на выгоне. А люди, как всегда, заняты работой. Одни загодя готовятся к сенокосу — делают вилы, грабли, приводят в порядок косы, другие гнут березовые полозья для саней, третьи вьют веревки, вожжи, арканы.

Словом, все заняты делом. Мы тоже стараемся не отставать от взрослых. С утра я бегу к своим соседям — Спирьке и Гришке, чтобы вместе с ними пойти на речку посмотреть, как там наша Чуня отбеливает на лугу холсты, которые мама выткала зимой.

Через несколько минут я уже с гиком скачу на паре лихих коней. Спирька в моей упряжке коренной. Он бежит крупной рысью, позванивая надетыми на шею шеркунцами. А Гришка подпрыгивает рядом, изображая лихого пристяжного.

Мы бодро выбегаем на берег нашей речки. Перед нами мельничный пруд. За прудом большой зеленый луг, на котором пасутся гуси. На нем же бабы отбеливают холсты. А по берегу, со стороны деревни, виднеется несколько низеньких бань. И тут я замечаю, что из нашей бани вьется тонкий дымок.

«Странно, — соображаю я, — мы топим баню только по

субботам. Мамы дома нет, Чуня на речке, бабушка вываривает свои кадки для огурцов. Кто бы мог топить сегодня нашу баню? Может быть, посмотреть?»

Наша баня, как все деревенские бани, устроена «по-черному». Это крытый четырехстенный сруб без окон, без запоров. Когда в бане топится каменка — огромная, грубо сложенная из булыжника печь, дым выходит через дверь и через маленькую квадратную отдушину в стене, рядом с дверью. Когда каменка достаточно прокалится, баню «кутают» — промывают пол, скамейки, полок, заливают непрогоревший уголь и тщательно проветривают. После дверь закрывают, а отдушину затыкают куделей. И можно идти мыться...

Мы с гиком и звоном подбегаем к бане. После некоторого колебания я открываю дверь и сразу же испуганно закрываю ее. В бане какой-то чужой человек с длинной седой бородой. На его лбу я разглядел широкий багровый рубец, который придавал ему какое-то суровое, страдальческое выражение.

— Кто это? — шепотом спросил меня Спирька.

— А я знаю? — так же шепотом ответил я.

— Пойдемте отсюда. Я боюсь его, — заныл Гринька.

Мы осторожно отошли от бани и стали издали наблюдать. Через некоторое время неизвестный вышел из бани. Он поглядел сначала на солнце, как бы желая поточнее определить время, а потом долго смотрел в сторону Шерегеша.

Мы тоже стали смотреть на Шерегеш, но ничего там не увидели, кроме легких перистых облаков, тянувшихся над его высокой вершиной.

Вдруг человек резко повернулся и, как нам показалось, направился в нашу сторону.

— Пойдемте домой, — снова заныл Гринька.

Мы не менее Гриньки боялись встречи с неизвестным стариком и побежали домой. Через две-три минуты, возбужденный и запыхавшийся, я врываюсь к себе во двор и нахожу бабушку около погреба. Она сидит на скамейке возле большой кадки, в которую только что спустила несколько докрасна накаленных в печи камней. Вода бурлит и клокочет. Так у нас вываривают кадки для засолки огурцов и греют воду в бане для мытья.

— Баба, бабонька! — кричу я, подбегая к ней. — У нас кто-то в бане поселился. Страшный такой, бородатый старик.

— Ну так что же, — спокойно говорит бабушка. — Бродяжка какой-нибудь обосновался. Поживет немного да и уйдет. Сегодня только вторник. А баню нам топить в субботу. Пусть себе живет.

— А кто он, этот бродяжка? — допытываюсь я у бабушки. — Что он у нас делает?

— Поселенец какой-нибудь или бобыль бесприютный, вроде нашего Ворошкова. Шел, шел своей дорогой да и остановился в нашей баньке немного отдохнуть.

Я знаю — если кто поселенец, то он убил кого-нибудь или ограбил. Его за это осудили на каторгу, а потом пригнали жить к нам в Кульчек. У нас если кого хотят сильно обругать, то обзывают его поселюгой, варнаком, бродягой, катом.

— Бабушка, — допытываюсь я, — а кого он убил?

— А кто его знает, — отвечает бабушка. — Может, никого и не убивал. Видать, из острога бежал. Да нет. Где ему, если старик. Отсидел, поди, свой строк и ходит теперь по белу свету, побирается христовым именем да смотрит, куда бы лучше преклонить свою голову.

— А он нас не зарежет? — не отстаю я от бабушки.

— Что ты, милок. Да за что же он нас с тобой резать-то будет? Теперь не те времена. Это раньше беглые каторжане людей резали, народ грабили. А теперь, слава богу, давно уж об этом не слышно.

— И у нас в Кульчеке грабили?

— Да... бывало и у нас в Кульчеке.

Тут я вижу, что бабушка знает что-то интересное, и спешу воспользоваться подходящим случаем:

— Расскажи, бабушка, расскажи о разбойниках...

— А кадки кто за меня будет вываривать? Скоро ведь огурцы пойдут.

— Я тебе помогу, бабонька. Ты только рассказывай, а я буду вываривать.

— Ишь помощник какой нашелся. Не мужицкое это дело — кадки вываривать. Иди лучше играй. Потом как-нибудь расскажу. — Бабушка с трудом поднялась со скамейки. — Ох, ох, ох! — тяжело вздохнула она. — К дождю, что ли, меня сегодня ломает. Моченьки моей нет. Пойти подбросить в печку.

Она взяла лежавшую около кадки клюку и пустое ведро и поплелась в дом. Я ждал, ждал ее около кадушек и, не дождавшись, побежал к Спирьке и Гришке.

На этот раз мы пошли играть в Барсуков ключ. Барсу-

ков ключ начинается под Шерегешем и впадает в нашу речку прямо посредине деревни. Весной Барсуков ключ шумит и бурлит, а летом почти совсем пересыхает. Берега его крутые, обрывистые, с узкими щелями, ямами и даже пещерами. Удобное место для игры в разбойников.

Сегодня атаманом был сначала я. Спирька был купцом, а Гришка ямщиком. Потом атаманом сделался Спирька, потом Гришка. Все по очереди были и разбойниками, и купцами, и ямщиками. Чтобы быть разбойником пострашнее, я вымазал себе лицо и руки красной глиной и нарисовал на лбу широкий рубец. Спирька и Гришка, разумеется, тоже раскрасились.

Возвращаясь с Барсукова ключа, мы неожиданно наткнулись на нашего бродяжку. Он переходил от дома к дому, останавливался под окнами и негромко, но достаточно внятно просил милостыньку.

И в каждом доме ему непременно что-нибудь подавали.

Мы издали следили за бродяжкой, стараясь рассмотреть его как следует. Его лоб до самых глаз был повязан ситцевым платком, благодаря чему багровый рубец не привлекал к себе внимания. В остальном бродяжка ничем не отличался от наших деревенских стариков. Он был в коротком поношенном шабуре. На опояске с левой стороны, как у всех наших мужиков, у него висел небольшой нож в деревянных, обтянутых кожей ножнах, а на плече большая холщовая сума.

Когда бродяжка направился к нашему дому, я побежал предупредить об этом бабушку. И через некоторое время под окнами у нас послышался негромкий голос:

— Подайте милостыньку, христа ради, прохожему человеку.

— Сейчас! — отозвалась бабушка и сунула мне калач белого хлеба и два яйца. — Вынеси ему за ворота и подай. Да обязательно скажи: не взыщи, мол, дедушка... Иди, иди! Не бойся.

Я вышел с милостынькой за ворота, подал ее бродяжке и, немного оробев, сказал:

— Не взыщите, дедушко.

— Во имя отца, и сына, и святого духа, — сказал бродяжка, снял картуз и перекрестился. — Спасибо, сынок, спасибо, люди добрые. Дай вам бог здоровья.

Он пристально посмотрел на меня, поправил повязку на лбу и устало пошел к следующему дому.

После встречи с бродяжкой мне никуда уж не хотелось

идти из дома, и я до самого вечера крутился около бабушки в надежде услышать какой-нибудь рассказ о разбойниках. Но бабушка все охала, все жаловалась на то, что ей разломило суставы, что она не может двинуть ни рукой, ни ногой. А сама все ходила и ходила и все что-то делала.

Тем временем погода стала меняться. К вечеру из-под Тона потянулись свинцовые тучи. Загудел Шерегеш, и, когда начало темнеть, вдали над тайгой стало сверкать и погромыхивать. Приближался весенний грозовой дождь. Было тихо и душно. Только изредка прохладной волной накатывался легкий ветерок, принося с собой ощущение какой-то тревоги от надвигающейся грозы.

В ожидании большого ливня бабушка и Чуня убрали с подамбарья хомуты, потники и прочую снасть, сняли и отнесли в дом развешанный на заборе холст. Даже вываренные под огурцы кадушки перекатили на всякий случай под навес.

Вечером бабушка попросила Чуню закрыть как следует окна. Когда Чуня, притворив ставень, проталкивала в избу железный засов, бабушка заставляла меня закреплять его на железную чекушку.

— Так-то будет лучше, — говорила она и три раза крестила закрытое окно. — Береженого бог бережет.

Наконец сели пить чай. За чаем бабушка заявила нам, что ляжет спать сегодня в прохладные сени, а не в жарко натопленную избу, а ночью, видать, отдаст свою душеньку богу, настолько она умаялась за день. Мы с Чуней, разумеется, устроились на ночь тоже в сенях.

Перед сном бабушка долго молилась. Потом закрыла дверь на щеколду и потушила лампу. В сенях сразу сделалось темно, и с улицы стал доноситься тревожный лай собак. Теперь, решил я, можно попросить бабушку рассказать обещанную историю про разбойников.

— Ты помнишь, Чуня, эту курицу рябу, — начала бабушка, устраиваясь на полу рядом с нами, — замухрыжистая такая. Я опять нашла ее на яйцах. Устроила себе гнездышко в коробу на санях, под самым облучком, сидит себе и парит. Уж я куряла, куряла ее в кадке с водой, да разве в кадке накуряешь! Ее на речку надо нести, в пруду курять. А то высидит нам цыплят. А какие могут быть у такой курицы цыплята. Одна видимость!

— Ты, бабонька, о разбойниках рассказывай, а не про курицу, — взмолился я.

— Обожди, милок. Сначала надо с курицей с этой де-

ло решить. А потом уж и о разбойниках, — говорит бабушка и долго молчит, как бы собираясь с мыслями.

Я толкаю Чуню под бок, чтобы она тоже слушала бабушку.

— В та поры я была еще маленькая, — неторопливо повела она свой рассказ. — В твоих примерно годочках. А хорошо помню, как все говорили об этих вариаках. Как придет лето, так они и начиииают тут баламутить. То коней из табуиа угонят, то корову на мясо себе зарежут. А то и в деревню нагрянут. Да в самый сеиокос иоровят, варнаки, али в страду, когда все от мала до велика на пашне. А Кульчек наш в та поры был еще маленький. Малолюдство еще было. Вот в такую пору они и заявлялись к нам, и старались вломиться, конечно, к тем, которые побогаче. А летом дóма известио кто — старики да дети малые.

Вот проходят они один раз среди бела дня всей оравой прямо к Меркульевым и заставляют стариков перво-наперво варить им полный обед, подавать пива и выставлять иа стол все, что имеется. Да мало того, еще свечи требуют. Все свечи, говорят, давайте, сколько есть! Уставили ими стол, зажгли и гуляют, варнаки, днем при свечах. А напоследок забрали из дома все масло, сало, всю одежонку, которая получше. Да еще наказали никому ничего не сказывать. «Смотрите! — говорит ихний атамаи. — За хлеб, за соль спасибо. А если пикнете насчет иас кому-иибудь хоть одно слово, тогда уж не взыщите. Не пожалеем ни старых, ни малых».

Я слушаю бабушку и отчетливо представляю себе разбойников вместе с их атамаиом. Сидят себе днем при свечах у Меркульевых и пируют. И еще песни поют. Тут я вспомнил разбойиичью песню, которую поют у иас поселенцы Матюгов и Ивочкин, когда бывают пьяными:

Ты скажи мне, младый юнош,
Сколько душ ты загубил?
Восемнадцать православных,
Девяносто шесть татар...

Я хочу спросить у бабушки — ие эту ли песию пели разбойники, когда пировали у Меркульевых, но бабушка опять переводит разговор на свою курицу:

— Ты смотри, Чуня, за этой рябой. Как бы она у нас под амбаром не обосновалась...

— Я, бабонька, завтра попрошу Акеитея слазить под амбар да все там оглядеть,— успокаивает ее Чуия.

Я, вслед за Чуней, тоже стараюсь успокоить бабушку

насчет этой рябой курицы и обещаю ей непременно слазить завтра под наш амбар и все там осмотреть.

— Вот и хорошо, — говорит бабушка и продолжает рассказ о разбойниках: — «А то всех вас перережем, — говорит этот лихий атаман, — если хоть одно слово скажете о нас добрым людям». С тем и ушли.

Ну, старики, понятно, и молчат после этого. Как в рот воды набрали. Только плачут да ахают. А в субботу, когда вся семья съехалась с покоса, они и объявили обо всем, что у них приключилося. Обсказали все, как было. Ну, тут, понятно, все пришли в полное расстройство, особливо женщины. Шутка ли — безо всего остаться. Обзаводились-то годами.

На другой день Меркульев ни свет ни заря отправился в волость к начальству. Обсказал там все как следует, что ограбили его, догола обчистили. «Да кто вас ограбил-то?» — спрашивает его волостной начальник. «А из Шерегеша, — говорит ему Меркульев, — они заявились. Там, — говорит, — эти варнаки обосновались». — «Опять этот Шерегеш! Уж который раз, — отвечает волостной начальник. — Это, — говорит, — идринские каторжане с казенного завода бегут, так они у вас там и пошаливают. Вы сами, — говорит, — с ними ведите расчеты. А нам, — говорит, — это дело несподручно. Жизнь не надоела еще — в ваш Шерегеш соваться».

Я слушаю рассказ бабушки, и меня вдруг осеняет неожиданная догадка насчет бродяжки, который поселился в нашей бане. Почему он так долго смотрел сегодня на наш Шерегеш? Может быть, он тоже был в той шайке? Эта догадка кажется мне настолько убедительной, что я хочу поделиться ею с бабушкой. Но она опять обращается к Чуне с неожиданным вопросом:

— Чуня! А половики-то мы с тобой ведь не убрали. Так и оставили их на поленнице, за амбаром. Что же делать-то? Ах ты, беда какая!

— Да дождя-то не будет, бабонька. Вроде все пронесло.

— Какое там пронесло. Разве не слышишь, как погромыхивает. Того и гляди, польет. Придется ведь вставать да идти. — Бабушка с трудом поднялась и засветила лампу. — Того и гляди, сорвет их ветром да в грязь. Опять в пруд придется тащить. Ну совсем памяти не стало, — причитала она, надевая откуда-то появившийся в ее руках шабур.

Тем временем Чуня подошла к двери и осторожно приоткрыла ее. Со двора глянула на нас непроглядная тьма. Ослепительная вспышка молнии ярко высветила амбар, телегу против амбара и опрокинутое вверх дном ведро на крыльце. На небе что-то перекатывалось и рокотало.

— И как это я их забыла? Пойдем, Чуня, отнесем их хоть под крышу.

Тут бабушка убавила свет в лампе и вышла с Чуней во двор. Я остался один в пустом доме, в полутемных сенях, и сразу почувствовал себя беззащитным.

«Ушли... бросили меня, — с горечью думал я и тут же почему-то вспомнил бродяжку, который поселился у нас в бане. — Вот где страшно-то. А может, он и не в бане вовсе, а где-нибудь по деревне ходит?.. Может быть, он у наших ворот стоит?..»

При мысли об этом мне сразу сделалось страшно. И чем дольше я ждал бабушку и Чуню, тем сильнее росла уверенность в том, что бродяжка непременно стоит у наших ворот.

Вдруг резкий порыв ветра сорвал с крыльца ведро и с грохотом покатил его по двору.

— Бабушка! Чуня! — закричал я и вскочил на ноги, чтобы бежать на двор. Но тут яркая вспышка молнии ослепила меня, и раздался такой сильный удар грома, что лампа мигнула несколько раз и погасла. Оглушенный, я упал на постель, уткнулся в подушку и накрылся с головой шубой. Я забыл уж и бродяжку, и разбойников. Я все забыл, кроме одного — чтобы скорее пришли бабушка и Чуня.

Наконец на крыльце послышались возбужденные голоса, и почти одновременно зашумел сильный дождь.

— Ну, слава богу, успели. И как это я, старая, про них забыла, — говорила бабушка, зажигая лампу. — Ну, а ты-то как тут? Перепужался?

— Бросили меня, — захныкал я. — А он тут. У ворот стоит.

— Кто у ворот стоит? — встревоженно спросила Чуня.

— Да он. Бродяжка этот.

— Что ты, милок, опомнись, — сказала бабушка. — Это тебе от страха втемяшилось. Спит он сейчас, твой бродяжка, без задних ног. В нашей бане.

Вдруг ослепительная молния опять прорезала темноту. И почти сразу над самым нашим домом раздался оглушительный удар грома.

— Мне страшно! Я боюсь! — закричал я, падая на постель.

— Свят, свят, свят восподь Саваоф! — забормотала бабушка и начала поспешно крестить потолок, двери и углы сеней. — Не бойся, милый. Ничего не будет, только молитву читай. Как ударит молонья, ты сразу: «Свят, свят, свят!» Как гром грянет, ты опять: «Свят, свят». Не надо бояться.

«Свят, свят, свят! — повторяла она при последующих ударах грома. — Теперь уж ничего. Не страшно. И дождик, слава богу, пошел. Хлеба́ польет как следует».

При бабушке и Чуне мне уже не страшны ни гром, ни молния. Тем более что громыхало все реже и реже. Однако я все еще не мог удержать слез и, уткнувшись в подушку, продолжал хныкать.

— Да не плачь ты! Не плачь!.. В самом деле нехорошо вышло — оставили ребенка одного. Это я во всем виновата. Забыла про эти половики, пропади они пропадом... Ты уж не сердись на меня на старую, а я тебе про разбойников доскажу. Спать-то, поди, не хочешь?

— Нет, не хочу.

— Ну вот и хорошо. На чем мы остановились-то? Ах да... Поехал наш Меркульев в волость жаловаться, что ограбили его, а волостной начальник послал его обратно ни с чем. Сами, говорит, управляйтесь с этими разбойниками, а у нас, говорит, и без этого мороки много. С тем Меркульев и домой приехал...

Ну, тут собрались наши мужики. Поговорили, посудачили об этом, поахали всем обществом и разошлись... Так бы и дальше терпели этих грабителей, если бы не наш дяденька Антип.

Дяденька Антип богатырь был у нас. Осило́к! Все знали это. Идет он как-то раз весной вечерком по улице и видит: около Сычевых целая толпа народу. Одни борются, другие с двухпудовой гирей балуются, третьи за веревку тянутся. Увидели дяденьку и зовут его силенкой помериться. «Ну что ж, — говорит дяденька Антип, — давайте, — говорит, — потягаемся немного за веревочку... Беритесь с того конца, а я с этого». Схватились тут человек десять за один конец, а дяденька за другой. Уж они его и так, и этак. Куда там! Он как каменный. Ни с места. А потом взял да и потянул их. Они упираются изо всех сил, а он знай тащит их волоком по улице. Смеху-то сколько было. А опосля того взял у них гирю двухпудовую, помахал ею

да через всю улицу в огород к Лупановым и забросил. Шутка ли такое дело!

Бабушка замолчала, как бы собираясь с мыслями. Воспользовавшись этим, я спрашиваю ее:

— А какой он был, дядеиька Аитип? Большой?

— Да не так чтобы уж особенно большой. Вроде Ефима Ларионовича или Григория Щетиикова. Не больше. Только в плечах пошире... Раз поехал дядеиька Антип на целую неделю иа пашню. Вечером, после работы, выпряг коией, отвел их иа иочь иа траву и идет себе к стану. Вдруг иавстречу ему три человека. Все хорошо одеты, обвооружены. «Стой! — говорят. — Где кони?» Тут повел их дядеиька Антип к лошадям. Забрали они у него пару коией, привели на стаи, запрягли в его же телегу, а потом и советуются между собою, что им с дяденькой делать — пришибить его или живого оставить.

«Пусть он иакормит нас сиачала как следует, — решил один из них, видать, атаман ихний. — А там видно будет. Убить его мы всегда успеем. — А потом обратился к дяденьке Антипу и говорит: — Вари иам скорее похлебку! Да погуще! Хорошо накормишь — живого оставим».

«Ну, — думает дядеиька Аитип, — попал в переплет... Как кур во щи... Ладно, — думает, — двум смертям не бывать, одной ие миновать».

Потом берет баранью лопатку, режет в котел мясо, чистит картошку, крошит лук, все как полагается. Наливает из лагушки в котел воду и ставит на огоиь.

А разбойники следят за иим да все выхваляются. «От ваших кульчекских мужиков, — говорят, — иикакого прибытка. Только из-за харчей к вам и наведываемся. То ли дело, — говорят, — в татарах, за Енисеем. Там не тот фарт. Вот заглянули мы там последний раз к одному хозяииу, дай бог ему царство небесное. Чего только у него ие было... Двадцать рысей, четыре выдры, шесть соболей, две лисицы черно-бурых, три шапки камчатского бобра, десять аршин сукиа кармазиискового, пятнадцать аршин парчи — по зеленой земле цветы серебряные, две шубы тонкого сукна иа волчьем меху, опушены выдрой, не говоря о другой мелочи. Да денег без малого две тысячи. Вот это фарт был, ие то что в вашем Кульчеке руки марать».

Ведут такой разговор, а дяденьку все торопят: «Тебе что, — говорят, — жизнь иадоела, что ли, так долго валандаешься?» Тут вынимает этот ихний атамаи свой иож, берет этим ножом из котла кусок мяса и пробует прямо с

ножа. «Не готово, — говорит. — Вари еще! Да поторапливайся. Нам ждать тебя некогда». Тут дяденька Антип что-то смекнул. Притащил еще дров, пристроился рядом с этим атаманом и шурует под котлом. А атаман подождал немного и опять берет своим ножом из котла кусок мяса. Только поднес он нож с мясом ко рту, дяденька как стукнет его по руке. Атаман сразу запрокинулся и захрипел. А дяденька схватил котел с кипящей похлебкой и выплеснул ее прямо в лицо другому разбойнику. Третий видит, что ему несдобровать, бросился было бежать. Ну, куда там. Дяденька Антип схватил его и так ударил, что и дух из него вон. Вот как оборотилось это дело. Атаман, тот, конечно, сразу богу душу отдал. Третий, которого дяденька зашиб насмерть, оказался податаманьем. А второй — ошпаренный — остался живой. Но как бы не в себе. Ну, какой уж он после этого воитель. Тут дяденька погрузил их всех на телегу да и привез прямо в Кульчек.

Я слушаю бабушку и все больше и больше уверяюсь в том, что бродяжка, который поселился в нашей бане, из той же шерегешенской шайки. Мне хочется сказать об этом бабушке, но я боюсь прервать ее.

— Ну, тут сбежалась, конечно, вся деревня, — продолжает бабушка. — Видят, такое дело, решили всем обчеством кончать скорее эту шайку. Просят дяденьку: «Веди нас, Антип Евтифеич. А мы уж как-нибудь все за тобой».— «Да куда же я поведу? — отвечает им дяденька Антип. — Пусть этот ошпаренный ведет вас. Он знает к ним дорогу».

Оседлали наши мужики тут коней, взяли, у кого были, ружья, и повел их этот разбойник в Шерегеш. Приводит их в свое логово, а там уж никого нет. Видать, его товарищи уже унюхали, что дело-то не туда оборотилось, и смылись. «Куда они ушли? — спрашивает дяденька этого варнака. — Говори скорее, а не то и тебе будет крышка!»— «Пожалейте меня, несчастного, — говорит тот, — все скажу. Ничего не утаю. В Подлиственную гряду подались они. Там,— говорит,— у нас главное становище».

Вот приводит он наших мужиков в Подлиственную гряду, в самое глухое место, прямо к становищу. Там их всех и накрыли. Но только награбленного добра при них не оказалось. Сколько их там ни допытывали, все в один голос твердят: «Ничего не знаем. Не ведаем. Спросите об этом нашего атамана и его помощника. Они только и знают. А мы люди малые, подначальные. Мы ничего не зна-

ем. Одно только можем сказать, что все иаше богатство спрятано где-то у вас в Шерегеше».

Бились, бнлнсь с ними иашн мужики, ио так ннчего и не дознались. Потом прнехали в Шерегеш нскать этот клад. Все обшарнли, осмотрели, от устья до самой вершины. Но так ннчего н не нашли. Потом клад начали комские мужнкн искать. Много раз наезжали к нам в Шерегеш. Но выкапывали все какую-то ерунду — медные да железиые ножнки да глнняные горшки. Так ннчего и не иашли. А должен клад этот тут где-то быть. Вот только как до иего дойтн, ннкто не знает. Вон Кузьма Шахматов почти каждую весну какой-то огонь в Шерегеше по ночам вндит. Клад — не иначе. А поедет в то место — иичего иет.

Вот какие дела, мнлок, водилнсь в иашем Кульчеке. Теперь что. Теперь мы жнвем, благодаренье богу, тихо, спокойно. И поселенцев в деревне много, а ничего, жнвут себе, никого не трогают. Семьями обзавелись, заинмаются рукомеслом. Некогда баловаться-то. А бродяжки? Те тоже ннкого не обижают. И нх ннкто не трогает. Что возьмешь у бродяжкн? Пустой кошель да участь горькую. Несчастные они людн. Ох, ох, ох... Наговорнлнсь мы с тобой сегодня. И спать пора. Чуня, Чуня! Ты спишь?

— Она, бабонька, давно уж спит, — спешу я сообщить бабушке. — Как ты про дяденьку Антнпа начала рассказывать, она и уснула.

— Устала. Весь день в работе. Пусть спит...

— А бродяжка, который в иашей бане, был в той шайке? — спрашиваю я бабушку.

— Куда ему. Это ведь давно было.

— Нет! Он был в той шайке, — уверяю я бабушку, — мы со Спнрькой н Грншкой ведь вкделн, как он все иа иаш Шерегеш смотрел. И рубец у иего иа лбу. Это дяденька Антип его стукнул.

— Ну, ладно. Может быть, и дяденька, только другой. Спн пока!

И бабушка прикрыла меня шубой.

На другой день я с утра побежал на речку посмотреть бродяжку. Из банн внлся слабый дымок. Значнт, бродяжка был здесь. Я побежал к Крыснным, чтобы рассказать Спнрьке и Гришке о шайке разбойников, о кладе, спрятаином в иашем Шерегеше, н о том, что бродяжка пришел к нам в Кульчек разыскивать этот клад.

Но Спирьку я дома не застал. Его рано утром отец увез на пашню боронить. А Гришка так боялся бродяжки, что рассказывать ему о разбойниках было как-то неинтересно.

Огорченный отсутствием Спирьки, я пришел домой и увидел на дворе бабушку. Она толкала в корзинку нашу рябую курицу.

— Опять устроилась парить, — ворчала бабушка, — ужо я тебе попарю.

И бабушка решительно направилась с курицей на речку. А я увязался за нею.

Мы пришли на пруд и спустились с крутого берега вниз к мосткам, которые были как раз против нашей бани. Бабушка вытащила курицу из корзинки и начала ее курять.

— Вот тебе! Вот тебе! — приговаривала она каждый раз, погружая ее в воду.

Курица с криком рвалась из рук бабушки, захлебывалась при погружении в воду, снова рвалась и снова захлебывалась. А бабушка все куряла и куряла ее до тех пор, пока она не замолчала и совершенно не обмякла.

— Что, милая, накупалась? Ну, отдохни теперь, очухайся. А потом я тебя еще раз покуряю, — говорила бабушка, заталкивая курицу в корзинку. — Ты, милок, посиди с нею здесь, а я пойду посмотреть, как у Чуни отбеливается холст.

И, поставив корзинку с курицей на берег около мостков, пошла к мельнице, чтобы там перейти на ту сторону пруда.

Я остался один у мостков. Надо мной, на высоком берегу, стояла наша баня, и из нее вился слабый дымок. Значит, бродяжка здесь. Через некоторое время он вышел из бани с котелком в руках, постоял, осмотрелся по сторонам и стал спускаться по дорожке к нашим мосткам. На этот раз он был без повязки, и страшный рубец отчетливо выступал на лбу.

Я вскочил и не знал, что мне делать: бежать или оставаться на месте около своей корзинки? Оставаться мне было страшно, ведь я же уверил себя в том, что он был разбойник и душегуб. Уходить же отсюда было некуда. В этом случае я должен был лицом к лицу столкнуться с ним на дорожке. И потом, не оставлять же ему нашу курицу? За это бабушка по головке ведь не погладит.

Бродяжка остановился, нарвал небольшой пучок травы и прошел мимо меня на мостки. Здесь он стал ополас-

кивать свой котелок и оттирать его травой. Он несколько раз взглянул издали на меня, а проходя обратно, остановился и спросил:

— За что это вы с бабкой курицу-то казните?

Я не знал, как объяснить ему, и испуганно ответил:

— Это бабушка ее куряет, а не я. Она знает.

— Вы лучше зарубите ее на похлебку. Хорошая похлебка будет.

Не дожидаясь от меня ответа, он пошел наверх и скрылся в бане. Я еще долго стоял около мостков со своей курицей и посматривал наверх. Но бродяжка не показывался. Наконец пришла бабушка.

— Он здесь, в бане, — спешу я сообщить ей о своей встрече с бродяжкой, — страшный такой. Посмотрел на нашу курицу да и говорит: «Вы лучше зарубите ее на похлебку, чем курять».

— Ишь, какой умник. На похлебку. Без него не знают. Нам надо, чтобы она яйца несла, — сказала бабушка.

На этот раз курица не рвалась, не кудахтала и после нескольких погружений в воду совсем обмякла и перестала трепыхаться.

— Она захлебалась, бабушка! — с испугом закричал я.

— Ничего, очухается, — сказала бабушка и затолкала курицу в корзинку. — Теперь будет знать, как яйца парить. Пойдем домой! Неси корзину.

Проводив бабушку домой, я пошел на луг помогать Чуне караулить ее холсты от гусей. Почти весь день я провел там, посматривая на нашу баню. Я видел, как бродяжка ушел с сумой в деревню, как он возвратился обратно в баню, развел там огонь и, видать, что-то варил себе на ужин. Потом он еще несколько раз выходил из бани и возвращался обратно. И издали мне казалось, что он все смотрит на Шерегеш, как будто обдумывает, в каком месте спрятан там клад и как лучше пройти к тому месту. И мне было теперь совершенно ясно, что бродяжка пришел к нам разыскивать клад. Мне очень хотелось поговорить с кем-нибудь об этом, узнать еще что-то о разбойниках. Но говорить, кроме бабушки, было не с кем. А она, я хорошо знал, рассказывать больше о шерегешенском кладе не будет. К тому же и бродяжка вел себя не так, как следует настоящему разбойнику и душегубу. Он никого не грабил, никого не резал, не убивал, а ходил мирно по деревне и спокойно жил в нашей бане.

Вечером, перед самым сном, я еще раз побежал на реч-

ку. Издали мне показалось, что бродяжка сидит на пороге открытой двери бани. Я постоял некоторое время в ожидании чего-то важного и неожиданного и ни с чем возвратился домой.

На другой день я с утра увязался за Чуней на пруд, куда она понесла отбеливать холст. По дороге я рассказал ей, как мы с Спирькой и Гришкой первыми увидели бродяжку, который живет в нашей бане.

— Нету его в нашей бане, — ответила Чуня, — ушел твой бродяжка...

— Как ушел? Он вчера еще был.

— Вчера был, а сегодня уж нет. Пойди посмотри.

Я побежал. Отдушина около двери аккуратно заткнута куделей. Я осторожно открыл дверь и заглянул в баню. Она была пуста. Никаких следов, никакого мусора. Ничего-ничего. Но тепло. Только это и говорило о недавнем пребывании здесь прохожего человека. Неизвестно, откуда он пришел к нам и куда от нас удалился. Мне думалось, что он пошел искать клад в Шерегеш. А бабушка говорит, что он подался в другую деревню и обосновался там, как и у нас, в бане.

Глава 3
ПОСЕЛЕНЦЫ МАТЮГОВ И ИВОЧКИН

— Ты чего же это, Гаврило, думаешь? Ведь со дня на день пчелы начнут роиться, а у нас опять ни одной запасной колодки. Отроится новая семья, а нам ее не на что и отсадить. И опять уйдет молодой рой в тайгу.

— Сама видишь, все некогда да недосуг, — неохотно ответил отец, — то снасть вили, то полозья гнули. С одной мельницей сколько кутерьмы было. Теперь надо ехать боронить, а потом надо еще перелогу полдесятины поднять. Все дело да работа.

— Все дело да работа, — с упреком произнесла мама, — а в Убей рыбачить нашел время поехать. Это что — тоже дело да работа? И еще парня уманил с собой. Три дня проваландались там ни за что ни про что. Пустые ведь приехали.

— Так клева же не было.

— А когда он у вас там, клев-то, был! Как придет весна, так и бегут все сломя шею в этот Убей. Прямо наказанье какое-то. А потом являются оттуда ни с чем. И у всех один ответ: клева не было. Давай, завтра же поезжай куда хочешь и вези две новых колодки на два роя.

— Что же, в Шерегеш можно съездить. Там можно найти хорошие колодки.

В пояснение этого разговора мамы с отцом следует сказать, что мы уж много лет имеем свою пасеку. Вообще пчел у нас в деревне много, и редко у кого из справных хозяев нет своей пасеки. Есть пасека у Гарасимовых, у Рябчиковых, у Ермиловых, у Спирнных... Но самая большая пасека у дяди Ильи. Сколько пчел у дяди Ильи, никто не знает. У нас в деревне ведь такое поверье, что пчела — она божья труженица и счет себе не любит... Начни ее считать да медок учитывать, она возьмет да и переведется. Поэтому бесполезно спрашивать наших мужиков, особенно дядю Илью, сколько у них ульев. На такой вопрос у дяди Ильи всегда один ответ:

— Да бог их знает. Невдомек что-то. С осени-то десятков около двух было. Да уснуло зимой сколько-то. А сколько выставил — уж запамятовал. Не знаю, не знаю. Не соврать бы.

Но если у дяди Ильи, у дяди Ивана, у Гарасимовых и у других пчеловодов счет ульям держался в тайне, то у нас тут скрывать было нечего. Уж много лет мы тоже имеем пасеку. Но на нашей пасеке никогда не было больше трех-четырех ульев. В позапрошлом году мы выставили на лето три улья. Зимой два из них уснули, остался только один. От него прошлым летом отроилась хорошая семья. И теперь у нас на пасеке два улья.

Пчелами у нас раньше занимался отец. Занимался он ими очень просто. Отвезет весной колодки к дяде Илье на пасеку. Недели через три-четыре наведается посмотреть их. В сенокос заглянет за медком. А потом оставляет их уж до самой уборки на зимовку. Кончалось это плохо. Если пчелы роились, то новая семья никак не хотела прививаться на воткнутых невдалеке в землю сухих хворостинах и уходила в тайгу. Меду в ульях почему-то всегда было мало.

Теперь мама сама взялась за пасеку и стала аккуратно следить за пчелами. В прошлом году она отсадила хороший рой. Не дала ему уйти в тайгу. Пчелы благополучно перезимовали у нас в подполье, а с весны сразу вошли в

силу и стали хорошо работать. Теперь мама ждала от них два новых роя и требовала для них от отца колодки.

Вечером, когда мы все собрались за чаем, отец сказал:

— Ты, Конко, поезжай завтра под Тон. Перелог под Хмелевкой надо поднимать — затянули с ним. А после начнете с Акехой боронить.

— А чем я его поднимать-то буду? Сошник у сохи ведь не держится.

— Ничего. Мы вчера с Ворошковым на новый винт его закрепили. И новую гайку поставили. А сегодня я оттянул его как следует у кузнеца. Так что соха наша в полной исправности.

— А начинать бороньбу тоже будем под Тоном?

— Там и начнем. Я завтра в Шерегеш съезжу. Надо будет две колодки для пчел вырубить. А вечером мы с Акехой подъедем к тебе на пашню...

Тут я решил, что наступил подходящий момент попроситься с тятенькой в Шерегеш посмотреть те самые места, в которых скрывались разбойники. Может, там от них остались какие-нибудь следы и знаки. И я спешу использовать подходящий случай.

— А меня, тятенька, возьми завтра в Шерегеш за колодками, — обращаюсь я к отцу, стараясь придать своей просьбе самое ласковое выражение.

— Да ведь там комары тебя заедят.

— А я их, тятенька, не боюсь.

— Поезжай лучше с Кононом на пашню...

— Сильно он мне там нужен, — пробурчал Конон. — Будет весь день торчать на меже да ныть.

— Ну, куда я тебя возьму? Я верхом поеду, с одними передками от телеги. Ведь на передки тебя не посадишь?

— А я, тятенька, тоже верхом поеду. Сяду сзади тебя — и поедем вместе. Он ведь большой, Савраско-то. А в Шерегеше я помогать тебе буду.

В конце концов, не без помощи мамы, удалось упросить отца взять меня с собой. На другой день я вскочил очень рано. Но отец и брат, оказывается, встали еще раньше. Конон уже уехал на пашню, а отец снял телегу с передков и запряг в них Савраска.

Сразу после чая мы отправились в Шерегеш. И хотя мне было очень неудобно сидеть сзади отца, но я решил ни на что не жаловаться.

Сначала мы ехали деревней. Потом проехали Первый

лог, Второй, Третий и, наконец, доехали до Шерегешенского ключа. По этому ключу мы повернули прямо к вершине Шерегеша. Дорога все время шла на подъем густым лесом. Отец слез с Савраска и наказал мне ехать спокойно вперед. А сам пошел вслед пешком.

Теперь ехать было куда лучше. По мере того как мы поднимались вверх по ключу, горы становились круче и ниже. Гора с правой стороны была с каменистыми россыпями и утесами. Гора с левой стороны была хоть и крутой, но очень густо заросла лесом.

На одном из поворотов я увидел впереди высокую каменную стену, которая отвесно уходила вверх. Я догадался, что мы уже подъехали к Шерегешенской сопке, которая хорошо видна из Кульчека, вспомнил рассказ бабушки о том, что раньше здесь был сплошной кедровый лес, и сразу решил, что шерегешенские разбойники прятались в этом лесу.

— А где, тятенька, здесь разбойники жили? — спросил я отца.

— Кто их знает, где они тут жили. Они ведь только летом здесь прятались. А летом в тайге везде удобно. Соорудь где-нибудь в глухом месте шалашик около родника и живи себе спокойно. В молодые годы мы тоже разыскивали те места. И здесь, и со стороны Потайного ключика. Но так ничего и не нашли. На самом хребте, там есть, конечно, подходящие места. Спрятаться можно. Но ведь это очень далеко. Пока оттуда доберешься до деревни, и грабить никого не захочется.

— Они, тятенька, не на хребте, а здесь прятались...

— Где здесь?

— Здесь, на сопке. Здесь, говорят, ведь тайга раньше была. Глухая тайга. Вот они и прятались в этой тайге.

— Может быть, и прятались. Ну-ка ты, оголодал! — и отец с силой дернул за повод Савраска, который старался на ходу схватить и съесть какую-нибудь дудочку. Говорить о разбойниках отцу, видать, со мной не хотелось. Он передал мне повод и велел вести Савраска вперед, а сам подгонял его сзади длинной хворостиной.

Так помаленьку мы все поднимались да поднимались в гору. Шерегешенский ключ становился все меньше и меньше и еле струился на перекатах по каменьям. Вдруг одна гора сильно отошла в сторону, и на лугу, у самой горы, показалась низенькая избушка. Она была похожа на нашу баню и тоже не имела окон. От широкой двери под не-

большим поднавесом была протоптаиа дорожка к родничку. Рядом с избушкой виднелась большая куча вытопленного лиственного корья.

— Ну вот, приехали в гости к Матюгову и Ивочкину, — сказал отец и стал выпрягать Савраска.

А я побежал по дорожке к родничку. Его вода была ловко направлена в длинный желобок и тоненькой струйкой быстро-быстро катилась по нему, со звоном падая вниз, в образовавшуюся ямку. Вода была холодная-холодная и очень вкусная. Пить ее было бы совсем хорошо, если бы не эти проклятые комары. Они лезли в глаза, липли к рукам, впивались в шею. Несмотря иа это, я пил долго, ие торопясь, без передышки, а потом еще решил немного умыться.

Тем временем отец выпряг Савраска, спутал его, не снимая хомута, иа лужайке, а сам ушел в избушку Матюгова и Ивочкииа.

Избушка эта была срублена из толстых лиственных бревен. Потолок имел в середине иебольшой дымоход. Под иим на двух таганах висели два пустых котла. На стене, иа толстой спице, висели два мешка с имуществом хозяев. В углу были сложены друг иа друга несколько больших круглых плит вытоплеиной серы. Постелью служила постланная на землю толстым слоем сухая трава. У входа около двери лежало три увесистых топора и два больших чугуна для перетопки серы. Один чугуи был почему-то с выбитым дном. В избушке было прохладно, приятно пахло серой, дымом и хлебом.

— Чего стоишь в дверях, — сказал отец. — Заходи, отдохни на прохладце.

Я вошел в избушку и подсел к отцу. Так вот как оии живут в тайге, эти Матюгов и Ивочкин.

Матюгов и Ивочкии были в иашей деревие бобылями. С самой весны до поздией осеии они промышляют серой в тайге — рубят особеиио сернистый листвяг и перетапливают на серу. Эту серу они сдают потом Яше Браверману по два рубля пятьдесят копеек за пуд. Иногда они пилят кому-нибудь тес в деревне. А зимой живут у Рябчиковых — ходят за скотом, помогают по хозяйству.

Я еще раз осмотрел их избушку и обратился к отцу с вопросом:

— Они, тятенька, ведь поселенцы?

— Ты же зиаешь, что оии поселеицы, — недовольио ответил отец.

— Я хотел спросить, за что они сделались поселенцами? Они что, разбойниками были?

— Какие там разбойники. Матюгов по пьяному делу кого-то в драке пришиб. Вот и гонит теперь серу в тайге...

— А Ивочкин?

— Тоже что-нибудь наделал. Он ведь и сейчас еще чуть что — и хватается за нож.

— А почему они, тятенька, одни живут?

— А кто их знает. У Матюгова дочь в Яновой. Семьей живет с ребятишками.

Отец выколотил трубку о лежащее полено и стал прочищать чубук длинной травинкой.

— Там ведь работать надо, — сказал он, немного подумав. — Хочешь не хочешь, а каждый день надо впрягаться в мужицкую лямку. Ведь какое ни есть, а хозяйство. И заработка там нет. А если какая копейка и навернется — надо все отдавать. Ведь семья. А тут он недели три-четыре работает, как каторжный, а потом гуляет, пока не пропьется до копейки.

— А Ивочкин?

— У Ивочкина тоже семья в Глядене. Пока дети были малые, он дома жил. Жену бил, ребятишек тиранил. А как те подросли, так и выперли его. Вот он и заявился в Кульчек. Уж который год гонит с Матюговым серу. Листвягу повырубили — счету нет.

— А правда, что Ворошков был у нас атаманом разбойников?

— Какой он атаман. Он плотник хороший. Мастер на все руки, а не атаман. Ну, пойдем, брат. Пора.

Отец встал, прикрыл за собой дверь в избушке, потом взял с наших передков топор, и мы пошли еле заметной тропинкой в гору.

Чем выше мы поднимались, тем чаще стал встречаться нам валежник. Около каждого сваленного ветром дерева виднелась большая яма от вывороченного корня.

Но еще больше было срубленного леса. Его рубили, видать, в разное время и без всякой надобности. Казалось, вслед за бурей, валившей большие деревья, прошел еще более сильный ураган, который не валил, а рубил лес. Куда ни взгляни, везде виднелись срубленные деревья. Одни из них уж совсем сгнили, другие были еще крепкие. И на них сохранились толстые, неуклюжие и довольно прочные сучья. По большому числу срубленных и повален-

ных ветром деревьев можно было понять, что здесь был когда-то вековой лес. От него сохранились теперь только одинокие корявые лиственницы, которые кое-где высоко поднимались над молодой порослью.

Наконец мы выбрались на самый гребень горы, прямо к дереву, которое показалось мне особенно большим. И почему-то напомнило бродяжку, который жил в нашей бане. Это была старая, уже высохшая лиственница. Ее вершина была сломлена, может быть, ветром, а вероятнее всего, молнией во время грозы. И от этого ее редкие сучья казались еще крупнее, еще крепче.

От этой лиственницы мы пошли уже гребнем горы. Теперь картина погубленного леса еще шире развертывалась перед нами. Я шел сзади отца и стал считать поваленные деревья, но очень скоро сбился со счета.

На одном бугорочке, над самым обрывом, отец присел закурить. Справа виднелась голая вершина Шерегеша. Отсюда он выглядел почему-то совсем не так, как с нашей пашни под Тоном. Оттуда Шерегеш кажется высоким-высоким, уходит прямо в небо. А здесь он был совсем низеньким. И, главное, очень близко. Подняться еще немного, и мы почти на вершине. За ней из-за сопок торчала мохнатая шапка Атаман-горы.

А стрелка, убегающая вниз, была вся усыпана черными пнями и поваленными деревьями. И почему-то на ней не росло никакого подлеска.

— Сколько листвягу варнаки вырубили, — сказал отец, раскуривая трубку. — Лень пашню-то пахать, вот и нашли себе заработок — серу ковырять.

— Это все Матюгов и Ивочкин? — спросил я отца.

— И до них рубили. Вон видишь старые-то пни. Их ведь не так уж много. А эти варнаки ведь все начисто валят. Тут по стрелке густой листвяг был. Вот они его подряд и сняли. Гляди, стрелка-то голая совсем стала. Как будто корова все языком слизала.

— А почему этот валежник никто не везет отсюда домой на дрова? — донимаю я отца.

Но отец настроен сегодня добродушно и терпеливо отвечает на мои вопросы:

— Какой расчет... Березняку-то у самой деревни сколько хочешь. И в Первом логу, и во Втором и в Третьем. Под самым носом. Вот и рубят его там. А этот валежник так и сгниет здесь. Ни богу свечка, ни черту кочерга... Ну, давай, брат, пойдем, — сказал отец, вставая. — Видишь, лес-

то как бы переваливает через наш гребешок. Там мы и начнем искать колодки.

Мы встали и направились к тому месту, где оказался почему-то один осинник. Отец быстро нашел в нем высокий сухой пень и долго осматривал его со всех сторон, стучал по нему обухом.

— Не дошел пенек... Не прогнил изнутри как следует. Пусть постоит еще годик-два. Нам ведь надо хорошее дуплистое дерево.

Не особенно далеко от этого места мы наконец нашли нужное дерево. Отец опять долго осматривал и обстукивал его. Потом быстро свалил на землю.

— Теперь давай, брат, беги к избушке за Савраском. Да не забудь веревку захватить. Не заблудишься?

— Не заблужусь. Я до той сухой лиственницы добегу, а от нее сразу вниз тропкой прямо к избушке. А оттуда я сяду на Савраска да тем же путем сюда.

— Правильно. Да не бойся там. А может, тут останешься, я сам схожу?

— Нет, нет! — испуганно сказал я. — Ты лучше еще руби здесь колодки, а я побегу. Я скоро.

— Ну, тогда валяй. Я тебя немного провожу.

Отец воткнул топор в срубленное дерево и проводил меня до того места, на котором у него был по дороге сюда перекур. Он остался на бугре, а я пошел гребнем горы до старой лиственницы. Тут я остановился и посмотрел назад. Отец стоял на том же месте и помахал мне рукой. Я тоже помахал ему и побежал тропкой под гору. Вон внизу уж широкая луговинка, на которой виднеется передок нашей телеги. А вот и избушка. Я бодро огибаю ее и... лицом к лицу сталкиваюсь с Матюговым и Ивочкиным. Они сидят возле дверей на бревне. Рядом с ними лежат на земле два огромных мешка с лиственным корьем. Встреча с Матюговым и Ивочкиным оказалась для меня столь неожиданной, что я растерялся и не знал, что делать.

Я понимал, конечно, что мне надо поздороваться и начать какой-то разговор с ними, объяснить им, что мы приехали сюда с тятенькой за колодками, но у меня почему-то не находилось нужных слов. Сказать по правде, я боялся Матюгова и Ивочкина. В деревне они живут как-то наособицу, с ребятами держатся неприветливо, никогда с нами не разговаривают, не шутят.

Нынче весной они пилили лес у Сычевых. Мы со Спирькой и Гришкой подошли посмотреть. Небольшой, коренастый, в опорках на босу ногу Ивочкин стоял высоко на козлах на бревне и равномерно поднимал вверх и опускал вниз длинную маховую пилу, а высокий кудлатый Матюгов сильным рывком тянул эту пилу вниз, а потом толчком посылал ее вверх Ивочкину. При каждом его рывке вниз пила на целый вершок уходила в глубь бревна, и из него била сильная струя опилок. Время от времени Матюгов оставлял работу, подходил к стоявшему невдалеке ведру с квасом, прикладывался к нему и подавал его потом наверх Ивочкину. В одну из таких остановок он взял топор и несколько раз ударил им по клину в разрезе бревна.

— Ты что, кажу́, делаешь?! — закричал сверху Ивочкин. — Весь рез, кажу, разворотил! Пропадет теперь и тесина, и горбыль!

Он слез с козел, посмотрел снизу вверх на бревно, плюнул с досады в сторону и вдруг неожиданно набросился на нас:

— Чего вы тут, кажу, вертитесь! Идите отседова! А то я вас, кажу!

Мы бросились бежать.

— Кажу да кажу... Вот тебе и кажу, — обиженно сказал Спирька, когда мы отбежали в сторону. — Ишь, какой сердитый выискался.

Матюгов и Ивочкин недели две еще пилили тес у Сычевых, но мы и близко к ним не подходили. Мало ли что взбредет им в голову. И вот теперь я вплотную столкнулся с ними, да еще на их лужайке. Вдруг Ивочкин ни с того ни с сего опять рассердится на меня?.. «Уйти скорее отсюда, — соображаю я. — Сесть на Савраска и скорее к отцу».

— Ты чего тут, кажу, делаешь? — спросил меня Ивочкин.

— Мы с тятей за колодками приехали, — поспешил ответить я.

— А ты чей будешь? — спрашивает меня еще раз Ивочкин.

— Что, не видишь? Гани Трошина парнишко, — ответил за меня Матюгов и в свою очередь спросил:

— А отец-то где?

— Отец-то тут на горе. Колодки рубит. А я за Савраском...

Не ожидая дальнейших расспросов, я спешу уйти по-

скорее от избушки, чтобы взять Савраска и отправиться к отцу.

Но, на мою беду, Савраски почему-то нет. Я кручусь по лужайке туда-сюда, подбегаю к передкам, к родничку, к тропинке в деревню и окончательно решаю, что он подался от гнуса домой в Кульчек. Я хочу уже бежать за ним вниз по ключику, как вдруг слышу голос Ивочкина:

— Что, потерял коня-то? Во-о-он он, твой Саврасый. В кусты залез. От гнуса спрятался.

Я смотрю на сплошную стену из кустарника, густо проросшего дурниной, на которую показал мне Ивочкин, и не могу сообразить, где там укрылся мой Савраско. Но тут я уловил глухое бряканье удил на его уздечке и сразу же бросился в гущу мелкого тальника. Савраско стоял здесь, уткнув голову в высокую дурнину, отчаянно отмахиваясь хвостом от одолевающего его гнуса.

Ему приходилось действительно туго: грудь, подмышки, подглазницы и все другие уязвимые места были сплошь залеплены мошкой, комаром, слепнями. Огромные пауты с сердитым жужжанием кружились над ним.

Когда Савраско увидел, что я разыскал его, он даже проржал мне что-то такое, что на его лошадином языке должно было означать: посмотрите, люди добрые, что делается... Совсем гнус одолел...

Я прежде всего обтер его, мои ладони сразу покрылись кровью. Савраско благодарно терся о меня своей головой. Потом я распутал его и повел из дурнины. Но тут он стал жадно хватать все, что можно было съесть... Он не выбирал сочные зеленые травинки, которые прорастали в дурнине, а жадно хватал все, что попадалось ему, даже сухие прошлогодние дудки.

Все-таки я кое-как вывел его из кустов. Потом напоил в родничке и только после этого подвел к нашему передку от телеги. Тут я взял из торсука помазок с дегтем и стал смазывать ему все изъеденные места. Савраско сразу забыл о своем голоде и стал опять благодарно тереться о меня головой. Он спокойно стоял, пока я смазывал ему под мышками, под брюхом, подглазницы, и только болтал головой вверх и вниз, вверх и вниз, отпугивая мошку. Но как только я кончил смазывать его, он опять с жадностью начал щипать подножную траву.

Теперь мне оставалось только взять с передков веревку. Ее я, как полагается в таких случаях, привязал к шлее, потом подвел Савраска к передку телеги, чтобы

сесть на него с колеса. Пока я влезал на колесо, он потянулся щипать траву и отошел в сторону. Тогда я опять подвел его к передку и полез на колесо. А он снова потянулся за травой и опять отошел в сторону. Он не вырывался, не лягался, не грозился укусить меня, просто не признавал меня, с жадностью хватая поблекшую траву, как будто век не ел ничего. Тогда я решил взнуздать его, чтобы мне легче было с ним справиться. Ткнув его несколько раз ногой по морде, я заставил его оторваться от травы и попробовал всунуть ему в рот удила. Но Савраско стиснул зубы, а потом задрал голову так высоко, что я не мог уже дотянуться до его морды.

«Эх, Савраско, Савраско! — с горечью думал я. — Напоил тебя как следует, смазал дегтем от гнуса... А ты!»

Тут я вспомнил, что отец давно уж ждет меня около своих колодок, и попробовал еще раз сесть на Савраска. Но и на этот раз у меня ничего не вышло. Тогда я с досады изо всей силы стегнул его по морде. Но Савраско только и ждал этого, чтобы совсем отделаться от меня. Он бросился в сторону, как будто испугался меня, а потом как ни в чем не бывало опять стал спокойно щипать траву. Теперь, как только я пробовал подойти к нему и взять его за повод, он угрожающе повертывался ко мне задом. Тут я уж совсем не знал, что делать. Идти одному к отцу, а Савраско тем временем может податься отсюда домой в деревню. Ждать отца здесь?.. Кто знает, когда он придет. И в том и в другом случае он сильно рассердится. В отчаянии я все кружился и кружился вокруг Савраска и даже не заметил, как начал плакать.

Это заметил Матюгов. Он подошел к Савраске, схватил его за повод, ударил коленом под брюхо и сердито прорычал:

— Ну-ка, ты, волк идринский! Оголодал!

Савраско и после этого попробовал было схватить какую-то дудочку, но Матюгов так рванул за повод, что у него отпала всякая охота тянуться за травой. Потом Матюгов взнуздал его, поправил на нем хомут и привязанную мной веревку. Теперь Савраско стоял смирно на месте и ждал, что Матюгов будет делать дальше. А Матюгов схватил меня под мышки и посадил на него. Потом взял с земли увесистый прут, подал его мне и сказал:

— В случае чего — бей его этой штукой. А то он вызнал тебя. Видит, что ты еще маленький. Ну-ко, ты у меня! — пригрозил он Савраске, взял его за повод и вывел

на тропинку в гору. — Ну, давай теперь. Поезжай. Отец-то уж ждет там тебя.

Он еще раз огрел Савраска подобранной на земле хворостиной и крикнул мне вдогонку:

— Давай, давай! Шевели его как следует.

Я крепко натянул повод и, по совету Матюгова, изо всей силы ожгнул Савраска своим прутом. Он приложил уши и послушно пошел в гору. По дороге он пробовал хватать на ходу сухие дудки, но я каждый раз сразу же стегал его своей хворостиной. На горе под старой сухой лиственницей я увидел отца, который, видать, уж давно ждал меня здесь.

— Чего ты там валандался? — недовольно спросил он.

Я рассказал ему о своих злоключениях и о том, как Матюгов помог мне справиться с ним. Мне думалось, что отец похвалит меня за это. А он в ответ только пробурчал, что солнце уже перевалило за обед, что ехать домой нам далеко и что поэтому надо пошевеливаться.

Мы сразу же отправились к сваленному дереву. Отец уже вырубил из него длинное ровное бревно, из которого можно сделать две колодки для пчел. Теперь он подцепил его на веревку. А веревку крепко привязал к гужам. Потом посадил меня на Савраска, для чего-то стукнул еще несколько раз по бревну обухом и сказал:

— Поехали!

Я осторожно тронул Савраска. Он легко взял с места и потащил наше бревно волоком по земле.

Перед спуском к избушке мне опять пришлось проезжать мимо этого высокого окостеневшего дерева, которое одиноко маячило на горе. Мне хотелось постоять около него, посмотреть кругом на Шерегеш, на окружающие горы. Но я боялся, что отец рассердится на меня, и только поглядел на это дерево и как-то особенно сильно ощутил его пронзительный вид.

Матюгова и Ивочкина мы застали за обедом. Они сидели на земле перед своей избушкой и хлебали из одного котла какое-то варево. Пока отец привязывал привезенное бревно на передок телеги да запрягал Савраска, я пристроился недалеко от них в сторонке и стал прислушиваться к их разговору.

— Надоело мне тут валандаться, — ворчал Матюгов.—

Ворочаем, ворочаем эту тайгу как каторжные, а заработок... концы не сводим. На харч не хватает.

— Вот я и говорю — уходить надо, кажу, отсюдова,— убеждал Матюгова Ивочкин. — На хороший листвяг уходить надо, кажу. Вон на Блече одно дерево лучше другого. Стоят как свечки! Залиты серой! Свалил три-четыре комля — и пуд серы.

— Устал я твои комли валить. Весь вымахался здесь в Шерегеше. Не могу больше! Живем как псы безродные. Голову приклонить негде. Поеду в Яиову к дочери. Может, не прогонит на старости лет.

— Ну, а мне, кажу, не к кому податься, — решительно заявил Ивочкин. — Баба умерла, царство ей небесное, не добром будь вспомянута. А дети... А дети, кажу, из дома выгнали. Видно, мне на роду написано подыхать в тайге. А в тайге подыхать все одно — что в Шерегеше, что, кажу, в Блече... Ты как думаешь, Гаврило, насчет этого? — обращается он к отцу.

— Да о чем разговор-то? — спрашивает отец. Он уже привязал бревно к передку телеги, запряг Савраска и, перед отъездом, подошел перемолвиться словечком с хозяевами.

— Да вот, кажу, уговариваю Матюгова уходить отседова. В Блечу советую податься. На хороший листвяг. А здесь даже на харч не вырабатываем. Из долгов у Рябчиковых не можем выкарабкаться.

— Листвягу совсем не стало, — добавил Матюгов.

— Сами же все вырубили, — возразил отец, — ну и пеняйте на себя. До вас тут по хребту-то настоящая тайга была. Между прочим, дача-то здесь, мужики, ведь кульчекская — общественная. Ведь обчество-то, оно смотрит, смотрит да и расчет потребует!

— Ну, расчет с нас, кажу, надо было требовать раньше, — возразил отцу Ивочкин, — когда у нас здесь заработок был. Тогды мы обчеству, кажу, запросто ведро водки могли выставить. А теперь мы сами ее, злодейку, только по большим праздникам видим. Теперь обчество от нас, кажу, и шкалика не дождется. Не тот прибыток. Уходить надо отседова. В Блечу надо переходить. Там листвяг хороший.

— Но Блеча-то ведь в казенной даче,— сказал отец.— Придется в лесничестве билет брать на порубку, а то морока у вас с этим делом начнется. И так, говорят, объездчик зуб на вас точит.

— А ему какое, кажу, дело. Что ему — тайгу жалко? Мы ее рубим, а она, кажу, растет. Вон гляди, в Мохнатеньком на нашей вырубке какой листвяг. Через два-три года не продерешься.

— Через два-три года от него там ничего не останется. Все повырубят на дрова. А насчет Блечи вам, мужики, виднее. Листвяг там действительно хороший. Только это ведь далеко. Место глухое. На зверя легко напороться. Случись что, и в деревню не выберешься.

Отец встал и обратился ко мне:

— Ну, брат, поедем.

Мы подошли к Савраске. Отец посадил меня верхом и наказал не считать по дороге ворон, а смотреть как следует вперед, чтобы не напороться на какой-либо пень или колоду. Потом взял свой топор, засунул его за опояску и коротко сказал:

— Трогай!

— Постой, постой, Гаврило! — услышали мы от избушки голос Ивочкина. Он подошел к нам. — Забыл, кажу, попросить тебя. Забеги там, пожалустова, к Рябчиковым. Весь харч, скажи, вышел. Пусть завтра привезут хлеба, мяса, картошки. Самим в деревню идти — день терять. Да и серу отседова надо, кажу, вывезти. Тут у нас без малова пудов пять накопилось. Не тащить же на себе такую тяжесть.

— Матюгов здоровый, притащит.

— Здоров-то здоров, да уж не тот. Гайка-то, кажу, начинает сдавать. Грозится уйти в Янову к дочери.

— Ну, у дочери он долго не засидится, — сказал отец. — Поживет месяц-другой и сбежит. После такого приволья нянчить внучат да поросят кормить ему не понравится. А крестьянскую работу ворочать он не любит.

— Это верно. К крестьянству мы с ним, кажу, непривычны. Любим жить без домашней упряжки. А все же оставаться в тайге одному как-то сумлительно. Особенно в Блече.

— А ты не сумлевайся. Никуда он от тебя не денется. А если и уйдет, то все равно недели через две-три заявится обратно.

— Так не забудь, к Рябкам-то забеги.

— Забегу, забегу. Сразу же с дороги и зайду. Ну, трогай!

Дорогой я уже не высматривал места, где могли пря-

таться разбойники. Глядя на черные пни, которыми были усеяны горы против сопки, я думал о том, что, может быть, в старые годы здесь шумела кедровая тайга. А одинокие лиственницы, кое-где маячившие на хребте, напоминали мне высокое сухое дерево, которое одиноко стоит на голом хребте над избушкой Матюгова и Ивочкина.

Домой мы приехали уже поздно. За день я очень устал и уснул за чаем, не выходя из-за стола.

Ночью мне снился Шерегеш, лужайка с избушкой Матюгова и Ивочкина. Я с трудом продираюсь через валежник на голый гребень горы, где маячит старая сухая лиственница. И тут я вижу, как к ней медленно подходят два огромных мужика с топорами в руках. Я сразу узнаю в них Матюгова и Ивочкина. Они не торопясь подходят к дереву, обстукивают и обслушивают его со всех сторон. Потом вдруг сразу, как бы сговорившись, начинают в два топора с двух сторон рубить. Я хочу крикнуть им, чтобы они пожалели дерево, но у меня вдруг пропадает голос, хочу побежать к ним, удержать их — и не могу сдвинуться с места. А Матюгов и Ивочкин все рубят и рубят лиственницу, удары их топоров все сильнее и больнее отдаются в моих ушах. Вдруг послышался пронзительный скрип. Дерево качнулось, последний раз взмахнуло своими окостеневшими сучьями и со стоном рухнуло на землю.

Я закричал от страха и проснулся.

Глава 4
НА БОРОНЬБЕ

На другой день пришел к нам дядя Илья и завел с отцом длинную речь о своем работнике.

— Панкрашка, сукин сын, подвел меня, — жаловался он отцу. — Ушел в Безкиш к Митрофану Копылову. Знаешь, за речкой живет. К нему, подлюга, и ушел. Как, говорю, тебе не стыдно... Три года держал тебя, поил, кормил, как родного. А ты чего? Нанимался до покрова, деньги выбрал вперед, а теперича нате — перед самым сенокосом уходишь! Уж стыдил я его, стыдил, а ему хоть бы что. Вылупил глаза и бубнит одно: «Ухожу, и баста...» Вот как нынче пошло! Когда ты нужен, у тебя канючат: ссуди, дя-

дя Илья... Подмогни. А когда взяли, так и в глаза не смотрят. Совсем испортился народ. Изнахратился!

— А Лукерья-то где? — спросил отец. — Ее тоже чтото у вас не видно.

— И Лукерья тоже раньше времени ушла. Как похоронила брательника, так и ушла. Вот и остались мы с Марьей одни. Туды надо, сюды надо. И на пашню, и на пасеку, и покос уж на носу. Хоть разорвись! Вот и пришел к вам одолжаться. Может, отпустишь Акентия поборонить денька на два? Все равно парнишко до покоса без дела. А мы с ним за два-то дня все и в Облавном, и под Тоном уборониим.

Дядя Илья приходится троюродным братом отцу, а тетка Марья — двоюродная сестра дяди Ивана Ермилова. Так что кругом родня получается.

Но главное не в этом. Бывает, что родня близкая, а отношения далекие. Наша близость с дядей Ильей объясняется тем, что отец и дядя Илья в одних годах, вместе росли, оба охотники, вместе ездят белковать, рыбачить, медвежатничать. И, окромя того, мы соседи.

Живет дядя Илья через дом от нас, рядом с Крысиными. Дом у дяди Ильи крестовый, под шатровой крышей. Около дома двое ворот. По одну сторону ворота большие, нарядные, с узорами, с калиткой на железном засове. С другой стороны ворота похуже. Они хоть и исправные, но через них в ограде все видно как на ладони. В первых воротах у дяди Ильи открывается только калитка у самого крыльца, а сами ворота заколочены наглухо. Похоже, что они дяде Илье и не нужны, а поставил он их только для форсу, чтобы все видели, что у него такие же ворота, как у Меркульевых, у Родивоновых, у Точилковых и у других богатых мужиков.

А через вторые ворота дядя Илья въезжает во двор, загоняет и выгоняет скотину. Хоть ворота эти и похуже, а все-таки они у него, выходит, главные.

На дворе у дяди Ильи несколько амбаров, баня, избушка. На цепи около амбаров бегает собака. Эта собака очень злая и все норовит сорваться с цепи и искусать чужого человека. Кроме того, у дяди Ильи есть еще три кобеля белой масти и сучка Пальма. Эти собаки совсем не злые. Они, конечно, тоже на всех лают, но лают как-то беззлобно, главным образом для того, чтобы дядя Илья не думал, что напрасно их кормит. А сучка Пальма совсем хорошая собака. Как придешь к ним, она так и ластится.

Дядя Илья очень балует Пальму за то, что она хорошо ищет ему белок в тайге.

На другой день дядя Илья пришел за мной ни свет ни заря, поднял прямо с постели и повел к себе. А дома у него уж и конь в телеге, другой уж под седлом, и еще два в хомутах. А у тетки Марьи уж и самовар готов. Она ласково сажает меня за стол, наливает мне чашку горячего чая, подает сливочник с молоком, угощает горячими блинами и придвигает маленькое блюдечко с медом. Понимает, что я боронить у них буду.

Я, конечно, немного стесняюсь и не сразу соображаю, что мне надо поторапливаться. Дую на горячий чай и на горячие блины и ем довольно-таки вяло.

А у дяди Ильи все получается как-то быстро. Не успел я оглянуться, как он уж опрокинул две чашки чая и проглотил несколько блинов.

— Ну, вот я и набросался. — И выходит из-за стола. Потом размашисто крестится на божницу, тяжело вздыхает и говорит: — Так давай, Кено, поторапливайся. А я буду помаленьку за ворота выезжать.

Через минуту я слышу: на дворе уж заскрипели «главные» ворота и радостно залаяли собаки. Гляжу в окошко: дядя Илья выводит на улицу коня, запряженного в телегу с боронами. Первая борона положена на телегу зубьями вверх, на ней вторая борона зубьями вверх, на второй бороне третья борона, и тоже как будто зубьями вверх. И все они привязаны к телеге веревкой. «Как же дядя Илья поедет на телеге... — соображаю я. — Неужто на зубья сядет?..»

А дядя Илья уж входит в дом, берет у тетки Марьи мешок с хлебом, котелок с чашками и ласково говорит:

— Ну, поедем, Кено. По холодку.

Тут я торопливо допиваю свою чашку, выхожу из-за стола, молюсь на божницу и поспешно одеваюсь.

— Ну, с богом, — говорит дядя Илья. Он берет свой мешок в левую руку и опять начинает размашисто креститься на божницу. И опять почему-то тяжело вздыхает. Потом вопросительно смотрит на меня. — Тебя что же, не учат богу-то молиться? Молиться ему надо, когда на пашню-то едешь.

Тогда я торопливо крещусь несколько раз на образа.

— Вот так-то лучше будет, — удовлетворенно говорит дядя Илья, надевает на голову старую замызганную войлочную шляпу и выходит в сени. Я следую за ним.

В сенях тетка Марья сует мне за пазуху несколько стряпушек и на мой недоуменный взгляд шепчет:

— Бери, бери! Голодный ведь вышел из-за стола-то. В дороге съешь.

Наконец мы выходим на крыльцо.

Три белых кобеля и ласковая сучка Пальма ждут здесь дядю Илью, чтобы сопровождать его на пашню. Они следят, куда он повернет с крыльца. Направо в калитку или налево, кругом дома, в ворота. А дядя Илья посмотрел на них и спросил тетку Марью:

— Собак-то кормила?

— Простокваши давеча наливала и хлеба по ломтю отрезала.

— Всякую тварь приходится кормить, — не то мне, не то самому себе говорит дядя Илья. — На доху держу. По масти подходят. Осенью думаю Сивоплеса звать да обдирать их...

— И Пальму тоже обдирать? — спрашиваю я дядю Илью.

— По масти не подходит. Хочу белую доху соорудить. А потом, Пальма за белкой, брат, хорошо идет. А этот падловник только на доху и годится.

И дядя Илья с досадой пнул одну из собак, которая с радостным визгом подпрыгивала перед ним, пытаясь лизнуть его хотя бы в бороду.

Как только дядя Илья повернул со своего крыльца кругом дома, собаки бросились вперед, выскочили на улицу и, не видя там никого из проезжающих, набросились на своих лошадей. Они лаяли на них оглушительно, но совершенно беззлобно, то ли потому, что им сильно хотелось лаять, то ли для того, чтобы показать свое усердие дяде Илье.

Однако дядя Илья не обратил на них внимания. Он подошел к телеге и тщательно упрятал свой мешок куда-то между борон, проверил, крепко ли стоит в задке телеги лагушка с водой, потом принял из рук тетки Марьи два старых шабура и шубенку, аккуратно свернул их комом и так ловко положил на телегу, что у него получилось удобное сиденье над зубьями борон. Потом он отвязал от задней оси оседланного Пеганого, схватил меня под мышки и одним махом посадил в седло.

— Ну, борноволок, держись! Конь смиренный. Только кусается немного. Так ты не зевай около него. А то как бы не тяпнул. Ну, ты! Смотри у меня! — погрозил он Пеганому, заметив, что тот угрожающе прижал уши. — Я те-

бе покусаюсь!.. — и ткнул коня кулаком в морду. Остальных двух коней дядя Илья привязал сзади за моего Пеганка, так что они оказались у меня на поводу — один с правой, другой с левой стороны.

Потом дядя уселся на телегу над своими боронами, вооружился длинной хворостиной, взял в руки вожжи и многозначительно произнес:

— Ну... с богом!

И тронулся с места. Собаки с радостным лаем бросились вперед. Я тоже стегнул Пеганка, и он послушно двинулся вслед за дядей Ильей. Но лошади на поводу за мной стали упираться. Им не хотелось идти за моим Пеганым. Особенно рыжему коню. Он задрал голову и просто не хотел двигаться с места.

— Давай, брат, давай! Не отставай! — начал торопить меня дядя Илья. — Или нет, постой!

Тут дядя Илья что-то передумал, слез с телеги и направился ко мне.

— Этот волк всю дорогу будет тянуться. Того и гляди, чимбур оборвет. Вот навязалась на мою шею скотинушка. Добрых коней волки дерут, а на это падло и зверь никакой не зарится.

Дядя Илья отвязал рыжего коня, повел его к своей телеге и привязал за заднюю ось. Потом, для пущей верности, взял еще и надел ему на шею веревку с петлей, но сделал так, чтобы петля эта насовсем не затягивалась.

— Ну-ко, попробуй теперь потянись! — сказал он со злорадством и уже по-настоящему уселся на телегу. — Ну, с богом! Поехали!

И огрел своего коня хворостиной. Тот с места взял крупной рысью. Рыжий конь попробовал было упираться, но веревка так сдавила ему шею, что он сразу сообразил, что теперь ему придется как следует бежать за телегой.

Но все-таки по деревне мы ехали не особенно быстро. И я, конечно, старался не отставать от дяди Ильи. Ехать на Пеганке верхом было довольно тряско, но, с другой стороны, и почетно. На пашню ребятишек в мои годы возят обычно в телеге. А я еду верхом, в седле, совсем как взрослый, да еще веду за собой на поводу другого коня. Деревня наполовину еще спит, на улице никого не заметно. Но мне почему-то казалось, что из некоторых домов на нас все-таки посматривают и видят меня на дядином Пеганке.

Когда мы выехали за деревню, дядя Илья сразу начал подстегивать своего коня, и мне надо было все время поспевать за ним. И тут я скоро узнал, какой тряский конь этот Пеганко. На свою пашню и с пашни меня сажают на нашего Гнедка. Вот конь! Бежит рысью легко и мягко. А этот так топает, будто хочет из тебя все потроха вытрясти. Но что поделаешь. Такая уж у него рысь. А потом, на телеге у дяди Ильи мне все равно нет места. На железные зубья ведь не сядешь. Поэтому я хоть и трясся на Пеганке, но все-таки кое-как крепился и старался веселее смотреть по сторонам.

А три дядиных кобеля с веселым лаем гонялись по полю друг за другом. Они беззаботно резвились и кувыркались, не подозревая о том, что осенью дядя Илья позовет Сивоплеса и тот обдерет их на доху.

Когда мы проехали Шерегешевский ключ, на поле у дороги стали появляться сурки. Собаки начали бегать за ними. Загонят зверька в нору и давай вырывать его оттуда. Роют с великим старанием. Аж земля летит вверх. А мы тем временем уж проезжаем мимо. Тут собаки перестают рыть и бросаются догонять нас.

А Пальма — собака умная и старается держаться поближе к дяде Илье. Убежит от нас немного вперед, оглянется и ждет, когда мы подъедем поближе. А если где-нибудь поблизости появится сурок, она пугнет его как следует и снова весело бежит впереди нас. А те собаки уж добегались до того, что языки высунули. У них даже пена изо рта падает клочьями, хоть они не поймали еще ни одного зверька. Вот и выходит, что они действительно глупые собаки.

Но, хотя и глупые, очень веселые, и мне становится их жаль, когда я подумаю о том, что дядя Илья позовет осенью к себе Сивоплеса. Никишу Сивоплеса знают у нас хорошо. Живет он вверху, на самом выезде из деревни, и кое-как перебивается со своей старушонкой с редьки на квас. А пропитание добывает он себе тем, что ходит и обдирает по деревне собак и старых коней. Кому надо задрать собаку или убить старую лошаденку — те и зовут Сивоплеса. Он приходит — весь рваный, немытый, берет собаку на поводок, уводит ее в Барсуков лог, убьет ее там, обдерет и приносит хозяину шкуру. А для убоя коня хозяин дает ему новый мешок и насыпает в тот мешок немного овса. Тогда Сивоплес уводит того коня тоже в Бар-

суков лог, надевает ему мешок на голову и кормит овсом. А потом убивает его и обдирает шкуру.

А бешеных собак мужики убивают у нас сами. Кто из ружья, а кто просто стягом или оглоблей. Убьют такую собаку, потом выволокут ее за деревню и свалят там в стороне от дороги куда-нибудь в яму.

И вот Никиша Сивоплес додумался обдирать этих убитых бешеных собак, а шкуры брать себе. Принесет такую шкуру домой и вывесит ее на шесте на сорок дней. Так накопил он себе несколько хороших шкур и понес их нашим овчинникам. Но Ворошков и Ваня-татарин выделывать эти шкуры отказались. А к кожевникам он идти уж не посмел и обработал их кое-как сам. А потом сшил из них доху.

Раньше ходил Никиша рваный и драный, все его очень жалели, старались обойтись с ним как-нибудь поласковее. Позовут его на работу — он обдерет собаку или там конишку, принесет хозяину шкуру, тот поговорит с ним о погоде, о жизни, об урожае, отвесит ему сколько следует хлеба или мяса, да еще заставит хозяйку напоить его чаем.

А как он сшил себе «бешеную» доху, так его не стали пускать ни в один дом. Возьмут от него ободранную шкуру, отвесят на безмене жита или мяса, что следует, и сразу выпроваживают со двора. «Уходи, — говорят, — поскорее. Чтобы и духу твоего не было». Вот как повернулась ему эта доха.

Раньше в праздник выйдет Никиша на улицу, подойдет к людям, сядет вместе со всеми, слушает, что они говорят, и сам иногда слово вставит. Ну, немного подшутят над ним, но не больше, чем над другими. А теперь если покажется он на люди, да еще в этой своей дохе, так все с руганью отгоняют его прочь, как поганого. Мало того, его теперь и без дохи считают как бы зараженным, хоть и видят, что он от этих своих собачьих шкур пока еще не взбесился. Обдирать собак его еще зовут, но больше уж по привычке, да еще потому, что в деревне нет другого собачника. А появись в деревне другой подходящий человек, тогда у Никиши не будет уж этого промысла.

Пока я смотрел на собак да думал о том, как Никиша будет обдирать их на доху, мы помаленьку доехали до поскотины. За поскотиной дорога пошла сразу под гору, прямо в Сингичжуль. Справа и слева от дороги потянулись полосы с хлебом и покосы. И хлеб, и трава не вышли еще во весь рост, но были уже довольно высоки. И собаки вро-

де как бы ныряли в них, изредка сгоняя с места каких-то пташек.

А за Синичжулем дорога пошла по ровному лугу, который, я хорошо это знал, был покосом Рябчиковых. Справа этот луг постепенно переходит в широкую Белую гриву, на которой множество деревенских покосов. А слева за покосом Рябчиковых, сразу за речкой, наш покос. Мне нравилось бывать там. Если сильно жарко, можно почти на ходу окунуться в воду. По речке много кулиг, густо заросших тальником и черемошником. А в этих зарослях много смородины и кислицы. А на горе над покосом — клубника. Косить меня пока еще не заставляют. Вот я целыми днями и собираю по кулигам смородину и кислицу и лакомлюсь клубникой. Но когда мы приезжаем сюда убирать сено, тут мне уж не дают спуску, а суют в руки грабли и заставляют подгребать сено. А потом сажают на коня, и я вожу копны.

Но вот мы переехали по шаткому мостику нашу речку и поворотили в Облавное. Теперь дорога наша пошла наизволок в гору. Тут я вспомнил, что у меня за пазухой печенюшки от тетки Марьи, и мне сразу сильно захотелось есть. Я с жадностью стал их жевать. И думать о тетке Марье.

Тетка Марья — женщина высокая, полная. Дядя Илья кажется около нее каким-то замухрышкой. А вот ходить она почти не может, у нее все время болят ноги. И с хозяйством ей управляться очень трудно.

Тетка Марья очень любит меня. Когда придешь к ним за чем-нибудь по делу или в праздник заглянешь, она всегда угощает медком. Пасека-то у них большая, а детей своих нет. Вот она и угощает меня. Окромя того, тетка Марья хорошо «вправляет мозги».

Многие ребята очень часто встряхивают себе голову. Особенно зимой. То с коня кто-нибудь брякнется, то с санок на катке свалится и стукнется головой о мерзлую землю. Ну, у него и зайдут мозги за мозги. А потом начинает болеть голова.

Нынче зимой увязался наш Конон за мужиками белковать куда-то по Шерегешу. Весь день ходил там за ними. И все было ничего. А к вечеру, уж по дороге домой, отстал от них и плелся один. И вот то ли устал, то ли недоглядел, но только напоролся лыжей на какой-то сук из-под снега.

На его счастье, катился он не так уж шибко. Но все же перекувыркнулся несколько раз и, видать, стряхнул себе мозги. Вечером — голова болит, утром встал — голова болит. День, другой — все на голову жалуется. Тогда мама и говорит ему: «Иди к тетке Марье. Пусть она вправит тебе мозги-то как следует. А то они у тебя, видать, сошли с места».

Конон пошел к тетке Марье лечить голову. А я увязался за ним посмотреть на это дело.

Сначала тетка Марья попросила Конона посидеть немного да отдохнуть. Она налила нам по стакану чаю и поставила блюдечко медку. А потом начала расспрашивать: когда и как он стряхнул свою голову. Когда Конон рассказал ей, как все это с ним приключилось, тетка Марья начала охать и ругаться, что он такой неосторожный: «Там ведь можно так стукнуться, что и домой не воротишься. Занесет снегом так, что и до весны не найти. Пропади она пропадом, эта ваша охота. У меня Илья как уедет в тайгу, чтоб она провалилась в тартарары, я места себе не нахожу. Хотя бы прибыток какой был. А то ведь так больше ездят — себя тешат. А тут сиди да изводись — скоро ли приедет, али медведь там его задрал, али сам себе где-то шею сломал».

Поругавшись сколько надо, тетка Марья стала спрашивать Конона, в каком месте у него болит голова, чтобы, значит, узнать, куда у него свернулись мозги. Если боль стоит в затылке, значит, они назад покачнулись, если же какая-нибудь одна сторона головы болит, значит, они сдвинулись или вправо, или влево. Это уж каждому понятно. Но оказалось, что у Конона вся голова болит. И справа, и слева, и с затылка, и особенно над глазами. Тут тетка Марья покачала головой и тяжело вздохнула. А потом взяла длинную веревочку и опоясала этой веревочкой Конону голову над самыми ушами. Потом взяла из печки уголек и сделала на веревочке метки против носа, около ушей и по самой середине затылка. Затем сняла с его головы эту веревочку и как-то так сложила ее по своим отметинам, что ей сразу стало ясно, в какую сторону у него подались мозги. После тетка Марья легонько стала встряхивать голову Конону так, чтобы мозги у него выправились и легли куда надо. Погладит ее, пожмет, пощупает в разных местах, еще раз погладит своими пухлыми перстами и опять осторожненько начнет встряхивать. Впоследок она еще раз опоясала ему голову своей веревочкой, опять

отметила на ней угольком все нужные места, снова сложила ее по отметинам и сказала:

— Ну, теперь, кажись, все наладилось. Сейчас мы стянем тебе ее покрепче рушничком, а потом ты полежи немного вон на кровати под полатями. Пока она у тебя не отерпнет. Да не тряси головой-то, а то мотаешь ею, как баран.

Тут тетка Марья крепко стянула Конону голову рушником и положила его на кровать.

— Лежи пока тут, греховодник. А я скотишку сгоняю на речку напоить.

Пока тетка Марья ходила по своим делам, Конон смирно лежал на кровати и не тряс головой. Через некоторое время тетка Марья пришла в избу.

— Ну, как ты тут? — спросила оиа его. — Болит голова-то?

— Да вроде лучше стало, — ответил Конои.

— Так и должно быть, — сказала тетка Марья. — Теперь иди домой да полежи беспремеино деиька два. Вот все и пройдет. Ну, с богом. Иди помаленьку, не торопись.

Мы пошли домой. Лежать Коиои, конечно, ие лежал ни одиого дия. Но головой трясти все-таки остерегался. И действительно, голова у него помалеиьку наладилась. Видать, мозги окончательио укрепились иа своем месте.

Пока я жевал печенюшки тетки Марьи да думал о ней, мы продолжали подиималься вверх по Облавиому. По обе стороны дороги развертывались широкие лога с пашиями и покосами. На многих полосах уже маячили борноволоки. Видать, люди ночевали здесь, иа пашие, если так рано выехали иа бороньбу.

Наконец дядя Илья повернул в одиу из таких развилок, и я сразу сообразил, что мы скоро доедем до места. Спустя иекоторое время мы поднялись иа самую стрелку и поехали по дороге к видиевшемуся вдали стаиу. По обе стороны тяиулись вспаханиые и засеянные полосы. В одиом месте кто-то бороиил в три бороиы у самой дороги. Когда мы подъехали ближе, я увидел, что в седле на четвертом коне сидела женщиина. Дядя Илья остаиовил своего коня и спросил ее:

— Ты одна здесь боронишь, Зоя?

— Я-то? Нет, с тятенькой.

— А где он?

— Тятенька-то? Во-он... на меже. Лежит под березой.

— Он что у тебя, опять занемог?

— Тятенька-то?.. А чево с ним поделаешь. Вчерась не успела на полосу выехать, а он сразу за топор. Ты, говорит, борони тут, а я пойду вон на залежи березки корчевать. Я бороню себе да бороню, а он там на залежи копошится. В обед приходит — еле языком вяжет. Я попробовала было сказать ему, чтобы он садился вместо меня да боронил. А я, говорю, вместо тебя эти березки корчевать буду. Али, говорю, мы с мамонькой их осенью после страды выкопаем. Куды там, рассердился, начал ругаться. А после обеда опять туда уплелся. А вечером уж еле до стана дотянул. В груди колотье, сердцебиение, есть не хочет, заснуть не может. Сегодня с утра под березой лежит да только охает. И домой не едет. Не хочет одну меня оставлять. Как будто я маленькая. Я просто не знаю, что с ним и делать. Поговорил бы ты с ним, дядеиька Илья.

— Так он меня и послушает.

— Ну, все-таки. Вон он, сюда плетется. Попробуй урезонить его.

Тут Зоя тронула лошадь и поехала по полосе в другую сторону от дороги.

— Вот человек! — не то с осуждением, не то с уважением сказал дядя Илья. — Никакого удержу на работу. Разве с его здоровьем березняк корчевать...

— А почему он такой жадный на работу? — спросил я дядю Илью.

— В отцову родову выдался. Тот до самой смерти не знал у них роздыху. И умер-то, сердешный, на поле. Поехал по коней да и потерялся. Ждали, ждали, а потом поехали его искать. Нашли в Казлыке. Лежит, понимаешь, под кустиком на потнике и спит. Конь рядом, приколот на аркане. Подошли к нему, тронули, а он уж холодный.

Тут дядя Илья вытащил из кармана трубку, выколотил ее о брусок телеги и стал не торопясь закуривать.

— Так и он. Весь в отца пошел. Сызмалетства у него какая-то жадность на работу. Все хватает, больше всех надо. До беспамятства работает. Жать начнет — жнет до того, пока не свалится. Полежит на меже, немного очухается и опять бросается на полосу. А сено мечет до того, что падает замертво под зародом. Тут Устинья сваливает его на телегу и везет домой. Другой на его месте давно скопытился бы. А он посидит день-два дома, оклемается и, глядишь, опять уж копошится на покосе.

— А почему он работника не наймет? — спросил я дядю Илью.

— Вот и я ему то же баю. Что ты, говорю, Андрей Васильевич, не возьмешь себе работника? Хоть бы, говорю, на лето. Все-таки легче будет. Куды там! Возьми, говорит, его, а потом ходи за ним да присматривай. Знаешь, говорит, какие теперь работники-то пошли... Да и на что он нам, говорит, работник-то... Зоя, слава богу, выросла. Невеста уж. Мне зять хороший теперь в дом нужен, а не работник. Вот и ищет теперь для Зои подходящего жениха. Да! Знает человек, как жить и себя соблюдать. Табак не курит, вино не пьет. Разве уж с кем в компании али с устатку когда выпьет рюмку. Не матершинничает. У него и ругань только одна: «Петнай тебя». Это он дивствительно позволяет. И ведь то антиресно, что все у него получается складно да ловко. Жнет как-то с прискоком. И не угонишься за ним. Суслоны на полосе ставит строго по ранжиру. Зарод на покосе смечет — любо-дорого смотреть. Дрова пилит по мерке. Если рез приходится на сук — он и по суку пилит. Чтобы, значит, каждое полено в плипорцию было. На гумне у него чище, чем у другой хозяйки в доме. Во-он идет... Смотри, как он с этой корчевкой-то ухайдакался. Еле тянет.

Действительно, Андрей Зыков еле тянул к нам по меже. Это был высокий худощавый мужик с небольшой реденькой бородкой, одетый, как все мужики на пашне, во все холщовое и в броднях с кожаными подвязками.

— Ты чего же это, Андрей Васильевич, опять занемог? — спросил его дядя Илья.

— И не говори, — вяло ответил Андрей Зыков. — Вчера немного покорчевал подсочку на залежи. Пеньков пятнадцать и выкопал-то. А сегодня уж и встать не могу. Совсем свернуло. Придется, видно, домой ехать. Хоть грабли да вилы буду там строгать да литовки налаживать. Ведь сенокос на носу. А Зоя тут уж одна боронить будет.

— А чего же. Она у тебя молодец девка. И боронит, и за сохой ходит. Не хуже другого мужика.

— А что делать-то, если в доме нет настоящего работника. Из меня, видишь, уж никакого проку. А ведь хозяйство. То надо, другое надо. За нас ведь никто работать не будет. Вот и приходится ее впрягать. Но все-таки это дело не женское. Ох, ох, ох... И домой надо ехать, и ее боюсь оставить одну. Мало ли что может доспеться. Бороной накроет, или конь вырвется. Не дай бог! Ты уж догляди

тут за ией сегодня. А я к утру завтра оклемаюсь н подъеду. Али Устинью пошлю.

— Поезжай без сумленья. Мы тут рядом ведь будем.

— Ну, тогда я и поеду спокойио. Вот жнсть пришла. Совсем здоровья ие стало. Зоя! Зоя! — крикнул ои подъезжавшей дочери. — Обожди-ко меия...

И он поплелся иавстречу Зое.

Дядя Илья долго смотрел ему вслед, как будто хотел еще что-то сказать. А потом троиул своего коня, н мы поехали к видневшемуся невдалеке стаиу.

Этот стаи был такой же, как у иас под Тоиом. Может, чуть-чуть побольше. Ои был сделан из толстых березовых комлей, впритык поставленных вокруг четырех столбов, с поперечными перекладинами, и был обложеи и с боков, и сверху толстыми пластами дериа. Такой стан ие протекает от дождя, его ие продувает ветром. Я был очень рад, что мы накоиец прнехали иа место. Но дядя Илья ие спешил почему-то распрягать коия, как это делают все хозяева по прнезде иа пашию. Ои осмотрелся кругом, сиял с телеги свою одежоику, лагушку с водой и мешок с хлебом и отиес все это в стан. Потом сиова сел на телегу и поехал дальше по стрелке.

«Куда же мы теперь поедем?..» — недоумевал я, следуя за ним иа своем Пегаике, и увидел, как он круто своротил иа большую перепаханную полосу, поросшую кое-где кислицей и лебедой. Здесь он остаиовился, сбросил свои бороны с телеги иа землю и отвязал рыжего коия. «Ну, теперь, кажись, иачнем запрягать да бороиить...» — решил я и осмотрелся кругом.

Полоса, которую иам предстояло боронить, уходила куда-то за пригорок, за которым виднелась высокая гора. Эта гора была вся перепахаиа, как бы прикрыта сверху огромным пестрым одеялом. А за ией, где-то левее, выснлась темная громада Шерегеша. В общем, место было хоть и высокое, ио какое-то закрытое. А иевдалеке, иа соседней стрелке, уже боронили два борноволока иа девяти лошадях. В одну стороиу едет однн борноволок н ведет за собой четырех лошадей в боронах. За ннм едет второй с тремя бороиами. А в обратную стороиу первым едет борноволок с тремя бороиами, а с четырьмя боронами едет уже за ним сзади. Так, посменио, они все время ездят друг за другом. А посередине полосы нх ожидает мужик н очищает у них бороиы.

А слева от иих, на самом уклоие, еще кто-то бороннт.

Но только на двух боронах. На третьей лошади сидит борноволок и медленно кружится по полосе. И бороны тут никто не чистит.

Пока я так оглядывался да осматривался, дядя Илья отвез к стану телегу и привел оттуда выпряженную лошадь.

— Ну, теперь, братец, и мы начнем, — весело сказал он. — Гляди, солнце-то уж как поднялось. Проваландались мы с тобой дома-то. А добрые люди-то, смотри, с самой рани на работе. Смотри — Родивоновы-то уж полполосы уборонили. Торопятся. Хозяин приедет — ругаться будет. Знаешь Гаврила Родивоновича. В деревне он порой куролесит по пьяному делу да выкамаривает разное, а на работе шутить не любит.

И тут дядя Илья стал рассказывать, какой дедушко Гаврило строгий хозяин:

— Боронит у него здесь Матюша Ефремов с двумя парнишками, а сам он только наезжает их доглядывать. Привезет им харчей, посмотрит, как у них идет работа, скажет, по сколько раз надо боронить следующую полосу, нарубит в березнике и подвезет им к стану дров на ночь, сварит обед. Опосля обеда отправит борноволоков напоить коней в родничке и сразу же заставляет их запрягать да выезжать на полосу. А сам соснет немного на вольном воздухе. Глядишь, дело подходит уж к вечеру. Пора и домой подаваться. Ну, тут он скажет еще внапоследок своему Матюше, что к чему, запряжет своего Мухортка в тарантас — и в деревню. Все у него в порядке. Матюша — человек надежный, из поселенцев. Живет у него уж двадцать лет. Во всем на него можно положиться. Не то что мой Панкрашка. Перед самым сенокосом ушел в Безкиш, сукин сын, чтоб ему там сухой корочкой подавиться.

— А кто это за Родивоновыми боронит? Вон на самом уклоне. В две бороны. Еле-еле ездит, — спросил я дядю Илью.

— А это, брат, Омеля Забавин боронит. Знаешь, вверху живет... Боронит, конечно, не он, а его девчонка. А сам он дрыхнет где-то. Не то на меже, не то в стану. Вот тоже, прости господи, «хозяин». А ведь смолоду мужик вроде ничего был. И бабеночка попалась ему старательная. Так что поначалу ничего жили. А потом... То ли избаловала она его, али сам он обленился, но только мужик совсем отбился от рук. Походя спит. На пашню едет — спит, с пашни едет — тоже спит. Пахать начнет — кони в сохе на

полосе стоят, а он упадет тут же в борозду и дрыхнет. Уж распух ото сна. Так что она теперь, бедняга, его одного никуда уж и не отпускает. Отправит на пашню, а потом сама едет за ним доглядывать, чтобы он не проспал весь день. Вот так и живут.

Дядя Илья рассказывал мне все это, а сам запрягал коней в бороны. Одного из них он впритык привязал к хвосту моего Пеганка. Теперь можно было уж начинать боронить. Но тут дядя Илья снял меня с Пеганка и сказал:

— Теперь ты разомнись немного на меже. А то устал, поди, верхом-то. Долго ведь ехали. А потом некогда будет отдыхать-то. Если пить хочешь — сходи на стан. Там, в правом углу у дверей, увидишь нашу лагушку. А я тут пока за тебя отбороню немного от края. Теперь давай в сторону. А то бороной не накрыло бы... Ну, ты, падло!

Тут дядя Илья ткнул кулаком в морду Пеганка, который, пользуясь случаем, хотел куснуть его за рукав шабура, сел в седло и не торопясь поехал вниз, к тому месту, откуда начинается полоса. А я пошел на стан немного размяться и попить воды.

Когда я пришел обратно, дядя Илья как раз подъезжал к этому краю полосы. Увидев меня, он сразу слез с коня. Я, конечно, тут же подошел к нему, и он одним махом посадил меня на Пеганка.

— Теперь давай, борони ты. А я буду бороны чистить. Так у нас и пойдет с тобой на круговую.

Я стеганул Пеганка и медленно поехал по полосе. А дядя Илья шел сзади и объяснял мне:

— По четыре раза будем боронить. Гляди, как заросло. Хорошо Родивоновым в семь борон-то. Два раза проехали — и готово. А тут елозь по одному и тому же месту. А что делать. За Родивоновыми не угонишься. Ну, давай, брат, пошевеливай. Надо поторапливаться. Гляди — солнышко-то. Так и лезет, так и лезет.

И дядя Илья укоризненно посмотрел на солнце, которое медленно поднималось из-за горы.

Наконец мы подъехали к середине полосы.

— Дальше ты борони уж один. Да к краю-то вплотную не подъезжай. А то эти волки полезут ведь на межу. И на заворотах поосторожнее. За пóбегом-то поглядывай, чтобы не зацепился. А то борона сразу опрокинется. Да смотри, чтобы конь в постромку не заступил. А если заступит, сразу кличь меня.

Дядя Илья что-то еще кричал мне насчет побега, к которому на бороне прикреплены постромки, но я отъехал уж далеко и не слышал.

Я подъезжал к краю полосы, и мне надо было тут не сплоховать — аккуратно развернуться со всеми лошадьми в обратную сторону.

Боронить — дело немудреное. Надо только со сноровкой подъезжать к меже. Не особенно близко, чтобы кони с боронами не выходили на межу, и не особенно далеко, чтобы не оставлять непробороненным край полосы. И не особенно круто заворачивать обратно, чтобы побег на каждой бороне аккуратно перекатывался по бруску с одного угла на другой. А потом, надо, конечно, приноравливаться к коням. А у дяди Ильи кони оказались какие-то неноровистые. Особенно Рыжко, которого он вел из деревни за телегой. Дядя Илья привязал его за вторую борону. А он сразу же у края полосы полез на межу щипать траву. Обратно на полосу заворачивать ему не хочется. Он упирается. А борона, за которую он привязан, конечно, перевертывается вверх зубьями. И по полосе Рыжко идет не так, как надо. Нет-нет да ни с того ни с сего и упрется. А борона, за которой он идет, понятно, опять вверх зубьями. А когда дядя Илья подходит к перевернутой бороне, этот конь сразу же шарахается в сторону. Тогда борона прямо со свистом снова перевертывается и падает на землю уже зубьями вниз. Того и гляди, дядю Илью накроет. Вот тут и подумай, как с таким конем боронить. Подъезжаешь к середине полосы. Дядя Илья стоит, честь честью, наготове. Как только подошла первая борона, он берет ее за край, немного приподнимает и идет с ней шага тричетыре, пока из нее не вытрясется весь пырей. Теперь ему надо так же приподнять и вторую борону, за которую привязан Рыжко. Ну, дядя Илья подходит, конечно, и к этой бороне. А Рыжко уж думает, что дядя Илья хочет его ударить. И сразу бросается в сторону. А борона, за которую он привязан, сразу кувырк вверх зубьями. Уж как дядя Илья ни приноравливался к нему — ничего не получалось. Один раз я думал — ну капут дяде Илье. Подъезжаю к нему не торопясь. Он спокойно вычистил первую борону, подходит осторожно ко второй, наклоняется, берет эту борону за крайний брусок, и... тут что-то опять взбрело этому Рыжему в голову, и он вдруг сразу, с ходу, уперся, да еще задрал свою дурную голову что есть мочи кверху. А борона, конечно, впереверт. Дядя Илья успел отскочить. Но все-

таки его немного огрело бруском по правому плечу. Так что и плечо раскровенило, и рукав у рубахи оторвало. Тут дядя Илья, понятно, сильно рассердился. «Стой! — кричит. — Стой!» А я и так уж остановился. Куда поедешь, когда борона вепереверт. Тут дядя Илья выстегивает Рыжка из постромок и говорит: «Борони пока в две бороны, а я этого волка учить буду!» Ну, я поехал дальше уж с двумя боронами. А дядя Илья вывел этого Рыжка на межу, привязал его к березе, потом вырубил черемуховый комелек и начал его охаживать. Я бороню, а он его бьет, я бороню, а он его лупит. А Рыжко, конечно, мечется и рвется. Поначалу пробовал даже лягаться. Бил его дядя Илья, бил, аж весь комелек об него обломал, потом посидел, немного отдохнул, успокоился, вырубил на меже новый комелек и опять стал его учить. Бил до того, что этот Рыжко перестал даже рваться. А только стоит да трясется. Видать, наконец понял, за что его так бьют.

После этого дядя Илья решил запрячь Рыжка не в третью, а в первую борону. Он выстегнул из первой бороны коня, который ходил за моим Пеганком, и запряг его в третью борону, в которой ходил Рыжко. А этого самого Рыжка запряг в первую борону и накоротко привязал его к моему Пеганку.

Теперь все стало много лучше. Конечно, Рыжко и теперь пробовал немного тянуться и завертывать свою дурную голову кверху. Однако теперь ему уж не было такой воли, как раньше, когда он был в третьей бороне. Но чистить борону за ним все-таки было опасно. Как только я подъезжал к дяде Илье и он подходил к нам, чтобы очистить от пырея борону, этот Рыжко бросался вперед, но сразу же натыкался на моего Пеганка. Но все же из-за этого второй конь, который шел за первой бороной, волей-неволей натягивал свой поводок, и борона здорово подлетала кверху. Но она теперь уже не опрокидывалась, а только очищалась от пырея. Но постепенно этот шальной конь перестал кидаться от дяди Ильи. Тогда все помаленьку наладилось, и мы стали боронить спокойно. Дядя Илья немного повеселел. Он чистил бороны, потирал ушибленное плечо да покрикивал: «Пошевеливай, брат! Поторапливай!» Я бодро ездил и все время пошевеливал да подстегивал своего Пеганка, а дядя Илья все нахваливал меня да нахваливал: «Молодец! Хорошо боронишь! Давай, брат, жми!»

В общем, боронить мне стало много веселее. Я успевал

и Пеганка торопить, и на поворотах следить за тем, чтобы какой-нибудь конь не заступил в постромки или не опрокинул борону, да еще и глазеть по сторонам. Теперь я спокойно наблюдал, как боронят родивоновские работники, как кружится по своей полосе Омелина девчонка, видел Погорелку, на которой тоже кое-где маячили на полосах борноволоки. Когда я ехал в одну сторону, передо мною вдали высилась угрюмая громада Шерегеша, а когда поворачивал в другую, все время упирался глазами в мохнатую вершину Андачжачихи. Но постепенно я устал смотреть на них, а главное, почему-то сильно захотел есть. И голод теперь не давал мне покоя. Я подъезжал на середину полосы к дяде Илье с одной мыслью, с одной надеждой, что он скажет: «Ну, брат! Славно мы с тобой поборонили. Пора и выпрягать. И кони устали, да и самим надо немного передохнуть. И чайку неплохо бы сварить...» Но, судя по всему, дядя Илья и не думал выпрягать коней и греть чай. Он уж не хвалил меня, не называл больше молодцом, а становился все сумрачнее и сумрачнее. Он чаще стал поглядывать на солнце и все покрикивал: «Давай! Пошевеливай! Гляди, солнце-то уж как поднялось!»

А солнце в самом деле поднялось очень высоко и стало жарить нас, как из печки. Наши кони, видать, устали и понуро ходили по полосе. На межу они теперь не лезли, в постромки не заступали, борон не опрокидывали. А веселые собаки и ласковая сучка Пальма давно уже закончили охоту за сурками и с высунутыми языками лежали на меже под кустиком. В общем, боронили мы хорошо, а подачи все-таки было мало.

Но постепенно мы с грехом пополам добрались до середины полосы. Теперь земля стала чище и мягче, так что дядя Илья стал пропускать меня мимо себя, не поднимая ни одной бороны. Он даже немного повеселел, сказал мне боронить только по три раза и пошел понаведать Зою Андреевну и узнать, как у нее обстоят дела без отца.

У Зои Андреевны дядя Илья пробыл совсем недолго, но, вернувшись, почему-то решил, что я без него должен был заборонить чуть ли не всю полосу. Когда же он увидел, что я за это время заборонил совсем мало, то сильно рассердился, назвал меня сопляком, а потом стал кричать, что надо шире захватывать бороной, а не елозить по одному месту. А когда я начал боронить шире, то он опять закричал, что надо смотреть и пробаранивать как следует, а не спать на ходу.

А меня действительно разморило и стало клонить ко сну. Но спать было нельзя — это я хорошо понимал. Сонный еще с лошади свалишься да под борону угадаешь. Не дай бог! Али уедешь по полосе, куда не надо. А то и так может быть, что кони выйдут на межу и будут там спокойно щипать траву. А ты будешь сидеть в седле да спать. Нынче весной со мной этакое приключилось. И сам не заметил, как уснул на нашем Халимке. А он конь хитрый. Сразу учуял это — и на межу. И остальные кони, конечно, за ним. Конон ждал, ждал меня на другом конце полосы, а потом прибежал, стащил с седла и начал лупцевать. «Не спи! — кричит. — Не спи, а то под борону свалишься». Здорово тогда влетело мне от братца... А что скажет дядя Илья? Он ведь церемониться со мной не будет. Поэтому как ни устал я, а все-таки крепился, чтобы не уснуть, чаще стегал хворостиной своего Пеганка и все время на него покрикивал.

Тем временем солнце перевалило за полдень. Родивоновские работники доборонили свою большую полосу, выпрягли коней, отвели их на кормежку на соседнюю залежь и пошли на свой стан. А потом и Омеля со своей девчонкой скрылись куда-то. Видать, тоже решили обедать. На Погорельской горе не видно было ни одного борноволока. Только я кружился на полосе. И хотя боронил я теперь много лучше, чем поначалу, но дядя Илья все равно сердился на то, что от моей бороньбы мало подачи.

И тут, на нашу беду, полоса опять стала сорнистее. В бороны стало набиваться много пырея. Глядя на это, дядя Илья совсем расстроился и велел мне боронить опять по четыре раза. А когда я стал ездить по четыре раза, то у нас уж совсем не стало никакой подачи. До конца полосы оставалось вроде как бы недалеко. Но сколько мы ни боронили, как ни торопились, а доборониться до межи никак не могли. Долго мы так ездили, но все-таки впоследок кое-как стали прибиваться к меже. Наши кони сообразили, что скоро им будет отдых, и стали ходить по полосе веселее. Да и сам дядя Илья, видать, умаялся. Он молча чистил бороны и вроде даже повеселел. «Ну, теперь будем выпрягать, — решил я, когда в последний раз проехал четырежды по самому краю полосы. — Будем выпрягать, будем варить щи, чай, кормить коней». И я мысленно уж усаживался рядом с дядей Ильей к котелку со щами. Но все оказалось не так. Кончили полосу, выехали на межу и, вместо того чтобы выпрягать коней да отправ-

ляться на стан, перевернули бороны вверх зубьями и поехали прямо через лог на другую полосу. Такую же большую, как и эта.

— А теперь давай, братец, отбороним немного от края, — сказал дядя Илья. — Давай, друг! Пошевеливай их. — Потом покачал головой и сокрушенно добавил: — Тоже придется по четыре раза боронить. Видишь, как все проросло. Поторапливай их, волков.

Как ни хотелось мне отправиться скорее к стану на обед, но пришлось пошевеливать да поторапливать. Нашим коням все это, видать, тоже надоело. Когда я повел первую борону по краю полосы, второй и третий кони полезли прямо на межу. Тут дядя Илья опять стал сердиться. И сердился он почему-то на меня, а не на своих дурных коней. Он схватил хворостину и стал отпугивать их с межи на полосу. А обратно вести первую борону приказал подальше от межи. Когда же я так и сделал, эти дурные кони, назло нам, стали влезать еще глубже в полосу, и весь край полосы оставался непробороненным. Тогда дядя Илья стал их отгонять к меже, и они совсем сошли с полосы на целину. И так несколько раз. Отпугнет их от межи — они лезут в глубь полосы, отпугнет их оттуда — они совсем выходят на межу. И край полосы пробoранивается, конечно, плохо. И во всем этом у дяди Ильи оказываюсь виноватым я. Наконец ему, видать, надоела вся эта кутерьма, да и от края мы все-таки немного отборонились. Он подал мне команду бастовать и стал выстегивать коней из борон, чтобы отвести их на кормежку.

А у меня от бороньбы уж голова шла кругом. Ноги мои гудели, и я ничего уж не соображал.

— Чего стоишь как пень, — сказал дядя Илья. — Садись, отдыхай! Или постой! Беги-ко скорее на стан, налей там из лагушки в котелок воды, захвати мешок с харчами и давай сюды. Да поторапливайся. Время-то, видишь, не ждет. — И он стал расседлывать моего Пеганка.

Когда я пришел со стана с мешком и котелком воды, дядя Илья храпел на меже под кустиком. Я тоже прикорнул около него, но он сразу же учуял меня, сел, осмотрелся кругом и сообразил, что нам надо обедать. Он взял мешок, вынул из него булку хлеба, пучок лука и небольшой кусок сала, нарезал все это, разложил на мешке и тяжело вздохнул:

— Обед сегодня варить не будем. Не до того. Видишь, какая еще полоса осталась.

Тут он перекрестился, осмотрелся кругом и увидел борноволоков на другой родивоновской полосе. Они на девяти лошадях ездили взад и вперед по огромной полосе, а работник стоял посредине и аккуратно вычищал каждую борону от пырея. При виде этого дядя Илья расстроился чуть не до слез:

— Смотри, сколько Родивоновы-то уж отмахали. Почти полполосы отборонили. А мы тут с тобой валандаемся. Давай, Кено, поскорее. Еще коней надо ехать поить. Вот беда-то. Скоро вечер уж, а у нас с тобой бороньбы этой невпроворот.

И дядя Илья с жадностью начал есть хлеб с салом и луком, не обращая на меня уж никакого внимания. Я тоже набросился на еду. Но за дядей Ильей угнаться было трудно. Не успел я и оглянуться, как он огрел уж два больших ломтя, выпил чашку воды и ухватился за котелок.

— Ты на стану-то пил? — спросил он меня.

— Пил, пил, дядя Илья. Я прямо из лагушки там.

— Ну, тогда доедай тут, пока я распутываю коней, и поедем скорее на водопой. Там, в крайнем случае, попьешь еще из родничка.

И дядя Илья одним махом допил весь котелок, перекрестился и пошел к коням. Вскоре оттуда послышался его голос:

— Давай, браток, сюды. Мне одному не управиться.

А потом мы поехали в Облавнов ключик на водопой. На водопое у нас все обошлось хорошо, если не считать того, что наши кони больно долго пили. Попьют, попьют, а потом начинают осматриваться кругом. Посмотрят, посмотрят по сторонам и опять начинают пить. Но пьют, опять же, не торопясь. Как бы чего-то ждут. И так несколько раз. Кони, они всегда так пьют. И мешать им и торопить их на водопое не полагается. А чтобы они лучше пили, им следует немного подсвистывать. Это им нравится. И нельзя дергать их за повод и ругать. Им тогда лучше пьется. А дядя Илья коням не подсвистывал. Он сердито ждал, когда они напьются, и сразу же потянул их обратно на дорогу.

А потом мы снова начали боронить. Сажая меня на Пеганка, дядя Илья опять наказывал мне ездить пошагистее и опять сокрушался, что нам никак не угнаться за Родивоновыми:

— Смотри, как дело-то идет у них. Не то что у нас с тобой. Да что там говорить. У них за два круга четырнад-

цать борон получается. А нам при трех боронах надо проехать четыре с лишним раза. Вон оно какое дело! Так что жми, брат! Пошевеливай!

Я и сам понимал, что надо жать и пошевеливать и что дядя Илья не отпустит теперь меня с этой полосы, пока мы не забороним ее до конца. Но как я ни жал, ни пошевеливал, а дело подавалось туго. Полоса была большая, а боронили мы опять по четыре раза. Наши кони, видать, тоже понимали это и ходили по полосе шагисто. Даже этот дурной рыжий конь ходил за моим Пеганкой исправно.

Солнце стало склоняться к вечеру. По полосе потянулись от коней длинные тени. И чем солнце спускалось ниже, тем длиннее становились эти тени. А потом оно совсем скрылось за Шерегешенским хребтом, и по небу поползли большие мохнатые тучи. Подул холодный ветер и стал меня основательно пробирать, так как я не догадался во время обеда надеть свой шабур и боронил по-прежнему в одной рубахе. Я старался, конечно, все время крутиться на коне, усердно хлестал своего Пеганка прутом и всячески понукал его. Но согревался все-таки мало. А дяде Илье, видать, было тепло и в одной рубахе. Он чистил бороны, собирал охапками пырей и бегом относил его на костер. Но мало-помалу и его тоже пробрало. Он пошел на межу, принес оттуда наши шабуры, мы оболоклись и продолжали бороньбу.

А на полосе становилось все темнее и темнее. У Родивоновых на стану виднелся веселый огонек. На Погорелке тоже кое-где зажглись огни. Все добрые люди давно уж поужинали и собирались спать.

А боронить в темноте мне даже нравилось. Теперь я не завертывал все время голову назад, чтобы следить, как я веду борону, а приноравливался больше к костру на середине полосы, на котором дядя Илья сжигал свой пырей. А дальше, за костром, ехал уж наугад в направлении межи. Когда впереди замаячат березки, то сразу соображаешь, что полоса кончилась и что надо поворачивать в другую сторону. На другой стороне маячили кусты боярки на меже. Так я и ездил взад и вперед без конца.

А дядя Илья теперь уж не сердился на меня, а только окликал:

— Ты не спишь?

— Не сплю...

— То-то... не спи! А то еще, не дай бог, под борону

свалишься. Долго ли до греха. Вот забороним полосу, тогда и отоспимся.

Но вот где-то над Мачжаром начало светлеть. Сначала немного, на самом краю неба. Потом все сильнее и сильнее. Солнца еще не было, но все-таки начинался уже новый день. Недалеко от нас, на залежи, паслись родивоновские кони. За ночь они, видать, отдохнули и довольно лениво щипали траву. А родивоновские работники спокойно спали в стану. На Погорельской горе тоже не видно было ни одного борноволока. Все спали. Для всех сегодняшний день еще не наступил, а для нас с дядей Ильей и вчерашний еще не кончился.

Наши кони понуро бродили от межи к меже. Правда, боронить полосу осталось уже немного. Уже на поворотах я стал доезжать на своем Пеганке до самого края желанной межи, но все равно надо было боронить да боронить... И тут я, на мою беду, начал засыпать. Ночью мне почему-то спать не хотелось, да и дядя Илья все время меня окликал. А теперь окликать он почему-то перестал, и я начал время от времени забываться. Еду к середине полосы, где он чистит бороны, и креплюсь, чтобы не заснуть, а как проеду мимо него, тут сразу вроде и забудусь.

А дядя Илья, он сразу, конечно, это заметил и опять стал на меня покрикивать, чтобы я сидел на коне веселее, а когда увидел, что мне это мало удается и что я уж совсем ошалел от нашей работы, он решил на всякий случай привязать меня к седлу, чтобы я, грешным делом, как-нибудь не свалился под борону.

— Что же это ты, братец, дрыхнешь на коне! — выговаривал он мне, привязывая меня к седельной луке. — Боронить осталось самая малость, а ты вздумал спать. Этак и до греха недолго. Вот закончим полосу, а там и отоспишься. Негоже так, братец. Нехорошо!

Я не знал, что сказать на это дяде Илье, так как понимал, что борноволоку спать на лошади действительно не годится. А когда он привязал меня к седлу, тут мне спать сразу расхотелось. То ли потому, что мы уж стали прибораниваться к краю, то ли потому, что дядя Илья довольно-таки туго привязал меня.

Наконец мы с грехом пополам доборонили эту проклятую полосу. Наши кони очень устали и тоже, видать, хотели спать. Они понуро стояли на меже и даже траву не щипали. А я сидел на своем Пеганке и ждал, когда дядя Илья отвяжет меня от седла и ссадит на землю.

— А теперь сосни немного, пока я тут управлюсь, — сказал он и показал на кучу выбороненного пырея.— Отдохни тут, а я соберу все наши шундры-мундры, и поедем под Тон. Там тоже надо кое-что заборонить.

Я приткнулся на пырей около ласковой Пальмы. Она очень обрадовалась мне, покрутилась около и прилегла. Я погладил ее по голове. Она благодарно лизнула мою руку, потом поплыла от меня куда-то и провалилась. А потом и я тоже куда-то поплыл и тоже провалился куда-то.

Очнулся я оттого, что дядя Илья поставил меня на ноги и встряхивал за ворот:

— Вставай, вставай! Ехать пора. Гляди, солнце-то уж где. Время-то, оно ведь идет. Под Тоном бороньбы еще сколько. Вставай, милок. Соснул немного. Теперь легче будет. Давай, поедем.

На меже уже стояла запряженная телега. На телеге сложены одна на одну наши бороны зубьями кверху. В задке телеги, как всегда, пристроена лагушка. Рыжий конь привязан за заднюю ось. И чтобы не тянулся, дядя Илья снова сделал ему петлю на шею. Рядом с телегой стоял мой Пеганко. Дядя Илья подвел мсня к нему, подхватил под мышки и одним махом посадил в седло.

— Не упадешь?

— Не упаду.

— То-то. Держись. На всякий случай я тебя все-таки опять привяжу. Долго ли до греха. Еще свалишься дорогой. Знаешь — береженого бог бережет. — И он опять крепко привязал меня к седлу. — А теперь, браток, поедем. Гляди, солнце-то куда уж поднялось!

И он опять посмотрел на солнце, которое теперь уж вылезло из-за гор. Потом устроился на телеге, вооружился хворостиной, и мы тронулись в путь.

Сначала ехали мимо нашей бороньбы. Потом поднялись на стрелку и оказались около родивоновской пашни. На полосе виднелись семь борон, а родивоновские работники еще спали на стану. На Погорельской горе, которая была видна отсюда как на ладошке, тоже не видно было ни одного борноволока. Теперь мы рысью поехали стрелкой прямо в Облавное. Наши собаки бежали около нас по дороге. На этот раз они почему-то не радовались нашему отъезду, не прыгали, не резвились, не гонялись друг за другом и не вспугивали пташек. Пташки, видать, тоже еще не проснулись и где-то отдыхали в своих гнездах.

В Облавном мы пересекли дорогу, которая ведет в деревню, и поехали шагом прямо на Погорельскую гору. Теперь мой Пеганко уж не отставал от дяди Ильи, и мне не приходилось его подстегивать. Он ровным шагом шел за телегой прямо в хвост рыжему коню. Я всячески старался не дремать, смотрел на дядю Илью, пошевеливал Пеганка. Но куда его погонишь. Он и так не отставал от дядиной телеги, и понукать его вроде не требовалось. А потом у меня в глазах почему-то все стало не так. Дядя Илья то появлялся на своей телеге, то куда-то пропадал. А потом откуда-то выплывало сразу два дяди Ильи на двух телегах. Они не торопясь ехали на Погорельскую гору, и за каждой телегой у них было привязано по рыжему коню.

Наконец мы выехали на Погорелку и опять поехали рысью. Далеко впереди виднелся Тон, а справа от нас раскинулась мохнатая котловина Мачжара. Но и она тоже то появлялась, то исчезала, то опять появлялась. И появлялась каждый раз по-новому. Один раз далеко-далеко, в какой-то дымке, а другой раз совсем близко. Так близко, что я разглядел там какую-то сопку, покрытую лесом. А на третий раз я увидел на этой сопке большую каменную церковь. Высокую, белую, с колокольней, как на картинке. Она помаячила мне немного и уплыла куда-то в сторону.

А потом я уж плохо соображал, где и куда мы едем. Дядя Илья время от времени появлялся впереди меня на своей телеге. Он усердно нахлестывал длинной орясиной своего коня, кричал мне: «Не отставай!», а потом куда-то пропадал, как бы проваливался сквозь землю, а вместо него откуда-то выплывали мачжарские сопки, иа которых виднелись белокаменные церкви, окруженные высокими елями. Меня нисколько не удивляло появление в Мачжаре этих церквей. Мне казалось, что это так и надо. А удивляло меня появление там высоких сопок и зарослей ельника. Но и сопки, и церкви, и ельник тоже расплывались в дымке, и на их месте появлялся дядя Илья на своей телеге, глупый рыжий конь, который тянулся за ним на поводу. И так много раз, пока мы не доехали туда, куда нам следовало — под Тон.

Остановились мы там, как и в Облавном, на большой полосе. Тут я немного очухался, даже разглядел иа той стороне Казлыка нашу пашню. А дядя Илья снял с телеги бороны, потом отвел своего коня на межу к стану и стал

его выпрягать. Дальше я опять немного забылся и очнулся, когда дядя Илья уже запряг всех коней в бороны и поставил меня с Пеганком впереди.

— Теперь отбороним немного от межи, а там и на боковую. Спать будем, — ласково сказал он и снова на всякий случай привязал меня к седлу. — Земля здесь хорошая, чистая. Боронить будем только по два раза. Так что давай, друг, с богом. Потихоньку да полегоньку. Пошли-поехали!

И он осторожно стеганул моего Пеганка. Но на этот раз с бороньбой у меня что-то не получалось. Сначала я, не знаю почему, вместо полосы поехал по меже и заметил это только тогда, когда услышал сзади истошный крик дяди Ильи. Тут я, конечно, повернул своего Пеганка на полосу, но, вместо того чтобы ехать краем полосы, поехал на самую середину пашни. Тут подбежал дядя Илья, взял моего Пеганка под уздцы, поставил меня на край полосы и показал, куда мне ехать. Я поехал, конечно, как следует, благополучно доехал до межи, но, вместо того чтобы завертывать обратно, двинулся через межу прямо на чужую полосу. Тут дядя Илья совсем расстроился, возвернул меня на свою полосу, отвязал от седла, снял с коня и отвел на стан прямо к телеге. Проснулся я там уже за полдень и сразу услышал разговор дяди Ильи с моим отцом.

— Уж больно хлипкий парень-то у тебя, — жаловался отцу дядя Илья. — Днем еще туда-сюда, боронит с грехом пополам, а утресь сюды приехали — на ходу спит. Самому пришлось доборанивать полосу-то.

— Да, здоровьишко-то у него неважное. Это верно. Мал еще. Может, справится еще, когда подрастет, — ответил отец.

— Вряд ли, — с сомнением произнес дядя Илья. — Не похоже на это.

— Уж какой есть, — сказал тятенька. — Здоровья-то в лавке ведь не прикупишь. Что, проснулся? — обратился он ко мне, заметив, что я вылез из-под телеги.— Ну, пойдем на свою пашню. Али у дяди Ильи еще останешься?

— Нет, нет! Пойдем к себе...

— Ну, тогда пойдем... У дяди Ильи ты отборонился. Теперь дома немного поможешь.

И мы отправились на свою пашню...

Глава 5
В ОЖИДАНИИ ПАВЛА КОНСТАНТИНОВИЧА

Вот уже два года, как наш Конон ходит в школу, а вечерами учит дома уроки. Для этого мама заранее убирает со стола самовар и посуду, тщательно вытирает клеенку и ставит для него заправленную и прочищенную лампу. Чтобы не мешать Конону, она садится со своей самопрялкой в куть, а Чуня тоже прядет в кути или идет на весь вечер с работой к своим подружкам. Отец, когда он дома, тоже старается не мешать Конону. Он устраивается около железной печки и чинит здесь хомуты, шлеи и прочую снасть.

А я стараюсь устроиться где-нибудь поближе к Конону. Когда он что-нибудь пишет, я сижу смирненько в стороне. Но когда он кончит писать и вытащит из своей сумки какую-нибудь книгу, тут уж я не могу сидеть спокойно. Мне хочется прежде всего посмотреть в его книге картинки, а потом послушать, что в ней написано. Но Конону все это не нравится. Он всегда недоволен, когда я кручусь возле него. И вслух не читает, да, мало того, еще гонит меня.

Зато когда он заучивает на память какой-нибудь стих, то тут я хоть и сбоку, а принимаю в этом участие. Конон повторяет стих вслух много раз, а я сижу в сторонке да запоминаю. Запоминаю почти в одно время с ним. А иногда даже немного раньше. Тут все начинают хвалить меня, называют настоящим учеником. Это мне очень нравится, и я начинаю воображать, что на самом деле учусь в школе. В таких случаях я не дрыхну утром на полатях, а сопровождаю Конона в школу. Чтобы походить на настоящего ученика, я несу его сумку с книгами. А иногда вместо сумки он сует мне в руки бутылку с молоком, которую каждый день берет с собой в школу.

Проводив Конона, я возвращаюсь домой и нахожу у нас Спирьку и Гришку, которые с утра явились ко мне, чтобы вместе играть. Если день не особенно морозный, мы идем кататься на санках или отправляемся в Барсуков лог есть с кустов боярку или торчим с другими ребятишками около лавки Яши Бравермана и смотрим, кто к нему приходит за товаром. Особенно интересно нам, когда к Яше в лавку является Афанасий-цыган со всей своей семьей. Афанасий-цыган уж много лет живет у нас в Кульчеке.

Семья у него очень большая — три сына женатых да два еще неженатых, две дочери замужем да одна еще незамужняя. И много-много маленьких цыганяток. И все живут вместе в одной избе. Когда они всем табором приходят к Яше Браверману что-нибудь покупать, то даже не умещаются в лавке. Поэтому одни торгуются с Яшей, а другие сидят около лавки на рундучке. Те поторгуются, поторгуются и выходят на рундучок отдохнуть, а эти, с рундучка, идут в лавку торговаться с Яшей дальше.

В деревне у нас все очень уважают Афанасия-цыгана и говорят, что он человек умный — в нашей деревне ничего не ворует, а ворует в дальних деревнях. Со всего уезда к нему тайно приводят ворованных бегунцов. И он пускает их пастись в наши деревенские табуны. От этих ворованных бегунцов кульчекские мужики развели таких коней, каких нет ни в одной соседней деревне. Комские, безкишенские, чернавские сразу узнают нас по коням: «Вон кульчекские едут. Кони-то — как львы. От цыган развели породу».

Во время больших морозов мы со Спирькой и Гришкой сидим дома. Плетем из лучин корзинки, делаем разные ящички, выстругиваем сани, строим дома, корабли, играем в разные игры. А с наступлением весны ходим смотреть, как у нас в деревне строят школу. Строят школу у нас уже третий год, и теперь подвели ее наконец под крышу.

Мы уже сосчитали, сколько в ней окон, дверей, сколько в ней надо будет поставить печей. И твердо договорились, что все будем сидеть за одной партой, когда придем сюда учиться.

Особенно мы любим, приходя к школе, смотреть на старого столяра — дедушку Никанора, который работает там под небольшим открытым поднавесом. Он с самого утра до позднего вечера пилит, строгает и сколачивает для школы рамы, ставни, наличники и все, что надо. Дедушко Никанор нас не гонит, а мы стараемся не мешать ему. Придем, станем в сторонке и смотрим, как он выпиливает и выстругивает свои бруски для окон и дверей. Иногда он скажет нам что-нибудь смешное, назовет в шутку лодырями, а иногда возьмет да и посадит нас на кучу стружек около своего верстака. Тут мы и сидим около него не шелохнувшись. Один раз мы просидели так до самого вечера. А он все пилил да строгал, не обращая на нас вни-

мания. А потом вдруг и говорит: «Ну, ребятушки, на сегодня хватит. Пора и отдохнуть!» И повел нас на гору за деревню.

На горе, у самой дороги, стоит большой курган. По бокам из него торчат огромные плиты. Трудно даже понять, как их сюда притащили, до того они большие.

Мы поднялись с дедушкой Никанором на курган и стали смотреть на дорогу, которая уходит в Безкиш, в Чернавку и в Кому. По этой дороге уезжают рекрута в город служить в солдатах. Простятся со всеми, запоют «Последний нонешний денечек» и поедут. А их отцы и матери со всей родней поднимутся на этот курган и смотрят, как они все дальше и дальше уезжают от родного дома. Смотрят и плачут.

— У вас что же, ребята, один этот курган в деревне? — спросил нас дедушко Никанор.— Али еще есть где-нибудь?

Кроме этого мы не знали других курганов и сказали, что у нас есть только один.

— А в Анаше этих курганов видимо-невидимо... Тянутся по берегу Енисея верст десять — до самой Теси. Место хорошее, высокое, веселое. Можно было бы пахать да пахать, если бы не эти курганы. Сколько там хлеба было бы... Пропадает место зазря...

— А кто там эти курганы наставил? — спросили мы.

— А какая-то чудь жила, говорят, в этих местах. Чудской народ. Чудской народ не умел ни пахать, ни сеять и кормился звероловством да рыболовством. В тайге зверя промышляли. В Енисее и в таежных речках рыбу ловили. Так и жили охотой да рыбалкой.

— Да как же они без хлеба-то жили? — недоумеваем мы.

— А кто их знает. Видать, привыкли. Скотишка-то, я думаю, они все-таки немного держали. Но в общем-то охотой промышляли да рыболовством. Когда в эти места пришли русские, они стали вырубать и выжигать тайгу под пашню. Вырубленные и выжженные места стали зарастать березой. И вот, когда кругом появились березовые рощи, чудской народ сказал: «Везде начала расти белая береза. Скоро придет белый царь, и всем нам будет каюк. Лучше живьем схоронить себя, чем жить под белым царем». И стали копать себе глубоченные ямы, строить над ними на столбах широкие крыши и таскать на них землю. Натаскают на такую крышу целую гору земли, потом спрячутся под нее со всем своим добром и подрубят столбы.

Тут их всех и задавит. Только одни плиты да высокие камни и торчат из могилы.

— Для чего они плиты-то ставили в свои ямы? — спросил после долгого молчания Спирька.

— А кто их знает. На всякий случай. Чтобы ветром курганы не выдувало. А может, для того, чтобы все знали, что тут лежат покойники. У нас в Анаше эти камни торчат и из курганов, и просто из земли. Курганы, значит, вымело, а камни остались.

— А в нашем кургане тоже закопались чудские люди? — спросил я старого столяра.

— Во всех курганах лежат чудские. Видите, какая агромадная насыпь, и камни торчат изнутри. Так же, как и в Анаше.

Мы были потрясены рассказом дедушки Никанора о страшной судьбе чудского народа. Мы впервые узнали о том, что в нашем кургане лежат люди, которые сами закопались в землю, потому что кругом стала расти белая береза.

— Вот так-то, ребятушки, и вымер чудской народ, — сказал в заключение дедушко Никанор. — Остались только чудские ребятишки. Бегают по деревням без дела, вместо того чтобы помогать отцам да матерям по хозяйству.

— Мы не чудские, — обиженно сказал Спирька. — Мы хлеб едим. Мы — русские.

— А я ведь все время думал, что вы чудские. Смотрю — черномазые такие. Вот, думаю, какая история: у нас в Анаше чудской народ весь вывелся, а в Кульчеке еще держится. А вы, оказывается, русские. Ну что ж... Я ведь тоже русский, хоть и чернявый, вроде вас. Ну, пойдемте по домам, а то уж поздно. Мне-то ничего, а вам ведь могут всыпать горячих. Не посмотрят на то, что вы русские...

И старый столяр пошел в деревню.

Мне было жаль чудской народ, но я все-таки не совсем понимал, почему он так испугался белой березы. Я хотел спросить об этом дедушку Никанора, но он сильно торопился домой и не обращал на нас внимания.

На другой день я с утра начал приставать к отцу с вопросом — почему чудской народ так испугался белой березы. Отец долго отмахивался от меня. Наконец сказал:

— Да не белой березы он испугался, а белого царя. Прослышал, что придет белый царь, значит, начнутся всякие подати да повинности, да еще, чего доброго, в солдаты начнут забирать, да на войну погонят.

— А если раскопать наш курган да посмотреть там чудской народ? — допрашивал я отца.

— Анашенские пробовали копать. Всё думали золотишко там найти. Выкапывали горшки, железные ножики да медные бляшки для лошадиной снасти. И еще какую-то ерунду. А золота не нашли. Так и в нашем кургане, кроме горшков да медных бляшек, ничего не найдешь. Стоит ли из-за этого время терять.

А мама рассказала мне, что раньше в здешних местах жили татары — Тахтараковы, Калягины, Лалетины... «Дедушко-то твой в Чернавке тоже был из татар. И фамилия у него была татарская — Тахтин. Раньше, говорят, их много было по нашим деревням. Но одни ушли потом за реку на Абакан. Там теперь живут. А которые остались, пашут пашню, помаленьку обрусели, говорить по-своему разучились».

— А чудской народ, который закопался в курганы? — допытывался я у мамы.

— А чудской народ, видать, был еще раньше, до татар...

Больше о чудском народе я так ничего и не узнал. За его страшным концом скрывалась какая-то большая и непонятная для меня тайна. Но никто, сколько я ни расспрашивал, мне эту тайну не раскрыл...

С осени я собрался вместе с Кононом ходить в школу учиться. Отец с мамой ведь давно уж решили отдать меня Павлу Константиновичу в обученье. Решить-то решили, а в школу не ведут. Говорят — обожди да обожди, что у меня года еще не вышли.

Между тем Рябчиковы уже отвели к Павлу Константиновичу своего Степку, дядя Иван — Варивоху, а дядя Гарасим — Матвея. Наш сосед Ехрем Кожуховский тоже, говорят, решил отдать своего Микишку в школу. Через день, через два все они пойдут учиться. Веселые, нарядные сядут за парты, и Павел Константинович начнет рассказывать им разные интересные истории. При мысли об этом я стал так горько плакать, что отец и мать решили попробовать все-таки определить меня нынче в школу.

На другой день рано утром мы пошли с отцом к Роману Бедристову, в большом крестовом доме которого помещалась пока наша школа. Несмотря на раннее время, у Бедристовых собралось уж много народа. Одни пришли с ре-

бятамн, которых онн сегодня будут сдавать Павлу Константнновичу. Другие заявнлись просто из любопытства. Увнделн народ у Бедристовых и зашлн посмотреть да потолковать о школьных делах.

В ожнданин Павла Константнновича все расселись в бедрнстовском дворе на бревнах, которые были аккуратно сложены здесь у забора.

Приведенные ребятншки с внноватым вндом жались около своих родных н осторожно наблюдалн друг за другом. Среди ожндающнх я заметнл Ехрема Кожуховского, который уже пришел сюда со своим Мнкишкой.

Отец подошел к ближайшей группе, в которой находнлся Ехрем, н тоже присел на бревно. Я пристронлся около него н стал прнслушнваться к тому, что здесь говорнлось о нашей школе н по поводу нашего поступлення в школу. И хотя все сидели тут со своими ребятишками, которых уже решилн отдать в школу, но говорнлн больше о том, как тяжело и трудно мужнку учить своих детей. Потому что как ни мал парнишка, а в семье он уж все-такн подмога. Осенью, когда начннается ученье, он еще может ходить подпаском на занмке, знмой управляться со скотом, подсоблять на гумне. Ну а весной, известно, ребята боронят. Как нн прнкндывай, а такой клоп заменяет в хозяйстве взрослого человека, особенно у малосемейных, и отрывать его на трн года от дома нет ннкакого расчета. А о девчонках и говорить не прнходится. Без нnх матерям как без рук. С малых лет впрягаются в домашность. Избу подместн, на стол собрать, дров принестн, коров на проруби напоить, кур, свнней накормнть, за тем сходить, за другнм сбегать... А еслн в доме ребенок и нет бабушкн? От него ведь не отойдешь. Опять же девчонкам прнходится нянчнть. А немного подрастет — начннает помогать стряпать, за скотом ходить, полы мыть, куделю прясть, холст белить. Да что там говорить! Разве тут до ученья.

Но хочешь не хочешь, а хоть парнишек приходится учить. Потому что прншлн такие времена, что без грамоты стало как без рук. То пнсьмо откуда-ннбудь прндет, то самнм надо кому-то напнсать. Каждый раз надо ходить да кланяться. А не дай бог война. Сколько народу угонят в солдаты. Тут уж неграмотному человеку совсем беда. Увезут куда-то — н ни слуху ни духу. Может, на счастье, н придет искалеченный. А то и совсем сгинет на чужой стороне. Как в воду канет. А грамотный человек все-таки весточку подаст. Теперь в сельском обществе — то прнговора

какие-то пишут, то бумаги от начальства выходят. И всех заставляют расписываться. Раньше просто было: палец к казенной бумаге приложил или крестик поставил. И все. А теперь это почему-то отменили. Или сам расписывайся, или иди за кем-либо, кто за тебя мог бы расписаться.

— Расписаться — это еще туды-сюды, — вступил в разговор Ехрем Кожуховский. — Расписаться за тебя и малограмотный может. Да, в крайнем случае, я и сам свое фамилие как-нибудь накорябаю. Все-таки в солдатах служил, на японской воевал. А вот нужда заставит в волость али в город по начальству обращаться? Тут уж надо сразу к писарю идти с поклоном: напишите, мол, пожалустова; али ехать в Кому к Белошенкову. А ведь и к писарю не пойдешь с пустыми руками. А про Белошенкова и говорить не приходится. К нему меньше чем с трешкой не суйся. Да что там... Вот на той неделе приносит мне десятник какую-то бумажку. Что, к чему — шут ее разберет! Пошел к писарю. А он в волость уехал. Я к старосте. А он такая же чурка с глазами, вроде меня. Взял эту бумажку, повертел ее в руках и говорит: «Это тебе повестка в суд». А в какой суд, зачем в суд — сказать ничего не может. Тогда пошел я к Ванюшке Калягину. Он прочитал мою бумажку и сразу обсказал мне, что так, мол, и так — волостной суд вызывает тебя, господин хороший, в качестве обвиняемого по жалобе Селивана Ершова и Петрована Ершова о нанесении им оскорбления действием... Это что же, спрашиваю, за оскорбление действием? Как это понимать? А это, говорит, они, видно, в суд на тебя подали за то, что ты подрался с ними в прокопьев день. Да какой же, говорю я, суд? Ведь они сами первые с кольями на меня полезли. А что ты, говорит, не знаешь Ершовых? Они и драться у нас первыми, и жаловаться тоже первыми...

Действительно, между Ехремом и Ершовыми произошла в прокопьев день драка. Началась она из-за кулиги на покосе в Веретеннице. Когда Ехрема угнали на войну, Ершовы взяли да и выкосили у его Сусаньи эту кулигу. Покосы-то у них в Веретеннице рядом. Много раз ходила Сусанья к старосте по этому делу. А тот только отмахивался от солдатки да уговаривал ее не связываться с Ершовыми. Так она ничего и не добилась, пока Ехрем воевал с японцами. А когда он пришел домой, то эту кулигу, конечно, стал опять косить сам. Тут Ершовы и затаились на него с этим делом. Сначала стали грозить ему да пугать его. Но это не помогло. Потом попробовали оттягать

эту кулигу через общество. Но тоже ничего не вышло. Тогда они решили рассчитаться с ним по-своему.

Прокопьев день у нас в деревне — престольный праздник. Время горячее. Сенокос. Всем некогда. Поэтому все стараются отпраздновать этот праздник в один день. С утра деревня уж колется от песен. А к вечеру все вроде шалеют от жары да от водки. Ну и начинают бросаться друг на друга. А Ершовы нализались еще с утра и стали бахвалиться, что они сегодня покажут кой-кому, как выкашивать чужие кулиги. Трезвые-то они драться с Ехремом боялись, ну а пьяным, известно, море по колено. Перед вечером они подкараулили Ехрема около Крысиных да и накинулись на него с кольями. Но не на того нарвались. Ехрем сам любил драться и умел драться. Не успели Ершовы и одуматься, как он вышиб у них дреколья, а потом начал лупить их поодиночке. Как даст одному, тот и с копылков долой. Как даст другому — тот тоже носом в землю.

А на лужке в это время тоже заварилась небольшая потасовка: дрались верховые парни с низовыми. Но они не столько дрались, сколько ругались да таскали друг друга за воротки. Вдруг кто-то прибежал да как заорет благим матом: «Ехрем Кожуховский обоих Ершовых убил!!!» — «Где, где?» — «Около Крысиных. Намертво уложил!»

Тут все, конечно, бросились к Крысиным. Когда народ сбежался к Крысиным, Ершовы уже лежали там под забором еле тепленькие. А Ехрем ходил по кругу, сжав кулачищи. Высокий, с богатырской грудью, в изорванной и залитой кровью праздничной рубахе, с большой ссадиной на лбу (кто-то из Ершовых все-таки огрел его колом), он ходил по кругу и кричал:

«А ну, кому еще нужна моя кулига в Веретеннице! Выходи на круг!»

Тут из толпы выскочил Савотька Жеребцов и закричал: «Ах ты, такой-сякой-разэтакий! Ты моих дружков изувечил!» И бросился на Ехрема. А Ехрем только того и ждал, и так торнул его своим кулачищем, что тот сразу замертво и свалился. Тут одни стали кричать: «Караул! Человека убили!» А другие стали поддерживать Ехрема. Дескать, молодец человек, за правду стоит...

Тем временем родственники выволокли Савотьку из круга, положили его рядом с Ершовыми и стали отливать водой. А Ехрем все ходил и ходил по кругу, ругался и вы-

зывал на бой ершовских дружков и сродственников. Тогда мужики, которые были потрезвее, стали просить Сусанью, которая вместе со своим Микишкой стояла в кругу и смотрела на драку, чтобы она как-нибудь утихомирила своего Ехрема. А то, не ровен час, не зашиб бы кого насмерть. Но Сусанья только во все глаза глядела на Ехрема и не могла на него наглядеться и радовалась тому, как он свел наконец счеты с Ершовыми за все обиды. Долго еще все ждали продолжения драки. Но никто из ершовской родни не осмелился больше выйти против Ехрема.

— Теперь получил я эти повестки, — продолжал дальше Ехрем, — что-то надо, думаю, делать. А то ведь засудят, варнаки, ни за что ни про что. Им только дайся. На другой день еду в Кому к Белошенкову. Показываю ему эту бумажку, объясняю, как было дело. Тут он сразу садится за стол и пишет от меня прошение в волостной суд, чтобы по этому делу непременно вызвали свидетелей с моей стороны. Прихожу я с этим прошением в волость к судебному писарю. Прочитал он мою бумагу. Усмехнулся, поспрошал меня кое-что об этой драке, потом вытащил из стола какое-то дело, положил в него мою бумагу и говорит: «Хорошо, Ехрем Васильевич, вызовем ваших свидетелей».

— Вот тебе и Белошенков!

— А все говорят, Белошенков такой, Белошенков этакий.

— Что там говорить, — заключил Ехрем. — Умнеющий человек!

— Ну а свидетелей-то твоих вызвали или так, для отвода глаз наобещали? — спросил кто-то Ехрема.

— А как же! На всех повестки пришли.

— Вот она, грамота-то, что делает!

— А когда суд-то?

— Да сразу после покрова. Ванюшка Калягин точно по календарю мне отсчитал — в первую пятницу, говорит, после покрова. Сколько хлопот с этим делом. А ведь это в Коме. Можно сказать, совсем дома. А о городе и говорить не приходится... Там ведь шагу ступить не дадут без этой грамоты. В одном месте требуют прошение, в другом заявление. Расписки, обязательства, удостоверения всякие. Там без Белошенкова-то прямо как без рук...

— Да что у тебя за дело в городе-то?

— Белый билет хочу отхлопотать. С войны-то пришел весь покорябанный. Живого места не осталось. А все в запасе держат. Не дай бог, снова кутерьма с японцем начнется. Опять под мобилизацию попаду. Вот и хлопочу. Уж два раза ездил в Минусу в воинское присутствие. Теперь на комиссию должны вызвать...

— Тебе-то что, — вступил в разговор не старый, но уж бородатый мужик, который сидел тут с белобрысым парнишкой. — Ты в городах-то этих бывал не один раз. Не то что мы — деревня темная. А я вот зимусь первый раз в Красноярско попал. Так прямо вам скажу, мужики, неграмотному человеку там хуже, чем в самой глухой тайге. В тайге-то я, в случае чего, затесы на дереве могу сделать, веточку на повороте сломлю да торчком поставлю, чтобы она, значит, мне обратную дорогу обозначала. А ведь в городе затесы на ликтрических столбах делать не будешь. Улицы все одинаковы, и названия им придуманы тоже какие-то сходные — Воскресенская, Благовещенская, Устретенская, Рождественская, и все такое в этом роде. Дома, те тоже на один манер, и еще все под какими-то номерами. И улицу надо знать, и номера эти самые уметь читать.

— Господи Сусе. Да как же их читать-то? Я вот, к примеру, совсем неграмотный, — спросил рассказчика маленький седенький старичок.

— Не приведи бог, дедушко Онисим, говорю — хуже, чем в тайге. Поехали мы туда с Платосей Крюковым да Ванюшкой Мартыновым с паршуковским обозом и остановились там все вместе у одного человека на Покровском переулке, прямо супротив церкви. На другой день вывезли с утра паршуковский товар на склад, отвели коней на фатеру и отправились на базар присмотреть, что там можно будет купить по домашности, когда Паршуков произведет с нами полный расчет. Походили, посмотрели, приценились к товару как следует. Тут Платося с Иваном и говорят мне: «Ты давай-ко, Петрован, теперь на фатеру, чем попусту валандаться тут. За лошаденками там пригляди. А мы тута-ка посмотрим еще кое-что». Сказали мне это и пошли куда надо. А я, значит, отправился, не торопясь, прямо на Покровский переулок. Вышел на главную улицу, осмотрелся кругом — дома большие, каменные, в два-три этажа. Внизу магазины, а выше, видать, хозяева с пофатерщиками живут. Народ по улице так и валит. И в ту, и в другую сторону. И у всех, видать, какие-то дела, все

куда-то торопятся. А по самой улице так и едут в оба конца. Все на кошевках, а кошевки все в коврах. Видать, начальники да купцы. Кони сытые, снасть хорошая, с медным набором, вожжи ременные, дуги крашеные. А обозов на улице — конца не видно. Все больше с мясом да с хлебом. Куда, думаю, все это пойдет?.. Неужто все это здесь съедят? А может, в голодные места повезут? Стою это себе разинув рот, а время-то, оно ведь идет. Смотрел, смотрел, а потом спохватился. Надо, думаю, поторапливаться. А то обгонят меня с базара мои напарники. Подумал об этом и сразу завернул направо, чтобы, значит, по Благовещенской улице прямо до Покровской церкви...

Вышел я на эту улицу и ушагиваю по ней. Вот и церковь показалась. Сейчас, думаю, за уголком и фатера наша. Свернул за угол. Что за оказия. И церква не та, и переулок не тот, и дома своего не вижу. Вот так штука, думаю. Ведь заблудился. Спрашиваю одного человека, как мне пройти к Покровской церкви. А ты, говорит, мужичок, иди сначала прямо, а потом поворачивай направо или по Воскресенской, или по Благовещенской. Если, говорит, пойдешь по Воскресенской, то Покровскую церкву смотри слева, а если угадаешь по Благовещенской, то увидишь ее справа. А это, спрашиваю, разве не Благовещенская? А это, говорит, Устретенская. Вот и церковь Устретенья господня...

Дальше Петрован стал рассказывать, как он от Сретенской церкви пошел искать Покровскую, проплутал без малого весь день по городу, побывал у всех красноярских церквей и только к вечеру еле ноги приволок на свою квартиру в Покровском переулке.

Пока Петрован рассказывал все это под дружный смех и удивленные оханья своих слушателей, к Бедристовым подошли еще несколько мужиков со своими ребятишками. Одни из них слушали рассказ Петрована, другие говорили о чем-то своем. Вдруг разговор сразу как-то умолк, и все обернулись к бедристовским воротам. Мне показалось, что пришел Павел Константинович и скоро начнет со мной говорить. При мысли об этом у меня от страха екнуло сердце и медленно покатилось куда-то вниз, в пятки. Но, оказывается, это пришел не Павел Константинович, а Евтифей Селенкин — сердитый старик, которого я много раз видел с мужиками около Сычевых.

Евтифей каждый год рядит Ваню Лупанова на лето пасти овец, набирает вместе с ним табун, голов шестьсот —

семьсот, собирает ему за работу деньги и хлеб, производит с ним полный расчет.

Нынче весной мы с отцом пригнали своих овец под Орловку сдавать в табун Ване Лупанову.

Евтифей с Ваней сосчитали наших овец — стариц и ягнят отдельно. Потом мы загнали их в длинную узкую станку у большого загона с табуном, и Евтифей с Ваней стали по одной впускать их в табун. Они внимательно осматривали в воротах каждую нашу овцу, а двух почему-то поймали, стали их ощупывать и только после того впустили в табун.

— У тебя, Гаврило, метка-то та же: левое пнем, правое — иверень? — спросил Евтифей отца, когда все наши овцы были впущены в табун.

Отец подтвердил эту метку.

— А овец с чужой меткой нет? — задал он еще один вопрос отцу и остался очень доволен, что у нас все овцы только со своей меткой.

— Меньше мороки, — сказал он и пошел к Ваниному стану около табуна. Здесь он сел не спеша в тень на скамейку, взял длинную, аккуратно выструганную планку, повертел ее в руках, вроде полюбовался, и положил к себе на колени. — У нас ведь знаешь как: выменяют где-нибудь барана и пускают его с чужой меткой в табун. А то по чужой метке начнут свою делать. Глядишь, и окорнают ему все уши. Метку-то поставить животные не умеют.

Тут Евтифей снова взял свою планку и осторожно стал делать на ней ножом какие-то зарубки. Я подошел к нему поближе, чтобы посмотреть, что он делает, но Евтифей так глянул на меня, что я сразу воротился к отцу.

Потом тятенька заплатил Евтифею задаток за наших овец, и мы пошли домой. Дорогой я спросил его о том, какие это зарубки делал Евтифей на своей планке.

— Это он наших овец засек. Кто сколько сдаст в табун, он столько и зарубит на свою планку.

— А почему он в тетрадку их не записывает?

— А как он будет их записывать, если он неграмотный. Счет знает, вот и вырезает кресты да палочки на свою планку. Тоже как бы в тетрадку. Зарубит каждому хозяину счет на свою планку, а потом сколет от нее эту засечку так, чтобы нарезанные зарубки были и на планке, и на отколотой половине, и дает эту отколотую половину хозяину. Дескать, ты сдал мне в табун столько-то овец, и я даю тебе на них ру́беж — деревянную фитанцию.

Тут тятенька вынул из своего кисета маленькую палочку с какими-то засечками.

— Вот он — рубеж, который мы получили сейчас от Евтифея на наших овец. Когда он наберет полный табун, тогда отдает свою планку Ване Лупанову. Теперь, если я приду летом к Ване за бараном, он сразу спросит у меня этот рубеж. Возьмет его, найдет на своей планке то место, от которого он отколот, приложит к нему мой рубеж так, чтобы все засечки сходились одна к другой, и сделает на обратной стороне новую засечку. Дескать, столько-то овечек ты нам действительно сдал, но одну из них уж берешь обратно. И так он делает каждому, кто приходит к нему летом на табор за овцами. А подойдет время разбирать осенью овец из табуна, тут Ваня передает свою планку опять Евтифею. Дескать, ты у нас главный закоперщик, ты в табун скот принимал, ты и раздавай его.

Осенью хозяева являются на овечий табор Вани Лупанова. И каждый предъявляет Евтифею свой рубеж. А Евтифей возьмет рубеж, приложит к своей планке, к тому месту, от которого он отколот, и ему все ясно: весной сдал в табун столько-то овец, за лето выбрал из табуна столько-то. Осталось в гурту столько-то. Ну, значит, отбирай своих овечек по меткам на ушах и гони их домой. А рубеж Евтифей на всякий случай оставляет себе. Он в деревне у нас лучший подрядчик. И за пастухом следит, и деньги ему с мужиков вовремя собирает, и планку с рубежами ведет аккуратно.

— А он не перепутал сегодня наших овец, когда вырезывал свои зарубки? — спросил я тогда отца.

— Кто? Евтифей? Евтифей, брат, никогда ничего не путает. Он ведь и планку-то эту делает больше для Вани Лупанова и для хозяев, чтобы они ни в чем не сумлевались. А сам он и без планки все помнит. Мало того, он у каждого хозяина метки на всех его овцах помнит. Он не только метки, он овец-то чуть не каждую распознает. Видел, как он их оглядывал, когда в табун-то впускал — чуть на руках не взвешивал.

— Это что он, запоминает их так?

— Вот именно. Каждую рассмотрит и сразу запомнит. У нас раньше все диву давались на это. А потом привыкли. Будто так и надо. На то он, дескать, и подрядчик.

— А почему он такой сердитый?

— Калахтер такой. Он теперь у нас вроде хозяина и над табуном и над пастухом. Это, видать, ему ндравится.

Дедушко Гаврило вон закупит два-три десятка коровенок и то как кочевряжится. Я не я! Послушаешь, так богаче и умнее его нет никого во всей округе. А Евтифей как наберет овечий табун, так тоже становится вроде богачом. Да еще каким! Шестьсот овец — это не шутка. Вот он и не любит, чтобы ему тогда мешали. Особенно когда он засекает свои планки. Тут уж к нему не подступись.

И вот этот Евтифей вместе с нами явился сегодня к Бедристовым. Он почти втолкнул во двор двух похожих друг на друга парнишек и сердито заговорил:

— Не хотите, чтобы я вас перетягой учил, так в школу идите. Здесь с вами цацкаться не будут. Учитель-то, в случае чего, вас сразу... Он ведь знает, как из таких стервецов дуги гнуть да веревки вить... Скрутит вас, чертей, в бараний рог. Будете тогда знать...

— Дедонько, миленький! Не отдавай нас! Мы боимся! — хныкали ребята.

— Ты что же это, Евтифей, внучат-то учиться привел? — спросил сердитого старика Ехрем Кожуховский.— Ты ведь вроде не хотел?

— Не хотел, не хотел, а вот пришлось, — ответил Евтифей, усаживаясь на бревно, и сразу полез в карман за трубкой. — Совсем от рук отбились. Ну, вы, варнаки! — цыкнул он на ребят, которые опять начали было всхлипывать.— Захныкали тут!.. Учитель-то скоро придет? — спросил он, не обращаясь ни к кому, и сердито стал набивать свою трубку табаком.

— Да вот ждем... Скоро должон быть...

— Подалась теперь всем эта грамота,— ворчливо заговорил Евтифей.— А для чего она нам, мне так и невдомек. Для чего мне, к примеру, грамота за сохой ходить али сено косить? Что у меня от этой грамоты, силы прибудет? Паши, жни, молоти. Не посеешь — и кусать нечего будет. Это и без грамоты ясно. Раньше грамоты-то этой не знали, а жили лучше, чем теперь.

Он вытащил из кисета кремень, огниво и трут. Медленно отделил маленький кусочек трута и положил его на кремень. Потом не торопясь стал выбивать огнивом огонь. При каждом ударе огнива мелкие-мелкие искры брызгами вылетали из кремня.

— Грамота, она, конечно, дело хорошее. Мы это тоже понимаем,— продолжал рассуждать Евтифей.— Однако в нашем крестьянском деле от нее пользы мало. Грамота — она больше попам нужна — в церкви службу справлять.

А потом начальникам да купцам — с мужика подати выжимать да народ в лавке обсчитывать. Выучи сына грамоте, а он возьмет да и махнет куда-нибудь в писаря али в приказчики. А то на прииск подастся али в город — на легкие заработки... Работать по-мужицки-то никому ведь не хочется. Вот и стараются все сделаться грамотными. Перышком-то помахивать куда легче, чем за сохой ходить али со стоговыми вилами под зародом стоять.

— А зачем же внучат-то привел, Евтифей? — спросил кто-то старика.— Ведь в школу привел сдавать!

— Не я привел. Отец с матерью привели! — резко ответил Евтифей. Он положил затлевший трут в трубку, придавил его сверху заскорузлым пальцем левой руки и усиленно стал сосать чубук. Наконец трубка раскурилась.— ...Отец-то вчерась в Кому поехал. Поехал и наказывает: ты, говорит, тятенька, непременно отведи завтра Кешку с Лешкой в школу. Для чего, говорю, Ондреян? Ребятишки уж боронить начали, копны на покосе возят, во время страды помаленьку помогают и о школе об этой, слава богу, не помышляют. Куды там! Разве теперь отцов-то слушают. Непременно, говорит, отведи. С тем и уехал. А невестка сегодня ни свет ни заря уж гавкает: вставайте! опоздаете! Хочешь не хочешь, а приходится идти...

— Вы чего ж это, мужики, так рано сегодня? — обратился к ожидающим вышедший из школы Роман Бедристов.— Павел Константинович придет не скоро. Он будет сегодня не раньше девяти часов.

— А сейчас-то сколько? — спросил кто-то Бедристова.

— Да девятый-то уж пошел,— ответил Бедристов.— Но все одно долго еще ждать придется.

— Ничего, подождем... Поговорим пока о своих делах,— ответил Бедристову невысокий рыжебородый мужик в новом картузе. Он сидел с группой мужиков недалеко от нас и вел с ними свой разговор.— Да, вскочит нам, мужики, эта школа,— говорил он.— Одним пильщикам да плотникам заплатили полтораста рублей. Теперь столяр работает столько времени. Тоже меньше чем сотней не обойдешься. А стеклить, а красить, а печи ставить. На все ведь надо деньги. Ох, не миновать нам новой раскладки на школу!

— А Бедристову-то, шутка сказать, за зиму платим семьдесят пять рублей,— жалостливо заговорил седой старик в рваном шабуре.— У меня Семен в работниках у Меркульевых. Третий год мантулит на них, как каторжный.

И то лишь шестьдесят рублей кое-как за год выторговали. А тут эвона какие деньги за одну только фатеру...

— Бедристову семьдесят пять рублей обчеству под силу, — наставительно возразил старику бородач в картузе. — Все-таки и дом под школой, и за сторожа они, и отапливают, и полы моют каждый день. Мы вот с вами здесь в ступе воду толчем с разговорами этими, а Бедристовы, смотри, с самого утра при деле.

И бородач кивнул головой в сторону дома Бедристовых. Крыльцо чисто вымыто, и через него к дверям постлан половик. На плитняке около крыльца аккуратно сложены друг на друга выкрашенные в желтую краску парты. Бедристов с женой снимали из общей кучи одну парту за другой, обтирали их и затем уносили в дом.

— ...Так что деньги эти, — продолжал бородач, — им идут недаром. Что на людей говорить напрасно! Вот с новой школой у нас дивствительно канитель получается. Третий год валандаемся, лесу в нее убухали без счету, а все конца-краю не видно...

— Не знаю, как вы, а я, мужики, думаю так!.. — крикливо заговорил маленький толстенький мужичонко, не принимавший до этого никакого участия в разговоре. — Раз обчество решило строить школу, то давайте строить. Разве мы против. Но только нам надо в этом деле свой антирес соблюдать. Смотрите, как чернавские сделали. Купили в своей же деревне три старых амбаришка да какую-то избенку, свезли в одно место да за одну весну и сварганили себе из этого школу. Правда, школа с виду неказиста, но заниматься с ребятишками можно. А у нас... И школу на пятьдесят учеников, и фатеру учителю. И все под одну крышу. Эвона какую махину заворотили. И все из нового строевого леса...

— Да, дом получается огромадный... — начал опять бородач. — Пожалуй, во всей волости нет такой школы. Разве что комские превзойдут. Но они пока еще и не чешутся. Но школа-то, мужики, еще не все. Школу-то мы строим ведь с фатерой учителю. А какая фатера без бани. Значит, баню эту тоже придется строить. Амбар для школьного барахлишка тоже нужен. Потом, ограду кругом школы решили строить, и не простую, а в решетку, как у комской церкви. Потом, десятину земли рядом надо обносить тесовым забором и сад там разводить. Ведь приговор на это выдали.

— И лес-то придумали из самой Солбы возить. Без ма-

лого за тридцать верст, — вступил в разговор подошедший к ним дед Онисим. — Не нашлось строевого леса ближе... — И старик с досадой плюнул в сторону.

— Сами во всем виноваты, — заговорил опять толстяк. — Порасплодили в обчестве всяких горлопанов. Вот они что хотят, то и делают... Давай то, давай другое... Это ж надо было удумать! Тайга рядом, а им сад в деревню подавай!

— Учитель всех баламутит, — решил дед Онисим. — Ему ведь все это надо. Сейчас он Меркульевым-то, шутка сказать, восемь рублей в месяц платит. На всем готовом. А тогда фатера у него будет бесплатная, а сторожиха ему стряпать будет. Совсем другое дело.

— Нет, брат. Сторожиха стряпать на него не угодит.— сказал бородач.— Тут нужна мастерица в этом деле. А хорошая хозяйка в сторожихи от своего дома не пойдет.

— Для чего ему твоя сторожиха, — поправил Онисима один из мужиков. — Он женится лучше. Вот жена и будет ему стряпать. Помяните мое слово... Как только мы построим школу, так он и въедет в нее с молодухой.

— А что же. Человек он холостой. В самом соку. Жалованье огребает большое, — заметил толстяк. — За него любая девка пойдет. У тех же Меркульевых отхватит Нюрку. Въедут в новую фатеру и будут как сыр в масле кататься.

— Нужна ему твоя Нюрка, — возразил бородач. — Она девка, конечно, справная и уж на выданье. Но все-таки она деревенская. Не тем манером ходит, не тем голосом говорит. Я думаю, он на лягавую метит. Он ведь новоселовский. А лягавых этих там, в Новоселовой-то, без малого половина. Одних купцов сколько: Терсковы, Мезенины, Тороповы, Бобины, Неуймины. И у всех дочеря. В городе обучены. Говорят, поют, пляшут по-образованному. Обхождение городское знают. Не чета твоей Нюрке. И комплекция не наша. На печенье да на варенье выращены. И у начальников дочерей тоже хватает. В Новоселову-то я теперь часто к зятю заезжаю. Так насмотрелся там на это начальство. Развелось его на нашу шею целая прорва! Перво-наперво — крестьянский начальник, потом мировой судья, становой пристав, дальше, значит, какой-то акцизный, инспектор по училищам, дохтура, фершала разные при больнице, учителя. На почте без малова десять человек —

письма отправляют, телеграммы отколачивают. Одеты по форме, со светлыми пуговицами.

— Господи Сусе! — взмолился Онисим. — И все на жалованье? Все на мужицкой шее сидят, кровинушку нашу пьют.

— А ты как думаешь! — продолжал бородач. — Все получают большие деньги. А около них причиндалы разные. И причиндалов этих еще больше, чем начальства. Урядники, писаря, письмоводители разные и у крестьянского, и у пристава, и у мирового, и у инспектора.

— Тоже на жалованье? — спросил дедушко Онисим.

— А как же. Тоже на нашей шее сидят. У купцов, опять же, приказчики. В каждом мангазине по нескольку человек, обмеривают да обвешивают нашего брата счетоводы, булгахтера. Теперь агенты разные объявились — по швейным машинам, по сепараторам, по жаткам и косилкам. Все стараются лишний рубль у мужика вытянуть. Боятся, как бы он у него не залежался. Заготовители разные понаехали — на масло, на шерсть, на пушнину, на дичину. Потом, у каждого начальника своя куфарка, нянька отдельная, поломойка. А у мирового судьи и у крестьянского начальника особые учительши к деткам приставлены. Обучают их иностранному обхождению и говорить по-заграничному.

— Вот куда наши подати-то идут!

— На них и идут. Зять-то мой в Новоселовой у базара живет. Так весной я сяду у него к окошку да и днюю на то, как эти самые начальницы на базар идут. Так гужом и валят. Гладкие все, нарядные, в шляпах с перьями. Одни с корзинами идут, за других куфарки их корзины тащат. А им самим, значит, и корзинку пустую иести лень...

— Косить бы заставить такую стерву али под вилы ее — сено метать. Узнала бы тогда нашу крестьянскую жизнь...

— Попробуй, заставь ее... А на базар придут, уж как они там над нашим братом изгиляются. Одно не ндравится, другое не по душе. Поросенка тут при мне одна торговала у комского мужика. Поросенок, говорит, у тебя с виду справный, но не совсем чистый. Вы, говорит, что же, не моете его, что ли? Потом спрашивает — почему он у вас так грустно смотрит?

— Это как же понимать? Ей что же, веселого поросенка в жаровню-то надо али как?

— Как хочешь, так и понимай. А того поросенка она

так и не купила. Вот как лягавые-то живут! А ты со своей Нюркой...

— Выходит, не потянут наши девки насупротив лягавых? — спросил толстяк.

— Потянули бы, если бы их обучать всему как следует с измалолетства.

— А я, мужики, думаю, — не унимался толстяк, — он на учительшу метит. Найдет там в Новоселовой какую-нибудь вертихвостку и женится на ней. Вот и старается побольше учеников набрать. Как штук пятьдесят — шестьдесят набежит, так и заставят нас взять второго учителя. В Коме-то вон две учительши, окромя отца Михаила, дьякона и посоломщика. А в Новоселовой и того больше. Как на второго учителя ребятишек наберется, тут он ее, значит, и предоставит. И свое жалованье, и она тоже будет получать.

— Ну, об этом нам загадывать рано. На ком захочет, на том и женится. Идите-ка лучше в дом. Пришел, кажись. А мне ведь к старосте еще надо да к писарю. Это я так тут с вами калякаю... — И, не говоря больше ни слова, рыжебородый мужик ушел со двора.

Мужики нехотя повставали со своих мест и стали выколачивать и прочищать трубки. Никто не торопился, так как никому не хотелось идти первым к Павлу Константиновичу.

— Вы чего же это ждете, мужики? — послышался с крыльца голос Бедристова. — Чего без толку-то стоять. Давайте помаленьку. Да трубки-то спрячьте. Павел Костентинович сам не курит и в школе курить никому не позволяет.

— Пусть Ехрем идет первым, — сказал Петрован. — Он солдат. А за ним и мы помаленьку.

— Заходи, Ехрем, хоть ты пока, — сказал Бедристов и ушел в школу.

Ехрем встал, поправил на брюхе опояску, попробовал застегнуть свой всегда открытый ворот и, не найдя на рубахе пуговицы, безнадежно махнул рукой. Потом он ткнул в спину своего Микишку и решительно шагнул на крыльцо бедристовского дома. Немного спустя за ним вошли еще несколько человек. Остальные топтались на плитняке возле крыльца. Общий разговор не клеился. Все волновались, так как ждали скорой встречи с Павлом Константиновичем.

Наконец на крыльце появился Микишка. После Микиш-

ки вышло еще несколько ребятишек. И поодиночке, и в сопровождении отцов. Потом вышел Ехрем и дедушко Онисим со своим Захаркой. Захарка горько плакал.

— Не плачь, дурачина, — уговаривал его дед Оиисим. — Нынче ие взял — возьмет в будущем году... Летами не вышел, — объясиил он ожидающим. — Пусть, говорит, еще годик подрастет. А в список его записал. На будущий год.

Вскоре почти весь иарод прошел в школу. Но отец почему-то ие торопился идти со мной к Павлу Констаитииовичу. Ои все что-то выжидал да выжидал. Наконец остались только мы да Евтифей со своими Кешкой и Лешкой. По мере приближения встречи с учителем Кешка и Лешка все чаще и чаще иачинали всхлипывать. А когда Евтифей сказал им накоиец: «Ну, пойдемте!» — оии дружно заголосили.

Я, признаться, тоже боялся идти к Павлу Константииовичу. Вдруг ои иачнет со мной о чем-иибудь говорить, а потом возьмет да и скажет, что у меня года еще ие вышли... Как Захарке...

Накоиец мы тоже вошли... И тут я увидел, что наша школа у Бедристовых — это простая деревеиская изба. Только без полатей. Вместо простой деревенской печи она отапливается голлаидской печью, как у Ермиловых в горнице. И потом, она тесно заставлена партами и вся увешана какими-то картинами.

Когда мы вошли, Павел Константинович о чем-то уж говорил с Евтифеем. Оии сидели около небольшого стола, приставленного к парте. Кешка и Лешка сидели пригорюнившись в стороне.

Мы остаиовились у самых дверей. Увидев нас, Павел Коистаитинович встал, подошел к отцу, поздоровался с иим за руку и пригласил его проходить вперед и присаживаться, а сам возобиовил свой разговор с Евтифеем.

— Неграмотиые все были, — рассказывал ему что-то Евтифей, — и покойиый тятеиька, и дедоиько, дай им бог царствие небесное. Неграмотные были, а жили лучше, чем теперь. Хлеб-то барками в Енисейско плавили. И скота гуртами на прииска гоняли.

— Да как же, Евтифей Матвеевич, при таком хозяйстве без грамоты-то обходились? Ведь барку хлеба сиарядить ие шутка. Тысячи три пудов барка-то поднимала?

— До пяти и до семи тысячей грузили. Артелями бар-

ки-то ставили. И лес из тайги возили, и судно рубили — все артелями.

— А табуны скота! Ведь тоже дело немалое. Взять овечий табун. Ведь несколько сот голов...

— А как же. Шесть, а то и семь сотен. Не меньше. И все от разных хозяев.

— Вот именно. Ведь на всех счет надо вести, учет иметь. Я что-то и ума не приложу, Евтифей Матвеич, как тут без грамоты обойтись?

— По-старинному обходились, Павел Костентинович. На барке старшого выбирали из артели, вроде вахтура в хлебозапасном мангазине. Он и вел всему учет. К примеру, привез я на барку сто пудов зерна, он сразу засекает их на свою планку, а мне выдает рубеж. Привез я еще сто пудов — он дает мне новый рубеж. И так с каждым артельщиком. Барка общая, работа на барке тоже общая, а счет зерну каждого хозяина отдельный. С овечьими табунами тоже так делаем. Тут счет овцам ведет уж подрядчик. Он засекает каждого хозяина на свою планку и выдает ему на принятую животину ру́беж. Исстари так далаем.

— Вы что же, цифры заносите на эти планки?

— Какие там цифры, Павел Костентинович. Куды нам... запросто делаем — по-мужицки. Десяток — ставишь два колышка крест-накрест, пяток — два колышка вилкой вниз, одна овца — просто колышек. Так и обходимся. А цифер мы никаких не знаем. Куды нам. Мы люди неграмотные.

— Спасибо вам большое, Евтифей Матвеич. Вы сегодня мне, можно сказать, на многое глаза открыли. Теперь мне очень хочется посмотреть на эти самые планки с засечками и на эти рубежи. Не можете ли вы как-нибудь в свободное время зайти и показа́ть мне все эти штуки? Заходите сюда в школу. Только, пожалуйста, к концу занятий. А еще лучше на квартиру к Федоту Меркульевичу. Рад буду вас видеть.

— Можно в школу, а можно и на фатеру, — сказал, вставая, Евтифей. — Сейчас все расчеты с пастухом закончены и нам эти планки и рубежи уж не нужны. Не обессудьте старика, Павел Костентинович. Ну, пойдемте, молодцы удалые! — обратился он к Кешке и Лешке. — Надо́ баню топить да отмывать вас. В школу завтра.

Кешка и Лешка дружно заголосили.

— Что? Испужались... Ужо начнет учить вас уму-разу-

му Павел Костентинович. Ну, пошли, пошли! Мать-то ждет не дождется!

Евтифей вытолкнул Кешку и Лешку в сени и сам вышел за ними.

Пока Павел Константинович разговаривал с Евтифеем, я хорошо его рассмотрел. Штаны на нем были какие-то длинные, навыпуску, вместо сапог — ботинки со скрипом. Одет он был в какую-то черную тужурку со множеством пуговиц, которые почему-то ничего не застегивали. Но удивительнее всего мне показалась его борода. У нас в деревне мужики все бородатые. Бреются только солдаты, которые вернулись домой. Но бреются только первое время. А потом у них, как у всех, вырастает ядреная, густая борода. А у Павла Константиновича вместо бороды был какой-то клок ниже рта. Как у козла. Но этот клок он считал, видать, за настоящую бороду, так как в разговоре с Евтифеем все время осторожно его приглаживал.

— Интересный старик, — обратился Павел Константинович к отцу после ухода Евтифея. — Он что, пастухов у вас рядит?

— Да, лет двадцать уж рядит. Хороший подрядчик. Ничего не скажешь.

— И точный учет ведет?

— А как же. По планке своей следит. По рубежам проверяет. И память у него на овец хорошая. Каждую овцу в своем табуне помнит.

— Очень интересно.

— И пастухи пасут у него как-то лучше. И падежа меньше. Говорят, знает он что-то по этой части. От отца, видать, да от деда перенял. Те, говорят, тоже всю жизнь пастухов рядили.

— А что он мог перенять от них? — заинтересовался Павел Константинович.

— Мало ли что старики-то знали раньше. Слово мог перенять какое от падежа али от зверя. А может, и другое что.

— Да... Интересный, очень интересный старичок. Надо будет с ним поближе познакомиться. Может, он мне что-нибудь по этой части расскажет. Как вы думаете, Гаврило Трофимович?

— Познакомьтесь, познакомьтесь. Только вряд ли он будет вам что-нибудь рассказывать...

— Почему?

— Не любят наши старики без дела говорить об этом.

Если бы, к примеру, вы скота пасли или пастуха рядили, ну тогда он, может, и рассказал бы вам что-нибудь. А так, для антиресу, вряд ли.

— Ну, посмотрим. Там видно будет. А теперь за дело, Гаврило Трофимович. Вы Конона отправляете нынче в школу?

— А как же, — ответил отец. — Завтра пойдет вместе со всеми.

— Вот и хорошо. А я, признаться, думал, что вы уж решили взять его от меня. Знаете, как у нас — отдадут мальчика учиться, а потом начинают жалеть об этом да гонять его по хозяйству... А Конон у вас мальчик старательный, — продолжал Павел Константинович. — Ему надо обязательно кончить школу. Это очень пригодится в жизни. Очень хорошо, что вы посылаете его нынче учиться. Спасибо вам большое за это.

Тут Павел Константинович встал со стула, прошелся по комнате и вдруг пристально посмотрел на меня. Я сразу съежился и на всякий случай спрятался за спину отца.

— Это что же, младший у вас? — спросил он.

— Младший, младший! — ответил отец. — Тоже в школу просится. Пристал как банный лист. Веди и веди, тятенька, к Павлу Костентиновичу. Хочу, говорит, учиться.

Павел Константинович опять внимательно посмотрел на меня. А отец продолжал:

— Растет парень! Боронит уж, слава богу. В сенокос копны возит. Всю осень с ребятишками телят пас.

— Да он молодец у вас. И пастух, и борноволок, и копны уж возит... А как этого борноволока зовут? — неожиданно обратился ко мне Павел Константинович.

Тут у меня сразу отнялся язык. Я смотрел на него и молчал.

— Скажи Павлу Костентиновичу, как тебя зовут, — подтолкнул меня отец.

Павел Константинович вопросительно смотрел на меня и ждал ответа.

— Кенко... — ответил я каким-то чужим голосом.

— Как, как? Я что-то не расслышал? — переспросил Павел Константинович.

— Акентием его зовут, — ответил за меня отец.

— А сколько ему лет? — спросил Павел Константинович.

— Да семь перед рождеством будет.

— Значит, шесть пока. Седьмой неполный. Знаете, Гав-

рило Трофимович, — сказал, подумав, Павел Константинович и погладил свою козлиную бороду, — не стоит нынче отдавать его. Мал еще. Пусть подрастет годик. Так лучше будет. А с будущего года и пойдет по-настоящему учиться...

— С будущего так с будущего, — сразу согласился отец и стал прощаться.

Глава 6
В ШКОЛЕ

С этого дня я уже не просился в школу, не приставал к брату, когда он готовил уроки, и не ходил смотреть, как ученики собираются к Бедристовым учиться. Все свое внимание я перенес теперь на строящуюся школу. С осени, пока стояла хорошая погода, мы со Спиркой и Гришкой каждый день ходили смотреть ее. Дедушки Никанора там уже не было. И теперь какие-то сердитые дяди вставляли в школьные окна рамы, приколачивали наличники, навешивали ставни. А другие дяди возводили кругом школы высокий тесовый забор.

Что делалось внутри школы, мы наблюдать уже не могли. Но знали, что там будут красить окна и двери, ставить и белить печи.

Все это не мешало нам каждый день говорить о том, как мы в будущем году будем вместе ходить в школу, сидеть за одной партой и учиться у Павла Константиновича.

А зимой у Спирьки и Гришки случилась беда. Их отца задавило в тайге большой лесиной, и он недели через две умер. Так что Спирька и Гришка осиротели. Их мать продала в Кульчеке свою избенку и уехала с ними на жительство в Безкиш к своим родным.

С отъездом Спирьки и Гришки я тоже вроде осиротел. Мои сродные братья — Ларион Ермиловых и Матвей Гарасимовых — пошли нынче в школу, завели там себе новых дружков и стали смотреть на меня свысока. А других подходящих мне по летам ребят у нас в околотке не было. Конону тоже было не до меня. Он или учил уроки, или помогал отцу по хозяйству. А в праздник уходил играть со своими дружками. Так что мне оставалось безвылазно сидеть около бабушки.

А потом пришла весна, и я боронил. И у себя, и у дяди

Ильи, и у Ларионовых. Во время сенокоса возил копны, в страду таскал снопы в суслоны, осенью пас телят и не заметил, как подошло время уж по-настоящему отправляться в школу. В назначенный день меня одели утром в новую рубаху и в новые штаны. Потом я натянул на ноги свои новые сагыры, напялил на голову новую шапку, хоть в шапке ходить было вроде еще и рано. В общем, собрался в школу как настоящий ученик.

Отец по такому случаю тоже немного принарядился и даже причесал гребнем голову, что он делал только по большим праздникам. Потом мы надели свои шабуры, подпоясались как следует; присели ненадолго на лавку и, перекрестясь, отправились в нашу новую школу.

Вот и школа. Мы молча поднялись на высокое крыльцо, прошли через небольшие сени в прихожую со множеством вешалок, сняли здесь наши шабуры и повесили их в углу на свободные гвоздики. А потом осторожно вошли в класс.

В классе все было чисто и красиво. Прямо против дверей стояли в три ряда новые свежевыкрашенные парты. Один ряд парт был уже почти полностью занят поступающими в школу ребятами. Около стены на подставках стояли две большие классные доски. Слева у стены стоял высокий шкаф с книгами. В переднем углу висела огромная икона архангела Михаила. Несколько баб и мужиков сидели отдельно на длинной скамье и уважительно слушали Павла Константиновича. Он был, как и в прошлом году, в черной тужурке со множеством пуговиц, в брюках навыпуску, в начищенных до блеска ботинках. Он ходил по классу взад и вперед и что-то рассказывал. Увидев нас, сразу вспомнил, что мы приходили к нему в прошлом году, взял на столе свою тетрадку и стал ее перелистывать. А потом сразу обратился ко мне:

— Так-с! Значит, Иннокентий Трошин явился в школу. Очень хорошо. Ну-ка, подойди ко мне.

Я нерешительно подошел.

— О! Да ты здорово вырос, — сказал он, посмотрев на меня. — Вот теперь другое дело. Значит, учиться пришел?

— Пришел, — еле слышно проговорил я.

— А шуметь и баловать в школе будешь?

— Нет, не буду.

— То-то. Смотри. А то наказывать буду. Я баловников не люблю.

— Я не буду баловничать.

— Ну, если не будешь, то мы сейчас же и определим тебя к твоему месту. С кем бы ты хотел сидеть в классе за одной партой?

— Со Спиркой.

— С каким это Спиркой? — переспросил Павел Константинович.

— С Крысиным, — немного смелее ответил я.

— Нет у меня такого ученика, — ответил Павел Константинович и еще раз посмотрел в свою тетрадку. — Не приводили ко мне никакого Спирьку. Какой это Спирька Крысин? — обратился он к отцу.

— Это сусед наш, Павел Костентинович. Савватея Кожуховского парнишко. Они вместе собирались учиться. Сам-то Савватей умер зимусь — в тайге лесиной задавило. А Савватеиха с ребятенками в Безкиш подалась к своему отцу. Там решила жить. Так что нету у нас теперь в суседстве Спирьки. В Безкише, видать, будет учиться.

— А кто из ваших соседских ребят пойдет нынче в школу?

— Груздевы вроде хотели отдавать своего Миньку. Да вон он уж сидит на третьей парте.

— Я что-то не припомню никакого Груздева,— заглянув в тетрадку, сказал Павел Константинович. — Кто у вас будет Минька Груздев?

— Я Груздев, — нерешительно подал голос с третьей парты лохматый парнишка.

Тут Павел Константинович еще раз поглядел в свою тетрадку и сказал:

— Ты же Обеднин, а не Груздев!

— Обеднины мы, — подал голос со скамейки один из мужиков. — Это прозвище у нас такое — Груздевы. Прозвали Груздевыми и зовут теперь — Груздевы да Груздевы. Хошь не хошь, а отзывайся. А на самом деле мы Груздевы, а не Обеднины, то бишь Обеднины, а не Груздевы.

На скамейках послышался смех, и кто-то сказал:

— Запутался, кум Василий, в прозвищах-то.

— Запутаешься тут.

— Ничего. Теперь мы разобрались, не запутаемся,— сказал Павел Константинович и что-то записал в свою тетрадку. Потом посмотрел на меня и на Миньку Груздева, подумал немного и сказал: — Вот что, Миша Обеднин. Ты уступи крайнее место на парте Кеше, а сам сядь на среднее место. А ты, Кеша, иди и садись рядом с Мишей. Будете сидеть вместе.

Тут Минька Обединин передвинулся на середину парты, а я на глазах у всех пошел к нему через весь класс и уселся рядом.

— А с краю от окна мы посадим вам Исаака Шевелева, — сказал Павел Константинович. — Шевелев! — обратился он к долговязому мальчику на первой парте. — Перейди на третью парту, на первое место от окна. Будешь сидеть рядом с Мишей Обедининым.

Исаак Шевелев быстро встал и перешел.

После этого Павел Константинович поглядел на нас, погладил к чему-то свою козлиную бороду и вдруг ни с того ни с сего приказал нам встать.

Мы с испугом вскочили. И тут оказалось, что Исаак Шевелев был самый высокий, Минька немного поменьше, а я самый маленький.

— Какие молодцы! — сказал, глядя на нас, Павел Константинович. — Как на подбор! Садитесь и запомните: это ваши места на весь год. Теперь сидите смирно, без разговоров, а я займусь другими ребятами.

Тут Павел Константинович записал в свою тетрадочку ребят, которые пришли в школу после нас, и тоже рассадил их по партам. А тех, кто пришли учиться по второму и третьему году, он сразу же отпускал домой и велел им приходить на занятия завтра утром. Напоследок Павел Константинович обратился к нашим отцам и матерям и строго-настрого наказал им, чтобы они сегодня же топили свои бани и отмывали нас как следует, чтобы остригали всех нас догола, одевали во все чистое и послезавтра присылали в школу. Не обязательно выряжать детей во все покупное. Учиться можно хорошо и во всем своем — холщовом, но только чтобы это холщовое было на ребятах чистым, чтобы всем было видно, что в школу пришли настоящие ученики. И чтобы руки у всех непременно были отмыты как следует с мылом, а ногти острижены. А детей немытых, нестриженых, в грязной одежде, с замызганными руками он учить не будет и сразу же отправит обратно. Да чтобы не забыли пришить к детским шабуришкам и шубенкам вешалки, чтобы нам не сваливать их здесь в прихожей в общую кучу.

Тут все начали говорить «ладно» да «хорошо». И стали собираться по домам. На этом наша встреча с Павлом Константиновичем и кончилась бы, если бы не Терентий Худяков. Он тоже привел сегодня своего Петьку и теперь полез к Павлу Константиновичу с разговором, как ему

быть. Он только вчера вымыл Петьку в бане и обкорнал его дочиста. А теперь выходит, что он завтра опять должен топить баню да снова мыть этого стервеца. Получается так, что он должен теперь топить баню чуть ли не каждый день.

Тут все отцы и матери зашумели и тоже стали говорить разное об этом. Но Павел Константинович всех их успокоил и посоветовал Терентию Худякову мыть своего Петьку в бане один раз в неделю.

— Если он вчера был у вас в бане, то теперь парьте и мойте его в следующую субботу.

— Это другое дело, — облегченно вздохнул Терентий Худяков. — А я уж перепужался. Вот, думаю, влопались в какое дело с этой школой. Жили спокойно, как люди, а теперь, слыханное ли дело, каждый день баню топить. А по одному разу, по субботам — это нам подходяще. Мы ведь так и топим ее, баню-то, по субботам.

На том порешили и разошлись по домам.

Через день, как наказывал нам Павел Константинович, я раным-рано вырядился в свои обновки и один, без отца, как настоящий ученик, пошел учиться. В школьном дворе собрались уж почти все ученики. И первоклассники, вроде меня, и второклассники, и старшеклассники.

Второклассники и старшеклассники всячески старались показать, что они не чета нам, первоклассникам. Они держались очень шумно, все время толкались, брыкались и даже боролись.

А мы — новички — не шумели, не возились, не гонялись друг за другом, а тихо и смирно стояли около школьного крыльца.

Незадолго до прихода Павла Константиновича появилась школьная сторожиха. Она отомкнула дверь и впустила нас. Тут второклассники и старшеклассники с шумом и криком бросились в школу. А мы — первоклассники — спокойно вошли после них, разделись честь честью в прихожей и не торопясь стали проходить в класс.

Второклассники и старшеклассники уже сидели там на своих местах. Одни из них уже что-то писали в своих тетрадях, другие перелистывали свои книжки. Третьи громко переговаривались между собою, а Микишка Ефремов все время почему-то скалил зубы и смеялся. Что он находил здесь смешного... Даже непонятно.

А у нас — новичков — не было ни книг, ни тетрадей, ничего, кроме наших пустых сумок и бутылок с молоком.

Эти бутылки полагалось в школе ставить на подоконники. Но там уже стояли бутылки старшеклассников, и мы лезть на окна со своими не осмелились. И говорить громко тоже стеснялись: говорили тихо, почти шепотом. И только уважительно смотрели по сторонам.

Впереди меня стояли две парты. За ними сидели шесть учеников: Ванька Рябчиков, Филька Зайков, Алешка Абакуров, Кенко Похабов, Афонька-цыган и еще какой-то заречный парнишка. А сзади нас, на последней парте, сидели Игнатий Зыков, Митька и Петька Худяковы. Я чувствовал, что Петька Худяков все время смотрит в мой затылок. От этого мне было как-то неловко. И я тоже старался как можно пристальнее смотреть в затылок Фильки Зайкова.

Все наши ребята к сегодняшнему дню действительно вымылись и оделись во все чистое. Исаак Шевелев и Илька Точилков пришли в суконных штанах и сатинетовых рубахах. А мы явились во всем холщовом. А остриглись все как-то по-разному. Одни хорошо, а другие с какими-то зарубками, и от этого головы их стали полосатыми. А Афонька-цыган не остригся и не помылся и сидел на первой парте с кудлатой головой.

Вдруг шум и разговор в классе враз умолкли. Раздался шепот: «Павел Константинович, Павел Константинович...» Второклассники и старшеклассники сразу же приняли какое-то озабоченное выражение. Послышался запоздалый стук чьей-то парты, и в класс вошел с пачкой тетрадей Павел Константинович.

Тут второклассники и старшеклассники все дружно встали. Глядя на них, мы — первоклассники — тоже встали, но как-то вразнобой. А Павел Константинович остановился посредине класса и громко сказал: «Здравствуйте, дети!» Второклассники и старшеклассники дружно ему ответили: «Здравствуйте, Павел Константинович!» Мы — первоклассники — глядя на них, тоже поздоровались. Только это получилось у нас как-то вразброд.

Тем временем Павел Константинович прошел вперед, положил тетради на стол, который стоял перед партами, посредине класса, и сказал:

— А теперь на молитву.

Тут все старшие ученики сразу повернулись к иконе архангела Михаила, которая висела в переднем углу, как раз позади нас. И один из старшеклассников стал читать «Молитву перед учением». Молитва была длинная и ка-

кая-то непонятная. Он читал ее громко, не сбиваясь и с видимым удовольствием. Особенно хорошо у него получился конец: «Родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу».

После молитвы Павел Константинович велел всем садиться и прошелся по классу. Мы смотрели на него во все глаза и ждали — вот-вот он начнет учить нас. А он вместо этого подошел к третьеклассникам, раздал им тетради, потом написал им на доске какие-то задачи. После того раздал тетради второму классу и тоже заставил их что-то писать.

Только после этого он подошел к нам. Ну теперь, решили мы, он начнет нас учить. А он вместо этого начал внимательно нас рассматривать, все ли мы остриглись, все ли сходили в баню и хорошо ли помылись. Он подходил к каждой парте и заставлял всех показывать ему свои руки. И тут оказалось, что хотя мы руки и мыли дома, но по дороге в школу и на школьном дворе их уж здорово замаракали. Тут Павел Константинович покачал головой и сказал, что такое дело никуда не годится и чтобы мы к завтрашнему дню еще раз отмыли их как следует с мылом.

А Афоньке-цыгану Павел Константинович наказал сегодня же непременно вымыться в бане и как следует остричься. А если не вымоется и не острижется, то чтобы завтра приходил в школу со своим отцом или с матерью.

После этого Павел Константинович начал учить нас тому, как мы должны вести себя в школе:

— С сегодняшнего дня вы уже не простые деревенские ребята, а ученики. Об этом вы должны теперь помнить все время. И не только в классе и на школьном дворе, но и дома, и на улице, и везде вести себя так, как положено настоящим ученикам. А настоящим ученикам положено на уроках в школе сидеть смирно, слушать учителя внимательно и не швыркать носами, как это вы делаете сейчас. Надо стараться соблюдать в школе чистоту. Не бегать во время перемен, не шуметь, не возиться. Кто будет все время следить за собой, соблюдать школьную дисциплину, кто будет опрятен, старателен и внимателен, тот и учиться будет хорошо. А кто будет на уроках дремать да ворон считать, разговаривать да отвлекать нас от работы разными шалостями, тот и учиться будет плохо. Тех я буду строго наказывать, ставить в угол, вызывать родителей. Вы должны пуще ока беречь наше школьное имущество.

Парты, за которыми сейчас сидите, классные доски, на которых мы с вами будем решать задачи, школьные счеты и географические карты и учебные картины, которые развешаны у нас здесь на стенах. Через несколько дней я выдам вам книги, по которым мы будем учиться читать, и тетради, в которых мы начнем писать. Эти книги и тетради должны быть всегда в чистоте и порядке. А для того чтобы они всегда были чистыми, надо взять за правило перед чтением и перед письмом обязательно мыть руки. С сегодняшнего дня вы стали учениками не только в школе, но и на улице и должны вести себя там как положено хорошим ученикам. На улице нельзя безобразничать, сквернословить, и запомните раз и навсегда — всем встречным на улице, которые старше вас, нужно непременно кланяться...

Дальше Павел Константинович обсказал нам, как мы должны теперь вести себя дома. Пришел домой, пообедал — и перво-наперво надо приготовить уроки.

— Я буду задавать вам на дом и по письму, и по чтению. Значит, надо сразу все прочитать и написать, что было задано. В общем, приготовить урок. А потом можно и поиграть, и помочь дома по хозяйству. Но сначала урок, а потом все остальное...

Долго еще говорил с нами Павел Константинович. Говорит-говорит, отойдет ко второму или третьему отделению, позанимается с ними немного и опять принимается учить нас. А мы сидим и слушаем его затаив дыхание.

Но вот Павел Константинович вынул из кармана часы, посмотрел на них и сказал:

— На сегодня довольно. Теперь тихо, спокойно, без шума, без гама отправляйтесь по домам, а завтра приходите без опозданий к первому уроку — к девяти часам. Заниматься мы будем каждый день по четыре часа.

После этого Павел Константинович пошел к своему шкафу, открыл его и стал перебирать в нем книжки. А мы без шума и без гама взяли свои сумки и тихонько стали выходить в прихожую, чтобы одеваться и идти домой. На уроке мы прониклись таким уважением к школе и к Павлу Константиновичу, что даже в прихожей говорили шепотом.

А старшеклассники с большим шумом выходили из класса и, не задерживаясь в прихожей, бежали на двор. Когда мы тихонько оделись и вышли на крылечко, то увидели их всех: они опять гонялись друг за другом, боролись

и толкались на разные лады. Мы, не говоря ни слова, прошли мимо них за ворота и разделились на две группы. Мы с Минькой Обедниным, Филька Зайков, Ванька Рябчиков и Илюшка Точилков пошли в переулок мимо Изота и Тиминых, а Митька и Петька Худяковы, Исаак Шевелев, Алешка Абакуров и остальные низовые ребята повернули налево.

И вот мы идем целой ватагой по переулку с сумками через плечо, как настоящие ученики, но даже не говорим друг с другом, так как все думаем о том, как нам теперь вести себя, чтобы на нас не рассердился Павел Константинович. Тут показался наш сосед Изот. Он вез куда-то длинную-длинную слегу. А сам, как всегда, посасывал трубку. Как только он поравнялся с нами, мы все, не сговариваясь, дружно ему поклонились и сказали: «Здравствуйте».

Изот удивленно посмотрел на нас. Потом остановился, вынул трубку, сплюнул в сторону и ответил:

— Здравствуйте, молодцы удалые! Чего-то рано вы сегодня отучились?

Тут, перебивая друг друга, мы объяснили ему, что у нас был сегодня только один урок. А завтра Павел Константинович будет учить нас весь день.

— Ну, давайте, давайте, ребята. Учитесь. Это дело хорошее, — сказал он в ответ и пошел догонять свою лошаденку, которая тем временем уж далеконько ушла вперед.

После встречи с Изотом наши языки как-то сами собой развязались, и мы начали вспоминать свой первый урок. Но говорили больше о каких-то пустяках. Ванька Рябчиков выразил недовольство тем, что Павел Константинович ходит не в сапогах, как все начальники, а вроде как в бабьих ботинках. И зимой, надо думать, ноги у него в таких ботинках сильно мерзнут. А Филипп Зайков завел разговор про то, что борода у Павла Константиновича какая-то ненастоящая. А Илюшка Точилков объяснил нам, что Павел Константинович одет совсем не в тужурку, как все мы думаем, а в пинджак и что этот пинджак полагается душить одеколоном. А потом Ванька Рябчиков стал хвалиться, что Павел Константинович был в прошлом году на именинах у ихнего Степана, просидел целый вечер и подарил Степке серебряный рубль.

Тут я вспомнил, как мы в прошлом году тоже звали Павла Константиновича на именины к Конону. И он пообещал непременно прийти. По такому случаю отец

съездил в Кому купить бутылку красного вина, так как Павел Константинович обычную водку не пьет. А мама целую неделю варила и стряпала к этому дню разное угощение. Убили и зажарили поросенка-сосунка, зарезали на похлебку молодого петуха, напекли всяких стряпушек и фафилей. В назначенный день мама убрала к вечеру стол, приодела как следует Конона, и сами мы все приоделись, как на большой праздник, и стали ждать Павла Константиновича. Прождали его до самой поздней ночи. А он не пришел. Так что все понапрасну готовили и понапрасну ждали. Всем было почему-то очень стыдно. Обиднее всех было Конону. Под конец он даже заплакал от огорчения и стал говорить разное про Павла Константиновича, что он только к богатым ходит на именины, а к нам, бедным, и прийти не захотел. Ну, тут мама рассердилась на Конона и велела ему не говорить ничего плохого про Павла Константиновича. «Не пришел — значит, не мог, — сказала она. — Может, занемог или из сродственников кто приехал. Он ведь новоселовский. В любое время могут заявиться. И насчет нашей бедности тоже нечего принижаться. Мы хоть и бедные, а у богатых не побираемся, хлеб пашем, скотишку держим, все у нас есть свое. А что дом у нас без горницы, так это не беда. Вот подрастете — и пристроим горницу».

Дома я рассказал маме, как нас учил сегодня Павел Константинович. Она была очень довольна и посоветовала мне слушать Павла Константиновича внимательно, вникать в его слова, быть старательным и делать все так, как он говорит. Ведь Павел Константинович плохому не научит. А потом она велела мне снимать все обновки и идти на гумно помогать отцу перекладывать в риге каменку. Зима уж на носу. Не успеешь и оглянуться, как надо будет начинать молотьбу.

С этого дня я стал каждый день ходить в школу. Поначалу Павел Константинович учил нас, как полагается правильно сидеть за партой, и каждый день проверял, чисто ли мы одеты и вымыты ли у нас руки. Потом мы стали учить буквы. Каждую букву всем классом тянули вслух, потом всем классом складывали их в слоги, а отдельные слоги в полные слова. Все это было мне не трудно, так как буквы я уже знал от Конона и даже умел составлять из них слова. Но я все равно внимательно слушал Павла

Константиновича и усердно вместе со всеми вытягивал что надо. В общем, учиться читать мне было довольно легко. А вот с письмом... Тут все получалось не так, как надо. Когда Павел Константинович выдал нам тетради и перья, он сначала начал учить нас, как правильно класть тетрадь для письма на парту, как держать руку с пером на столе и чтобы не сгибаться в три погибели во время письма, не сопеть, не высовывать язык, очень аккуратно обмакивать перо в чернильницу, и не делать в тетрадях клякс и помарок. Пока мы не писали, а только делали вид, что пишем, все это получалось у нас очень хорошо. Сидели мы прямо, тетради наши лежали на партах чуть-чуть с наклоном, перья мы держали тоже по всем правилам, не сопели, и не потели, и не высовывали языки. Конечно, кой у кого все это получалось не совсем так, как надо. Но Павел Константинович тех терпеливо поправлял, садился за их парту и показывал, как будто сам он тоже ученик и вместе с нами учится писать.

Но вот пришел день, когда Павел Константинович заставил нас осторожно обмакнуть перья в чернильницы, потом для наглядности написал на доске несколько палочек и заставил нас писать такие же палочки в своих тетрадях. И тут у меня все пошло не так, как надо. И руки мои почему-то были все время потные. Трешь, трешь их о штаны, о рубаху, возьмешь ручку, начнешь писать, глядишь... они у тебя опять вспотели. И язык сам собой начинал высовываться, и почему-то я начинал сопеть и гнуться в три погибели. А с этими кляксами уж совсем беда. Как ни осторожно обмакивал я свое перо в чернильницу, как ни осторожно выводил колышки в тетради, а клякса вдруг ни с того ни с сего капнет на тетрадь. А как тяжело, оказывается, писать! За целый урок я написал только одну строчку этих проклятущих палочек. И даже вспотел от натуги. Как будто с братом без передышки отпилил толстую лиственную чурку на дрова. Аж руки трясутся. А Павел Константинович все ходит около нас, все смотрит, как мы пишем, и все сокрушенно качает головой. И пятна от потных рук на тетрадях, и кляксы, и нажимы не те. И колышки какие-то неровные.

Так началось наше обучение письму. Поначалу мы довольно долго писали колышки. Потом стали писать крючки, крючки с петелькой, кружки и все такое. Колышки мы писали очень долго. Пожалуй, целую неделю. А кружки и петельки писались у нас уж легче. А после этого мы сразу

перешли на буквы. Ну, тут для нас неожиданного ничего уж не было, так как все буквы, оказывается, составляются из колышков, крючков и петелек, которые мы уже выучились писать.

Все мы старались писать хорошо. Но у одних это получалось лучше, у других хуже, а у третьих совсем плохо. Я писал не очень быстро, но, в общем, хорошо. Однако все-таки не так красиво, как Митька Худяков.

После того как мы научились внимательно сидеть на уроках, писать отдельные буквы, вычитывать по буквам отдельные слова и даже целые предложения, Павел Константинович один раз завел с нами разговор о том, что в деревне у нас верят в разную чертовщину, знают разные наговоры и привороты и могут любого человека, как говорят у нас, «испортить», то есть напустить на него какую-нибудь болезнь. И Павел Константинович попросил рассказать ему обо всем этом поподробнее.

Тут сразу поднялось несколько рук. Подняли руки и Митька Худяков, и Алешка Абакуров, и Илюшка Точилков. А Филька Зайков даже вскочил на ноги за своей партой и всячески хотел обратить на себя внимание. Ну, Павел Константинович видит такое дело и спросил Фильку, что он собирается рассказать нам об этом.

А у Фильки был дедушко. Старый такой, уж совсем лысый, с длинной седой бородой. Проезжая летом мимо Зайковых, на покос или на пашню, я почти всегда замечал его на улице на скамеечке. Он сидел около своих ворот и наблюдал, как вся деревня проезжала мимо него на работу.

Вот Андрей Зыков со своей Устиньей и Зоей первыми проехали на покос. Потом дядя Илья со своими поденщиками, потом Ермиловы, Спирины, Ларионовы и другие старательные хозяева. А позже всех, не торопясь, едут самые ленивые мужичонки, вроде Терехи Худякова али Еремея Грязнова. А дедушко Зайков на всех смотрит и всех примечает. Справных мужиков, которые проехали раньше других на работу, дедушко Зайков хвалит, а самых последних ругает, называет лодырями, лоботрясами и другими обидными словами.

А в молодые годы дедушко Зайков служил в солдатах. И служил не так, как теперь, по три и по четыре года, а целых двадцать пять лет. Когда дедушко Зайков был еще

не такой старый, он часто рассказывал о том, как ему на службе военный начальник прямо в строю выбил ни за что два зуба и как он тут же сгоряча заколол штыком того начальника. За это дедушку Зайкова судили военным судом, били палками, а потом сослали на каторгу, а с каторги к нам в Кульчек на поселенье.

— Последнее время, — рассказывал Филька Павлу Константиновичу, — дедушко больше лежит дома на печке. И ему все время что-то мерещится. Лежит, лежит спокойно, а потом вдруг начнет с кем-то разговаривать и даже ругаться. «Чего ты там, дедушко, опять шумишь?» — спросят его. А он: «Что вы, не видите, как меня одолевает нечистая сила». — «Какая нечистая сила? — говорят ему.— Что ты, дедушко, выдумываешь». А он говорит, что нисколько не выдумывает, что полный дом набилось всякой нечисти. Нарядились в солдатские мундиры, лезут к нему на печку и все требуют: «Выходи, солдат, на двор получать награду!» А на дворе, кажется дедушке, собралось видимо-невидимо нечистой силы. Все обмундированы в форменную солдатскую одежду, построены рядами и как бы застыли с палками в руках. А перед строем ходят грозные начальники и требуют дедушку: «Давайте его скорее сюда! Давайте его, давайте!» Поначалу дедушко уговаривает этих нечистых, что он уж свое отстрадал, что его уж били батогами, что обо всем этом в волости есть форменные справки. Но черти ничего, конечно, не слушают и начинают тащить его с печки. Тогда дедушко плюнет с досады, ругнется как следует, потом перекрестится несколько раз и начнет громко читать «Отче наш» или «Богородицу». И тут черти сразу с шумом и воплем бросаются из избы во двор, а со двора в разные стороны. Одни через ворота на улицу, другие через заплот на зады. В общем, кто во что горазд. После этого они долго не беспокоят дедушку. Он и соснет спокойно, и посидит на крылечке. А потом придет, ляжет на печку, и все начинается сначала...

Отец и мать Фильки понимают, конечно, что дедушку мучает нечистая сила. Но не знают, что делать. Соседи тоже думают, что все это неспроста, и советуют отслужить в доме молебен. Другим манером, говорят, от этого не отделаешься. И вот отец и мать Фильки не могут решить: служить им в избе молебен или не служить. И говорить об этом с батюшкой побаиваются. Кто знает — как еще он на такое дело посмотрит.

После Фильки Зайкова Петька Худяков стал рассказывать о своем отце. Прошлой зимой пошел Тереха Худяков почти за полночь в баню. Дома отговаривали его идти так поздно. А он все равно пошел, а спустя некоторое время прибежал оттуда еле живой от страха и стал рассказывать о том, как в бане из-под пола высунулась чья-то волосатая рука и стала шарить по полу. Увидев это, Тереха обмер, а потом выскочил как ошпаренный из бани, да так, в чем мать родила, и прибежал по снегу домой...

После Фильки Зайкова и Петьки Худякова у всех развязались языки. Все осмелели и начали рассказывать каждый про свое. И про чертей на мельнице, и про домовых, и про леших в тайге. И про разные наговоры, порчи, привороты. И тут оказалось, что почти в каждой семье кто-нибудь болеет от порчи, от худого слова, от вредного взгляда. На того «хомут надели», тому «килу привесили», тому «редьку поставили», на того напустили лихорадку или какую-либо другую хворобу.

Тут я тоже хотел было рассказать Павлу Константиновичу кое-что о нашей бабушке. Последнее время ей тоже стало всякое мерещиться. Но говорить об этом я как-то постеснялся.

А Павел Константинович все время внимательно слушал нас, а потом и говорит:

— Ну, довольно, дети. Теперь я очень хорошо представляю, как у вас обстоит дело с нечистой силой.

А потом подумал немного, прошелся по классу и начал объяснять нам, что все эти разговоры о нечистой силе говорят о деревенской темноте и невежестве, что все люди у нас в Кульчеке неграмотные и преданы суевериям. А суеверным людям везде мерещится нечистая сила. В пруду, на мельнице, в бане, в подполье, на чердаке, в каждом темном уголке.

— Вот недавно, — рассказывал Павел Константинович, — у Филиных пошли поздно вечером дедушко с внучком на мельницу. И прибегают оттуда еле живые от испуга. Говорят, в мельнице под полом гогочет черт. На этот раз находился у них в доме какой-то проезжий солдат. Он уговорил всех сейчас же идти всем скопом на мельницу. Взяли на всякий случай топоры и колья. Сам старик вооружился ружьишком. Пришли на мельницу, слушают. Действительно, кто-то гогочет под полом. Тут у всех от страха поджилки затряслись. Но потом все-таки одумались немного, осмелели и отодрали половицу. Солдат во-

оружился топором, взял свечу, перекрестился и полез под пол воевать с чертом. А через некоторое время вытаскивает оттуда гуся. Этот гусь плавал в полынье перед самым створом мельницы, да, видать, немного оплошал, его и удернуло внутрь. Да еще колесом там немного пришибло. И выбраться ему оттуда некуда, так как кругом все обмерзло.

Вот вам и нечистая сила. В каждом таком случае мы имеем дело или с суеверным страхом, или с больным воображением. Дедушко Зайков уже стар. Ему скоро будет сто лет. Вот ему и мерещится нечистая сила. А бывает и так, что человек еще не старый напьется до беспамятства. Спьяна ему тоже лезет в голову всякая ерунда. Но мы-то в этом случае хорошо знаем, в чем тут дело. Нам даже смешно, когда такой пьянчужка начинает воевать с нечистой силой. Тогда посмотрят на него добрые люди, покачают головой и скажут: «Смотрите... Опять человек нализался до белой горячки!»

А потом Павел Константинович стал рассказывать нам насчет разных болезней от наговоров и приворотов:

— Народ у нас в деревне хворый. Все покалечены тяжелой работой. У того больное сердце, у другого не в порядке печень. Третьи жалуются на то, что у них «болят внутренности». А что болит и как болит, они толком рассказать не могут. И докторов нет, чтобы помочь и объяснить. Один фельдшер на целую волость. А в волости девятнадцать деревень — больше десяти тысяч человек. Вот от темноты деревенской и начинается разговор о порче, о наговорах, о худом взгляде. У человека печень не в порядке, ему жирное есть не полагается, а он плотно поел жареного сала. Ну, его сразу и схватило так, что он по полу катается. И тут все решают, что на человека «надели хомут». Или, скажем, у больных грыжей при тяжелой работе происходит выпадение внутренних органов. В этом случае все решают, что такому человеку кто-то «подвесил килу» или «посадил редьку». На того напустили «кумушку», на другого рожу, на третьего сухотку. Так и живут под страхом, что на них, того и гляди, кто-нибудь не так посмотрит или напустит какую-нибудь болячку. Все это идет от темноты и суеверия. И те люди, которые всему этому верят, называются людьми суеверными. Там, где существует грамотность, просвещение, наука, там не остается места суевериям. Раньше суеверные люди считали пароход, железную дорогу настоящей чертовщиной. А теперь

все спокойно ездят и на пароходах, и по железной дороге и не думают ни о какой нечистой силе. А взять огнестрельное оружие. Когда оно впервые было изобретено, то суеверные люди считали его адской силой. А теперь все спокойно ходят и ездят с ружьями на охоту.

В нынешнем году вы начали ходить в школу. И скоро научитесь читать и писать, сделаетесь настоящими учениками. И теперь вы должны знать, что никакой нечистой силы на свете нет, что нечистая сила есть порождение темноты, страха и суеверия. Теперь вы настоящие ученики и должны всем объяснять это... Филя Зайков должен втолковать своему дедушке, чтобы он не волновался и не пугался нечистой силы. А Петя Худяков должен объяснить своему отцу, что в бане под полом нет никаких чертей.

Я слушал Павла Константиновича и все время думал о нашей бабушке. Ей последнее время часто мерещится нечистая сила, то в виде огненного змея, который пролетает над деревней, то в виде чьей-то собаки, которая ночами подвывает у наших ворот. А последнее время бабушка стала сильно опасаться чужих свиней. В Безкише объявилась, по слухам, чья-то неизвестная свинья и стала говорить с безкишенскими бабами человечьим голосом. И вот бабушка теперь боится, как бы та свинья не перебежала к нам в Кульчек. Деревни-то рядом. Всего семь верст. Но главная беда в том, что бабушка последнее время сильно хворает и убеждена в том, что хворает она по вине своего племянничка Гараськи. Гараська буквально не дает бабушке покоя. Человек он, конечно, нехороший. Это известно всей деревне. И характера вредного. Совсем отбился от семьи, слоняется из дома в дом да выпрашивает рюмки. И угощать его нехорошо, а не угощать боязно. Еще сделает что-нибудь такое, что жалеть потом будешь. Нынче во время страды, когда все были на пашне, пронюхал дядя Гарасим, что тятенька запас у нас к празднику немного винишка, и заявился к бабушке сам не свой. «Подай, — говорит, — рюмочку, христа ради. Мочи моей нет. Изверелся совсем. Ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу. Голова вроде колется». Ну, бабушка пожалела его и налила ему рюмочку. А ему от той рюмки стало еще хуже. Свалился на пол и плачет: «Ой, тетонька, помираю! Дай вторую. Видать, смертушка моя пришла». Ну, бабушка видит — совсем плохо человеку. Как бы чего не случилось.

Варнак варнаком, а все-таки родной племянник. Подала ему вторую, а потом третью. Так он помаленьку выманил у нее всю бутылку и стал подговариваться ко второй. Тут бабушка наконец сообразила, что дядя Гарасим разыгрывает ее своей болезнью, огрела его ухватом и вытурила из избы. И вот дядя Гарасим обиделся на нее и с того времени перестал ходить к нам. А бабушке вскоре совсем занедужилось. Теперь ей на каждом шагу стали чудиться разные несчастья. Увидела раз на амбаре сороку и зовет меня: «Гони ее, проклятую! Ишь уселась, да еще стрекочет». И стала рассказывать про свою покойницу мать. Та вот так же один раз увидела такую же сороку-белобоку. Откуда ни возьмись прилетела, села на крышу, прямо на охлупень, и давай стрекотать. «Ну, быть беде! — решила тогда мамонька. — Станем дожидаться, что-то будет».

— И так эта сорока мамоньке запомнилась,— рассказывала бабушка, — что она и забыть ее не могла. Часто стала задумываться и говорить: «быть беде», «быть беде». Так и году не прошло — преставилась... Царство ей небесное... Вот она, сорока-белобока-то, что значит. Неспроста она прилетела стрекотать к нам. Видать, мамонька послала ее за мной. К себе зовет покойница.

Тут бабушка заплакала и стала говорить о своей матери, которая раньше времени отдала душеньку богу. «Всего и дожила-то только до семидесяти шести годочков. Жить бы да жить еще. А теперь, видать, и моя очередь пришла». И бабушка стала плакаться на свое здоровье, говорить о том, что она прогневила чем-то господа бога и он за грехи ее наказывает. А потом свела все дело к варнаку Гараське, чтоб ему ни дна ни покрышки...

И действительно, бабушке становилось все хуже и хуже. Но лежать она не хотела. Все старалась что-нибудь делать по домашности. То посуду моет в кути, то пряжу перематывает. И все время ругает дядю Гарасима.

А последнее время стала все путать. Большую печь хозяйки начинают топить у нас после третьих петухов. К утру она протопится, и хлебы выпекутся. А бабушка перепутала и затопила печь после первых петухов. Вот печь протопилась, надо хлебы сажать. И тут запели вторые петухи. Бабушка, конечно, всполошилась: что это такое случилось с петухами, четвертый раз поют. Поахала, поахала и посадила хлебы в печь. Ждет утра. Вот хлебы уж выпеклись, пора вынимать их из печи. А на дворе не светает. Более того, в хлеву опять запели петухи. Тут бабуш-

ка, сама не своя, будит тятеньку: «Вставай, Гаврило! Что-то неладно. Петухи пятый раз пропели, а все не светает. Сходи-ко в охлев да посмотри, не случилось ли там чего с петухами». Ну, отец вышел, посмотрел на небо. Видит, Утячье Гнездо еще над Чертанкой стоит. Значит, до свету можно еще раз и печь вытопить, и хлебы испечь... Пришел в избу и успокоил бабушку: «Ложись, мамонька. Отдохни. Устала ведь. Петухи в охлеву, на месте. А на дворе уж светать начало». Тут бабушка успокоилась, легла на печку и проспала до самого утра.

А потом ей совсем стало плохо. Она уж с постели не встает, а все равно о всех заботится. А обо мне больше всех. «Вот умру скоро, — недавно сказала она мне, — некому будет и присмотреть за тобой. Всем ведь некогда да недосуг с этим хозяйством. Чтоб оно погорело ясным огнем». Потом подумала немного и добавила: «И без хозяйства опять же не обойдешься. Как жить-то?.. По миру ходить, куски собирать. Если бы здоровья бог дал, хоть бы лет на пяток, на десяток — все-таки помогла бы тебе встать на ноги. Но, видать, не придется мне». Тут бабушка вспомнила дядю Гарасима и даже заплакала от обиды на него.

Теперь, после уроков Павла Константиновича, мне стало ясно, что бабушка просто сильно хворает. Может, у нее здоровье от старости сдало, может, от простуды. А может быть, от того, что нынче летом она опять в погреб свалилась. Оступилась на лестнице и грохнулась. И сама покалечилась, и молока целое ведро пролила. Поначалу ей вроде было ничего. Полежала недели две в постели и помалу-помалу оклемалась. А к зиме оно, видать, стало сказываться.

В общем, по дороге из школы я решил сейчас же обсказать ей все, что говорил нам Павел Константинович насчет порч, наговоров, чертей и приворотов, уговорить ее, чтобы не сердилась напрасно на дядю Гарасима.

Дома я застал у нас дедушку Федора. Дедушко Федор живет недалеко от нас насупротив сборни, рядом с Трошкой Плясунком. Мы — ребятишки — все очень любим дедушку Федора, потому что он всегда веселый, говорит с разными прибаутками, а главное, рассказывает нам целыми вечерами сказки. Выйдет весной в праздник на улицу, сядет где-нибудь в сторонке на бревнышке и смотрит, как парни с девками пляшут и поют песни. И тут сразу возле него собирается народ. И старые, и малые, и степенные му-

жики начинают упрашивать его рассказать что-нибудь интересное. А дедушко Федор приосанится, разгладит для форсу свою большую серебристую бороду, встряхнет несколько раз своими седыми волосами, выстукает не торопясь о бревно свою трубку и начнет отказываться, что он в прошлое воскресенье рассказал уж свои последние сказки, что новых сказок у него в запасе нет, а старые он повторять не любит. А все ведь хорошо знают, что дедушко Федор пуще всего на свете любит рассказывать свои сказки, что сказок у него непочатый край и что отказывается он так, для куража. И тут все начинают его упрашивать: «Дедушко Федор! Пожалуйстова, рассказывай. Если новых сказок нет — повторяй старые. Нам все равно интересно». Тут дедушко Федор как бы пожалеет всех и скажет: «Ну, так и быть. Вспомнилась мне одна сказочка про Франциля Венциона. Рассказать, что ли?» Тут все скопом кричат: «Расскажи, дедушко Федор, расскажи!» И дедушко Федор начинает рассказывать. Сначала действительно про Франциля Венциона, потом про верную жену, потом про разных крестьянских, купеческих и царских сыновей. Тут все устраиваются, кому как удобнее, вокруг него и слушают. Дедушко Федор рассказывает и рассказывает, а слушатели около него все меняются. Сначала матери и отцы уводят спать маленьких ребятишек, потом пойдут по домам старики и мужики-хозяева. Тем временем молодые ребята отпоются и отпляшутся на лужке и тоже подойдут послушать дедушку Федора. Им все нипочем. А дедушко Федор все рассказывает и рассказывает, пока не заметит, что дело подошло уж к утру. «Ох, мать-перемать! — скажет он. — Пора и честь знать. Уж совсем рассвело. Давайте, ребятушки, по домам. Скоро лошадей запрягать да на пашню».

А у нас сегодня дедушко Федор не шутит, не балагурит, не рассказывает разные небылицы. Напротив, он сегодня важный и какой-то сердитый. Когда я вошел в избу, он сидел на лавке у стола и читал какой-то наговор над ковшиком воды. И не обратил на меня никакого внимания. Оказывается, бабушке было совсем плохо и отец сбегал за ним.

Я осторожно прошел в куть и оттуда стал наблюдать за дедушкой Федором. Отец сидел у окна и уважительно смотрел на то, как он мудрует над ковшиком с водой. Бабушка тихо стонала на печи. А дедушко все читал и читал свой наговор. Потом попросил у мамоньки ножик, пере-

крестился и стал резать этим ножиком воду в ковше крест-накрест. После этого он еще раз перекрестился, подошел к печке и подал бабушке ковш с водой.

— Выпей-ко немного. И вечером испей. И завтра утром. Как только проснешься, и попей. А там посмотрим. Утром я зайду понаведать тебя...

— Спасибо, Федор, — тихо сказала бабушка и приняла ковш с водой. — Совсем ослабела я. Видать, конец пришел. Сегодня ночью под ложечку подкатилось. Ни охнуть, ни вздохнуть. Думала — совсем окочурюсь.

— Под ложечку, говоришь, подкатилось? — сердито спросил дедушко Федор. — Что же ты сразу-то об этом не сказала? Вот бестолковая. — Тут дедушко многозначительно покачал головой. — Подкатилось под ложечку, говоришь. Это, милая, совсем другое дело. Это по-другому и лечить надо. Давай обратно ковшик-то.

Бабушка с виноватым видом подала дедушке Федору ковш с наговоренной водой. Он взял его, прошел в куть и выплеснул святую воду в лохань. Потом подал матери ковш и попросил ее еще раз принести ключевой воды. Мать молча взяла ковш и принесла ему из сеней воды. И вот дедушко Федор снова начал читать какую-то молитву. На этот раз он не резал воду в ковше, а много раз крестил ее, тяжело вздыхал, что-то наговаривал и снова крестил. Потом опять подал бабушке ковш, попросил ее попить сколько она может, а остальной водой умыться вечером перед самым сном. И спокойно лежать, и ни о чем не думать. Бабушка выпила немного и поставила ковш в сторону.

— Да как не думать-то. Утром Гарасим приходил повидаться. А я велела Авдотье не пускать его. Как бы не сглазил, думаю. Может, напрасно не пустила мужика?

— А ты не думай об этом. От думы, знаешь, люди не с твоим здоровьем ума решаются. Не большая беда, если еще раз придет. Все-таки он тебе родной племянник. Может быть, на этот раз он приходил к тебе по-хорошему.

— Кто его знает, — сказала бабушка. — Непутевый он у нас какой-то. Из-за него, варнака, хвораю.

— Выбрось ты пока это из головы. Мужик он дивствительно вредный. Это верно. А разве он один такой в деревне? Знаешь, какой народ пошел теперь? На доброе на что-нибудь их иет, а по этой части напрактиковались. Особенно верховские. Не говорят, а прямо жалят, варнаки. Из них кто-то подкузьмил тебя. Точно! Но клин, знаешь,

надо вышибать клином... После моего наговора к тебе никакая хвороба не пристанет.

Тут дедушко Федор встал во весь свой богатырский рост, выпил большой ковшик пива, который поднесла ему мамонька, вытер губы, молодецки расправил плечи, встряхнул своими белыми кудрями и направился домой.

— С Гарасимом-то как быть? Опять ведь придет.— шепотом спросила мама.

— С Гарасимом-то? Вот ведь какая оказия. Лучше все-таки не пускать его. Пусть на крыльце посидит. А то она ведь переживать начнет. А сил-то у нее, сама видишь... На чем держится. Ну, оставайтесь пока. Завтра я понаведаюсь.

И дедушко Федор отправился домой.

После его ухода бабушка успокоилась и уснула, а я пообедал и стал делать урок по чистописанию. Я переписывал буквы с прописи, а сам все думал о том, как мне завести разговор с бабушкой о том, что нам обсказывал сегодня Павел Константинович, как уговорить бабушку не сердиться на дядю Гарасима.

— Из школы уж пришел? — услышал я с печи голос бабушки. — Видать, долго я спала. Ну, рассказывай, чему вас учил сегодня Павел Костентинович?

Тут я стал рассказывать бабушке, что он объяснял нам сегодня насчет чертей и всякой нечистой силы, как старик Филин принял своего же гуся под полом на мельнице за черта, и про Тереху Худякова, который ночью перепугался в бане нечистой силы и еле добежал до дому. Бабушка слушала все это с таким видом, что она-то уж кое-что понимает в этих делах, и даже смеялась над тем, как Тереша Худяков чесал из бани по снегу домой в чем мать родила. Она живо представила себе, как старый Прохор Филин идет с ружьишком за солдатом на мельницу и лязгает от страха зубами. «Тоже нашелся стрелок, прости восподи. На черта с ружьем вышел». И бабушка даже сплюнула с досады. Но когда я стал дальше рассказывать о том, что нам объяснял об этом Павел Константинович, то есть что все это называется суеверием и происходит от страха и от невежества, бабушка даже рассердилась.

— От страха, от невежества... Тоже скажет ваш Павел Костентинович... Ученый человек, а говорит такое. Покойный дедушко-то твой, дай бог ему царство небесное, на медведя хаживал. Не боялся. А на мельницу пошел раз ночью перед николиным днем и видит: на жернове голая

баба сидит, глазищи большие, зеленые, и волосы гребнем чешет. Тут дедушку твоего родимчик и хватил. Всю зиму пролежал недвижимый. И язык отнялся. К лету кое-как отошел, заговорил и обсказал как все было на самом деле. А ты говоришь, от страху, от невежества.

Я чувствовал, что бабушка не права, а прав Павел Константинович. Но не знал, что ей сказать насчет этой женщины на мельничном жернове. Тем более что и другие люди видели эту женщину в мельнице. И тоже на жернове, и тоже с гребешком. Я понимал, что они видели в мельнице женщину ненастоящую, что все это у них происходит от страха и суеверия. Но объяснить все это вразумительно бабушке я не знал как, так как Павел Константинович говорил нам только насчет гуся в мельнице, а про голую женщину ничего не рассказывал. Тогда я завел речь с бабушкой о том, что нам Павел Константинович объяснял насчет наговоров и приворотов, и стал уговаривать ее не сердиться на дядю Гарасима, так как он не может напускать на нее всякие болезни. Но тут бабушка сразу рассердилась и сказала, что она лучше меня знает, что может сделать Гарасим, так как из-за него, варнака, совсем лишилась здоровья. При разговоре о дяде Гарасиме бабушка совсем расстроилась и даже заплакала от обиды на него. А я испугался, что довел бабушку до слез, и тоже заплакал. Так мы и плакали оба, пока не пришла мама.

Через две недели бабушка снова слегла в постель и уж больше не вставала. А после крещения умерла. Хоронили ее всей родней. Из Комы приехала тетка Орина, а из Анаша тетка Агафья. И дядя Гарасим вместе со всеми пришел на похороны. Никто ему ничего не говорил, что бабушка винила его в своей смерти. Но он, видимо, знал об этом, так как плакал на похоронах сильнее всех.

А наши занятия в школе шли своим чередом. Каждый день я вместе с другими учениками старательно слагал и вычитал в уме однозначные числа и писал по букварю разные слова и фразы. И все время посматривал на Павла Константиновича. Особенно когда он отходил от нас заниматься со вторым и третьим классами. Иногда он проходил между наших парт, останавливался около какого-нибудь ученика и смотрел, как он пишет. И если он писал плохо, то садился на его место и писал ему что следует в тетрадь.

А один раз Павел Константинович подошел ко мне, остановился и стал смотреть, как я пишу. Я слышал, как он дышит надо мной с каким-то прихрапыванием, но все равно продолжал писать. А он постоял, постоял около меня, потом погладил меня по голове и прошел к следующей парте.

Ученье по букварю мне не особенно было интересно, так как буквы я уже знал и читать почти умел. Зато мне очень нравилось в это время обучать грамоте Чуню. Когда Конон кончил школу, пошел учиться я. А Чуню учиться не отдали. Но все-таки она грамотой интересовалась и каждый вечер, хоть ненадолго, садилась со мной за букварь. Буквы она выучила очень быстро и слова составляла из них не хуже меня. А вот письмо у нее не получалось. Колышки и закорючки она писать не хотела, а буквы у нее выходили почему-то плохо. Но все-таки она почти каждый день понемногу писала. И скоро научилась ясно и хорошо расписываться. После этого она совсем перестала писать и просила меня больше читать ей вслух что-нибудь интересное. Сядет с прялкой около меня и прядет. А я читаю ей разные истории.

Наконец мы с грехом пополам одолели букварь и стали ждать от Павла Константиновича новую книгу. Ждали день, ждали два. На третий день сторожиха Акулина принесла в класс большую кипу книг, перевязанную бечевкой. Тут Павел Константинович взял у нее эту кипу, положил на стол, развязал и стал перебирать книгу за книгой, обдувая с них пыль. Потом принес из своего шкафа несколько газет, разрезал их на небольшие листы и стал обертывать ими каждую книгу. Обернет и отложит в сторону, обернет и отложит в сторону. И так все восемнадцать. Обертывает и объясняет, какую хорошую книгу он нам сегодня выдаст и как нужно беречь ее, потому что она научит нас любить родное слово и даст правильное направление на всю жизнь.

Сказать по правде, мы уж хорошо знали от Павла Константиновича, что не только эту, но всякую книгу нужно беречь пуще глаза. У всех у нас был на памяти случай с Кенкой Похабовым, который весь свой букварь заслюнявил, замазал маслом и еще залил чернилами. Павел Константинович заметил это, ужасно рассердился и стал у всех у нас проверять буквари. А Кенку Похабова поставил в угол.

Это был первый случай, когда ученика из нашего клас-

са поставили в угол. Мы здорово тогда перепугались, так как книги оказались замаранными еще у нескольких ребят. В моей книге тоже было два чернильных пятна. И я сильно боялся, что Павел Константинович заметит их и тоже поставит меня в угол. На мое счастье, он не перелистывал мою книгу, а только раскрыл ее наугад два раза и положил обратно на парту. А о новой книге Павел Константинович говорил как-то особенно вразумительно. Называлась она «Родное слово» и составлена была Константином Дмитриевичем Ушинским для крестьянских детей младшего возраста. На обложке книги, на самой середине, был отпечатан портрет человека с длинными волосами и со смешной бородой — только под подбородком. Ну, мы сразу же догадались, что это сочинитель книги. А дальше стояло уж что-то совсем непонятное: «Издание сто тридцать третье. С.-Петербург. 1907».

С того дня мы всю зиму занимались по этой книге: читали рассказы, заучивали басни и стихотворения. И на следующий год стали заниматься по такой же книге, только для второго года, а потом и для третьего года обучения. В общем, мы все три года занимались по «Родному слову» и никак не могли понять, почему Павел Константинович говорил нам, что эта книга замечательная. А помоему, замечательного в этой книге ничего не было. Потому что все в ней было для нас знакомое, близкое, вроде как бы родное. Все описывалось так, как будто это происходило если не в нашем Кульчеке, то в какой-то другой деревне, похожей на нашу. В ней живут такие же мужики, как и у нас. Они пашут пашню, разводят скотишку, держат домашнюю птицу. Женщины в той деревне, как и у нас, варят щи, пекут блины, вкусные колобки, прядут пряжу, ткут холст, одевают, обшивают и кормят своих ребятишек.

А рядом с ними, как и у нас, живут в лесу волки, медведи, лисы, зайчишки, в речках водятся ерши, щуки и другие рыбы. На полях мыши, а в болотах, конечно, лягушки.

Но только все это описано в этой книге как-то по-особенному и гораздо интереснее, чем на самом деле. Наверно, потому, что и люди, и звери, и птицы в этой книге живут как бы одной семьей, говорят на нашем языке. Но говорят на особый манер, так что начинаешь верить — будто они на самом деле говорят между собою: лисица — она ведь хитрая — и говорит хитрым языком, а заяц трусли-

вым. А волк, тот, конечно, злющий и говорит всегда сердито.

Мало того, в книге говорят не только звери и домашние животные, но и птицы, и деревья, и цветы, и даже грузди. И тоже говорят на какой-то особый манер, по-своему. Вероятно, поэтому каждый интересный рассказик, пословица, поговорка в этой книге делались достоянием всей нашей семьи. Отец, мама, Чуня на память знали сказку о репке, про теремок мышки, о войне грибов, рассказ о колобке, все рассказы о хитрой лисице, о сером волке и страшную историю о медвежьей лапе. А басни, а стихи, а загадки... То, что я заучивал на память, заучивали все. Но стихи и басни они забывали, а пословицы и поговорки, все они были из крестьянской жизни, знали не хуже меня.

В первый же вечер, выучив урок по этой книге, я начал читать ее дальше. Читал я, конечно, вслух, так как про себя читать еще не выучился. Дальше в книге шли маленькие рассказы и посказульки.

Во время моего чтения мама в кути сеяла муку. Услышав эти рассказы, она сразу же положила сито на стол и подсела ко мне послушать. А я этим сильно возгордился и с еще большим усердием стал читать разные побасенки про трусливую собаку, которая все время лает — волков пугает, а ходит с поджатым хвостом, так как очень боится этих волков, потом про ленивого Тита, которому лень идти на гумно молотить, а кашу он готов есть в любое время и сразу требует себе большую ложку, про сладкие гусиные лапки и все такое.

Но мама, оказывается, все эти посказульки хорошо знала и даже помнила на память, ведь Конон учился тоже по «Родному слову».

Не меньше посказулек мама любила разные поговорки из «Родного слова»: «Соха да борона сами не богаты, а весь мир кормят», «Не печь кормит, а нивка», «Лето собироха, а зима подбироха». Она повторяла за мной эти поговорки, как бы взвешивая их смысл.

— А ведь и в самом деле зима-то подбироха, — заключала она. — Сколько за лето-то припасешь да приготовишь а за зиму все уйдет.

Чуня тоже любила меня слушать. Она уже знала и помнила кое-что из того, что я вычитывал, и, подобно мне, радовалась всему интересному и забавному. А потом както ловко все это переиначивала на мой счет. Увидит, что

я чем-то недоволен, и сразу же спрашивает: «Федул, что губы надул? Неужто кафтан прожег?»

Отец тоже интересовался моим чтением «Родного слова». Он тоже знал от Конона эти истории, пословицы и поговорки, особенно про волков, лисиц и медведей. Он же был у нас охотник и немало добыл на своем веку этих зверей.

Глава 7
РАССКАЗ О БАРХАТНОЙ КУРТОЧКЕ

С левой стороны от входа в нашем классе стоял большой шкаф. Его нижняя половина была забита учебниками, тетрадями и школьными пособиями. Там же у Павла Константиновича хранился годовой запас карандашей, перьев и четвертная бутыль с чернилами.

А в верхней половине, за стеклянными створками, на трех полках стояли книги для чтения.

Как только мы одолели азбуку и перешли к «Родному слову», Павел Константинович стал выдавать нам книги из этого шкафа. Поначалу он давал нам книжки тоненькие, в красивых цветных обложках, с многочисленными картинками, потом книжки потолще и тоже с картинками. А в третьем классе мы читали уже большие объемистые книги. И тоже с хорошими рисунками.

Некоторые ребята не любили читать и брали книги только для того, чтобы смотреть в них картинки. А другим ребятам не давали читать дома. Усядется такой ученик с книжкой вечером к лампе, а его сразу же гонят прочь. Поучил, говорят, уроки, и хватит. А то с этим чтением и керосину не напасешься. И убавят свет в лампе. Подержит такой ученик книгу неделю-две, а потом несет ее на обмен Павлу Константиновичу. А тот сразу видит — прочитал он книгу или нет. И тем, кто брал книги только смотреть картинки, он новых книг уж не давал.

А мне читать вечером позволяли сколько хочешь, пока не легли спать. Так что я читал книгу за книгой и все время менял их у Павла Константиновича,

В течение трех лет пребывания в школе я перечитал множество книг. И каждая непременно чем-нибудь мне нравилась. Или приключениями на суше и на море, или рассказами про богатырей, про храбрых и благородных рыцарей, про разных полководцев или про хороших мальчиков и девочек.

А потом, ведь книги читались мною не только по напечатанным словам, но и по картинкам. По картинкам в книгах я получил представление о больших городах, о путешествиях на кораблях в далекие страны, о саваннах и прериях, о неграх и краснокожих индейцах, о разных войнах и полководцах.

А потом, мне нравилось еще рисовать по картинкам. Иногда в книгах попадались такие картинки, что сразу же хотелось их перерисовать. Вот только бумаги для рисования у меня не было. Ее надо было покупать у Яши Бравермана. И стоила она по копейке за лист. Попробуй тут порисуй. Денег мне никогда ни на что не давали. Берегли каждую копейку. Но все-таки я иногда просил у мамы эту копеечку. А она чаще всего вместо денежки давала мне яичко, которое я относил Яше Браверману. Он принимал яйца по одной копейке за штуку.

Возьмешь яичко, побежишь к нему и купишь лист чистой белой бумаги. А потом уж на этом листе и рисуешь все, что нравится. Рисовал я много, но получалось у меня все как-то неважно. Лучше всего почему-то выходили генералы с эполетами.

Один раз, когда я был уже в третьем классе, получил я от Павла Константиновича очень интересную книгу какого-то заграничного писателя — «Маленький лорд Фаунтлерой».

В этой книге рассказывалось о том, как один бедный американский мальчик, которого звали Кедрик Эрроль, сделался знатным английским лордом. В книге подробно описывалось, каким богачом стал Кедрик. Он жил в сказочном замке своего дедушки — графа Доринкура — в окружении послушных слуг в богатых ливреях, гулял со своим великолепным догом по прекрасному парку, в котором играли и резвились на лужайках кролики и зайцы и паслись серые большеглазые олени.

Другой мальчик возгордился бы на месте Кедрика, вообразил бы себя надменным наследником нескольких зам-

ков, обширных поместий и земельных владений. Но не таков был Кедрик. Сделавшись знатным лордом, он остался прежним хорошим мальчиком, готовым оказать помощь бедным людям. Он нисколько не боялся своего гордого и сердитого дедушки, графа Доринкура, который внушал всем окружающим трепет и страх, и смело ездил верхом по парку на маленькой лошадке-пони в сопровождении слуги.

Мне очень понравилась эта книга. Но не рассказом о смелости и храбрости маленького лорда и не описанием сказочной роскоши и богатства, которыми он был окружен по приезде к своему знатному дедушке. И даже не тем, что он был очень добрым и хорошим мальчиком. Книга произвела на меня неизгладимое впечатление картинками.

С самого начала Кедрик привлекает всех своим внешним видом. Мальчик не только сам красив. Он красиво одет... Одет в чудесную бархатную курточку, в короткие панталоны, в красные чулки и ботинки с пряжками... И везде, где бы он потом ни появлялся, он появлялся в этом удивительном наряде.

В других книгах мне уже приходилось видеть на картинках красиво одетых мальчиков. Но они почему-то сразу забывались. А наряд маленького лорда почему-то не выходил из моей головы. Особенно его бархатная курточка. Она не только делала его красивым, но каким-то непонятным образом выражала его мягкий, тихий нрав и готовность делать бедным людям добро.

Читая книгу про маленького лорда, я все время думал о том, что я тоже хороший и добрый мальчик и готов подать милостыньку каждому бродяжке, так как знаю, что бродяжки несчастные люди. И верхом я умею ездить не хуже маленького лорда, и в храбрости не уступлю ему. Но только никто этого не замечает, потому что я хожу в холщовой рубахе, в холщовых штанах и в сагырах, подвязанных веревочками.

А если бы у меня была бархатная курточка, короткие панталоны, красные чулки и башмаки с медными пряжками, то все сразу же увидели бы, что у меня тоже крепкий, гибкий стан, смелая, гордая поступь, умное выражение, что у меня тоже бойкий, веселый характер, тихий, мягкий нрав и что я тоже хочу помогать бедным людям.

Правда, мне недоставало прелестных золотистых кудрей, ниспадающих на плечи, чтобы совсем походить на маленького лорда. Но я понимал, что тут уж ничего не по-

делаешь, что от роду я черномаз и на голове у меня жесткие черные волосы.

А потом, я ведь и не собирался походить на меленького лорда... Нет! Я прекрасно понимал, что я никогда не сделаюсь знатным вельможей. Я хотел оставаться самим собой, в своей семье, в нашей деревне. И мне не нужны были короткие панталоны, красные чулки и башмаки с медными пряжками. Зимой в таких панталонах и башмаках у нас сразу обморозишься, а летом в деревне грязно, пыльно, кругом навоз. И за деревню в таком наряде не сунешься. Заедят комары и мошка. Нет! Я не хотел походить на маленького лорда... Я хотел оставаться самим собой, но только мне хотелось быть таким же красивым, как маленький лорд. И для этого недоставало только бархатной курточки. О своей мечте иметь бархатную курточку я поведал Чуне и показал ей книгу о маленьком лорде. Чуня с интересом пересмотрела все картинки и загорелась желанием одеть меня в такую же курточку, как у маленького лорда. Но потом сообразила, что в Кульчеке у нас некому будет ее сшить. Разве Афанасья Плясункова?.. Она шьет хорошо, но такие курточки ей шить не приходилось. Надо поговорить об этом с мамой. Она лучше сообразит, как это сделать.

И вот я раскрываю перед мамой свою книгу, показываю ей все картинки и рассказываю о том, какой был добрый и хороший маленький лорд Фаунтлерой и какую замечательную курточку он носил.

Маме маленький лорд тоже понравился. Еще больше ей понравилась его бархатная курточка. Когда же я завел речь о том, что мне тоже хочется иметь такую, мамонька только развела руками:

— А где мы возьмем бархат?— заявила она.— Раньше везде кашемир и плис продавали. Это хоть не бархат, а вроде того. А теперь ни кашемира, ни плиса не найдешь. Нету у Яши ничего, кроме ситца и сатинету. А потом, и сшить такую курточку у нас никто не сумеет. Даже Афанасье Плясунковой не сшить. Она такие курточки и во сне не видывала. А кроме нее, и говорить об этом не с кем. Она одна обшивает у нас всю деревню.

Тогда я попробовал завести об этом разговор с отцом, стал показывать ему в книжке картинки и рассказывать все про маленького лорда. Но история маленького лорда нисколько не тронула отца. Из всех картинок в книге он обратил внимание только на те, где маленький лорд был

нарисован со своим догом. И вот этот дог чем-то заинтересовал тятеньку. Он долго рассматривал его и наконец сказал:

— Как ты думаешь, пойдет этот дог на медведя? — Потом подумал немного и решил: — Нет... Куда ему. Он во дворце привык жить да в парке гулять. А на медведя с такой собакой... пропадешь.

И тут как раз приехала к нам в гости из Анаша тетка Агафья и привезла с собой погостить молоденькую монашку. Звали эту монашку Лушей. Луша была очень нарядная и очень ласковая.

Другие гостейки приезжают к родне со своей работой. Или прядут в гостях, или что-нибудь вышивают, или вяжут себе какие-нибудь чулки и варежки. А Луша никакой работы с собой не привезла и все время старалась чем-нибудь нам помочь. Она смастерила Чуне из обносков две кофточки, да такие, что все только ахнули, потом вышила ей каким-то замысловатым узором два рушника, сшила отцу кисет, а Конону рубаху и успевала каждый день помогать маме и Чуне по домашности.

— В родову свою удалась, — говорила про Лушу тетка Агафья. — Мать-то у нее была женщина сильно хорошая. И уважительная, и обходительная, и хозяйка каких мало. Ну, и в монастыре ее, видать, кое-чему выучили. Она ведь с малолетства там. Отец-то как овдовел, так и сплавил ее туда. А сам стал «спасаться». В Иркутско ко святому Акентию ходил, в Киев ко святым мощам ездил, на Новом Афоне был. Все собирался в Ерусалим ко гробу господню. Да не на что уж было. Все свое хозяйство с этим богомольем профукал. Оставил дочь без гроша. Теперь ей некуда и голову преклонить. С такими руками девка, конечно, не пропадет. Но все же другое дело было бы, если бы у нее свой дом имелся, свое обзаведение. При полной домашности и жених хороший нашелся бы. А теперь кому она нужна. Богатые и невест ищут богатых. А кто победнее, те тоже норовят заполучить в дом девку с достатком. Вот и придется теперь, хочешь не хочешь, в монашеский чин постригаться али за старика за какого-нибудь в Красноярсковом выходить. Они, говорят, часто там на монастырских сиротках женятся. А кому хочется со стариком век коротать. Уж в пропрубь лучше сразу...

И вот эта Луша сразу как-то приветила меня и так

расположила к себе, что я показал ей книгу о маленьком лорде и поведал свою мечту сшить себе такую же, как у него, бархатную курточку.

Моя книга очень заинтересовала Лушу. Она сразу увидела, какая замечательная курточка была у маленького лорда. И как здорово она подойдет мне.

Никто до этого меня как следует не понимал, а эта ласковая монашка Луша сразу все поняла и пообещала непременно сшить мне бархатную курточку.

Я несколько вечеров читал Луше книгу о маленьком лорде. И каждый вечер Луша рассматривала в книге картинки и все соображала, какого бархату надо будет купить в городе на курточку, какой приклад лучше взять к бархату на подкладку и какие пуговицы и как лучше ее потом скроить и сшить. Она несколько раз мерила мой рост, длину рук, ширину плеч и все время что-то говорила с теткой Агафьей о кружевном воротничке.

Три недели гостила у нас Луша с теткой Агафьей, и мы почти каждый день говорили с ней о моей бархатной курточке. За это время я много раз перерисовал маленького лорда и все свои рисунки вручал Луше. По моим рисункам, думалось мне, у нее лучше получится.

Перед отъездом Луша расцеловала меня и еще раз пообещала сшить и прислать мне из города бархатную курточку. Потом она стала прощаться с мамой, с Чуней и почему-то горько заплакала. Тут мама и Чуня тоже стали плакать и уговаривать ее не ездить в монастырь, а оставаться лучше у нас.

Но Луша все-таки уехала с теткой Агафьей в Анаш, а оттуда отправилась в свой монастырь в Красноярск.

После их отъезда я стал ждать бархатную курточку. Вот прошла неделя, потом другая, третья... Никаких вестей. Тогда я стал приставать к маме съездить в Анаш к тетке Агафье, узнать, не прислала ли ей Луша из города мою бархатную курточку. Но тут тетка Агафья сама заявилась к нам по каким-то делам и рассказала, что никаких вестей от Луши она пока не получала. Уехала девка в Красноярск с анашенским обозом, со знакомыми людьми. До места дошли благополучно. Только дорогой, сказывали мужики, она что-то прихворнула. И с того времени ни слуху ни духу. Как в воду канула. Не случилось ли чего с ней в этом монастыре? Там, говорят, простых монашек заставляют сильно работать. Может, надорвалась у

них на работе или заболела. Мало ли чего с человеком может случиться.

Судьба Луши очень обеспокоила маму и Чуню, и они стали уговаривать тетку Агафью непременно послать ей письмо. И вот я под их диктовку написал Луше следующее письмо:

«Здравствуйте, дорогая сватьюшка, Лукерья Григорьевна! Пишет Вам из Анаша Ваша родственница Агафья Трофимовна Колегова, шлет Вам с любовью низкий поклон и желает Вам от господа бога доброго здоровья и успеха в делах рук Ваших. Еще кланяются Вам мои кульчекские родственники, у которых мы гостили с тобой — мой братец Гаврило Трофимович, моя невестка Авдотья Тимофеевна, моя племянница Анастасея Гавриловна и мои племянники Конон и Акентий Гавриловичи.

И все шлют Вам низкий поклон и желают Вам от господа бога доброго здоровья и успеха в делах рук Ваших. Дорогая сватьюшка, Лукерья Григорьевна! Почему Вы нам ничего не пишете? Не случилось ли с Вами какой беды? Мы все очень беспокоимся. Пожалуйста, пишите нам. Мы очень ждем от Вас писем. Остаюсь — любящая Вас — Агафья Колегова.

Письмо писал известный Вам — Акентий Трошин».

К письму я приписал еще несколько слов от себя:

«Дорогая Луша! Пошлите мне скорее мою бархатную курточку.

Любящий Вас — Акентий Трошин».

После этого я опять стал ждать от Луши бархатную курточку. И опять от нее не было никаких известий.

В ту зиму, сразу после масленицы, отец отправился с обозом комского купца Паршукова в город и обещал мне непременно разыскать там в женском монастыре Лушу и взять у нее мою бархатную курточку.

Я был уверен, что Луша давно уже сшила ее, только не может мне ее почему-то прислать. А потом, я еще попросил отца купить в городе несколько листов александрийской бумаги. В одной книжке я вычитал, что настоящие художники рисуют свои картины на какой-то александрийской бумаге, и решил попробовать рисовать на ней.

И вот отец ушел обозом в Красноярск. Обозом туда идти от нас ровно пять дней, да дня два сдавать куда-то

паршуковское мясо, да обратно порожняком четыре дня. За время долгого ожидания отца я окончательно уверился в том, что он непременно привезет мне от Луши бархатную курточку.

Чем ближе подходил день его возвращения из города, тем острее и нагляднее я представлял себе момент, когда я надену эту курточку и предстану в ней перед изумленными родными и как ахнут все наши соседи, увидя меня таким нарядным и красивым.

Дальше этого мои мечты не шли. Мне даже в голову не приходило, что я могу пойти в этой курточке в школу, что там встретят меня наши ребята, а потом увидит сам Павел Константинович.

По нашим расчетам, отец должен был приехать домой на одиннадцатый день, а он приехал только на пятнадцатый, когда мы окончательно решили, что с ним приключилась в дороге какая-то беда.

Поздно ночью я сквозь сон услышал, как мама будила Конона вставать скорее и идти помочь отцу выпрячь коней. Тут я сразу же проснулся, слез с полатей и быстро оделся. Чуня тоже проснулась и стала хлопотать с самоваром.

Через некоторое время отец пришел в избу с двумя свернутыми мешками и каким-то узелком. При виде узелка сердце мое екнуло, так как я сразу решил, что в нем должна быть моя бархатная курточка.

Не отходя от дверей, отец сунул мешки под кровать, а узелок осторожно положил на брус около полатей. Потом на минуту вышел в сени и принес еще какую-то длинную бумажную трубку.

Потом он разделся и стал обирать у железной печки сосульки с бороды. А я все смотрел на его узелок и терпеливо ждал, когда отец наконец развяжет его и вручит мне бархатную курточку.

Но отец почему-то не торопился развязывать заветный узелок. Сначала он вытащил из-под кровати один мешок, вынул из него небольшой бумажный сверток, передал его маме и попросил спрятать подальше в подполье, потому что это очень ядовитая мыловаренная сода. Нынче на ярмарке в Новоселовой купить ее не удалось, а варить мыло на осиновой золе — дело неподходящее. Не то мыло получается.

Из другого мешка отец вынул два свертка. Один с крупчаткой — стряпать разное печенье для гостей. Другой

с сахаром. Теперь в мешках уж ничего не оставалось. Уж Чуня отнесла крупчатку и сахар в казенку и спрятала их там куда следует, а отец как ни в чем не бывало стал закуривать около печки трубку и не торопился развязывать свой узелок.

Наконец он раскурил трубку, затянулся как следует, сплюнул два раза на половик у порога и довольно равнодушно сказал:

— Развяжи-ка, мать, узелок... Я кое-что привез там ребятишкам.

Тут Чуня немедленно схватила с бруса узелок и вручила его маме. Они сразу же ушли с этим узелком в куть и стали там его осторожно развязывать. А я затаив дыхание стал ждать, как они там ахнут от восторга, увидев мою бархатную курточку.

А отец тем временем не торопясь стал рассказывать, что Паршуков не рассчитал их полностью в городе, а заплатил все уж в Коме, да и то не деньгами, а товаром. «Это я у него уж здесь взял Анастасее — платок, Конахию — сатинету на рубаху, а Акентию — чертовой кожи на штаны. Хорошая штука эта чертова кожа. Износу ей нет...»

Я сидел за столом и не заметил, как заплакал горькими слезами. Отец сразу понял, что я плачу о своей бархатной курточке, которую с его приездом я потерял навсегда. Он подсел ко мне и стал рассказывать о том, как он сразу же по приезде в город решил сходить к Луше в женский монастырь. Но, оказывается, он стоит верст за тридцать от города, а в городе есть какое-то монастырское подворье.

Тогда отец пошел туда, нашел там одну старую монашку из женского монастыря и стал расспрашивать ее про Лушу. И та монашка рассказала ему, что наша Луша недавно умерла.

«Как пришла с обозом от своих сродственников из Анаша, так и слегла. То ли в дороге простудилась — морозы-то нынче были не приведи бог, то ли так от чего занедужилось... Но только поболела, поболела месяца два и преставилась. Хорошая девушка была, дай бог ей царство небесное. Жить бы да жить еще. Все сокрушалась, бедняга, перед смертью, что не успеет сшить какую-то бархатную курточку. Как вспомнит про эту курточку, так и начнет плакать. Последние дни уж без памяти лежала, а все бредила ею. Ума не приложу, что ей сдалась эта курточка».

Узнав о смерти Луши, мама совсем расстроилась. А Чупя заплакала горькими слезами: «Говорила я, не отпускать ее в монастырь... Жила бы у нас. Не объела, не опила бы нас...»

Мне тоже было жаль Лушу. Она была такая добрая, такая ласковая. Но моя жалость к ней как-то смешивалась с жалостью к самому себе. Я очень жалел Лушу, а сам все время думал о том, что она не успела сшить мне бархатную курточку.

Никогда не быть мне красивым и нарядным, никогда люди не узнают и не увидят, какой я добрый и хороший мальчик.

А в бумажной трубке оказалась александрийская бумага. Три огромных плотных белых листа. Всю дорогу из города отец берег эту трубку, чтобы как-нибудь ненароком не измять, не сломать ее. А я так много думал о бархатной курточке, так ждал ее, что забыл даже, что просил его непременно купить мне эту бумагу.

В первую же субботу после возвращения отца из города я сдал Павлу Константиновичу книгу о маленьком лорде Фаунтлерое. Павел Константинович проверил сначала, не измазал и не истрепал ли я книгу, потом стал журить меня за то, что я долго держал ее у себя. Но, увидев мое расстроенное лицо, махнул рукой и выдал книгу Миньке Обединину.

Через день я пошел к Миньке узнать, понравился ли ему рассказ о маленьком лорде. Но он, оказывается, еще и не раскрывал его.

— Мамаша принесла, понимаешь, от тетки Хивоны книжку о Страшном суде божием и заставляет меня вечером читать ее вслух.

Тут Мишка достал с божницы тощенькую истрепанную книжку под названием «Новое слово о. Иоанна Кронштадского об еретичестве графа Льва Толстого и о Страшном суде Божием, грядущем и уже приближающемся».

— Вчера, понимаешь, уселись с Офимьей Щетниковой за стол и слушают меня. Я читаю им эту книжицу и ничего в ней не понимаю. Ну и они, конечно, тоже ни чох ни мох. Но все равно просят читать. Насчет Страшного суда им хочется что-нибудь узнать. Что там да как будет.

— Может, Павлу Константиновичу показать эту книжку? — предложил я Миньке.

— А для чего?

— Помнишь, он говорил нам, чтобы мы как можно больше читали дома. А если что непонятное будет, чтобы его спрашивали.

— Ну так что?

— Вот и спроси его — надо ли читать эту книжку. Сам же говоришь, что ничего в ней не понял.

— Это верно.

— То-то и оно.

На другой день у нас был обмен книг у Павла Константиновича, и я понес ему менять книжку под названием «Смелые мореплаватели» — про одного избалованного, капризного мальчика — сына американского миллионера. По дороге из Америки в Европу этот задавало во время шторма вывалился за борт парохода. В море его спасли рыбаки, приучили к тяжелой работе, и он сделался настоящим человеком.

А Мишка принес свою книжку об еретичестве графа Льва Толстого.

Павел Константинович взял у него эту книжку, взглянул на нее одним глазом, показал ее нам и громко всем сказал:

— А Ивана Кронштадского вы не читайте. Он в ссоре со Львом Толстым и сводит с ним в своих книжках счеты. Вы с этим делом по его писаниям не разберетесь. Лучше их не читать.

Такому совету Мишка очень обрадовался и дома заявил своей матери, что Павел Константинович велел ему эту книжку не читать. Тогда его мать стала оправдываться, что она только насчет Страшного суда хотела узнать что-нибудь, а об еретичестве она и сама слышать ничего не хочет, и Офимье накажет не слушать больше эту тарабарщину.

Через несколько дней я опять заявился к Мишке. На этот раз книгу о маленьком лорде он прочитал. И он ему очень понравился, и картинки в книге тоже понравились. Но к бархатной куртке Мишка остался совершенно равнодушным, сказал только, что она сшита, судя по всему, из дорогого материала, и сразу перевел разговор на самого маленького лорда.

— Конечно, — говорил он, — это хорошо, что, сделавшись лордом, Кедрик Эрроль не кичился своей знатностью

и богатством. Это правильно! Каждый из нас на его месте сделал бы то же. Да приведись мне сделаться лордом, неужели я отказался бы от дружбы с нашими ребятами. Да ни за что на свете!

Или насчет его доброты к бедным людям. Тут я тоже не вижу ничего особенного. Каждый из нас на его месте сделал бы то же самое. А может быть, даже и больше. Быть наследником нескольких замков, богатых рудников и обширных поместий и не помочь бедному человеку — это, знаешь, уж последнее дело.

Теперь насчет его храбрости. Он нисколько не боялся своего зловредного дедушки и ездил по парку на смирном обученном пони, да еще в сопровождении слуги. Подумаешь, какая храбрость. Да наши ребята в его-то годы всю весну боронят на пашне, в сенокос возят копны на покосе, в страду стаскивают снопы в суслоны, осенью и весной помогают пасти скота, зимой молотить хлеб, вообще, делают тысячи таких дел, которые даже не снились маленькому лорду.

Внапоследок Мишка стал смеяться над графским парком. Подумаешь, в нем бегают и резвятся зайцы и кролики и пасутся серые большеглазые олени. А медведи, а волки, а козы в этом парке есть? А сохатые, а маралы, а белка и соболь, лисица, горностай? Ничего в этом графском парке нет! А в нашей тайге все это есть. Вот и выходит, что наши места ничем не уступают графскому парку. А если взять нашу большую тайгу по Устугу, по Убею и Сисиму, которая уходит дальше, на край света, то она больше и богаче всех графских парков, взятых вместе...

Я тоже думал обо всем этом, когда читал книгу. Но только все мои мысли об этом, при виде картинок в книге, куда-то улетучивались. Рисунки заставляли меня думать о маленьком лорде, о его злом дедушке, об его удивительном замке и, главным образом, о его бархатной курточке. Поэтому судьба маленького лорда трогала меня. Я жалел его, боялся за него, сочувствовал ему, любил его. Любил я, собственно, не маленького лорда, а бедного сироту Кедрика, которого судьба нечаянно сделала знатным вельможей, а он, несмотря на это, остался прежним хорошим мальчиком. Именно таким представлялся мне в книге Кедрик. Другим я его не знал и знать не хотел.

Все это я понимал, конечно, очень смутно и не мог объяснить Мишке. Да он, пожалуй, и не понял бы меня. У него ведь буквально засело в голову, что маленький лорд

никуда не годится по сравнению с нашими деревенскими ребятами.

Не хотелось мне заводить с ним разговор и о бархатной курточке, а то, чего доброго, он начнет еще смеяться над тем, что я хотел сшить себе похожую.

В общем, я попросил у Мишки книгу на один вечер, чтобы еще раз перечитать кое-какие места, а главное, еще раз посмотреть на бархатную курточку и проститься с ней навсегда.

Глава 8
ДЕДУШКО ГАВРИЛО

Иногда отец «загуляет» и тогда приводит домой гостей. Чаще всего своего родного дяденьку и крестного отца Гаврила Родивоновича Калягина.

По этому случаю мать поставит самовар, принесет на стол всякое угощение, из погреба появится шайка пива и откуда-то бутылка водки. Подвыпивший дедушко Гаврило держится заносчиво, требует к себе особливого почтения, всячески бахвалится своим богатством, рассказывает, сколько он закупал и продавал скота и сколько нажил при этом капиталу, сколько плавил за свою жизнь хлеба в Енисейско и все такое.

В свою очередь отец заводит длинную речь о том, что хотя мы не закупаем скота ни гуртом, ни в розницу и не плавим барками хлеб в Енисейско, однако живем, слава богу, тоже ничего и в любое время не хуже добрых людей можем принять и угостить хорошего человека.

Все это дедушко Гаврило слушает с усмешкой. Уж кто-кто, а он-то лучше других знает, что если бы его племянничек, то есть мой отец, был бы порасторопней да умел бы вовремя сообразить, что и как лучше сделать по хозяйству, то он и дом себе давно поставил бы крестовый, а не жил бы в такой избенке, и тарантас себе завел бы, а не ходил бы за ним каждый раз к богатым сродственникам, ну и деньжонки имел бы кой-какие про запас на черный день...

Отец и сам, конечно, понимает, что все ссылки на то, что мы живем, слава богу, не хуже добрых людей, в гла-

зах дедушки Гаврила, самого богатого человека в деревне, имеют не особенно большую цену. Поэтому привычный разговор о богатстве и о нашей бедности он переводит в несколько иную плоскость.

— Оно конечно, — соглашается он с дедушкой, — что и говорить. Избенка у нас дивствительно неважная, и тарантаса своего мы пока еще не завели, зато детей своих грамоте учим, чтобы они умели читать, писать и как следует обойтись и поговорить с хорошим человеком.

Тут дедушко безнадежно машет рукой и презрительно говорит, что раньше не знали этой самой грамоты, а жили лучше, чем теперь.

— Тоже сказал мне — грамоте сыновей учишь, — закончил дедушко. — Да теперь все с ума посходили с этой грамотой. Вон какое училище в деревне отгрохали. Учат, учат, а что толку от этого? Ты что думаешь, тебе легче будет от того, что твои сыновья грамоте выучатся? Грамотные-то оне совсем сядут тебе на шею. А ты гни на них горб.

Но тут отец решительно вступился за брата и за меня:

— Оно, конечно, бывает и так — выучат детей, а оне дивствительно сядут отцу на шею. Но у нас, слава богу, сыновья и грамоте выучены, и по хозяйству тянут лямку не хуже неграмотных. Вон Конко. Три года учился, школу закончил, а все равно за сохой ходит, за сеном и за дровами в тайгу ездит, а косит и жнет так, что любого однолетка заткнет за пояс. Да и младший...

— Что младший? — сердито перебивает отца дедушко.

— Тоже начинает помогать.

— Помогает... из чашки ложкой, — с насмешкой говорит дедушко.

— Нет, почему же, — не унимается отец и начинает перечислять мою работу в хозяйстве: — Уж два года, как с весны до осени на работе. Весной на пашне — боронит. Летом на покосе. Косит с утра до ночи вместе со всеми, копны возит, жнет. Скота пасет на заимке, зимой на гумне помогает. Слухмяный парень, хоть и грамотный. Нет, Гаврило Родивонович! Не прав ты! Работа, конечно, работой, а грамота тоже дело стоящее. И работе совсем не мешает. Акеха, ну-ка почитай дедушке Гаврилу «Конька-Горбунка».

Мне не нравится спор отца с дедушкой. Да и сам дедушко мне не нравится. Как придет к нам, так и начинает

выхваляться своим богатством. Я хмуро сижу возле мамы и вначале отказываюсь читать.

— Не надо, тятенька. Что вы... Вроде как в школе.

— Нет, Кено. Давай, брат! Зажигай, мать, лампу, ставь на стол. Будем «Конька-Горбунка» читать. Пусть дедушко Гаврило послушает. А то он подумает, что ты у нас и в школу-то зря ходишь, и читать там даже не выучился, и «Конька-Горбунка» не знаешь.

Я смотрю на маму, надеясь найти поддержку с ее стороны. Но, вопреки моему ожиданию, она встает, проходит в куть, зажигает там лампу и несет ее на стол.

— Почитай немного, — говорит она мне. — Уважь дедушку. Пусть послушает. А то он в самом деле подумает, что ты в школе время попусту тратишь.

Тогда я достаю с божницы книжку с этой сказкой, подхожу к столу, за которым сидят отец и дедушко Гаврило, одергиваю, как перед Павлом Константиновичем, свою рубаху и начинаю:

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Против неба — на земле
Жил старик в одном селе...

Я читаю очень хорошо, без запинок и с выражением, как учил нас Павел Константинович.

В школе мы читали «Конька-Горбунка» сначала с Павлом Константиновичем, а потом сами по себе. Начнет кто-нибудь один стих, ты подхватишь следующий, за тобой кто-нибудь еще, и так всем классом читаем вперегонки, пока не придет Павел Константинович.

Дома у нас тоже очень любят слушать «Конька-Горбунка». Отцу, мамоньке, Чуне нравится сказка. Но, может, им больше нравится мое умение читать? Смотрите, дескать, что наука-то делает! Парнишко-то — клоп, а до чего дошел. Вычитывает такое, что и в жизнь не придумаешь.

А дедушко Гаврило — я хорошо это вижу — совсем не расположен слушать. Он нахмурился, пододвинул к себе тарелку с груздями и думает о чем-то о своем. Он, конечно, слушает меня. Но только немного. Так, одним ухом. А другим он слушает что-то свое. И на лице у него усмешка. Дескать, тоже нашли чем хвастать.

Но я не обращаю на это внимания и громко, с выражением читаю о том, как старший брат должен был идти в дозор караулить в поле пшеницу, но вместо этого проспал

всю ночь в сеннике, как после него должен был пойти караулить вора второй брат и как вместо этого он всю ночь ходил дозором у соседки под забором.

Но все это дедушке, видать, не интересно. Он сидит за столом с хмурым видом, недовольный тем, что его отрывают пустяками от выпивки и закуски.

Только когда младший брат Иван-дурак вскочил в дозоре на кобылицу и она понесла его над полями и над лесами, дедушко отодвинул от себя тарелку и повернулся ко мне. Вскоре на его лице заиграла улыбка, и он стал слушать меня уж по-настоящему и даже выражать одобрение по поводу некоторых мест в сказке.

Так, ему очень понравилось, как Данило и Гаврило,

Что в ногах их мочи было,
По крапиве прямиком
Так и дуют босиком...

Как под песню дурака

Кони пляшут трепака;
А конек его горбатко
Так и ломится вприсядку...

Понравилась ему история про чудо-юдо рыбу-кит, про ерша-гуляку, крикуна и забияку. И особенно конец сказки, где крестьянский сын Иван-дурак оказывается умнее всех, женится на заморской царевне и получает в награду целое царство.

Но вот чтение закончено. Дедушко сидит за столом, позабыв про стоящую перед ним выпивку, и, немного растерянный, говорит:

— Ведь придумают же, сукины дети! Так складно да антиресно. Так бы все и слушал. Ну, спасибо, брат! Уважил старика. Молодец!

И дедушко насыпал мне в подол рубахи из кармана несколько горстей кедровых орехов. В них я заметил десятикопеечную серебрушку.

— Тут деньги, дедушко, — обращаю я его внимание.

— И деньги бери. Все равно пропью.

А мой отец?.. Он бесконечно доволен, что в споре с богатым и спесивым дядей ему удалось доказать свою правоту. И кроме того, он переполнен гордостью за меня:

— Ведь он три года не вставал. Все в зыбке лежал. Мы каждый день думали — вот умрет, вот умрет. Бывало, совсем глаза закатит. Ну, думаем, все... преставился мла-

денец Акентий, дай бог ему царство небесное. Свечи на божнице зажжем. Мать заплачет. А он лежит, лежит, да, глядишь, вдруг и очухается. Оживет парень. А теперь гляди какой вырос. Молодец! Учится у Павла Костентиновича... Уж, слава богу, перешел в третий класс.

Дальше отец опять завел речь о том, что хотя мы люди и небогатые, но никто про нас ничего плохого не скажет.

— Не надо, Ганя, об этом. Не надо! — просит дедушко отца. — Что оно, богатство? Вот скоро подохну, и все мое богатство останется дочерям-дурам да зятевьям-хватам. Они ждут не дождутся моей смерти. Не успеют закопать меня, как начнут грызться из-за этого богатства, чтоб оно прахом пошло. Жалко, пропить все не успею... Здоровья не стало. Не могу пить, как раньше. Но деньги я им все равно не оставлю. Пусть не надеются! Я сгнию, и деньги мои сгниют! Спрячу так, что вовек не найдут. Пусть поищут, а я на том свете посмеюсь над ними, как они будут тут изворачиваться. Ох, ох, ох!.. Богатство, богатство! Чтоб ему ни дна ни покрышки. Правду говорят — не отдашь душу в ад, так не будешь богат. Давай-ко, племянник, выпьем еще немного да споем хорошую песню. Хозяин ты неважный, что и говорить, зато песни хорошо поешь. А песня, она, брат, тоже богатство. Конечно, на нее дом крестовый себе не поставишь и тарантас не купишь. Зато она лучше всякого капиталу душу лечит. Споем-ко, крестник, нашу «Птичку-невеличку», нашу «Ласточку».

И дедушко Гаврило затянул:

Невеличка птичка ласточка
Через море перелетывала.
Через море перелетывала,
Девкам вести перенашивала...

Голос у дедушки слабый, но поет он умело, с чувством. Он как-то приосанился без обычной для него спеси и бахвальства. Видно, что и слова песни, и напев ее ему очень нравятся.

А отец у нас действительно хороший песельник. Он любит песни и поет их без конца. И по праздникам, и в будни. И на пашне, и на покосе. И песни у него все разные.

«В песне надо иметь голос. Это верно, — говорит он.— Но одного голоса мало. Бывает, голос здоровый, а дурной. Главное в песне — склон. Тогда и петь легко. Склона нет, и песни нет!»

А песен у отца много. Но чаще всего он поет песню про знаменитого боярина, по прозванью Карачун, у которого в высоком тереме живет в заточении и проливает горькие слезы сиротинушка Любаша. Очень часто отец поет песню про доброго молодца Ванюшу. В этой песне отец уговаривает Ванюшу бросить гулять с вертихвостками и скорее жениться. Особенно хорошо получается у отца в этой песне припев:

Деньги дело нажитое,
Об них нечего тужить...
А любовь — дело другое,
Ею надо дорожить...

Иногда тятенька поет разные смешные песни. Песню про воробья: «Мы поймали воробья на зеленой конопле — на веревочку. Зарубали воробья во четыре топора — по головочке...» Песню про Дуню, которая стала прясть пряжу не толсто, не тонко — в санную завертку. Песню про привередливого дьякона. Этого дьякона угощают в гостях разными соленьями и печеньями, а он требует подать себе еще «лёду жареного».

Песня про птичку-невеличку тоже относится к любимым песням отца. Услышав, что дедушко Гаврило запел ее, отец встал и тоже приосанился. И когда дедушко пропел слова: «Девкам вести перенашивала...», он уверенно подхватил:

Не ходите, девки, замуж молоды.
Не ровен, мужик навяжется
Либо вор, а либо пьяница,
Либо вечная буяница...

Отец вступил в песню после дедушки и ведет ее теперь один. Дедушко только подтягивает ему. Он как бы уступает отцу первое место, а сам переносит все свое внимание на то, чтобы разыгрывать песню:

Он в кабак идет — шатается,
С кабака идет — валяется,
А домой придет — куражится,
Заставляет раздевать, разболокать,
Часты пуговки расстегивать...
Мои рученьки белешеньки,
На них кольца золотешеньки.
Белы рученьки мараются,
На руках кольца ломаются...

Дедушко не столько поет, сколько изображает, как мужик по дороге в кабак и из кабака шатается и валяется,

как он потом куражится над своей молодой женой, заставляет ее разувать себя, разболокать. Когда же речь заходит в песне про белы рученьки, тут дедушко начинает разыгрывать своими руками разное. Дескать, посмотрите, какие они у меня белешеньки и какие кольца на них золотые. Когда же белы рученьки мараются и на них кольца ломаются, дедушко бессильно опускает свои руки и всем своим видом показывает, что с ним случилось какое-то большое горе.

Заключительные слова песни:

Невеличка птичка ластовочка
Через море перелетывала...—

дедушко и отец поют дружно, с большим подъемом. Дедушко уж не разыгрывает эту часть песни. Может быть, потому, что не знает, как представить нам птичку-невеличку, которая через море девкам вести перенашивает. А вероятнее всего, потому, что песня его увлекла и он целиком отдался ее непреодолимой силе. Он и сейчас не может удержаться, чтобы немного не подыграть. И уже не сидит за столом, а стоит рядом с отцом и делает при этом движения руками, которые говорят о том, что песня подхватила его и уносит куда-то далеко-далеко из нашей избенки.

Но вот песня допета. Отец и дедушко стоят молча, как бы в недоумении, словно они спустились с заоблачных высот. Мать тоже о чем-то задумалась и ничем не нарушает это молчание. Наконец дедушко Гаврило как бы очнулся, стряхнул с себя это наваждение и первый заговорил:

— Ну, поздно уж. Пора и честь знать. Пойду с бабкой Анной воевать. Не успею порог переступить, а она уж кричит: «Пришел, старый варнак! Опять пьяный! Нет на тебя погибели!» Да и то сказать — извожу я ее с этой выпивкой. Ведь почти каждый день одно и то же. То с похмелья, то пьян до усмерти. И кто только придумал это зелье на нашу погибель?..

Тут дедушко застегнул свой «дипломат» на все пуговицы и обратился ко мне:

— Ну, внучек. Еще раз спасибо. Ублаготворил ты меня. И надо же такое придумать. Похоже, из мужиков кто-то сочинил. Ты мне как-нибудь еще раз прочитай все это. А я послушаю да подумаю о своей жизни. До свиданья, Дуня! — обратился он к матери. — Что ты на меня так

смотришь? Не сердись на старого брехуна. Пьяному-то, знаешь, море по колено. Чем дурнее, тем ему больше ндравится. Лишь бы люди завидовали. Ну, пойдем, Ганя. Проводи крестного. А то свалюсь где-нибудь под забором на посмешище всей деревне. Али черт в пруд уманит. Он любит подшучивать над пьяницами-то. Вот так-то оно, крестничек. И пить — умереть, и не пить — умереть... Так лучше, знаешь, погулять на этом свете как следует. А там видно будет...

И дедушко с отцом вышли из избы.

После их ухода мы долго молча сидели с мамонькой. Потом она убавила свет в лампе и стала убирать со стола. А я все сидел да думал об ушедшем дедушке. Наконец я спросил мамоньку, почему дедушко каждый день ходит по деревне пьяный.

— А кто его знает, — ответила она. — Лет пять уж так. Раньше он, конечно, тоже выпивал. Но знал меру. А как выдал свою Парасковью в Подкортус, так с той поры пьет уж без просыпа. Когда кабак в деревне был, он из него не вылезал. А как кабаки закрыли и монополка в Коме открылась, так дома стал пить да по родне рюмки собирать. Сегодня у нас, завтра у зятя, там к Филиным зайдет, к Илье Яковлевичу. Везде его принимают, везде угощают. Так вот и живет с тех пор.

— Ему жалко было выдавать тетку Парасковью в Подкортус?

— Жалко, видать. А что было делать. Пришлось. Сам и жениха-то ей там нашел. Можно сказать, высватал ей Кирюшу-то.

— А почему наши кульчекские женихи за тетку не сватались?

— Не хотели свататься.

— Она что же — невеста плохая была?

— Невеста она была хорошая. И богатая, и приветливая, и на работу огонь, и собой хоть куда. Всем взяла. И женихи поначалу находились. Из Подлиственной сватались, с Июса несколько раз приезжали. Но почему-то все не ндравились ей. Один ростом не вышел, другой масти рыжей. Пусть он хоть семи пядей во лбу, а если рыжий, то она и знать такого не хотела. Вот какая девка была привередливая. А дедушко Гаврило, он, конечно, хотел иметь за нее богатого зятя. Вот он и выбирал за свою Парунь-

ку такого жениха, чтобы он и собой был хорош, и капитал имел. А она тем временем снюхалась тут с одним цыганом да и убежала с ним. Одежонку, что получше, это уж как водится, унесла с собой, да еще денег пять сотен прихватила. Кое-как поймали ее потом...

Ну, после этого никаких сватов к нашей Парасковье уж не наезжало. Кому нужна такая погонялка. Знаешь ведь — добрая слава за печкой лежит, а худая по свету бежит. Обмаралась с этим цыганом на всю округу. Вот и пришлось за сто верст жениха-то выискивать...

А дедушке Гаврилу все это было, конечно, зазорно. Раньше он чем бы ни выхвалялся, как бы ни чванился, а все больше о своей Паруньке говорил: Парунька моя то, Парунька другое... Лучше его Паруньки и на свете никого не было. А после этого он об ней и не заикается. А кого винить! Сам виноват во всем. Не якшался бы с цыганами да не привечал бы их — так, может быть, ничего и не случилось...

— А он что, с Афоней-цыганом якшался?

— Кто с нашим Афоней будет якшаться? Какой от него прибыток? Особенно богатым. Он сам-то кое-как с хлеба на квас перебивается. Семья большая, работать лень, в своей деревне воровать боязно... Вот и приходится рыскать на стороне. Известна Афонина жизнь — день густо, да неделю пусто. От богатой родни больше кормятся. То брат какой-то из-под Минусы наедет — недели две гуляют, то сват из-под Ачинскова — опять гулянка, то, глядишь, какой-нибудь кум объявится. И все с деньгами. Так и перебивается от сродственника к сродственнику...

Ну а дедушке Гаврилу Афонины гости в антирес. Везде бывали, всякое видали. Не то что наш Тереша Худяков али Еремка Грязнов. А тут еще затесались в конпанию наш Илья, да Трошка Плясунок, да Иван Купин, да Митя Крюк. У одних какие-то дела с этими цыганами, другие просто их ублажают, чтобы те их не обворовали...

В том году, сразу после устретенья, приехали к Афоне какие-то сродственники из-под Каратуза. Четыре цыгана на двух парах. Один уж старик, высокий такой да важный, с большой белой бородой. Богатый, видать... в жеребковой дохе, в бобровой шапке. Два других помоложе. Чернобровые такие. Тоже хорошо одеты. А четвертый совсем молодой. Веселый такой да приветливый и лицом пригож. Не

верится даже, что цыганской родовы. Песельник да гармонист... Как заиграет на своей тальянке, ну прямо за сердце, подлец, щиплет. Днем Гриша стариков своей игрой ублажал, а по вечерам на вечерки стал ходить. Все наши девки с ума от него посходили. Вот какой был парень, хоть и цыган.

У Родивоновых он бывал с компанией, видать, не раз. Но никто за ним ничего плохого не примечал. Видели, конечно, что он ластится немного к Паруньке. Так кто к ней в та поры не ластился. Девка богатая, веселая, обходительная... Все наши ребята около нее крутились.

В первый день масленицы собралась наша Парасковья идти ночевать к Саньке Елисеевой. И Анну упредила, чтобы та ее с вечера не дожидалась. На другой день Анна ждет ее утром. Ждала, ждала, а потом сама пошла за ней к Елисеевым. А снег в ту ночь выпал чуть не в пояс. Дорогу всю перемело. Вот бредет наша Анна кое-как по снегу к Елисеевым, а навстречу ей Санька: «Я,— говорит,— тетонька Анна, к вам иду узнать, уж не приболела ли чем Парунька. Вчера на вечерку не пришла и сегодня что-то не показывается». — «Как это на вечерку не пришла! — всполошилась тут Анна. — Она с тобой ведь вчера собиралась на вечерку, а оттуда ночевать к вам хотела идти!» — «Да не было ее, тетонька Анна, вчера на вечерке. Да и вечерка-то была ни то ни се...»

Тут Санька стала рассказывать тетке Анне о том, какая муторная вчера была вечерка без Гриши-гармониста. А у той уж кошки на сердце скребут. Чует что-то недоброе. Не дослушала Саньку и пошла скорее домой. Прибежала к себе — и сразу в горницу к Парунькиному сундуку. Открыла его, а он... пустой. Одна старенькая шаленка только и валяется на самом дне. Ну, тут и зашлась наша Анна. Сидит над сундуком да заливается слезами.

А дедушко в эту ночь у зятя почевал. С вечера выпили со Степаном, а утром он еще опохмелился у них как следует, так что еле домой приплелся. Пришел домой и сразу, конечно, на боковую. Лежит это на кровати и слышит, как Анна причитает в горнице.

— Заголосила опять! — кричит он ей. — Спать не даешь!

Ну, тут тетка Анна и набросилась на него:

— Вставай, — говорит, — старый варнак! Нет на тебя погибели! Прогулял девку-то! Не уберег! Убежала с кем-то наша Парасковья. Стыд-то какой!

А дедушко, спьяна это уж, что ли, на нее же и набросился:

— Ты, Анна, брось этакую дурость пороть. Не такая у меня Парунька, чтобы из родительского дома бежать. Чего ей у нас не хватает? Ушла к кому-нибудь ночевать. Обожди немного — сама заявится...

— Жди... Заявится, — запричитала Анна. — Смотри! Весь сундук выгрузила. Все подчистую унесла!

Тут Гаврило встал с кровати, прошел в горницу, посмотрел на пустой Парасковьин сундук и рассмеялся. Анна плачет, а ему, видишь ли, смешно.

— Вот так дочка! — говорит. — Ловко она нас обчистила. Вокруг пальца обвела. Молодец девка! Узнаю свою родову!

Опосля этого пошел он зачем-то в свою кладовку. Только это он зашел туда, как сразу же начал ругаться там благим матом.

— Анна! — кричит ей. — Так тебя перетак!..

Анна, сама не своя, прибежала к нему в кладовку.

— Ты куда убрала отседова деньги?

— Какие деньги?

— Ты что, — говорит, — сдурела совсем, что ли! Не знаешь, какие деньги? Из Енисейскова привез — хлеб весной сплавили. Пятьдесят золотых по десятке. Забыла, что ли! Куды девала их?

— Не брала я эти деньги.

— Как это не брала! Куды оне могли деваться! В туесе лежали, в тряпичку завязаны и крупой сверху засыпаны. А туес под лавкой стоял, за бадейкой. С самой весны на месте были. А сейчас хватился — тряпичка в туесе, а денег нет.

И сует ей в нос этот самый туес с крупой и холщовую тряпицу.

— Вот в этой, — говорит, — тряпичке там в туеске лежали.

— Чтоб тебя леший взял с твоими деньгами, — заругалась тут Анна. — Ищи! Куда они денутся, твои деньги. Никто, кроме тебя, в этой кладовке не шарится. И ключи от нее у тебя.

Тут дедушко опять начал рыться в кладовке. Все вверх дном перевернул, а крупу чуть ли не через сито просеял. Потом в подполье искал, в других своих потаенных местах. И нигде эти деньги свои не нашел. Внапоследок он догадался:

— Она взяла, так ее растак! Отца родного обокрала! Ловко сработала, стерва!

Говорит, а самого всего так и трясет. Аж зуб на зуб не попадает. Потом пошел, налил себе сразу целую чашку водки и выпил. После этого уж отошел немного и говорит:

— Давай, Анна, думать — к кому она убежала, кому деньги мои унесла...

Тут стали они с разных сторон прикидывать да примеривать это дело. Всех женихов в деревне перебрали. И выходило так, что не к кому Парасковье в Кульчеке бежать. В суседних деревнях тоже ни одного подходящего жениха не находилось. И вдруг его тут как бы осенило, что она с Гришкой смылась. И как только он догадался об этом, так ему сразу припомнилось, как она на его глазах не раз с ним о чем-то шушукалась, и одежонку свою в горнице перебирала, и у кладовки что-то вертелась. Раньше-то ему все это было невдомек. А теперь стало ясно.

И как только дошло все это до него, так он сразу и побежал к старосте. Так, мол, и так. Родная дочь обокрала. Денег пять сотен и лопати целый сундук. И убежала вместе с цыганом.

А старостой был у нас тогда Нефед Мажоров. Сурьезный такой мужик. Он послушал, послушал дедушку-то да только махнул рукой:

— Попробуй, — говорит, — догони их теперь. Оне за ночь-то, может, верст за сто умахали. А потом, нашел кого ловить. Разве цыгана на таком деле поймаешь. Нет, брат! Что у волка в зубе, то Егорий дал. Не догнать нам теперь твою Паруньку. Да ты, — говорит, — не волновайся. Недельки через две-три она сама к тебе заявится. Как миленькая. Ты чего думаешь, нужна цыганам твоя Парунька? Им деньги твои нужны да одежонка ее. А женить своего Гришку на ней они и не думают. Он у них вроде приманки на богатых девок. Нынче твою Паруньку подцепили. А потом поедут в другое место, найдут другую богатую дуру. Им ведь тоже надо жить. Работать-то лень. Попробуй-ко заработать пять сотен на крестьянской работе. Килу наживешь, а таких денег не сколотишь.

— Что верно, то верно, — говорит тут Мажорову дедушко Гаврило. — Дивствительно, по хорошей дороге оне верст сто, а то и больше умахают. Но дорога-то сегодня непроезжая. Снег-то выпал выше колена. Все перемело. Куды погонишь по такой дороге. А потом, рассуди сам —

приехал он за ней наверняка али из Анаша, али из Подлиственной. Он, может, сюды уж коней-то уморил. А потом убродом обратно. Не очень-то далеко умахаешь. Так что пишите скорее с писарем бумагу анашенскому и подлиственскому старостам, чтобы перехватывали ее там с этим цыганом.

Ну, тут дивствительно наш кульчекский писарь сразу написал по всей форме бумагу насчет этого дела в Анаш и в Подлиственную, а Мажоров отправил ее с нарочным. А потом подумал, подумал немного, взял сотского и десятского и сам поехал с ними ее разыскивать.

— А где они ее поймали-то? — интересуюсь я. — С цыганом или одну?

— Одну поймали. Цыган-то успел смыться. А ее, голубушку, сцапали в Подлиственной у наших Сюксиных.

— А деньги, которые она украла у дедушки?

— И деньги, и всю одежонку привезли. Деньги-то она еще дома в оборку платья зашила. В этом платье убежала, в этом и обратно заявилась. А узлы с лопатенкой цыган увезти-то не успел. Оплошал...

— Как же это он оплошал?

— А так уж получилось. Приехали они в Подлиственную-то уж затемно. И остановились там, по знакомству, в одном доме. Не доезжая до деревни, за речкой, почти у самой горы, жили там два брата. Справные мужики были, только с цыганами тоже якшались. Они, конечно, сразу сообразили, зачем Гришка в Кульчек ездил и что за кралю он вывез оттуда. А Гришка, он парень хоть и молодой был, но уж продувной. Соображал, к кому он едет с ней на фатеру. Так еще за деревней взял да на всякий случай и спрятал Парасковьины узлы-то на чьем-то гумне в зарод соломы.

Вот остановились они у этих братьев на фатере, напились чаю, а потом Гришка сразу отправился в Витебку за свежими конями. «Ты, — говорит, — Паруня, жди меня здесь. Я скорехонько оттуда возвернусь». Вот она его ждать-пождать. В деревне уж ни одного огонька, дело к полночи подходит. А его все нет. Она в слезы. А хозяева успокаивают ее и спать в горницу укладывают, как настоящую гостейку. Заставили работницу постелю ей там стлать. Все как следует. А та стелет постелю, а сама ей шепчет: «Убегай, — говорит, — пока жива. Гришку-то твоего они уж перехватили за деревней. Сказали ему, что кульчекские вас здесь уж разыскивают. Ну, он сразу по-

вернул коней да и был таков. А тебя они сегодня ночью сговорились убить. Знают, что ты при деньгах, и, окромя того, думают, что вы тут где-то узлы с лопатью припрятали. Так что уноси ноги, пока не поздно».

Вот в какой переплет попала наша Парасковья. Можно сказать, сама себе петлю надела на шею. Но все-таки она была девка не промах. Как только услышала это, сразу надевает свою шубу, катанки, теплую шаль и выходит из избы, вроде как бы до ветру. А как вышла во двор-то, так сразу же за ворота — и бросилась бежать. И побежала не в деревню, а совсем в другую сторону, по дороге в тайгу. Сообразила, что иначе ее догонят да ухлопают. А как добежала до горы за лугом, то сразу свернула здесь в сторону и полезла прямо на гору. А след свой от дороги на всякий случай заметала хворостиной. Да и ночь-то была, на ее счастье, ветреная. Так что след-то ее и ветром еще занесло.

Только вылезла она на гору да скрылась там в березничке, а хозяева ее уж скачут верхами по той дороге. Значит, уж хватились и ищут ее. Да еще двух собак с собой взяли. Те впереди бегут да все нюхтят, все нюхтят. Ну, тут наша Парасковья ни жива ни мертва. Смотрит на них с горы-то, крестится да читает: «Пронеси, восподи, пронеси, восподи!» То ли молитва ее дошла до бога, али уж на роду ей не суждено было умереть в ту ночь, но только мужики эти ее там не приметили. И собаки ихние тоже как-то ее не учуяли. Так и осталась она одна на той горе ночь коротать, в снегу, на морозе да на ветру. Ни на одной вечерке, видать, не приходилось нашей Парасковье столько плясать, как там на горе в эту ночь.

А утром, когда уж совсем рассвело, заявилась она в деревню прямо к нашим Сюксиным. Пришла еле живая. Руки, ноги, лицо — все обморожено. Зашла это в избу, перекрестилась да и говорит: «Принимайте, тетонька Фекла, гостейку, да только ни о чем не спрашивайте». А Фекла посмотрела на нее да и говорит: «Тебя, милая, не спрашивать надо, а снегом оттирать. Не до расспросов тут». Ну, и начали ее изобихаживать. Кое-как оттерли ей снегом руки, ноги, лицо, потом смазали ей все это гусиным салом, заставили выпить чашку водки с перцем и положили ее на печку. А когда она отошла там как следует да соснула немного, тогда уж позвали ее пить чай. Только это уселась она за столом, как отворяется дверь, и заходит наш Нефед с подлиственским старостой, с сотскими и де-

сятскими. «Так вот, — говорит, — ты где, голубушка, прохлаждаешься». Тут, говорят, у нашей Парасковьи и чашка с чаем из рук выпала, и язык отнялся. Сидит как опущенная и сло́ва не молвит. Да и что скажешь? И так все видно.

Ну, тут начались, конечно, всякие расспросы у нее насчет цыган, насчет денег, насчет узлов с лопатью и все прочее.

Все деньги оказались при ней в оборке платья. Узлы с лопатью тоже нашли в зароде соломы на гумне за деревней. Только все оне были истыканы вилами. Это хозяева ее искали те узлы, ходили вокруг зарода на гумне и все тыкали вилами в солому. Но второпях так ничего и не нашли...

И о том узнали, как она всю ночь на горе провела на ветру да на морозе. С той поры и сейчас еще эту сопку называют в Подлинственной Парушиной горой.

А потом повезли ее, голубушку, к нам в Кульчек к родимому тятеньке да родимой мамоньке. На пяти парах подъехали к Гаврилу Родивоновичу. Все старосты, все сотские и десятские из соседних деревень, которые ее разыскивали. Вся деревня сбежалась смотреть, как Гаврило Родивонович будет встречать свою Парасковью.

Привели ее в дом. Она как ступила через порог, так сразу и упала на колени. Так на коленях и поползла к отцу-то. А он сидел в это время за столом в переднем углу. Так даже не встал. Как сидел, так и остался сидеть. Тут она подползла к нему на коленях и стала целовать ему ноги: «Прости, — говорит, — тятенька! Не простишь, — говорит, — я руки на себя наложу!» — «Лучше бы ты, — говорит, — уж руки на себя наложила. Не было бы такого страму». Сказал это и волосы на себе стал рвать. Вот до чего довела она родного отца.

Ну, тут все стали его утешать да успокаивать, и он понемногу утихомирился. А потом и говорит: «Уберите ее с глаз моих долой! Пусть, — говорит, — пока в избушке с работниками живет. А тебя, — говорит, — Нефед Матвеич, и всех, кто приехал с тобой, прошу садиться за стол. Перемерзли вы все с этим делом. Выпьем с устатку. Не обессудьте за угощение. Не так думал я провожать дочь в чужие люди. Но что поделаешь. Все под богом ходим».

Тут все уселись за стол, и началась у них настоящая гулянка. С песнями, с пляской. И дедушко Гаврило пил

наравне со всеми, ио, на удивлеиие всем, даже ие хмелел. И иичем уж не похвалялся на этот раз перед своими гостями.

А как прошла масленица, он сразу же уехал и где-то в Подкортусе выискал Парасковье этого Кирюшу. Свадьбу справили сразу после пасхи. Отвалил он за дочь Кирюше пять коней, семь коров да сорок овец. Ну и деиег сколько-то отказал ему. Говорят, эти пять сотен. Кирюша-то после того сразу скотом начал торговать.

А Гаврило иаш опосля того и скотишку перестал закупать, и с цыганами якшаться. В дом к себе переселил старшую дочь с зятем да с ребятишками, препоручил им все свое хозяйство, а сам пьет да еще целую ораву прихлебателей при себе держит. Коренным пьяницей стал в деревне. Ходит со своими дружками по деревне да куролесит. Другому давно бы уж бока обломали, а богатому-то все с рук сходит. Вот тебе и богатство. Деиег много, а радости нет. Ну, заговорились мы с тобой. Поздио уж, ложись спать. Того и гляди, отец явится. Замешкался где-то со своим крестиым. Видать, бабку Аииу вместе обхаживают.

После рассказа мамы я как-то по-другому стал смотреть на дедушку Гаврила, когда ои заходил к иам в гости. Читать второй раз «Коиька-Горбунка» ои меия ие заставлял. Но иад грамотой больше не насмехался, а один раз, глядя иа меия, даже проговорился, что Парасковьииого Лаврушку тоже придется отдавать в школу. «Ничего не поделаешь,— с сожалением промолвил ои,— придется учить парня, раз пришли такие времена». Потом подумал немного и добавил: «А может, и в самом деле это ему в жизни пригодится».

Глава 9
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР

В воскресеиье в деревне было праздничио и шумио. С «лужка» — большой площади посредине деревни — доносились песни, смех, крики, девичий визг, игра иа гармоиике. Тут и там у ворот сидели группами соседи и вели степеииые, подходящие для праздника разговоры о погоде, о болезиях, о видах иа урожай,

о всем таком, что уводило их от повседневных забот и треволнений.

В тон этому и люди были настроены благожелательнее, чем обычно. Каждый чувствовал себя на какое-то время выключенным из тяжелой хозяйственной лямки и хотел принять участие в общем разговоре.

У ворот Архипа Сычева собрались почти все наши соседи. Дядя Илья, Ехрем Кожуховский, зять Архипа — Степан Красный, прозванный так за свою ярко-рыжую бороду, Сергей Семенович Ворошков, Саша Баранко, Акулина Елисеевна, Варвара Абакурова и еще кое-кто из соседей. Здесь же сбоку пристроились и мы — ребятишки. Нам очень хотелось пойти на «лужок». Это совсем недалеко. Всего через несколько домов. Но идти туда мы боимся. Ребята там чужие, задиристые. Еще налупят, чего доброго, ни за что. Поэтому мы сидим здесь, в своем околотке около Сычевых, и не столько заняты своими делами, сколько наблюдаем за тем, что сегодня происходит на нашей улице.

Вот снизу, с «лужка», подходит сюда Еремей Павлович Грязнов. Еремей Павлович одет сегодня по-праздничному: в новые бахилы с длинными ременными подвязками, в плисовые шаровары и кашемировую рубаху. На голове у него, хоть и лето, нарядная бобровая шапка. Но вид у него совсем не праздничный. Борода всклокочена. Плисовые шаровары в грязи, а кашемировая рубаха разъехалась по плечам. Еремей Павлович о чем-то разговаривает сам с собой. Это верный признак, что Еремей Павлович сегодня навеселе.

В пьяном виде Еремей Павлович настроен всегда довольно благодушно. Но он думает в это время только о себе и все время что-то говорит сам с собой. Вот и сегодня не успел он к нам подойти, как сразу же, никого не слушая, стал рассказывать о том, как он нынче, слава богу, подвалил в Ижате маралиху с мараленком, привез из Убея два с лишним пуда рыбы, как он весной подрезал в Мачжаре семи волчатам жилы на ногах, а на этой неделе нашел в Шерегеше большой рой пчел и после ильина дня возьмет с него не меньше пуда меда.

Еремея Павловича знают у нас как рыболова и пчеловода. Но славится он, главным образом, как охотник. Охотится он на медведя, на марала, на всякого мелкого зверя и, между прочим, на волков. На волков Еремей Павлович охотится по-особенному и только в Мачжаре,

около своей пашни. Он хорошо знает там в лесу все волчьи ямы. Выследит весной волчий выводок и подрежет волчатам жилы на ногах. Волчата после того растут спокойно на воле, а быстро бегать уж не могут. Только с боку на бок переваливаются. Осенью Еремей Павлович едет в Мачжар, находит их в тех же самых местах, собирает в мешок и везет домой. Дома они живут у него вместе с собаками, пока не вырастут как следует. Тогда он убивает их, а шкуры выделывает на доху.

Нам очень хочется расспросить его о том, как он выискивает в Мачжаре маленьких волчат и подрезывает им жилы. Но Еремей Павлович даже не замечает нас и все время говорит только о себе. Поэтому все стараются от него отделаться. И когда вдали появились Матюгов и Ивочкин, дядя Илья сказал:

— Ты бы, Еремей, шел это лучше к своим дружкам. Вон они идут... А то якаешь тут без передыха. Рта никому не даешь открыть.

— А что же, можно и пойти, — заартачился Еремей Павлович. — Почему не пойти. К кому захочу, к тому и пойду. Еремея Грязнова везде уважают, везде примут, везде угостят..

Между тем Матюгов и Ивочкин уже проходят мимо. Матюгов идет молча, а Ивочкин поет:

Как по нашей по деревне
Колокольчик прозвучал...
Тама шел-прошел бродяга —
Бездомовый человек...

Песню Ивочкин не столько поет, сколько надрывно кричит. И кричит он ее отнюдь не из потребности выразить свое настроение, а исходя из того, что всякая гулянка должна сопровождаться песней. А он загулял. Поэтому и поет. И песню он поет свою — каторжную. И никто ему не запретит петь эту песню.

Ты скажи мне, младый юнош,
Сколько душ ты загубил?..—

неожиданно подхватил песню Ивочкина Еремей Павлович и направился к нему навстречу. В отличие от Ивочкина, Еремей Павлович поет умело, с чувством, высоким, сильным голосом, что никак не вяжется с его недавней бессвязной болтовней. С песней он подошел к Матюгову и Ивочкину, и Ивочкин сразу же заключил его в свои объя-

тия. Уходя по улице вверх к Крысиным, они уже вместе затянули:

Эх, ты скажи мне, младый юнош,
Сколько душ ты загубил?
Восемнадцать православных,
Девяносто семь татар...

— Ну, теперь они на всю неделю. Водой не разольешь...

— Если не передерутся.

— Матюгов драчливых не уважает.

— Матюгов не уважает, а Ивочкин как выпьет немного, так и грозится кого-нибудь «подколоть».

— Или он подколет, или его подколют. Еремей — он тоже по этой части не промах. Чуть что — сразу хватается за нож.

— Бросьте вы о них говорить. Вон Софья своего Архипа ведет.

— Вот и мы с хозяином вышли на посиделки, — обращается тетка Софья к окружающим и бережно усаживает его на лавку.

Архип Сычев приходится нам каким-то родственником по тетке Софье. Говорят, его пригнали на поселенье в Кульчек еще в молодые годы. Первое время он жил в работниках у тетки Софьи и так ей приглянулся, что она решила отравить своего мужа — нашего дядю Степана. Травила она дядю Степана не торопясь. Натирала, говорят, ему белье каким-то порошком. Ну, он чах от этого, чах да помаленьку и зачах совсем. А тетка Софья после того поженилась с Архипом да и живет с ним много лет в полном согласии.

Теперь Архип Сычев сам чахнет от какой-то болезни. Уж один скелет остался. Вот и сейчас он сидит, тяжело дыша, уставившись в землю, и, казалось, никого не замечает из окружающих.

— Ну, как, кум Архип, здоровьишко-то? — спросил его дядя Илья.

— Да, слава богу, получше. Выходить на улицу стали, — ответила за Архипа тетка Софья.

— С вечера вроде как бы и ничего, — сказал, прокашлявшись, Архип. — А к утру удушье — мочи нет. Вчера думал, совсем каюк пришел. Хочу Софью позвать. И не могу. Язык-то вроде уж отнялся. Спасибо Степану. Услышал, что со мной что-то неладное. Снял меня с печи,

посадил к окошку, принес ковш воды. Ну, я и очухался помаленьку.

Дядя Архип опять тяжело закашлял. Потом медленно вытащил из кармана трубку, вынул из нее чубук и стал обрезывать ножом его конец, пропитанный баткой. Руки его тряслись, и нож беспомощно скользил по чубуку. Степан молча взял из его рук чубук, отрезал от него кругленький ломтик и подал его Архипу. Тот положил этот ломтик на язык и стал сосать. Кашель сразу же унялся. Лицо дяди Архипа просветлело. На нем заиграла слабая улыбка.

— Вот ведь какая хреновина получается. Всем на удивленье. Лечился, лечился. Сколько порошков этих переглотал. А лекарство-то, оказывается, у меня в кармане лежало. Спасибо Гарасиму — надоумил. «Ты,— говорит,— попробуй батки из трубки под язык-то класть да сосать. Она сильно хорошо кашель-то прочищает». Попробую, думаю, может, и в самом деле поможет. Отрезал от чубука такой блинчик и давай его сосать. И скажи ты ведь какое дело — весь тот день не кашлял. Теперь на этом только и держусь. Только вот чубуки выпрашивать у людей приходится. От одного-то своего не много налечишься. — Тут дядя Архип вынул из кармана и показал всем несколько новых чубуков. — Спасибо Степану — сделал мне целый десяток на обмен.

Все внимательно слушают дядю Архипа. И понимают, конечно, что сосать батку из трубки — дело противное. Однако это никого не удивляет. Удивляет другое — что никто этого лекарства не знает. Выходит, что лечился человек, лечился разными лекарствами, пил всякие снадобья, глотал без счету порошки — и все без пользы. А вот простая батка из чубука дает человеку такое облегчение. Если бы знать в свое время, может быть, совсем другое дело было бы.

— От бога все это. И болезни все, и лекарствия, — глубокомысленно заключил дядя Илья и вынул чубук из своей трубки. Он принял от Архипа новый чубук, а ему передал свой накуренный. — Уж если батка эта дает человеку облегчение — значит, она ему в плипорцию. Может соответствовать, значит. А уж если кому она не идет, так тут уж ничего не поделаешь. Нутро, значит, у того ее не принимает. На все божья воля. Все под ним, милостивцем, ходим.

— Это что уж и говорить. Дело известное, — вступает

в разговор соседка Сычевых Акулина Обеднина. — А я вот так скажу: на одну болезнь лекарство нужно, а на другую слово надо знать. Не будешь знать того самого слова, какое нужно, никакое лекарство тебе не поможет...

— Это как же понимать, Акулина Елисевна? Выходит, слово сильнее лекарства? — спросил Сергей Семенович Ворошков.

— А вот и понимай как знаешь. Дениса-то у меня ведь два года «кумушка» трясла. Совсем было скопытился мужик. Как начнет его с весны, так до покрова и треплет. Уж чем только не лечили. Осиновой корой, полынью, марьиными кореньями поили, холодной водой обливали, пугали несколько раз. Чуть совсем не порешили человека. А уж порошков этих он выпил без счету. Чем больше их пьет, тем сильнее она трясет. В прошлом году совсем было извелся мужик. Уж с постели перестал вставать. Хоть домовину заказывай на кладбище тащить. Да, спасибо, один человек помог, дай бог ему здоровья.

Раз гляжу, у нас на речке в бане бродяжка обосновался. Седой такой старичок, уважительный. И что-то это в котелке варит. Чего ты это, спрашиваю, дедушко, варишь? Пойдем ко мне. Я тебе лучше молока налью... За молочко, говорит, спасибо. Не откажусь... А варю я себе, говорит, одну травку такую... Что-то меня сегодня сильно ломает. Видать, продуло али к перемене погоды. Вот сварю снадобье из этой травки да напьюсь на ночь. Да погреюсь. Оно все и пройдет.

Я вижу — человек, видать, бывалый. Дай, думаю, расскажу ему о своем Денисе. Может, чем-нибудь и поможет.

Слушал он меня, слушал, а потом и говорит: «Без веры, матушка, не вылечишься. Без веры, — говорит, — никакие порошки, никакие снадобья не помогут». Потом подумал, подумал да и присоветовал: «Ты, — говорит, — завтра с утра запрягай телегу и вези его в тайгу. Тайга-то у вас ведь рядом. Найди там хорошую осину, вели своему Денису поклониться ей несколько раз земным поклоном и попросить ее:

Осина, осина!
Возьми мою трясину!
Дай мне леготу!

А потом пусть перевяжет эту осину своим кушаком. Только никому не говори. Чтобы никто, значит, не знал, куда едете. Да смотри не перепутай: осина, осина!

Возьми мою трясину! Дай мне леготу! Не перепутай смотри».

Подивилась я на это, поблагодарила старичка, принесла ему кринку молока и пошла домой. Прихожу, рассказываю обо всем Денису. А он подумал, подумал да и говорит: «Нынче весной, перед пасхой, мы в Шерегеше дрова рубили, так приметил я там одну осинку. Уж больно она мне понравилась. Кругом березник был. Густой такой. А она, понимаешь, растет на таком пустырьке, на самой середине, стройная, как божья свеча. И так мне стало жалко рубить ее. Пусть, думаю, растет себе деревцо. Никому не мешает ведь. Вези меня завтра к ней. Может, она мою трясину и возьмет».

На другой день с утра управилась я по хозяйству, запрягла коня, уложила своего Дениса на телегу, и поехали мы помаленьку в Шерегеш. Приехали на устье Мохнатенького. Выпрягла я здесь своего Гнедка, посадила на него Дениса и повезла его вверх по родничку, прямо к их вырубке.

Приехали на место. Вижу — дивствительно стоит посередине осинка, молодая такая, стройная да высокая. И лист у нее, хоть и нет ветра, а все время как бы трепещет. Вроде чему-то радуется деревцо и как бы играет листьями от этой своей радости. Увидел мой Денис эту осинку, и аж слезы у него навернулись. Подошел к ней, снял шапку и спрашивает: «Узнаешь ли ты, — говорит, — меня, осинка-лесинка?» Смотрел, смотрел на нее. А потом упал перед ней на колени, кланяется ей земным поклоном и все просит ее: «Осина, осина! Возьми мою трясину! Дай мне леготу!» Просит ее, а сам все кланяется ей. Раз тридцать поклонился, совсем ослаб. В пот его бросило. Ну, думаю, начнет его сейчас опять трясти. Не извелся бы мужик. А он меня просит: «Под осину, — говорит, — под осину скорей меня клади. Это болезнь из меня выходит. Да не забудь ее моим новым кушаком опоясать, осинку-то».

Уложила я его на войлок под эту осинку, накрыла шубой. Повязала осинку новым кушаком. Села рядом да и сама начинаю ее просить: «Осинка, — говорю, — лесинка! Возьми его трясоту! Дай ему леготу!» Прошу это осинку, а сама плачу. Неужели, думаю, опять мне и на пашне, и на покосе придется одной горе мыкать.

А Денис мой, гляжу, тем временем уснул. Спит себе под своей осинкой. Без малого до обеда проспал. Потом проснулся и сразу есть попросил. Поели мы с ним под

этой осинкой и отправились помаленьку домой. И что бы вы думали? Обратно мой Денис уж на телеге лежать не хочет. Повеселел. Вожжи взял в руки. Гнедка понукает.

Дома напоила я его чаем с дубровником. Он у меня всю ночь и проспал как мертвый. А через неделю и совсем оклемался. После петрова дня на покос поехали. И нынче, слава богу, держится. Вот как оно бывает.

— Вот тебе и бродяжка.

— Разные среди них попадаются.

— Вот бы нам с Архипом такого бродяжку повстречать! — промолвила тетка Софья.

— И встретите. Мало ли их проходит летом. Так один за одним и идут. Непременно встретите, — стала уверять тетку Софью Акулина Елисеевна.

— А может, от батки от этой поправится. Все-таки легче ему стало, — сказала Варвара Абакурова.

— Дай-то бог. Может, и от батки встанет на ноги, — произнес зять Архипа Степан. — Тут ведь только узнать, что к чему, — и дело пойдет на лад. Вон Афоня-цыган все время детской мочой лечится. Уж как его бьют за воровство за это. Приедет со своего промысла — кровью харкает. И сразу начинает пить мочу. Цыганят у него много. Так что лекарства этого хватает. Вот и пользуется. Попьет месяца два, глядишь, и опять на свой промысел едет.

— Кому что. Тебе хлеб пахать, Трошке Плясунку в тайге белковать, а ему, значит, воровать, — глубокомысленно заключил дядя Илья. — Уж такая планида человеку вышла.

— А я, мужики, так думаю, — вступил в разговор Ехрем Кожуховский. — Батка баткой, раз она дает ему облегченье. Но все-таки без хорошего человека тут не обойтись.

— Вот и я говорю — знающего человека искать надо, — снова стала советовать Акулина Обеднина.

— А что его искать-то, — поддержал Акулину Ехрем Кожуховский. — Когда еще он заявится, знающий человек-то. А может, и совсем не заявится. Гарасима надо просить. Он и батку эту присоветовал, он и слово от всяких болезней знает.

— Да, по этой части Гарасим соображает. Ничего не скажешь, — вставил свое замечание дядя Илья.

— От бродяжек от этих все перенимает, — снова заговорил Ехрем Кожуховский. — Мы-то их чураемся, а чего чураемся — и сами не знаем. А Гарасим, как ни посмот-

ришь, все с ними. То с одним, то с другим. Не зря он обхаживает их. Так что ты, Софья, непремеино попроси его насчет этого дела. Выставь уж ему, так и быть, бутылку. На такое дело ие жалко. Может, и в самом деле поможет человек.

Тут все стали жалеть о том, что дядя Гарасим пьяница. Если бы не эта беда — человеку цены ие было бы.

Действительио, вся жизнь дяди Гарасима проходит по пьяной полосе. Полоса пьяная тянется у него обычно очень долго и с большим трудом переходит в полосу трезвую. А полоса трезвая длится почему-то недолго и быстреиько сменяется снова полосой пьяной.

Жизнь дяди Гарасима, когда она входит в полосу пьяную, становится очеиь незавидной. Семья выгоняет его в это время из дома, и он живет вроде приживальщика то у родии, то у соседей. Чтобы заработать себе иа выпивку, он берется тогда за какое-иибудь рукомесло — бьет шерсть, выделывает овчииы, пасет скота.

Когда же жизнь дяди Гарасима вступает в полосу трезвую, тогда оиа проходит в домашиих трудах и заботах. В такое время ои обычио возвращается в семью и становится иастоящим хозяииом. Внешнее обличье дяди Гарасима стаиовится в это время благопристойиым. Небольшой, тощенький, с великопостиым выражением, с длиииыми, гладко причесанными волосами, перевязанными веревочкой, с жидеиькой бороденкой, в длииной холщовой рубахе, дядя Гарасим очень походит в это время на одиого из святителей, нарисоваииых у иас на икоиах.

В такое время наши бабы одна за другой несут к дяде Гарасиму своих ребятишек. И дядя Гарасим с большой важиостью лечит их от жара, от поиоса и от всяких других детских болезней.

Во время одиого из своих запоев, когда семья очередиой раз вытурила его из дома, дядя Гарасим подался в чужие места и иаиялся в Подкортусе в пастухи. Здесь вновь его осенила божия благодать, ои взял себя в руки и бросил пить. Вскоре дядя Гарасим прослыл там за святого человека, и слава о нем как о иеобыкновеииом целителе дошла даже до наших мест. Кроме иаговоров и приворотов, дядя Гарасим стал, как иастоящий святой, лечить там уж простым возложеиием рук. И, говорят, возложение тоже сильио всем помогало. Но за всем этим дядя Гара-

сим не заметил, как вошел в полосу пьяную. А вступив в пьяную полосу, он начал там куролесить, издеваться над своей святостью и болтать о том, что он умеет не только лечить и исцелять, но и портить, и даже напускать на людей всякие болезни.

Тут в Подкортусе сразу у всех открылись глаза, что он за человек. Всем стало ясно, что дядя Гарасим человек непутевый, что он сам напускает всякие болезни, поэтому так легко и излечивает их. И бабы, которые только что называли его божьим человеком и приводили к нему своих деток для возложения на них старческих рук, стали считать его колдуном и волхвователем и призывать на его голову все страсти господни. Тут дяде Гарасиму не оставалось ничего, как смываться поскорее подобру-поздорову из Подкортуса домой.

В Кульчеке у нас дядю Гарасима знают, конечно, как облупленного и не верят в его святость. Однако лечить ребятишек к нему носят, так как уверены, что он помогает им не как святой, а как знахарь, который знает такие наговоры, которые сами по себе имеют силу, независимо от того, святой или грешник применяет их. Поэтому все у нас верят в то, что дядя Гарасим владеет особой тайной силой. Он может испортить лошадь, и лошадь чем-нибудь заболеет, может испортить корову, и корова не станет давать молока или скинет теленка. И что особенно важно, может испортить любого человека, напустить на него какую-нибудь болезнь. Достаточно ему, варнаку, чем-нибудь не угодить, и дело может принять дурной оборот.

— ...Так что ты, Софья, непременно попроси его насчет этого дела, — советовал тетке Софье Ехрем Кожуховский. — Выставь ему шкалик-два водки. На такое дело не жалко. Может, в самом деле поможет человек.

— Надо будет попробовать, — не совсем уверенно сказала тетка Софья.

— Попробуй, может, что и получится. А Гарасим — он все может, хоть и пьяница. Осенесь он со мной такой номер отчихвостил, что только диву даешься. Расскажи людям — никто не поверит. Да я и сам не поверил бы никому, если бы не со мной приключился.

— Да что приключилось-то?

— А вот то и приключилось... Поехал я тогда как-то раз, сразу после казанской, белковать. Оседлал утром коня, взял с собой своего Шарика и до свету выехал из дома. Пораньше хотел проехать деревней, чтобы никто не видел.

Знаете, какой теперь народ пошел... Только это проехал я Крысиных, вдруг откуда ни возьмнсь наш Гарасим. Пурх из-за угла. Вроде подкараулнвал меия иа этом месте. Вот так встреча, думаю, чего боялся, то и получилось. Дай, думаю, обману его. Тут я сделал вид, что не заметил его н еду себе мимо. Но не тут-то было... Не отъехал и пяти шагов, как ои уж окликает меня: «Это что ж, куманек, ты и родию уж ие признаешь?» — «Да что ты,— говорю,— Гарася... Да я... да ты... Видишь,— говорю,— темень какая». — «Вижу, — говорит, — вижу, что чуть забрезжило... Белковать, значнт, поехал. Так, так!» А потом подумал что-то да и говорнт с такой ехидцей: «Ну что ж, поезжай, куманек, поезжай. Воспомянешь меия там сегодия не раз, иа охоте-то».

Не иакаркал бы чего, сукнн сыи, подумал я и поехал своей дорогой. Еду это да сумлеваюсь иасчет нашей встречи. Ну да ннчего, успокаиваю себя. Как-ннбудь обойдется.

Вот приезжаю я иа вершнну Андачжачихи, свернул с дороги на Кракчуль н поехал хребтом. Вдруг слышу — Шарик мой уж потявкивает. Эге, думаю, молодец Шарнк, иашел уж белочку. Если дело пойдет так, то славио побелкую. Еду иа лай, внжу — дивствительио Шарик уж иашел белку и подает мие знак. Ну, тут я слезаю с коня, снимаю ружье, выбираю подходящее место, ставлю ружье на рогулькн, прицелнваюсь как следует и... бац!.. мимо... Что за оказия, думаю. На такой высоте всегда с первого раза белку сбиваю. Уж в самом деле ие подшутил ли надо мной наш Гарасим Кузьмич... Ну, заряжаю опять свою берданку. Пристроился как следует... Бац!.. И опять мимо. Не иначе, думаю, как подсупонил ты сегодня меня, куманек, туды тебя расперетуды... Не бывало еще, чтобы я такую белку ие сбивал со второго выстрела... Стреляю третий — мнмо! Четвертый раз... Опять мимо! Ну, решаю, ясно — испортнл ты мне сегодня, Гарасим, всю обедню... Стреляю пятый раз, десятый раз. И верьте не верьте, мимо и мнмо. Просадил, ие сходя с места, все двадцать шесть пуль в одиу белку, да и ту ие убил...

Вот приезжаю я домой, а Гарасим уж у нас. Выходит на крылечко и спрашнвает с ехидцей: «Ну, как поохотился, куманек? Вспоминал ли меня на охоте-то?»

Я слушаю это его, и меня аж трясет от злости. Сукин ты сыи, думаю, пришпаидорить бы тебя как следует за такое дело. Думаю это, а сам сдерживаюсь. Боюсь уж его, варнака. Тронь такого, так ои ие то еще сделает,

«Ладно, ладно, — говорит тут мне Гарасим. — Не сердись... Ты сколько пуль брал-то с собой сегодня?» — «Два десятка, — говорю, — с лишним...» — «Так, так, — говорит Гарася. — Значит, ты сегодня должен был привезти четырнадцать — пятнадцать белок...» — «Двадцать белок, — говорю, — должен был привезти. Ведь двадцать шесть пуль брал и все высадил из-за тебя в белый свет как в копеечку...» — «Ну что ж, — говорит мой Гарасим, — поезжай завтра за своими белками. Никуда оне от тебя не уйдут. Только ни в чем не сумлевайся да помни — плоха душа у ерша, если у него щетина дыбом не стоит. Давай винтовку-то». Тут он взял мою берданку, разобрал ее и стал промывать. В трех водах промывал, да все с наговорами, сукин сын, да с молитвами. А меня заставил пули лить. И над пулями тоже что-то мухлевал...

На другой день взял я своего Шарика и выехал чуть свет. Приезжаю опять на вершину Андачжачихи, свернул с дороги, поехал хребтом на Кракчуль. Слышу — Шарик уж тявкает. Подъезжаю — вижу, высоко-высоко на лиственнице белка. Слез с коня, выбрал поудобнее местечко, снял берданку, поставил на рогули, перекрестился, прицелился и... бац! Летит белка вниз... А Шарик уж снова подает знак. Подъехал, сбил вторую. Потом третью, четвертую. И так за день-то дивствительно нащелкал их около двадцати штук. Только последние два раза и просадил мимо. Но это было уж к вечеру. Уж темнеть стало. А до этого все у меня шло как по маслу. Вот тебе и Гараська. Он что хочет, то и сделает с нашим братом... Хоть верьте, хоть не верьте, а так оно и было.

— А чего не верить-то. Что мы, не знаем Гарасима.

— Напьется до того, что в грязи валяется. А какую силу человек имеет!

— А не слышали, что он со мной вытворил? — спросил недавно подошедший Кустей Лабадов. Он только что выслушал рассказ Ехрема об охоте, и ему не терпелось рассказать всем какую-то новую историю про Гарасима.

— А чего он мог с тобой вытворить? Вы ведь друзья-приятели. Водой не разольешь.

— Да ведь вас недавно вместе пьяных видели. Когда это было?.. Вроде на спасов день.

— Вот-вот, как раз на спасов день это и случилось. Засиделись мы тогда с ним у Филиных допоздна. И пошли домой дивствительно пьяненькие. Вот спускаемся мы на мост через Барсуков лог... Темень, хоть глаз выколи. Дер-

жимся друг за друга, чтобы, значит, это не упасть. Вдруг мой Гарасим остановился и что-то слушает. «Чего ты это,— спрашиваю,— остановился в самой грязи? Пойдем,— говорю,— поздно уж». А он мне в ответ: «Тише ты,— говорит.— Не слышишь, что ли?» — «Ничего,— говорю,— не слышу...» — «А ты,— говорит,— слушай как следует». Тут я прислушался. «Чего-то,— говорю,— мельтешит в ушах. А что, к чему — понять не могу».— «А ты еще раз,— говорит,— послушай. Вот и поймешь». Вот стали мы прислушиваться вместе. «Слышишь,— говорит,— ведь петухи это поют». Тут я прислушался как следует — дивствительно где-то поют петухи... «С чего бы это,— говорю,— они с вечера запели?.. Ведь рано им еще петь-то».— «Да ты слушай,— говорит,— где они поют-то. Ведь в Барсуковом логу поют. Неужто не слышишь?» Тут я опять прислушался — дивствительно поют в Барсуковом логу. Где-то на самой вершине. И поют все громче, все сильнее. «Что за оказия? — спрашиваю его.— Какие могут быть петухи на вершине Барсукова лога? Да еще с вечера... С чего бы это такое?» А он стоит, варнак, да ухмыляется. А петухи эти так и заливаются. Аж в ушах звенит... Гляжу я опять на него, и вдруг меня сразу как бы осенило, что это за петухи с вечера запели в Барсуковом логу... Вот так друг, думаю, так тебя расперетак. Надо, думаю, уносить поскорее ноги от такого друга. И сразу, не говоря ни слова, подался домой. Иду это к себе, а петухи эти самые поют все сильнее и сильнее. Прямо в уши кукурекают.

Вот прибегаю я домой, стучу изо всей мочи своей Кустеихе, вваливаюсь в избу — сам не свой. А ей, конечно, невдомек, что со мной делается, и она завела старую волынку: опять-де нализался в стельку. И все такое. А потом видит, что со мной что-то неладно, и спрашивает: «Чего это ты зубами-то дробь выколачиваешь?» — «Не шумаркай ты,— говорю,— христа ради. Мне и без тебя тошно. Зажигай,— говорю,— скорее свечи перед образами да молись». И сам начинаю читать молитву: «Господи Сусе, помилуй нас». А Кустеиха моя зажгла на божнице свечи, да с перепуга-то, видать, перезабыла все молитвы. Стоит, крестится да только бормочет: «Сукрест-накрест, сукрест-накрест!» — «Читай,— говорю ей,— дура ты разэтакая, как следует», а сам крещусь изо всей силы. Молюсь, молюсь и замечаю, что петухи эти со своим кукуреканьем стали вроде как бы отдаляться. А потом и совсем заглох-

ли. Ну, тут я немиого успокоился, улегся на печку, прогрелся как следует и помаленьку засиул.

А иа другой день мой Гарасим как ии в чем не бывало заявляется опохмеляться. Мие бы его взашеи гнать, с крыльца спустить боком... И не смею. Еще ие такое может вытворить. Вот и приходится принимать да угощать. А ему только это и иадо. Вот ои какой у иас, Гарасим-то Кузьмич. Он все может...

Тут все стали дивиться, какие иомера вытворил Гарасим с Ехремом и Кустеем, какой он дошлый человек по этой части и какой хороший совет может ои преподать в трудиом случае. И долго продолжали бы судачить об этом, если бы с «лужка» ие повалила большая толпа народа. Посредине толпы иесколько здоровых парней несли на плечах длинные, сделаииые из жердей, носилки. На носилках восседал седой бородатый мужик. Он громко кричал своим иосильщикам:

— Чего замолчали? Песию давайте!

Ребята дружио затяиули:

Среди лесов дремучих
Разбойиички идут,
А иа плечах могучих
Товарища несут...

— Опять Матюша Ефремов закуролесил.

— Ведь надо же такое удумать!

Все тучки, тучки прииавесли,
Эх, с моря пал тумаи.
Скажи, о чем задумал,
Скажи, наш атамаи?

— На носилках несут... Как раненого.

— Нализался опять в стельку и смешит народ. Стыда нет!

А бородатый мужик с пьяиыми слезами жаловался с иосилок:

— Смотрите, люди добрые, до чего довели Матвея Ефремова. Смотрите! — Потом вдруг на всю улицу закричал: — Гаврило Родивонович — богач! Гаврилу Родивоиовичу — почет и уважеиье! А иа чьем горбу у Гаврила Родивоновича богатство держится? На чьем, я спрашиваю?! На моем горбу. Двадцать лет иа него спину гну, а что заработал? Заработал грош да на гайтане вошь!

— Дураков работа любит! — послышалось из толпы.

— Заработаешь у него.

Тут Матюша Ефремов увидел у ворот Сычевых Сашу Баранко и пришел в сильное волнение.

— Стойте, ребята! Стойте! — закричал он и попробовал подняться на своих носилках, но сразу же потерял равновесие и под общий хохот повалился на руки окружающих.

— Стойте, ребята! Я хочу поговорить с Сашей Баранко. С моим дружком залетным.

Саша Баранко, подобно Матюше Ефремову, тоже был бобылем из поселенцев и вот уж несколько лет жил у Ермиловых на птичьих правах. Сегодня он вместе со всеми вышел на улицу и молчаливо сидел на лавочке, наблюдая праздничную толпу.

Под добродушный смех окружающих Матюшу общими силами поставили на ноги. Почувствовав себя крепко на земле, он вполголоса запел:

Прощай, прощай, Одеста,
Славный карантин...
Меня угоняют
На остров Сахалин!..

Но тут Матюша вспомнил, для чего он снизошел со своих носилок на грешную землю, и неуверенно двинулся к Саше Баранко.

Саша сидел на лавочке и не подавал вида — доволен он или недоволен встречей со своим дружком. Все с интересом ждали, какой оборот примет неожиданное свидание двух бобылей-поселенцев.

А Матюша медленно подошел к Саше и уставился на него, как будто не видел его много лет.

— Ах, Саша, Саша! — сокрушенно произнес он наконец. — Хоть и дружок ты мне, а все равно дурак. Вроде меня. Оба мы дураки! Люди после нас на поселенье пришли, обзавелись семьями, хозяйством. А мы — двадцать лет горбы гнем на чужих. Ты на Ермиловых, а я на Родивоновых.

— Я на Ермиловых не жалуюсь. Живу, слава богу, не обижают, — неохотно процедил Саша.

— Вот я и говорю, что дурак ты. Тебя нахваливают да выставляют вперед. А ты цветешь да лезешь из кожи. «Саша у нас молодец!», «У нас, Саша, все на тебе держится!», «Без тебя, Саша, все хозяйство пойдет прахом!» Эх, Саша, Саша! Ты думаешь, тебе одному это говорят? Мне эту песню уж двадцать лет поют.

Саша встал, выколотил трубку и недовольно сказал:

— Сам ты дурак, Матвей. Сегодня ты кочевряжишься, поносишь Гаврила Родивоновича, а завтра опять на него спину гнуть будешь. Уж если молодые мы не сумели с тобой на ноги встать, так кому мы нужны на старости. Спасибо, хоть со двора не гонят, как бездомную собаку...

И, не говоря больше ни слова, вышел из толпы. Озадаченный резким ответом дружка, Матюша Ефремов некоторое время стоял молча. Потом сокрушенно покачал головой и медленно направился к своим носилкам.

— Эх, Саша! Друг ты мой залетный! — бормотал он. — Спасибо, говоришь, что со двора не гонят? А двадцать лет за что работал? Двадцать лет горб гнул. За спасибо, выходит, за это. Нет, Саша! Не хочу я больше на него за одно спасибо спину гнуть. Не буду! А то — Родивоновы первые отсеялись! Первые отжались! Пусть попробуют поживут без меня. — После этого Матюша обратился к своим носильщикам: — Несите меня по всей улице. Да песню давайте!

Тут ребята дружно взяли носилки на плечи, и Матюша опять вознесся выше всех.

— Песню давайте. Чтобы все слышали, что Матвей Ефремов гуляет.

Носилки качнулись и медленно тронулись вверх по улице. Послышалась песня:

Носилки не простые,
Из ружей сложены,
А поперек стальные
Мечи положены...
Все тучки, тучки принавесли,
Эх, с моря пал туман.
Скажи, о чем задумал,
Скажи, наш атаман?

После того как Матюша Ефремов отвалил на своих носилках вверх по улице, разговор около Сычевых переключился на его отношения с дедушкой Гаврилом. Действительно, Матюша живет у него уж двадцать лет. Ни родственник, ни работник. И в родню не вышел, и за работу ничего не получает. Живет вроде как бы свой, но время от времени у него прорывается на дедушку какая-то обида. Тогда он напивается и начинает с ним ссору. Уж много раз Матюша уходил насовсем от дедушки, но всегда почему-то возвращался обратно. Побунтует, побунтует и опять, глядишь, живет у них по-старому. И ге-

перь всех занимает вопрос — долго ли на этот раз будет бунтовать Матюша Ефремов и когда он снова возвратится на жительство к Родивоновым?

— Нелегко ему у них. Что верно, то верно, — заметила Парасковья Абакурова. — Раньше он был у Гаврила вроде за старшего. Во все вникал, за работниками наблюдал, везде был нужен. Все успевал. А теперь... и годы не те, и здоровье не то. В дом зять пришел. За старшего теперь он, а Матюша уж нехорош стал. Кабы хорошо жилось, не стал бы уходить. А куда пойдешь, кому он теперь нужен.

— А чего ему у них не жить-то, — возразил дядя Илья. — Сыт, одет, обут, обстиран. Гаврило Родивонович — хозяин, конечно, строгий. Тут ничего не скажешь. Но напрасно никому слова грубого не скажет. А про Анну и говорить не приходится. С работой особенно не принуждают. Пусть за скотишком ходит. А что люди разное болтают, так ведь на чужой роток не накинешь платок. Сколько пес ни лает, его все равно обдерут на доху.

Но тут в спор вступил Сергей Семенович Ворошков. До этого он сидел да помалкивал. А как зашел разговор насчет того, надо ли Матюше Ефремову уходить от дедушки Гаврила, тут Сергей Семенович стал доказывать, что Матюше давно пора уйти от Родивоновых.

— Конечно, первое время ему будет трудно, — говорил Сергей Семенович, — но только первое время. А потом у него все наладится. Летом будет скот пасти, а зимой можно людям снасть шить, сапожничать, шерсть бить. Что, у нас в деревне работы нет, что ли? Прокормиться у нас не трудно.

— Эх, Сергей Семенович! — сокрушенно сказал дядя Илья. — Ты обо всех по себе судишь. Ты человек умственный, мастер на все руки. До всего сам доходишь. И плотник ты, и овчинник, и шерстобит, и слесарь, и тиятр можешь представлять, и вечный двигатель придумываешь, а живешь как свинья. Немыт, нестрижен. Все время в грязи, в вони. Кормишься тоже плохо. Сидишь на одной картошке да хлеб с квасом хлещешь. Вот и весь твой харч. А что будет с Матюшей, если он уйдет от Родивоновых? Да он грязью зарастет, вроде тебя, опаршивеет, оголодает совсем.

— Я хоть на одной картошке сижу, а сам себе хозяин. Никто меня куском хлеба не попрекнет. А Матвею каждый день в глаза тычут, что он приживальщик. Разве это жизнь!

— Подумать, беда какая, если и скажут иной раз что-нибудь наперекор. Разве можно из-за этого бросать хозяина.

— Не нам судить об этом, — решил их спор Архип Кожуховский. — Матюше это виднее. Да и сам Гаврило знает, отчего его Матвей на рожон лезет. Вон он идет со своими дружками. Спроси его об этом.

Действительно, к толпе, собравшейся около Сычевых, подходил дедушко Гаврило. Одет он был сегодня по-праздничному — в яркую кашемировую рубаху, в плисовые темно-синие штаны. На ногах у дедушки были дорогие городские сапоги со скрипом, на голове новенький картуз. Как всегда, дедушко был навеселе.

— Гаврило Родиво́нович! — ленивo канючили, следуя за ним, Еремей Павлович Грязнов, Тереша Худяков, Матюгов и Ивочкин.— Угости по рюмочке!

— Ишь чего захотели! — нарочито громко отвечает дедушко.— А за что про что должен я вас угощать?

— Гля-ради праздника, — мрачно пробасил Матюгов.

— Выпить хочется. Голову прямо разломило,— ноет Еремей Павлович.

— Выпить? Гля-ради праздника? — удивляется дедушко Гаврила и медленно извлекает из кармана бутылку водки. Он долго, с нарочитым вниманием рассматривает свою бутылку и вдруг неожиданно произносит: — Ну что же. Это можно.

— Давно бы так, чем кочевряжиться, — удовлетворенно говорит Тереша Худяков.

— Гля-ради праздника можно и выпить,— повторяет дедушко и энергично взбалтывает бутылку. Потом привычным приемом опытного пьяницы ловко ударяет ею о ладонь левой руки. Пробка с характерным звуком вылетает из бутылки. Из толпы кто-то услужливо подает ее дедушке.

А дедушко вынимает из кармана большую рюмку, медленно наливает ее и выжидательно смотрит на своих дружков.

Тереша Худяков, Еремей Грязнов, Матюгов и Ивочкин не отрываясь уставились на заветную рюмку.

А дедушко стоит, задумавшись, с бутылкой водки и с полно налитой рюмкой и как будто взвешивает, кому из них поднести эту рюмку. Наконец он принимает какое-то решение.

— Да, да! — говорит он. — Надо непременно опохмелиться.

И под оглушительный хохот толпы медленно, со смаком выпивает водку и прячет рюмку в карман. Потом тщательно затыкает бутылку пробкой и тоже сует ее в карман.

Обескураженные дружки не знают, что сказать на эту выходку.

А дедушко очень доволен, что растравил их на выпивку. Теперь он уж в самом центре толпы и начинает похваляться перед всеми своим богачеством, рассказывать о том, как он всю жизнь недосыпал, недоедал, все в работе, все в ходу да в поту. Барки с хлебом в Енисейско плавил, скота на прииска гуртами гонял — все капитал свой наживал. А теперь он может и выпить с устатку, и опохмелиться как следует. Уж что-что, а на выпивку-то ему как-нибудь хватит.

Тут дедушко вынул из кармана свой «партаманет», достал из него сторублевую бумажку с портретом Екатерины Великой и стал всем ее показывать. Смотрите, дескать, какой я богатый, не вам, дуракам, чета.

Глядя на эту «катюшу», все стали ахать и удивляться. Шутка ли сказать — одна бумажка сто рублей стоит. Целый капитал. Каждому хотелось посмотреть на нее, подержать в руках или потрогать. Офимья Крысина даже перекрестилась, прежде чем взять ее в руки. А дедушко опять доволен. Теперь он доволен тем, что утер всем нос своим богачеством.

— Чего это у тебя Матюша-то опять забузовал? — спросил дедушку дядя Илья. — На всю деревню тебя поносит. Говорят, совсем уходит от тебя?

— Куды он уйдет? Кому он нужен? Покочевряжится да и заявится обратно.

— И чего только человеку надо, — в тон дедушке рассудил дядя Илья. — Обут, одет, на готовых харчах. Чем не жизнь? А ему, видишь, не ндравится. Вот язвенский калахтер! Люди как люди, а он удумал на носилках по деревне ездить.

А дедушкины дружки начали между тем уж по-настоящему заводиться и крестить его на все лады. И зверь он полосатый, и волк идринский... Такой капитал имеет, а по

рюмке людям подать не хочет. Тогда дедушко идет на уступку.

— Ладно, — говорит, — подам и по две. Но только заработайте. А задарма угощать не интересно. Давай, Ивочкин!

— Чаво тебе, кажу, собак окаянный?

— Смотри на солнце! Не мигнешь, пока я считаю до двадцати пяти — пей рюмку. Мигнешь — не взыщи.

— А не обманешь?

— Мой товар налицо.

Дедушко вынимает из кармана бутылку и наливает полную рюмку водки.

— Ладно! — соглашается Ивочкин, оборачивается, принимает позу и смотрит на солнце. Дедушко стоит рядом и начинает медленно считать:

— Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мигнул! Не подам!

— Как это мигнул! — завопил Ивочкин. — Я даже бровью не повел!

— Бровью не повел, а мигнул. Значит, проиграл!

И дедушко под общий хохот опять сам выпивает налитую рюмку.

Ивочкин стоит багровый. Потом начинает ругаться на чем свет стоит:

— Зверь, кажу, полосатый! Варнак! Разбойник! Награбил чужого капиталу, а теперь изгиляешься над людьми! Надо было тебя еще в третьем году зарезать. Напрасно тогда, кажу, пожалел.

Тут все начинают уговаривать Ивочкина:

— Не так споришь, Иван. На солнце только орел может смотреть не мигая. А ты хоть и орел у нас, только по другой части.

Но вот Ивочкин немного поостыл, и дедушко снова вступил с ним в спор. На этот раз он решил свести его с кем-нибудь на борьбу. Однако никто из наших кульчекских не хочет бороться с Ивочкиным. И побороть его трудно, да, кроме того, и боязно. Побори его, а он потом еще ножом при случае пырнет. Что с него возьмешь. Тогда дедушко стравил его бороться с одним анашенским мужиком, который приехал в Кульчек к кому-то по своим делам и вместе со всеми дивился на это представление.

Противник Ивочкина оказался плотным, высоченного роста. Ивочкин был ему только до плеча. Сначала анашенский мужик даже обиделся, что ему предлагают

бороться с таким сморчком, да еще на одну бутылку.

— Не стоит мараться, — пренебрежительно процедил он.

— Не хочешь на бутылку — выставляй четверть али ведро, — предложил дедушко. — Я вношу пай за Ивочкина.

— Ну, на четверть еще куды ни шло, — согласился ананьинский мужик. — А если я его нечаянно зашибу — кто будет в ответе?

— Борьба — дело полюбовное. Все будем в ответе, — сказал дедушко.

Ударили по рукам. Деньги, как полагается, на кон. Тут сразу сам собой образовался большой круг. Откуда-то появились кушаки. Борцы подпоясались и под поощрительные возгласы схватились друг с другом.

Ананьинский мужик оказался действительно большим силачом. Он сразу легко поднял Ивочкина за кушак и стал ходить по кругу, приговаривая:

— Смерти али живота? Говори сразу, а то зашибу, как куренка!

— На миру и смерть красна! — крикнул кто-то из толпы.

А Ивочкин боролся молча. Да и что скажешь — человек с такой силищей. В самом деле может зашибить насмерть...

А дедушко Гаврило, тот все подбадривал Ивочкина:

— Держись, Иван! Да не зевай смотри! Живой останешься — от себя бутылку еще прибавлю.

— Берегись, Гурьян!— кричал кто-то ананьинскому борцу. — А то он подсекет тебя.

У всех захватило дух. Вот борьба так борьба!

— Не допускай его до земли, — опять послышался предостерегающий крик из толпы.

— Бей его торчком! Прямо в землю, — подначивал кто-то Гурьяна. — Чего с ним вошкаться!

Гурьяну и самому, видать, не хотелось долго валандаться с Ивочкиным. Он еще раз крутанул его, а потом изо всей силы опустил вниз, как будто в самом деле хотел воткнуть его в землю. Но тут случилось такое, чего никто не ожидал. В какой-то момент, когда ноги Ивочкина едва коснулись земли, он подвернулся под Гурьяна и, падая, бросил его через себя. Гурьян тяжело грохнулся на землю.

Оглушенный падением Ивочкин тоже лежал какое-то

время на земле. Потом вскочил и приготовился бороться дальше. А его распростертый противник оставался неподвижным.

— Человека убили! — завопил кто-то из толпы.

— Чего базланишь! Заткнись!

— Войлока тащите! Откачивать надо!

Кто-то бросился к Сычевым за войлоками.

— Дурачье!— презрительно сказал дедушко.— Чего его откачивать? Что он, утопший, что ли. Ну-ка, Матвей, посади его как следует, — обратился он к Матюгову.

Матюгов подошел к Гурьяну и приподнял его за плечи в сидячее положение. Тот медленно открыл глаза.

— Ты чего это, брат? Перепужал всех, — сказал дедушко. Потом запрокинул ему голову, сунул в его рот свою бутылку и стал вливать водку. Гурьян медленно стал делать глотательные движения.

— Вот так-то будет лучше. А то надумали, дурачье, откачивать тебя. Укачали бы насовсем. Пей, милок! Пей как следует! Ну-ко, шевельни ручкой, теперь ножкой. Вот так. Еще раз! Действуют? Ну, значит, все в порядке. Никанор! — крикнул он кому-то в толпу. — Чего рот разинул? Твой гость. Помогай!

При помощи Матюгова и подбежавшего Никанора Гурьян медленно встал и неуверенно направился к сычевским воротам. Он тяжело опустился здесь на скамейку и осмотрелся. Кругом стояли незнакомые люди и с интересом ждали, что он будет делать дальше.

— Вот тебе и сморчок!

— Мал, да удал! Вон какого быка подвалил!

— Ну как, Гурьян, узнал наших кульчекских борцов?

Гурьян вытащил из кармана трубку и молча дрожащими руками стал набивать ее табаком. Кто-то услужливо подал ему зажженный кусочек трута. Он медленно раскурил трубку и принялся жадно сосать свой чубук. Потом поглядел по сторонам и увидел в стороне Ивочкина.

— Хитер, сука! Ловко он меня подсек.

Тут Гурьян встал во весь свой богатырский рост и не торопясь стал отряхиваться от пыли. А потом обратился к Никанору:

— Пойдем. Мне ведь сегодня в ночь надо ехать домой.

— Стой, кажу, обожди! — сказал подошедший Ивочкин.

— Чего тебе еще надо? — недовольно спросил его Гурьян.

— Может, кажу, выпьешь с нами за конпанию?

Гурьян смерил Ивочкина недружелюбным взглядом.

— Обманкой взял, — процедил он. — Ну, благодари бога, что я немного обмишурился. А то унесли бы тебя отседова на войлоках.

— На то, кажу, и борьба. В борьбе все, кажу, на обманке держится, — примирительно сказал Ивочкин. — Так как, кажу, выпьешь с нами за конпанию?

— Выпить неплохо бы. Только мне конпания ваша не ндравится.

— А чем плоха наша конпания?

— Жмурики все какие-то. Бараба, в общем.

— Ты нашу конпанию не страми!— вспылил Ивочкин.— Ишь, кажу, какой нашелся!

— Не ерепенься, Иван, — сказал подошедший дедушко. — А ты, Гурьян, знай свой край да не падай. Чего на тын брюхом лезешь! С тобой по-хорошему говорят. Хочешь выпить за конпанию — милости просим. Не хочешь — иди подобру-поздорову откедова пришел. А на драку не навязывайся. Ты наших мужиков плохо знаешь. Тебе хуже будет.

— Да какая тут драка, — сразу стушевался Гурьян.— Это я так...

— Ну, если так, то и иди с богом, пока тебе здесь бока не наломали. А мы и без тебя обойдемся. Ну как, орлы? — обратился он к своим дружкам. — К кому сегодня пойдем?

— Ко мне пойдем, — пригласил всех Еремей Павлович. — У меня рыбешка есть. Привез вчера из Убея немного. А медок у нас всегда водится.

— К тебе так к тебе. Пошли, ребята!

И дедушко Гаврило затянул:

Эх, пить будем
И гулять будем,
Когда смерть придет —
Помирать будем...

После ухода дедушки и его дружков разговор около Сычевых как-то сам собой пошел насчет его богатства, какой он капитал имеет и кому из зятьев приоделит после смерти все свое имущество.

Одни говорили, что у дедушки припрятано не меньше тысячи рублей, другие доказывали, что, может быть, даже до трех тысяч. Только за Парасковью он отвалил Ки-

рюше пять сотен. Не весь же свой капитал он всучил ему. Правда, скотишком он после того торговать уж перестал, но две барки хлеба в Енисейско сплавил. Тысячи две на этом деле, надо думать, выручил. Каждый год продает по десятку голов скота. Трех коней нынче продал. А много ли он пропьет со своими дружками? Он хоть и хороводится с ними, но по части угощения не особенно горазд. Сам больше норовит на чужой счет.

— Пить-то пьет, а голову не теряет, — заключил эти споры дядя Илья. — А кому споделит он после смерти свое богатство — это одному богу известно. Человек он с калахтером, живет по правилу: чего хочу, то и ворочу. Может, все между зятевьями разделит, а может, все Парушиному Лаврушке откажет. Он души в нем не чает.

А осенью, сразу после михайлова дня, дедушко слег в постель. Может, лишнего перепил на празднике, а скорее всего, простудился по пьяному делу. Как слег, так больше уж и не вставал. Ослабел, распух... Но пить не переставал.

Как только дедушко заболел, из Подкортуса заявилась тетка Парасковья. Поначалу, когда дедушко выдал ее за Кирюшу, он запретил ей показываться на глаза. А как у нее родился да подрос Лаврушка, так она привезла его в Кульчек и подослала к дедушке. Ну, Лаврушка и тронул его родительское сердце. У старшой-то дочери были только одни девчонки. А тут как-никак все-таки родная дочь приехала, да еще с внучонком. Ну, он и махнул рукой на все.

С того времени тетка Парасковья довольно часто стала наезжать в Кульчек и все старалась изо всех сил чем-нибудь угодить дедушке. А главное, стала добиваться от него завещания на свой капитал и домашность. Но дедушко никакого завещания не делал, а капитал свой от дочерей и зятевей по-прежнему скрывал.

Теперь, когда дедушко сильно заболел, тетка Парасковья снова стала донимать его насчет завещания. И сама с ним говорила об этом, и сестру настропалила, и бабку Анну заставила требовать от него завещание. Пристали к нему, чтобы он немедленно посылал за старостой и писарем и по всей форме сделал с ними эту бумагу.

А дедушко, как только с ним заводили разговор об этом, начинал матюгаться. «Вы что, — говорит, — меня

раньше времени хороните. Вы, — говорит, — силком в могилу меня не загоняйте. Я,— говорит,— сам, когда придет мое время, без вашей помощи туда сойду». — «Тогда, тятенька, скажи хоть, где у тебя деньги спрятаны? — стала добиваться у него тетка Парасковья. — Мало ли, что может случиться. Все под богом ходим. Как бы не пропали». — «Ты что же, еще раз хочешь меня обворовать?— спросил ее дедушко. — Ишь ведь что удумала: «Как бы не пропали». Не беспокойся, голубушка, не пропадут. Я не такой дурак, чтобы раньше времени обсказывать вам, где они у меня лежат. А если уж вам, — говорит, — непременно надо от меня родительское завещание, то завещаю похоронить меня во всем холщовом. Довольно, — говорит, — пофорсил я на своем веку. Перед богом на том свете, — говорит,— форсить не хочу. В холщовом-то к нему являться будет сподручнее».

Так они и не добились от него завещания.

А дедушко знал, конечно, что он уж не жилец, а все равно был веселый. Песни петь он уж не мог, но любил теперь их слушать и все время посылал за тятенькой да за дедушкой Федором. Позовет их, велит бабушке Анне напечь им блинов, поставить по шкалику водки да принести из погреба шайку пива, а потом и заставляет их петь разные старинные песни. А сам сидит на постели да вспоминает, как эти песни пелись в прежние времена и какие были тогда голосищи. Таких голосов, видать, больше уж не будет.

После масленицы дедушке стало хуже. Он стал забываться и заговариваться. Тогда тетка Парасковья опять начала приставать к нему насчет денег. За эту зиму она обшарила у дедушки все потайные места, перерыла все темные углы и в подполье, и в подвале, и на подволоке, и во всех амбарах. Даже на гумне в риге, говорят, шарила. Но так нигде ничего и не нашла. И вот когда дедушке совсем стало плохо, она со слезами стала просить его пожалеть хоть ее Лаврушку, у которого вся жизнь еще впереди, и сказать, где наконец искать эти деньги.

— Ну что же, — говорит дедушко. — Теперь можно и сказать. Только я скажу вам это каждой по отдельности.

И тут он начал что-то говорить шепотом сначала тетке Олене, а потом тетке Парасковье. И наказал им деньги эти искать весной, когда оттает как следует земля. Что касается домохозяйства, то составлять завещание со старостой и с писарем дедушка опять отказался. «Дом и вся по-

стройка, — наказал, — пусть остаются на месте за Оленой, ну а скотишко, хлеб и все обзаведенье делите пополам. Не такое это уж мудреное дело, чтобы ввязывать в него чужих людей».

После этого дедушко честь честью простился со всеми и начал отходить. Тут сразу на божнице зажгли свечи. Бабушка Анна, тетка Олена, тетка Парасковья, зятевья Степан и Кирюша и все сродственники стали причитать над ним в голос. А соседи, которые с утра ждали на дворе его смерти, стали отвешивать земные поклоны.

Скоро во всем околотке разнеслась весть, что дедушко Гаврило преставился. А он, на удивление всем, вдруг взял да ни с того ни с сего и ожил. Сначала открыл глаза, потом пошевелил рукой, выматюгался и позвал бабушку Анну. Когда перепуганную бабушку подвели к нему, он не особенно громко, но довольно внятно сказал: «Не будет мне, видать, Анна, хорошей дороги. Трубку забыл... Где она? Куда я без трубки в такую дорогу». Ну, тут взяли скорее его трубку, набили табаком, раскурили как следует и вложили ему в правую руку. Когда дедушко почувствовал свою трубку в руке, он тихо сказал: «Теперь другое дело. А то куда я без трубки-то».

И умер уж по-настоящему.

Хоронили дедушку так, как никого у нас в Кульчеке не хоронили. Привезли из тайги несколько возов пихтовых веток и устлали ими всю дорогу от его дома до самого кладбища. За гробом шел весь причт комской приходской церкви. На могиле поставили первый каменный памятник на нашем кульчекском кладбище. На этом памятнике сделали надпись: «Здесь покоится прах Гаврила Родивоновича Калягина. Скончался 12 февраля, 80 лет, 1913 года».

Поминки справляли целых три дня. Вся деревня перебывала на поминках, и всех поили пивом и вином. То ли сам покойник наказал это, то ли зятевья решили побахвалиться.

На похоронах и во время поминок тетка Олена и тетка Парасковья, Степан Федосеич и Кирюша старались показать всем свое горе и оделись во все рваное.

А как похоронили дедушку и отвели по нему поминки, тут Олена и Паруша со своими мужьями стали делить дедушкино наследство. С этой дележкой у них сразу же на-

чались ссоры и раздоры. Парасковья требовала от Олены то одно, то другое, что было, а чего, может быть, и не было. И если это в доме не находила, то обвиняла сестру в краже. А Олена тоже не оставалась у ней в долгу. От этой их ругани бабушка Анна слегла в постель, перестала соображать, что к чему, и на последней неделе великого поста отдала душеньку богу.

Поделить по согласию наследство Олена и Парасковья так и не смогли. Делились всю весну и все лето, а с осени начали судиться. Судились много лет, несколько раз ездили в Красноярск в окружной суд. Из-за чего тянулась у них тяжба, никому уж было не интересно. Всех занимало только одно — найдут они дедушкины деньги или не найдут.

Умирая, дедушко сказал, чтобы его деньги искали под каким-то тринадцатым столбом. А где этот столб стоит, он им не сказал. Вот и попробуй найти. Везде на усадьбе стоят столбы, а который из них тринадцатый, знал только дедушко.

Как только подошла весна, Степан и Кирюша начали перекапывать на дедушкиной усадьбе вокруг всех столбов. Копали везде — и во дворе, и в стаях, и в огороде, и на гумне, и даже на заимке. Все перекопали, а денег так и не нашли.

А потом додумались обтесывать эти столбы. Узнали, что в Коме один богатый мужик прятал свой капитал в столбы. Провертит напарьей большую дыру, засунет в нее золотые монеты, забьет в ту дыру крепко-накрепко спицу, обрежет ее аккуратно по столбу, затрет это место грязью, и стоит себе этот столбик на виду у всех как ни в чем не бывало. И никому в голову не приходит, что в нем спрятано, может быть, пятьсот, а может быть, целая тысяча рублей. Вот Степан с Кирюшей и решили, что дедушко тоже упрятал свой капитал в столбы. И стали их сначала тесать, потом пилить и колоть, но дедушкиных денег так и не нашли. Может быть, дедушко сказал им об этом тринадцатом столбе только так, для отвода глаз, а на самом деле спрятал свои деньги в другом месте. А может быть, Степан с теткой Оленой или кто другой еще при жизни дедушки нашли где-нибудь его деньги и прибрали их к рукам. Но только после смерти дедушки у нас в деревне никого с таким большим капиталом уж не было.

Когда дедушко умер, то его стали как-то быстро забы-

вать. Вспоминали больше его деньги и все жалели, что они никому впрок не пошли.

Одни дедушку очень ругали за то, что он по своей дурости никому не оставил свой капитал. А другие, наоборот, хвалили его за это. Говорили, что у него, не в пример другим богатым мужикам, все-таки имелась совесть. Знал старик, что эти деньги у него нехорошие, что ему из-за них придется на том свете ответ держать. Поэтому и не оставил их никому, чтобы ни на ком, кроме него, греха из-за них не было. Все на себя принял покойник.

Пока дедушко был живой, про него ничего плохого не говорили. А как умер, начали болтать о том, что он в молодые годы вместе со своим отцом занимался грабительством. Гаворили, что это они убили в Крутом логу проезжих купцов, забрали у них много денег и целую кошеву разного товару. У бабушки Анны в сундуке одних французских платков лежала целая пачка. Откуда они взялись у них? Говорят, эти платки были грабленые.

А потом рассказывали, что они же ограбили купцов на Устугском хребте. От этих денег, говорят, и жить начали, и скотом торговать, и работников да работниц держать, чтобы по сорок десятин хлеба сеять да потом в Енисейско его плавить.

А мне дедушку почему-то было жалко. Он хоть и выставлял себя выше всех, и бахвалился своим богатством, а все равно ему чего-то в жизни не хватало. А чего ему не хватало, он и сам не знал. Оттого и пил каждый день, и куролесил по деревне, куражился над всеми и придумывал на всех разные насмешки...

Глава 10
ЦЕРКОВНОПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ

День выдался на редкость неудачным. С вечера погода, казалось, пошла на поправку. Небо стало очищаться. Подул резкий холодный ветер. Послышался далекий гул тайги. «Шерегеш загудел», — говорят у нас в таком случае. И это уж верная примета к перемене погоды.

Однако даже эта верная примета не оправдалась.

К утру небо снова затянуло тучами и зарядил мелкий обложной дождь.

С самого утра мама без устали возится у печи, а Чуня снаряжает меня к отъезду. Она уложила в ящичек мой немудрящий багаж, надела на меня новую кумачовую рубаху. Под ее наблюдением я натянул на себя новые, приятно пахнущие дегтем, бахилы.

— А тужурочку-то давай лучше спрячем в ящичек, — советует она, увидев, что я собираюсь вырядиться в новую, сшитую для меня, хламиду из домотканого сукна. — Вот завтра она и будет у тебя сухонькой, чистенькой, в школу-то идти.

Я не очень охотно расстаюсь со своей обновкой, хотя понимаю, что Чуня, как всегда, права. Конечно, мне лучше ехать в Кому в моем старом шабуре. Пусть промокает. Не жалко. Я послушно надеваю на себя этот шабур и бегу на двор посмотреть погоду.

Еще с утра Конон запряг Гнедка во взятый у дяди Ильи тарантас. Гнедко терпеливо стоит в упряжке под дождем, а мы пока всей семьей садимся пить чай.

По случаю отъезда меня, как именинника, сажают в передний угол. Я чувствую себя неловко. Ведь я еще дома, а стал здесь вроде уж чужой. Даже за столом сижу не на своем обычном месте возле мамы, а в переднем углу под образами, как приезжий гость. И угощают меня как гостя. Хорошее настроение по случаю долгожданного отъезда окончательно тускнеет. Мои родные: отец, мать, брат, сестра — каждый по-своему — переживают мой отъезд. Особенно волнует он маму. Как-никак, а я на целый год уезжаю из родного дома.

Разговор за столом не клеится. Все хорошие советы давно мне преподаны. Все хозяйственные вопросы моего проживания в Коме у тетки Орины также улажены. Правда, осталось еще одно дело. Но оно волнует главным образом отца. За мое учение надо внести в комскую школу три рубля. Для нашей семьи три рубля — деньги не большие, но и не малые. Однако отца волнует больше другая сторона дела. Почему это у нас в Кульчеке школа бесплатная, а в Коме требуют деньги. Нет ли тут какого-нибудь подвоха, чтобы вытянуть у мужика лишнюю копейку. Но и этот вопрос еще вчера был благополучно улажен. Хотя для этого и пришлось идти к дяде Илье.

А вот и сам дядя Илья. Он входит в избу, крестится на иконы и вместо приветствия произносит:

— Хлеб да соль...

— Садись чай пить, — приглашает его отец.

— О господи, Сусе Христе, — начинает причитать дядя Илья, — мать пресвятая богородица, Егорей храброй, Михаил-архандель, вся сила крестна и небесна...

Он отряхивается от дождя, распоясывается и не торопясь снимает свой промокший шабур.

— Без хлеба нынче останемся, без сена. Правду говорят, видно, последние времена пришли. Сгниет, помяните мое слово, все сгниет.

Дядя Илья усердно отжимает свою окладистую бороду, как будто боится, что она тоже сгниет от дождя.

— Святые угодники, заступитесь, помогите! — продолжает он, усаживаясь за стол. — Третью неделю ливмя льет!

— Так осень ведь, дядя Илья, — пытается возражать ему Конон. — Осенью всегда льет...

— Льет-то льет, — оживляется дядя Илья, — да как льет-то — понимать надо. Я вот вчера в Облавном был, поглядел там на свою рожь. Прости ты меня, господи. На полосе-то озеро образовалось. Прямо озеро стоит на полосе-то. Аж сердце заныло. Сгниет все на корню с осени. Вымокнет.

— У тебя, Илья, все — то сгниет, то — вымокнет, — говорит мама. — А начнешь молотить — хлеба невпроворот.

— Эх, Авдотья Тимофевна, — сокрушенно качает головой дядя Илья. — Женщина ты умная, в годах уж, а того не понимаешь, что место-то в Облавном сырое, подтаежное. Хлеб-то, он в солому там больше идет. Солома-то на полосе дивствительно большая, почти в рост, а зерно-то. Зерно-то, оно вроде без налива. Все в охвостье уходит.

Дядя Илья, как говорят у нас, любит прибедняться. У нас все, кто позажиточнее, все прибедняются. Вот и сейчас, услышав про хороший урожай у себя в Облавном, дядя Илья сразу пугается, как бы не подумали, что он больше других намолотит хлеба.

— И скажут же — невпроворот! А то невдомек, что сноп-то в Облавном — он ничего не весит. Колос-то в нем — одна видимость. Ох, прогневали мы господа бога. За грехи нас наказывает. Хоть бы на семена что-нибудь намолотить.

Дяде Илье явно неприятен этот разговор об урожае, и он спешит перевести его на другое.

— Ты что же это, Кено, — обращается он ко мне. —

Учился, учился дома, да еще в Кому хочешь ехать учиться?

Я тушуюсь и не знаю, что отвечать на этот подковыристый вопрос.

— Что же это получается? — обращается дядя Илья к отцу. — Твой едет учиться, Мишку Груздева вчера в Кому увезли учиться. Ганьку Меркульевых — в Минусу. Говорят, на учителя поехал. Скоро все будут учены. А кто пашню пахать будет? Ты как думаешь?

— Какой он пахарь, — отвечает отец. — Разве с его здоровьем напашешь.

И тут отец начинает рассказывать дяде Илье о том, как нынче летом со мной что-то приключилось на покосе. Чуть не окочурился...

— Оно, конечно, без здоровья в крестьянстве нельзя, — идет на уступку дядя Илья. — Однако все же... Отцы наши и деды пахали, и нам надо держаться за землю.

Но тут за меня вступается мама, и начинается длинный разговор о моем неважном здоровье, что я по этой части всегда был каким-то невезучим. Крестить меня повезли в Кому в декабре, в самые трескучие морозы. Ночью в Крутом логу то ли волки завыли поблизости, то ли крестный, дядя Василий, спьяна что-то вытворил, только рванули кони и понесли. Да на повороте — в ухаб. Кошевка кубарем. Крестная — тетка Орина — с новорожденным, со мной то есть, в сугроб. Перепугалась насмерть. Пока-то очухалась, да пришла в себя, да с перепугу, говорят, не сразу и нашла-то меня в снегу. Тем временем кони версты две волочили дядю Василия по снегу за кошевкой. Когда-то он с ними справился да за нами воротился. А на другой день меня крестили, в холодной церкви в купель куряли. В общем, после того я три года лежал недвижимый. На четвертом году начал выправляться. На ноги встал... И опять беда — на гумне под воз с хлебом попал. Чуть все косточки не переломало. Потом на заимке бык забодал. Еле отбили. Потом ошпарился кипятком. Пролежал целое лето. После всех этих злоключений я, к общему удивлению, выжил и даже хорошо в рост пошел. Но по части тяжелой работы уж не внушал доверия.

— Оно, конечно, может, наукой лучше заняться, — сдается наконец дядя Илья. — Может, на писаря выучится парень. Свой писарь будет в деревне.

Мне не особенно нравится этот разговор о моем здоровье. Я сижу на почетном месте в переднем углу, под

образами, и мне приходят в голову невеселые мысли. Конечно, в семье я самый младший и не хожу пока за сохой. И действительно, нынче на покосе у меня сделалось какое-то сердцебиение. Но ведь после того я все лето работал наравне со всеми. И косил, и жал, а последнее время пас скота. Каждый день с утра до ночи и все под дождем. Меня ведь, как и всех у нас, с шести лет впрягли в работу. Весной боронить, в сенокос — копны возить, в страду снопы таскать в суслоны. Ну, конечно, и около лошадей все время. А в восемь лет отец вручил мне собственную косу и поставил рядом с собой на прокос. Давай, мол, сынок, начинай! Потихоньку да полегоньку сначала, а там дело пойдет как следует. Косил я на первых порах, конечно, неважно. Однако до самой ночи махал косой вместе со всеми. Только по утрам меня не будили. Давали первое время отсыпаться. А теперь уж и на заре будят: «Вставай, — говорят, — сынок! Подымайся. Ты у нас, слава богу, уж работничек». Вот тебе и работничек.

У меня окончательно портится настроение, и я обиженный выхожу из-за стола. Никто не замечает моего настроения. Я надеваю шабур и иду на крыльцо. На дворе по-прежнему моросит дождь. Но теперь это для меня уже все равно.

— Ты что же это ушел из-за стола-то? — спрашивает меня выскочившая из избы Чуня.

— Что они говорят про меня такое. Вроде я урод какой или лодырь или хуже всех,— почти со слезами отвечаю я.

— И не урод, и не лодырь, а говорить приходится. Знаешь, как у нас в деревне. Начнут болтать да осуждать: Трошины, мол, за богатыми потянулись — Кенку посылают учиться.

— Какие мы богатые, — возмущаюсь я.

— То-то и оно. А ты уж и скис. А все говоришь — поеду, поеду!

— И поеду. Все равно поеду...

— Тогда нечего рассупониваться, — говорит Чуня и идет за чем-то в амбар.

Я снова остаюсь один на крыльце и начинаю думать о том, что, может быть, нам в самом деле не стоит особенно выставляться напоказ с моим отъездом в Кому.

Тем временем на улице стало как-то светлее. Дождь хотя и льет, но, кажется, льет уж из последних сил.

— Ну, как тут обстоит дело с погодой? — спрашивает

меня вышедший отец.— Может, завтра лучше поехать?

— Так завтра же занятия, тятенька, — испуганно отвечаю я. — Как же пропуск с первого дня?

— Поезжайте, поезжайте. Не размокнете, не глиняные, — слышится из сеней голос матери, и она появляется на крыльце. — Да и дождь вроде начинает проходить. Вон над Тоном уж посветлело.

В самом деле, в лохматых облаках, оседлавших Тон, появились светлые прогалины. Они становятся все шире и шире. Небо как бы задымилось. Мутно-серые тучи пришли в сильное волнение, а дождь, прошумев еще один-другой раз, вдруг неожиданно утих.

— Ну вот, можно и отправляться, — говорит мама. — Давайте укладываться.

— Поторапливайтесь, ребятушки, — советует дядя Илья. — Погода ненадежная. Чего доброго, опять начнет дождить.

Мы входим в избу, и мама, который раз, пересматривает мой ящичек. Вот смена белья, вот новые праздничные штаны, и не холщовые, в каких я три года бегал в кульчекскую школу, а настоящие, из купленного еще зимой базарного материала. Вот черная сатинетовая рубаха, два куска самодельного, сваренного мамой, мыла. А вот моя школьная сумка, которую сделали мне в подарок Конон и Чуня.

Но вот сборы закончены. По старинному обычаю, все мы чинно садимся. Наступает торжественное и вместе с тем томительное молчание. Первым встает отец и крестится на иконы. За ним дядя Илья и мы. Дядя Илья молится и громко читает молитву по случаю моего отъезда:

— Встану я, раб божий, перекрестясь, пойду я, раб божий, благословясь, из дверей во двери, из ворот в ворота, на восток, на восточную сторону...

Конон хмуро стоит с моим ящиком в руках. Чуня начинает всхлипывать.

— ...и закрой тебя матушка пресвятая богородица, — заканчивает дядя Илья, — светленою своею ризою от всякого скверного злодея, супостателя и злого человека. Аминь! Ну, Акентий, проси у матери благословения.

Еле сдерживая слезы, я подхожу к маме. Она истово крестит меня и говорит:

— Не забывай, сын, отца и мать. Помни, что мы тебя худому не учили. Тетку Орину слушайся. Она тебе крестная мать. Дядю Егора уважай. Ребятишек у них не обижай — Егорку и Максютку.

— Да баклуши там не обивай, — в тон маме добавляет отец. — Урокн учи как следует. Ну, пора. Иди вперед!

Я как в тумане первым выхожу на крыльцо и направляюсь к тарантасу. Все следуют за мной.

Пока Конон укладывает сухое сено для сиденья н накрывает его половиком, а мать прячет мой ящичек под облучок, дядя Илья дает мне последнее наставление — чаще ходить в церковь. По субботам ко всенощной, а по воскресеньям к обедне.

— Не забывай бога-то там, — еще раз наказывает он мне, когда мы уж тронулись со двора. — Почаще молись ему — милостивцу.

Я последний раз оглядываюсь назад. Внжу мать, сиротливо стоящую Чуню. Брат медленно закрывает за нами ворота и как бы навсегда отделяет от меня мой дом, монх родных, все мое близкое, дорогое.

Слезы заливают мои глаза.

Прощай, Кульчек!

Дорогу в Кому я знал хорошо, помнил на ней каждый бугорок, каждую ямку и с закрытыми глазамн мог определить, где мы едем с отцом. Но я не закрывал глаза, а все смотрел по сторонам, прощался со своими местами. Вон черная щетннистая Чертанка, направо наша Орловка и Сухой Казлык — развеселые места, где я много раз пас скота. А дальше, сквозь пелену дождя, маячит Тон. Под Тоном наша пашня и покос. Там, недалеко от нашего стана, течет веселый родничок Хмелевка. Приедешь на водопой — и коней напоишь, и сам напьешься, и умоешься.

А иногда, по дороге в Хмелевку, напорешься на волка. Он не торопясь бежит куда-то легкой рысцой прямо тебе наперерез. Наши собаки вначале с лаем бросаются на него. Но, увндев, с кем имеют дело, сразу же пугаются и лают только издали. А волку хоть бы что. Бежит себе спокойно куда ему надо. А как скроется — тут собакн начинают скулить и лебезить около тебя. Оправдываются в своей трусости.

Обо всем этом мне хотелось поговорить с отцом. Но он совсем был не расположен к разговору. Сидит рядом со мной какой-то хмурый, нзредка понукает Гнедка и все думает о чем-то о своем.

А за Крутым логом начинаются уже безкишенские уго-

дья. Здесь я не косил, не жал, не работал. И смотреть на эти места мне было как-то неинтересно.

Тем временем опять полил дождь. Я накрылся с головой половиком, но все равно точно знал, по какому месту мы едем дальше. Вот небольшой поворот, спустились с горки и переехали мост через речку — значит, уже миновали Безкиш и теперь едем под Алачинами.

Эти Алачины — ничего не скажешь — горы что надо. Высокие и обрывистые, сплошной стеной высятся над дорогой. И хотя эти Алачины горы совсем бесполезные, но смотреть на них все-таки интересно. На таких горах в иностранных землях рыцари строили себе неприступные замки. А у нас здесь почему-то никаких рыцарей не было, ну и замков, конечно, на этих горах нет.

А сразу после Алачин растянулась по речке деревня Черная Кома, или, проще говоря, Чернавка. В этой Чернавке живут мамонькины братья — дядя Савося, дядя Еким и дядя Ефим. Живут они в самой середине деревни. Три дома подряд. Наши кони уж привыкли заезжать к ним. Если едешь в Кому — они сразу заворачивают к дяде Савосе, а если из Комы, то рвутся в ворота к дяде Ефиму. А в середине еще дядя Еким отгрохал себе большой крестовый дом. И глазом не успеешь моргнуть, как конь подвернет не к тем, так к другим. А там сразу видят, что приехала родня, отворяют ворота, вводят коня во двор, приглашают нас в дом, и хозяйки немедленно начинают шуровать самовар.

А сегодня тятенька решил почему-то не заезжать к ним. И как только Гнедко по привычке хотел подвернуть к дяде Савосе, он сразу же огрел его бичом. Тогда Гнедко попробовал завернуть к воротам дяди Екима и опять получил увесистый удар. Наконец, он сделал отчаянную попытку завернуть в ограду к дяде Ефиму, благо что и ворота у них на этот раз почему-то были открыты. Но тятенька так здорово хлестанул его несколько раз, что Гнедко наконец уразумел, что никакой остановки сегодня в Чернавке не предвидится. И обиженно затрусил по деревне дальше на выезд в Кому.

А мне, признаться, очень хотелось хоть ненадолго заехать к нашим в Чернавке. И больше всего к дяде Савосе. Уж больно ласковая у него тетка Агафья. Детей у них своих нет, вот они и радуются каждый раз нашему приезду. Живут они хорошо, в достатке; дядя Савося пашню не пашет, а кузнечничает. Кузнец он хороший, и работы у

него хоть отбавляй. Одному надо подковать коня, другому наварить сошник к сохе, третьему поставить железные полозья под кошевку. Знай повертывайся. И так круглый год. А тут еще последнее время объявился новый заработок — отбою нет. Дело в том, что наши мужики научились от расейских переселенцев гнать самогон. И каждому, конечно, хочется заварить к большому празднику или к свадьбе чан браги и нагнать из нее несколько ведер сивухи. Попробуй-ко столько же закупить в монополке вина по десяти рублей за ведро. Не очень-то раскупишься. А тут все свое — хлеб свой, хмель свой, посуда для браги своя. Только аппарата не хватает. И теперь мужики прямо одолели дядю Савосю. Бери любые деньги, только сварганъ им этот винокуренный аппарат. Так что дядя Савося с теткой Агашей живут в полном достатке. И тетка рада, когда мы к ним заезжаем. И в два счета уставит весь стол всяким жареным и пареным. А мне, кроме того, приготовит творожные блины. Знает, что я очень уважаю их.

У дяди Ефима и у дяди Екима нас тоже угощают. Но не так, как у тетки Агаши. Дядя Еким и дядя Ефим мужики тоже справные. Живут хорошо, хозяйство большое. Работников и поденщиков не нанимают. Сами со всем управляются. И жены у них хорошие, ласковые. Но только какие-то хворые. Видать, покалеченные. У нас женщины ведь почти все больные. Одних мужья калечат. Но таких дурных мужиков у нас мало. В Кульчеке славится этим Трофим Плясунок. Он, говорят, насмерть бьет свою Афанасью. Потом Еремей Грязнов все время дерется со своей Дарьей. Потом Абакуров. Тот и жену бьет, и ребят истязает. Потом еще братья Ершовы. Те вообще какие-то заполошные. А про других что-то не слышно. Вообще-то, конечно, тоже бьют. Но бьют осторожно, со сноровкой. Чтобы перед людьми не срамиться. У кого в семье драки да буянство, тем ведь и уважения в деревне нет.

А вообще-то женщины калечатся у нас, главным образом, от непосильной крестьянской жизни. На работу у нас народ жадный, завидущий. Пашут помногу, скотишка стараются держать тоже побольше. И женщины наравне с мужиками все лето жнут и косят. Другая женщина на сносях, а все равно вместе со всеми весь день на поле. Да еще каждый день ездит вечером верхом в деревню доить коров, управляться с ребятишками, поливать огород, печь хлеб и делать всякую работу по домашности. А на другой день она раным-рано едет на покос али на пашню. И опять

вместе со всеми коснт, жнет до самого вечера. И так до последнего дня, пока не роднт ребеночка. А потом, ведь все хозяйство, вся домашность на их плечах. Всех надо одеть и накормить. За скотиной тоже требуется уход. От такой жизни нашн женщнны к сорока годам становятся старухами.

Дядя Еким и дядя Ефим своих жен не бьют. Но все равно онн у ннх хворые. Заедешь к ннм, они угощать-то угощают, а сами все время жалуются на здоровьишко. То ломота, то сухота, то пуп надорван, то внутренности куда-то опустнлись и пояснница не разгибается. Не очень-то хочется угощаться при такой беседе.

Но сегодня мы к ннм ни к кому не заехали и прямо под дождем отправнлнсь в Кому. Так что промокли н промерзли до костей. А тут еше по Коме надо тащиться версты три, не меньше. Едешь, едешь — н конца-краю этой Коме нет. И дома у ннх какие-то мрачные. Окна у всех почему-то закрыты на ставни. Встречные мужнки какие-то сердитые и смотрят на проезжих свысока. И в самом деле мы им, видать, надоели. В селе церковь, волость, монополка, фельдшерскнй пункт, трн купца. И едут сюда отовсюду с утра до ночн. Особенно в волость. Здесь даже собакн не лают на проезжих. У нас в Кульчеке собак по пять из каждого двора выскакнвают на проезжающих. И поднимают такой гвалт, что прямо жуть берет. Того и гляди, задерут кого-нибудь. А тут едешь — словно все вымерлн. Ни одна собака не тявкнет. Вроде н жнвут тут как-то не понастоящему.

Но мы уж знали этн комскне порядки н не особенно волновались. И так проехали не торопясь в самый нижний край села — мнмо их монополки, мнмо волости, мимо школы и всех купеческих магазинов и наконец приехалн к дяде Егору.

На дворе нас встретила тетка Орина.

— Мы уж третий день ждем вас, — стала выговаривать она отцу. — Вот должны приехать, вот должны явиться, а вас все нет да нет.

— Все некогда было да недосуг, — сказал отец.

— Ну, проходнте в избу.

— Идн давай! — сказал отец. — А я коня выпрягу.

У дяди Егора я бывал много раз. Но бывал у них как гость. То с отцом, то с мамой. А сегодня прнехал к ним

уж насовсем — на целую зиму, и понимал, что теперь мне надо держаться у них как дома.

В избе я застал моих двоюродных братьев — Егорку и Максютку. Оба они были еще маленькие — Егорке лет шесть, а Максютке и того меньше. Они знали, что я приехал к ним надолго, но, видимо, стеснялись меня и бегали по избе с таким видом, что им нет до меня никакого дела.

— Проходи, раздевайся, — сказала вошедшая тетка Орина. — Егорка! Чего смотришь! Сажай гостя за стол!

Вместо того чтобы сажать меня за стол, Егорка сам кинулся к столу, как бы испугавшись, что я займу там его место. Максютка, глядя на него, тоже вскарабкался на лавку. Теперь оба они сидели в переднем углу и молча наблюдали за мной.

Тогда я тоже прошел вперед, перекрестился на образа, осмотрелся и не торопясь разделся. А потом вынул из своего ящика тетрадку со своими рисунками и вместе с ними уселся за стол.

Егорка и Максютка сразу заинтересовались моей тетрадкой, и мы без шума и без гама стали рассматривать в ней рисунки. Тем временем со двора пришел отец и завел о чем-то длинный разговор с теткой Ориной.

Потом прибежала Санька и стала тараторить о том, сколько она намяла сегодня конопли. Потом от соседей пришла бабушка Апросинья с Наташкой. Наташка была совсем еще маленькая и только начала ходить. Наконец, откуда-то приехал дядя Егор: Теперь вся их семья была в сборе, и тетка Орина стала сооружать на стол ужин.

За столом велся обычный разговор об урожае, о сенокосе, о погоде. А потом как-то незаметно речь зашла о комских делах. И тут дядя Егор стал рассказывать отцу о том, что в Кому приехал новый поп. Совсем еще молодой и дело свое, видать, знает еще плохо. Уж больно долго справляет в церкви службу. И, главное, велит зажигать во время службы все лампады, все подсвечники и даже паникадила. Сколько свечей сжигает за одну службу — ужас! А церковный староста вразумить его не смеет. Сказал бы ему прямо, что негоже, мол, батюшко, каждую службу паникадила жечь. Так ведь и свечей не напасешься.

А потом что-то говорили еще об отце дьяконе и псаломщике, но что именно говорили, я уж не соображал, так

как от тепла и чая меня совсем разморило и я почти спал за столом.

На другой день меня одели во все мои обновки, и после чая мы отправились с отцом в комскую школу. В школьной прихожей нас встретил высокий, сухопарый, со стриженой бородой старик, одетый по-городскому — в пиджак и в брюки навыпуску. Только все это было на нем старое, поношенное.

— Тише вы! — набросился он на нас. — Стучите как кони. Что, не соображаете, куда пришли.

Тут отец объяснил ему, что он только что приехал из Кульчека сдавать меня в двухклассное училище.

— В учительскую пройдите. К отцу Петру.

И старик указал пальцем на одну из дверей.

— Он уж записан у нас, — стал объяснять ему отец.— Мне только деньги заплатить за ученье и сдать его кому следует на руки.

— Не за ученье, а за право ученья. К отцу Петру иди.

И старик снова показал отцу дверь в учительскую.

— За право так за право, — сказал отец, потом пригладил свою бороду, одернул шабур, пошаркал ногами о какую-то подстилку и осторожно прошел в учительскую.

Я остался в прихожей. Она была вроде нашей кульчекской. Но только много больше. И тоже имела несколько дверей. По стенам на вешалках виднелись шабуры и пальтишки. Из-за большой закрытой двери доносился глухой шум, в котором время от времени выделялись отдельные ребячьи голоса. Судя по всему, комская школа была намного больше нашей кульчекской.

Через некоторое время отец вышел. И почти сразу за ним в прихожей показался большой, длинноволосый, чернобородый человек в черной рясе.

— Ну вот и все, — сказал отец. — Оставайся, учись, старайся. Вы уж, отец дьякон,— обратился он к чернобородому человеку в рясе, — последите тута за парнем. Один будет среди чужих ребят. Не обидели бы. Ну а я, брат, — обратился он ко мне, — поеду домой. Работа ведь.

Тут тятенька нахлобучил свою шапку, еще раз взглянул на меня и вышел.

— Как фамилия? — спросил меня по его уходе отец дьякон.

— Трошин.

— Звать как?

— Акентий...

— Не Акентий, а Иннокентий... И звать-то себя не знаешь как. Раздевайся, проходи в класс. Увидишь там ваших кульчекских — пристраивайся к ним.

В большом классе, в который я вошел, стояло три ряда парт. В первом ряду на средней парте я увидел Исаака Шевелева и Мишку Обеднина. Третье место на их парте оставалось свободным, и я занял его. Второй и третий ряды занимали комские ученики. Они вели себя почему-то очень шумно. За стеной, рядом с нами, помещался еще один класс. Время от времени оттуда доносился глухой шум.

Почти сразу за мной в класс вошел отец дьякон.

— Ну-ка тише! — прикрикнул он на комских учеников.— Перешли в третий класс, а ведете себя хуже первогодков. Задание получили? Что вы должны делать?

— Решать задачи, — послышались голоса.

— Так в чем же дело? Почему такой шум?

— Не выходит, отец дьякон. Задача неправильная.

— Решаете неправильно, вот и не выходит.

Он постоял еще некоторое время около них и затем подошел к нам. Долго молча смотрел на нас и наконец сказал:

— Ну что же... С сегодняшнего дня вы учитесь в первом классе Комского церковноприходского двухклассного училища. А это, — тут отец дьякон кивнул головой на второй и третий ряды, занятые ребятами, — ученики Комской начальной школы. Будете учиться вместе с ними под одной крышей, но по своей программе, проходить русский язык, церковнославянский язык, арифметику — дроби, географию, историю, геометрию и природоведение. Но главным предметом будет у нас закон божий. Все остальное поелику возможно. Сегодня я должен проверить ваши знания. Комских учеников я более или менее знаю, поэтому спрашиваю приезжих. Посмотрим, с чем они к нам пожаловали.

Тут отец дьякон сделал длинную паузу и затем обратился к нам:

— Ну-ка, кто из вас прочтет мне «Песнь ангельскую»?

И я, и Исаак Шевелев, и Мишка Обеднин, и Толоконников из Проезжей Комы, и Баранов из Безкиша — молчали. Все мы не знали «Песнь ангельскую». Отец дьякон с удивлением пожал плечами:

— Не знаете «Песнь ангельскую»? Чему же вас учили три года?

Мы молчали, подавленные незнанием «Песни ангельской». Отец дьякон выжидательно смотрел на нас, потом сокрушенно покачал головой:

— Кириллов! Прочти им «Песнь ангельскую»!

Комский ученик Кириллов встал и уверенно прочитал:

— «Святый боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, Помилуй нас!»

— Садись, Кириллов. Неужели вы не знаете этой молитвы? — укоризненно спросил нас отец дьякон.

Мы с виноватым видом молчали. Наконец Толоконников набрался смелости и неуверенно сказал:

— Мы знаем эту молитву, отец дьякон. Только не знали, что она «Песня ангельская».

— Не песня, а «Песнь ангельская». А кто из вас прочтет мне «Начинательную молитву»?

Тут отец дьякон посмотрел на нас, потом указал рукой на меня и сказал:

— Трошин, прочти нам «Начинательную молитву».

Я вскочил с места и молча смотрел на отца дьякона.

— Не слышал вопрос? Прочти мне «Начинательную молитву».

Я стоял и не знал, что отвечать. В Кульчеке мы выучили много молитв. И «Отче наш», и «Достойно», и «Богородицу», и даже «Символ веры» вызубрили, но «Начинательной молитвы» я не знал.

А отец дьякон ждал моего ответа. Наконец он рассердился и грозно спросил:

— Кто из приезжих знает «Начинательную молитву»?

Исаак Шевелев, Мишка Обеднин, Толоконников из Проезжей Комы и Алешка Баранов из Безкиша вскочили со своих мест и испуганно смотрели на отца дьякона.

— Да что же это такое, — развел руками отец дьякон. — Даже «Начинательной молитвы» не знают.

Тут он грозно поднялся со своего места. «Ну, — решил я, — попадет теперь нам с этой «Начинательной молитвой».

Отец дьякон направился к комским ученикам, которые строили друг другу рожи и выкидывали какие-то фортели руками. Один из них сразу же заметил, что отец дьякон обратил на них внимание, и уткнулся в свою тетрадку. А другой сидел спиной к нам и продолжал тискать своего товарища.

— Анашкин! — рявкнул над ним отец дьякон.

Не успел Анашкин вскочить на ноги, как был схвачен за шиворот.

— Не хочешь заниматься делом?!

Тут отец дьякон так дернул Анашкина за ухо, что тот закричал от боли. Потом отвел его в угол и поставил на колени.

— Стой так до конца урока, — сказал он ему.

И как только он обернулся к нам, Анашкин сразу скорчил рожу и показал ему язык. И дальше этот Анашкин весь урок перемигивался со своим дружком и все время над чем-то смеялся. Похоже было, что он гордился тем, что стоит перед всем классом на коленях.

Это меня очень удивило. У нас в Кульчеке поставят ученика в угол, так он ревет там, как недорезанный поросенок. А у них в Коме выдрали парня за уши, поставили на колени, а ему хоть бы что. Он даже гордится этим.

Отец дьякон больше не обращал на Анашкина внимания и опять стал экзаменовать нас. И чем больше он спрашивал нас, тем сильнее убеждался в том, что мы ничего по закону божиему не знаем.

К концу урока в класс пришел отец Петр. Он был совсем еще молодой. Борода у него только еле-еле начала расти. Он сразу заметил Анашкина в углу на коленях и посадил его на свое место. Потом спросил отца дьякона: каковы наши знания? И тут отец дьякон стал ему рассказывать, как плохо подготовлены приезжие ученики.

Оказывается, мы еще на первом году обучения должны были выучить в своей школе все главные молитвы, на втором году пройти «Священную историю Ветхого и Нового завета», а на третьем «Краткий катехизис» по началам христианского учения и учение о богослужении. Молитвы мы у Павла Константиновича действительно выучили, но не знали, как они называются. А «Священную историю Ветхого и Нового завета» Павел Константинович объяснял нам только по картинкам. Весь класс был увешан у нас этими картинками, и Павел Константинович рассказывал по ним, как хорошо жили в раю Адам и Ева, как они без спросу наелись плодов с «дерева познания добра и зла», как бог выгнал их за это из рая и поставил к воротам рая ангела с огненным мечом, как Авраам хотел зарезать Исаака в жертву богу, и многие другие интересные истории.

А из «Нового завета» Павел Константинович рассказы-

вал нам только про Иисуса Христа, как он родился в Вифлееме, крестился, проповедовал народу праведную жизнь, был за это распят на Голгофе, умер, воскрес и вознесся прямо на небо. Павел Константинович никогда не проверял, запомнили ли мы эти рассказы. А мы хотя и знали их, но пересказать все это как следует не умели.

И вот теперь отец дьякон стал говорить особо о нас:

— Кульчекская школа считается лучшей в приходе, а кульчекский учитель Жигалов лучшим учителем в волости, а дети не знают у него «Начинательную молитву», «Песнь ангельскую», не говоря уже о «Символе веры».

Однако все это нисколько не огорчило отца Петра. Наоборот. Нам показалось, что он даже доволен нашей плохой подготовкой по закону божью.

— Вот и займитесь с ними как следует. Как законоучитель я сейчас все равно не могу приступить к урокам. Церковь запущена. Много работы по приходу. Надо сначала управиться с неотложными делами.

— Может быть, поначалу повторить основательно весь материал начальной школы?

— Начинайте с повторения. Повторение никогда не повредит. А потом приступим к программе.

Отец Петр прошелся по классу, посмотрел немного на комских учеников, которые теперь смирно сидели на своих местах, и снова завел разговор с отцом дьяконом насчет нашего обучения:

— Как священнослужители мы призваны к самому живому участию в религиозно-нравственном воспитании наших детей. С соответствующими текстами «Священного писания» мы будем знакомить их на уроках. Но вы сами понимаете, что этого недостаточно. Надо занять досуг наших ребят. И тут нет лучшего средства, чем внешкольное чтение художественно-назидательной литературы, особенно жизнеописаний святых. Это та самая литература, которая должна помочь нашим детям самостоятельно продвигаться к праведной жизни.

А потом отец Петр обратился уже к нам и вслед за отцом дьяконом стал объяснять, какие предметы мы будем проходить в школе.

— Знание истории, географии, природоведения, — говорил он, — которыми вы будете заниматься наряду с арифметикой, геометрией, русским и церковнославянским языками, очень полезно. Однако, в первую очередь, вы должны будете обогащать свой ум знанием истинной веры. По-

этому школа будет воспитывать вас прежде всего в страхе божьем, обучать исполнению христианского долга и соблюдению правил благочиния. По субботам и воскресеньям вы будете посещать церковь. Молиться в церкви нужно с верою, со страхом божиим, помнить, что церковь есть место святое, что там невидимо пребывает сам господь бог, что проникновенным оком он видит все наши помыслы и прегрешения.

На этом закончился наш первый урок с отцом Петром и с отцом дьяконом, и они оставили нас с псаломщиком Василием Елизарьевичем.

Василий Елизарьевич был чем-то похож на нашего Павла Константиновича. С такой же козлиной бородой, в таких же брюках навыпуску, в таком же пиджаке со множеством пуговиц. Но только он был много старше Павла Константиновича.

Василий Елизарьевич объяснил нам, что будет обучать нас пению, и прежде всего стал знакомиться с нами — приезжими — и выспрашивать нас о том, чему мы учились у себя в школе и какие молитвы умеем петь.

Тут Генка Толоконников и Алешка Баранов объяснили ему, что пение у себя они не проходили и умеют петь только некоторые молитвы — «Отче наш», «Богородицу», «Достойно есть, яко воистину». А мы, кульчекские, добавили, что, кроме этих молитв, мы с Павлом Константиновичем еще пели «Румяной зарею покрылся восток», «Жил-был у бабушки серенький козлик» и некоторые другие стихи.

Выслушав наши ответы, Василий Елизарьевич тоже стал сокрушенно качать головой. Потом вывел нас на середину класса, поставил в ряд и велел спеть «Отче наш». И хотя на его уроке мы держались немного смелее, чем у отца дьякона, но петь как-то стеснялись. Но потом все-таки спели. И хотя пели мы старательно, но Василию Елизарьевичу не понравилось.

— Голоса у вас ничего, — сказал он, — но поете вы плохо, вразброд, без должного чувства и душевного настроения. Петь молитвы следует со смиренным благоговением и трепетом, со страхом божиим, а не орать во весь голос, как вы это делали сейчас.

Далее Василий Елизарьевич объяснил нам, что он будет учить нас пению не для пустого развлечения, а чтобы мы как можно скорее начали петь на клиросе, дабы придать церковной службе торжественность и благолепие.

Обучать пению он будет всех, а в церковный хор возьмет учеников только с хорошими голосами и, конечно, хорошего поведения.

Мы сидели на своих местах красные от стыда. Василий Елизарьевич не ругал нас за то, что мы плохо поем, не сердился на нас, а только объяснял, как надо петь. И мы сами понимали, что петь по-настоящему еще не умеем, что Павел Константинович учил нас петь без страха и смирения, как это требуется.

Потом Василий Елизарьевич стал пробовать наши голоса. Кто поет низким голосом, кто высоким. И разделил нас на две группы. Я попал в группу с высокими голосами. Оказывается, я пел дискантом. А тех, которые пели более низкими голосами, он называл альтами. Во время этих проб Василий Елизарьевич то и дело вынимал из кармана какую-то железную пластинку, ударял ею по кисти левой руки, подносил ее к своему уху и пробовал свой голос. Комские ребята объяснили нам, что эта штука называется у него камертоном и каким-то непонятным образом помогает ему хорошо петь.

Затем мы начали разучивать «Песнь ангельскую». Но, оказывается, петь со смиренным благоговением и душевным трепетом, как того требовал Василий Елизарьевич, не так-то просто. У нас это, во всяком случае, не получалось. Только начнем, Василий Елизарьевич сразу нас прерывает, да еще передразнивает, чтобы показать, как мы плохо поем. Мало того, что мы поем плохо, но и стоять-то во время пения как следует не умеем. Сразу видно, что мы в это время думаем не о молитве, а о чем-то другом. Остановит и объяснит это то одному ученику, то другому, то всем альтам, то всем дискантам. И чаще всех прерывает Генку Толоконникова, так как он сразу ему чем-то не понравился. За урок мы, наверно, раз двадцать начинали «Песнь ангельскую». И только к концу кое-как спели ее как следует. Но Василий Елизарьевич все равно остался недоволен и сказал, что нам долго еще придется работать, пока мы не научимся петь как следует.

Сказать по правде, Василий Елизарьевич понравился нам больше, чем отец дьякон. Говорил он негромко, несердито, не расхаживал по классу аршинными шагами. И мы почему-то сразу решили, что он не будет драть нас за уши и ставить на колени.

Из школы мы всем скопом отправились в лавку к купцу Демидову покупать себе тетради, перья, чернила и ка-

рандаши. У нас в Кульчеке обо всем этом заботился сам Павел Коистаитиович, а здесь надо было покупать самим на свои денежки.

Так прошел иаш первый день занятий в Комском двухклассиом церковноприходском училище. Он не прииес радости. Мы думали, что Павел Коистантиович обучал нас всему как следует, а оказывается, мы ие знаем, как иазываются некоторые молитвы, ие зиаем «Краткий катехизис» и плохо рассказываем «Священную историю». И вот теперь иас стыдят и журят за это. Как будто мы тут в чем-то виноватые.

Придя домой, к тетке Орние, я прежде всего сунулся в свой ящик, чтобы спрятать в него купленные тетради и караидаши. Но ящика под лавкой не оказалось, и спросить о нем было ие у кого. Тетка Орина и Санька были где-то иа работе. Бабушки Апросиньи с Наташкой дома тоже почему-то не было. Егорка и Максютка перед моим приходом сидели иа печке, ио при моем появлеиии сразу же шмыгиули иа полати.

Наконец пришла тетка Ориια. Увидя меия за столом с новыми тетрадями, она начала ахать и сокрушаться. Сиачала я ие понял, что у иих тут случилось, ио потом до меня дошло, что мои брательники что-то вытворили с моим ящиком.

Оказывается, утром Егорка и Максютка оставались одии. Оии вытащили из моего ящика сумку и сразу же стали делить ее. Каждому хотелось первому сделаться учеииком и ходить по избе с сумкой. И вот оии иачали вырывать ее друг у друга, пока не выдрали с корием ремень и ие вываляли ее иа полу.

Но с покалечеиной сумкой иикому из них учеииком быть уже ие хотелось, и оии приступили к дележу моих тетрадей. А потом уселись за стол и стали заииматься рисоваинем.

— Я прихожу это с речки, смотрю — сидят мои молодцы за столом и вроде как бы что-то пишут. В учеников, думаю, играют. Подошла поближе, глянула и обмерла... Егорка что-то выделывает караидашом в одной тетрадке, Максютка в другой. А рядом сумка валяется с оборваиным ремнем. Ну, я сразу же отобрала у иих тетрадки и караидаши, потом отодрала их как следует и загнала иа печку. Сумку я вычистила, а с тетрадками ие знаю, как и быть. Все измазали, вариаки...

После этого тетка Ориа прииесла из казенки мой

ящик и вынула из него сумку с тетрадями. Сумка действительно была истрепана, но выглядела более или менее справно. И застежка была на месте, и ремень пришит как следует. Но когда я посмотрел в свои тетради, то невольно расплакался. Мои тетради, в которые я перерисовывал из книжек самые интересные картинки, все были измяты и исчерканы. Егорка рисовать еще не умел и рисунки мои не трогал. Он рисовал рядом с ними кружки, крестики и яблочки. А о Максютке и говорить не приходилось. Он исчеркал мою тетрадку как попало.

Глядя на меня, тетка Орина окончательно расстроилась.

— Варнаки, право слово варнаки!..— вычитывала она Егорке и Максютке.— Ужо приедет отец. Он вам покажет — супостатели!..

Как только тетка Орина упомянула о приезде дяди Егора, Егорка и Максютка подняли на полатях крик. Они в голос плакали и слезно просили тетку Орину ничего не сказывать об этом дяде Егору. А тут в разговор вступила еще бабушка Апросинья. Она только что пришла с Наташкой от соседей и тоже стала пугать их приездом дяди Егора. При каждом упоминании отца Егорка и Максютка начинали реветь. Поревут, поплачут и стихнут. Тогда начинает их пугать Санька. И они опять начинают орать.

Дядя Егор приехал уж поздно вечером. Он весь день рубил дрова где-то на вершине Оськиной, устал за день и перемерз в дороге. И ему надо было отогреться сначала и поесть как следует. Он не торопясь выхлебал целую миску щей и выпил четыре чашки чая с масленым. И только после этого заметил, что я сижу за столом заплаканный. Ну, тут в разговор между нами сразу же встряла Санька и стала объяснять ему, что наделали Егорка и Максютка с моей сумкой и с моими тетрадками.

— А вы-то куда смотрели?..— сердито спросил дядя Егор.

— Мы-то с мамонькой до самого вечера мяли коноплё.

— А бабушка?

— А бабонька с Наташкой домовничали у тетки Палагеи. Тетка-то с дядей уехали в Гляден, вот бабонька с Наташкой и сидели у них до самого вечера...

— Так... Дело ясное,— сказал дядя Егор и прошел к железной печке. Сначала он пошуровал немного в печке, подбросил в нее дров, потом не торопясь закурил свою трубку. Курил он ее и все расспрашивал тетку Орину о

том, много ли намяли они сегодня конопли и успеют ли управиться с этим делом до субботы. Потом он выстукал и прочистил лучинкой свою трубку. Егорка и Максютка уж много раз выглядывали с полатей. Они видели, что дядя Егор совсем не сердится, и, кажется, уж решили, что это дело сойдет им с рук. Но не тут-то было. Выстукав и прочистив трубку, дядя Егор встал, взял с вешалки опояску и довольно спокойно велел Егорке слезать с полатей. А потом начал его драть. Драл он его тоже очень спокойно, без ругани, без наставлений. Как будто делал какое-то неотложное дело. Егорка орал: «Тятенька, не буду! Миленький, больше не буду!!!» Но дядя Егор все равно драл его, а под конец взял за шиворот и посадил под кровать около двери.

А потом он таким же манером стал драть Максютку. Максютка был хоть и меньше Егорки, но орал в три раза громче. Выдрав, дядя Егор его тоже посадил под кровать. Но Максютка и там продолжал орать и ревел до тех пор, пока его не выпустили оттуда и не посадили за стол.

У нас в доме такого не было. И тятенька, и мамонька никогда нас не били, хоть иногда и следовало за что-то выпороть. Только Конон начал одно время давать мне тумаки, если я делал что-нибудь не так, как он велел. Но мамонька строго-настрого запретила ему бить меня. Вообще, наша мама так умела выговаривать нам за провинности, что мы и без наказаний ей во всем каялись.

А потом, мне жаль было Егорку и Максютку. Как-никак, а пороли-то их из-за моей сумки и из-за моих тетрадок...

Дядя Егор принес из казенки напарью, провертел в стене под полатями в бревне дыру и вбил в нее большой крюк, чтобы я постоянно вешал на этот крюк свою сумку.

— А за свои книжки и тетрадки ты теперь не беспокойся. После сегодняшней выучки эти молодцы к ним не притронутся. Только ты особенно их не привечай. Построже надо с ними. А то они быстро тебя взнуздают. С ними надо держать ухо востро...

На другой день все наши ребята явились в школу очень нарядные. И все с сумками, в которых, как и у меня, спрятаны были тетрадки, ручки и карандаши. Только у Васьки Чернова был какой-то замысловатый ранец, купленный в городе. Был этот ранец не то деревянный, не то картон-

ный и покрыт сверху каким-то темным материалом, на котором ярко выделялась красивая металлическая застежка. Чернов очень гордился своим ранцем и все время с шумом открывал и закрывал его.

Не успели мы как следует осмотреться в своем классе, как раздался звонок, и на урок к нам препожаловал отец дьякон. С этого дня он начал обучать нас по всем предметам, но налегал, главным образом, на закон божий.

— Хорошие дела,— наставлял он нас,— потому хороши, что они угодны господу, а нехорошие плохи, потому что они угодны дьяволу и делаются по его наущению.

Все мы ходим под богом, напоминал он нам и всячески старался воспитывать нас в страхе божием, не поддаваться искушению дьявола, чтобы не попасть в ад кромешный, в геенну огненную. Об этой геенне он напоминал нам каждый день и, в конце концов, добился того, что мы в самом деле уверились в том, что господь бог в любое время может ввергнуть нас в эту геенну, если мы будем нарушать его святые заповеди. Особенно боялись мы божьего наказания за еду скоромного в постные дни. По части выполнения этой заповеди все мы были не особенно тверды. Помню, как уже весной, в страстную субботу, на спевке в школе перед пасхальной заутреней комский ученик Колька Панкрашкин вытащил из кармана три красных яичка, нахально, на наших глазах, облупил их и съел. Я с ужасом смотрел на Панкрашкина и ждал — вот господь бог покарает его чем-нибудь за такое святотатство. Но все это Кольке сошло с рук. Он не провалился в геенну огненную, и бог не поразил его ударом грома, как это следовало из наставлений отца дьякона. Наоборот, он чувствовал себя гордо, называл всех нас дураками и так здорово пел во время пасхальной службы, что Василий Елизарьевич даже похвалил его за это. А мы, голодные и усталые, еле-еле тянули пасхальные песнопения, и в наших голосах не было радости воскресению спасителя.

После «Священной истории Ветхого и Нового завета» мы стали проходить катехизис. Учить его оказалось много труднее, чем молитвословие и «Священную историю». На первом же уроке отец дьякон стал объяснять нам, что бог есть дух — существо бесплотное, вездесущее, всемогущее, премудрое, всеведущее, пресвятое и преблагое. А потом долго растолковывал нам троичность божества.

— Твердо запомните,— говорил он нам,— что бог один.

И нет ни другого, ни третьего бога. Но хоть он н одии, ио в трех лнцах: бог-отец, бог-сын, бог-дух святой. Как это понимать? Именно так н понимать, как я говорю — бог однн, но в трех лицах. Понятно это вам?

— Понятно,— ответнли мы.

— Ннчего вам не понятно! — отрезал отец дьякон.— Ннкакой разум человеческнй не может уразуметь, в чем тут дело. Как это еднный бог может быть в трех лнцах? Но вы твердо запомннте, что троичность божества — есть велнкая тайна, которую не может постигнуть нн одна тварь на свете. Даже ангелам н архангелам на небе недоступна эта тайна. А вы говорите — понятно. Бог сам явил себя в тронце, то есть в трех лицах, и мы должны верить этому беспрекословно, не домогаясь постнгнуть то, что ннкому непостнжнмо. Понятно теперь?

— Понятно,— опять ответили мы.

— Вот н запомннте это как следует. Буду спрашивать. А что бог сам явнл себя в святой тронце — это мы знаем из «Священного пнсання», которое нам оставилн пророки, апостолы и велнкие отцы церкви, опнсавшие то, что они видели н слышали прн сотнях и тысячах свидетелей. «Священному пнсанию» вы должны верить беспрекословно, прилежно нзучать его, неотступио следовать его предписанням...

Так обучал нас закону божию отец дьякон. Рассказывал он нам этот закон коротенько, а требовал на все ясные и четкие ответы. Особенно любил ои нас гоиять по заповедям божинм н не давал по ннм никакого спуска. Чаще другнх он почему-то спрашнвал пятую н восьмую заповеди:

— А чему учит нас пятая заповедь?

— Пятая заповедь учит нас почитанию роднтелей,— твердо отвечали мы.

— Кого еще следует почнтать н уважать наравне с родителями?

— Наравие с роднтелями следует почнтать прежде всех государя императора. Что отец в семействе, то н царь в государстве. Без отца в семье неурядицы, ссоры, бесхозяйственность. Без царя в государстве тоже будут только смуты и неустройства. Поэтому царь является нстинным отцом своих подданных.

Дальше, согласно этой заповедн, следует уважать всех начальников и безропотно им повнноваться, потом чтить духовных пастырей, на которых возложеиа тяжелая обя-

занность готовить нас к жизни вечной. И, наконец, эта заповедь требует уважать всех старших по летам. Это уж так положено. За нарушение этой заповеди бог жестоко карает.

— Очень хорошо,— говорил отец дьякон и спрашивал, чему научает нас восьмая заповедь.

— Не воровать,— уверенно отвечали мы.

— Так-с... Значит, воровать нельзя. А грабить можно?

— Тоже нельзя,— отвечал кто-нибудь из нас.— Восьмая заповедь запрещает и воровать, и грабить. Эта заповедь охраняет собственность. Не по человеческому усмотрению, а по промыслу божию одни бывают богатыми, а другие бедными. Бедность и нищенство происходят от лености и пьянства и еще от того, что бедные работают без благословения божия и не соблюдают праздников.

Чтобы научиться правильно отвечать на такие трудные вопросы, надо было все это заучивать на память. Мне это на квартире у дяди Егора делать было очень трудно. Семья у них — семь душ, не считая меня. И все в одной избе. Не успеешь разложиться со своими книгами и тетрадями, как кому-то надо уж садиться за стол то обедать, то ужинать. Особенно часто приходилось кормить Егорку, Максютку и Наташку. Они походя требовали есть. И тетке Орине все время приходилось кормить их, то одного, то другого, то всех вместе.

А потом, попробуй заниматься, когда они все в сборе. В избе дым коромыслом: шум, гам, возня, беготня, а если Егорка и Максютка еще подерутся, то слезы и крики. И никакой управы на них нет. И дядя Егор, и тетка Орина, и бабушка Апросинья заставляли их не шуметь, не баловаться, не мешать мне учить уроки. Но разве они утерпят. Если и не шумят, то самую малость. А потом снова принимаются за свое.

Когда начинаешь учить урок и повторять его вслух (вслух как-то лучше запоминается), Егорка и Максютка тут как тут. Встанут к столу и смотрят на меня разинув рты или, еще хуже, начинают все повторять за мной. Что с ними сделаешь. Иногда кто-нибудь из взрослых турнет их от стола, а они через минуту опять начинают вычитывать за мной заданный урок. И так каждый день...

Кроме закона божия, отец дьякон обучал нас русскому и церковнославянскому языкам, географии, геометрии, истории. В общем, был нашим главным учителем. Но только учились мы у него без всякой охоты.

У Павла Константиновича даже по арифметике нам заниматься было интересно. А уроки по устному счету превращались в увлекательное соревнование, во время которого мы с жаром состязались друг с другом в сложении, вычитании, умножении и делении даже трехзначных чисел.

Про беседы Павла Константиновича по истории и говорить не приходится. Мы слушали его затаив дыхание, забыв обо всем на свете. А потом, у нас в школе рядом с божественными картинами висело еще несколько больших плакатов с изображением различных битв и сражений, с портретами царей, полководцев и знаменитых людей. По этим плакатам мы хорошо знали Петра Великого, Меншикова, Румянцева, Суворова, Потемкина, Кутузова, Барклая, Багратиона, Ломоносова, матроса Кошку, который храбро защищал Севастополь.

А отец дьякон рассказывал нам историю по маленькому учебничку и спрашивал главным образом хронологию. Мы назубок знали, в каком году было основано Русское государство, в каком году произошло крещение Руси, когда была битва на Калке, нашествие татар, Смутное время, воцарение Романовых, Полтавская битва, война с Наполеоном, оборона Севастополя. Но нового от него обо всем этом, по сравнению с Павлом Константиновичем, мы ничего не узнали.

Единственно, что нам запомнилось от его занятий по истории, так это большая карта Европейской России, которую он повесил в нашем классе. Мы здорово набили руку находить по этой карте большие и малые города, которые упоминались в нашем учебничке. Но об этих наших успехах отец дьякон, кажется, и не подозревал, так как ни разу не учил нас ориентироваться по карте.

Каждую субботу и воскресенье мы аккуратно всей школой ходили в церковь. В субботу ко всенощной, в воскресенье к заутрене и к обедне. В церкви мы выстраивались перед правым клиросом и молились. Молились, конечно, по-разному. Одни молились так, как наставлял их этому отец Петр, отец дьякон и Василий Елизарьевич, то есть со смирением и надеждой на милость божию. Другие так себе, без всякого страха и трепета. А такие ученики, как Сережка Кузнечонок, Колька Панкрашкин и Мишка Анашкин, и в церкви ухитрялись вытворять всякие истории. То дерут девочек за косички, то дают подножку своим соседям, а потом смеются над ними же, что они молятся с ко-

ленопреклонением. А когда мы все, по знаку Таисии Герасимовны, делали земные поклоны, то они прижимали своих соседей к полу и не давали им разогнуться.

А Василий Елизарьевич настойчиво продолжал свои уроки. Чтобы скорее подготовить нас к пению на клиросе, он, кроме главных молитв, которые исполняются во время церковных служб, стал разучивать с нами маленькие песнопения — «Аминь!», «Господи помилуй!», «Подай господи!» и так далее. Месяца через три после начала занятий мы все стали петь на клиросе.

Мы хорошо знали, что отец Петр состоит в училище законоучителем, и никак не могли понять, почему он целиком препоручил нас отцу дьякону. Но где-то после рождественских каникул он наконец препожаловал к нам на урок. Молодой, веселый, нарядный, в красивой рясе с большим серебряным крестом на груди, он как-то сразу расположил всех к себе.

Однако отец Петр не очень-то торопился рассказывать свой урок. Поначалу он стал расспрашивать нас о том, как мы учились закону божию у отца дьякона и что мы прошли с ним с начала года. А потом решил еще проверить наши знания по священной истории. И занял на это целый урок. На второй урок он принес с собою толстую книгу в красивом черном переплете с золотым обрезом и с многочисленными разноцветными закладками.

Он объяснил нам, что это Библия, сел за стол и начал читать историю о сотворении мира.

Ему, видимо, нравилось заниматься с нами. На урок он приходил всегда веселый, ласковый, ни за что нас не ругал и ничем не запугивал, а главное, не донимал вопросами. Прочитает на уроке, что надо из своей Библии, и уйдет. И ему, и всем хорошо...

Глава 11
ОТЕЦ ПЕТР, ОТЕЦ ДЬЯКОН И ВАСИЛИЙ ЕЛИЗАРЬЕВИЧ

Каждый год с наступлением великого поста в Кульчеке начинались среди ребят разговоры о том, что мы всей школой, вместе с Павлом Кон-

стантиновичем, поедем в Кому говеть в церкви, исповедаться и причащаться.

Но каждый раз поездка почему-то откладывалась до следующего года. То ли отцам и матерям не хотелось отрываться от домашности и на целую неделю ехать с нами в Кому, то ли Павел Константинович не хотел с этой поездкой прерывать школьные занятия. В течение трех лет нашего обучения в Кульчеке он только один раз, когда я был уже в третьем классе, отменил в школе занятия. Это было поздней осенью. На улице шел снег. День был хмурый и какой-то печальный. И Павел Константинович, против обыкновения, пришел в школу позднее обычного. Он не улыбался нам приветливо, как всегда, а был очень серьезен. После того как мы дружно ответили на его приветствие, он, не сходя с места, громко сказал: «Дети! Сегодня заниматься не будем. Умер Лев Толстой. Давайте спокойно, без шума разойдемся по домам. Если будут спрашивать, почему я распустил вас сегодня, так и сказывайте, что умер Лев Толстой».

После того дня Павел Константинович ни на один день не отлучался от школы, и сам жил без исповеди, и нас учил без исповеди и святого причастия.

А здесь, в Коме, все школьники каждый год говеют в церкви, исповедуются там во время этого говения и причащаются. И с первой же недели великого поста отец дьякон начал готовить нас к выполнению этих священных обрядов.

О предстоящем обряде святого причастия он нам ничего не говорил. Священные обряды мы проходили с ним по нашему «Краткому наставлению» и твердо знали, что верующие во время причастия вкушают тело Христово и пьют кровь Христову. А тело и кровь Христовы, знали мы, готовит сам отец Петр во время службы из особого хлеба, который выпекает комская просвирня Фуфаева, и из особого церковного вина, которое называется кагор. А потом, мы ведь каждое воскресенье наблюдали обряд причастия во время службы, сопровождали его своим песнопением, так что досконально знали, как нам надо будет вести себя во время этого священного таинства.

Сложнее дело обстояло с обрядом исповеди. Тут отец дьякон не ограничился простым объяснением таинства покаяния, во время которого, как и в других священных обрядах, через видимые знаки и действия служителей церкви верующим будто бы невидимо передается божия

благодать. Тут отец дьякон нашел нужным выучить нас тому, как мы должны будем вести себя при совершении обряда.

Для этого он заставлял нас на своих уроках много раз подходить к нему под благословение, целовать ему руку, опускаться перед ним на колени и смиренно удаляться после отпускной молитвы как бы домой.

На пятой неделе великого поста мы всей школой стали каждый день и утром, и вечером ходить в церковь. А в субботу всех нас оставили после обедни в церкви на исповедь. Сказать по правде, все мы, каждый по-своему, боялись этой исповеди, так как хорошо знали, что во время этого обряда должны будем предстать перед лицом самого господа, о котором отец дьякон приучил нас думать со страхом и трепетом. Что господь бог добр и многомилостив, говорил он редко, как бы между прочим. А о боге карающем он твердил нам каждый день. Так что мы приучились, с его слов, думать только о грозном, сердитом боге, который почему-то всегда недоволен нами и всегда готов обрушить на нас свою карающую десницу. И кто знает, как он еще примет во время исповеди наше покаяние. Тут хоть кого возьмет страх и разные сомнения.

Когда народ отвалил после службы из церкви, отец Петр велел ученикам первых трех классов подойти к амвону и встать там на колени. Потом он быстро спросил их, в чем они согрешили перед господом, и тут же прочитал им отпускную молитву. «Теперь он таким же манером сразу опросит нас,— решили мы,— и тоже отпустит домой. И никаких страхов с одиночной исповедью». Но, вопреки нашим ожиданиям, отец Петр решил почему-то исповедовать нас поодиночке и велел нам перейти обратно на наше место у правого клироса. Сказал это и ушел вместе с отцом дьяконом в алтарь.

Тем временем церковь совсем опустела, и трапезники — так называют у нас церковных сторожей — потушили все светильники и лампады перед образами. И тогда все святые на иконостасе и на других иконах как бы застыли, погрузившись в какие-то таинственные думы о жизни вечной. Только на правом клиросе слабо теплилась одна лампада.

Спустя некоторое время отец Петр в сопровождении отца дьякона вышел из алтаря. Он был теперь не в черной ризе, в которой только что справлял великопостную службу, а в темном стихаре, на который была надета кра-

сивая епитрахиль. На епитрахили виднелся большой нагрудный серебряный крест. Отец дьякон был в обычном подряснике.

Отец Петр внимательно посмотрел на нас с амвона и сделал знак отцу дьякону, чтобы он затеплил большую лампаду перед архангелом Михаилом. И как только отец дьякон возжег эту лампаду, архангел Михаил, бывший до того в затемнении, сразу же как бы ожил и обратил свой строгий взор и угрожающий жест прямо на нас, так как никого, кроме нас, в церкви уже не было. А отец Петр и отец дьякон прошли после этого на клирос.

Теперь нам стало ясно, что сейчас начнется обряд исповеди и мы должны будем дать отчет господу богу о своей жизни. Мы скромно стояли на своем месте возле плащаницы с изображением положения во гроб Христа и шепотом договаривались о том, кому первым из нас надлежит пойти на клирос к отцу Петру. Но этот вопрос разрешился у нас как-то сам собой, так как Генка Толоконников сам вызвался пойти туда первым.

И действительно, как только отец дьякон показался на амвоне и сделал нам знак рукой, он сорвался с места и опрометью бросился на клирос. Бросился и попал прямо в лапы отца дьякона. Тот схватил его за руку и поволок обратно к нам. Здесь он грубо поставил его на колени и спросил нас:

— Кто следующий?

— Я следующий,— сказал Васька Чернов и высунулся вперед.

— Помнишь, как надо идти на исповедь?

— Помню, отец дьякон,— ответил Васька.

— Тогда давай,— произнес отец дьякон и подтолкнул Ваську вперед. Тут Васька низко склонил голову, опустил вниз руки и с покаянным видом пошел на клирос. Он медленно вступил на амвон, осторожно прошел мимо архангела Михаила и скрылся на клиросе.

— Вот как надо ходить на исповедь,— наставительно, ни к кому не обращаясь, сказал отец дьякон и стал стыдить Генку за то, что он нехорошо ведет себя в храме божием.

— Простите, отец дьякон,— стал оправдываться Генка.— Я думал...

— Ничего ты не думал,— сердито перебил его отец дьякон.— Стой теперь на коленях да отбивай земные поклоны.

Пока у нас тянулась эта канитель, Васька Чернов исповедался у отца Петра и направился к выходу из церкви. Шел он низко склонив голову и опустив руки. Точь-в-точь так, как шел на исповедь, обремененный своими грехами.

Тут отец дьякон даже плюнул с досады.

— Толоконников!..— сердито спросил он Генку.— Как идет Чернов после обряда исповеди?

— Он неправильно идет, отец дьякон,— уверенно ответил Генка.

— Почему неправильно?

— Он получил на исповеди полное отпущение грехов. Ему надо радоваться этому, а он идет с печальным видом, как будто недоволен священным обрядом покаяния.

— Очень хорошо ответил, Толоконников. Молодец! Теперь вставай и иди к отцу Петру. Да не спеши, не торопись.

После Толоконникова по команде отца дьякона на исповедь пошли сначала наши девчонки — Анка и Шимка,— потом Алешка Баранов. Все они поднимались на амвон и проходили на клирос к отцу Петру со смиренным видом, а потом радостные и довольные, не подходя к нам, уходили домой. Глядя на них, отец дьякон окончательно уверился в том, что ему нечего здесь за нас беспокоиться, и, прочитав нам на всякий случай еще одно наставление, тоже отбыл домой. Теперь на очереди остались только мы — кульчекские — Исаак Шевелев, Мишка Обеднин и я, да еще комский ученик Агап Кириллов. Но Агап Кириллов был у нас не в счет. Мы заранее знали, что он ни за что не пойдет раньше нас. Если Генка Толоконников во все лезет первым, то Агап, наоборот, старается ни с чем не высовываться и всегда норовит быть последним. Такой уж у него характер.

Наконец на амвоне показался Алешка Баранов. На лице его сияла довольная улыбка, как будто он только что слопал у своей мамоньки большую тарелку блинов со сметаной.

Затем и я поднялся на амвон, прошел мимо архангела Михаила и вступил в полутемный клирос. Отец Петр сидел здесь в углу на стуле. Я опустился перед ним на колени, а он накрыл меня своей епитрахилью, возложил руку на мою голову и стал выспрашивать:

— Был ли послушен отцу и матери?
— Не смеялся ли над дряхлыми стариками?
— Не ел ли в постные дни скоромное?

— Не ругался ли нехорошими словами?
— Не дрался ли со своими сверстниками?
— Не осуждал ли добрых людей?
— Не лазал ли в чужие огороды?
— Не курил ли табак?
— Не баловался ли выпивкой?
— Не брал ли чужие вещи без спросу?

. . . .

. . . .

И так далее. Все в таком роде. И хотя я все время был послушен родителям, и не ругался нехорошими словами, и не курил, и не лазал в чужие огороды — но все равно на все эти вопросы, как наставлял нас отец дьякон, смиренно отвечал: «Грешен, батюшка...»

Я нисколько не ощущал особой таинственности обряда покаяния и не чувствовал невидимого присутствия возле нас бога. И хотя священническая длань отца Петра покоилась на моей голове, но ничего таинственного в этом для меня не было. А когда он кончил меня допрашивать, тут я сразу понял, что в обряде покаяния наступил самый важный момент и что уже не отец Петр, а кто-то большой и невидимый стоит надо мной, чтобы в подходящий момент поразить меня невидимым ударом, и тогда я, как это было со мной в обмороке от угара, медленно, не ощущая ни рук, ни ног своих, поплыву куда-то в звенящем тумане, пока не накроет меня черной пеленой. Тут я от страха весь сжался в комок и на всякий случай изо всех сил уперся руками в землю.

Но милосердный бог не обнаружил во время моей исповеди никаких видимых и невидимых знаков недовольства, и я благополучно выдержал этот обряд.

С высоты амвона я посмотрел на Мишку Обеднина, на Исаака Шевелева и на Агапа Кириллова. Мишка уже приготовился идти на клирос к отцу Петру и ждал, когда я спущусь с амвона и уступлю ему дорогу. Исаак Шевелев был тоже наготове, а Агап Кириллов оставался возле иконы с изображением конца света и рассматривал, как мертвые по трубному гласу ангелов поднимаются из своих могил, чтобы предстать на Страшный суд божий.

Я понимал, что Мишка, Исаак и Агап тоже трусят идти к отцу Петру, и смотрел на них теперь с чувством злорадного превосходства. А потом довольно равнодушно прошел к выходу.

А дома у тетки Орины была тишь и благодать. На

дворе уж потеплело, и Егорка с Максюткой пропадали где-то на улице, а Наташка спокойно спала в зыбке. Дядя Егор с теткой и с Санькой с утра ушли на гумно. Бабушка Апросинья налила мне хлебальную чашку щей и выставила целую сковородку жареной рыбы. Когда я завел разговор о том, что должен воздерживаться сегодня от еды, так как должен пойти завтра к святому причастию, она только махнула рукой и сказала, что одно другому не мешает. Если завтра причастие, то завтра и иди натощак в церковь, а сегодня надо спокойно пообедать и вечером поесть как следует, чтобы завтра выдюжить без еды и заутреню, и обедню.

На следующий день вся школа, как всегда, под наблюдением Таисии Герасимовны и Александры Ивановны выстроилась в церкви на своем обычном месте у правого клироса. Все ребята были одеты по-праздничному. Даже Сережка Кузнечонок, Колька Панкрашкин и Мишка Анашкин держались на этот раз хорошо, никого не толкали и не задирали. Сначала причастились учителя, потом мы. А после обедни все разошлись по домам. С завтрашнего дня нам надо будет снова впрягаться в школьную работу, зубрить закон божий, решать задачи по арифметике, готовить уроки по истории, по русскому и церковнославянскому языкам.

С первого дня поступления в Комское училище я стал интересоваться книгами для домашнего чтения и узнал, что здесь имеется особая школьная библиотека. И ведает этой библиотекой учительница начальной школы Таисия Герасимовна.

Один раз, после уроков, когда все комские ученики разошлись по домам, а Таисия Герасимовна осталась одна в своем классе, я подошел к ней и объяснил, что отец Петр и отец дьякон наказали нам, ученикам двухклассного училища, заниматься чтением назидательных книг и что я пришел узнать, можно ли мне получить на дом из школьной библиотеки такую книгу.

Таисия Герасимовна нисколько не удивилась моей просьбе и стала расспрашивать меня, где я учился до приезда в Кому и что читал там у себя в школе.

Ну, я стал рассказывать ей, какие повести, рассказы и приключения на суше и на море давал нам читать Павел Константинович в кульчекской школе.

Пока я все это обсказывал, Таисия Гераснмовна ие торопясь открыла свой шкаф и стала перебирать в ием книжки. Кинжный шкаф был вроде иашего кульчекского. Тоже двухъярусиый, со стекляиными створками вверху. Только у нас шкаф был хороший, выкрашенный свежей краской, а здесь какой-то обшарпанный. Вндать, он уж много лет стонт в школе н снльно облупнлся. И кннг в нем было мало. Только две ннжнне полкн во втором ярусе. А третья полка была почтн совсем пустая. Ннжняя половнна шкафа была наглухо закрыта. Она была забита, как я потом узнал, учебниками.

Таисия Герасимовиа похвалила меня за то, что я много перечнтал в Кульчеке хороших кннг, н в заключение сказала, что у ннх в Коме школьная библнотека пока еще очень бедная. И по колнчеству, н по подбору кииг. И что у нее нмеются книги пренмущественно религиозно-нравственного содержания.

Она порылась в своем шкафу н вручила мие толстую книгу под иазванием «Уроки из жнзни святых», составленную священником Петром Шумовым для чтения в храме, в семье н школе. Книга была снльно нстрепана, и я сразу решил, что она очень нитересиая.

Я узнал, что праведники любилн жить в уеднненин, в днких лесах, илн в пустынях, нли в каких-нибудь горных пещерах, чтобы ннкто не мешал им спасаться. Там в однночестве изнурялн они свою плоть строгим постом н пламенной молитвой. Разные зверн н птнцы собиралнсь к кельям таких праведннков, но не смели прерывать нх молитв и смиренно ожидали выхода к инм праведннков. А святые благословлялн нх, возлагалн на ннх руки, больным нз ннх давалн исцеление. Многие святые ходнли странникамн по разным святым местам, а потом самн поступали в монастырн и удньлялн там всю братню свонм строгим подвнжннчеством.

Чнтая об этом, я почему-то мало думал об нх уединенной н праведной жнзнн, а больше вспоминал наших богомольных мужнков, которые, подобно этнм святым, тоже хотели спасаться в однночестве. В Черной Коме постронл себе келью за деревней наш дальннй родственник — дедушко Парамон. А в Коме, недалеко от церквн, на отлете от села, соорудил себе избушечку с одним оконцем комскнй старнк Варсанофий Кнрнллов. Мы всем классом ходили смотреть нзбушечку, в которой он спасался, но не нспытывалн к нему почему-то никакого

почтения. Комские мужики тоже не оказывали ему особенного уважения. В народе у нас почему-то не любят богомольных мужиков, относятся к ним с насмешкой, считают их лодырями, отлынивающими от тяжелой мужицкой работы.

Вообще-то говоря, народ у нас верующий. Но верующий как-то по-особому. Пожалуй, больше по привычке. Церковь в Коме огромная и всегда почти пустует. А зайди к кому-нибудь в дом и не перекрестись на образа, выгонят, да, чего доброго, еще накостыляют по шее.

Ребятишек крестят. Окрестят ребеночка, а потом забывают, что он, когда подрастет, должен посещать церковь, выполнять святые обряды. Так он и растет, пока не подойдет время жениться. Обвенчается в церкви и опять забывает, что должен посещать храм божий, молиться там о спасении своей души. И вспоминает об этом уж на старости лет, когда нужно собираться на тот свет. Ну, тут человек наконец начинает думать о жизни вечной и на всякий случай посещает церковь.

Как и в каждой деревне, у нас имеются богомольные мужики, которые любят спасаться, ездят в Кому к пасхальной заутрене и всегда трутся около батюшки во время его приезда в деревню. Но таких людей у нас мало. Кузьма Точилков, дядя Илья, тетка Хивонья. Вот, пожалуй, и все.

Бывают, конечно, в этом и свои непонятные случаи, когда совсем не богомольный мужик, как наш дядя Иван, вдруг ни с того ни с сего поехал в Иркутск на поклонение мощам святителя Иннокентия. И даже Варивоху взял с собой. Как они там спасались, как поклонялись мощам святителя Иннокентия, дядя по приезде не рассказывал. А Варивоха больше говорил о том, как они ехали пароходом до Красноярска, а оттуда в Иркутск по железной дороге. Рассказывал он об этом с таким жаром, что мне сразу захотелось хоть раз поехать куда-нибудь на пароходе и по железной дороге.

Чтение религиозно-нравственной литературы не научило меня вдохновляться жизнью и религиозными подвигами святых праведников, как того хотели отец Петр и отец дьякон. Наоборот, оно поселило во мне какое-то равнодушие ко всем святым. По мере знакомства с «Уроками из жизни святых», составленными отцом Петром Шумовым, я стал замечать, что все святые сильно похожи друг на друга. Поначалу я еще как-то различал их, а потом все

они слились у меня в какую-то серую массу, в которой я с трудом различал только святителя Николая Чудотворца да великомученика Георгия Победоносца. Святитель изображался в парадном облачении митрополита и выглядел почему-то очень сердитым, а святой Георгий был закован в латы, восседал на боевом коне и поражал копьем страшного змия.

Из сотен описаний жизни святых праведников, с которыми я познакомился по прочитанным книгам, ни один не стал для меня дорогим и близким, которого я полюбил бы, перед которым бы преклонялся, которому хотел бы подражать в своей жизни.

А потом как-то незаметно получилось так, что я не с должным почтением стал относиться к мученическим подвигам святых. Читаешь, как язычники истязали на разные лады того или иного святого, и заранее знаешь, что все эти страсти святому нипочем. Он, конечно, страдал от этих мучений, но страдал с гордостью и вроде как бы даже с удовольствием. И только славил за это господа. А потом чудесно исцелялся от полученных ран и увечий и снова с радостью шел на новые мучения. Так что язычники в конце концов уставали с ним возиться и предавали его смертной казни.

Тут я первое время ожидал от великомучеников каких-нибудь новых чудес и необыкновенных подвигов и никак не мог уразуметь, почему во время казни с ними не происходило этих чудес. В самом деле, переносит святой немыслимые мучения, исцеляет силой божьей от невиданных болезней и творит неслыханные чудеса, а как дело доходит до казни, то, вместо того чтобы сотворить какое-нибудь новое чудо, посрамить язычников, спасти себя, чтобы делать добрые дела, исцелять больных, воскрешать мертвых, укреплять истинную веру, он с великой охотой идет на эту казнь. И язычники спокойно отрубают ему голову. То ли этому святому хочется скорее попасть в царствие небесное, или против меча и топора бессильна была сила божия.

В общем, к концу года я потерял всякий интерес к чтению религиозно-нравственной литературы, хоть это и не поколебало моей тяги к торжественному, красивому строю церковной службы. Но мне и в голову не приходило теперь заняться поисками новых жизнеописаний правед-

ников и тем более, в подражание им, целиком посвятить себя молитве, посту и спасению своей души. А вот тяга к чтению интересных повестей и рассказов, разных приключений на суше и на море, к которому приучил нас Павел Константинович, осталась. Я мечтал о таких книгах, жаждал их читать, искал их через своих товарищей и, если что-нибудь находил, с жадностью поглощал. Но в Комской школе таких книг не было, а через ребят мне попадали в руки такие книжицы, как «Шерлок Холмс», «Пещера Лейцхвейса», «Элеонора — мстительница женщин» и все такое. Я понимал, что эти книги плохие по сравнению с теми, которые выдавал нам для чтения Павел Константинович. Но все же они казались мне интереснее «Уроков из жизни святых». Читал я эти книжки, а сам думал о том, какая хорошая школа была у нас в Кульчеке и какой хороший учитель был наш Павел Константинович.

Глава 12
У МАЛАХОВЫХ

На следующий год меня переселили от тетки Орины к тетке Татьяне. Тетка Татьяна была мамина сестра и была замужем за дядей Яковом Малаховым. Семья у Малаховых была небольшая. Дядя Яков с теткой Татьяной. Потом еще дедушко с бабушкой.

И хоть родня они были нам очень близкая, но при наездах в Кому мы никогда к ним не заезжали и в гости к ним не ходили. И встречалась мама с теткой Татьяной как бы крадучись, в переулке, который идет мимо их дома. Встретятся в этом переулке и говорят о чем-то. И все с опаской, чтобы их кто-нибудь не увидел. Тетка Татьяна даже в переулок не выходила, а говорила с мамой через забор. Поговорят так, поплачут и разойдутся. Мы с мамой пойдем к тетке Орине, а тетка Татьяна в свой дом.

Я по малолетству не понимал еще, кого они боятся. А когда подрос, то узнал, что дядя Яков бьет тетку Татьяну, таскает ее за косы по полу. Но последнее время он, видать, вошел в ум — и жизнь у них наладилась. Они решили даже взять меня к себе на жительство, пока я буду учиться во втором классе.

И вот мы приехали теперь прямо к ним. На дворе никто нас не встретил. Дяди Якова с теткой Татьяной дома, видать, не было. Но отец как ни в чем не бывало стал распрягать Гнедка, а меня послал в избу.

А мне одному идти в дом к ним не хотелось. Я уже знал, что дедушко у них человек нехороший и что это он со своей бабушкой загубили жизнь тетки Татьяны. И встречаться мне с ними было как-то боязно. Поэтому я вошел в избу довольно-таки робко.

Дедушко сидел в это время за столом под образами. Он осторожно колол ножом спички — делал из одной спички две — и не ответил на мое «здравствуйте». А бабушка возилась в кути по хозяйству и сердито буркнула: «Раздевайся, раз приехал».

Я не торопясь снял шабур, свернул его калачиком и осторожно положил на скамейку около кровати. А шапку и опояску повесил на гвоздик у дверей. Потом уселся на лавку и осмотрелся.

Изба как изба, с дверью в горницу. Дверь эта почему-то была наглухо заколочена. Дедушко сидел за столом и продолжал колоть свои спички. Он был невысокого роста, с седыми волосами, с небольшой белой бородой и с какими-то колючими глазами. Спички иной раз под ножом у него ломались, или с них отставала горючая сера. И тогда он начинал ругаться. Ругался он негромко, но с каким-то шипящим присвистом, зло и сердито. Ругал он бабушку за то, что она вместо печурки положила коробок со спичками на окошко. И спички на окошке отсырели, и теперь плохо колются, и горючая сера с них отваливается. А некоторые спички от сырости просто ломаются. Не успеешь ее в руки взять, а она уж переломилась. Из-за этого несколько спичек пришлось выбросить. Профукаешься так на одних спичках...

Ну а бабушка, конечно, оправдывалась, говорила, что коробок с серянками, как всегда, лежал в печурке и что дедушко придумывает, что она положила его на окошко.

Эти возражения так расстроили дедушку, что он стал прямо задыхаться и кричать, что все в доме лодыри и что без него все хозяйство идет теперь прахом. Потом сердито затолкал свои наколотые спички в коробок, тяжело встал из-за стола и, кряхтя, полез на печку.

Через некоторое время в дом пришел отец. Он уважительно величал дедушку и бабушку сватом и сватьюшкой, но разговор у них как-то не клеился. Дедушко не расспра-

шивал его ни об урожае, ни о сенокосе и сам ему ничего не рассказывал. А бабушка то спускалась за чем-то в подполье, то выходила в сени по своим делам. Но помаленьку она все-таки разговорилась и стала жаловаться отцу на свое здоровье. И самой плохо, все болит и ноет, и за стариком надо ходить, да еще воспитывать его, так как он последнее время все стал путать да забывать.

Тем временем откуда-то с работы явились дядя Яков с теткой Татьяной. Дядю Якова я видел первый раз. Я ожидал увидеть злого, шипучего мужика, похожего на их дедушку. А дядя Яков оказался очень веселым и приветливым. Он сразу завел со мной ласковый разговор, сказал, что они с теткой Татьяной рады моему приезду, что им будет со мной веселее, а мне у них легко и вольготно. Дедушко теперь у них весь день лежит на печке и к хозяйству, слава богу, касательства не имеет, а бабушка с утра до ночи занята по домашности.

Я слушал дядю Якова и никак не мог понять, почему он бил и тиранил тетку Татьяну. Я никогда не поверил бы этому, глядя на то, как он уважительно теперь с нею обходится.

Когда мы садились за стол чаевать, дядя Яков даже не позвал дедушку с печки. И тот за весь вечер ни с кем из нас не обмолвился ни одним словом. Он только изредка кряхтел там и разговаривал сам с собой. И есть ему бабушка подавала прямо на печку.

За чаем я прислушивался к разговору отца с дядей Яковом и теткой Татьяной, а сам думал о том, какие у них должны были быть в этом доме ссоры да раздоры. Потом я стал припоминать драчливых мужиков в нашем Кульчеке. Народ у нас там ведь тоже разный. Одни мужики хорошие, веселые, балагуры, вроде Ивана Мартыновича. Работают, как все, по-каторжному, болеют от надсады, но живут без драк, без ссор, без крика, без ругани. Взять, к примеру, наших Ларивоновых или Осиповых. У дедушки Ларивона с бабушкой Улитой четыре сына. И все богатыри. Дядя Егор и дядя Ефим служили в гвардии. Младшего Илью тоже возьмут в гвардию, потому что и сейчас он и ростом выше, и лицом красавец. Дядя Лаврентий, дядя Егор и дядя Ефим уже поженились. У дяди Лаврентия уж дети пошли. А все живут под одной крышей. И живут без шума, без гама, без ссор, без драк.

И всей семьей верховодит бабушка Улита. И так верховоднт, что ннкто и пикнуть не смеет. Все под ее комаиду, вместе с дедушком Ларивоном, пляшут.

Или, к примеру, взять Осиповых. Тоже семья большая. Стариков уж нет, и над всемн командует старшнй брат. И ростом, н силенкой бог его не обидел, а характер такой, что злого слова от него никто не слышал. И в семье порядок держит.

Теперь возьмнте наших Бузуновых. Жили в отцовском доме, чуть не каждый деиь дралнсь. Наконец старший выделился. Теперь жить бы тихо да спокойно. Так нет же. По-прежнему ссорятся и дерутся. Нынче весной Евлантий пашет в Погорелке. Вдруг подъезжает к иему верхом Никифор и начинает крестить его на чем свет стоит. «Отвяжись, худа жнсть,— уговарнвает его Евлаитий.— Не мешай пахать!» А тот как прилип. Ездит за ним по борозде и честит его. И в душу, и в сердце, и в печенки, и в селезенки. Да еще палкой иоровит огреть. Терпел, терпел Евлантий и тоже начал огрызаться. А потом ие на шутку рассердился и бросился на него. А тому верхом-то что. Сразу же скоком в сторону. Разве догоиишь пешком кониого. Плюнул ему Евлантий вслед и берется за соху. А Никишка опять тут как тут. Прнлип н иаскакивает драться. Тут Евлантию, хочешь не хочешь, прнходится начннать драку. Он отстегнул нз сохи пристяжную, схватнл на меже стяжок н за ннм. Гонялся, гонялся за ннм, иа днво всем соседям на пашне, иаконец догнал его, сшиб с лошади, н началась у них тут потасовка. Соседи хоть н привыкли к тому, что Бузуновы вечно дерутся, но на этот раз решили, что дело может кончнться худо. Разнялн нх. Кое-как уговорилн Евлантия ехать на свою пашню, а Ннкншку пристращали каталажкой и отправили в деревию.

Нынче, уж после страды, сидел как-то Никишка вечером у Лазаревых. Сидит и все что-то скребется да корежится. «Чего это тебя сегодня, Никифор, всего перекосило? На месте сидеть не можешь?» — спрашнвает его старик Лазарев. «Ой! — отвечает Ннкишка.— Мочеиькн моей нет. Драться хочется». Сидел, сидел так, вертелся да корежился, а потом пошел домой. Через некоторое время на улице крик: «Караул!!! Убивают!» Тут Лазаревы выскакивают из дома н видят: Гришка Щетинков сндит верхом на Никншке н лупит его по чем нн попало. Искровенил уж всего. А Ннкишка уж н караул кричать не может, мычит только да захлебывается. «За что ты его, Гриша, бьешь? —

спрашивают Лазаревы Щетинкова.— Что у вас тута-ка приключнлось?» — «А я почем знаю,— отвечает Григорий Щетинков.— Лезет человек с кулаками, и баста. Я ему говорю: отстань, не балуй! Худо будет! А он все свое. За ворот схватил и норовит в зубы. Ну, я вижу, подобру от него не отвяжешься, и дал ему как следует. Он отлетел в сторону и хватается за кол. Ну, я вышиб у него этот кол и вот вправляю ему мозги».— «Ты чего же, не знаешь, что он у нас заполошный?» — говорит старик Лазарев. «Мне что же, хребет ему подставлять, что ли, если он заполошный? Чтобы он, значит, шкнлет мне переломал? Ведь с колом наскакивает человек».— «Плюнь ты на него, Григорий. Видишь, парень не в себе».— «Если не в себе, то пускай головой об стенку бьется, чем на людей бросаться... А впрочем, пусть идет домой, пока я из него все потроха не вытряс». Тут Григорий Щетинков схватил Никишку за вороток, вздернул его на ногн, встряхнул несколько раз и отправился домой. «Ну, как, Никифор, не отбило у тебя охоты еще с кем-нибудь подраться?» — спрашивают Лазаревы Бузунова. А он уж очухался немного и начал честить на всю улицу Григория Щетинкова. И такой-то он, и разэтакий, туды его и перетуды. И что он ему сегодняшний день еще припомнит. И так припомнит, что он на всю жизнь это не забудет.

И дома, говорят, Никифор все время безобразничает. Бабу свою бьет. Ребятишек тиранит. А если никого под руку не подвернется, то начинает учить свою скотину. Лупил, лупил так свою жеребую кобылешку, она и скинула. Принесла ему мертвого жеребеночка.

Все это мне припомнилось, глядя на дедушку Малахова. Неужели он был такой же заполошный: бил бабушку, учил перетягой дядю Якова, когда тот был мальчонкой, а потом сживал со свету тетку Татьяну? А может, он просто злой человек с вредным характером. У нас ведь бывают такие, которые изводят своих жен побоями, а детей своих начинают лупить с малых лет. Родится у такого мужика парнишка, вот он и начинает учить его. Сначала подзатыльниками, потом опояской. После опояски берется за перетягу. За всякую провинку норовит ткнуть в зубы. А тот все терпит. В малые годы плачет горькими слезами. Постарше станет — ревет и хнычет. Потом начинает огрызаться, затем ругаться, вроде как бы с ровней. И вот приходит такое времечко, когда этот сынок, которого тятенька величал поначалу сосунком, потом пащенком, а по-

следнее время именует кобелем и варнаком, дает папаше полную сдачу, от которой папаша летит кубарем в сторону.

С этого дня тятенька уж боится вразумлять сынка зуботычинами и воспитывает его, главным образом, отборной руганью. И так как тятенька пока еще в силе, то и ругань получается у него очень грозная и оглушительная. Таким манером он вразумляет своего кобеля и варнака еще несколько лет. Тем временем этот кобель сам становится женатым мужиком, потом делается отцом и начинает, по примеру роднмого тятеньки, бить смертным боем свою жену и походя давать зуботычины своим детушкам. И теперь он только терпит поучения своего папаши, который стал уже дряхлым стариком, но все еще помогает немного по хозяйству. Но вот приходит такое времечко, когда на очередную ругань папаши он отвечает такой отборной бранью, что до того наконец доходит, что его песня в семье уже спетая, что подошли годочки, когда приходится не только рукам, но и языку воли не давать, а расстраиваться уж молча, ругаться уж про себя, самому с собой. И тогда такой дедушко только шипит да жалит: «То не сделали... Это недосмотрели... Коня потного напоили... Телегу под навес не подкатили...» Так он и шипит теперь походя с утра до ночи. Только с внучатами, если они у него есть, и отводит душу — дерет их, когда надо и не надо. А если внучат нет, то остается расстраиваться молча да сокрушаться, что все хозяйство без его присмотра идет прахом.

Дядя Яков мне очень понравился своей приветливостью. С отцом у него сразу завелся живой разговор, конечно, об урожае, о сенокосе, о том, какова предвидится осень, какой будет умолот и все такое.

Бабушка тоже села с нами чаевать, но о сенокосе и об урожае с отцом не говорила, а все плакалась ему на свое здоровье. Ночью ее душит кашель, в ногах судороги и ломота, а днем с самого утра какое-то головокружение. Все плывет как в тумане. И поясница болит. Мочи нет. Приходится все время прогреваться на печке.

От этих жалоб и разговоров о своем здоровье у бабушки началось какое-то колотье в боку и что-то стало подкатываться под ложечку. И она, не допив свою чашку с чаем, полезла на печку прогреваться. А дядя Яков пошел

спустить нашего Гнедка и подбросить сена своим коняшкам.

После их ухода у нас за столом сразу стало как-то свободнее. Тетка Татьяна прямо сияла, что меня привезли к ним на всю зиму. Она расспрашивала нас о маме, о Чуне, о Кононе. Потом стала упрашивать отца непременно заезжать теперь к ним, так как старики, слава богу, болеют и жить стало немного вольготнее. «Сам-то, видите, все время лежит на печке. А она все еще хорохорится. Но прежнего пару-то уж не стало. Повыдохлась. Поерепенится с утра немного да и на бок. Это сегодня она что-то разошлась. Видать, с вашим приездом. Ну, завтра, значит, будет лежать весь день».

Теперь я на весь год остался у Малаховых. Но жить мне у них первое время оказалось трудно. Тетка Татьяна всю осень была на заимке и препоручила меня дяде Якову. А тот каждый день с утра до поздней ночи был занят по домашности. Так что я оставался на весь день со стариками.

Дядя Яков наказал, конечно, бабушке кормить меня утром перед уходом в школу и днем после возвращения с занятий и ни в коем случае не гонять куда-нибудь по хозяйству. И бабушка кормила меня и утром, и днем, и вечером. Но все равно жить мне с ними без тетки Татьяны не нравилось.

При возвращении из школы я находил за столом дедушку. Перед ним по всему столу были разложены спички. В одном месте маленькой поленницей лежали спички наколотые, на другом — спички, которые следовало еще колоть. Потом отдельно лежали спички, сломавшиеся при колотье, и отдельно спички, с которых облупилась горючая сера. Даже пустой коробок от спичек занимал на столе особое место. Дедушко очень осторожно колол острым ножом каждую спичку надвое, и весь вид его говорил о том, что он находится в собственном доме, сидит за собственным столом и занят важным делом по домашности. И никто в этом деле ему не указ.

Потом он пересчитывал наколотые спички и осторожно укладывал их в коробок. И все время сердился на то, что кругом пошло одно мошенство. Раньше в коробке бывало до семидесяти спичек, а то и больше, а теперь от силы пятьдесят. И спички пошли какие-то ломкие, и горючая сера на них очень плохая.

Тем временем бабушка водружала ему на стол еду.

Теперь дедушко начинал пилить ее за то, что щи оказались пересоленными, каша недоваренной, сметана прогорклой, а в чайнике не чай, а какое-то пойло. Но все-таки за едой он немного успокаивался и начинал расспрашивать бабушку, куда сегодня уехал Яков по хозяйству и как у него обстоят дела с домашностью. Узнав, что крыша на гумне все еще не перекрыта, а каменка в риге не переложена, он начинал сильно ругаться и сокрушаться о том, что в доме нет настоящего распорядка и что ему теперь на старости лет легче в гроб ложиться, чем смотреть на то, как все им нажитое идет прахом.

После занятий в школе мне тоже хотелось есть, но я боялся садиться с дедушкой за стол. Да и бабушка кормила его всегда наособицу и меня к нему за стол не приглашала. А выходить из-за стола он не торопился.

Конечно, я мог бы все это время что-нибудь читать по своим учебникам или уйти к Миньке Обеднину, который квартировал у своей замужней сестры по соседству от нас. Но я не смел сесть за книгу и уйти к Миньке, так как понимал, что это не понравится и дедушке, и бабушке.

Наконец дедушко выходил из-за стола, очень долго молился перед образами и отправлялся на свою печку. Теперь бабушка наливала мне чашку щей, совала на стол сковороду с блинами и уходила в куть. А после того как я поем, она со стола ничего не убирала, а, наоборот, все расставляла к приезду дяди Якова. Так что стол оказывался опять занятым, и мне ничего не оставалось, как устраиваться со своими книгами и тетрадями к окошку. Конечно, читать и решать задачи можно было и у окна, но писать домашние задания тут было очень трудно.

Но бабушка не обращала на это внимания. Наоборот, ей очень нравилось, что я не лезу со своими книгами за стол и знаю в чужом доме свое место.

Спать вечером дедушко и бабушка ложились очень рано. Лампу из экономии керосина не зажигали. Вместе с ними и мне приходилось укладываться на полати и доделывать свои уроки уж утром, перед уходом в школу. Так продолжалось до тех пор, пока не вывалил большой снег и тетка Татьяна не приехала с заимки. Она сразу же решила все по-своему и усадила меня заниматься за столом.

Тут бабушка завела было разговор о том, что негоже сажать парня за стол с книгами да с тетрадями. Не для того стол поставлен в переднем углу под самыми образами,

чтобы на нем писать какие-то уроки. Зайдет кто из добрых людей или из родни кто приедет — посадить некуда будет. А уроки эти и у окошка можно делать. У окошка-то даже светлее.

Но тетка Татьяна твердо заявила бабушке, что с этих пор я буду заниматься непременно за столом. «А что касается добрых людей,— сказала она,— то за десять лет, которые я прожила у вас, я не видела в вашем доме ни одного доброго человека. Живем как байбаки, какими-то отлюдками. Из соседей никого калачом не заманишь, и родню всю отвадили».

Тут как раз приехал откуда-то с работы дядя Яков. Узнав, о чем ведется речь, он даже расстроился, что из-за своих забот по домашности не пристроил меня в доме как следует.

— Придешь из школы,— сказал он мне,— поешь, а потом располагайся за столом, читай и пиши, что надо. А темнеть начнет — сам зажигай лампу и спокойно занимайся, пока не ляжем спать. Что касается папани, то он может на полстоле управиться. Не велико дело спички колоть. Стол большой — места хватит. Самовар только после чая надо относить в куть.

Услышав такое, бабушка просто ахнула. Она и подумать не могла о том, что я буду один целый вечер сидеть за столом с семилинейной лампой. Тут и керосину не напасешься...

— Ты, маманя, мне не перечь...— рассердился дядя Яков на бабушку.— Слава богу, что в доме появился живой человек. Все-таки немного стало веселее. И насчет керосину не беспокойся. Керосин у нас есть. Еще с прошлого года бутыль стоит на тридцать фунтов неначатая.

Дальше бабушке спорить с дядей Яковом было уж не о чем, и она сердито замолчала. А потом, глядя на то, как я устраиваюсь за столом заниматься, да еще с семилинейной лампой, совсем расстроилась, перевязала голову платком с уксусом и легла на кровать под шубу.

С приездом тетки Татьяны с заимки мне стало жить у Малаховых совсем хорошо. Первое время я побаивался дедушки. Все думал, что он начнет прогонять меня из-за стола или еще что-нибудь. Но ему становилось все хуже и хуже. Наконец он совсем скопытился и перестал слезать с печки даже до ветра. А дядя Яков с утра до позд-

ней ночи был занят по хозяйству. Так что я мог теперь спокойно заниматься за столом.

Помогать по домашности Малаховым меня не принуждали. Редко когда попросят подбросить сена конишкам или принести дров со двора. Потом раза три за зиму я помогал им веять намолоченный на гумне хлеб. Но это разве работа. Крутить рукоятку веялки совсем не тяжело. Крутишь и наблюдаешь, как барабан равномерно качается в ней из стороны в сторону, как отвеянное зерно ссыпается по желобку на одну сторону, охвостье на другую, а мякина далеко за веялкой падает на землю. Но главное, мне было интересно слушать дядю Якова. Он любил за этой работой поговорить. Подает лопатой хлеб из вороха в веялку, а сам все что-нибудь рассказывает. Не про охоту и не про рыбалку, как у нас в Кульчеке. Дядя Яков, как и все комские мужики, не занимался ни охотой, ни рыболовством, а сидел в праздничные дни дома и что-нибудь шуровал по хозяйству или проводил время со своими соседями. Вот про соседей он мне больше и рассказывал, кто они, как живут и чем известны добрым людям.

Нефед Шабалин, мимо дома которого я каждый день ходил в школу, оказывается, славится на всю Кому обжорством. За обедом на поденщине у комского мужика Ерлыкова он на спор один выхлебал за обедом большой котелок щей и съел целую ковригу хлеба. А потом свалился под телегу. Не может ни охнуть, ни вздохнуть. Тут все решили, что на этот раз Шабалину не миновать беды и он, чего доброго, может окочуриться. Сам Ерлыков здорово перепугался. Случись что, еще отвечать придется. И тут кто-то надоумил посадить Шабалина на телегу и возить его на болоте по кочкам. Шабалину это было, конечно, невтерпеж. Его свело в три погибели. Он охал, плакал, упрашивал Ерлыкова оставить его в покое, а то он от этой тряски по кочкам может отдать душу богу. Но Ерлыков только подстегивал коня, пока не вытряс из Нефеда все съеденное. А при расчете за работу Шабалин потребовал от Ерлыкова полную поденную плату — пятьдесят копеек. И сам полдня не работал, и хозяина оторвал от работы, и перепугал всех с этим делом, а деньги требует сполна. И на Ерлыкова же под конец взбеленился. У тебя, говорит, хлеб был непропеченный. Я, говорит, в волостной суд могу на тебя пожаловаться за такое дело. Вот какие люди бывают.

А у Кузьмы Варсанофьевича, который живет со своей

старухой напротив Малаховых, оказывается, есть дочь. Сейчас она живет в Глядене, а в молодые годы, вроде нашей тетки Парасковьи, убежала из дому с одним цыганом. Но только тот цыган был не приезжий, а свой — комский и жил у них в работниках. И тоже был красавец, и песельник, и на гармошке хорошо играл. Звали его Федей, по прозвищу Барабаш. И вот этот Федя увел Онисью в свой табор. И Кузьме Варсанофьевичу скрепя сердце пришлось соглашаться на их венчание. Но в дом к себе он их не пустил. После этого Онисья стала жить со своим Федей в таборе и сама сделалась цыганкой. Она научилась петь и плясать по-цыгански и вместе с другими цыганками ходила по Коме и просила милостыню. А потом этот Федя Барабаш отчего-то умер, и Онисья вернулась к своим старикам с маленьким цыганеночком. Они не прочь были взять себе в дом нового зятя, но Онисья жить с ними теперь не захотела. Всё винила их за смерть своего Феденьки. Пожила у них недолго и ушла замуж в Гляден за одного вдовца. Хороший мужик оказался. Живут не богато, но в достатке. И, главное, в полном согласии.

О ком бы из соседей речь ни заводил дядя Яков, разговор как-то сам собой переходил у него на Ондреяна Кириллова, с которым они жили рядом. Ондреян славился на всю Кому необыкновенной ленью. И сам не любил работать, и семья у него была такая же, на его образец.

— Вчера встречаю в переулке его Митьку,— рассказывал дядя Яков.— Поехал на своем Игреньке в Симистюль за дровами. Хомут без шлеи, гужи веревочные, перетяга с узлами. Все кое-как, на живую нитку. Сани, того и гляди, на ходу рассыплются. Смотреть тошно. Веревка на санях не замотана, волочится по снегу. «Подвяжи,— говорю,— веревку-то, обалдуй ты этакий!» А ему хоть бы что. Уставился на меня своими глазищами да и гогочет: «Чего,— говорит,— ее подвязывать. Приеду к дровам — все равно придется ее там развязывать». Так и поехал дальше. Да еще песню запел, сукин сын. А приедет домой с дровами, уму непостижимо, что делает. Поставит своего Игренька в санях с крежником у самого крыльца и уйдет в избу отогреваться. Уйдет и забудет и про дрова, и про своего Игреньку... А Игренька ждет у крыльца, когда хозяева его выпрягут. Ждет, ждет, а потом сам начинает распрягаться. Мотает головой, пятится да корежится в оглоблях и, глядишь, вытащит как-то голову из хомута. В об-

щем, сам выпряжется да и уйдет в стаю. Только вожжи за ним волочатся.

Тем временем Митрей отогреется, напьется чаю и выходит выпрягать своего Игреньку. А Игренька давно уж в стае. А хомут и дуга валяются в снегу прямо в оглоблях. Так что бы ты думал? Вожжи у коня он, конечно, отвяжет, седелко с него снимет, а хомут и дугу, подлец, с земли не подберет. Вот какой лодырь.

И девки, понимаешь, у него такие же. Семь дочерей наплодил. Одна другой крепче да здоровее. А только жрать да песни петь. Песельницы они дивствительно хорошие. Ничего не скажешь. Других таких в Коме, пожалуй, не найдется. А по домашности — не везут, не тянут.

Потом дядя Яков начинал рассказ про самого Ондреяна, или, как его в Коме зовут, Ряна Кириллова. Если Митька у него не подберет хомут с Игренька, не подвяжет на санях веревку, не поднимет с земли брошенную дугу, то и сам Ондреян этого тоже ни в жисть не сделает. Будет перешагивать и через хомут, и через дугу, а не нагнется, не подберет.

И то ведь удивительно, что на работу он и проворен, и сноровист. Жать насупротив него в Коме, пожалуй, никому не устоять. Любит по помочам ходить к богатым мужикам, так как на помочах, известно, хорошее угощение. Но всегда просит хозяина отвести ему для жнитья особую деляну. Выжнет ее раньше всех, серп на плечо и до дому. А вечером является к хозяину на гулянку. Старательному бы мужику да такая ловкость и проворство. Да он горы своротил бы. И хозяйство у него было бы в порядке, и от людей, значит, почет и уваженье. А Ряну хоть трын-трава. Ему наплевать на все свое хозяйство. Гори оно ясным огнем — он и не почешется.

Теперь придумал легкую ваканцию — служить сотским. Выберут обществом какого-нибудь справного мужика на эту службу — ему на такой службе, конечно, труба. Сиди весь день с утра до ночи на сборне около писаря и старосты. А хозяйство горит. Вся домашность идет прахом. Вот он и нанимает за себя нашего Ряна на эту общественную службу. И платит ему за это шестьдесят рублей в год, как настоящему работнику. Обчество не возражает, староста не против, а Ондреяну — хлеб. За такие деньги богатый хозяин дерет с работника три шкуры, гоняет его целый год день и ночь как каторжного. А Рян нацепит себе на грудь медную бляху — и не подступись. Начальство! Сидит

себе весь день иа сборие около писаря или ходит по селу с важным видом. Все зиают — иесусветиый лодырь, а так сумел себя поставить, что почет ему от всех и уважение...

Глава 13
ОХОТНИКИ

Как учеиик я, видимо, чем-то иравился своим комским иаставиикам, и оии отмечали меия своим виимаиием. У меия был чистый, звоикий голос, и я с упоеиием пел в церковиом хоре. Уже к коицу первого года мие стали доверять чтеиие иа клиросе часов и шестопсалмия. В следующем году я был возведеи отцом Петром иа роль алтариого служки. В красивом стихаре я чиию прислуживал во время всеиощиой и обедии. Меия считали прилежиым учеииком и богобоязиеиным мальчиком.

К концу учебного года, когда мие вскоре иадо было иасовсем уезжать домой, отец дьякои стал выспрашивать меня, сможет ли мой отец отправить меия учиться в Мииусииск в учительскую семииарию или в городское училище или, иа худой коиец, в Зеледеево под Красиоярском, где, говорят, открывается какое-то ремеслеиное училище.

Когда же ои узиал, что мой отец ие может отправить меия по бедиости ии в семииарию, ни в городское, ии в ремеслеииое училище, ои утратил к моей дальиейшей судьбе всякий иитерес и уж больше ие заводил со миой разговор об этом. Так что после окоичаиия комской школы мие сразу же пришлось возвращаться домой в Кульчек и по-иастоящему впрягаться в иашу крестьяискую работу.

Лето после выпускиых экзамеиов я, как всегда, работал дома. Всю петровку мы с Коиоиом провели иа пашие. Ои орал, а я корчевал иа старой залежи березовую подсочку. А по субботам к вечеру мы уезжали в Убей иа рыбалку, и в воскресеиье возвращались домой, чаще всего с хорошим уловом.

А потом иачался сеиокос и страда. Ну, тут уж зиай повертывайся. С поиедельиика до самой субботы, от зари до зари, и в ходу, и в поту, и ждешь какого-иибудь захудалого праздиика, чтобы иемиого передохиуть и отоспаться. Но почему-то летом, как назло, праздииков совсем мало. Только во время страды два больших праздиика — преоб-

ражение господне и успение пресвятой богородицы. Но в эти праздники вся деревня бросается вперегонки в тайгу за ягодами. Глядя на других, мы тоже всей семьей отправлялись в тайгу. Хорошо было только то, что тятенька знал заветные, ему одному известные, ягодные места.

Во время страды и сенокоса я как-то не думал о том, что мне надо учиться дальше. Да и когда было думать об этом, когда спина гудела от усталости, когда руки одеревенели от натуги, когда пот каждый день заливал тело и застилал глаза. Но с наступлением осени, когда немного полегчало с работой, я впервые остро почувствовал свою неустроенность. Мои сверстники по школе поехали учиться в разные места. Исаак Шевелев куда-то в Красноярск, Васька Чернов в Минусинск в учительскую семинарию. А Мишка Обедин пошел приказчиком к новоселовскому купцу Бобину торговать керосином и гвоздями. Мне тоже можно было попробовать поступить в приказчики к какому-нибудь купцу. Но отец понимал, что ничему путному я у них не научусь. А потом, он, видимо, сомневался, сумею ли я на такой должности угодить хозяину.

Сразу же после страды мы огораживали стога сена на наших покосах и скирды хлеба на пашне, потом молотили просо и коноплю, потом возили домой лен и посконь и сушили их в бане, а мама с Чуней мяли их на мялках, потом много раз ездили в Сингичжуль рубить крежник на дрова, потом перекрывали крышу на коровьей стае, ставили новые ворота на гумне... Да все и не перечтешь. По сравнению со страдой и сенокосом это, конечно, не работа. Но все равно каждый день во что-нибудь приходилось впрягаться.

Мои родные понимали, что я учился, учился, но так ни на кого и не выучился. Может быть, они жалели, что напрасно учили меня в Коме, а скорее всего, стыдились за нашу бедность, за то, что не могут учить меня дальше. Разговоров об этом при мне не велось, но я видел, что они тоже переживают. Особенно мама и Чуня: они ведь больше всех заботились обо мне, когда я ходил в школу в Кульчеке, больше всех радовались моим успехам в Коме. Мама начала даже в церковь ходить — слушать, как я пою и читаю на клиросе, и прямо возгордилась, когда увидела меня в красивом нарядном стихаре, прислуживающем в алтаре во время службы. И после всего этого она должна выслушивать теперь сожаления своих соседок о том, что я учился, учился, но так ни на кого и не выучился. И до

дела не дошел, и к тяжелой мужицкой работе не приучен.

Чтобы не слушать все эти разговоры, она на всю осень увезла меня на заимку.

С наступлением осени — первого сентября — наши деревенские пастухи кончают свою работу. С этого времени до большого снега хозяевам приходится самим пасти животину. Пасут общими табунами, по очереди. А многие угоняют на заимки. У нас заимка на устье Сухого Казлыка общая с Герасимовыми. Место очень хорошее, открытое. Рядом удобные для выгона горы с редкими перелесками. Кроме нашей избушки, в Сухом Казлыке есть еще несколько заимок. В общем, образовался небольшой выселок, в котором весной и осенью живет много народа.

Жить на заимке с мамой мне было неплохо. От Герасимовых там хозяйничала моя двоюродная сестра Варвара. Очень веселая и ласковая. Работой меня особенно не утруждали. Только напоминали не забывать наколоть и принести в избушку дров, сбегать в родничок за водой, вечером встретить скотину с поля, подбросить овцам сена, напоить телят; вовремя накормить собак и все такое.

Когда приходила наша очередь пасти, на заимку приезжал брат, и мы вместе с ним выгоняли табун в горы и стерегли его там до вечера.

Пасти осенью сильно плохо. Все время дует холодный ветер с дождем и даже со снегом. Притулиться негде. Но все равно приходится следить за табуном, чтобы волки не подрезали скотину.

А потом брат уезжал домой в деревню, и я оставался на заимке вроде как бы за старшого. Я понимал, конечно, что никакой я пока еще не старшой и старшим меня мама и Варвара называют просто в шутку да еще потому, что мне доверена была здесь берданка, чтобы охранять нашу заимку от волков.

Это зверье причиняет здесь много хлопот. С вечера еще ничего. Во всех избушках светятся огни. Слышится шум, гам, лай собак. Хозяйки, после того как подоят коров и управятся с делами, собираются к кому-нибудь на посиделки. Прядут весь вечер, ведут веселые разговоры, поют песни. Волки все это чуют и никого не беспокоят. А как только придет время спать, во всех избушках погасят огни, тут они и начинают выть. Сначала жалобно, в оди-

ночку. Потом в несколько голосов. А потом целой оравой. И все злее, все сердитее И, главное, все ближе и ближе.

А наши собаки стараются их, конечно, отпугивать. Чем ближе подступают волки, тем сильнее на них лают наши собаки. Того и гляди, между ними начнется потасовка. И тут кто-нибудь из приехавших на ночевку мужиков берет ружьишко, выходит из своей избушки и палит. И волки сразу умолкают. Потому что сильно боятся ружья. А через некоторое время, глядишь, опять начинают подвывать. Сначала по одному, потом в два-три голоса и, наконец, опять всей стаей. И все ближе и ближе. Собаки снова начинают изводиться. И опять кому-то приходится выходить и стрелять в них. И так всю ночь...

Когда на заимке бывают отец или брат, стрелять волков выходят, конечно, они. А когда с мамой оставался я, стрелять приходилось уж мне.

С вечера я спокойно ложился спать. А ночью, когда они начинали выть совсем близко, мама будила меня и посылала попугать их.

Тогда я одевался, брал берданку и выходил из избушки. Полкан и Соболько начинали лаять еще сильнее. А я, повременив немного, палил в сторону волков. И вой немедленно прекращался, а Полкан и Соболько храбро бросались вперед и начинали лаять где-то там, откуда раньше слышался вой. Через некоторое время они возвращались обратно веселые и довольные, что отогнали зверей. Я угощал их за верную службу ломтем хлеба и возвращался в избушку. А через какое-то время мама опять будила меня и просила выйти и выстрелить еще раз, а то они опять начинают подвывать совсем близко. И так каждый день, пока мы в начале октября не перебрались со всем своим скотишком домой в деревню.

На заимке я постепенно стал привыкать к мысли о том, что мне всю жизнь придется оставаться в Кульчеке и не рыпаться никуда со своей грамотой. И теперь я думал уже не о том, как я буду где-то учиться, а только о том, как бы мне работать по крестьянству не хуже своих кульчекских сверстников.

Косить я умею хорошо. Убирать сено, то есть грести, копнить и подвозить к зароду мне не привыкать. Но жну я пока плохо. И спина почему-то болит, и нажинаю меньше других. Но об этом можно пока не беспокоиться. Но-

вый урожай будет только через год. С зимней работой получается у меня тоже более или менее ничего. Я могу быстро запрячь и выпрячь коней, пилить дрова, молотить на гумне. Вообще хорошо помогать в хозяйстве. А вот раскладывать сено на сани под стогом на покосе не умею.

Пока мы с братом пробиваемся от общей дороги по снежной целине к своему таежному покосу, все идет у меня хорошо. Потом мы начинаем откапывать лопатами наш стог. Тут уж я стараюсь изо всех сил и так работаю, что, несмотря на мороз, от меня валит пар. Но вот стог откопан. Я ставлю под него первую лошадь, потом беру вилы и становлюсь иа сани. Теперь Конон будет подавать мне сверху вилами сено, а я должен раскладывать его на санях. И раскладывать так, чтобы получился аккуратный воз.

Как и всякая работа, это дело требует силы и сноровки. Силенкой бог меня не обидел. А вот сноровки в этом деле у меня не хватает. С самого начала воз получается какой-то кривобокий. Пока я учился в Коме, Конон давал мне на этом деле скидку. Слезет с зарода, выправит мой кривобокий воз и опять иачинает подавать сверху сено. А что он скажет мне теперь. Ведь нам придется всю зиму ездить на покосы за сеном, и я буду раскладывать на сани не так, как надо.

Пока я учился в Коме, мои кульчекские товарищи здорово выросли и стали какими-то другими. А Ларивон у дяди Ивана сделался уж настоящим хозяиином. Весь досмотр по домашности дядя Иваи взвалил теперь на него. А хозяйство у иих большое. Они держат работника, двух приживальщиков-поселеицев и работницу. За всем иадо досмотреть, везде поспеть, со всем управиться. Знай повертывайся. Так что ему некогда уж теперь разводить со мной дружбу. Говорят, дядя Иван подал прошение архиерею, чтобы женить Ларивона в шестнадцать лет. Хочется скорее привести в дом бесплатную работницу.

И Матвей у Гарасимовых так вырос и поздоровел, что дружить ему со мной стало неинтересно. По праздникам он все время крутится теперь около девок и готов каждую ночь до утра слоняться со своими дружками по деревне.

Зато я быстро сошелся с Митькой и Петькой Худяковыми. Пока я учился в Коме, они тоже здорово выросли и уж начали курить. Митька завел себе гармонь в десять ладов с колокольчиками и ходит теперь с этой гармоиией по вечеркам. Я быстро выучился играть кое-что на его гармо-

нни, ио на вечерки ходить с иими воздержнвался. Там, по нашим кульчекским правилам, иадо было весь вечер держать иа коленях какую-нибудь девчоику, целоваться с нею в определеииых играх и что-нибудь отплясывать под гармошку. Всего этого я стеснялся. А Митька и Петька и плясали, н целовались, как настоящие кавалеры.

А потом, они любили играть в карты и стали сговаривать меня банковать с ними за одну компанию. Играли они в двадцать одно и в какой-то шмындифер, проще говоря, в девятку. На кои ставили по копейке и даже больше. Иногда банк доходил до десяти копеек. Но играть в карты с ними я не стал, потому что денег у меия не было, и еще потому, что карты у них были меченые. Они честно объяснили мне, сколько засечек иголкой оии сделали на каждой карте, чтобы во время метаиия банка играть иаверняка. Но я сразу сообразил, что это дело у них не чистое.

А потом, мие по-прежнему хотелось что-нибудь читать, хотя я и понимал, что читать книги мне теперь уж ие положено. Пока я учился, чтение книг оправдывалось тем, что этого требует школа. Пошел учиться — значит, занимайся как следует, пиши, что надо, иу и кннги читай, раз это требуется. Кончил школу в Кульчеке, поезжай в Кому. Выучился в Коме — отправляйся в Минусинск или в Красноярск. Доходи там до дела. А если остался дома — то пририимайся за работу. Тут уж не до чтения. Теперь если тебя увидят с книгой, то сразу будут считать лодырем, отлынивающим от тяжелой мужицкой работы.

Я хорошо понимал, что мое учеиие кончилось насовсем, что мие теперь иадо думать не о книгах, а о том, чтобы во время страды или сенокоса не быть посмешищем для всей деревни. Я поимал, что чтение книг будет теперь для меня действительно баловством и вызовет справедливое осуждеиие всей деревни. И осуждать-то будут прежде всего моих родиых.

И все же я никак не мог смириться с тем, что мне навсегда заказаио теперь чтение книг. Читать разные повести и рассказы, прнключения на суше и на море во время страды н сенокоса, когда все, как каторжные, изводятся от работы, конечно, мне нельзя. Да и мои домашиие этого не позволят. Но у нас ведь миого праздииков, в которые не принято работать. Пасху празднуют целую неделю. Святцы от рождества до крещенья — две иедели — сплош-

ной праздник. Потом масленица — целую неделю дым коромыслом. Двунадесятые праздники, два престольных дня, не считая воскресений. А потом, много праздников поменьше, которые можно было бы и не праздновать. А приходится. Николин день, егорьев день, Борис-Глеб, Илья Пророк... Все эти святые какие-то привередливые, и у мужиков вечно происходят с ними недоразумения. Поедешь в егорьев день на пашню — волки обязательно задерут потом коня или подсекут жеребенка. Будешь в день Бориса и Глеба убирать сено — не жди добра. Или стог грозой подпалит, или вихрем своротит, а потом забьет дождем. О николине дне и говорить не приходится. Очень сердитый святой этот Николай Мирликийский и большую силу забрал над мужиками. Такая же оказия получается и с Ильей Пророком. С ним тоже надо держать ухо востро. Того и гляди, градом хлеб побьет. Так что хочешь не хочешь, а приходится праздновать. И не только ильин день, но и ильинскую пятницу. В общем, в тяжелой мужицкой жизни я видел некоторые просветы, когда можно без ущерба домашности, не раздражая ревнивых соседей, посидеть за хорошей книгой, подумать о больших городах, о дальних странах, в общем, о далекой, сложной, непонятной, но интересной жизни, которая где-то катится мимо нас. Беда была только в том, что таких книг у меня не было.

Если бы Павел Константинович оставался у нас в Кульчеке, я объяснил бы ему, как мне трудно жить без книг, и попросил бы его выдать мне из своего заветного шкафа что-нибудь хорошее. И, конечно, Павел Константинович нашел бы что-нибудь такое, что я еще не читал. На худой конец, я мог бы перечитать у него некоторые старые книги.

Но Павла Константиновича в Кульчеке уже нет. Уже два года, как он женился на безкишенской учительнице и, говорят, уехал с нею в Красноярск. После него у нас сменилось уже две учительницы и приехал третий учитель. Квартирует у Тиминых и ходит по деревне в форменном мундире с позолоченными пуговицами.

Павлу Константиновичу вся деревня, от мала до велика, была знакома. Он всех знал, всех помнил, с каждым мужиком здоровался за ручку. У многих бывал в гостях. А по большим праздникам и на свадьбах его приглашали даже на гулянку. И он вместе со всеми хаживал по домам, и все дорожили его компанией и держались с ним строго и уважительно.

А новый учитель никого в деревне не знает и знакомств ни с кем не заводит. Изредка пройдет по улице в своем форменном мундире. Ни на кого не смотрит, никому не кланяется. И до сего времени никто не знает, что он за человек, какого рода и характера, и почему он так гордо держится с народом. Мне даже в голову не приходило пойти к нему за книгами. Таким он мне казался недоступным.

Тогда я подговорил на это нашего Ивана Герасимовича. Он был много старше меня, давно женился, и у него пошли уж дети. И все равно он состоял со мной в большой дружбе. Когда я учился в кульчекской школе, он всегда интересовался тем, что я читаю, расспрашивал меня о прочитанном, вместе со мною восхищался необыкновенными людьми, описанными в книгах, и с каким-то особым интересом рассматривал в них картинки.

И вот теперь он по моей просьбе отправился к новому учителю за интересными книгами.

Вопреки нашему ожиданию новый учитель встретил его очень хорошо. Он даже обрадовался тому, что к нему наконец кто-то заявился из деревенских. А то, говорит, не знаю, как к вам и подступиться. Народ в деревне какой-то сумрачный, смотрят на приезжего косо. Того и гляди, пришибут ночью. Поговорить, кроме старосты и писаря, не с кем.

Иван Герасимович объяснил ему, что народ у нас только с виду хмурый, а на самом деле душевный. На свежего человека смотрят действительно косовато, особенно если он из начальства, да еще ходит в форменном мундире со светлыми пуговицами. Зато уж если кого полюбят, то готовы душу за него отдать. И стал ему рассказывать, каким уважением пользовался у нас Павел Константинович. К родным так не относились, как к нему.

Ну а насчет интересных книг — ничего не получилось. Школьная библиотека после Павла Константиновича почему-то не сохранилась. Для внеклассного чтения детям нечего давать. И новый учитель уж написал требование инспектору народных училищ в Новоселову. «Если,— говорит,— что-нибудь получу хорошее, то, пожалуйста, берите, читайте. Буду рад этому. А пока ничего нет». На том и разошлись.

Неудача с новым учителем сильно нас огорчила. Книг не было и, судя по всему, не предвиделось. Оставалось перечитывать свои собственные — историю лейб-гвардии

Павловского полка. Эту книгу принес со службы и отдал мне дядя Егор Ларивоновых. Потом, у меня имелась еще одна книга от другого родственника. Тоже привезенная со службы. В той книге не было первых страниц, и я не знаю, как она называлась. В ней было несколько сочинений — «Пунин и Бабурин», «Однодворец Овсянников» и большой роман «Мальтийские рыцари в России». А у Ивана Герасимовича была интересная книга под названием «Лютеция», о том, как Юлий Цезарь воевал с галлами. Оказывается, на месте нынешнего Парижа в древние времена была деревня Лютеция. У Петьки Худякова нашлись сильно истрепаные «Дети капитана Гранта». Других книг для чтения у меня теперь не было, кроме «Чудесных исцелений у гроба отца Иоанна Кронштадского». Каждую зиму к нам наезжали какие-то богомольные старцы и почти даром всем навязывали эти книги. Но в Коме я так начитался душеспасительных описаний жизни и чудес великомучеников и преподобных отцов, что читать такие книги больше уж не мог.

Зима пришла в этом году неожиданно рано. Лето было дождливое, и все боялись затяжной осени с непролазной грязью, с непроезжими дорогами. А на самом деле осень выдалась сухая, и все успели управиться с работой. На покров уже выпал снег, начались ранние морозы, и, на удивление всем, через неделю установился санный путь. С покосов, с пашен и из тайги потянулись в деревню длинной вереницей подводы с сеном и с дровами.

Большинство мужиков занимаются у нас осенью охотой. Одни белкуют по Безкишу, в Кракчуле, в Шерегеше, другие промышляют колонков, горностаев. Третьи целыми днями пластают за лисицами. Многие охотятся за дичью, главным образом, за рябчиками. Всем хочется заработать лишнюю копейку.

Каждую осень Яша Браверман, наряду с белкой и другой пушниной, начинает принимать у нас сорочьи шкурки. Ну, тут уж принимаются за охоту и наши кульчекские ребята. Вооружившись берданками и старыми дробовиками, они гоняются по стаям и по гумнам за каждой сорокой.

Мы с Кононом тоже занялись этой охотой. Охотился, собственно говоря, Конон, а я только ходил за ним да смотрел, как он стреляет этих сорок из своей винтовки. В первое же воскресенье мы застрелили с ним трех сорок. Одну

на нашем гумне, другую у Ермиловых в конской стае. А третью — уж когда шли домой. Увидели ее у Сычевых на огороде. Сидит на жерди и, какая-то глупая, стрекочет себе, не обращая на нас внимания. Тут Конон и подстрелил ее.

А вечером мы изобихаживали этих сорок. Дело это довольно трудное. Того и гляди разрежешь или порвешь сорочью шкурку. А такие шкурки Яша берет только вполцены. Но мы своих сорок ободрали как следует. Потом эти сорочьи шкурки осторожно натянули на тонкие планки и повесили в избе под потолок на просушку. А дня через три Конон сдал их Яше Браверману по десять копеек за штуку.

На следующее воскресенье к нам с утра заявился Илья Ларивоновых — тоже заполошный охотник. Они быстро сговорились с Кононом и пошли стрелять сорок. А меня с собой не взяли. «Не ходи,— говорят,— мешать нам будешь...» Как будто я не знаю, как нужно охотиться за сороками.

Но тятенька не дает мне пока наш дробовик. Боится, что я вместо сороки подстрелю у кого-нибудь скотину. Так что мне волей-неволей пришлось весь этот день провести с Петькой и Митькой Худяковыми.

А у Конона с Ильей охота получилась неудачной. За весь день они подстрелили только по одной сороке. Вечером они обдирали у нас этих сорок и без конца ругали Проньку Крысина, Тараска Лупанова и всех верховых и низовых ребят, которые тоже в этот день вышли в деревне на охоту. Не успеешь и к сороке подобраться, как кто-нибудь из них уж палит по ней из своего ружья. И, конечно, мимо... На каждую сороку приходилось по нескольку охотников, да и охотники-то все некудышные. Не столь перестреляли, сколь перепугали птицу. Так что в следующий праздник Конон с Ильей решили отправиться белковать в Теракчуль, чем заниматься здесь этой морокой.

Однако дня через три Илья прибежал к нам и, захлебываясь, стал рассказывать Конону о том, что из Безкиша только что приехал Тимка Бабишев. Ездил туда к расейскому кузнецу сваривать шестеренку к веялке. И захватил с собой берданку показать этому кузнецу, который, сказывают, большой мастер по ружейной части. Пока кузнец сваривал шестеренку, Тимка, не выходя из его ограды, застрелил четырех сорок. Охотников в Безкише нет.

Сорок там никто не стреляет. Ну и развелось их там... Так и летают, так и стрекочут...

Тут Конон с Ильей стали прикидывать да рассчитывать, куда им лучше податься в воскресенье. В Безкиш за сороками али в Кракчуль белковать. Конечно, лучше поехать белковать. А вдруг непогода... Повалит снег... Проездишь весь день впустую. Только перемерзнешь да коня уморишь. А сороке, ей и в погожий день, и в непогоду в деревне приволье. В непогоду охотиться на нее даже сподручнее.

В конце концов, Конон с Ильей договорились поехать в воскресенье в Безкиш. Коня оставить где-нибудь на задах, а самим двинуться по безкишенским стаям и гумнам. И, конечно, держаться подальше от домов, чтобы не встревожить своей стрельбой безкишенских мужиков. Но оставлять коня в упряжи без присмотра на задах в чужой деревне тоже не дело. И они стали звать меня с собой в Безкиш на охоту.

Мне очень хотелось поехать с ними, но у меня не прошла еще на них обида, и я сказал, что в воскресенье мы собираемся с ребятами идти по своим делам в Барсуков лог. Тогда Конон с Ильей стали улещать меня и пообещали мне, каждый от себя, по одной сороке. На таких условиях я великодушно согласился сопровождать их на охоту.

Утром в воскресенье мы отправились на нашем Гнедке в Безкиш. Ехали не торопясь. Погода была какая-то муторная. Все небо затянуло белесыми облаками. Кругом было пусто и безлюдно. Только в Крутом логу над одинокой сухой лиственницей о чем-то галдела стая галок. Они с криком и гамом кружились над этой лиственницей, потом садились на нее и ненадолго умолкали. А потом снова с шумом и гвалтом поднимались вверх.

Но Конон и Илья не обращали ни на что внимания и всю дорогу сговаривались о том, как им лучше охотиться сегодня на сорок в чужой деревне.

Так в разговорах об этом мы незаметно доехали до Безкиша и остановились на задах, в ложбинке, недалеко от кульчекской дороги. Место для стоянки выбрали, ничего не скажешь, хорошее. И с дороги, и из деревни не видно. Тут я, как полагается в таких случаях, разнуздал Гнедка, отпустил на нем перетягу и подбросил ему большую охапку сена.

Тем временем Конон и Илья вынули из коробка свои ружья, надели охотничье снаряжение и двинулись — Конон в нижнюю сторону, а Илья в верхний конец деревни. А я

вышел на пригорок и стал оглядывать Безкиш. Ничего иового у них по сравнению с нашим Кульчеком я, конечно, не увидел. Бесконечные изгороди скотных дворов, огородов, потом гумна с высокими стогами соломы. И за всем этим крыши амбаров и домов. Но Конона было ие видно. Словио он затерялся среди этих дворов, гумен и огородов. И выстрелов было не слышно. Да и где их услышишь. Винтовка у него малопульная, заряды маленькие. Тогда я стал смотреть в верхний конец деревии, куда отправился наш Илья. Но и Илья словно в воду каиул.

Теперь мне ничего не оставалось, как укладываться в сани под теплую доху, которую мы захватили с собой из дома, и спокойно дрыхнуть до их возвращеиия. Но тут до меня стал доноситься из деревни какой-то гвалт. Что бы это значило?.. Пьяная ссора или драка?.. Но ссориться и драться было вроде как бы еще рано. Может быть, чьи-нибудь братья делятся? Делятся ведь обычно осенью, после страды, и больше по праздникам. Но делиться начинают обычно к вечеру. Кроме того, при дележе всегда слышеи бабий визг и детский плач. А тут ни визга, ни плача, а только гвалт, который доносится все ближе и ближе. Вскоре стали различаться уж отдельные выкрики:

— Корову, подлец, чуть не подстрелил!..

— К старосте его, вариака!..

— Чего к старосте! Отдубасить как следует!

— Эй, Митрей! Чего рот разииул!

Тут я увидел нашего Конона. Он вынырнул из-за чьего-то гумна, перемахнул через высокую изгородь и что есть мочи побежал в мою сторону. А сзади за ним гнались несколько безкишенских мужиков в сопровождении целой ватаги ребятишек.

— Держи его!..

— Перехватывай его, Митрей!..

Мужик, к которому обращались преследователи Коиона, довольио равиодушно смотрел иа все это дело. Теперь, поиукаемый миогочисленными криками, ои лениво полез через свою изгородь, чтобы взять Коиоиа иаперехват.

Тут я сразу сообразил, что наши дела плохи и если я оплошаю, то безкишеиские мужики, чего доброго, наломают иам бока. Пока Конои бежал до иашей стоянки, я успел взнуздать и вывести на дорогу Гиедка. И как только Конон, задыхаясь из последних сил, подбежал и упал ко мне в сани, я ударил по Гиедку и изо всей силы завопил: «Г р а б я т!» Конон тоже закричал: «Г р а б я т!»

А кони у нас в деревне приучены к этому крику. И наш Гнедко сразу же сообразил, что мы попали в какую-то передрягу, и с места взял во всю мочь. Когда безкишенские мужики подбежали к нашей стоянке, мы уже отмахали оттуда довольно далеко. За это время Конон успел немного отдышаться. Он снял с себя охотничьи доспехи и спрятал их вместе со своей винтовкой в коробок.

— А как же Илья? Его же там изобьют,— спросил я.

— Не изобьют. Обождем его за поскотиной.

В логу у поскотины мы наконец остановились.

— Пойди погляди — не покажется ли он из деревни...

Тут Конон накрылся с головой дохой, а я поспешил на пригорок. И сразу же увидел человека, который бежал из верхнего конца деревни. Он так здорово умахивал в нашу сторону, что я сразу же признал в нем Илью. «Ну, видать, тоже попал в переплет»,— решил я и крикнул Конону выезжать на дорогу. Вскоре Илья прибежал на мой пригорок. С него градом лил пот.

— Где Конко? — задыхаясь, спросил он.

— Вон в санях, за поскотиной. Тебя ждем,— ответил я.

— Поедем скорее... А то не погнались бы... Вот народ!..

Он бегом направился к Конону и в изнеможении свалился в коробок. А я, не говоря ни слова, сел на облучок и погнал Гнедка домой в Кульчек. Конон и Илья сидели молча в коробке. Да и говорить было не о чем. Все было ясно без слов.

Около Крутого лога я заметил впереди несколько встречных подвод.

— Кто-то из Кульчека едет,— предупредил я своих охотников.— Три пароконных подводы...

Тут Илья поспешно снял с себя охотничьи принадлежности и тоже спрятал их в сено. Потом они с Кононом, не сговариваясь, быстро уселись рядом и накрылись дохой.

Тем временем подъехали эти кульчекские подводы. В первой кошевке сидели Пронька Крысин и Тараско Лупаков. Во вторых двух Кешка Осипов, Арсюха Худяков, Пантя Грязнов и Назарко Мажоров. Все были с ружьями, одеты по-праздничному и держались очень гордо. Они остановились и стали нас расспрашивать, не из Безкиша ли мы едем и правду ли говорят, что там развелось много сорок? Сказывают, чуть людям на голову не садятся?

Тут Конон и Илья объяснили им, что мы ездили в Кому по своим делам и в Безкиш не заезжали. Но слышали, что сорок там действительно много. Безкишенские мужики —

дураки. Им деньги сами в руки плывут, а они этого не понимают...

— Вот мы им покажем, как надо охотничать,— хвастливо сказал Пронька Крысин и тронул свою пару гнедых. За ними поехали Кенко Осипов и Пантя Грязнов.

— Тоже охотнички объявились,— презрительно процедил Конон.

— С колокольцами едут, как на свадьбу,— обиженно сказал Илья.— Покажут им охоту безкишенские мужики.

— Ну, до драки, может, и не дойдет. Все-таки их шесть человек. Вон какие лбы. И все с ружьями.

— Непременно отдубасят,— решил Илья.— Охотиться безкишенские не умеют, а драться любят.

Тут Конон заспорил с Ильей о том, затеют или не затеют безкишенские мужики с нашими охотниками драку. А потом стали соображать, куда им лучше податься белковать в будущее воскресенье.

Так кончилась наша охота в Безкише. После этой неудачи Конон и Илья уж не гонялись по нашей деревне за сороками, а стали ездить белковать в ближнюю тайгу. Они без смеха не могли вспоминать нашу поездку в Безкиш и теперь думали уж только о том, как бы им отправиться на охоту в большую тайгу.

Каждый год наши настоящие охотники уходят перед казанской на промысел в большую тайгу. Отец тоже собирался нынче туда белковать. У него с Федотом Саетовым где-то по Большому Ижату срублено зимовье — небольшая избушка для охоты. Летом они съездили туда, проконопатили стены как следует, переложили каменку, сколотили крепко-накрепко дверь, заготовили смолья на растопку. А главное, накосили там небольшой копешок сена, чтобы зимой тепло и мягко было спать на нарах в избушке. Зимой ведь в Большой Ижат дороги нет. А на лыжах туда, кроме харчей, ничего не принесешь.

Вот подходит время к казанской, и Федот Саетов приходит к отцу. Пора-де уж отправляться в Большой Ижат. Отец, конечно, и рад бы, а куда поедешь? Хозяйство хоть и небольшое, а его ведь не бросишь. На Конона пока положиться нельзя. Работник он смекалистый, проворный. И в тайгу за дровами, и на пашню за хлебом, и на покос за сеном. Везде может. Одно плохо. Рыбак и охотник он у нас какой-то заполошный. Каждый праздник и весной, и в

сенокос, и в страду он уж непременно гонит на рыбалку. Хоть ясным огнем гори тут вся наша домашность, а рыбачить он все-таки поедет. А приходит осень — тут он уж сам не свой. Винтовку свою малопульную чистит да промывает и все время пристреливает. Почти каждый вечер мы отливаем с ним из свинца пули и проверяем все его охотничье снаряжение — натруску, или, иначе говоря, пороховницу, жестяную баночку с ружейным маслом и пузырек для пистонов. Натруска, баночка с маслом и пузырек с пистонами тщательно обшиты у него кожей. И все это крепко-накрепко прикреплено к широкому кожаному ремню, который он надевает через плечо. А там еще ружейное чехло из барсучьей шкуры, легкие рогульки, чтобы стрелять белку на лиственнице с упора, нож в деревянных, обшитых кожей, ножнах, лыжи, у которых почему-то всегда не в порядке крепления для ног. Потом таек. Так называют у нас лыжную палку. Одни делают таек березовый, другие ищут хорошую стройную боярку, а у Конона таек из караганника. Нашел в Шерегеше в солнопеке подходящий караганник и сделал из него таек. Таек получился прямо как железный. Если начнешь все это проверять да примерять, потом подгонять да подтягивать, так тут уж не до хозяйства. А работы по хозяйству на зиму ведь немало. Надо привести в порядок всю снасть, кое-где перекрыть гумно, переложить в риге каменку, подправить сани, отремонтировать веялку, наладить как следует молотила... Да всего и не перечтешь. Тут одно цепляется за другое. Кроме того, надо все время подвозить корм скоту с покосов. А покосы у нас больше таежные. От деревни далеко. Оставь все это на Конона. А он каждый день будет ездить белковать. Разве это порядок?

А Конону, конечно, хотелось поехать в большую тайгу, и он стал упрашивать отца отпустить его с Федотом Саетовым в Ижат.

— Ну что же, поезжай, если возьмут в артель,— сказал ему тятенька.— Надо будет поговорить с Федотом.

Когда на другой день Саетов пришел поторапливать отца со сборами в Ижат, тот сказал ему, что он хочет послать туда Конка, так как самому ему ехать не позволяет домашность. Федот поначалу сильно расстроился, а потом стал думать: «Стреляет парень хорошо, на лыжах ходить умеет, к тайге привычен, убитого зверька изобиходить может — значит, по этой части артели будет не в тягость. Другое дело, выдюжит ли он там. Парень еще жидковат.

Сноровка, конечно, есть, а кость еще не окрепла. Белковать зимой в Большом Ижате не каждому сподручно».

— Посмотрим, как он там себя на деле покажет,— решил Федот Саетов.— Если будет соответствовать, то возьмем в артель — все как следует. А если гайка слабовата, ну, тогда пенять не на кого — отправим домой. Нам с ним валандаться там будет некогда.

На том и порешили. И договорились через два дня отправляться всей артелью, чтобы успеть по малому снегу перевалить через хребет в Большой Ижат.

За эти два дня мы успели как следует собрать Конона. Все охотничье снаряжение у него было в порядке. Ружейный провиант тоже имелся. Сухари у мамоньки были насушены. Оставалось только упаковать как следует.

Эти два дня отец все время наставлял Конона, как лучше охотиться в большой тайге. Как там надо ходить по хребтам и сопкам и не заблудиться. И как к вечеру взять правильную дорогу к зимовью. И как лучше просушивать в избушке свою лопатенку, особенно портянки и рукавицы. И чтобы непременно приноравливаться к Федоту Саетову и ко всем артельщикам и не заставлять их лишний раз напоминать ему сбегать в ключ за водой, подрубить и принести в избушку дровишек. Потому что они люди уж в годах, а он парень молодой, и ему сделать это легче. И осторожно кататься с крутиков на лыжах. Тут один шаг до беды. Того и гляди, зацепишься винтовкой за какой-нибудь сук. И сам покалечишься, а главное, винтовку повредишь. Там ружейных мастеров ведь нет.

Потом тятенька заставил маму снарядить Конону новый шарф и рубаху из мешковины, потому что базарной рубахе в тайге грош цена. И рвется, и нисколько не греет. А рубаху из мешковины он присоветовал Конону непременно подбрючивать. И опоясываться как можно ниже. По самому ошкуру. А то при быстрой езде на лыжах снег будет поддувать за спину.

На охоту Конон решил взять три коробка серянок. Тятенька похвалил его за это, но присоветовал непременно взять с собой кремень, огниво и трут. Серянки в тайге, конечно, большое удобство. Но чуть-чуть недогляди, они могут и отсыреть. И тогда хватишь беды. Без огня охотнику зимой там погибель. А кремень, огниво, хороший трут не подведут.

Дальше тятенька стал наказывать Конону все там делать вовремя, все рассчитывать как следует, чтобы артельщики не тыкали его походя носом, что того, мол, не сделал, другого недосмотрел.

— С утра вставай пораньше, чтобы тебя не поднимали старшие. За камусами на лыжах следи. Если невзначай обдерешь или сами где оборвутся, в тот же день вечером и почини их как следует. Соболька с утра корми пораньше, чтобы не получалось, как говорят, «на охоту ехать и собак кормить». Это уж непорядок. А главное, береги сухари. Щи, чай, картошка у вас будут артельные. Федот все там приоделит как надо. А сухарики у каждого свои. Значит, их надо особенно рассчитывать наперед. Старайся, чтобы они каждый день оставались у тебя про запас. А если случаем глухаря подстрелишь, то сразу, как только придешь на стан, отдавай его Федоту: вот, мол, дяденька Федот, принес немного дичинки на артель.

Но главный разговор у отца с Кононом получился из-за полушубка и катанок. Конон во что бы то ни стало хотел идти в Большой Ижат в своем новом полушубке и в катанках. Ему было зазорно являться в артель в шабуре и в сагырах. «Подумают, что у нас и надеть в тайгу нечего»,— бурчал он. Но тятенька сразу же заявил ему, чтобы он об этом и не помышлял. А вдруг оттает али мокрый снег? Это с осени часто бывает. Тут твой полушубок сразу и размякнет. Мездра сделается как кисель. А при просушке совсем скоробится. Так что его придется разминать потом да растягивать. Даже отскабливать. Вот и подумай, что там станется с твоим новым полушубком. А шабур никакой мокротны не боится. И сушить его на стану легче. Да что там говорить. Шабур — он уж по дороге на стан немного на тебе подсыхает, особенно если начнет подмораживать али подует хороший ветерок.

Ну а о катанках в тайге и говорить не приходится. Попади в них нечаянно в талец, да если еще большой мороз да далеко от стана. Ну и погибель. Они насквозь промокнут, а потом обледенеют. И у костра их не просушишь. А в просторных сагырах тебе все нипочем. И в талец нечаянно попадешь — тоже не беда. Разложил хороший костер и в два счета просушил на нем и стельки, и портянки. Только стельки в сагыры надо класть из ковыля. Стельки из сена через день превратятся в труху. Вот и вся недолга.

А потом, сам подумай... Все пойдут туда, как полагает-

ся, в сагырах. Один ты вырядишься в полушубок да в катанки. Вряд ли тебе прибавится от этого цена в артели. Да и мне будет стыдно перед мужиками. И сам, скажут, не поехал, да еще сынка иам своего подсунул. Да еще вырядил его в тайгу как в гости... Посмотрят, посмотрят иа тебя в полушубке и в катанках да и отправят домой. В артели с такими охотниками, знаешь, цацкаться не любят...

После того как отец обговорил все это с Кононом, ои иачал проверять все его снаряжение, весь его провиант, без чего настоящему охотнику нельзя отправляться в тайгу: две иголки с дратвой, несколько тонких сыромятных ремней, одна горсть кудели, запасные портянки и шерстяные рукавицы, свечка и все другое... Потом все это они стали укладывать в мешок. А это, оказывается, ие такое простое дело — уложить и крупу, и сухари, и картошку, и ружейные припасы, и котелок, и соль, и чашку с ложкой, и все остальное. И так уложить в мешок, чтобы его удобно было взять на лямки за плечи. А если придется ехать верхом, то чтобы его можно было сразу приторочить за седлом.

К назначенному дню Конон был готов к выходу в Большой Ижат. Но в самый последний день артельщики решили отправиться туда верхами, так как погода сильно испортилась и повалил большой снег. Они попросили тятеньку проводить их туда и пригнать обратно коией. Так и сделали. В четверг, накануне казанской, когда все в деревне еще спали, они без шума, без гама, потихоньку выехали в Большой Ижат. День оказался снежным и мокрым. На другой день тоже все время шел снег. К вечеру мы ждали тятеньку домой, но он так и не приехал. На третий день утром к нам пришла Саетова Аграфена узнать, ие привел ли тятенька из тайги их Игренька. И сильно всполошилась, что он еще ие приехал. Тут они стали с мамой беспокоиться, как бы с ним в дороге чего не приключилось. Ехать одному тайгой по такой погоде, да еще с конями, совсем сумлительио. Не напоролся бы иа медведя. Они хоть к казанской залегли в свои берлоги, а все-таки бывают такие бестолковые шалапуты, которые долго еще слоняются по тайге. Да злые, говорят, такие. Сразу лезут в драку. Напорись на такого, да еще с конями, далеко ли до беды...

Но иапрасно Аграфеиа с мамой опасались за отца. На следующий день, уж к самому вечеру, я слышу — заскрипели ворота. Смотрю — а он вводит в ограду иесколько

оседланных лошадей. И саетовский Игренька, и крюковский Серко, и наш Гнедко, и остальные лошаденки. В общем, все обошлось. Дорога в Ижат была трудная. Все время шел снег. Но доехали туда как следует. Только коней сильно перетомили. Шутка сказать, от самой деревни до места брели по брюхо в снегу. Из-за этого в Большом Ижате пришлось передневать, чтобы дать им немного роздыху. Ну а обратно ехать было еще труднее, потому как снегу еще подвалило.

А в Ижате... Там все вроде как бы хорошо. Избушка просторная, каменка в избушке в порядке. Дверь плотная, хорошая. Не страшны ни снег, ни морозы. Артельщики подобрались подходящие. Белки хоть и небогато, а все-таки есть. Да и должна быть белка. Орех в этом году был хороший. Вот только погода может испортить дело. Снег все валит и валит. Какая охота в такую погибель. Тут не только человеку, тут и собаке-то ничего не видно. Да и белка прячется. Сидит у себя в дупле. Никакой пес ее там не учует. А если и учует, то попробуй, сними ее оттуда. Плохо будет, если погода не переменится... А похоже на то, что она испортилась надолго. Придется, чего доброго, нашим охотникам выбираться оттуда раньше времени. Какая уж в такую непогодь охота...

Дня за два до михайлова дня Конон со всей артелью пришли домой. Поохотились они из-за плохой погоды неважно. Но все-таки явились не с пустыми руками.

Отец был очень доволен охотой Конона в Большом Ижате. Охота была неважная, но важно то, что он в артель к мужикам вошел. Ни на кого не жалуется. Значит, признали они его там за настоящего охотника.

Глава 14
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

После казанской божьей матери деревня начинает готовиться к михайлову дню, который почитается у нас престольным праздником и справляется восьмого ноября. Хозяйки загодя варят пиво, пекут разную стряпню, отскребают и отмывают в домах осеннюю грязь. Мужики запасают скотишку корм, колют и изобихаживают овец и свиней, режут гусей и уток.

За деиь, за два до празднника в деревню начинают съезжаться гости, н во миогнх домах начнннается уж гулянка. На улнце появляются празднично одетые люди. Слышатся песнн.

А ныиче с самого начала все пошло как-то навыворот. Перед самым праздником повалил сиег. И такой снег, какого и старикн не помият. Нн пройти ии проехать. И зарядил, судя по всему, надолго. Так что празднк получился невеселый. Гостей прииимали с радостью, с угощеиием, а разговор все равно вертелся вокруг этой ужасной непогоды.

Старнкн, те, конечно, ворошилн прошлые годы. И никак ие могли прнпомннть, чтобы иа мнхайлов день случалась этакая оказия. И, конечно, гадали, к чему все это. Кормов опять не хватит, весиой будет потоп, а летом надо ждать засуху. А у гостей на душе тоже скреблн кошки. При хорошей погоде в престольный празднк гость прннмает от хозяина рюмку, подноснт ее ко рту н приговаривает: «Пилось бы да елось да работушка на ум не шла». Потом выпнвает ее за здоровье хозяина и хозяюшки и затягивает вместе со всеми проголосную. А ныиче берет рюмку без шуток, без прнговорок. Выпьет, посмотрнт на улнцу, тяжело вздохнет, покачает головой, скажет спасибо за угощеиье да и начнет сокрушаться насчет своей домашности. Что там да как там. И не лучше лн домой подаваться... Какой уж тут празднк.

А снег, на удивленье всем, продолжал валнть да валить. И тут, как иа грех, подошла наша очередь отбывать общественную гоньбу, и староста иаряднл тятеньку ехать в Кому за церковным прнчтом служнть в деревне празднчиый молебен.

Как говорится, уже некуда податься. И отец решнл накануне праздника с утра отправиться с этим делом в Кому. А вечером нежданно-негаданно нагрянула в гостн тетка Агафья со своим мужем. Утром отец запрягает Серка с Гнедком, чтобы ехать в Кому, и соображает, что ехать ему от гостей вроде как бы иехорошо. Тетка Агафья бывает редко. А муж ее, дядя Николай, мужик прнвередливый. Любнт почет и уважеиье. Уедешь — могут обидеться. Посылать с этим делом Конона тоже ие годнтся. Парень только что две недели белковал в большой тайге и еле ноги волочит. И отец надумал послать меня. Погода, конечно, плохая, дорогу занесло, перемело. Но не в тайгу ведь ехать. Кони хорошие, сноровнстые.

Я сразу ухватился за эту поездку. Трудности дороги меня не пугали. А потом, мне сильно хотелось заменить отца в этой поездке, чтобы наши гости видели, что я стал уж настоящим работником и берусь за самые трудные дела.

В общем, уговаривать меня ехать в Кому не пришлось, и, напутствуемый хорошими наставлениями отца, я рано утром выехал на своей паре на кульчекскую улицу и уверенно покатил мимо наших соседей прямо на комскую дорогу.

Утро было серое и какое-то тоскливое. Кругом все заволокло. Соседние горы еле маячили за снежной пеленой. Дорогу так замело, что с самого начала пришлось ехать убродом. Однако я не падал духом и думал не о плохой дороге, а о том, что я еду в Кому как настоящий ямщик, и еду туда не по пустякам, а по важному делу. А потом, я радовался тому, что скоро увижу в Коме отца Петра, отца дьякона и нашего доброго Василия Елизарьевича. Мне хотелось как можно скорее встретиться с ними, сказать им, что я по-прежнему считаю их своими учителями и готов внимательно слушать их наставления. Мне хотелось, чтобы они тоже обрадовались встрече со мной, немного обласкали меня, похвалили бы за что-нибудь, хотя я, по правде сказать, не знал, за что они могут хвалить меня теперь, когда я уже не готовлю для них школьные уроки. Разве за то, что я не научился еще курить и не ругаюсь матом. Но как им расскажешь об этом.

В общем, я был преисполнен к отцу Петру, отцу дьякону и Василию Елизарьевичу ученического почтения, ехал к ним с раскрытым сердцем, полный самых радостных ожиданий от предстоящей встречи с ними. Плохая дорога, густой снег, который все время валил с неба, не особенно меня удручали, и я даже не заметил, как доехал до Безкиша. А за Безкишем всего через три версты и Черная Кома.

К своей родне в Черной Коме я решил на этот раз не заезжать. Но, проезжая мимо, как-то оплошал, и мои кони на полной рыси подвернули к воротам дяди Савоси. А тут как раз пригодилась и тетка Агаша и, конечно, без чая меня не отпустила. Так что в Чернавке я немного задержался.

А по Коме я ехал на большой рыси, как полагается на-

стоящему ямщику, на паре лошадей в праздничной упряжи. Серко и Гнедко приободрились, так как понимали, что тяжелая дорога кончается и им будет хороший отдых у дяди Егора или у Малаховых. Я тоже старался не ударить лицом в грязь и, как настоящий ямщик, лихо подкатил к поповскому дому, молодецки соскочил с облучка, привязал коней к столбу и смело постучал в калитку.

Отец Петр, оказывается, уж давно поджидал подводу из Кульчека. Он обрадовался моему приезду, но сильно удивился тому, что я приехал так поздно. А когда узнал, что я ехал из Кульчека с самого утра, что всю дорогу перемело и завалило снегом, то сильно обеспокоился и послал меня к отцу дьякону и Василию Елизарьевичу торопить их с выездом.

Отец дьякон и Василий Елизарьевич тоже обеспокоились поздним моим приездом и поспешили прежде всего поесть как следует перед дорогой. Потом они очень долго собирались к отъезду. Потом целый час пили чай у отца Петра, потом очень долго усаживались в мою кошевку — отец Петр в средину, отец дьякон и Василий Елизарьевич по бокам. Только перед самым вечером мы тронулись в путь.

Серко и Гнедко хорошо отдохнули за это время и дружно затрусили по комской улице домой в Кульчек. А я, как настоящий ямщик, сидел на облучке. Отец Петр, отец дьякон и Василий Елизарьевич весело поглядывали по сторонам на комские дома и о чем-то переговаривались между собою.

Но так было только поначалу, пока мы ехали по укатанной комской улице. А как только выехали за село, все сразу переменилось. Дорога оказалась переметенной снегом. И, ко всему, еще подул резкий встречный ветер. И настроение у отца Петра и у отца дьякона сразу испортилось. Они стали теплее укутываться в свои дохи и накрываться какими-то попонами.

А Василий Елизарьевич не захватил с собой никакой попоны. И доха была у него не собачья, как у отца Петра и у отца дьякона, а козлиная, во многих местах уж совсем проношенная. И сидел он в кошеве как-то сбоку припеку, весь на ветру и, конечно, стал быстро промерзать. И как только он стал промерзать, у него сразу же испортилось настроение, и он начал выражать недовольство тем, что я везу их только легкой рысцой, а иногда даже шагом, вместо того чтобы скакать галопом, как полагает-

ся настоящему ямщику на хорошей паре с колокольцами.

А потом Василий Елизарьевич завел какой-то спор с отцом дьяконом. Поначалу мне было не ясно, о чем они спорят на ветру и на морозе, но потом я разобрался, что они не спорят, а ссорятся. Василий Елизарьевич упрекал в чем-то отца дьякона, а тот отвечал ему односложно и сердито. По мере того как Василий Елизарьевич промерзал все сильнее и сильнее, он все больше и больше распалялся. Так что начал прямо кричать на отца дьякона. А тот в свою очередь стал отвечать ему резко и грубо. Так что между ними началась настоящая грызня.

Василий Елизарьевич упрекал отца дьякона, что тот неизвестно по какому праву берет себе лишнюю муку, которую собирают с прихожан на содержание причта, отсчитывает себе больше, чем ему полагается, из выручки за крестины, за похороны, за поминки и другие церковные требы. А отец дьякон доказывал Василию Елизарьевичу, что он берет себе из церковных доходов то, что ему положено по сану. Напоследок отец дьякон тоже начал кричать на Василия Елизарьевича. Так они спорили и ругались пятнадцать верст, пока мы не доехали до самого Безкиша.

Во время ссоры они перечисляли и подсчитывали все свои доходы. Но сколько они имеют с прихожан, я так и не понял. Зимой, особенно в великий пост, доход у них, видать, очень большой. А летом во время страды и сенокоса никакого. В такое время прихожан в церковь и калачом не заманишь. Даже умерших хоронят без отпевания.

А отец Петр в их спор не вмешивался. Он с головой накрылся своей попоной и притворился спящим. А может, и на самом деле спал.

Между тем наступила ночь. Опять повалил снег. Кругом все мело и крутило. Дороги от Безкиша уж никакой не было. Надо было ехать наугад убродом. Кони мои давно были в мыле. И править ими было уж не нужно. Они сами лучше моего знали дорогу и осторожно тащили кошевку. Отец дьякон и Василий Елизарьевич закончили свою ссору. А может быть, устали ругаться и теперь дружно набросились на меня за то, что я медленно везу их. Особенно сильно ругался Василий Елизарьевич, которого мы так любили в школе за доброту и обходительность. Он все время заставлял меня подгонять Серка и Гнедка и все время грозился взбучить кульчекского старосту за то, что он не нарядил за ними настоящего ямщика на справных

лошадях, а послал какого-то подростка на заморенных конишках.

Поздно вечером я привез причт Комской приходской церкви и доставил их прямо к Точилковым, у которых они квартируют при наездах к нам в Кульчек.

На прощанье отец Петр, отец дьякон и Василий Елизарьевич не сказали мне ни слова. Ни пожурили, ни поругали меня за плохую езду, ни похвалили за то, что я двадцать с лишним верст проторчал для них на ветру, на морозе на своем облучке, продрог до костей, обморозил себе нос и щеки.

Отец встретил меня на дворе и прежде всего стал выспрашивать, почему я так сильно взмылил лошадей, почему мы так поздно приехали и довольны ли мною остались батюшка, отец дьякон и Василий Елизарьевич.

Тут я рассказал ему, какая плохая дорога была из Комы. А от Безкиша уж никакой дороги не было, что коней я не гнал, так как по такой дороге их не погонишь, что отец Петр, отец дьякон и Василий Елизарьевич остались мною очень недовольны и завтра будут жаловаться старосте на то, что меня послали за ними на плохих конях, вместо того чтобы нарядить настоящего ямщика.

Тут от обиды на все это я даже расплакался. А отец, не разобравшись, в чем дело, рассердился на меня, сказал, что надо было ехать побыстрее и что Серко и Гнедко кони у нас хорошие. На таких конях только начальство и возить.

— Сам видишь, кони в мыле, — вмешалась в наш разговор мама, — а говоришь, надо было ехать быстрее. Шуточное ли дело, от Безкиша семь верст тащить убродом целый воз. Один дьякон потянет пудов на шесть. Разъелись на мужицких хлебах, а потом над нами же изгиляются. Пусть спасибо скажут, что привезли.

Тут мама вспомнила, как наш сосед Илюша Павлов повез раз из Кульчека отца Михаила, который был раньше в Коме до отца Петра, и как тот стал выражать ему недовольство тихой ездой. Так Павлов высадил его в Крутом логу, поворотил лошадей да и уехал домой. Так что дальше отцу Михаилу пришлось топать уж пешком.

— И этих надо было высадить, — сказала мама, — попробовали бы пешком по пояс в снегу пройти семь верст, так узнали бы, как рысью и галопом ездить по такой дороге.

— Что верно, то верно, — согласился отец. — Не очень-то поскачешь по такой дороге. И так лошадей перетомил. Ладно уж. Пусть жалуются. Нам начихать на них. Очередь свою на гоньбу отвели — и хорошо. Надо только фиток получить у Ивана Адамовича. Рупь двадцать шесть копеек тоже деньги. За подать потом зачтут...

На другой день во время молебна в школе я все время вертелся около отца Петра, отца дьякона и Василия Елизарьевича. Но они меня не замечали. А если и видели, то не узнавали, как будто я был не их ученик, а какой-то незнакомый им кульчекский парнишка.

Это было мне очень обидно. Особенно со стороны отца Петра. В школе он относился ко мне всегда ласково и, бывая здесь в Кульчеке, выказывал мне свое расположение. А один раз на пасху, когда я был дома на каникулах, он даже пришел к нам в гости и целый вечер слушал рассказы отца про охоту на медведей, на маралов, на волков и соболей.

Я не стал дослушивать праздничный молебен архангелу Михаилу и вышел на школьный двор к ребятам, которые, вместо того чтобы молиться, гонялись здесь друг за другом и барахтались в снегу. Первым мне попался под руку Илька Точилков, и я закатил ему такую подножку, что он как подкошенный уткнулся носом в сугроб. Илька был у нас в школе парень в общем-то безобидный. Но тут он взъерепенился и схватил меня за вороток. Но я в два счета уложил его на землю. Потом таким же манером поборол еще несколько ребят. Недаром Конон и на пашне, и на покосе, и особенно на заимке учил меня в свободное время борьбе. Я так разошелся, что схватился бороться даже с Матвеем Гарасимовых. Но он сразу же уложил меня на лопатки. После этого у меня пропала охота бороться, и я отправился домой.

Дома я с горечью стал вспоминать, как мы до одурения зубрили уроки по «Краткому наставлению в законе божием», как отец дьякон мучил нас с этим законом божиим и как мы из-за этого не прошли у него полностью начатки геометрии и совсем не занимались природоведением. Припомнил я и то, что Василий Елизарьевич был пьяница, на что мы в школе почему-то не обращали внимания. Но вся Кома знала, что он пропивает все свое жалованье и держит впроголодь свою большую семью.

Еще на первом году обучения в двухклассном училище

отец Петр заставил нас чистить церковную утварь в церкви. Все лампады, светильники, плащаницу и даже паникадила. Два месяца мы ходили туда после уроков и работали как угорелые. А Генка Толоконников чуть не оборвался с высоченной лестницы, отвинчивая подсвечники на паникадиле. Если бы упал, то наверняка бы убился. Мы сильно надеялись на то, что отец Петр велит церковному старосте заплатить нам сколько-нибудь за эту работу. Однако отец Петр только похвалил нас, но ни копейки не заплатил.

Мне еще хотелось припомнить что-нибудь обидное насчет отца Петра. Но я ничего не мог припомнить такого, кроме Комского общества трезвости.

Сразу же по приезде в Кому священником отец Петр решил повести в своем приходе борьбу с пьянством. И с этой целью организовал при церкви общество трезвости. Из всей Комы, в которой насчитывалось свыше трехсот домохозяев, в это общество вступило только четыре мужика. Над ними и над их обществом трезвости потешалось все село. Из Кульчека, Безкиша, Черной Комы и Ивановки, которые входили в Комский церковный приход, в общество не вступило ни одного человека.

После молебна в школе отец Петр с отцом дьяконом и Василием Елизарьевичем стали ходить с крестом и молитвой по деревне. Они заходили в каждый дом, пели несколько молитв, окропляли хозяев святой водой, давали им приложиться к кресту и спешили дальше. А за ними от дома к дому ходила подвода, и каждый хозяин должен был насыпать им по четыре ведра ржаного жита.

К нам они тоже зашли. Раньше, когда я учился в Коме, отец Петр, бывая у нас с молитвой, узнавал моих родных, вел себя с ними как со знакомыми, спрашивал о хозяйстве, о здоровье. А на этот раз не признал их, как будто впервые зашел в наш дом. И не обратил на меня никакого внимания. Отец дьякон и Василий Елизарьевич сделали так же.

Но и отец не лебезил перед ними. А когда стал насыпать положенные им четыре ведра жита, то зачерпывал ведра только наполовину. Так что Кузьма Точилков даже стыдить его начал, дескать, скупишься, Гаврило, давать на храм божий.

— Хватит с них и этого, — ответил отец и под самым его носом закрыл амбар на замок.

После поездки в Кому за церковным причтом, после праздничного молебна в школе и последней встречи с отцом Петром, отцом дьяконом и Василием Елизарьевичем у нас в доме мне стало ясно, что я для них только ямщик, и к тому же еще и плохой ямщик. И что вообще я только простой деревенский парень-подросток. Робкие мечты и надежды на то, что мне после Комы удастся еще где-то учиться, окончательно испарились, и я понял, что мне, как и моему отцу, и моему брату, определена общая судьба навсегда оставаться в Кульчеке, пахать здесь пашню, жать, молотить, косить, метать, рубить, пилить, колоть, платить подати, возить по наряду старосты начальство и выполнять разные казенные повинности.

И в церковь после этой встречи с отцом Петром, отцом дьяконом и Василием Елизарьевичем меня уже не тянуло. Я перестал думать о боге и о том, чтобы как-нибудь не согрешить перед ним. Окружающая меня жизнь, как в нашей семье, так и во всей деревне, не настраивала меня на благочестивый лад.

Глава 15
БОЛЬШАЯ ТАЙГА

А снег и после михайлова дня, на удивление всем, продолжал валить и валить, как будто в небе образовалась какая-то снежная прорва. Только к николину дню погода кое-как переменилась, и жизнь в деревне мало-помалу начала входить в обычную зимнюю колею. Теперь мы с Кононом почти каждый день стали ездить в тайгу. То в Шерегеш за дровами, то в Каменное за сеном. Съездить в Шерегеш за готовым крежником не представляло особого труда. Конечно, накупаешься в снегу и промерзнешь до костей. Но это ведь недалеко от деревни. Выедешь утром до свету, а к обеду уж дома. А вот ехать в Каменное за сеном... это уж другое дело. И далеко, и, главное, трудно пробиваться от наезженной дороги к нашему покосу. И в обычную зиму к нему надо ехать убродом. А нынче приходится с большим трудом протаптывать туда дорогу. Садишься верхом на переднюю лошадь и пробиваешься на ней к покосу почти три версты. И конь под тобой в мыле, и сам мокрый, как мышь. А доберешься до места, надо откапывать стог. И только потом

начнешь накладывать сено на сани. И все это на резком ветру, на большом морозе. Пока управишься с четырьмя возами, дело начинает уж клониться к вечеру. А потом еще семь верст обратной дороги. И половину опять по той же снежной целине. А мороз тем временем начинает нажимать. Идешь за возом и буквально леденеешь. А тут еще опрокинется воз на ухабе. Попробуй его распрокинуть. Одна надсада. А если, не дай бог, оборвется завертка у оглобель — в большой мороз они ведь рвутся очень часто,— тогда приходится сразу же лезть под воз, разгребать снег голыми руками и продевать за копылки саней веревку. Тут уж по-настоящему дело доходит до слез. Плачешь, а все равно делаешь. Да еще надо следить за тем, чтобы не обморозиться. Того и гляди, нос и щеки побелеют...

Так со всякими оказиями голодный и полузамерзший приедешь кое-как к вечеру домой, свалишь сено в сенник, управишься с конями, то есть отведешь их в стаю и подбросишь им на ночь корма, и только после этого идешь в дом, чтобы обсушиться, согреться за горячим чаем, рассказать отцу, какой большой снег вывалил нынче в Каменном и как нам трудно было топтать туда дорогу, как откапывали в снегу сено, сколько раз и в каком месте опрокидывались наши воза и рвались завертки у оглобель и как на этот раз вели себя наши кони.

А отец слушает все это да обсказывает, что мы сделали как следует, а что неладно, и советует, как лучше на следующий раз протаптывать дорогу к покосу и заранее примечать по пути ямы и большие ухабы.

В один из таких вечеров к нам заявился Федот Саетов и завел с отцом длинный разговор о том, что по нынешнему снегу есть прямой расчет ехать маральничать. «Снегу в тайге, — уговаривал он тятеньку, — вывалило нынче как никогда в последние годы. И если надумаем, то надо с этим делом поторапливаться».

Уговорить отца на такое дело было нетрудно. Он и сам последние дни все время поглядывал на глубокий рыхлый снег в нашем переулке, тяжело вздыхал, приговаривал: «До чего же подходящая погода маральничать... Вот бы в тайгу... Глядишь, и привезли бы оттуда быка, а то и двух...» Так что с Федотом они на этот счет сразу сговорились, а потом пошли с этим делом к дяде Илье, а от него к Ивану Елкину. А потом уж сообща решили позвать с собой в артель еще Тимку Бабишова. Он хоть и не маральничал еще, но парень огневой. На лыжах насупротив

него в деревне, пожалуй, никому не устоять. И так парень хоть куда.

После этого Федот Саетов, дядя Илья, Иван Елкин и Тимка Бабишов стали вечерами собираться у нас, чтобы договориться как следует насчет этой охоты. Они рассаживались на полу около железной печки, курили, пили пиво и все говорили и говорили. Но говорили не о своей охоте, а больше о каких-то пантах.

Поначалу этот разговор я не понимал, пока не сообразил, что они говорят о маральих рогах и высчитывают свою будущую выручку от продажи этих пантов, если добудут в тайге маралов.

Раньше наши охотники охотились на маралов из-за мяса, а маральи рога привозили из тайги только для красоты. А теперь наши артельщики решили добывать зверей живыми и держать их дома на панты. При этом они все время ссылались на проезжекомского охотника Толоконникова, который развел у себя целый маральник. Тысячное дело, говорят, получается... А начал с одного захудалого марала... Вывез его живым из тайги и поставил на откорм. А теперь развел целый табун...

После всех этих разговоров наши охотники сговорились немедленно сооружать свой маральник. В самом деле, вдруг бог даст удачу: загонят одного, а может, и двух зверей и вывезут их из тайги — куда их здесь девать? В коровью стаю марала ведь не поставишь. Он через любой забор перемахнет. И поминай как звали.

Маральник решили ставить у Федота Саетова. Он живет в деревне на отшибе. Так что меньше глазеть на зверя будут.

А вот какой маральник ставить, сговориться никак не могли. Отец с Федотом Саетовым предлагали ставить маральник обязательно со щелями, чтобы зверя в нем хорошо продувало, а дядя Илья с Елкиным настаивали на маральнике без щелей, чтобы зверя не могли сглазить чужие люди. «Сэкономим на этом каких-то пять-десять бревен, — рассуждали они, — а зверей потеряем... Знаете, теперь какой народ... На доброе охотников мало, а озевать зверя враз могут...»

А Тимка Бабишов в этот спор по своей молодости не ввязывался. Он сидел да прислушивался. А потом и подал совет — поехать в Проезжую Кому да посмотреть там маральник у Толоконникова. Он сделан у него, надо думать, как следует.

Тут все сразу ухватились за Тимкино предложение и стали уговаривать отца поехать с этим делом в Проезжую Кому. Ведь наши Сюксины живут там по соседству с Толоконниковыми. Пока об этом думали да соображали, Толоконников сам нежданно-негаданно заявился в Кульчек и заехал прямо к нам. Приехал он к нам ночью, после третьих петухов, и объяснился, что едет из Караскыра. Купил там по случаю марала и решил переднневать у нас в Кульчеке. И лошадей сильно перетомил, и, главное, ехать со зверем через Безкиш в Проезжую Кому днем не годится. А потом, и Фекла Тимофеевна (мамонькина сестра) просила непременно заглянуть к нам. Со здоровьем она нынче что-то сильно сдала.

Своего марала Толоконников попросил до рассвета куда-нибудь спрятать. А то начнут соседи ахать да удивляться. Сглазят еще. Знаете, какой народ пошел...

Ну, отец тут же разбудил Конона, и они вместе с Толоконниковым и его работником переволокли сани со зверем в нашу коровью стаю. А потом, конечно, пили чай. Пока то да се — и начало светать. Толоконников со своим работником улеглись на полати отсыпаться, а мы с Кононом запрягли лошадей и поехали в Шерегеш за дровами.

В Шерегеше у нас все время шел разговор о Толоконникове. Видать, человек он действительно богатый, решили мы. Одет во все базарное. Рубаха сатинетовая, штаны суконные и на резиновых подтяжках с красивыми застежками. Такие подтяжки нам довелось видеть только один раз у нашего двоюродного брата Изосима Сюксина, когда он с тетенькой Феклой приезжал в прошлом году к нам в гости. А у нас в Кульчеке такие подтяжки никто пока еще не носит.

О маралах мы тоже говорили... Утром я успел заглянуть в коровью стаю и посмотреть на зверя. И меня удивило, что он был без рогов. Но Конон объяснил мне, что рога ему, видать, обрубили перед тем, как выезжать с ним из Караскыра.

Пока Толоконников отсыпался, мамонька с Чуней приготовили ему хорошее угощение. Тятенька принес откудато бутылку водки и упредил своих артельщиков, чтобы они бросали все свои дела и приходили к нам потолковать о чем следует.

А Толоконников оказался мужиком обходительным. Ему нравилось, что мы принимаем его так уважительно.

И держался он у нас не как случайный заезжий, а как хороший знакомый или вроде как бы гость. С мамонькой он говорил все о Сюксиных, о тетке Фекле, о моих двоюродных братьях Изосиме и Кузьме. С отцом у них сразу завелся разговор об охоте. Пока мы с Кононом сидели за столом, он и с нами успел поговорить. Конона расспросил о том, как он белковал нынче в Ижате, посмотрел и расхвалил его мелкокалиберную винтовочку. А меня стал выспрашивать, где я учился, и очень обрадовался, когда узнал, что я учился в Коме в одном классе с Генкой Толоконниковым.

— Племяш мой, Генка-то, — объяснил он нашим. — Женить бы надо парня. Работница в дом нужна. Да мал еще...

Тем временем подошли дядя Илья, Федот Саетов, Иван Елкин и Тимка Бабишов. Они тоже уселись за стол, так что сразу образовалась как бы компания. Чтобы не мешать их беседе, я сразу же вышел из-за стола и устроился на полатях. Оттуда мне все хорошо было видно и слышно. А Конон с толоконниковским работником пошли проверить зверя и управиться по хозяйству.

За столом сразу же повелся разговор о маралах. Наши артельщики прямо обсказали Толоконникову, что надумали заводить свой маральник, что раньше они охотились за зверем только на мясо, а теперь решили добывать его на панты и просят обсказать им, как лучше вывезти зверя живым из тайги, как содержать его потом в маральнике, когда и как снимать с него эти самые панты и что с ними потом делать.

— Ты, Иван Васильевич, ни в чем не сумлевайся, — уговаривал Толоконникова дядя Илья. — Мужики у нас в артели надежные. Лишнего болтать не будут, и о нашем разговоре никто ничего не узнает.

— А если и узнают, то не беда, — ответил на это Толоконников. — У меня в этом деле секретов нет. Я и сам в молодые годы ходил в тайгу мараловать. Молодой был... Сил много было... Ну и антирес имел, конечно. Охота, знаете, пуще неволи. А потом сообразил, что ломать по горло в снегу сисимские хребты из-за трех-четырех пудов мяса нет никакого расчета, и по совету одного умного человека откупил у своих артельщиков хорошего рогача и поставил его в маральник на откорм. А сам поехал на Саяны. Там ведь многие держат маралов. Даже в работники там нанялся к одному хозяину, чтобы произойти у него все это

дело на практике. А теперь н сам развел небольшое хозяйство. Живу ничего... На бога роптать не приходится...

А дальше разговор перешел уж на маральник. Толоконников присоветовал делать его круглым, на восемь углов, рубить из нетолстых бревен н обязательно с просветами. Марал холодов и ветра не боится. Однако крыша от непогоды нужна.

Тут дядя Илья стал сомневаться, как бы зверя в просветы не сглазили чужие люди. Но Толоконников успокоил всех. Когда зверь окончательно приоделен к месту, он уж этого не боится.

— А потом, не все же время вы будете держать своего зверя в тесноте,— объяснял пашим артельщикам Толоконников.— К каждому маральнику пристраивают небольшой загон, или, проще сказать, просторный двор, в котором зверь может жнть и кормиться, когда он приобвыкнет к хозяевам. В Саянах богатые хозяева пригораживают к этому двору целый выгон, вроде наших телятников. Строят его из прочного дерева и большой высоты. И звери пасутся у них на приволье. Но это в Саянах, где по-настоящему разводят этих зверей. Нам до них далеко.

Содержать зверя в маральннке нетрудно. Марал — зверь неприхотливый, и его круглый год можно держать на одном сене. Только весной, примерно до троицы, когда у него вызревают панты, сено надо посыпать овсяной и ржаной мукой. В общем, надо кормнть зверя лучше. Тогда он будет в теле н даст хорошне панты.

С крупного марала снимают до пуда пантов. Цена на них держится до четырех рублей за фунт. А вываренные н высушенные панты ндут по двенадцать рублей. Хотя в весе они сильно убывают, но цены своей не теряют.

А выварнвать нх надо с таежной травой бадан, или, как ее еще называют, царь-травой. Растет она больше по таежным луговинкам. Цветет весной, перед петровым днем. Цветочки розовато-красные с прожнлкамн. Наваришь этот бадан в большом чугуне и зальешь этнм наваром рога. А потом начннаешь осторожно парить их на легком огне. Сушить панты надо на вольном воздухе... Лучше всего где-ннбудь под навесом. После просушки панты можно везти на продажу.

— А куда их везтн-то? — заинтересовались наши охотники. — В здешннх местах их ннкто вроде не принимает.

Может, в городе есть купцы, которые занимаются этим делом?..

— Нет в наших местах таких купцов, — ответил Толоконников и стал рассказывать, что с пантами приходится ездить в Китай — в город Хайлар на Китайской восточной железной дороге. Ехать туда надо обязательно с паспортом и лучше всего за компанию с каким-нибудь бывалым человеком. Одному отправляться туда сумлительно. И обокрасть могут в дороге, и даже убить. Я первый раз поехал туда с одним ермаковским охотником, у которого полгода жил в работниках, когда надумал заняться этим делом. Хороший человек. В этом городе он уж бывал не один раз. И знает там все, что надо. И где остановиться, и к кому обратиться. А теперь я и сам уж освоился и езжу туда один. Боязно, конечно. Но ничего... Пока бог миловал... Надо только себя соблюдать, воздерживаться насчет выпивки и, конечно, быть все время начеку. Помнить, что ты находишься на чужой стороне и если оступишься там, то и поминай как звали. Потеряешься, как иголка в сене.

Дальше разговор перешел к тому, как снимать с маралов панты. Дело это, оказывается, очень трудное и опасное.

В загон, в котором находится зверь, приходят несколько человек с длинными веревками. Они делают из тех веревок петли и расправляют их на земле. А потом начинают гонять зверя. Зверь бегает и попадает, конечно, ногами в расставленные петли. И человек должен задернуть петлю на его ноге. Так зверя гоняют до тех пор, пока не запетляют все четыре его ноги. А потом продевают концы этих веревок в железное кольцо и начинают тянуть веревки в разные стороны. Гонят кольцо прямо к его ногам и таким манером стягивают ему ноги. Тогда зверь падает. Тут на него сразу наваливаются шесть здоровых мужиков. Окромя них, еще два человека прижимают его голову к земле, а третий, обыкновенно сам хозяин, отпиливает рога. Зверь дрожит, бьется изо всех сил, но ноги его стянуты и самого его крепко держат со всех сторон. Бывают случаи, что зверь не выдерживает этой муки. Чтобы он не извелся до смерти, на него все время льют холодную воду. А чтобы не изошел кровью, корни отпиленных рогов залепляют тестом, а потом крепко завязывают тряпкой. После этого со зверя снимают все петли и отбегают в сторону.

Здесь в любой момент легко покалечиться и даже лишиться жизни. Когда еще гоняют зверя по загону, он может растоптать тебя. Может насмерть боднуть. А если, не приведи бог, ослабнут веревки, когда он лежит на земле, может лягнуть, может перевернуться, сломать рога, покалечить людей. А снимать петли с ног... Тут самая малая оплошность — и зверь может выпустить тебе кишки.

На такое дело старики, конечно, не годны. Тут нужны сильные, ловкие, отчаянные люди. Но и молодые идут на это неохотно. Кому хочется рисковать жизнью? Но все-таки находятся любители... Конечно, за большие деньги. Во время работы они требуют водку. Снимут с одного зверя панты и идут пить. Пьют ковшиком прямо из ведра. Выпьют и потом управляются со следующим зверем.

— Это сколько же вина надо запасать, чтобы напоить такую ораву? — не удержался спросить Толоконникова дядя Илья. — Два человека тянут веревки через кольцо, шесть держат зверя за тушу, три за голову... одиннадцать человек получается, не считая тех, которые льют на него воду. Тут меньше чем ведром не обойтись?

— Ведром тут, конечно, не отделаешься. А кончат работу — приходится угощать всех еще дома. Как на помочи. А платить сколько приходится... По пятерке каждому. Дешевле никто не идет на такое дело. Тут ведь оплошай немного — и капут. В Саянах, там маральников много и такие случаи не редкость. Но меня пока бог миловал. Уж пятый год снимаю панты и обхожусь без увечий и смертоубийства. За все время был только один случай. Перешибло одному парню руку. Но все, слава богу, обошлось. Провалялся три недели в постели и поправился...

А дальше разговор повелся уж о том, как брать маралов в тайге живыми и как лучше вывозить их оттуда домой.

— Вот вы вышли своей артелью за ними,— обсказывал это дело Толоконников, — и где-то на хребте напали на их след. Чаще всего это старый след. Его замело уж снегом. Но все равно он хорошо виден. А если пройдет несколько зверей, то после них на снегу остается целая дорога. И вот вы идете по этой дороге до первого их лежбища и там по впадинам на снегу узнаете что ночевало, к примеру, три зверя — два рогача и одна матка.

Теперь вы идете по их следу дальше и где-то на соседней гриве — они ведь пасутся и далеко не уходят — нахо-

дите новое, более позднее лежбище. От него опять берете след и находите уж совсем свежую ночевку. Значит, звери где-то близко. Вы их не видите, а они вас уже учуяли и пошли на уход. Теперь вам придется уж преследовать их. Но без хорошего отдыха гнать зверя нет никакого расчета. Он сразу же уйдет от вас. Значит, надо делать остановку на ночевку, тем более что вы к этому времени уж перемокли до костей и замотались до смерти.

А на другой день вы с утра опять идете за зверем. Теперь дело пошло уж на измор — кто кого пересилит. Снег большой, на полтора, а может, на два аршина... Но вы на лыжах, вам легче. А зверям приходится пробивать себе дорогу прямо по целине...

И вот на второй, а может, и на третий день вы так измотали зверей, что самый слабый из них уж совсем выбился из сил. В таких случаях зверь становится под дерево. Его можно только спугнуть с места. Уходить от вас у него уж нет сил. И он только перейдет под другое дерево.

А бывает и так, что зверь так изматывается, что умирает прямо на тропе или ночью на лежбище. От такого зверя охотникам уж нет никакого прибытка. Мясо подохшего зверя несъедобно, а зимние рога особой цены не имеют. Остается только одна шкура, которую наши кожевники и овчинники выделывать почему-то не берутся.

А замотанный зверь стоит под деревом и ждет, что вы с ним будете делать. И стоит он как натянутая струна. Только переступает с ноги на ногу. Вроде снег себе утаптывает. И вид у него самый мирный. Как будто он жил в тайге вместе с вами.

Когда вы охотились на марала на мясо, то в таком случае сразу же кололи его, не считаясь с тем, матка это или рогач. А раз вы решили брать зверя живьем на панты, то это дело надо решать уж по-другому. Если это маралуха, — они чаще изматываются первыми, — то она нужна будет вам только на мясо. В этом случае вы оставляете здесь кого-то из своих артельщиков управиться с нею, а сами гонитесь за остальными зверями.

А если это рогач, то вам надо будет поставить его на прикол, чтобы прийти за ним после того, как вы нагоните и управитесь с остальными зверями. Поставить марала на прикол — дело трудное и опасное. Сначала у него надо снять рога. Потому что с рогами марала ни на прикол не поставишь, ни на нарты не погрузишь. И вот его

крепко привязывают за рога к дереву, под которым ои стоит. А потом уж по второму разу крепко-накрепко притягивают его к этому же дереву за те же рога, ио только за самую основу. А потом осторожно, из-за дерева, надрубают ему рога по тому месту, по которому оии сами отваливаются у него весиой. После этого длинной палкой осторожно отбивают их с головы зверя, пока они не отвалятся. Зверь будет, конечно, биться изо всех сил, ио сделать ои ничего уже не может, так как крепко притяиут к дереву.

Теперь зверя можио ставить на прикол. Для этого тут же рядом на подходящем дереве делают побег — веревочное кольцо с петлей. Чтобы этот побег не падал иа землю, его крепят в глубокой выемке на стволе, а проще говоря, в зарубе. Заруб и кольцо в ней смачивают водой, чтобы оии обледенели и чтобы кольцо свободио вращалось в своей выемке вокруг ствола. Место вокруг дерева тщательно очищают, затем подтягивают сюда зверя, привязывают к рогам, вернее, к остаткам рогов, крепкий повод, прикрепляют его к петле на кольце побега и снимают все путы. И зверь оказывается как бы на свободе, но на приколе. Теперь охотники могут идти за остальиыми маралами. А около этого зверя оставляют кого-иибудь присматривать за ним и подкармливать.

Но вот вы замотали иаконец и остальных зверей, и они встали у вас в разиых местах каждый под свое дерево. Если они окажутся рогачами, то вам надо будет брать их на панты. Значит, придется сначала обрубать им рога, а потом грузить на иарты, чтобы вывозить из тайги. Как делать нарты и как грузить на них маралов, я объясиять вам не буду. Тут дело само за себя говорит. Чтобы ие покалечить зверя, надо делать для него иа иартах мягкую подстилку из пихтовых веток, а ноги стягивать ему и к иартам привязывать обязательио рушниками. А потом уж впрягаться в иарты и волочить их по таежиым хребтам.

А может статься, что вы попадете иа след четырех и даже пяти зверей. Так тоже бывает, хоть и редко. Ну, тут уж сообразуйтесь со своими силами. Больше двух зверей вам из тайги все равно не вытянуть. Значит, их и берете. А остальиых или режьте сразу на мясо, или ставьте на прикол, чтобы прийти за ними с зимовья.

Теперь охота почти закончеиа. Остается выволочь своих маралов по глубокому снегу через высочеиные горы иа зимовье. Это дело ие менее трудиое, чем загнать зве-

9 Заказ 1388

рей. Но об этом мне вам рассказывать, я думаю, нечего. Вы ведь сами мараловали, и вам не раз приходилось тянуть нарты за лямки по нашим сисимским хребтам. Крутизна-то сами знаете там какая. Сколько потов надо согнать, пока вытянешь нарту наверх. А спускать ее тоже не легче, хоть и под гору. А если охота будет удачной и вы добудете двух рогачей, да еще прирежете матку... Значит, придется тянуть уж две, а может, и все три нарты. Так что подъем этот и спуск только на один хребет надо будет делать несколько раз. А до зимовья придется наверняка переваливать через несколько хребтов. Как подумаешь об этом да еще вспомнишь свою охоту в молодые годы, даже страшно становится. И откуда только силы брались...

Наши охотники уважительно слушали Толоконникова. Разговор велся не торопясь. Из-за стола перешли к железной печке, закурили и расположились там на полу привычным порядком.

Толоконников с видимым удовольствием и терпеливо растолковывал нашим артельщикам, как пойманному зверю обрубать рога. Орудуя с поленом, он наглядно показывал, как надо делать побег и все такое... Во время этих разговоров возник вопрос о том, может ли один человек и заколоть, и изобиходить загнанного зверя. На это Толоконников рассказал им, как управляются с этим делом охотники в Саянах. Оставят одного человека около загнанной маралухи, а сами идут по следу дальше. А он начинает присматриваться да соображать, как ему лучше сделать свое жестокое дело. Хоть зверь и выбился из сил, но подходить к нему все-таки опасно. Прямо на человека он не кинется, но потревоженный может стоптать его или, не дай бог, лягнуть. А лягнуть он может насмерть. Значит, надо кончать его как-то издали. И вот охотник вырубает длинный шест, привязывает к нему сыромятным ремнем свой острый нож, подкрадывается к маралухе и колет ее под переднюю лопатку. А она отскочит и стоит. Стоит и исходит кровью. А когда совсем обессилеет — ложится. Тогда он издали тем же ножом на шесте режет ей горло.

Вообще-то, марал в тайге кричит, особенно весной, во время гона. Крик у него похож на коровий. Только более тонкий и протяжный. А зимой зверь — умирает молча...

Теперь остается содрать с него шкуру, пока он еще теплый, очистить внутренности, разрубить тушу на части,

спрятать ее в снег или подвесить куда-нибудь на дереве. Все это под силу одному человеку.

Вечером, после ужина, Толоконников решил уезжать домой. Хотя человек он был умный и бывалый, но тоже боялся худого глаза, разных наговоров и приворотов. Никому из наших охотников он даже не показал своего зверя и попросил их на прощанье никому не говорить дома о его отъезде и ни в коем случае не провожать его. В заключение он пожелал нашим охотникам удачной охоты. Он был уверен, что по такому снегу они непременно добудут в тайге зверя, а может, и двух. «Если надумаете потом продавать их,— сказал он на прощанье,— то имейте в виду меня. За хорошего рогача я денег не пожалею...»

После встречи с Толоконниковым наши артельщики окончательно уверились в том, какое выгодное дело мараловодство, и сговорились, не откладывая дело в долгий ящик, подвозить к Федоту Саетову лес и рубить у него за огородом маральник. В сруб маральник решили не ставить, чтобы не обращать внимание в деревне, и пока укладывать заготовленные бревна штабелем на месте. А людям, для отвода глаз, говорить, что взяли подряд поставить одному новоселовскому купцу шестьдесят концов готовых бревен на постройку магазина. И начали готовиться к выезду в большую тайгу. Поехать должны были в какую-то речку Ямную, на вершине Устуга, где у тятеньки с Федотом Саетовым имеется хорошее зимовье.

Когда стали окончательно примеривать свои дела с этой поездкой, сообразили, что им придется взять с собой еще одного человека, чтобы оставить его с лошадями на зимовье. Тогда стали думать, кого бы взять туда с собой, и как-то все сразу сошлись на том, что лучше дяди Гарасима им никого на это дело не найти.

А дядя Гарасим последнее время опять вошел в трезвую полосу жизни, возвратился домой и, до поры до времени, хорошо помогал семье по хозяйству. Охотники понимали, что никто лучше его не может обезопасить их от худого взгляда, от наговоров и приворотов и в Кульчеке, и в Устуге, через который им придется проезжать туда и обратно.

Дядя Гарасим охотно согласился ехать с нашими охотниками в тайгу, но оставаться там одному в зимовье на несколько дней отказался. Сослался на то, что он не таежник и к этому делу не привержен. А потом, мало ли

что в тайге может приключиться. Можно захворать, во время большой непогоды может пришибить деревом, конь может лягнуть. И вообще, сидеть одному в тайге целую неделю, хоть и в зимовье, очень сумлительно. Тогда решили кого-нибудь еще прихватить туда и надумали взять с собой меня. Из Устуга до самой Ямной придется протаптывать дорогу. Вот и решили приоделить меня на это. А в Ямной буду ходить за лошадями, помогать во всем дяде Гарасиму.

А пока спешно начали рубить маральник и сварганили его за три дня. За это же время закончили все сборы к выезду в большую тайгу. Насчет охотничьего снаряжения давно обо всем уж договорились. Каждый должен был взять легкий топор в натопорне, четыре новых рушника, четыре новых длинных сыромятных ремня, новые во́жжи, сухарей, вяленого мяса и соли на десять дней. На всякий случай решили прихватить две пары запасных лыж, поперечную пилу и одно ружье. Может, где удастся подстрелить глухаря. Да и так с ружьем как-то спокойнее.

Хотя в Ямной у отца с Федотом Саетовым, как и в Большом Ижате, еще с прошлого лета был накошен и сметан небольшой копешок, тем не менее решили взять с собой на каждые сани по две копны хорошего сена, по мешку овса на лошадь и достаточный запас печеного хлеба. Накануне отправки в тайгу отец съездил в Кому в монополку и привез на всех по бутылке спирта.

Я очень обрадовался, когда узнал, что поеду в большую тайгу. Даже немного возгордился этим, так как никому из моих сверстников не приходилось еще там бывать. Ближнюю тайгу мы знали хорошо. Все покосы по Безкишу, в Сингичжуле, в Каменном, в Андачжачихе считаются у нас таежными. И действительно, рядом с расчищенными местами там наросло такое, что ни пройти ни проехать. И медведи ходят там по нашим покосам все лето. А большую тайгу я видел только издали.

Прошлое лето было у нас очень засушливое, и трава на покосах везде выгорела. Так что сено почти всем пришлось косить в тайге. И вот тятенька нашел за Безкишенским хребтом на самой вершине горы Блечи хорошее место с густой сочной травой, копен на сто. Развеселое место. Обозрение кругом — насколько глаз хватает. До самого Подкортуса. Косишь да все посматриваешь в ту сторону. А там в дымке бесконечная синь с разными переливами. В одних местах темнее, в других светлее. Там и

Солба, и Убей с Большим и Малым Ижатом, и Устуг. А за ними Сисим с десятками притоков — это и есть большая тайга. Пока мы косили да убирали там сено, я все время любовался на большую тайгу. Действительно, она огромная... как море. И какая-то торжественная. Говорят, ей и конца нет. Во всяком случае, никто этого конца у нас не знает, никто до него не доходил, хотя и охотились там за соболем верст за сто и более. Вся эта большая тайга выглядела с вершины Блечи необъятной. И где-то далеко-далеко по ее краям уходили в небо огромные задумчивые горы.

И вот теперь мне предстояло везти наших охотников в эту самую большую тайгу и ждать их в Ямной на зимовье, может быть, день, может, два, а может, целую неделю, пока они не поймают в Сисиме своих маралов.

Ехать туда я, признаться, побаивался. Из всей артели, не считая отца, свои только дядя Илья да дядя Гарасим. А Федот Саетов, Елкин и Тимка Бабишов — люди чужие. Кто их знает, как они там на меня посмотрят... Елкин, как я это приметил, все больше молчит да сосет свою трубку. Значит, при случае может здорово отматюгать. Знаем мы этих молчаливых мужиков. Тимка Бабишов все скалит зубы да гогочет. Значит, при случае будет дразнить да высмеивать. А Федот Саетов не молчит, и не ругается, и не жалуется на свою разнесчастную жизнь, как наш дядя Илья, а говорит негромко, как бы сам с собой. Артельщики слушают его очень уважительно и считают вроде как бы за старшего. Хотя годами он моложе их. В общем, получалось, что Федот Саетов мужик очень хороший. Но кто его знает, как он там на меня посмотрит. А топтать дорогу, оставаться с лошадьми на зимовье — с этим я запросто справлюсь. Пилить, колоть дрова, развести костер, выпрячь и запрячь лошадей — это дело для меня тоже привычное. Лишь бы ихние кони были такие же смирные, как наши.

Ехать решили цугом в первый день после николина дня, с расчетом передневать в Устуге и уж оттуда отправляться в эту самую Ямную. В сани решили запрячь Рыжка дяди Ильи, а нашего Гнедка поставить в постромки. Вечером дядя Илья принес к нам все свое снаряжение, а потом заявился и дядя Гарасим. Сразу же по приходе он стал помогать отцу в сборах, во все вникал, обо всем дознавался. Конон тоже помогал собираться. После нынешней поездки в большую тайгу он возомнил себя уж

настоящим таежником и все время старался вставить свое слово в разговоры взрослых об охоте. Я же состоял при этих сборах сбоку припеку. Мамонька сразу же заметила это и велела мне ложиться спать. Выезжать-то придется в полночь.

И действительно, ночью меня разбудили. На дворе уж стояли в упряжке кони. Все охотничье снаряжение и провиант были уложены в воз под сено. И Гнедко действительно был запряжен в постромки впереди дядиного Рыжка. Отец, дядя Илья и дядя Гарасим сидели за самоваром и поджидали Федота Саетова и остальных своих напарников.

Вскоре к дому подъехали сани, и через минуту Федот Саетов, Иван Елкин и Тимка Бабишов ввалились в избу. Ну, тут наши встали из-за стола и начали оболокаться в дорогу.

Перед самым выходом из избы дядя Гарасим долго читал перед образами какие-то молитвы. Все охотники в полном снаряжении тоже стояли перед иконами. Внапоследок перекрестились раза по два и пошли на двор.

Деревню проехали тихо и спокойно. Ни один человек нам не встретился, ни одна собака не тявкнула. На небе вызвездило. Встречный ветер обжигал лица. Но к этому все были привычные. Дорога поначалу была наезженной и укатанной, и кони бежали без понуканий крупной рысью. А как свернули на Безкишенский хребет к Устугу, тут дорогу уж перемело. Тут уж все стали полагаться на нашего Гнедка, который шел впереди в постромках, на его чутье и сноровку не сбиться с заснеженной дороги в глубокий сугроб.

В Устуге передневали, чтобы подкормить лошадей к тяжелому переезду в Ямную. Деревня Устуг маленькая. Живут там расейские из Витебской и Могилевской губерний, живут плохо. Кругом высокие горы и непроходимая тайга...

На следующий день раным-рано мы выехали в Ямную. Версты через две за деревней торная дорога кончилась. Дальше надо было ехать уж целиной. Тут мне пришлось садиться на Гнедка и на нем уж топтать дорогу. А наши охотники сидели в санях, курили и спокойно посматривали по сторонам. Слезать с саней и по горло купаться в снегу им сегодня не полагалось. Надо было беречь силы на погоню за маралами.

Версты через три мой Гнедко окончательно выдохся, и мне пришлось пересесть на саетовского Игреньку. Но и Игренька через некоторое время был в мыле. Так что пришлось садиться на третьего, а потом на четвертого коня. Так весь день и меняли их.

Поначалу я ждал от этой дороги что-нибудь интересное. Ведь мы отправились все-таки в большую тайгу. Но пока интересного ничего не было. Кругом, насколько глаз хватал, виднелся ельник, пихтач, осинник, местами листвяг и сосняк. Вроде как и в ближней тайге, только гораздо гуще. Деревья были покрыты снегом. Он придавал всему какое-то глухое, тяжелое безмолвие. Но скоро все это мне надоело, и я с тоской смотрел на какие-то распадки и ключи, которые и справа, и слева впадали в Устуг. Все они были похожи друг на друга. Но ни один из них не оказывался Ямной. Только поздно вечером, проезжая мимо какой-то очередной ложбины, я услышал сзади крик: «Стой! Стой!» — и догадался, что мы доехали наконец до этой проклятой Ямной.

Теперь мы свернули в распадок и версты через две добрались до небольшой луговины, над которой повисла высокая сопка. Здесь и было наше зимовье. Оно оказалось небольшой избушкой, до самой крыши занесенной снегом. Тут все сразу принялись дружно отгребать от нее лыжами снег, потом выпрягать лошадей. Кто-то быстро прямо у самых дверей развел костер и поставил на него наши котлы. А меня никуда не посылали и ничего не заставляли делать. За день я так умаялся, что еле держался на ногах. В избушке оказалась каменка, как в деревенской бане, и даже была приготовлена большая охапка дров. Каменку сразу же, конечно, затопили. И хотя в избушке было довольно дымно, тем не менее меня так приморило, что я почти моментально заснул на нарах.

Проснулся я довольно поздно. Посредине избушки на большой сосновой чурке теплился жировик. Каменка уже не топилась. На ночь ее прокалили, весь уголь выгребли и выбросили на улицу, чтобы не угореть, а дымоход в стене над дверью заткнули сеном. Плотно прикрытые двери покрылись в притворе куржаком.

Охотники уже спали на нарах непробудным сном. Один дядя Гарасим сидел около жировика и посасывал трубку. Увидев, что я проснулся, он подозвал меня к огоньку и поставил передо мной котелок со щами.

— Будили тебя, будили... Тимка даже табак в нос со-

вал. Так и не добудились. Хлебай щи-то... Весь день ничего ведь не ел...

Хотя я был очень голоден, но набросился прежде всего на чай и сразу выпил несколько чашек. А потом завел разговор с дядей Герасимом насчет наших охотников... Куда они завтра отправятся за своими маралами и далеко ли отсюда Сисим и Урю-Сисим, о которых они все время что-то толкуют? Но дяде Герасиму, видать, было не до разговоров со мной. Не успел я оглянуться, как он уж захрапел возле каменки, и я остался один около тусклого жировичка. Избушка утопала в темноте. На нарах слышалось тяжелое дыхание охотников. Я попробовал о чем-нибудь думать. Но ни о чем почему-то не думалось. Тогда я решил выйти ненадолго из избушки. Снаружи здорово загвоздило. Отвесная сопка над нашим зимовьем, высокие горы, покрытые лесом, как бы оледенели от мороза. Над всем стояла тишина, совсем не похожая на тишину летом.

Деревья летом в тайге все-таки живые и трава живая. Иногда прошумит слабый ветерок, прокричит ночная птица, как выстрел, раздастся резкий звук сломившегося сучка. А здесь все как бы умерло и обледенело... Только редко-редко снег беззвучно упадет с пихтовой или еловой ветки. И хотя наше зимовье было в глубокой распадине между высоких гор, но казалось, что мы находимся здесь где-то высоко-высоко под самым небом, а наш теплый уютный Кульчек лежит далеко-далеко внизу, за пределами бесконечного заледеневшего леса.

Потом я сходил и посмотрел наших коней. После тяжелой дороги они дремали, стоя у коновязей. Даже сено не ели. Я подошел к своему Гнедку и потрепал его по шее. Он приветливо заржал и стал тереться о меня головой.

Дальше мне около лошадей делать было нечего, и я пошел обратно в избушку. Теперь я с аппетитом очистил весь котелок со щами, потом забрался к тятеньке на нары и моментально заснул.

Проснулся я еще до свету, но в избушке уж никто не спал. Дверь зимовья была настежь открыта. Снаружи, прямо против дверей, весело горел большой костер, и неутомимый Тимка готовил на всех какое-то варево. Остальные охотники проверяли свое снаряжение и вразумляли дядю Герасима, как надо делать здесь «побег» для марала, которого они поймают в тайге. Потом они наказали дяде Герасиму непременно надрать поблизости на ельнике мху для маралов. Потому что к нашему деревенскому корму

зверь первое время не притронется. А мох для него самый подходящий корм. И еще настойчиво просили устроить нарты на санях... Может быть, в самом деле бог даст добыть зверя, так чтобы его можно было вывезти отсюда на этих нартах.

А дядя Илья все беспокоился насчет своего Рыжка и просил меня почаще присматривать за ним, потому что он конь еще молодой, несноровистый, как бы не заступил в повод да не завалился в снег, да еще чего-нибудь не наделал. Долго ли до греха.

Перед самым выходом в дорогу, когда уже все встали на лыжи, Тимка вдруг подозвал меня к себе и препоручил мне свою винтовку.

— Может, глухаря тут подстрелишь... Вот было бы хорошо, если бы подвалил к нашему приходу...

— Дядя Гарасим не даст стрелять, — выразил я сомнение насчет своей будущей охоты на глухарей.

— Как это не даст! По какому такому праву? А если он прилетит сюды да сядет против вас вон на ель? Что же вы, смотреть на него будете? Ты, дядя Гарасим, смотри, не прекословь. Так что, в случае чего, запросто стреляй. Может, и в самом деле подвалишь индюка.

— Нашел тоже стрелка, — проворчал отец. Потом подумал немного и добавил: — Ладно уж... Пусть стреляет... Только чтобы чьего-нибудь коня вместо глухаря не подстрелил...

Мне было обидно на тятеньку за такие слова. В самом деле... Как будто я не умею стрелять. Всегда он говорит такое...

Но вот наконец все тронулись в путь-дорогу вверх по Ямной... Впереди всех, конечно, Тимка. Он ведь парень яровый. За ним Федот Саетов, затем мой отец, потом дядя Илья. Последним шел Елкин. Кроме общего снаряжения, Тимка и Елкин взяли с собой еще по топору.

Мы с дядей Гарасимом проводили их за избушку на пригорок и долго смотрели им вслед, пока они не скрылись за поворотом речки. Нам жаль было их. Мало ли что там на охоте может приключиться. Но и себя нам тоже было жаль. Их все-таки пятеро. И народ все взрослый. Не то что мы — старый да малый. Остались здесь вдвоем, как Робинзон с Пятницей на необитаемом острове. Конечно, тайга — это не океан. Но все-таки она на океан чем-то похожа. Кругом, может, на тысячу верст ни живой души, ни путей, ни дорог. Только одна наша дорога — в

Кульчек, да и ту за ночь так замело, что н не выберешься...

Но думать да сокрушаться об этом было некогда... Солнце с грехом пополам вылезло на тусклый небосклон, и нам пора было приниматься за дело.

— Чем же мы сегодня займемся? — спросил меня дядя Герасим. — Дрова будем пилить, нарты делать илн этот самый побег сооружать? — Потом подумал немного и решил: — Давай начнем побег. Может, в самом деле бог даст фарту и привезут нам зверя, а то и двух... Во-он внднишь на бугорочке две сосны. Там и будем его делать. Беги, принеси из избушки топор да котелок для воды...

Около выбранных сосен я стал перво-наперво обтаптывать снег, а дядя Гарасим делать на высоте в рост человека на сосне зарубки в ладонь шириной н в заветь глубиной. Потом я принес из речки котелок воды, и мы стали осторожно поливать это углубление, чтобы оно как следует обледенело. А потом он сплел из вожжей в углублении толстое кольцо с петлей, и мы смочнли его водой. В общем, все сделали так, как обсказывал Толоконников. И у нас получился хороший побег. Таким же манером мы сделали второй на другой сосне. И проваландались с этнм делом до самого вечера. А на другой день мастерилн из наших саней нарты. Потом нарубили пихтовых веток и устлали ими нарты. Чтобы зверям по дороге в Кульчек мягко было лежать на этой подстилке.

А дядя Гарасим в общем-то оказался мужиком сноровистым. Хоть и не охотник, а все соображает, что надо. И топором хорошо орудует, и по хозяйству все помнит, чтобы лошадей вовремя посмотреть, напонть и сенца им подбросить. И вовремя скажет сходить в избушку погреться, а вечером как следует обсушиться, так как с самого утра все время прнходится пурхаться в снегу.

А на третий день мы решнли идти в ельник за мхом. Все эти дни я поглядывал на Тимкину винтовку и ждал — не прилетит ли к нашему зимовью какой-нибудь захудалый глухарь. И теперь я решнл взять ее с собой. Может, там, в ельнике, окажутся наконец эти проклятые глухари. Да и вообще с ружьем как-то спокойнее... От зимовья далековато. Мало ли что в тайге может приключиться... Дядя Гарасим не советовал мне сначала брать ружье, а когда увидел, что я чуть не до слез расстроился, сказал:

— Ладно уж... Бери... Может, в самом деле подстрелишь глухаря. Мало ли чего в жизни не бывает.

Ну, тут я, не говоря ни слова, сразу же повесил Тим-

кину винтовку за плечи со всей его ружейной амуницией, засунул топор за опояску, встал на лыжи и, как заправский охотник, отправился в этот самый ельничек. А дядя Герасим шел уж за мной, прихватив с собой несколько мешков под мох.

Но в ельнике в тот день мне не удалось увидеть ни одного глухаря, ни одной белки. Все они с нашим приходом куда-то попрятались. Да и некогда мне было там ими заниматься. Надо было собирать мох. Дядя Герасим притащил четыре пустых мешка. И хоть на старых елях мху было много, но попробуй-ка набери его столько. Да еще голыми руками, да еще в такой мороз. Не до глухарей тут и не до белок. Так что пришлось мне снять свое ружье и амуницию, повесить все это на елку, поставить тут же свои лыжи и начинать собирать этот мох... А дядя Герасим сразу же разгреб в одном укромном месте снег и развел там костер. Так мы и провели почти весь день в этом ельнике. Погреешься у костра и начинаешь собирать мох, пока руки не обледенеют. Потом опять погреешься и опять берешься за это дело.

А вечерами мы все время говорили о наших охотниках. Где они да что они... И как они в такой мороз ночуют под открытым небом мокрые, на снегу в одних шабурах. Дядя Герасим за маралами никогда не ходил. Ни по снегу, ни по насту. И, вроде меня, знал эту охоту с чужих слов. Но он понимал, что это дело нелегкое и жестокое. Гнаться за зверем по перхлому снегу целый день, ночевать у костра на снегу на таком морозе, потом опять идти за ним весь день и опять ночевать... И так до тех пор, пока зверь совсем не выбьется из сил. А если зверя загонят — попробуй-ка его на нартах тащить сюда на зимовье. Это надо семижильным быть. Не каждому хочется идти на такую свирепую охоту. И тут дядя Герасим вспомнил, как он в молодые годы поехал один раз с нашими кульчекскими мужиками козловать по насту. И как они нашли коз в Кракчуле на высокой гриве на снежной проталине, как спугнули их оттуда и погнали на снег. Как козы бежали по насту и проваливались в снег, как их нагнали собаки — они по насту ведь не проваливаются — и начали рвать их в клочья, как потом к ним подоспели на лыжах наши мужики и стали полосовать их ножами. В табуне было двенадцать коз, и ни одна не ушла... Всех перерезали... «Наши мужики тогда были сильно довольны этой охотой,— рассказывал дядя Герасим.— А я с того времени решил на

охоту больше не ездить и не брать в руки ружья. Жалко божью тварь. Никому она в тайге не мешает. Для чего же ее так жестоко убивать».

А в этот вечер дядя Гарасим мне ничего не рассказывал, да и я его ни о чем не расспрашивал. За день мы так перемерзли, перемокли и устали, что говорить нам ни о чем уж не хотелось. Мы прогрели как следует каменку, управились с конями, просушились, поужинали и завалились спать. Теперь все у нас было готово к возвращению охотников — два побега, две нарты, четыре мешка мху. На следующий день мы решили подзапастись еще дровами, свалили в косогоре над избушкой две смолистых сосны и испилили их. Я стал стаскивать напиленные чурки к избушке, а дядя Гарасим проверять да подлаживать наши нарты и побеги.

К вечеру мы совсем упали духом и окончательно решили, что с нашими охотниками что-то приключилось. Шестой день ни слуху ни духу. Не дай бог какое несчастье... Никаких концов не сыщешь. Да и кто их будет искать, и где их искать?.. Тайга огромная, снег на полтора, местами на два аршина. Легче иголку в зароде сена найти, чем человека в такой тайге.

Вдруг мне послышалось, что кто-то вроде подошел к нашей избушке. У меня екнуло сердце. Я открыл дверь и увидел Тимку Бабишова. Он стоял на лыжах перед нашими дверями.

— Ну, как? Живы вы тут?

— Мы-то живы... Что нам на такой фатере приключится,— приветствовал Тимку вышедший за мной дядя Гарасим.— А вы-то как? Ведь шестой день ждем вас... Все жданы потеряли.

— Не так чтобы плохо, но и не совсем хорошо. Увидите сами. Сейчас мужики подойдут.

И Тимка ввалился в избушку. Выглядел он сильно плохо. Лицо почернело и облупилось, губы растрескались, глаза ввалились. Он снял со своей опояски два котелка и поставил перед нами:

— Шуруйте скорее огонь, варганьте щи, варите больше чаю. Оголодали все как собаки. Еле ноги волочим. Побег-то для марала сделали?

— Два побега сделали, и нарты смастерили, и мху подзапасли,— ответил дядя Гарасим.

— Так поворачивайтесь тут живее... А я пойду подмогну мужикам... Совсем выбились из сил...

И он торопливо ушел навстречу нашим охотникам.

Тут мы живо развели костер, поставили на него наш котел со щами, которые мы сварили еще с утра, и водрузили на таганок большой котел с водой.

— Ты следи тута за этим, а я тоже пойду им навстречу... Надо помочь. На себе ведь нарты-то тянут...

Не успел я управиться как следует со своим варевом, как услышал приглушенные голоса наших охотников и увидел их уж совсем недалеко от нашего зимовья. Впереди на лыжах шли тятенька, Федот Саетов и везде поспевающий Тимка. Они тянули за постромки большие нарты. А за ними дядя Илья, Иван Елкин и дядя Гарасим тащили вторые нарты. Когда они подошли ближе, на первых нартах я увидел привязанного марала. А на вторых нартах было что-то прикрыто маральей шкурой. А сверху виднелись маральи рога.

Ну, тут все, конечно, уселись к огню и, не говоря ни о чем, прежде всего закурили. А после набросились на чай и моментально выпили весь большой котел. Но этого оказалось мало, и мне велели скорее ставить на огонь второй. А дядю Гарасима попросили развязывать скорее вторые нарты и рубить побольше в котел маралятины.

А когда немного отдохнули, пошли проверять наши побеги, чтобы приоделить к месту связанного на нартах марала.

Они выбрали тот, который был дальше от зимовья. Обтоптали еще раз вокруг него снег и подкатили нарты со зверем. Теперь надо было привязать его к побегу. Для этого надели на него прочную ременную оброть с двойным поводом, крепко-накрепко привязали его этим поводом к побегу и как-то по-особому обмотали его веревками на санях. Только после этого стали осторожно развязывать рушники, которыми он был привязан к нартам. А потом одним махом сорвали намотанные на него веревки, и зверь оказался свободным от своих пут. До этого он то и дело дергался и бился на нартах, а теперь лежал неподвижно, как мертвый. Тогда все стали понукать его, а дядя Илья сердито ткнул длинным шестом в бок. Тут зверь почуял наконец, что его распутали, и вскочил с нарт. Он на самом деле решил, что теперь свободен, и бросился в сторону. Но не тут-то было... Он был уже в оброти и двойным поводом привязан к побегу. Тогда он стал рваться на своем приколе, пока не выбился из сил. А может быть,

понял свое новое невольное положение и немного успокоился. Дернет повод раз, дернет два, а потом пойдет кругом дерева.

Теперь охотники наши немного успокоились и подбросили ему под дерево охапку сена. Но зверь не обратил на это сено внимания и продолжал кружить вокруг дерева. Попробовали дать ему мху. Но и ко мху он не притронулся. После этого решили покормить его хлебом и солью. Маралы ведь очень любят соленое, и летом таежники охотятся на них на солонцах. Принесли из избушки большой ломоть хлеба, насолили его, и дядя Илья стал совать ему на шесте этот ломоть. Но маралу, видать, было не до еды. Совали, совали этот хлеб до тех пор, пока он не свалился с шеста. Тогда решили оставить марала в покое. Может, он помаленьку приобыкнет и сам начнет что-нибудь есть. Так и сделали.

Когда окончательно управились со зверем, все вспомнили, что сами умирают от голода, что промокли и промерзли до костей, и все пошли в зимовье есть, отогреваться и просушиваться.

В избушке было тепло, как в бане. Тут все спешно разболоклись и принялись за щи из маралятины. Ели молча, не торопясь. Потом еще дольше пили чай. От тепла и усталости всех разморило. Разговор начали только после того, как немного отдохнули, и на первых порах все жалели о том, что поехали маральничать.

— И кто только удумал эту проклятую охоту на маралов,— плакался больше других дядя Илья.— Пять ден по горло в снегу ломали сисимские хребты, а какой прибыток? Один зверь сдох... Маралицу успели прирезать. А какая от этого польза?.. По два пуда мяса. А от этого дурака...

— А от этого дурака панты будут,— перебил его Федот Саетов.

— Когда они еще будут,— выразил сомнение дядя Илья.

— Весной будут. Около троицы,— сказал Федот Саетов.— Надо только вовремя снять их да выварить как следует.

Тут завелся длинный разговор о том, когда их снимать со зверя, как их потом вываривать и везти в Китай на продажу.

— Вот тебе и большие деньги,— сокрушался дядя Илья.— И снимать эти панты не умеем, и варить их ни-

когда не варили, и траву эту бадан в глаза не видели. А продавать их уж собрались в Китае. Как туда ехать, к кому ехать... опять же не знаем...

— У Толоконникова можно все узнать. Он еще раз нам все обскажет,— не очень уверенно сказал Саетов.

— Будет он с нами валандаться...— сердито ответил дядя Илья.— Нашли дурака... У него и без нас с этими маралами хлопот полон рот.

Тут зашел длинный спор о Толоконникове: будет ли он снова рассказывать им, когда и как надо снимать с маралов панты, как их вываривать с травой бадан и где искать в тайге эту траву. А потом завели речь о Китае. Как туда ехать с пантами и кому их там продавать в этом китайском городе. Первому встречному китайцу, что ли... А потом, дивствительно обокрасть могут дорогой, а то и совсем ухлопать. Увидят ведь сразу, с чем едешь... У воров, у них глаз ведь наметанный. После долгого обсуждения этих вопросов все сошлись на том, что не такое простое дело разводить маралов и заниматься пантами...

— Не знаю, как вам, а мне это дело начинает что-то не ндравиться,— опять начал сокрушаться дядя Илья.— Толоконникову хорошо... У него уж пять маралов. И шестого уж купил. И к делу этому он привержен. Снимает с них, может, пудов пять пантов. А у нас один зверь, и неизвестно еще, хороший он али плохой.

И дядя Илья стал развешивать около каменки свой шабур, рукавицы, штаны и рубаху. За ним и остальные все с себя поснимали и тоже стали обсушиваться. Сушились около каменки да все разговаривали о том, как они эти пять дней гонялись за маралами.

От нашего зимовья они пошли по Ямной. Весь день поднимались вверх по этой речке и только к вечеру вышли на хребет. Вместо того чтобы переваливать вниз в Урю-Сисим, как они думали поначалу, решили еще податься по хребту вправо к Малому Сисиму. Место там глуше, зверь непуганый. А потом, думали, может, и на хребте удастся напасть на след. Снег там все-таки выдувает, и зверь зимой держится больше по высоким местам.

К вечеру все выбились из сил. Снег чуть не по горло и совсем перхлый. Так что все равно, хоть и на лыжах, а шли бродом. А на след так и не напали. И место подходящее, и корму много, а зверя нет... Или до них потревожили его здесь, или сам подался в другую сторону.

Поздно вечером выбрали подходящее место для привала. Вырыли в снегу яму, развели костер, обогрелись, обсушились, сварили щи из вяленого мяса и, конечно, чай, выпили перед едой по хлебальной ложке спирта.

А на ночь устроили потёму — развели в этой своей яме огромный костер, чтобы прогреть как следует землю, потом убрали все головни, сгребли золу, застлали это место пихтовыми ветками, развели рядом костер и улеглись спать. Но какой уж там сон. Снизу эта потёма, конечно, греет, а сверху леденит мороз. Так что всю ночь приходится вертеться, как черт на мельничном колесе.

К утру мороз сильно сдал, и пошел снег. Тут наши охотники, особенно дядя Илья и Елкин, совсем упали духом и стали сомневаться, стоит ли им продолжать дальше свои поиски зверя. По такой погоде и след не найдешь. Его совсем занесет снегом. Да и зверь в непогодь держится где-нибудь на одном месте. Так что на поверку выходит одно мученье, а не охота. Но Федот Саетов и тятенька настояли идти дальше. Не может быть, говорили они, чтобы мы не нашли зверя. Марал в этих местах всегда водится.

Так и решили. Сварили щи, напились чаю и пошли дальше. Версты через две вышли на вершину Тахтая и пошли по-над ним стрелкой. Тимка, как всегда, прет впереди. Вот выходят они на высокий бугор и видят далеко внизу Тимку. Он стоит и что-то машет им рукой. Тут все, конечно, поспешили к нему и видят — прямо с горы вниз идет по снегу, можно сказать, целая дорога. Вроде как десятка два мужиков верхами друг за другом проехали. Маралы идут и бегут ведь друг за другом. Прыгают скачок в скачок. Ноги ставят как-то врозь и бороздят ими по глубокому снегу.

— Ну, вот и на след напали,— сказал Федот Саетов и стал с тятенькой соображать, сколько прошло по этой дороге зверей и в какую сторону они отсюда направились. А что по такому следу разберешь?.. След старый, почти на четверть занесен снегом. Значит, надо по нему идти до первого лежбища. Там все будет ясно... Но все-таки взяли правильное направление и пошли по следу вниз в Тахтай. И там в ключе на небольшом залавочке дивствительно нашли на снегу звериное лежбище. Для сна марал разгребает снег копытами до земли. Ложится в логово. Там, где лежал зверь, на снегу остается особая впадина. Тут Федот Саетов, тятенька и дядя Илья осторожно стали

сметать снег в каждой впадине и установили, что на стойбище ночевало два марала и одна маралуха.

Тимка Бабишов за маралами никогда еще не охотился, и ему объяснили, что зимой на лежбище маралы мочатся лежа. Если пятно от мочи посредине впадины — значит, это рогач, если с краю — значит, маралуха.

С этого места двинулись по следу дальше, перевалили через гриву из Тахтая в Табаржаний ключ и здесь нашли другое, более позднее лежбище. Из Табаржаньего ключа звери пошли опять на Тахтайскую гриву. Там ниже по Тахтаю охотники нашли новое, совсем уже свежее лежбище.

Тут наши охотники сразу остановились на ночевку. Зверь где-то близко. Значит, надо как следует отдохнуть, чтобы на другой день со свежими силами тронуть его с места.

Пришлось вторую ночь проводить в тайге, на морозе, в снегу, под открытым небом. Потёму на этот раз не делали. Ограничились большим костром. Обсушились, сварили сухарницу, выпили по хлебальной ложке спирта и всю ночь промаялись у костра. Оно и понятно. Какая ночевка зимой в одном шабуре на морозе, в снегу. С одной стороны греет, а сверху, снизу, с боков леденит...

На следующий день с утра тронулись по следу. И скоро дошли до места, где след был уж совсем свежим. Тогда стали соображать, в какую сторону лучше будет тронуть зверей с места. Если они направятся в гору, то наверху снег меньше. И там за ними не угонишься. Значит, надо направить их под гору в ключ, где снег глубже. Пока звери дойдут по перхлецу вниз, да пробьются на ту сторону, да на той стороне потом будут подниматься в гору, они уж выбьются из сил. И гнать их под гору легче. На лыжах по такому снегу, конечно, не покатишься. Но все-таки идти под гору легче. А местами, где особенно круто, можно и катиться.

Так и сделали. Федот Саетов с Тимкой взяли от следа в гору и пошли на гриву с расчетом отрезать зверей с той стороны и направить их вниз в ключ. Поднялись на гриву, прошли с версту к вершине ключа и стали спускаться вниз. А тятенька, дядя Илья и Елкин пошли вперед, теперь уж прямо на зверя. А марал человека чует далеко. У него зимой в тайге нет врагов, кроме человека. Медведь на зиму залег в берлогу. Рысь на нем не удержится. Вол-

ки в тайге не водятся. Только человек ему враг. И он чует его издали и старается от него уйти.

И маралы сразу же их учуяли. И тех, которые шли за ними по следу, и тех, которые шли на них сверху, с гривы. И сразу же пошли на уход. Но не вниз, в ключ, в глубокий снег, как рассчитывали охотники, а прямо косогором, к вершине ключа.

И снова охотникам пришлось идти за ними по следу. Теперь звери наполовину были уж в их руках, и дело шло на измор: у кого окажется больше сил. И тут для зверя одно спасенье — малый снег. Снег в аршин, даже в полтора аршина ему нипочем. По такому снегу гнаться за ним бесполезно.

Однако на этот раз снег для охоты был подходящий. Зверь хоть и уходил, но с большим трудом. А охотники гнались за ним, по очереди сменяя друг друга на лыжне. Звери из последних сил уходили от людей и тоже сменяли друг друга на своей тропе. У тех и у других силы были на пределе. К вечеру охотники окончательно выбились из сил и сделали остановку на привал.

Тут Елкин и дядя Илья опять начали дрейфить, что снег пока еще недостаточно глубокий, и они гонятся за зверем уж три дня, и не видно этому конца. И сухари уж на исходе, и сами совсем выбились из сил и так далеко ушли от зимовья, что по такому снегу да морозу и не выбраться обратно. Пропадем здесь где-нибудь. И костей не найдут...

Но Федот Саетов и тятенька сразу же им сказали, чтобы они не болтали лишнее и раз пошли на такое дело, то держались бы до конца. Неужели они не заметили, что на следу зверей все чаще и чаще стали встречаться обтоптанные места. Значит, звери чаще стали сменять друг друга на тропе, чаще останавливаться на отдых.

Поговорили, поспорили, а на другой день снова пошли по следу. В одном месте, за хребтом, перед густой зарослью ельника след зверей разделился. Один пошел в этот ельник, а другой в обход. Тут сразу все сообразили, что через заросль пошла маралуха, а рогачи в обход. Они берегут свои рога и в густые заросли никогда не лезут.

Тогда дядя Илья с Елкиным пошли по первому следу в ельник, а Саетов, тятенька и Тимка обошли этот ельник и увидели, что следа из него нет. Тогда они стали осторожно продираться по ельнику навстречу зверю, пока

не услышали голос дяди Ильи: «Здесь она... Вон стоит под деревом...»

Тут артельщики оставили дядю Илью управляться с маралухой, а сами пошли дальше по следу. Версты через три вверх по ключу оии нашли второго зверя. Ои тоже стал под дерево. А в какой-нибудь полуверсте от иего остаиовился и последний зверь. Теперь иадо было заарканить их, как советовал Толокоников, каждого к своему дереву и спешио готовить нарты к походу иа зимовье. Так и сделали. Сиачала крепко притяиули каждого зверя к своему дереву. Потом спешно соорудили для них легкие иарты с мягкой пихтовой подстилкой, а после того сияли рога у первого марала и осторожно погрузили его иа нарты. Потом таким же манером управились со вторым зверем и отправились за дядей Ильей.

А дядя Илья тем временем заколол свою маралуху, сиял с иее шкуру, изобиходил все мясо. Теперь охота была закоичеиа, и можно было сииматься с места. Но дело было уж к вечеру, и решили тронуться в Ямиую иа другой день, с утра. А иа иочь сделали потёму, и сделали ее основательнее обычного, с потолком из пихтовых и еловых веток. И впервые за эти дии более или меиее спокойно провели ночь.

А утром обнаружилось иесчастье. Тимка пошел к нартам проверить, все ли с маралами в порядке, и видит, что одного марала совсем запорошило сиегом. Тимка сразу сообразил, что с ним случилась какая-то беда, и стал звать своих артельщиков. Тут все сбежались к иартам и увидели, что зверь ночью сдох. То ли от запала... Это со зверями бывает. А может, от чего другого, так как с вечера незаметио было, что ои запален. Тут Иваи Елкии стал с досады сильно матюгаться. И дядя Илья сразу сообразил, что зверь подох от худого слова. Дядя Илья ведь пасечник и хорошо знает, что пчелы не любят матерные слова. И иа своей пасеке ругаться воздерживается и другим не позволяет. А маралы, рассудил дядя Илья, они вроде пчел, тоже божья тварь и, видать, тоже ие любят матерщииу. А Елкии привык к каждому слову туды-перетуды добавлять. Вот и дотудыкались с иим, что потеряли зверя.

Поохали, поахали, поругали Елкииа как следует, а что сделаешь? Наказали ему воздерживаться дальше на язык. Плевка не перехватить, а худое слово ведь не воротить. Правду сказывали старые люди — слово ие воробей: вы-

летит — не поймаешь... А потом сняли с подохшего зверя веревки и полотенца и оставили его прямо на нартах в тайге. А сами двинулись на Ямную. И дошли туда только на второй день.

Теперь нам можно было уж выезжать в Устуг. Но охотники так вымотались, что решили немного отдохнуть. Егорка, так почему-то решили назвать марала, стоял на приколе смирно и начал даже есть мох и сено. Лошадям корму было тоже достаточно. Хотя сухари у артельщиков уже кончились, но у нас с дядей Гарасимом остался еще целый мешок печеного хлеба. Так что насчет харчей пока беспокоиться было нечего.

Этот день охотники отъедались и отсыпались. Только Тимка Бабишов не мог сидеть сложа руки и после обеда отправился со своей берданкой вверх по ключу и где-то на тальце, довольно далеко от зимовья, все-таки подстрелил глухаря.

А на следующий день с утра мы стали собираться в путь-дорогу. Проверили на наших санях постельник для зверя, перегрузили мясо убитой маралухи на вторые сани. Уложили в мешки все снаряжение, подкормили как следует лошадей к тяжелой дороге, осторожно свалили марала на сани и крепко привязали его полотенцами. Вот и все сборы.

Выезжать решили в ночь, с расчетом приехать в Устуг к утру, передневать там и на вторую ночь отправиться домой в Кульчек.

Вечером, как только взошел месяц, снялись с места. Перед выездом дядя Гарасим долго читал над маралом наговоры и даже опрыскал его святой водицей.

Впереди на дорогу поставили сани с маралом. Эти сани должен был везти я на своем Гнедке. Отец и Федот Саетов устроились на всякий случай на эти сани присматривать за зверем. Остальные артельщики с дядей Гарасимом ехали за нами, на вторых санях.

Хотя нашу дорогу на Устуг за эти дни сильно перемело, но ехать было все-таки легче. Протаптывать целину почти не приходилось. Так только, кое-где. И дорога шла вниз по речке все-таки наизволок, так что Гнедка в постромках ни разу не подменяли. Дорогой два раза делали остановки, чтобы дать коням роздых. На этих остановках я слезал с Гнедка и отдыхал около охотников на вторых санях.

Обратная дорога из Ямной показалась мне почему-то много короче. Но все же мы приехали в Устуг только ко вторым петухам и остановились у того же хозяина. Нарты со

зверем сразу же спрятали в его коровью стаю. После короткого отдыха Федот Саетов и Тимка Бабишов поехали с попутной подводой в Кульчек готовить к нашему приезду маральник. Остальные артельщики весь день отлеживались и отсыпались в избе. Я тоже продрых с ними весь день, так как после этой дороги не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Устуг на этот раз меня уж не интересовал. Привлекали здесь только горы. Они буквально нависли с двух сторон над деревней и выглядели как-то загадочно. И еще я ходил несколько раз смотреть отсюда на Блечу, где мы в прошлом году косили сено и откуда я наблюдал тогда большую тайгу.

В Кульчек выехали тоже ночью. На этот раз я уже не трясся верхом на Гнедке. Дорога была сносной, и я ехал с тятенькой на первых санях.

А Федот Саетов с Тимкой Бабишовым тем временем устроили в Кульчеке небольшую помочь и за день и за ночь успели сложить маральник. Так что сразу же по приезде мы приделили нашего Егорку к своему месту.

На другой день из деревни потянулись люди посмотреть на нашего марала. Особенно ребятишки. Они глазели на него и в щели, и сверху с маральника, и так глядели, что Федот Саетов стал отгонять их прочь.

А я пришел туда с Варивохой и Матвеем, и Федот Саетов не прогонял нас. Мы забрались наверх, на самый маральник, и смотрели оттуда на зверя. И я, захлебываясь от гордости, рассказывал им о том, как ездил с охотниками в большую тайгу, как они искали там маралов, как несколько дней гонялись за ними по сисимским хребтам, а мы с дядей Гарасимом ждали их в Ямной на зимовье, как зверей ставят в тайге на прикол, как отбивают им рога...

А наш Егорка сразу же привык к маральнику и вел там себя совсем спокойно. Он тревожился только, когда кто-нибудь подходил к воротам или когда Федот Саетов подбрасывал ему сена в ясли.

Вечером по приезде охотники собрались делить у нас привезенную маралятину. Мясо аккуратно разрубили на пять равных частей, по числу артельщиков, и еще выделили небольшой пай дяде Гарасиму. Тут Тимка Бабишов заикнулся было о том, что и мне тоже надо было бы дать небольшой пай. Но тятенька сразу же сказал, что у меня еще не вышли года получать охотничьи паи, и попросил отдать

мие маральи рога. Они все равно иикому не нужиы и иичего ие стоят, а парию все-таки будет забава. Я сразу же принес эти рога в избу и попробовал пристроить их в переднем углу под божиицей. Но тятенька почему-то рассердился и велел мие выиести их в сени и поставить там под лестницу.

А шкуру маралухи разыграли, и оиа досталась Елкину. После этого наши артельщики все время навещали у Федота Саетова своего Егорку и советовались там о своих делах. Говорили больше о делах хозяйственных — кому когда ходить за зверем, сколько давать на иего сена, отрубей и муки. Тут все было ясно и поиятно и не вызывало иикаких споров. А как дело доходило до пантов, тут все становилось спориым и вызывало сомиения. И больше всех сомиевался и плакался в этом деле дядя Илья. Тут все ему не нравилось. Он был почему-то увереи, что при сиятии паитов Егорка непременно покалечит его, а чего доброго, и убьет. А если удастся благополучио сиять их, то сколько потом будет с ними мороки! Придется ехать в тайгу, искать траву бадаи. А кто зиает, что это за трава? Толокоиников говорит — она похожа иа черемшу. А мало ли в тайге травы, похожей на черемшу? И потом, сколько ее иадо брать и как варить с нею эти панты?

— Но если, к примеру, мы и выварим эти панты,— рассуждал дальше дядя Илья,— что потом с ними делать? Толокоиников говорит: надо везти их в какой-то китайский город. Хорошо ему, когда ои был уже там несколько раз. И возит ои туда панты с пяти, а может, и с шести маралов. Ему, конечно, прямой расчет туда ехать... А у нас всего один зверь, да, может, и панты-то у него окажутся маленькие. Оии ведь разные бывают у зверей. А у иашего могут оказаться совсем никудышные. С такой дорогой и расходы ие оправдаешь... А потом, как ехать? Еще убьют дорогой. Дознают, куда едешь, по какому делу, и пришьют где-нибудь. Жулики по этой части напрактикованы. И в этом китайском городе... Где их там и кому продавать?.. И по какой цене? Ведь это все надо знать, все проведать... Тут куда ни кинь, везде получается клин.

Чем больше наши охотиики рассуждали об этом, тем больше оии убеждались в том, что затеяли со своим маральником очеиь трудное и не выгодное дело и что им нет иикакого расчета продолжать его дальше. Может быть, в самом деле лучше будет, как советует дядя Илья, продать марала Толокоииикову. Федот Саетов и отец, которые на первых порах были решительио не согласиы с дядей Ильей,

тоже стали постепенно во всем сомневаться. И речь незаметно перешла к тому, как бы не продешевить с этим делом. Тут стали обсуждать на разные лады вопрос о том, сколько можно будет взять с Толоконникова за зверя, и решили меньше чем за двести рублей Егорку ему не отдавать.

Для пущей верности дядя Илья поехал в Караскыр посоветоваться с тамошним охотником, который продал своего марала Толоконникову. Оказалось, что он продал его всего за сто рублей. После этого пыл на продажу марала у наших охотников немного поостыл. Но ненадолго. Спустя некоторое время они порешили, что, пожалуй, есть расчет получить за марала хотя бы по двадцати рублей на брата, чем по-пустому держать его в маральнике.

А Толоконников тем временем унюхал от кого-то, что наши артельщики не прочь продать своего зверя, и приехал за этим делом в Кульчек. Держался он у нас и на этот раз так же уверенно и уважительно. Только не хвалился своими маральными доходами, а больше плакался на то, какие огромные расходы ему приходится нести с этим делом.

Потом он сходил с нашими мужиками в наш маральник и сразу же забраковал Егорку. И ростом он не вышел, и на тело худощав... Видать, чем-то болеет. И по части пантов ненадежен. Зверь еще молодой, не вошел в силу. Хорошие панты надо ждать от него не раньше чем через два-три года. Тогда это будет настоящий зверь, а сейчас ему битая цена семьдесят — семьдесят пять рублей.

Наши охотники понимали, конечно, что Толоконников умышленно сбивает их цену на марала, и в свою очередь доказывали ему, что наш Егорка ничем не хуже того марала, которого он купил в Караскыре, и требовали за него не меньше чем сто двадцать пять рублей. После долгих споров они в конце концов сошлись на ста рублях. Через два дня Толоконников приехал к нам со своим работником и с большими предосторожностями увез Егорку к себе.

А наши охотники сразу же разобрали после этого маральник и развезли свои бревна по домам. Большие расчеты начать тысячное дело кончились ничем. Каждому пришлось по полтора пуда маралятины да по двадцать рублей деньгами. Дядя Илья плакался и жаловался с этим делом на свою несчастную судьбу. Остальные артельщики тоже были недовольны таким концом, но особенно не огорчались: двадцать рублей тоже деньги. Мож-

но кое-как рассчитаться с податями, а насчет тысячных доходов от маральника... В это они, вероятно, верили мало с самого начала, так как привыкли в своей жизни более к постоянным неудачам. И совсем не вспоминали нашего Егорку, которого так любовно кормили и холили в своем маральнике. Как он там живет у Толоконникова, какие у него выросли рога? И в самом ли деле он еще марал-недоросток или уже вошел в свою звериную силу?

Около петрова дня Толоконников заказал с кем-то нашим артельщикам приезжать к нему на снятие пантов. Никто из наших мужиков к нему не поехал. Надо было начинать сенокос. А у дяди Ильи весь покос держится на наемных поденщиках, а домашность на работнике и работнице, за которыми наблюдает тетка Марья. И он спокойно поехал в Проезжую Кому посмотреть на это дело. По приезде оттуда он сразу же заявился к нам рассказать, что он узнал там и увидел. Толоконников снимал панты в этом году с шести зверей и в их числе с нашего Егорушки. Нанимал на эту работу проезжекомских мужиков. Здоровые ребята — один к одному. И дело свое знают, так как снимают панты у него уже не первый раз. А поливать зверей водой, когда отпиливают им рога, он нанимает особо и платит тем людям меньше, как простым поденщикам.

Дядя Илья не скрывал своего восхищения Толоконниковым. Обстоятельный и обходительный мужик. Все у него обдумано и заготовлено. Даже фершала привез на всякий случай из Комы. Но все у него обошлось как нельзя лучше. Одному парню зашибло, правда, ногу. Но даже перелома не было. А вечером всем было хорошее угощение с выпивкой.

И хозяйка, видать, у него неплохая, и стряпня, и пиво — что надо. Гуляли до самого утра, чинно, благородно, без шума, без ссор, без фулиганства.

В общем, по расчетам дяди Ильи, Толоконников заработает на пантах в этом году, за вычетом всех расходов, не менее пяти, а может, и шести сотен. Вот что значит хороший хозяин, с головой, сокрушался дядя Илья. А мы, дураки, продали нашего Егорку. И панты у него оказались не хуже, чем у других маралов, и выглядит он настоящим зверем. В конце концов, эти панты с него мы могли уступить тому же Толоконникову. Даже за половинную цену. И деньгами имели бы эти злосчастные сто рублей, и зверь оставался бы у нас в маральнике. И дальше дядя Илья завел разговор о том, что, пожалуй, будущей зимой есть пря-

мой расчет, если, конечно, выпадет подходящий снег, отправиться мараловать в Сисим. Может, бог даст удачу. Только теперь зверя уже не продавать. Надо разводить свой маральник. Верное, выгодное дело.

А наши мужики давно уже сообразили, что Толоконников обошел их на этом деле. И марала увел за полцены, и артель распорушил. И они не прочь были снова отправиться в Сисим попытать счастья. Осенью, конечно, будет видно. Все зависит от того, какая будет зима. По малому снегу за маралом в тайгу ведь не пойдешь... А пока пришел сенокос. И не до маралов. Знай вкалывай от зари до зари.

Глава 16
КУЛЬЧЕКСКАЯ ВЛАСТЬ

Мне трудно сказать, откуда у отца родилась мысль отдать меня в Кому в волостное правление в подписаренки. То ли это шло от желания каким-нибудь путем непременно вывести меня в люди, то ли от сомнений в том, сумею ли я со своим здоровьем сделаться когда-нибудь настоящим работником.

А может, какую-то роль сыграло тут еще одно обстоятельство. Дело в том, что напротив нас у Сычевых жил на квартире наш кульчекский писарь Иван Адамович Куренчанин. Занимался своим писарством Иван Адамович не на сборне, где для этого имелась маленькая горенка рядом с каталажкой, а все дела вершил на своей квартире у Сычевых.

Здесь у него всегда сидел староста, торчали сотский и десятский. Сюда к нему привозили из волости почту с письмами и разными приказами начальства.

Письма Иван Адамович сразу же передавал десятскому, чтобы тот разносил их по деревне кому следует, а потом вызывал к себе мужиков и вручал им всякие повестки, объявлял разные распоряжения начальства.

И все это вручалось и объявлялось каждому непременно под расписку. Уж такой был заведен порядок от высшего начальства. Вызывают человека, скажем, в волостной суд, присылают ему об этом повестку. И эту повестку следует вручить обязательно под расписку. А в

повестке сказано, чтобы он непременно приезжал в такой-то день, в такой-то час в Кому в волостной суд по своему или свидетелем по чужому делу. А если не приедет, то будет отвечать за это по всей строгости законов.

И так как все мужики, которых начальство вызывало в волостной суд или присылало им какие-нибудь другие распоряжения, были неграмотные, то они приходили прямо к нам просить брата или меня расписаться за них у Ивана Адамовича.

Но Конона обычно дома не было. Поэтому все обращались с этим делом ко мне. И я иной день по нескольку раз ходил к Ивану Адамовичу за них расписываться. Скоро в деревне к этому так уж привыкли, что никого, кроме меня, к нему с этим делом и не звали. Да и сам Иван Адамович тоже привык ко мне и стал называть меня в шутку своим помощником и даже давать маленькие поручения — переписать какой-нибудь список на кульчекских домохозяев, который требуется послать в волостное правление, или еще что-нибудь в таком роде. Благодаря этому мне часто и подолгу приходилось бывать у Ивана Адамовича и наблюдать за тем, как он пишет свои бумаги.

А пишет Иван Адамович всегда на нелинованной бумаге. Оторвет четверть листа или осьмушку, положит ее на транспарант и начинает быстро-быстро на ней что-то строчить. Буквы ложатся у него на бумагу ровными красивыми рядами, как валки сена на покосе. И притом без клякс, без помарок.

Глядя на Ивана Адамовича, мне тоже хотелось писать быстро и красиво. Но когда я начинал что-нибудь делать по его поручению, то это получалось у меня почти всегда не так, как надо. И писал я медленно, и все время сбивался с транспаранта, и делал помарки.

Но Иван Адамович не сердился и советовал мне писать как можно больше, чтобы научиться писать быстро и без помарок.

А мужики дивились, глядя на работу Ивана Адамовича. Вот приходят к нему дедушко Крысантий и дедушко Варсанофий. Один принес подати — три рубля, а другой — получить какую-то повестку в волостной суд.

И вот Иван Адамович раскрывает перед дедушкой Крысантием большую книгу и вычитывает ему, когда и

сколько он заплатил сельского сбора, волостных сумм и казенных податей, и сколько ему следует еще заплатить, чтобы на него не хавкали староста, старшина и другие начальники по податной части. И обсказывает все это ему вразумительно да уважительно. А потом получает с него злосчастные три рубля и пишет ему на эти деньги фиток. И пишет его моментально... Чик-брык... и готово. Не успеешь глазом моргнуть, как он выдает ему этот фиток, а деньги прячет в ящик.

А дедушке Варсанофию Иван Адамович вручает повестку в волостной суд и объясняет, что вызывают его туда свидетелем по поводу драки Еремея Грязнова с Терентием Худяковым. Затем подробно обсказывает дедушке Варсанофию, когда ему надо ехать в суд, в какой день и даже в какой час, чтобы с этим делом у него не получилось какой-нибудь осечки. И тут же пишет ему расписку в получении повестки. И пишет эту расписку тоже в два счета. Не успеешь как следует сообразить, что к чему, а у него все уж готово.

И долго потом дедушко Крысантий и дедушко Варсанофий вспоминают свою встречу с Иваном Адамовичем и дивятся, до чего же он человек башковитый и какую большую грамоту произошел...

— А пишет-то, пишет-то как,— рассуждают они.— Только рука мелькает. Даст же бог человеку такой талан. Да ведь что еще, собака, делает. Пишет, пишет... а внапоследок возьмет да еще что-то письнёт. Смотрите, вот, дескать, как по-нашему. Большу грамоту человек имеет! Ничего не скажешь. Голова, каких мало.

А потом, многие приходили к нам от Ивана Адамовича с письмами. Получат у него письмо, которое только что пришло с почтой, и сразу идут к нам. Ну, я, конечно, и вычитываю им все, что там написано. А написаны там обычно одни поклоны. Поклоны тятеньке, мамоньке, братьям, сестрам, дедоньке, бабоньке и всем остальным сродственникам, включая малолетних деток, каждому по отдельности, с пожеланием от господа бога доброго здоровья и успеха в их делах.

Так постепенно прослыл я в деревне тоже великим грамотеем, по общему мнению, и расписывался у Ивана Адамовича и письма читал довольно-таки хорошо. Многие мужики даже стали делать отцу намеки на то, что при такой грамоте я скоро сам могу сделаться писарем и начну огребать с общества большое жалованье.

Немало такому мнению способствовал наш кульчекский староста Финоген Головаченков. Как и все предыдущие старосты в нашей деревне, Финоген был неграмотен. Но, в отличие от прежних неграмотных старост, которые дальше своей волости нигде не бывали, Финоген очень рано ушел из деревни и где-то долго скитался по белу свету. Прослонявшись несколько лет на чужой стороне, он вдруг нежданно-негаданно заявился в Кульчек, обзавелся семьей и осел здесь насовсем.

Был Финоген богатырского сложения. Как говорится, и ладно скроен, и крепко сшит. Щеголял по праздникам в широченных приискательских шароварах, в красной кашемировой рубахе и в подкованных сапогах. Но не ростом и не силой славился у нас Финоген, а умением поговорить. И поговорить не просто так, по-мужицки, об урожае, о хозяйстве, о погоде. Нет! Финоген любил вести разговоры умственные о разных высоких материях.

— Вот ты тут говоришь то, другое,— обращался он к какому-нибудь кульчекскому грамотею.— А если уж ты дивствительно такой умный и произошел всю рихметику и грамматику, то скажи, как по-твоему — солнце ходит вокруг земли али земля вертится вокруг солнца?

Пока озадаченный таким коварным вопросом собеседник Финогена собирался с мыслями, Финоген сам начинал объяснять ему положение нашей планеты по отношению к солнцу:

— Ты человек, конечно, грамотный. Ничего не скажешь. Не нам, сивоухим, чета. Поэтому должон понимать, что если бы земля ходила кругом солнца, то оно стояло бы на одном месте. Посередке стояло бы! А мы это кругом него вертелись бы. А на самом деле оно целый день ходит по небу, а мы стоим на месте. А вот за Енисейсковым на приисках, так оно там летом почти не закатывается. Так и ходит круглые сутки по небу. Это я уж сам своими глазами видел. Врать не буду. Так и ходит кругом.

А то еще бают, земля у нас круглая. По-моему, тоже брехня это. Посуди сам. Вот, к примеру, мечу я сено на покосе. Копен сорок в зарод-то, а то и все пятьдесят наворотишь. И вот стоит этот зарод передо мной. Высокий. Еле-еле стоговыми вилами сено на него подаю. Осенью приезжаю его огораживать, а он уж, почитай, в два раза ниже. И вида того уж не имеет. А почему, скажи? А потому, что в нем без малого пятьдесят копен, это, пожалуй,

пудов до двухсот будет. А то и все триста. А это ведь сено. Разве сравнишь его с землей. Земля-то, она ведь, матушка, чежолая. И от своей тяжести должна сясть. Какой же тут может быть разговор, что она круглая. И скажут же люди.

Но чаще всего Финоген любил рассуждать о том, наука природу одолевает или природа науку. Говорил он об этом всегда с большим жаром и в спорах на эту тему ссылался на то, как в свое время отец учил его уму-разуму.

— Лупил он меня с малых лет на каждом шагу. И ведь больше за дело и лупил-то покойник. То из-за стола вышел — лоб не перекрестил, то коня потного напоил, то скотине сена не подбросил. А старше стал — тут он за курево стал учить меня. Да все ремнем норовил али перетягой, царство ему небесное. А что получилось? Терпел я все это, терпел, а потом взял да и убежал из дому. В Новоселовой уж поймали потом меня. На пристани.

Или, к примеру, сам я учу теперь своего паршивца. Тоже походя учу. А ведь ничего не могу добиться. Не ругайся, говорю, сукин сын! Молоко ведь на губах еще не обсохло! А он мне: «Сам походя матюгаешься, а мне и выругаться нельзя». Ну и приходится прикладывать руку. Повадились, варнаки, по праздникам ходить с дробовиками по речке за утками. Брось, говорю, не ходи. Не доведет, говорю, тебя эта охота до добра. Куды там... Разве теперя отцов-то слушают... Шлялись там как-то один раз. Весь день под дождем. До костей промокли. Перемерзли... Ни одной утки, конечно, не застрелили. Идут обратно, еле ноги волочат. Мой-то сзади за другими тянулся. Шел, шел, поскользнулся и упал. А дробовик-то у него как бахнет! Так весь заряд и всадил в зад Петьке Худякову. Нас же и заставили потом везти парня в больницу в Новоселову, выковыривать у него эту дробь. Ну, постой же, думаю, сукин сын. Не я буду, если не доведу тебя до дела. И повел его в школу. Так и так, говорю, Павел Костентинович, учи сына уму-разуму, а то совсем, стервец, от рук отбился. Грамматику ему, рихметику эту обсказывай и все, что надо. Да за уши его, поганца, дери почаще. Так что вы думаете? Походил, походил мой Колька недели две в школу и заартачился. Не пойду, говорит, и баста. Уж мы с Акапеей и так и этак его, и добром просили, и перетягой я его вразумлял. Ничего не выходит. Заладил одно: не пойду, говорит, и не пойду. Хоть кол у него на голове теши. Бился я с ним,

бился, недели две уговаривал каждый день, а потом махнул рукой. Будь что будет. Сам, думаю, ведь таким был. Не лучше. А то убежит еще куда-нибудь, вроде меня. Вот тебе и наука... Не так-то все это просто.

Один раз, уж после страды, ехал Финоген с пашни домой. День был хороший. С вершины Шерегеша навевал прохладный ветерок. Финоген сидел на возу с сеном и изредка понукал своего Пеганка, который лениво плелся по дороге. Финоген никуда не торопился. Хлеб на пашне был, слава богу, убран, сено на покосах огорожено, другие работы на поле тоже закончены.

Перед спуском с Погорелки Финоген слез с воза. Поправив на Пеганке шлею и седелко и подтянув перетягу, он хотел уж влезть на воз, как неожиданно увидел на боковой тропинке у дороги таракана. Он шустро бежал под гору в направлении деревни. «Что за хреновина,— удивился Финоген.— Таракан?.. На поле?.. Осенью?.. За деревней?..»

Финоген остановился и стал смотреть на таракана. А таракан бежит и бежит себе по тропинке. «Неужто в деревню лупит? — подумал Финоген.— Не может быть. Скотина, та понятно — тянется домой к хозяину. А эта тварь? Неужто тоже к человеку стремится?..»

Тем временем таракан уж скрылся из виду. Финоген прошел вперед и снова увидел его на дорожке. Таракан как ни в чем не бывало бежал своей дорогой в направлении деревни. «Откуда он бежит? — задумался Финоген.— Может, на лето уходил на пашню, на приволье? Ишь как чешет. Может, в самом деле к холодам в деревню торопится? Соображает, что ему зимой на поле верная гибель».

Пока Финоген думал да рассуждал о судьбе таракана, тот уверенно продолжал бежать в деревню. Много раз Финоген уходил от него, чтобы сесть на свой воз с сеном и ехать домой. Но каждый раз неодолимое любопытство заставляло возвращаться и отыскивать его на тропинке.

В таких наблюдениях да рассуждениях Финоген дошел за тараканом почти до самой деревни. К вечеру, когда солнце стало опускаться к мохнатой вершине Чертаики, Финоген увидел на дороге в деревню Никиту Изотова и Фому Селенкина. Увидев подъезжающих мужиков, Финоген стал усердно подзывать их к себе. Когда те остановились на дороге, он подвел их к тропке и, показы-

вая на бегущего таракана, многозначнтельно спросил:
— Вндите?
— Видим.
— Что видите-то?
— Таракана вндим. Бежнт по дорожке. А что еще?
— Бежнт по дорожке... А откуда бежнт и куда бежит, соображаете?
— В самом деле, откуда он бежнт?..
— То-то н оно. С пашни чешет. В деревню!
— Неужто с пашни? — уднвился Ннкита Изотов.
— С самой Погорелкн за ннм еду, а он все бежит н бежит без передышки. И прямо в деревню. Вот и соображай для чего.

Мужнкн ошалело посмотрелн сначала на Финогена, потом на таракана, который продолжал бодро бежать тропинкой.

— А все говорят — неразумная тварь,— продолжал Финоген.— Вот тебе и неразумная. Поннмает, что зима на носу.
— Ты чего же, Финоген, неужто с самой Погорелки за ним едешь? — спросил Фома Селенкнн.
— С самой Погорелкн. Слез у поскотины с воза шлею на коне поправить. Гляжу, а он бежит по дорожке. И вроде как бы в деревню. Ну, я и решил поглядеть за ним. А он, вндать, днвствнтельно перебирается на зиму в деревню.
— Прокурат ты, Финоген, какнх мало,— осуждающе сказал Селенкин.— Целый день за тараканом ехать.
— Значнт, антирес человек имеет,— возразнл Селенкнну Никита Изотов.— Кому что, а его, значнт, всякая умственность занимает. Прнрода науку илн, к примеру, наука природу. Солнце крутится али, скажем, земля вертится. А теперь, значит, таракан с пашнн в деревню на зимовку тронулся. Это тоже не шутка. Планида такая у человека. А мы с тобой что... Темнота!

Мужики возвратились на дорогу, посмотрелн на Фнногена, который все еще стоял над своим тараканом, и покачали головамн. Потом селн на свои телеги и не торопять поехалн домой.

Случай с тараканом, как это нн странно, лишний раз подтверднл за Фнногеном славу башковитого мужика, а его самого обогатил новой темой для рассуждений о том, что не только человек имеет умственное соображение и выдумал разные науки, но даже такая тварь, как нич-

тожный таракан, и та кумекает, что к чему. Ведь это надо же сообразить отправиться летом на пашню, а к зиме возвращаться в деревню. А легко ли ему найти обратную дорогу? Нам это просто. Все видно как на ладони. А что видит таракан? На три вершка вперед. А все-таки держится правильной дороги. Как будто кто ему все это обсказал. А кто его будет учить? Сам до всего дошел. От природы понимает, что к чему... Не хуже нас.

Когда пришло время сменять очередного старосту, общество почему-то выбрало Финогена. Старостами выбирают у нас обыкновенно мужиков справных или богатых, которые держат у себя работников. У такого мужика и домашность от общественной службы не пошатнется, и в случае пропажи казенных денег с него будет что востребовать. Ну, и вес такой староста в деревне имеет, и начальство относится к нему, понятно, лучше.

А Финоген хозяйство имел небольшое. Работников в семье раз-два, да и обчелся. Сам, жена Акапея да сынишко Колька. Не очень-то распыхаешься с такой семейкой. А вот выбрали его все-таки, сколько он ни отбояривался. Пристали, как с ножом к горлу, послужи да послужи обществу. Человек ты, дескать, бывалый, на приисках работал, правду-матку любишь, гласником на волостной сход ездил, с начальством обойтись сумеешь. Не нам чета. А разориться мы тебе не дадим. Поможем и жать, и косить.

Так Финоген сделался старостой и стал править всей нашей деревней. Собственно, деревней заправлял Иван Адамович. Финоген только состоял при нем. Но так было до Финогена и после Финогена. Все старосты состояли обычно при писарях. И Финоген состоял при Иване Адамовиче нисколько не хуже тех богатых и справных мужиков, которых выбирали до него в старосты.

Видя мое старание у Ивана Адамовича, Финоген относился ко мне с большим одобрением. Возможно, ему первому пришло в голову, что я скоро так поднаторею у Ивана Адамовича в писарском деле, что сам потом сделаюсь писарем. Особенно уверился он в этом после того, как мы съездили с ним по поручению Ивана Адамовича в Шерегеш и Сингичжуль проверять поскотину.

Поскотина у нас огромная и тянется вокруг деревни верст на пятнадцать, если не больше. Внутри поскотины

пасутся иа приволье табуиы лошадей и коров. А за ией пашни и покосы.

Наша ынешняя поскотина поставлена очень давио. Вероятно, когда Кульчек выделился из комского общества в самостоятельную деревню. И наши деды по дурости провели ее по самой вершине Шерегеша, где и сейчас-то ии пройти ии проехать. Настоящая тайга... Там только волкам водиться. А поскотину там все-таки поставили, и теперь приходится за ней наблюдать.

Весной, перед самым вознесеньем, Иваи Адамович попросил меия съездить с Финогеном по тем местам и проверить эту поскотину, в какой она исправности.

— Поблизости-то мы с Финогеиом все осмотрели, — сказал он, — а дальше иадо поглядеть как следует. Поезжайте завтра по холодку.

На другой день Фииогеи еще до чая подъехал к иам и привел для меня оседланную лошадь. Тут вышел от Сычевых сам Иван Адамович и вручил мне список домохозяев, которых иам следует проверять.

— У кого поскотина ие в порядке, — сказал ои мне, — ты ставь тем кресты. Мы вызовем их потом иа сборню и взгреем как следует.

Проверку мы с Финогеном начали с того места, до которого он вчера доехал с Иваном Адамовичем. Дальше поскотина шла густым лесом прямо на Шерегеш.

— Начнем с Бедристовых, — сказал Финогеи, когда мы с иим подъехали куда надо. — Я буду говорить тебе, чья поскотина кончается, а ты смотри в свой список и говори, кто там идет дальше. Кто там у тебя после Бедристова?

Я посмотрел в список Ивана Адамовича. После Бедристова шла поскотина Скрипальщиковых.

— Правильио! Рядом с Бедристовыми дивствительио огораживались Скрипальщиковы. Ну, теперь поедем дальше. Не перепутать бы только.

Мы медлеиио поехали вверх прямо на Шерегеш и стали проверять по списку каждую делянку. Поскотииа тяиулась густым лесом и в большинстве случаев была исправиая. Однако иекоторым хозяевам нам пришлось поставить в списке кресты.

— Вот что значит она, грамота-то! — радовался Финоген. — Ну, что я тут без тебя сделал бы? Как ии поверни — все равио чурка с глазами, хоть и староста. Сколько

пришлось бы гнать сюда народу, чтобы каждый показал мне свою городьбу. А с тобой у нас все ясно, как на ладони. Так!.. Значит, проезжаем поскотину Демидовичей. А дальше кто?

— А дальше у нас идет Кузьма Тимин, — отвечаю я, глянув в свой список, и сразу замечаю, что поскотина Тиминых очень плохая: осиновые колья совсем подгнили, переплетки на них оборвались, первое прясло лежит на земле.

— Ставь ему, так его растак, два креста! — стал ругаться Финоген. — Богач, сукин сын, а поскотина хуже всех. Я покажу ему, как надо содержать ее в порядке. Да и насчет податей его пришпандорю. Не погляжу на то, как он выслуживается перед начальством.

И тут Финоген стал рассказывать о том, как Кузьма Тимин помогает волостному начальству выколачивать с мужиков недоимку и, пользуясь этим, ловко уклоняется от платежа собственных податей.

Недоимщики стараются оправдаться перед начальством тем, что у них нечем платить подати. И действительно, деньги у мужиков в наших местах не водятся. Живем, с грехом пополам, еще ничего. А денег нет. Хлеб родится плохо. А если бог даст хороший урожай — продать его некому. Раньше хлеб плавили в Енисейск на золотые прииска. А теперь хлеб везут туда пароходами из-под Минусинска. Здешние купцы нашим хлебом не интересуются. Денежного заработка дома и поблизости тоже нет. Охотой, правда, кое-кто промышляет. Но очень немногие. Да и какая у нас охота? Каких-нибудь тридцать — сорок белок за осень. Редко-редко кому удастся добыть одного-двух горностаев или загнать лисицу. Еще охотятся на медведя. Но какая корысть от медведя? Мясо его несъедобно. Берут только шкуру да сало. Шкуру для форсу, напоказ. Наши кожевники и овчинники выделывать ее не берутся. А сало для лечения от простуды.

Но все-таки охотники с податями кое-как выкручиваются. А остальным мужикам, особенно тем, которые победнее, прямо труба. Да и подать на них почему-то больше, чем на богатых.

Вот приезжает осенью с этим делом старшина, и десятский гонит мужиков на сборню. На сборне писарь вызывает по списку недоимщиков, и старшина требует от них не-

медленно погасить казне свою задолженность. Мужики стараются перед ним как-то выкрутиться, обещают рассчитаться с казной позже. А старшине нужны от них деньги, а не обещания, и он от уговоров переходит к угрозам. И тут на помощь ему приходит Кузьма Тимин. Если недоимщик немного промышляет охотой, он выкладывает старшине, сколько этот мужик сдал нынче пушнины Яше Браверману. Про другого показывает, что осенью он продал комскому купцу Паршукову корову за восемнадцать рублей, про третьего рассказывает, что он добыл нынче в тайге несколько мешков кедрового ореха и ездил с этим товаром в Новоселову на базар. А если недоимщик мужик более или менее справный, Кузьма Тимин подает старшине совет дознать у того мужика, на какие деньги он справлял нынче михайлов день и угощал целую ораву гостей, и не самогоном, как мы, грешные, а настоящей казенной водкой да еще красным вином.

Так Тимин весь вечер выдает с головой старшине своих односельчан. А те глядят на это да помалкивают. Да и что скажешь, если Скрипальщиковы действительно здорово гуляли нынче с родней в михайлов день, Демка Обеднин сдал Яше Браверману тридцать пять белок, трех зайцев и одного колонка, а Трофим Плясунок ездил в Новоселову на базар торговать орехами.

— И откуда только он все это знает? — удивлялся Финоген, рассказывая мне об этом. — Вроде учетчик у него свой имеется на всю деревню. И кто с кем гулял, и кто в Новоселову на базар ездил, и кто Яше Браверману пушнину сдавал и какую. Нам это не в антирес, а он, сукин сын, все на ус мотает.

Старшине такая помощь Тимина, конечно, нравится, и его собственной недоимкой он не интересуется. Старосте и писарю заводить разговор со старшиной об этом както неудобно. А Тимину это только и надо.

После Кузьмы Тимина мы вписали еще кое-кому несколько крестов. Так мы со своей проверкой поднялись на самую вершину Шерегеша, спустились в какой-то безымянный ключик, а оттуда выехали уж на вершину Атамановой горы. Место, по которому шла поскотина, по-прежнему было темное и глухое. Кругом все так заросло, что только в небо дыра. Наконец мы увидели в лесу небольшую лужайку, сплошь покрытую жарком-цветком. Здесь мы решили сделать маленький привал, стреножили коней, а сами присели на большую колодину. Холодный ветерок все

время навевал сюда с Атамановой горы, благодаря чему здесь можно было спокойно сидеть, не отмахиваясь от комаров. Финоген вынул из мешка в тороках большой калач и кусок сала и разделил это поровну со мной.

— А старостой-то что он с мужиками выделывал? — продолжал он на всякие лады крестить Кузьму Тимина.— Прямо всем на удивленье. Староста имеет у нас право посадить мужика на одни сутки. До Тимина старосты закон этот особенно не соблюдали. В каталажку сажать, конечно, кой-кого приходилось. Но больше воров, конокрадов. А из мужиков редко когда за пьянство да за буянство. А Тимин сразу же стал налегать с этим законом на недоимщиков. Сначала на тех, которые победнее да посмирнее. А потом взял в оборот и справных мужиков. Да ведь что придумал, сукин сын? Садит мужика в холодную на одни сутки. На другой день выпускает его и спрашивает: «Заплатишь недоимку?» А если тот не платит, он тут же сажает его еще на одни сутки. И так манежит его, пока тот не наскребет ему что-то на уплату.

Вот пошерстил он таким манером несколько мужиков и сообразил, что всю деревню может поставить на дыбы и что его непременно укокошат при удобном случае. Сообразил это и стал придумывать, каким манером ему подругому выжимать с мужиков деньги. И удумал, брат, такую штуку, что все диву дались. Призывает, к примеру, Андрея Маслекова али там Тимофея Похабова на сборню и требует с них подать. А те в один голос заявляют, что денег у них пока нет, платить нечем, и они готовы садиться в каталажку. «Для чего мне, — говорит им Тимин, — ваша каталажка? Мне деньги от вас нужны. Конечно, я,— говорит, — имею полное законное право посадить вас... Но я, — говорит, — не такой, как другие старосты, и не хочу вас утеснять, так как знаю, что с деньгами у нас в деревне дивствительно туговато». И тут же велит сотскому и десятскому, которые неотлучно торчат при нем, пойти к этим хозяевам, взять у них самовары и немедля принести их на сборню. Потом велит навесить на эти самовары бирки, чтобы всем видно было, чьи они. «Насчет отсидки, — говорит он этим хозяевам, — вы не беспокойтесь, — сажать я вас не буду. А самовары останутся здесь на сборне всем на обозренье, пока не заплатите недоимку. Живите, — говорит, — без самоваров. Чай можно, — говорит, — ведь и в чугунке варить». Вот какую штуку удумал наш Кузьма Тимин. Ты понимаешь, что по-

сле того в доме у людей получается? Баба ругается, дочеря плачут, суседи смеются. Стыд и срам на всю деревню. Мужики взвыли от такого оборота. А как быть? Все делает по закону, даже уважительно, только с подковыркой. И смех и грех. Хочешь не хочешь, а надо как-то изворачиваться, что-то продавать, залезать в долг, чтобы из этого как-то выпутаться.

Старостой Кузьма Тимин был уж давно. Еще до японской войны. Глядя на него, и другие старосты начали забирать у мужиков самовары. Теперь это во всей волости вошло в моду. Особенно понравилось это нашему волостному старшине. Теперь он, чуть что, сразу приказывает отбирать у недоимщиков самовары. Знает, сукин сын, что мужику без самовара некуда податься.

Поговорив о Кузьме Тимине, мы еще раз проверили наш список по моим отметкам, доели хлеб с салом и поехали дальше до самого Сингичжуля. Там поскотина была Финогеном проверена вместе с Иваном Адамовичем.

Финоген был очень доволен, что все у нас так хорошо получилось с этой проверкой, и завел длинный разговор о том, какое облегчение дает человеку грамота. Конечно, мужику в хозяйстве она вроде как бы и не нужна. Тут и без грамоты можно обойтись. Была бы только силенка, старанье да сообразительность. А как попал на работу в город, на прииска али торговлишку завел, так там без грамоты без этой тебя кругом окрутят да еще в тюрьму укатают.

— Там без грамоты человеку прямо, брат, труба. Я вот сам, к примеру, был под Енисейсковым на приисках. Там кто хоть и с небольшой грамотенкой, а все-таки наверх лезет. В артельщики, в нарядчики, в приказчики, а на худой конец, где-нибудь на складе отсиживается. А мы — дураки — от зари до зари с кайлой да с лопатой. Свету божьего не видим. Поехал туда по дурости на длинные рубли, на легкий заработок. И теперь еще бога благодарю, что живым оттуда выбрался. Деньги там заработать, конечно, можно. Но там же их у тебя за харчи, за одежонку и вытянут. А что останется — с дружками пропьешь. Сам я к выпивке не особенно привержен. А все одно пил. Потому что в артели. Вместе работаешь — вместе и пить приходится. Но главное, от начальства житья там нет. У нас по этой части здесь все-таки легче. Когда-то черт занесет

в деревню пристава, старшину али заседателя... А если и приедут, то мне наплевать на них. Уеду на свою пашню али на покос. И вся недолга. А в случае какой неувязки можно и в тайгу податься. Там, брат, никакое начальство не найдет. Это вот в старости запрягли меня, так приходится, хочешь не хочешь, тут валандаться. А то начихать бы мне на них. А на приисках, там, брат, дохнуть без начальства нельзя. Артельщики, нарядчики, приказчики... И каждый, понимаешь, жмет на свой лад. На работу опоздал — штраф, приболел немного — вычет! Кругом охрана, горный надзор какой-то. Все что-то нюхтят, присматриваются... Сказал что насупротив — сразу берут на замечанье. Недаром, видать, и в песне поется:

Приисковые порядки
Для одних хозяев сладки,
А для нас горьки...

Тут Финоген затянул песню про то, как он работал на золотых приисках. Песня была длинная, а Финоген знал ее не особенно твердо. Так что все время сбивался. Но у него было хорошее настроение, и он все равно пел эту песню, пока мы не доехали до деревни. Дома мы вручили наш список Ивану Адамовичу. Он просмотрел его и остался очень доволен нашей поездкой. С этого дня я еще чаще стал переписывать ему разные списки.

Иногда Иван Адамович ездил по своим делам в Кому в волостное правление, и Финоген оставался в деревне без него. В этих случаях он особенно не волновался. Ведь писарь уехал прямо к начальству. Там на месте он получит все бумаги, все приказы и даст на них какой следует ответ. На то он и писарь, и грамоту большую знает, чтобы всеми делами в деревне заправлять.

Но беда была в том, что Иван Адамович жил у нас в Кульчеке один, а семья и хозяйство у него были где-то в Караскыре, в Солбинской волости. Вот он время от времени и ездит в свой Караскыр. И хоть не так уж часто, а все-таки иногда отлучается. Особенно летом. И не отпустить его нельзя. А то смотается человек да и уедет совсем. Что тогда делать? Своих-то писарей в деревне нет.

Во время таких отлучек Ивана Адамовича Финоген все время сидел в его квартире у Сычевых в ожидании какого-нибудь подвоха из волости. Мало того, он и сотского, и десятского держал на всякий случай при себе. Вдруг какая-нибудь оказия — все-таки вся власть будет при месте.

Особенно боялся он в таких случаях волостной почты или приезда нарочного с каким-нибудь срочным пакетом.

В дни прихода почты Финоген с утра заходил за мной, и мы вместе с ним встречали волостного ходока. Один раз мы получили от него пять писем и два казенных пакета. Письма отложили в сторону. Тут дело простое: вручить их десятскому — Никите Папушину — и тот разнесет их кому надо. Другое дело казенные пакеты. В них все может быть. Могут спешно потребовать какие-нибудь важные списки али самого вызвать к старшине. Что тогда делать? Хоть нарочного за Иваном Адамовичем посылай.

Наконец по молчаливому знаку Финогена я осторожно распечатал пакет, который поменьше, резонно полагая, что в маленьком пакете меньше всяких подвохов со стороны волостного начальства. В нем оказались две небольшие, но очень строгие бумажки. В одной из них волостное правление требовало от кульчекского старосты какие-то сведения о посадке в деревне табака. Вопреки моему ожиданию эта строгая бумажка не произвела на Финогена никакого впечатления.

— Положи под чернильницу. Приедет сам — напишет, что мы в Кульчеке табак не разводим, а покупаем его в лавке у Яши Бравермана.

Вторая бумажка была не больше первой. Но она ввергла нас с Финогеном в недоумение. В ней требовались сведения о состоянии анатомического театра в Кульчеке и строго-настрого наказывалось, в случае необходимости, произвести в нем полный ремонт.

— Что это, брат, за штука атамический тиятр? — спросил меня Финоген.

Я сознался, что не знаю.

— А ты припомни, не рассказывал ли вам чего-нибудь о нем в школе Павел Костентинович?

Я стал припоминать, что нам рассказывал в школе Павел Константинович, но про анатомический театр ничего не помнил.

— Может, Ворошкова спросить? — посоветовал я Финогену. — Он ведь всем свой театр про шайку разбойников показывает.

— Правильно, брат. Давай-ко позовем его.

Тут Финоген вышел на крыльцо и громко закричал:
— В о р о ш к о в!.. Сергей Семенович!..

— А-э-э...— послышалось из соседнего двора от Ермиловых.

— Зайди-ко, брат, на мннутку! — крикнул Финоген. — Поговорить надо по одному делу!

— Иду! — послышалось в ответ.

Через минуту Ворошков сидел уж с нами у Сычевых.

Разговор об анатомическом театре Фнноген начал с Ворошковым исподволь. Сначала он спросил его о том, как ндут у него дела и не возьмется ли он выделать ему к зиме несколько овчнн на шубу да сбнть немного шерсти на катанкн. А потом стал дознаваться, как у него идут дела с вечным двигателем.

Выделать овчины к зиме Сергей Семенович Финогену отказался. Работы много. А шерсть сбить обещал. Но не ранее казанской. Что касается вечного двигателя, то тут Сергей Семенович только тяжело вздохнул:

— И не говори, Финоген Михайлович. Прямо ум за разум заходит. Бьюсь, бьюсь я с этим вечным двигателем. Ночей недосыпаю, епитúта лишился, а все что-то не получается. Колесо вертнтся очень долго. Но все-такн останавливается. Сейчас я придумал такие гирькн деревянные, со свинцовой накладкой. Когда колесо ндет вннз к земле, оне, значит, вылетают из такой пазухи и тоже падают вниз. От этого колесо бежит еще снльнее. А когда оно ндет вверх, то эти гирьки ускакивают внутрь. Теперь колесо мое крутится очень долго. Я даже трубку закурить успеваю, пока оно крутится. А все-таки останавливается. Что-то надо придумывать с этими гирьками.

— Соорудил бы ты нам лучше шерстобитку али крупорушку, чем валандаться с этим вечным двигателем. Знаешь, как у нас народ по этой части мается. Ведь в Солбу приходится езднть, к расейским.

— Не могу, Финоген Мнхайлович, бросить я это дело. Не могу! Ведь дошел уж без малого. Только с гирьками с этими немножко додумать — н вся недолга. А сделаю вечный двнгатель, будет у нас тогда и шерстобитка, и крупорушка. Все будет! Само пойдет! Без мельницы, без конного привода. Только подавай! Ты ведь знаешь меня. Я брехать не люблю...

— Да что понапрасну говорнть. Мужик ты сурьезный. Так что и двигатель этот произойдешь. Только ждать нам это, видать, придется долго. А теперь я хочу спросить тебя вот о чем. Ты много раз показывал нам тнятр про шайку разбойников. А какие другие тнятры еще бывают?

— А как же, Финоген Михайлович. Есть еще тиятр про царя Максимильяна.

— А что это за тиятр?

— А его так же разыгривают, как и «Шайку разбойников». Но только вместо атамана главным там будет лицегрозный царь Максимильян, а заместо есаула скороходхитьмаршал, который докладывает ему все дела.

— Вот бы посмотреть. Антиресно, поди?

— Очень антиресно, Финоген Михайлович...

— А про *атамический* тиятр ты, Сергей Семенович, что-нибудь слышал?

— *Атамический* тиятр? — переспросил Сергей Семенович. — Первый раз слышу.

— Вот то-то и оно. А ведь говорят, в Кульчеке у нас есть такой тиятр.

— Не знаю, Финоген Михайлович. Чего не знаю, того не знаю. Если бы у нас был такой тиятр, то все мы знали бы об этом.

— Как же так, Сергей Семенович, ты не знаешь? А из волости вот бумага пришла ремонтировать этот самый атамический тиятр. — Тут Финоген показал Сергею Семеновичу злополучную бумажку.— А где он у нас, этот тиятр, я и ума не приложу.

Тут Сергей Семенович задумался и говорит:

— Когда мы сидели в Одести в карантине, так там у нас при лазарете какая-то анатомка была. Как пришьют кого в драке, так и тащат его сразу в эту анатомку. А там уж начинают потрошить...

— У нас на приисках такое тоже бывало. Только я никак в толк не возьму: для чего их там потрошат?

— Как принесут мертвое тело в эту анатомку, так сразу и кладут его на стол. Потом распарывают ему брюхо и вытаскивают на свет божий все внутренности. А когда посмотрят как следует на сердце, на печенку и на все прочее, тогда берутся за мозги. Раскалывают голову, вытряхивают их прямо на тарелку и смотрят. Все дознают, значит, по науке, что к чему, что за человек был, какого нраву, калахтеру. И все записывают в толстую книгу. Наука! До всего доходит.

— Постой, постой, Сергей Семенович! Так не о холоднике ли это о нашем пишут из волости? В нем у нас ведь тоже потрошат мертвых. Недавно ведь в нем дохтур Илюшу Павлова резал. Всего, говорят, испотрошил. А до него, на моей памяти, еще несколько человек резали. Найдут где

мертвое тело, или в драке кого устукают. Мало ли чего не бывает. Один бог без греха. Схоронят человека, а потом вдруг приезжают пристав со старшиной и дохтуром. Заставляют выкапывать тело, тащать его в холодник и начинают там потрошить его на все лады. Не как не иначе, как атамический тиятр и есть этот наш холодник. Тогда клади, брат, эту бумажку тоже под чернильницу. А завтра я возьму ключи у сотского да загляну туда. Посмотрю, что там надо делать.

Мы с Финогеном были очень довольны, что разобрались наконец с этим анатомическим театром. Но больше нас этому радовался Сергей Семенович.

— Дивствительно, век живи — век учись, — говорил он на прощанье Финогену. — Мы думали, что на горе за кладбищем у нас холодник стоит, а на самом деле это, оказывается, атамический тиятр. И не подумаешь даже. А насчет вечного двигателя ты, Финоген Михайлович, не сумлевайся. Я его все-таки додумаю. Будет у нас тогда и крупорушка, и шерстобитка. Все будет!

И Сергей Семенович пошел к себе бить шерсть, выделывать овчины и придумывать свой вечный двигатель.

Пока мы разбирались с этим анатомическим театром, к Сычевым явились Максим Щетников и Никита Папушин узнать у Финогена, не пришло ли с почтой из волости какой-нибудь вредной бумаги и как им быть с завтрашним днем. Ведь работа стоит, жать надо. Али опять всем в деревне торчать?

Максим Щетников ходит у нас в Кульчеке сотским. Если в деревне случается какая-нибудь драка али кража, то сразу бегут за ним. Тут он навешивает на грудь свою медную бляху, на которой написано большими буквами «СОТСКИЙ», кличет десятского, и оба идут туда, где произошла эта оказия. Там они смотрят, что к чему. Если произошла драка, то одних уговаривают, других отводят домой, а если кто сильно буянит, того тащат на сборню в каталажку. Если же случилась кража или, упаси бог, дело дошло до смертоубийства, тут они сразу же должны брать понятых и уж вместе с ними все там как следует обследовать, а потом поспешать к старосте и обсказать ему это дело. Ну а староста, тот, конечно, спрашивает писаря, что ему делать в таком случае. Если дело оказывается очень серьезным, то сразу же гонят нарочного за урядником, а то и за приставом.

Но это бывает у нас редко. Народ у нас хороший. Не

то что, скажем, в Коме, в Безкише, в Чернавке али особенно в Проезжей Коме. Там ведь как бывает: приехал, к примеру, к ним человек из другой деревни. Остановился у родственников, выпряг коня, отвел его в стаю, а хомут и вожжи оставил на телеге али там на санях. И пошел по своим делам. А родне-то не наказал присмотреть за снастью. Вечером — хвать, а шлеи-то на хомуте уж нет. И вожжи кожаные унесли. Вот какой там народ! А у нас — приезжай хоть днем, хоть за полночь, выпрягай коней и иди спокойно куда надо. Все будет на месте. Разве кто из другой деревни позарится.

Но из других деревень ездить к нам на такие дела побаиваются. Нашелся один раз такой охотник — какой-то комский мужичонко, нагрузил у Мити Крюкова на пасеке медом переметные сумы и попался прямо в лапы нашим мужикам. Ну а те его, конечно, сразу предоставили в деревню, посадили в каталажку и три ночи подряд вразумляли. Били, конечно, осторожно, чтобы не изувечить. А то ведь, чего доброго, потянут еще за самосуд. Потом отправили его в волость. А там — дело известное — мелкая кража... Дело передали волостному суду, а самого отпустили домой. А волостной суд присудил ему за мелкую кражу пять суток отсидки.

Однако наша кульчекская выучка не прошла ему даром. После нее он стал помаленьку чахнуть. Чах, чах да и преставился. Хоть и осторожно били его, но все-таки, видать, отбили внутренности-то.

Когда к нам в деревню приезжает старшина, то он все время держит при себе старосту. А когда приезжает урядник, то он требует сотского. Так что сотский получается у нас самой настоящей полицейской властью и прямым помощником урядника по разным дракам, кражам и убийствам. Поэтому в сотские выбирают у нас мужиков здоровых и самостоятельных. Чтобы они любую драку могли развести, а в случае чего и встряхнуть кого надо как следует.

Максим Щетников живет недалеко от нас. Мужик он смиренный. Ростом не особенно велик, но очень широк в плечах. Выпивать он, конечно, выпивает, но никто не видел его пьяным или чтобы он ввязался в какую-нибудь передрягу. На народе Максим всегда спокойно сосет свою трубку, помалкивает да посмеивается.

Если в старосты выбирают у нас мужиков справных, с весом и уважением, в сотские — мужиков самостоятель-

ных, с большой силой, то в десятские суют самых бедных, самых безответных. Десятский считается в деревне тоже полнцейской властью. Но только самой маленькой.

Староста вершит в деревне все дела: созывает сход, отвечает перед начальством за подати, за гоньбу, за весь деревенский распорядок. А десятскнй только бегает у него на посылках. Надо старосте созвать сход, и вот десятский ходит, а во время ненастья ездит верхом по деревне, стучит в каждый дом и гонит хозяина на сходку. Приезжают в деревню волостной старшина, урядннк али пристав и тоже гоняют десятского с утра до ночи по своим делам. Надо сопровождать арестованных на отсидку в волостную тюрьму, опять же для этого наряжают десятского. И хоть десятский, подобно сотскому н старосте, имеет медную бляху, но он носить ее стыдится, так как хуже его должностн в деревне ничего не бывает.

Ннкнта Папушнн ходит у нас в десятских. Это огромный бородатый молчалнвый мужнк. Гнать народ на сход он почему-то всегда ездит верхом на неоседланной лошаденке. Подъезжает не торопясь к каждому дому, большой такой, даже немного страшный. И лошаденка под ним кажется совсем маленькой, так что ноги у него висят без малого до самой землн. Подъедет к окошку да как рявкнет: «Хозяин дома?! На сходку давай!» Аж стекла в окнах задрожат. И поедет дальше.

Фнноген очень уважает Никнту Папушина. «Вот это десятский,— говорнт он,— любой сход соберет в два счета». И действительно, мужикн слушаются Папушнна. А бабы прямо боятся его н сразу начннают торопить своих мужиков идти скорее на сборню, а то, чего доброго, приедет этот бергамот и опять перепугает ребятишек.

После того как мы с Финогеном разделались с маленькнм конвертом н разобралнсь кое-как с анатомическим театром, я немного смелее распечатал толстый пакет. В нем оказалось какое-то длинное распоряжение кульчекскому сельскому старосте поскорее прнсылать в волость ведомостн о количестве рабочих рук (бойцов н полубойцов), пашнн, покосов н домашнего скота, чтобы волостное начальство могло составить по этим ведомостям окладные листы на волостную подать. И потом еще требовалась ведомость разгона обывательских лошадей.

Тут мы с Финогеном решили, что эти дела ему лучше будет решать с самим Иваном Адамовичем.

В общем, на этот раз гроза с почтой благополучно миновала. Финоген отправил Папушина разносить по деревне полученные письма, а сам стал плакаться на то, как он связан по рукам и ногам этой проклятой общественной службой. И дела нет, и отойти никуда нельзя. А время-то, оно ведь не ждет. Добрые люди уж жнут вовсю, а он сидит без толку в деревне.

На другой день Финоген с утра подъехал на телеге к нашему дому и стал просить отца о том, чтобы он не увозил меня эту неделю на пашню:

— Пусть парень посидит дома, пока Иван Адамович не приедет из Караскыра. Ты ведь сам был старостой. Понимаешь, какое это канительное дело. Вдруг нарочный с пакетом али, не дай бог, из начальства кого-нибудь черт принесет. А я вас уж от гоньбы на эту очередь ослобожу.

— Ну, чего же, — сказал отец, — пускай посидит, раз такое дело. Только на гоньбу ты нас на этот раз уж не наряжай.

Так я остался при Финогене не то его помощником, не то заместо Ивана Адамовича. Во всяком случае, это сразу же развязало ему руки.

— Вон видишь на горе за поскотиной моя полоска,— наказывал он мне, усаживаясь на телегу.— Оттуда наша улица как на ладошке. Я буду жать там да посматривать все время на вашу избу. Если приедет нарочный из волости али начальник какой, ты сразу залезай на избу и махай мне чем-нибудь. Попроси у матери какую-нибудь тряпицу, привяжи ее к палке и махай... Али выставь ее на крыше, на самом коньке, чтобы я, значит, сразу разглядел ее оттуда.

Так и договорились. Финоген поехал жать, а я приготовил палку с большой холстиной и стал ждать оказию из волости.

Уж поздно вечером по дороге домой Финоген заглянул к нам. Он был очень доволен, что хорошо сегодня поработал:

— Спасибо тебе, брат, спасибо. Ты прямо развязал нам руки. И мне, и Максиму, и Никите. Сегодня я весь день жал как очумелый. Жать-то жну, а на вашу избу поглядываю. И Акапее наказал тоже. Так весь день и жали с оглядкой на вас.

Дальше Финоген стал жаловаться маме на то, как

трудно живется ему старостой. И дела нет, и отойти нельзя. Вот проклятая жизнь. Выберут человека, а того не подумают, что у него из-за этого все хозяйство идет прахом.

Внапоследок Финоген опять стал благодарить меня и условился насчет следующего дня:

— Завтра я с утра поеду на пашню. И будить тебя не буду. Спи себе на здоровье. Рано-то из волости все равно никого не будет. А днем ты уж поглядывай тут и, в случае чего, значит, сразу на крышу и махай мне оттудова или что-нибудь вывеси поярче.

Тут Финоген проверил мою палку с холстиной и решительно ее забраковал.

— Знаешь что,— сказал он мне, немного подумав,— утром я завезу тебе мою старую кашемировую рубаху. Совсем, понимаешь, износилась. Приделаю ее как следует на палку, чтобы она была у нас вроде хоругви, и оставлю ее у вас. А то твою тряпицу с горы и не разглядишь. Так ты, брат, будь завтра начеку.

Глава 17
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ

На другой день рано утром по дороге на пашню Финоген завез нам свою кашемировую рубаху. Он так ловко прикрепил ее к длинной палке, что она в самом деле стала похожа на церковную хоругвь. Передавая эту хоругвь маме, он просил ее строго-настрого наказать мне никуда не отлучаться из дома, держать ухо востро и все время поглядывать на дом Сычевых.

Я и сам понимал, что мне поручено важное дело, и поэтому, хочешь не хочешь, решил следить за квартирой Ивана Адамовича у Сычевых. К тому же у меня была на весь день работа. Накануне отец привез с пашни три мешка маку, вернее, маковых головок. И теперь мама заставила меня срезывать головки, а мак вытряхивать в большую хлебальную чашку. А сама уехала на Кочей жать.

Работа эта была, конечно, не тяжелая. Я не торопясь надрезывал ножом маковки и аккуратно вытрясал из них мак то в чашку, то себе в рот. День был жаркий, и меня сильно разморило. Но спать было нельзя. Надо было следить за квартирой Ивана Адамовича.

Около полудня я услышал в улице колокольцы и увидел, как к сычевским воротам подъехал тарантас, запряженный тройкой. С облучка соскочил молодой ямщик и прошел к ним в дом. Через минуту к нам прибежала перепуганная Нинска и затараторила:

— Махай скорее Финогена! Пристав с заседателем и двумя урядниками приехали! Ивана Адамовича спрашивает, Финогена требует — прямо к Тиминым на земскую. Ой-ие-ёй!.. Что только и будет. Ивана Адамовича нет! Финогена нет! Махай ему скорее!

Тут я тоже здорово испугался. Случилось то самое, чего больше всего боялся Финоген. Приехало не только начальство из волости, к неожиданным наездам которого Финоген уж более или менее привык. Приехал сам становой пристав из Новоселовой. И не один, а еще с двумя урядниками. Такого, как потом говорили, в Кульчеке давно уж не бывало. Пристав! Это дело не шуточное. В Кульчек он время от времени наезжает выколачивать подати. И если смертоубийство какое-нибудь случится. Тут он уж непременно является вместе с доктором. Ну, тогда и ждут его, можно сказать, всей деревней. К его приезду, если это происходит летом, староста заставляет всех хозяев подметать улицу и даже прорывать канавки возле каждого дома. Получив такой приказ, мужики матюгаются, но улицы метут и канавки около своих усадеб делают. А сегодня он приехал нежданно-негаданно да еще с волостным заседателем и двумя урядниками. И улица не подметена, и канавки около домов не сделаны. А потом, зачем он приехал?.. Неужели у нас случилось какое-нибудь убийство? Как будто не слышно было ничего...

О всем этом думал я, пока лез с Финогеновой хоругвью из сеней на подволоку, а оттуда через дыру у печной трубы на крышу нашей избы. Пока я влезал таким путем на наш дом, тройка с колокольцами уехала от Сычевых обратно на земскую. От этого мне стало даже как-то спокойнее. Все-таки не на глазах у чужих людей буду махать Финогеновой рубахой.

Наконец я крепко устроился на самом коньке крыши и стал изо всех сил размахивать своей хоругвью. Махал я Финогену, махал, а сам все смотрел в его сторону и ждал, не подаст ли он мне какой-нибудь знак со своей полоски на горе. Но никаких знаков Финоген не подавал. Тогда я крепко воткнул свой шест на самом верху между тесинами, расправил на нем как следует эту кашемировую

рубаху, чтобы она лучше была вндна Финогену с его пашии, н спустился вниз немного отдохнуть.

Но внизу мне, конечно, не сиделось. Какой уж тут отдых, когда случнлась такая беда. Того и гляди, подкатнт тройка к Сычевым за Финогеном... Может, даже с урядником. Теперь все можно ждать. И я снова влез иа крышу, взял там свой шест н начал изо всех сил размахнвать Финогеновой рубахой. А сам все вглядывался в его пашню иа стрелке за Барсуковым логом.

— Ты что там делаешь, сукнн сын?! — услышал я вдруг снизу чей-то серднтый окрик.— А ну-ка, слезай оттуда!

Я взглянул вниз и обмер. В улице, около нашей избы, стояло несколько человек. Они смотрели на меня снизу и о чем-то говорили между собою. Собственно, говорил один из иих — седой человек среднего роста в зеленом муидире с золотыми пуговицами, в картузе с кокардой. Сзади иего стояло два человека в черных мундирах с погонами, в форменных картузах с кокардамн н прн саблях. А потом еще один человек в серой тужурке, в простом картузе, в сапогах. В стороне стояли тетка Софья, Ониска н несколько испуганных ребятишек.

«Сам пристав стонт с урядннками,— мелькнуло у меня в голове.— К себе меня требует».

Тут от страха все во мне похолодело. Но все-таки я сообразил крепко воткнуть свой шест с кашемировой рубахой в щель между тесинами и только после того спустился с крыши.

— Ну-ка, подходи сюда,— услышал я серднтый голос прнстава.— Ты что это там на крыше красным флагом машешь?

С перепугу я иичего не отвечал иа этот вопрос н виновато стоял, глотая слюну.

— Протокол надо составить, господин пристав,— сказал один из урядников.

— Ты что же это иа избе красный флаг вывесил? — снова спроснл меня пристав.

— Это он Фиiогена махает. Старосту нашего,— пришла мне на помощь тетка Софья.

— Это я Финогена махаю, чтобы он скорее сюда ехал,— робко сказал я.— Во-о-н он на той полоске на горе за деревней жнет.

— Сигналил, значит?
— Сигналил.
— Слушай, заседатель,— обратился тут пристав к человеку в серой тужурке,— распустили вы всех в волости. Старосты в деревне нет. Писаря нет. Сотского, десятского — и тех нет. Сборня пустая... Что это, по-твоему, порядок?
— Так страда ведь, господин пристав. Жнут все.
— А это как по-твоему,— продолжал пристав,— махать красным флагом на всю деревню? Ты хоть немного соображаешь, чем это пахнет?
— Протокол надо составить,— вставил опять тот же урядник.
— На кого? — отмахнулся от него пристав.— На парнишку этого, что ли?
— На старосту, господин пристав. На сотского, на десятского. В деревне вывешены красные флаги, а они спокойно прохлаждаются на пашне.
— Думать надо, Чернов, прежде чем говорить. Не видишь разве, что они по дурости и только на одной избенке вывесили эту тряпку... Сейчас же убери ее с глаз долой! — сказал пристав заседателю.— Давай, давай! Хоть сам лезь на крышу или сажай туда кого-нибудь.

Тут заседатель взял меня за руку и подвел к заплоту около нашей избы. Потом ловко, одним махом, влез на него, подал мне сверху руку и вздернул меня к себе. С заплота он подсадил меня уж на нашу крышу. А дальше я сам влез по скату крыши наверх — на самый охлупень, вытащил свой шест с Финогеновой рубахой из щели и через подволоку спустился вниз. Шест с рубахой я на всякий случай спрятал в казенке.

Пока я лазал на крышу да прятал свою хоругвь, прискакал на своем Рыжке Финоген. Он слез с коня и подошел прямо к начальству.
— Вот и староста объявился, господин пристав,— сказал заседатель.

Пристав в упор уставился на Финогена. Тот стоял перед ним огромный, потный, с всклокоченными волосами, с большой рыжей бородой, в холщовой расстегнутой рубахе, без пояса.
— Ты староста? — строго спросил пристав.
— По другому году состою,— ответил Финоген.
— Фамилия как? Имя?
— Финоген Головаченков.

— Ты что же это, Финоген Головаченков? Каким местом думаешь? У тебя в деревне красные флагн вывешивают!

— Это моя кашемировая рубаха, ваше благородие. Это я попросил парня вывесить ее, если кто приедет из волости. Я уж второй день посматриваю сюда со своей пашни. Вон там, на горе. Как, думаю, он вывеснт мою рубаху, так я сразу верхом на рысях и махну сюды. Калбыть не опоздал.

— Калбыть, калбыть! Правду говорят: в бороде ума нет. Борода до пупа, а мозг телячий. Ну, благодари бога, Финоген Головаченков, что мне некогда с тобой возиться. А то бы ты у меня за свою кашемировую рубаху недели две клопов в волостной каталажке покормил. Где сотский, десятский?!

— На пашне, ваше благородие,— ответил Финоген.— Страда ведь... Жать надо!

— А писарь где?

— Да и писарь тоже жать поехал. В Караскыр.

— Сейчас же гони нарочного за сотским и десятским. Хоть парнишку этого пошли, что ли. И сам собирайся в два счета. Поедете по одному важному делу. Немедленно нарядить мне подводу до Проезжей Комы. Когда подадут лошадей, явишься ко мне на земскую. Да пошевеливайтесь тут.

И пристав с заседателем и урядниками пошли на земскую к Тиминым.

— Дуй, брат, на Кочей. Максим там недалеко от вас жнет. Гони его ментально сюды. Видишь, какая тут заваруха получилась. А потом до Никиты Папушина добеги. Он там на вершннке Рубцова. Тоже недалеко от вас. И его гони немедля. А я пойду наряжать этих верховых. Ах ты, беда какая. У меня с утра еще сегодня что-то под ложечкой ныло да покалывало. Ой, думаю, не к добру это нытье да колотье. Так оно и вышло. Гони, брат, вовсю. Да скорее возвращайся. А то как я тут без тебя останусь?

Скакать верхом на лошади меня упрашивать не надо. И ездить верхом я умел хорошо. Да и кто из нас, кульчекских ребят, не умеет и не любит ездить верхом. С малолетства около коней да около жеребят. Но уже с малых лет мы знаем, что ездить верхом надо со сноровкой. Гони коня вовсю версты полторы. Потом дай ему передохнуть. А потом опять можешь полным ходом. А Рыжко оказался у Финогена хорошим конем. Быстрым и очень сноров-

стым. По деревне я ехал, конечно, очень сдержанно. Не дай бог кто нечаянно выскочит из-за угла или какая шальная собака бросится под ноги. Еще свалишься. Конечно, падать с коня мне тоже не в новинку. Но ведь как упадешь. Одно дело свалиться за деревней, на мягкую дорогу или, того лучше, на вспаханную полосу. Другое дело в деревне. Еще угадаешь на камень или на бревно. Можно совсем порешиться.

А за деревней я сразу наддал Рыжку как следует и в два счета доскакал до поскотины. Здесь мне пришлось слезть, чтобы открыть ворота. Я немного побаивался, сумею ли потом сразу сесть верхом. Но Рыжко вроде сам понимал, что дела у нас с его хозяином плохи, и послушно позволил мне подвести себя к небольшому бугорку у дороги. С этого бугорка я сел на него и поскакал прямо к своим на пашню. А наши только что вышли на полосу после обеда. Тут я, не слезая с коня, объяснил, какая беда приключилась у нас в деревне, и отец, ни говоря ни слова, сел верхом на Гнедка, и мы вместе поехали к Максиму.

Максиму не надо было долго объяснять, чем пахнет приезд пристава в деревню. Приезд пристава с заседателем да еще с двумя урядниками для сотского хуже пожара. И Максим сразу, матюгаясь на чем свет стоит, поскакал в деревню. А мы с отцом поехали в Рубцов к Никите Папушину.

А Папушин после обеда задавал под телегой храповицкого. Раскачать такого слона ото сна да еще объяснить ему, что к чему, не так легко. И если бы не отец, то мне вряд ли удалось уговорить его сразу же поехать в Кульчек. Но вдвоем мы кое-как растолковали ему, что приехал пристав с заседателем и двумя урядниками, что это дело нешуточное и может обернуться для него каталажкой. Ну, тут он сразу пришел в себя, почесался, раскурил трубку и послал свою Манефу за конишком.

После этого отец присоветовал мне поскорее возвращаться в деревню. Пока Папушин тут шель да шевель, мало ли, что может там приключиться... Столько начальства понаехало.

И в хвост и в гриву гнал я обратно в Кульчек и приехал как раз в тот момент, когда Финоген и Максим в шапках и шабурах, с ружьями за плечами собирались куда-то ехать. Увидев меня, Финоген сразу же закричал:

— А Никита где?

— Я обогнал его,— схитрил я.— Сейчас должен быть.

— Поезжайте одни, я его подошлю,— сказал заседатель и стал повторять Финогену наказ пристава, что они должны с Максимом выбрать себе подходящее место около дороги на вершине Устугского хребта и всех там караулить — и пеших, и конных, и тех, кто на тарантасах едут, и кто даже на простых телегах. И спрашивать всех — кто они, откуда и куда едут. И если какие подозрительные — тех прямо досматривать. А особенно глядеть двух человек. Один молодой, лет тридцати, росту среднего, волосы русые, глаза голубые, бороду носит маленькую, клинышком. А другой тоже молодой, но черномазый. Росту тоже среднего. Но очень широк в плечах. Видать, из мастеровых. И если такие попадутся, то сразу их цапать и прямо в волость. Они — государственные преступники...

— А если они обворужены? — спросил Финоген.

— А вы что? С палками едете али как?

— А если они с леворвертами?

— Так смотреть надо. У них леворверты, а у вас ружья с картечью. Они на дороге, а вы в засаде с двух сторон. Да еще десятский к вам на подмогу подъедет. Ну, давайте скорее. В случае чего — гоните нарочного в волость.

Тут Финоген тронул лошадь и, подъехав ко мне, наказал:

— Рыжка ты сейчас отведи на пашню Акапее. За Иваном Адамовичем мы послали нарочного. На гоньбу я уж нарядил тебе Гарасимовых, Спириных и Шипиловых. Так что ты на этот счет не беспокойся. Если еще кого черт принесет из начальства — подводы будут. А теперь оставайся пока за нас. За всех — за старосту, за сотского, за десятского и за писаря...

— А пристав с урядниками где? — спросил я Финогена, так как боялся новой встречи с ними.

— Уехал с одним в Проезжую Кому. А другому вместе с заседателем наказал ехать в Медведеву. Видать, по этому же делу. Ну, так оставайся тут...

И Финоген с Максимом поехали на Устугский хребет караулить государственных преступников, а я повел Рыжка на пашню Акапее. О приезде пристава, заседателя и урядников она уж от кого-то узнала. Но о том, что Финоген на несколько дней поехал куда-то в тайгу, она никак не думала. И стала сильно беспокоиться, чем они там будут кормиться.

Когда я пришел с пашни от Акапеи, заседатель уж

отправил Никиту Папушина к Финогену и собирался со вторым урядником в Медведеву.

— Когда приедет Иван Адамович,— наказал он мне на прощанье,— скажи ему, чтобы он никуда из Кульчека не отлучался. А то начальство сильно сердится, что он, не спросясь, уехал в свой Караскыр. Да поменьше тут болтайте об этом деле.

Теперь я остался один за всю кульчекскую власть. И за старосту, и за писаря, и за сотского, и за десятского. И не знал, что мне дальше делать. Вдруг опять черт принесет пристава с урядником? Или воротится заседатель? Кто знает, что им взбредет в голову. Эх, как было бы хорошо убежать сейчас к нашим на пашню. Хоть жать и тяжело, и спина болит, и руки в крови от колючего жибрея, но все-таки это лучше, чем оставаться за старосту, за писаря, за сотского и за десятского.

К вечеру с пашни стали съезжаться в деревню хозяйки управляться по домашности. И хоть работы у них было много, но все-таки они на разные лады обсуждали появление в деревне целой оравы начальников. И, конечно, расспрашивали обо всем меня. А что я мог рассказать им, кроме того, как пристав согнал меня с крыши, а потом послал на пашню за сотским и десятским и как Финоген с Максимом, а за ними Никита Папушин поехали с ружьями на Устугский хребет караулить каких-то государственных преступников. Потом я еще сказал им, что пристав с одним урядником уехал в Проезжую Кому, а заседатель с другим урядником в Медведеву. И по этому же делу.

Тут все стали думать да гадать, что наделали эти государственные, раз все начальство начало метаться по волости. Государственные — это ведь политические. С начальством они в контрах. Может, ухлопали кого? Но вряд ли. Не похоже это на них. Видать, убежали, как наш Сергей Измаич с Таисией Александровной. Они ведь тоже были государственные. Только убежали не летом, как эти, а зимой, в самые лютые морозы. Начальство так же металось тогда по всем деревням. Хотели их как-нибудь перехватить. Да куда там. Уехали, и шито-крыто. Как в воду канули...

А на другой день приехал с пашни Иван Герасимович заступать на очередь отводить общественную гоньбу. Он должен был три дня состоять при мне и ждать, когда ему надо будет везти в Кому какое-нибудь начальство или ехать куда-нибудь нарочным по срочным делам. На мое

счастье, никто из начальства к нам в эти дни не наезжал и никаких срочных запросов из волости не было. Так что у нас было достаточно времени обсудить приезд пристава и, главное, подробно поговорить о Сергее Измаиче и Таисии Александровне. Сам я был в то время еще маленький, а Иван Герасимович ведь знал их и мог что-то рассказать об их побеге. И вот в течение двух дней, пока не приехал из Караскыра Иван Адамович, я донимал Ивана Герасимовича расспросами о Сергее Измаиче и Таисии Александровне: что они были за люди, как они у нас в Кульчеке жили и, главное, как они так ловко бежали, что начальству не удалось найти никаких концов и в деревне до сих пор никто ничего об этом не знает?

Сергея Измаича и Таисию Александровну пригнали к нам на поселенье еще до японской войны. Привезли их в Кульчек ранней весной под конвоем двух десятских, в сопровождении урядника. Выглядели они очень плохо. Видать, от арестантской жизни. И багажишко был с ними самый немудрящий. По сундучку да по узелку, да еще по пачке каких-то книг. А все равно держались гордо. И не подумаешь, что арестанты. Особенно с урядником.

А старостой был у нас тогда Василий Рябчиков. И урядник сдал их ему под расписку, как живой товар. Сдал и наказал немедленно определить их по квартирам. «Сосланы они,— сказал он,— по важному делу и засужены по одной статье. Так что связаны друг с другом одной веревочкой».

Расселить их урядник велел порознь и установить за ними строгий надзор. Утром и вечером обязательно проверять, на месте ли они по своим квартирам, и днем присматривать. Мало ли что могут вытворить. По виду они и мухи не обидят, а сосланы как опасные государственные преступники.

После отъезда урядника староста стал предлагать мужикам Сергея Измаича и Таисию Александровну на квартиру. Однако охотников брать их себе поначалу не находилось. И хлопотно, и боязно. Уж больно хилые будут квартиранты. Случись что, еще отвечать придется. Наконец Кузьма Тимин, по своей жадности, согласился взять к себе Таисию Александровну. А Сергей Измаич устроился у Бабишовых.

Так и поселились. Он у Бабишовых, она у Тиминых в малой горнице с запасным выходом в сени. Первые дни их в деревне было не видно. А дня через три они показа-

лись в улице. Зашли сначала в лавку к Яше Браверману, а потом отправились в Барсуков лог. Вернулись оттуда с цветами.

Через несколько дней Матрена Тимина стала кое-что рассказывать о них соседям. Когда их привезли, все думали, что они муж и жена. И урядник намекал на это. А по словам Матрены выходило, что они не холостые и не женатые. Ведут себя и не поймешь как. По утрам он приходит к ней и осторожно стучит в дверь, как чужой. И спрашивает — можно ли ему войти. А она ему в ответ: «Обождите,— говорит,— я еще не одетая...» И одевается не торопясь. Потом сходит умоется, потом наведет на себя красоту перед зеркалом. И только потом уж впускает его. Тогда он входит, вежливо здоровается и начинает говорить ей что-то по заграничному. А она то смеется, то сердится, то спрашивает его о чем-то, то сама ему что-то рассказывает. И тоже не по-нашему. Потом она посылает его принести в ее горницу самовар и все, что я приготовила ей к чаю, и приглашает его, как гостя, к столу. И все что-то говорят и говорят. Не то спорят, не то ссорятся. А после чая, смотря по погоде, садятся за стол и что-то пишут и читают. Это у них считается работой. Или идут на вольный воздух — на прогулку. Не похоже на то, что они муж и жена. Скорее, жених и невеста. Уж больно он с ней уважительный да обходительный. Может, и поженятся еще. Гуляют, гуляют да и сойдутся. Вдвоем-то жизнь коротать будет легче.

А десятским был у нас тогда Омельян Похабов. Он должен был и утром, и вечером проверять их по квартирам. И он проверял их, проверял так, что они пошли с жалобой на него к старосте. И Бабишовы, и Тимины тоже стали на него обижаться. Придет вечером со своей проверкой и не уходит допоздна. Хоть ухват бери да выгоняй. А утром является ни свет ни заря и лезет, не спросясь, прямо в горницу. Ну, к нему еще туда-сюда. А она-то ведь все-таки женщина. Барышня, хоть и ссыльная. Нехорошо получается.

Иван Герасимович с Захаршей Поляковым живут с Тимиными по соседству. И вот они, тогда мальчонки, стали за Таисией Александровной подсматривать. Утром сидит она с Сергеем Измаичем у себя за чаем, а они подкрадутся к окну и подслушивают, о чем они говорят. Подслушивают и, конечно, ничего в их разговоре не понимают. Пойдут они гулять по деревне али в Барсуков лог, а они из-

дали, крадучись, подсматривают за ними. А те все это, конечно, видят, но не обращают на них внимания. Кончилось это тем, что в один прекрасный день Сергей Измаич подозвал их и попросил пойти с ними на Шерегешевскую сопку. А на другой день они взяли их с собой на Орловку, потом на Тои, на Атаман-гору. И каждый раз после таких походов Таисия Александровна зазывала их к себе и поила чаем с сахаром.

Во время одного такого чаепития у нее зашел разговор с Сергеем Измаичем о том, что в Кульчеке до сего времени нет школы. Деревня больше ста дворов, а ребята не учатся. Дальше разговор этот, конечно, перекинулся на Ивана Герасимовича с Захаршей Поляковым, и Таисия Александровна стала сетовать на то, что они ребята хорошие, а на всю жизнь останутся неграмотными. Тут Сергей Измаич и присоветовал ей обучать их грамоте. Начальство этому препятствовать не будет. На всякий случай надо поговорить об этом со старостой и написать волостному писарю Шадькову. Он, говорят, человек порядочный и это дело в волости уладит. И попросить его прислать нам на первый раз несколько букварей, тетрадей и все прочее. Что будет стоить, как-нибудь расплатимся.

Таисия Александровна сразу же ухватилась за это, договорилась на другой день с родителями, поговорила обо всем со старостой. Тем временем Сергей Измаич написал письмо Шадькову. Тот прислал им буквари и все, что надо для обучения грамоте. Сергей Измаич тоже составил себе группу из низовых ребят. Так у нас в деревне впервые образовалось что-то вроде школы.

Занятия у Таисии Александровны шли поначалу только по праздникам. Да и то не всегда. Подошел сенокос, потом страда. Не до грамоты ребятам было. Ну а с осени стали заниматься каждый день, и Таисия Александровна взяла к себе в группу еще Миньку Матвеевых. К рождеству прошли весь букварь и начали хорошо читать. И арифметикой занимались, и письмом. Но Таисия Александровна налегала больше на чтение и на русский язык и заставляла их как можно больше читать.

А у Сергея Измаича дело шло хуже. Днем к нему из дома ребят не отпускали, а вечерами его донимали разные посетители. То кто-нибудь приходил посоветоваться насчет своих дел, то написать письмо или какое-нибудь заявление или просто поговорить о нашей крестьянской жизни. Говорили, конечно, с опаской. Боялись, как бы кто

не стукнул на этот счет по начальству или не проболтался в Коме али в Новоселовой.

Особенно донимали Сергея Измаича расейские переселенцы из Устуга, из Хламенкиной и из Ивановки, которая в то время только что заселялась. Из Витебки и Александровки тоже наезжали. И все с просьбами отхлопотать им от казны какое-нибудь пособие али безвозвратную ссуду.

Платы за свои хлопоты Сергей Измаич ни от кого не брал. Ни деньгами, ни натурой, ни подарками. Только один раз соблазнился и взял у одного устугского мужика живую белочку. Эта белочка жила у него в горнице. Он сделал для нее красивую клетку. Но клетка всегда была открыта, и белка свободно бегала по всей избе. А когда он садился за стол и начинал пересыпать на тарелке кедровые орехи, она моментально была тут как тут. Прибежит к нему прямо на стол и начинает те орехи щелкать. Забавная была белочка.

Вскоре по приезде Сергей Измаич и Таисия Александровна стали получать книги и какие-то газеты. И книги, и газеты, по словам Ивана Герасимовича, были без картинок, и читать их было не интересно. А Сергей Измаич и Таисия Александровна все равно те книги и газеты читали. Когда ни зайдешь к ним, они все читают и читают. Али что-нибудь пишут. Или говорят что-нибудь непонятное. Не то по-нашему, не то по-иностранному. Многие в деревне стали даже сомневаться: не пошатнулись ли они умишком от своего чтения? В самом деле, разве могут люди в своем уме изо дня в день с утра до ночи все читать да читать? Тут хоть на кого доведись, всякий подумает, что с людьми что-то неладно.

Так они и жили целых два года. Учили ребят грамоте, помогали людям, чем могли. И все к ним помаленьку так привыкли, что считали их вроде как бы уж за своих. И ходить к ним стали запросто. Особенно соседки к Таисии Александровне. Ребенок ли заболеет, или самое чем-нибудь схватит — сразу бегут к ней. А она расспросит сначала все, что надо, потом посмотрит в свою лечебную книгу и обскажет, что и как. А иногда и порошки какие-нибудь даст.

И деревенское начальство к ним вроде как бы привыкло. Десятский меньше стал докучать своей проверкой.

Придет вечером, спросит хозяев: дома ли квартиранты? Утром заглянет на минуту. И все... А староста даже в Безкиш их стал отпускать в гости к политическим, которые там проживали. Даже в Новоселову разрешал отлучку. Только ямщика наряжал туда надежного. И каждый раз брал с них честное слово непременно приезжать обратно. Так что никому и в голову не приходило, что они могут убежать. А они тем временем свой побег от нас уже готовили. Только кульчекских никого в это дело не ввязывали.

Убежали они зимой, когда по Енисею установился санный путь. Тогда по реке в Красноярск и из Красноярска идут обозы и много разного народа едет на перекладных. Таким путем, судя по всему, они от нас и уехали. Накануне перед побегом Таисия Александровна, как всегда, занималась с ребятами весь вечер. На прощанье расцеловала их и почему-то расплакалась. Но ребята не придали этому особого значения.

На другой день утром приходит Похабов к Тиминым с проверкой, а Матрена, как всегда, встречает его руганью:

— Опять черт принес ни свет ни заря. Надоел уж... Спит еще твоя Таисья Александровна.

— Чего-то долгонько спит она сегодня,— сказал Похабов.

— Умаялась, видать. Вчера допоздна сидела. И ночью еще что-то огонь зажигала. Не спалось, видать. Да ты не беспокойся. Не первый раз ведь ее проверяешь. Сходи лучше к Бабишовым. Проверь Измаича. А она тем временем проснется. Зайдешь, посмотришь на нее. Давно уж ее не видел.

Тут действительно Похабов отправился к Бабишовым и спустя некоторое время прибежал оттуда сам не свой. Измаича, говорит, дома нет. Бабишовы утром на гумне молотили, так что не видели, как он вышел из дому. Гулять, видать, пошел али к Таисии Александровне подался.

— К нам он не заходил,— сказала Матрена.— Видать, где-то за деревней гуляет или опять в Безкиш к этим Воробьевым утянулся.

— В Безкиш он всегда отпрашивается. А вечером ни со мной, ни со старостой ничего об этом не говорил.

— Куда он денется... Сейчас мы все узнаем,— сказала Матрена и пошла будить Таисию Александровну.

Стучит к ней в горницу... Стучит, стучит, а ответа нет. Тогда Матрена пошла в сени. Стучит ей оттуда. И опять без ответа. Дверь, видать, на замке. Тут и Матрена всполошилась.

— Не случилось ли чего с барышней? Не угорела ли ночью? Уж с собой чего не сделала ли? Уж больно громко они вчерась о чем-то говорили. Видать, ссорились. Беги скорее за старостой и за сотским. Придется дверь ломать...

Тут Похабов побежал сперва к Степану Сычеву, который был тогда сотским. А тот еще до света уехал на покос за сеном. Тогда он к старосте. Но и старосты дома не было. Он с утра уехал в тайгу за лесом. И писаря нет. В волость вызвали по делам. Вот какая оказия получилась. Тогда Похабов запряг конишка и поехал в Безкиш к этим политическим Воробьевым.

— Так и так,— говорит им,— с утра не могу найти Измаича. И с Таисией Александровной что-то неладно. Закрылась у себя в горнице — и достучаться не можем. Не то спит, не то от угара окочурилась. Хоть дверь ломай!

А Воробьевы эти его успокаивают. Куда, говорят, он денется, ваш Измаич. Не успеешь ты, говорит, еще и до Кульчека доехать, как он заявится к Таисии Александровне. А может, уж сейчас чай вместе пьют.

«В самом деле. Что мне, больше всех надо, что ли?» — решил Похабов и поехал не торопясь обратно. Дома выпряг коня и опять к Бабишовым. И опять нет Измаича. Тогда он к Тиминым. А у Тиминых уж полно народа. По деревне разнеслась весть, что с Таисией Александровной что-то случилось. Не то повесилась, не то отравилась. А может, протопила как следует печь, закрыла трубу, открыла печную дверцу и легла спать. И уснула вечным сном, голубушка. И вот теперь одни сокрушаются да жалеют ее, а другие на чем свет стоит ругают Измаича, что он довел барышню до этого.

Вот прибегает Похабов к Тиминым. Видит — полно народа. Обрадовался. Видать, объявилась. А Кузьма Тимин ему:

— Нет,— говорит.— Пока не объявилась. Видать, уснула вечным сном.

— Давайте дверь ломать! — требует Похабов.

— Зови старосту и сотского,— говорит Кузьма.— Без них я дверь ломать не позволю.

Наконец вечером приехали и староста, и сотский, узнали, в чем дело, и решили ломать дверь. Взяли понятых, попросили всех соседей уйти из дома и осторожно выворотили дверь. Входят... а горница-то пустая! Все прибрано, выметено. Постель заправлена. На столе аккуратно сложены книги и газеты и деньги оставлены хозяевам за квартиру.

Ну, теперь всем стало ясно, что Таисия Александровна и Сергей Измаич убежали. Василий Рябчиков сгоряча начал ругаться. Дело, конечно, нешуточное. Понаедет начальство, начнутся допросы, будут искать виноватых. Но обида на Сергея Измаича и Таисию Александровну как-то скоро прошла. Сменилась заботой, как это дело подать начальству, чтобы самим выйти сухими. За такое дело по головке ведь не погладят...

А соседи, которые до этого оплакивали Таисию Александровну как покойницу, такому обороту дела очень обрадовались, так как всегда ее жалели и понимали, что ничего плохого они с Измаичем сделать не могли, чтобы ссылать их, как каторжан, на поселенье. Может, и в самом деле за народ что-нибудь хлопотали, раз начальство их так не любит.

И то ведь удивительно, что никому и в голову в тот день не приходило подумать о том, с кем они убежали из Кульчека, кто помогал им в сборах, кто повез их и куда повез. А в волости старосту и сотского перво-наперво об этом и стали спрашивать. А они ни чох ни мох, сказать ничего не могут. Твердят одно, что ничего не знали, не ведали, ничего подозрительного не замечали и ни на кого подозрений не имеют.

Из волости их потащили к приставу, а от пристава к мировому на следствие. Он ведь главный у нас по этой части. А к нам в Кульчек тем временем приехали урядник со старшиной, чтобы опечатать по всей форме горницы у Бабишовых и Тиминых и дознать, кто из кульчекских мужиков в ту ночь и на следующий день отлучались из деревни.

Через день приехали мировой судья, пристав и еще какой-то начальник, сказывали, из Минусинска. Осмотрели горницы у Тиминых и Бабишовых, начали их допрашивать. Потом взялись за соседей. Даже ребят, которые учились у Сергея Измаича и Таисии Александровны, допрашивали.

Тем временем урядник со старшиной перешерстили всю

деревню и дознали, что Федот Чернов, Аника-кузнец и старик Ундеров как раз накануне их побега куда-то из деревни уезжали и приехали домой только на третий день к вечеру. Но оказалось, что они ездили в волость судиться по делу о какой-то потраве хлеба.

После Кульчека взялись за Безкиш и за Черную Кому и тоже стали дознавать, кто из тамошних мужиков помогал им бежать из Кульчека. Но и там никого не нашли. Судя по всему, помогал кто-то из дальних деревень. А может, из самого Красноярска. Приехали ночью, встретили их под видом проезжих в условленном месте, где-нибудь у околицы, а там поминай как звали.

А старосте Рябчикову, сотскому и десятскому пришили обвиненне в пособничестве, и им грозила за это тюрьма от четырех месяцев до одного года. Но и это обвинение, в конце концов, осталось недоказанным. Тогда Рябчикову и Сычеву дали для острастки по две недели отсидки при волостной тюрьме за то, что они в день побега уехали из деревни один за сеном, другой по дрова. А Похабову ничего не было.

Пока тянулось следствие о побеге, деревня жила этим. Кто-то узнал, что если их поймают, то пригонят обратно к нам в Кульчек досиживать свой срок. Все желали им, конечно, с этим побегом удачи. Но если бы их, упаси бог, поймали, то все с радостью встретили бы их у нас в деревие.

А вскоре разразилась японская война, потом по городам начались бунты, потом вышел манифест о какой-то Думе, и всех политических из наших мест отправили, говорят, по домам. Интерес к побегу Сергея Измаича и Таисии Александровны стал постепенно затихать. Да и самих их стали помаленьку забывать. Редко-редко кто вспомнит. Разве только во время осенней раскладки податей поговорят о том, как Измаич в свое время правильно все обсказывал им насчет иачальства и иасчет податей, и пожалеют о том, как они по своей деревенской дурости не умели его как следует слушать.

— А я, как сяду за интересную книгу,— рассказывал мне Иван Герасимович,— или письмо кому начну писать, сразу же вспоминаю Таисию Александровну. Не будь ее, так и остался бы я неграмотным. Вспомню, как мы с Захаром Петровичем и Михайлом Матвеичем каждый вечер бегали к ней на занятия, как она сидела с нами за букварем, за «Родным словом», объясняла нам арифметические

задачи. Аж заплакать хочется и сказать спасибо тому хорошему человеку, который помог ей с Сергеем Измаичем уехать из нашего Кульчека.

Через два дня приехал из Караскыра Иван Адамович. Он был очень недоволен, что его так скоро вытребовали в Кульчек.

— Только три дня и дали поработать. Жал так, что руку себе чуть не отхватил. А все равно не успел управиться.

И он показал мне свою левую руку, которая была перевязана чистой тряпкой.

— А теперь отсюда уж не вырвешься. Ну, говори скорее, что у вас тут произошло?

Я стал рассказывать ему, как мог, о приезде пристава, заседателя и двух урядников, об отъезде Финогена с Максимом Щетниковым и Никитой Папушиным на Устугский хребет караулить каких-то государственных преступников.

Иван Адамович долго смеялся над тем, как я вывесил на своей избе Финогенову красную рубаху и как пристав попер меня с крыши. А потом сказал, что мне очень повезло, что в деревне был в это время сам пристав.

— А случись на этот раз один урядник, тогда вы с Финогеном так легко с этим флагом не отделались бы. Он непременно составил бы протокол об этом и отправил его по начальству. А там завели бы дело о красных флагах в деревне, и началось бы следствие. И Финогену несдобровать бы, и отца твоего могли взять за жабры. Доказывай потом, что это кашемировая рубаха, а не красный флаг. А в общем, все хорошо, что хорошо кончается. Спасибо тебе за то, что ты помогал Финогену. Без тебя ему была бы труба. Могли в волость вытребовать. Теперь отправляйся на свой Кочей или под Тон, где там у вас пашня-то. Снопов тридцать в день нажинаешь?

— Нажинаю.

— Вот и валяй. А с делами я тут теперь сам управлюсь.

На другой день я раным-рано уехал с мамой на пашню и пробыл там до самой субботы, а в вокресенье встретил у Ивана Адамовича Финогена, который только что приехал с Устугского хребта.

— Сидели мы там, сидели...— рассказывал он Ивану Адамовичу,— как дураки. Все ждали кого-то. А кого жда-

ли — и сами не знаем. Поначалу мы, действительно, всех караулили. Первый день остановили две подводы. На первой ехали две женщины с мужиком, а на другой два мужика с двумя женщинами. Ну, мы, конечно, взяли их «на цикундер». «Кто такие?! — спрашиваем.— Куды путь держите и откедова?» Тут женщины с перепугу реветь. Мужиков этих тоже переперло. Думали, что мы вышли на дорогу немного побаловаться. Но потом, конечно, разобрались, что к чему. Новоселовские все оказались. Учителя и учительши. Малину ездили в тайгу брать да варенье варить. По кадке варенья с собой везут. Потом ишшо новоселовские ехали, потом ишшо. И все ягодники. У нас страда. От работы глаза на лоб лезут. И в будни, и в праздник вздохнуть некогда. А им, видишь, варенье надо варить. Вот смотрел, смотрел я на это, а потом и говорю: «Как бы нам, мужики, с этим делом не влопаться. Ведь новоселовские все едут. Сами видите — лягавые все. Нажалуются ишшо на нас приставу. Он, может, в сватовстве али в кумовстве с ними. А мы тута на них с ружьями. Ох,— говорю,— не пройдет нам это даром. Да и дома работа. Страда ведь. Она ведь не ждет. Срок свой отбыли. Давайте,— говорю,— по домам. А государственных этих мы все равно не поймаем. Не такие они дураки, чтобы к нам сюды ехать. В татары, видать, подались. На Июс». Ну, покумекали мы с этим делом, покурили немного и подались домой. Так что ты отпиши обо всем как следует в волость, чтобы они к нам больше с этим делом не вязались...

— Написать-то я напишу, но ведь они нас к себе в волость вызывают.

— Час от часу не легче. По этому делу али что другое?

— Может, по этому, а может, и другое что. Все равно надо ехать.

— Придется. Никуды не денешься. Пропади пропадом она, эта служба. Люди уж отжинаются, а у меня ни дела, ни работы.

Когда мы вышли от Ивана Адамовича, я стал спрашивать Финогена, что это за люди, которых они караулили на Устугском хребте, и почему их называют государственными преступниками?

— Из Курагиной они убежали,— сказал Финоген.— На поселение их, видать, туда пригнали. А ссыльный, знаешь, он человек ведь подневольный. К какому месту его приделят, там и сиди да не рыпайся. А государственные — это

ведь политики. Значит, ребята не дураки. Пригнали их туды. Они пожили там немного, осмотрелись как следует, а потом взяли да и махнули, куды им надо. Вот теперь и лови их.

— А пристав не рассказывал вам с Максимом, кто они, эти политики, которые убежали?

— Пристав-то? Будет нам пристав рассказывать об этом. Заседатель шепнул мне.

— А почему он тебе ничего про них не рассказал?

— Да потому, что сам ничего не знает. Вроде меня — чурка с глазами, хоть и ездит на пароконной подводе с колокольцами. Да и запрещено о них рассказывать-то. Я вот уж сколько годов слышу — такие они разэтакие, сицилисты, левоцинеры, мутят народ и все такое... А все не могу в толк взять, что они за люди и чего добиваются.

— А почему эти политики так не любят начальников?

— А за што их любить-то? Сидят на нашей шее. Всю жисть на них подати платим. У меня какое хозяйство? Злыдни, можно сказать. Еле концы свожу. А ведь двенадцать рублей плачу с лишком. Из года в год. Ни за что! Отец-то дома?

— Дома...

— Зайти, рассказать, как там было.

Отца мы застали одного. Он очень обрадовался приходу Финогена и послал меня в погреб за пивом. Когда я принес им шайку с пивом, Финоген уж обсказал отцу, как они с Максимом Щетниковым и Никитой Папушиным три дня впустую сидели в засаде на Устугском хребте, чтобы изловить государственных преступников, и наконец решили ни с чем возвращаться домой.

— Только мы договорились об этом, — рассказывал Финоген, — как вдруг слышим, кто-то едет с хребта. Ну, думаем, опять ягодники. Но на всякий случай спрятались в кустах и смотрим на дорогу. Дивствительно, скоро из-за поворота показалась пароконная подвода, в тарантасе. На облучке ямщик — немолодой мужик, примерно в мои годы. В коробке два каких-то человека. Одеты по-городскому. Присматриваемся. Один молодой, лет тридцати, с козлиной бороденкой. Другой поплотнее, невысокого роста, чернявый, видать, из мастеровых. Мать родная! Да ведь это же они, эти самые государственные.

Куда их только черт несет. Сами в лапы к начальству лезут. Тут жать надо, а теперь еще с ними придется валандаться, в волость везти, а может, в Новоселову к самому приставу.

Думаю об этом, а сам соображаю, что мне с ними делать? Напустить на них Щетникова с Папушиным? Но они, надо думать, едут не с пустыми руками, и с нашими дробовиками на них лучше не соваться. А потом, думаю, кому все это надо? Начальству нашему. Приставу, крестьянскому начальнику, мировому судье, которые кровь из нас сосут. Тут вспомнил я нашего Измаича и Тансью Александровну, как они не любили этих начальников. Они ведь тоже были у нас государственные. Только успел я это сообразить и сказать Щетникову и Папушину отойти подальше в кусты, как они уж подъезжают. Тут выхожу я на дорогу и спрашиваю: куда, мол, едете, господа хорошие? И по какому делу? А они отвечают, что едут в Кульчек по своим делам, и справляются насчет Василия Бабишова: «Жив ли он, здоров ли?» — «Жив, — говорю. — Сосед мой. Что ему сделается? А откедова, — интересуюсь, — вы его знаете?» — «А от Сергея Измайловича,— говорят. — Он когда-то живал у него». — «Неужто от Измаича?» — обрадовался я и стал расспрашивать их об Измаиче. Оказывается, он опять влопался в руки начальству. Только теперича укатали его в глухую тайгу, на самый край света. А нас, однако, помнит и адресок наш дал им на всякий случай... Вот оно какое дело, думаю и объясняю им, что уж третий день ждем их здесь в засаде, что все дороги на Новоселову и Убей обложены и им нечего туда соваться и что благодаренье богу, что они напоролись здесь на нас. А то быть бы у них беде. Дальше я дознаюсь, что им во что бы то ни стало надо прорваться в Убей, что там в условленном месте ждет их лодка, на которой они могут добраться до Красноярскова...

Тут я кличу Щетникова и Папушина, объясняю им, в чем дело, и мы начинаем соображать, как лучше переправить их в Убей, чтобы не попасть в лапы заседателю. Подумали немного, рассчитали, что к чему, и решили, что им лучше будет пробираться туда прямиком через Тон. И переправить их туда вернее будет нам самим на своих лошадях, так как в упряжке туда не проедешь. Да и лошади у ихнего ямщика сильно загнаны. Тут я сказал Щетникову и Папушину, что сам отвезу их в Убей, и договорился с ними ждать меня утром на Ермиловской за-

имке. После этого мы отпустили ихнего ямщика домой и отправились с ними в дорогу, а Щетников с Папушиным пошли пешком на заимку.

В Убее в условленном месте их дивствительно ждала лодка с двумя мужиками. Так что они сразу отчалили от берега и к вечеру, надо думать, умахали до самого города. А я тем же разом возвернулся с лошадями на Ермиловскую заимку, и мы как ни в чем не бывало приехали домой. Ивану Адамовичу я ничего об этом не сказал. Попросил его написать в волость, что мы никого на Устугском хребте не поймали...

Отец был очень доволен таким оборотом дела и только высказал опасение, как бы Кузьма Щетников и Никита Папушин не проболтались об этом. А то, чего доброго, дойдет до начальства и можно загреметь с этим делом в тюрьму. Но Финоген успокоил отца. Не такие Папушин и Щетников мужики, чтобы болтать лишнее на людях.

На другой день Финоген с Иваном Адамовичем отправились в волость, а я поехал на пашню. Жали мы сначала на Кочее, а потом, не заезжая домой, поехали под Тон. Жнец я пока еще неважный. Кошу хорошо, почти наравне со всеми. А жну плохо. Я стараюсь, конечно, изо всех сил, а все равно больше сорока снопов нажать не могу. Не умею набирать большие горсти. И спина почему-то болит сильнее, чем у других. А руки... А руки мои всю страду в ладонях не разгибаются. Так и хожу со скрюченными перстами. А потом, еще в прошлом году, я чуть не отхватил себе серпом мизинец на левой руке. И теперь как только начинаю жать, так и опасаюсь опять обрезаться.

Но все равно мне в этом году уж не давали никакого спуску. И я вместе со всеми жал от рассвета до поздней ночи. Мы очень торопились, чтобы к субботе совсем отжаться.

Дивствительно, в субботу мы дожали последнюю полоску пшеницы и поехали домой. Страдная работа на пашне осталась позади. Теперь только лоскирдовать хлеб, да обмолотить горох, да выкопать картошку, да управиться с коноплем, да огородить соскирдованный на поле хлеб и сметанное на покосах сено. Но все это по сравнению со страдой уж не работа.

Поздно вечером, уж после бани, к нам зашел Финоген и стал рассказывать о том, как они с Иваном Адамовичем

ездили в волость. Об этих государственных там их особенно не допытывались. Прочитали бумажку Ивана Адамовича, как наши караулили их на Устугском хребте, и только махнули рукой.

— А потом начали жучить нас насчет подушных списков и гоньбовых ведомостей. После покрова должон быть волостной сход, и им до зарезу нужны эти списки и ведомости, чтобы по ним насчитывать на нас волостную подать. Так что хочешь не хочешь, а придется приниматься за это дело. Сейчас, конечно, не до того. А как только поуправимся немного с хлебом, так и начнем. А ты, брат, зайди-ка завтра к Ивану Адамовичу, — неожиданно обратился ко мне Финоген. — Он спрашивал тебя что-то. Понаведай человека, он чего-то прихворнул. Пустяк ведь. Подумаешь — порезал серпом руку. А не заживает, и баста. Боится... Как бы, говорит, зараженья али воспаленья не получилось.

Тут Финоген пустился в рассуждение о том, как часто от какого-нибудь ерундового ушиба или пореза люди начинают по-настоящему хворать. Вот, к примеру, Иван Адамович. Порезал серпом руку. Ну и что же? С кем это не бывает? Если рана пустяковая — присыпь ее землей. А если резанул сильно — поищи на меже перхатинника, выжми из него сок в рану. Дня через три все затянет. А тут воспаленье, зараженье... А все потому, что Иван Адамович человек сумлительный. Порезал немного и давай думать, как бы чего не припритчилось. Ну, от думы от этой и пошло. Это ведь всегда так. Начнет человек думать да сумлеваться, ну и додумается до чего-нибудь. Хорошо еще, что зараженье в руку ударило. А могло ведь и в голову пойти. Разве мало таких случаев. Думает человек да сумлевается, а потом, глядишь, и пошатнется умишком. Не приведи бог. Тогда каюк нам будет без писаря-то. Особенно с этими податными списками.

Когда я на другой день пришел к Ивану Адамовичу, ему было уж не до меня. Он лежал в постели весь в жару. Рука у него распухла, и по ней пошли какие-то красные пятна. А тут, как нарочно, из волости пришла новая бумага не задерживать эти списки насчет пашни, скота и покосных угодий. Эта бумага так расстроила Ивана Адамовича, что ему стало совсем плохо. Так что Финоген сразу послал в Кому подводу за фельдшером. Фельдшер приехал, посмотрел Ивана Адамовича, оставил ему какие-то порошки и строго-настрого наказал с постели не вставать и своими писарскими делами не заниматься.

Глава 18
ПОДАТИ

С болезнью Ивана Адамовича Финоген остался как без рук. Он каждый день с утра являлся к нему на квартиру и каждый день находил его в постели. На счастье, ничего особенного за это время из волости не поступало. Но болезнь болезнью, а время-то, оно идет. Уж скоро воздвиженье, а Иван Адамович все никак не может справиться со списками для сбора податей. Того и гляди, нагрянет старшина или заседатель по этим делам.

Ивана Адамовича это тоже, конечно, волновало. Он рад был бы просидеть несколько дней, чтобы как-нибудь свалить эти списки. Но как их сделаешь, если он и на полчаса не может встать с постели. Сядет за стол, попишет немного, потом схватится за голову и опять на кровать. Значит, опять у него стал подниматься жар и голова начала трескаться от боли. Только через две недели он кое-как справился и сразу же послал Ониску за мной.

У Ивана Адамовича я, как всегда, застал Финогена.

— Значит, так и решим, — наставлял он Финогена. — С завтрашнего дня займетесь этими проклятыми списками. Вот и помощник мой явился... Ты что же совсем забыл меня? — обратился он ко мне.

— На заимке был, — стал оправдываться я. — А потом дома помогал по хозяйству.

— А я, видишь, все хвораю. Сегодня первый раз посидел немного за своими делами. Работы накопилось... по горло. Чем ты сейчас занят?

— Послезавтра очередь на заимке пасти. А дальше вроде ничего... Так что-нибудь, по домашности.

— Ну, это дело я как-нибудь обмозгую, — сказал Финоген. — На худой конец, кого-нибудь наряжу отпасти их-нюю очередь. А ты, — обратился он ко мне, — берись, братец, за дело. Видишь, Иван Адамович совсем у нас расклинился.

— А что делать-то? — спросил я.

— Да списки эти самые составлять. Того и гляди, нарочным потребуют. Ну, я побегу пока домой.

После ухода Финогена Иван Адамович объяснил мне, что для составления раскладочных ведомостей на подать обязательно требуются данные о посеве и о количестве до-

машиего скота у кульчекских мужиков. Это у него самая трудная, самая кляузная работа, так как все стараются и посев, и домашиюю скотину утаивать, чтобы меньше платить податей. Эти сведения мы добываем обычно иа сельском сходе путем перекрестного опроса. Дня по три, по четыре валандаемся с этим делом. Все спорим да ругаемся, кому прибавить, кому убавить. А иыиче, сам видишь, я на сход пойти не могу. Не знаю, как и быть. Дело важное, можио сказать, государствеиное. И так мы его с моей болезиью затянули. А это знаешь чем пахнет?.. Недаром Фииоген так беспокоится. Умный мужик, хоть и неграмотный. Так что давай, брат, завтра вместе с ним на сход. Вместо меня. Выручай нас.

Я хорошо понимал, что должен делать для Ивана Адамовича очень важное дело, но только боялся, что мне не справиться.

— Справишься, справишься, — уверял меня Иван Адамович. — Тебе придется только записывать там со слов Финогена количество пашии, покосов и домашнего скота за каждым домохозяином. В споры и в ругань их на сходе ты не вмешивайся. Пусть спорят да ругаются. Твое дело сторона. А для начала познакомься с прошлогодией раскладочиой ведомостью. — Тут Иваи Адамович вручил мие толстый, довольно потрепаиный список. — Посмотри его как следует. Потом поговорим.

Я с интересом стал читать раскладочную ведомость, так как сразу сообразил, что по ней с нас весь год выколачивали подати. В ведомости я, между прочим, иатолкнулся на фамилии Абакурова и Бедристова.

Через некоторое время Иван Адамович спросил:

— Ну, разобрался?

— Немного разобрался.

— А что тебя смущает?

— Абакуров и Бедристов ведь поселенцы. А поселеицы, говорит Ворошков, на сходку не ходят, права голоса не имеют и подати не платят.

— Правильиое твое замечаиие. Все ссыльиопоселенцы действительно не имеют права голоса на сельском сходе и податей не платят. Но на тех из них, которые, вроде Бедристова или Абакурова, имеют полное домообзаводство и наравне со всеми пользуются в деревие пашеиными и покосными угодиями, на тех мы начисляем подати наравне со всеми. А ты понимаешь, кто такие в списке бойцы и полубойцы?

— Бойцы — это солдаты, которые на войне воюют.

— Но в нашем списке ведь не солдаты, а кульчекские мужики, которые имеют полное домообзаводство. Вот они и числятся у нас бойцами.

— А почему их числят бойцами?

— Я и сам, откровенно говоря, не знаю. Бойцы да бойцы. Так уж исстари заведено. Все мужики от двадцати до шестидесяти лет считаются бойцами и должны платить полную подать. А от шестидесяти до семидесяти числятся полубойцами и платят половинную подать. Дряхлых стариков свыше семидесяти лет податями мы не обкладываем. Понятно?

— Понятно.

— Теперь учти главное. Подати начисляются на каждого хозяина по числу имеющихся у него в семье бойцов, а также по количеству пашни, покосных паев и домашнего скота — рабочих лошадей, коров и овец. Данные о числе бойцов у меня имеются, а сведения о пашне, о покосах и о домашнем скоте вы с Финогеном должны будете получить на сходе путем перекрестного опроса. Но при опросе мужики будут безбожно утаивать и посев, и домашний скот. На этот случай вы с Финогеном держите при себе эту прошлогоднюю ведомость. Для нынешнего года она уж не годится, но всегда может потребоваться на сходе для справок во время спора. Поэтому тебе надо хорошенько разобраться с этой ведомостью, чтобы в любой момент дать там справку Финогену о посеве и домашнем скоте у каждого домохозяина.

А данные за нынешний год, которые вы с Финогеном будете дознавать на сходе, ты вноси в новую ведомость. Я давно уж заготовил ее на этот случай. Так что слушай там все споры и раздоры насчет каждого домохозяина, а сам будь начеку, смотри в нашу старую ведомость и говори Финогену, что там числилось у каждого хозяина для обложения в прошлом году. А новые данные со слов Финогена осторожно вноси карандашом в нашу новую ведомость. И все будет хорошо.

После этого Иван Адамович подробно ознакомил меня с прошлогодней окладной ведомостью, рассказал о том, как будет производиться на сходе опрос мужиков насчет пашни и скота, как они будут все это утаивать, спорить и ругаться между собою и как мне надо будет вести себя и правильно вносить в нашу новую ведомость цифры о паш-

не и о домашнем скоте, чтобы как-нибудь с этим делом не напутать.

Долго-долго, почти весь день, продержал меня Иван Адамович, обсказывая мне все это. Учит, учит меня, аж устанет. Полежит, отдохнет и опять начинает объяснять мне. Зато я в конце концов хорошо со всем этим разобрался и знал, как мне надо будет вести себя на сходе.

Перед вечером Никита Папушин объехал на своей лошаденке всю деревню и оповестил всех домохозяев непременно приходить на сборню.

Наша сборня стоит посредине деревни на небольшой площади. Она построена, видимо, очень давно и выглядит довольно ветхо. По виду сборня похожа на обычный крестовый дом под шатровой крышей, но только имеет не четыре, а три помещения. Крестовый дом делится обычно на сени, избу, горницу и казенку (кладовку). Богатые мужики вместо казенки устраивают себе еще вторую горницу.

На сборне сени соединены с избою в одно большое помещение, в котором и проводятся сельские сходы. Из кладовки в сборне устроена каталажка или, как ее называют еще, кутузка, а из горницы канцелярия для писаря.

Каталажка есть не что иное, как наша сельская тюрьма. Окон в ней нет. Вместо окна только маленькая отдушина, через которую едва можно просунуть руку. Дверь из сборни в каталажку сделана из толстых крепких досок и закрывается на замок. Посредине двери квадратное отверстие, вроде маленького оконца в четверть ширины. Оно крест-накрест перекрыто двумя железными болтами. При закрытой двери в каталажке совсем почти темно. Поэтому вместо слов «каталажка» и «кутузка» у нас говорят еще «темная». («Посадить его, варнака, в темную!»)

Каталажка на сборне обычно всегда открыта настежь. Закрывают ее только тогда, когда сажают в нее под замок пойманных воров, чаще всего конокрадов, и, потом, мужиков, которые не могут уплатить свою недоимку.

В сборне имеется большая голландская печь. Но она никогда не топится. Железная дверца в ней давно вывалилась, и ее выбросили, или кто-то унес ее себе домой. Зимой на сборне очень холодно, и она имеет очень запущенный вид. Поэтому наши писаря ведут свои дела у себя на квартире.

Сборня является у нас в деревне присутственным мес-

том. На ее крыше прикреплена вывеска с выцветшей надписью: «Кульчекское сельское управлеиие». Здесь должеи находиться и вершить свои дела староста. На сборню вызывает мужиков по своим делам приезжее начальство. Здесь же созываются сельские сходы.

Сельские сходы бывают у нас довольно часто. На них производят раскладку государствеиных податей, волостиых и сельских сборов, распределяют гоньбовую повиность, выбирают старосту, сотского, десятского, гласиых на волостной сход, иаиимают писаря, приниимают кого-нибудь из приезжих на жительство в деревню, отводят усадебиую землю под постройку иовых домов, делят покосы, назначают иа мостовые и дорожиые работы иа Миiусинском тракте. Начальство приезжает в деревню выколачивать подати — собирают сход, иадо гиать народ в тайгу тушить лесные пожары — собирают сход. И так без конца.

Каждому домохозяину в течение года приходится бывать на сходе не оди десяток раз. Все привыкли к этому, и каждый имеет иа сборие свое привычиое место. Богатые мужики проходят обычио вперед и усаживаются на лавку или иа единствеииую скамейку поближе к столу, за которым восседают староста и писарь. Мужики, которые погорланистее, тоже стараются пролезть вперед, поближе к начальству. А другие, иаоборот, устраиваются куда-иибудь в сторонку, если даже иа длииной лавке, протянувшейся около стеиы, есть свободные места. Они сидят там с таким видом, как будто хотят сказать: «Куды нам... Мы люди маленькие».

А есть и такие, которые прячутся во время схода в каталажку. Здесь иет ни лавок, ни скамеек. Даже нар нет. Но это мужиков не беспокоит. Они устраиваются на полу и весь вечер ведут между собой разговор, не обращая виимания на то, что происходит на сходе. В каталажку набиваются обычно самые никудышные мужичонки — Никишка Бузуиов, Тереха Худяков, братья Ершовы и другие пустобрехи.

А кто пришел иа сход позже, те устраиваются уж посредиие сборни, кто стоит на ногах, кто пристроится иа корточки, а большиинство сразу садится на пол. Тут ие до удобств.

Каждый мужик, как только ои придет на сход и приоделит себя здесь к привычному месту, сразу же выиимает трубку и закуривает. Если иа сход пришло десять человек — они дымят в десять трубок и ждут, когда подойдет остальной народ. Если придет двадцать—тридцать человек — то оии дымят уж в двадцать—тридцать трубок. А ес-

ли соберется полный сход — сто двадцать домохозяев, то на сборне дымит уж самое малое сто трубок. Все курят и еще непременно отплевываются.

Пока идет сход, а он почти всегда затягивается за полночь, на сборне стоит табачный дым до потолка. Освещается сборня одной семилинейной лампой. Эта лампа стоит на столе перед старостой и писарем и от духотищи еле теплится. Рамы в окнах сколочены намертво и не открываются. Так что дышать постепенно становится нечем. Даже самые заядлые курильщики не выдерживают этого. Посидят часок-другой, а потом выходят на крылечко немного отдышаться. Выйдут, закурят там свои трубки и отдыхают. А потом идут обратно в сборню на свое место.

Обыкновенно сход кончается за один вечер. Но когда приходится составлять окладные списки на пашню, на домашний скот и распределять потом подушно наложенную на общество подать, тогда сход тянется по нескольку дней.

На сборню мы с Финогеном пришли заблаговременно. Поначалу я опасался того, как примут меня мужики на сходе. Не будут ли смеяться над тем, что я явился к ним вроде как бы сельским писарем. Но в деревне все уже знали, что Иван Адамович сильно хворает и что я состою при нем вроде помощника. Поэтому никто не обратил на мой приход особого внимания, и я спокойно устроился за столом рядом с Финогеном.

При нашем приходе сборня была еще полупуста. Человек двадцать мужиков, которые пришли на сход первыми, вели разговор о том, что с раскладкой из года в год происходит какая-то непонятная ерунда. Целыми неделями каждую осень обсуждаем ее всем сходом, стараемся делать ее по справедливости, начислять на богатых больше, на бедных поменьше, а на деле каждый раз получается почему-то наоборот — богатые всегда остаются в выгоде и платят меньше бедняков.

Этот разговор продолжался до тех пор, пока сборня не заполнилась народом и сход не приступил к проверке пашни и домашнего скота у домохозяев в нынешнем году. Проверку начали по списку, а первым в окладном списке числился у нас Никифор Сивоплес. Он живет на самом выезде. С него начинается и на нем кончается наш Кульчек.

Сивоплес сидел где-то в дальнем углу и на вызов Финогена не подавал голоса. Но Финоген все-таки заставил его в конце концов выйти вперед и рассказать сходу о своем хозяйстве.

Сеял Сивоплес всего только одну четвертуху ржи. В хозяйстве имел одну лошаденку, одну коровенку и одну овцу. Раньше он держал две овцы, а нынче летом в табуне одну задрали волки, и пастух принес ему, как это полагается, уши от его овечки. Уши действительно с его меткой. А потом, еще у него есть свинья и пять куриц.

Тут одни стали жалеть Сивоплеса и ругать овечьего пастуха, что он зарезал у Сивоплеса почти последнюю овцу. А другие, наоборот, начали иасмехаться над тем, что он имеет в своем хозяйстве одну-единственную овцу. О свинье и о курах ничего ие говорили, так как свиньи и куры у нас в обществе податью не обкладываются. А в общем-то споров и ругани по поводу хозяйства Сивоплеса не было. Утайки у него от обложения по сравнению с нашим списком никакой не было, кроме этой несчастной овцы, которую, судя по всему, зарезал себе овечий пастух.

После Сивоплеса перешли к другим хозяевам и стали каждого спрашивать, сколько он в нынешнем году сеял, сколько у него коней, коров и овец. И тут сразу началась ругань, шум, споры и раздоры.

Каждый хозяин хорошо понимал, для чего делается этот опрос, и рад был бы заявить, что он вообще ничего не сеет и не жнет, а из скотишка держит одну только лошаденку да коровенку. Но как это заявишь, когда и в прошлом, и в позапрошлом году он имел полное хозяйство. И каждый год писарь со старостой при всем сходе записывали его пашню, и лошадей, и коров в свой список и по этому списку насчитывали ему подать. А потом, ведь рядом с ним сидят на сходе соседи, которые знают его пашню, все его хозяйство. И если он загнет тут что-нибудь несуразное насчет нынешнего года, то они сразу же его поправят, а то и на смех поднимут. Вот каждому и приходится утаивать свою пашню и свой скот с оглядкой на соседей да еще на старые податные списки. Если же кто тем не менее начнет упорствовать и убавлять слишком много, то тут все начинают его прижимать. Дескать, ты, кум Никанор али сват Савватей, имей перед обществом совесть. Пашешь ты десятин шесть-семь, не меньше, так уж десятинки две-то покажи. Ну и коровенок прибавь. Так и урезонивают каждого, чтобы он утаивал и посев, и скотину по-божески. Но бывает, конечно, и так, что попадается мужик с характером. Ну, такому хоть кол на голове теши, а он все свое. С таким дело доходит до шума, до крика. В спор ввязывается чуть не весь сход. В одном углу кричат одно, в другом — другое. Все говорят

скопом, ругаются и напоследок этому хозяину все-таки что-то набавляют.

В свою очередь домохозяин, которого заставили добавить и пашню, и скотишка, сидит на сходе уж начеку. И когда дело доходит с кем-нибудь до такого же спора, как с ним, он тоже начинает того совестить и увещать добавить и посев, и поголовье. В общем, как ни крутись, как ни виляй, а все равно надо что-то добавлять.

Сложнее дело обстояло с богачами. Они пашут и скота держат помногу. Когда речь заходит о большой у них утайке, они начинают кричать о том, что их собираются разорить с этой надбавкой, что они горбом нажили свое хозяйство, покалечились на работе, лишились здоровья, а теперь лентяи и лодыри собираются за их счет уравниваться в податях. «Распелись: добавьте пашни, добавьте лошадей, коров,— кричал Кузьма Тимин,— потому что вы лучше нас живете, а мы добавлять не будем, потому что меньше вас пашем, меньше скота держим!.. А кто вам мешает больше сеять, больше косить, больше скота разводить? Кто мешает? Лень-матушка мешает. Вот кто!..»

Но как ни кричали, как ни изворачивались богатые, сход в своем большинстве был на стороне тех, кто требовал от них прибавки и посева, и скота. Уж больно велика была у них утайка. В самом деле, Точилковы, как и в прошлом году, объявили четыре десятины посева, три лошади, три коровы и пять овец. А пашут они двадцать десятин, в упряжке у них восемь лошадей, доят по меньшей мере десять коров, и зимует у них до тридцати овец. А у Меркульевых и того больше. Ну и утайка при таком хозяйстве получается огромная. Если, к примеру, Ехрем Кожуховский от своих трех десятин показывает только одну, а Федот Меркульев от своих двадцати пяти десятин пишет четыре, то каждому ясно, что Меркульев утаивает в десять раз больше, чем Ехрем Кожуховский. Ну а со скотом у Меркульева счет получается еще более выгодный. Летом у него пасется в поскотине целый табун лошадей. И доит он больше десятка коров. А в списке показывает три лошаденки да три коровенки.

На этот раз Финоген попробовал прижать Меркульева. Но тот тоже не дурак и заявил, что он добавляет не меньше других. «Я,— говорит,— при одном бойце пахал в прошлом

году четыре десятины и имел трех коней, три коровенки и пять овец. Теперь ты хочешь, чтобы я добавил еще четыре десятины, трех коней, трех коров и пять овец. Что ж, я согласен. Давайте добавлять вдвое. Но только всем обществом. Если все согласятся сделать себе двойную добавку, я против общества не пойду. Ну, как, мужики, вдвое будем набавлять али как?.. Решайте!»

Тут на сходе поднялся шум и гвалт пуще прежнего. Спорили, шумели, ругались и, наконец, сообразили, что если все вдвое увеличат свой посев и поголовье скота, то обществу наверняка вдвое увеличат казенную подать по окладному листу. Тогда всем сразу стало ясно, что лучше будет Федота с этим делом особенно не задирать. И так хорошо, что человек прибавил десятину пашни, одну коровенку и трех овец. А то в самом деле еще могут удвоить подать.

Пашенные земли у нас в обществе по дворам пока еще не делят. Земли пока хватает на всех. Кто где когда занял землю, тот там и пашет. Это считается уж его пашней. И под посевом, и под паром, и даже в залежи. Зато покосы делят каждый год и в списки пишут их по бойцам. Каждый домохозяин до шестидесяти лет получает полный покосный пай. А кому перевалило за шестьдесят, получает только половинный пай. Паи эти, конечно, никто не мерил. Определяются они не по площади, а по количеству накашиваемого сена и в зависимости от близости к деревне. Покос копен на сто, если он близко от деревни, идет за полный пай. А многие соглашаются взять такой покос за полтора и даже за два пая. А такой же покос где-нибудь у черта на куличках, в Ушманихе или, как у нас, на вершине Каменного, идет за половину пая.

В других деревнях, где земли меньше, там покосные паи пересматривают каждый год. Каждое общество устанавливает свой порядок их переделов, в зависимости от качества земли, отдаленности от деревни и от других местных условий.

У нас покосы делятся тоже каждый год. Делят их обычно в конце июня перед петровым днем. Но каждый год получается как-то так, что кто где косил, тот там и косит. Свободных покосных угодий пока еще много. И не было еще ни одного случая, чтобы у кого-нибудь отобрали старый покос и передали его какому-нибудь приезжему на жительство расейскому переселенцу. Так что весь передел сводится обычно к тому, что за людьми закрепляют покосы, которые

они уже косят, и покосы, которые раньше ни за кем не учитывались.

В общем, вопрос этот не вызывал на сходе особых споров и раздоров. Тут проверялись, по сути дела, не покосные наделы, а количество бойцов у каждого домохозяина. Это действительно надо было проверить и точно установить, так как в течение года в обществе произошли некоторые перемены. У одного сыну перевалило за двадцать лет, и он, значит, вышел в бойцы. У другого выделился старший сын и сам стал полным хозяином. Там кто-то взял в дом зятя, кто-то умер, кто-то ушел в солдаты, а кто-то приехал на жительство.

Плохо ли, хорошо ли, но мы с Финогеном действительно заново пересмотрели на сходе наш список. И потратили на это четыре дня. Четыре дня мужики спорили и ругались до хрипоты, до зубовного скрежета насчет того, кому сколько добавить пашни, покосов, домашнего скота. Четыре дня я сидел около Финогена и записывал с его слов все данные на каждого домохозяина для обложения его податями. Как мне ни трудно было держаться эти четыре дня на сходе, но я старался выдюжить, чтобы не подвести Ивана Адамовича и Финогена.

Иван Адамович был, конечно, в курсе наших дел и очень повеселел, когда мы на пятый день принесли ему последние данные для наших окладных списков. Теперь оставалось только переписать их как следует, чтобы отвезти в волость. Сам он писать окладную ведомость все еще не мог и усадил за это дело меня. И все время наблюдал за мной.

Так из ученика и помощника Ивана Адамовича я на несколько дней сам сделался главным кульчекским писарем. А Иван Адамович стал вроде как бы моим помощником.

Наконец мы с грехом пополам закончили ведомость, и Финоген сразу же поехал в Кому сдавать ее волостному начальству. На этот раз он поехал в Кому один, без Ивана Адамовича, и сильно волновался. Вдруг что-нибудь неладно в этих списках, начнут спрашивать да дознавать, что к чему. А что он им ответит, неграмотный-то?..

Через два дня он приехал из Комы, зашел вечером к нам и стал рассказывать тятеньке, как он в волости утер нос всем старостам:

— Приезжаю это я туда, а там вся канцелярия уж забита народом. Шутка сказать — со всей волости съехались

старосты с писарями. Сидят и все что-то мухлюют со своими списками. «Что это?— спрашиваю я безкишенского старосту.— Неладно что-нибудь?» А тот только махнул рукой: «Третий день,— говорит,— уж сидим тут. И так напишешь — неладно, и этак — нехорошо. Как ни поверни — все невпопад. Да вот сам увидишь».

А старший помощник уж подзывает меня, берет наш список и начинает его читать. Читает и все что-то прикидывает на счетах. А внапоследок, не говоря ни слова, понес наш список самому волостному писарю... Ну, думаю, хана! Засыпались! Что я буду делать здесь без Ивана Адамовича. Вдруг слышу — кличут меня к самому. Захожу к нему. Приготовился уж, что он начнет вздрючивать меня. А он вместо того поздоровался со мною за ручку и стал благодарить за наши списки. Тут я набрался смелости и начал рассказывать ему, что сам Иван Адамович покалечился у нас еще во время страды и все время лежит в постели. Так что списки эти, говорю, писал ему один наш кульчекский мальчонко. «Что ж,— говорит,— что мальчоико.— Потом подумал и сказал:— Не худо бы нам заиметь у себя такого мальчонку. Работенки у нас для него хватит». Я слушаю его и думаю: в самом деле, пусть возьмут парнишку в подписаренки. Может, он дойдет у них здесь до дела. Пока я думал это да соображал, как к нему с этим делом подступиться, он перевел разговор на подати. «А как,— говорит,— у вас дела с недоимкой? Страда кончилась, с работой все поуправились. Теперь пора,— говорит,— жать на мужиков. Волостные сборы мы у вас с грехом пополам вытрясли, а по казенным податям большой недобор. Учтите,— говорит,— что эти подати с вас будет выбивать теперь сам становой. Это вам не старшина, не заседатель. Он с вами цацкаться не будет».

Тут я хотел было сказать ему, что недоимки за нами не так уж много. Куды там... И слова не дает вставить. Кончил насчет старых податей, завел разговор о новых. И говорит, собака, вот ведь что она, наука-то, делает, как по писаному. Не запнется, не заикнется. «Скоро,— говорит,— мы вручим вам окладные листы на казенные подати и на волостные сборы, так вы,— говорит,— сразу же проведите по ним раскладку. И чтобы никакой задержки. Это,— говорит,— государственное дело!»

Не успел он закончить разговор насчет новой раскладки, как откуда ни возьмись старшина. И туда же, понимаешь, завел песню насчет податей. «Ты,— говорит,— Головаченков, с мужиками не умеешь обходиться. Уговариваешь их,

урезониваешь. А их,— говорит,— гнуть надо в дугу, в кутузку сажать. С уговорами,— говорит,— ты в этом деле далеко не уедешь. Мы,— говорит,— на тебя крестьянскому начальнику напишем, чтобы он на протирку тебя в Новоселову вытребовал».

Ну, после этого, сам понимаешь, у меня в голове все стало навыверт. Ах ты, думаю, сукин сын... Ведь сам мужик, а туды же, на мужика гавкаешь... Я и без того с этими податями со всеми в деревне перецапался, а ему, шкуре, все мало. И так мне обидно на все это стало. Стою, понимаешь, как в тумане и сказать ничего не могу. Только уж по дороге домой немного очухался и думаю: что же это я насчет нашего парня-то не выспросил? В общем, не допетрил я с этим делом. Упустил подходящий момент... А теперича уж не до того. И недоимка эта, и волостной сход на носу, потом новая раскладка. Конца-краю этому не видно. Да и в волости у них сейчас тоже запарка. А с таким делом надо выбирать подходящий момент... Иначе всю обедню испортишь.

Финогену в самом деле было теперь уж не до меня. Он чуть не каждый день требовал недоимщиков на сборню и выжимал у них подати. А потом отправился с нашими гласниками на волостной сход. Гласников выбирали на сборне по одному от десяти дворов. Да их, собственно, и не выбирали, а послали прошлогодних. Дела на волостном сходе решаются, как и у нас на сборне, криком. Кто сильнее всех орет, тот и верх берет. Поэтому гласниками выбирают самых горластых, самых голосистых.

Через неделю наши гласники приехали из Комы домой. Волостной сход кончился, и им в волости делать было нечего. А старост и писарей задержали для получения окладных листов на казенную подать и на волостной сбор. В казенную подать входила государственная оброчная подать и какой-то губернский земский сбор. Так что Финогену и Ивану Адамовичу пришлось еще проваландаться там два дня. Зато они приехали домой с окладными листами и знали, сколько им придется раскладывать на общество волостных и казенных податей. Теперь оставалось еще подсчитать все сельские расходы на будущий год, чтобы предоставить все это на усмотрение сельскому сходу.

Сельский сбор идет у нас на жалованье Ивану Адамовичу, на оплату гоньбовой повинности, на страхование школы и сборни, на бланки и книги и на другие мелкие расходы. Главную статью сельского сбора составляет жалованье писарю. Но когда при составлении перечня сельских расходов

на будущий год Финоген с Иваном Адамовичем дошли до этого пункта, Иван Адамович заявил, что он за старое жалованье — двадцать рублей в месяц — служить писарем в Кульчеке больше не желает и просит себе прибавки — пять рублей на месяц. А если общество не согласится на эту прибавку, то он поедет писарить к себе в Караскыр. Получать он там будет меньше, зато жить будет при своей семье, при своем хозяйстве.

Финоген сразу согласился на эту прибавку, а то, чего доброго, Иван Адамович в самом деле уедет к себе в Караскыр. Кульчек без писаря, конечно, не останется. Найдут кого-нибудь, вернее всего, из тех же расейских переселенцев, но что это будет за писарь... Вряд ли найдут такого, как Иван Адамович. И потом — когда найдут? До этого можно несколько раз угадать в Новоселову на отсидку, особенно с этими раскладками. Без писаря неграмотному старосте, пусть хоть у него семь пядей во лбу, все равно труба.

А потом, Финоген и сам решил просить себе у общества жалованье. Когда выбирали его, то обещали помогать ему. И в сенокос, и в страду. Лето прошло, хоть бы один человек заикнулся на сходе об этом. Разоренье, а не служба. Не дадут по пять рублей в месяц, решил Финоген, откажусь. Пусть сразу в тюрьму отправляют. Лучше на казенных харчах сидеть, чем цапаться со всеми.

Когда Иван Адамович учел прибавку себе и жалованье Финогену, сельских расходов получилось шестьсот шестьдесят восемь рублей тридцать шесть копеек. Если сход утвердит все намеченные расходы, то эту сумму придется раскладывать на отдельных домохозяев вместе с волостным сбором и казенными податями.

Теперь все было ясно. Так что можно было посылать Никиту Папушина гнать мужиков на сборню для раскладки этих податей.

А в деревне знали уж о том, что волостной сход в Коме закончился, что Финоген и Иван Адамович приехали домой и теперь со дня на день должен состояться сельский сход с раскладкой податей.

В общем, раскладку ждали. Ждали и говорили о том, что она всегда делается с большой выгодой для богатых и зажиточных.

На это больше других плакались многосемейные, в хозяйстве которых числилось по нескольку бойцов. Предстоящая раскладка очень их волновала, так как ничего не обещала им, кроме новой податной кабалы.

Богатые тоже ждали раскладку. И тоже волновались и беспокоились. Им не нравилось решение волостного начальства не вмешиваться в раскладочные споры и раздоры по деревням, пускать это дело на полное усмотрение сельских сходов. Им не нравились успокоительные наказы волостных начальников на волостном сходе о том, что раскладку надо делать по справедливости, по силе возможности, на богатых побольше, на бедных поменьше и все такое. Они опасались, как бы с такой раскладкой не произошло на сходе какой-нибудь заварухи. Если насчет пашни и домашнего скота спорили и ругались несколько дней, то с раскладкой податей дело, чего доброго, может дойти до прямой потасовки. Тут беды не оберешься.

На этот раз Никите Папушину не составило особого труда собрать полный сход. Финоген и Иван Адамович решили произвести раскладку прежде всего «мирских сборов» — волостной и сельской подати.

Раскладку начали с волостной подати. Ее по окладному листу волостного правления на кульчекское общество было начислено шестьсот двадцать четыре рубля тридцать девять копеек из расчета по четыре рубля тридцать копеек на бойца, с учетом тех поселенцев, которые имеют в деревне полное домохозяйство и наравне со старожилами пользуются пашенными и покосными угодиями.

В общем, это была раскладка по бойцам, а не по пашне, не по домашнему скоту. И сделана она была в волости. За это сразу же ухватились богатые и справные мужики и стали всячески оправдывать эту раскладку. В волости знают, что надо делать. В прошлые годы волостная раскладка делалась тоже по бойцам. Видать, закон на это такой. Так что как ни крутись, а раскладку эту придется принимать в таком виде и распределять ее потом на домохозяев по бойцам.

Ну, тут сразу же начался шум и галдеж. Его подняли многосемейные. Они кричали, что такая раскладка неправильная, что ее надо делать не так, как нам указывает волостное начальство, а по-своему, не по бойцам, а по силе возможности, по домохозяйству.

Ну а которые побогаче кричали о том, что раскладка по бойцам — это и есть раскладка по силе возможности, что силен не тот, кто имеет на одну лошадь, на одну корову больше своего соседа, что силу надо считать не по лошадям и не по коровам, а по числу работников в семье. Вон у Саватеевых три здоровенных мужика, и уж все женатые.

И сам еще на ногах, в полубойцах ходит, да две девки уж на выданье. И вот все они выходят летом косить или, к примеру, жать — девять человек настоящих работников... «Вот она, сила возможности, о которой говорит закон,— распинался на сходе Федот Меркульев.— Разве сравнишь их со мной, когда я выйду на работу со своей хворой бабой. Что мы двое-то сделаем? Чирх-пырх, и выдохлись. Бьемся, бедные, от зари до зари, а подачи нет. Вот и приходится из последнего нанимать работника али работницу, везти на покос поденщиков, а в страду каждый год устраивать помочь...»

Что касается раскладки по пашне и по домашнему скоту, то от этой раскладки богатые не отказывались. Таким манером, говорили они, у нас из года в год раскладываются казенные налоги — государственная окладная подать и какой-то губернский земский сбор. Так делали и дальше, видать, придется так делать.

Несмотря на все эти доводы, многосемейные продолжали шуметь и требовать замены раскладки по бойцам раскладкой по имущественному положению.

А большинство на сходе были мужики с одним бойцом в своем хозяйстве. Они понимали, что раскладка по бойцам для многосемейных очень невыгодна. И даже поддерживали их первое время в споре с богатыми. Что касается раскладки по пашне и домашнему скоту, то никаких выгод они для себя от такой раскладки не видели. Все каждый год кричат об этом, и пока никто ничего не знает, что от такой раскладки получится и как к ней отнесется начальство. Раскладку по бойцам оно каждый год принимает и утверждает, а новую запросто может отменить. Так что как ни вертись, а, видать, придется принимать эту раскладку по бойцам. Сколько ни шуми и ни ругайся, а плетью обуха не перешибешь и делу этим не поможешь.

Финоген в этот спор на сходе не вмешивался. Сам он был на стороне многосемейных и тех мужиков, которые требовали раскладку по силе возможности, то есть по пашне и домашнему скоту у каждого хозяина. Он уж три раза бывал на волостном сходе, поначалу гласником, а потом старостой, и каждый раз там волостные сборы начисляли на все деревни в волости по бойцам, а не по имуществу. А из разговора с приехавшими на сход старостами знал, что волостной сбор раскладывается у них тоже по бойцам. Финоген понимал, что в этом деле есть какая-то неувязка, которая покрывает богатых и всю тяжесть податей переклады-

вает на бедных. Но ничего внятного сказать об этом не мог. Для этого нужна была грамота, знание той самой арифметики, на которую он любил ссылаться во время своих умственных разговоров, знание этого самого податного закона, на который все время ссылаются и который никто не читал и толком его не знает. Для этого надо, видать, знание той большой грамоты, которой щеголяют в Коме волостные писаря и которая, видать, недоступна нашим деревенским писарям. Уж на что Иван Адамович башковитый человек, но и он ничего вразумительного об этом сказать не может, кроме того, что как ни крутись, а раскладку по бойцам придется принимать. Другого выхода нет.

Тем временем споры насчет волостной подати решительно склонились в пользу сторонников раскладки по бойцам. Голоса многосемейных домохозяев были уж не слышны в дружном шуме и реве сторонников раскладки по бойцам, и Финоген должен был признать, что кульчекский сельский сход в полном своем составе ста двадцати домохозяев, имеющих право голоса на сходе, единогласно постановил принять окладной лист Комского волостного правления на волостной сбор в сумме шестисот двадцати четырех рублей тридцати девяти копеек к исполнению и распределить этот сбор по числу гласников на каждое домохозяйство.

А на другой день до самой полночи спорили и ругались уже насчет сельского сбора. Поначалу обсудили вопрос о прибавке жалованья Ивану Адамовичу. Против этого никто не возражал, кроме Афанасия Рассказчикова. Он у нас единственный в деревне казак. Как казак он освобожден от всех государственных налогов и повинностей. Однако этого ему мало, и он отказывается от уплаты мирских податей, то есть волостного и сельского сборов, и от несения гоньбовой повинности. Афанасий Рассказчиков очень любит ходить на сельский сход, лезет там всегда вперед, ближе к начальству, суется во все общественные дела и кричит больше всех. Как только зашла речь о прибавке Ивану Адамовичу, он сразу заорал, что ему и двадцати рублей хватит, что и так это огромные деньги и что в Коме общество без малого в три раза больше нашего, а своему писарю платят только тридцать рублей. Но никто Рассказчикова слушать не стал. Никому не хотелось отпускать Ивана Адамовича.

А насчет жалованья Финогену спорили весь вечер. Тут почти все оказались против Финогена. И верховые, и низовые, и богатые, и бедные. Бедные были против него из за-

висти. Шутка ли, платить ему от общества шестьдесят рублей. Это же целый капитал. На такие деньги можно работника год держать. А потом, старостам вообще никогда ведь не платили жалованья. С чего же платить Финогену?

А богатые не хотели платить Финогену за то, что он не давал им послабленья и все время прижимал их то с податями, то с поскотиной, то с другими повинностями.

Когда Финоген увидел, что все настроены против него, он вынул из кармана печать и свою должностную бляху, положил их на стол и заявил, что он служить больше не будет. Он готов сразу садиться в тюрьму на казенные харчи, чем оставаться дальше в старостах. Потому что эта служба для него сплошное разорение.

Тут все увидели, что Финоген дошел с этой службой до крайности и, пожалуй, в самом деле предпочтет сесть в тюрьму, чем тянуть эту лямку, и тогда, чего доброго, придется выбирать нового старосту. А новый, глядя на Финогена, тоже потребует себе жалованье. И неизвестно еще, каким он окажется старостой. Финоген — староста твердый, с характером. А чем лучше новый, когда он ни рыба ни мясо? Обществу от такого старосты облегченья нет. Наоборот, начальство начнет наезжать чаще, прижимать на всякие лады мужиков.

А потом, ведь на носу эта раскладка. Уйдет Финоген, а через день, через два заявится старшина или, того хуже, сам становой, и начнется кутерьма. «Вы что,— скажет,— раскладку податей решили сорвать! Не признаете власть! Идете против начальства!» Тут и Финоген полетит, и из общества кой-кому не поздоровится. Это уж как быть... Спорили, спорили, ругались до самой полночи и, наконец, согласились положить ему на следующий год пятьдесят рублей.

После того как с грехом пополам уладили вопрос с жалованьем Финогену, стали рядить Кузьму Тимина на содержание земской квартиры. Кузьма уж несколько лет держит у нас земскую квартиру, и общество платит ему за это по шестьдесят рублей в год. За эти деньги он должен принимать у себя, кормить и поить бесплатно приезжающее в деревню начальство. А если начальство приезжает с ночевой, то готовить для него в своей горнице мягкую постель.

Земская квартира у Кузьмы Тимина хорошая. Его Матрену считают в деревне большой мастерицей печь, варить и жарить разное угощение. И сам Тимин умеет обойтись как

следует с начальством. А это для общества тоже не последнее дело. Попробуй не угодить старшине или приставу, когда он приезжает в деревню выколачивать подати. Это отзовется потом на всей деревне.

Поэтому сход без шума, без гама предложил Тимину прежнюю плату — шестьдесят рублей в год. Но неожиданно для всех Тимин заартачился. Он завел длинный разговор о том, как трудно и хлопотно ему содержать земскую квартиру, ублажать и обхаживать на разный манер начальство. Особенно напирал он на то, как убыточно ему поставлять водку волостному начальству. Старшина, заседатель, урядник не садятся за стол без бутылки. Особенно старшина и урядник. Они чаще других наезжают в деревню и каждый раз требуют себе выпивку. Вот и считай, какой расход только на водку... А сколько курей, гусей, поросят сожрут... В общем, содержать земскую квартиру на прежних условиях Кузьма Тимин категорически отказался. «Не дадите сто рублей,— заявил он,— ищите другого хозяина».

Тут сразу же вокруг этого дела возгорелся большой шум. Опять кричали, опять спорили и ругались. Попробовали подрядить других хозяев, но никто из богатых и справных мужиков не хотел ввязываться в это дело. Опять пришлось рядиться с Тиминым. Кое-как уломали его снова взять на себя земскую квартиру за восемьдесят рублей.

Наем земской квартиры сильно взбудоражил мужиков. Все возмущались тем, что общество заставляют бесплатно кормить и поить начальство. Ну, старшина, заседатель еще туда-сюда... Служат по выбору. И не дома, а в волости. А пристав, а мировой судья, крестьянский начальник, а урядник. Все они получают от казны большое жалованье, гнут мужика в три погибели и еще обжираются за его счет.

А многие завидовали Кузьме Тимину. Шутка сказать — восемьдесят рублей. И почти ни за что... Начальство, конечно, наезжает, но очень редко. Чаще всего старшина и урядник. Пристав бывает только весной — выколачивать подати. А мировой, доктор — и того реже. На всех на них от силы пойдет на год ведро водки. Зарежут за год свинью да два-три поросенка. И все. А пятьдесят рублей получается чистой прибыли.

Споры и ругань насчет жалованья Финогену и наема земской квартиры так замотали сход, что он без особых раздоров решил раскладку сельского сбора, по примеру прошлых лет, делать по бойцам.

На третий день сход собрался и без понукаий Никиты Папушина. Раньше всех на собрание явились на этот раз богатые и зажиточные. Они, как всегда, уселись плотной кучей в переднем углу поближе к Финогену и Ивану Адамовичу. Потом стали подходить остальные мужики и занимать свои привычные места. Последними явились маломощные и самые бедные и разместились подальше от начальства и поближе к выходу.

Теперь надо было решать вопрос о том, как делать раскладку казенной подати. По примеру прошлых лет хотели половину подати разложить на бойцов, а другую распределить на пашню, на покосы, на домашний скот. В этом случае на каждого бойца пришлось бы по четыре рубля сорок пять копеек, а на полубойца два рубля двадцать три копейки. Но тут подняли шум многосемейные, с которых и без того уж приходилось волостного налога по четыре рубля тридцать копеек и сельского сбора по четыре рубля пятьдесят четыре копейки с бойца. А с казенной податью по такому расчету придется уж по тринадцать рублей двадцать девять копеек, не считая налога на пашню, на покос и на домашнюю скотину. А если у кого полтора, два али три бойца, а таких в деревне немало, тем уж совсем разоренье.

Два вечера спорили об этом. Богатые и зажиточные настаивали раскладывать, как и раньше, половина на половину, а те, которые победнее и многосемейные, требовали прибавить на пашню и на скота и убавить на бойца. Наконец порешили положить на бойца только по три рубля, а всю остальную сумму распределить на пашню, на покос и на домашнюю скотину из расчета: десятина пашни — один рубль сорок восемь копеек, покосный пай — рубль пятьдесят копеек, лошади и коровы по рублю сорок восемь копеек и овцы по тридцать копеек.

На этом раскладка кончилась, и на другой день Иван Адамович заставил меня подсчитывать и вписывать в податную ведомость каждому домохозяину волостные и сельские сборы, а сам принялся рассчитывать на всех казенную подать.

Финоген был очень доволен, что он свалил со своих плеч эту проклятую раскладку, и поинтересовался, сколько мы насчитали на него в этом году податей. Оказалось, что в нынешнем году податей приходится с него на полтора рубля больше, чем в прошлом году.

— А сколько насчитали на Меркульевых, на Кузьму Тимина, на Точилковых?— спросил он.

И тут оказалось, что на богачей мы насчитали тоже больше, чем в прошлом году. Но только самую малость — рубля на три, на четыре. Узнав об этом, Финоген даже плюнул с досады, так как увидел, что богатые и нынче остались в большой выгоде.

Финогену очень хотелось поговорить об этом с Иваном Адамовичем, но он видел, что тот совсем запурхался со своими списками и ему не до разговоров. Поохав и повздыхав, Финоген отправился на сборню, где надеялся найти собеседников.

Пока я подсчитывал и вписывал в податную ведомость волостную и сельскую подати и снимал копию общественного приговора о раскладке, пока мы проверяли раскладку казенных податей, Иван Адамович все время меня расхваливал и говорил о том, как плохо бы ему пришлось без моей помощи. А когда мы закончили с ним все эти дела, он сказал, что дальше обойдется без меня. Но за то, что я так хорошо помогал ему, он меня как следует отблагодарит. Тут он пошел к Сычевым в казенку и принес оттуда новые сапоги. Сапоги были сшиты кем-то из наших сапожников, но почему-то ему были немного маловаты. А мне они оказались немного великоваты, но в общем-то почти впору.

Иван Адамович очень обрадовался, что сапоги подошли мне, а то, говорит, не знал, что с ними делать. Хороший материал, хорошая работа, а на ноги не лезут. А теперь он рад, что немного со мною рассчитался.

После отсылки в волость общественного приговора о раскладке казенных податей и мирских сборов разговоры о несправедливой раскладке как-то притихли. Видимо, все решили, что как платили бедные за богатых, так и дальше платить будут и никакой справедливости с этим делом не добьешься.

Глава 19
ДОХА СИВОПЛЕСА

Недели через две, когда мужики немного очухались от схода, Финоген приступил к сбору податей. Он знал, конечно, у кого в деревне водятся кой-какие деньжонки, вызывал таких мужиков на сборню и без ссоры, без ругани просил их рассчитаться в первую оче-

редь с сельским налогом на жалованье Ивану Адамовичу, на страховку школы, на земскую квартиру и все такое, а потом, по силе возможности, с волостными и казенными податями.

Мужики и сами хорошо понимали, что от начальства никуда не спрячешься и оно не мытьем, так катаньем выжмет с них эти подати, и старались по возможности рассчитаться с Финогеном. Таким манером ему удалось собрать почти весь сельский сбор и изрядную часть волостной и казенной подати.

Тем временем по волости начал ездить волостной старшина и самолично нажимать на мужиков с податями. Сначала он ездил по деревням, в которых недоимка была особенно велика, а потом заявился и к нам в Кульчек.

Подобно нашему Финогену, старшина был тоже неграмотеи. Тем не менее он уж научился подтягивать старост и кричать на мужиков. От Финогена он потребовал немедленно собирать всех недоимщиков.

Через полчаса Никита Папушин уж гнал мужиков на сборню. Он подъезжал на своей кобыленке к каждому дому, стучал в окно и громко кричал: «Хозяин дома?! На сборню давай! Старшина приехал. Подати неси!»

Вечером на сборне собрался почти полный сход. Но с деньгами пришли немногие. Расчеты с ними заняли у Ивана Адамовича считанное время. После этого старшина стал поименно вызывать недоимщиков и требовать от них деньги.

Мужики не первый раз имели такие встречи с волостным начальством, но по-разному относились к его требованию немедленно погасить недоимку. Один сдержанно говорили о том, что они не отказываются от уплаты податей, но что заплатить им пока нечем. Заработков в наших местах никаких нет, занять не у кого, скотину продать зимой некому и все такое. Другие кричали о своей бедности, о неправильном обложении и тоже ссылались на отсутствие заработков.

С недоимщиками старшина обращался грубо. Он совсем не слушал их оправданий и всем твердил одно и то же — гони подать или садись в каталажку. Таким манером он за один вечер перебрал всю деревню. Нескольких человек, которые особенно с ним скандалили, он действительно посадил под арест. Даже Никиша Сивоплес, на удивленье всем, попал в тот вечер в кутузку. Со старшиной он, конечно, не ругался. Наоборот, с перепугу утратил всякую способность говорить. А старшина вообразил — злостный не-

плательщик, одет в хорошую собачью доху и даже разговаривать с ним не хочет — и велел Максиму Щетинкову посадить его безо всяких в темную.

По случаю приезда старшины Финоген велел Никите Папушину вымести как следует нашу каталажку и на всякий случай поставить в нее две скамейки, чтобы арестованные могли удобнее отбывать в ней свой срок и не мучиться, стоя, а то и сидя на холодном полу.

Во время пребывания старшины на сборне дверь в каталажку была открыта, и арестуемые им мужики спокойно заходили туда и устраивались на папушинских скамейках. А как только старшина кончил свои дела и ушел на земскую, все они вышли из каталажки и расположились, кому как удобнее, по всей сборне. Финогену Щетинкову и Папушину и в голову не приходило загонять их обратно в каталажку или тем более сажать их туда под замок. Они только договорились с ними, раз уж такое дело, не подводить их перед начальством и не расходиться со сборни до утра.

Так все арестованные и остались там на ночь, матюгая на чем свет стоит старшину и все высшее начальство. А утром старшина распустил их по домам и велел Финогену нарядить надежных понятых, с которыми он сам будет делать обход неплательщиков. Финоген сразу же нарядил ему на это дело Ефима Рассказчикова, Проню Турпанова и Ефимушка Крысина. И старшина отправился с ними, в сопровождении сотского Щетинкова и десятского Папушина, выжимать у мужиков деньги. В каждом доме их встречали руганью и слезами. Плакали, ругались и все-таки что-то платили. А у некоторых хозяев, в том числе и у Никиши Сивоплеса, он отобрал самовары и велел отнести их на сборню. Самовар у Сивоплеса оказался старый, какой-то кривобокий, почерневший, с заплатками. Тем не менее его вместе с другими самоварами выставили на сборне на всеобщее обозрение и навесили на все бирки с обозначением имен хозяев.

Перед отъездом старшина потребовал к себе на земскую квартиру Финогена и Ивана Адамовича и вручил им предписание Комского волостного правления о том, что «господин крестьянский начальник 1-го участка Минусинского уезда отменил приговор кульчекского сельского схода в части назначения старосте Финогену Головаченкову осо-

бого от общества жалованья, так как это нарушает принятый порядок отбывания общественной службы по выборам в органах крестьянского самоуправления. Об этом решении господина крестьянского начальника волостное правление обязывает кульчекского старосту поставить в известность сельское общество и об исполнении донести».

Это распоряжение оказалось полной неожиданностью для Финогена. Он ждал со стороны Кузьмы Тимина, Федота Меркульева и других своих супротивников разные подвохи с этим делом, но никак не думал, что оно дойдет до самого крестьянского и у него отберут пятьдесят рублей, которые ему с таким трудом удалось вырвать у общества. Он был так растерян, что не соображал, что надо отвечать старшине на это.

Иван Адамович тоже не знал, что ему следует говорить. А старшина был этим очень доволен и начал вовсю отчитывать Финогена:

— Сход, сказывают, не хотел давать тебе эти деньги, так ты угрозами их добивался... Запугивал всех, что самовольно бросишь свою службу... Еще сказывают, что ты при всем сходе сорвал с груди служебную бляху и бросил на стол казенную печать! Вон до чего дошло! При всем народе швырять казенную печать!

Мужики и так бузят у нас с податями. Кое-как, с грехом пополам выколачиваем у них недоимки. А у вас в Кульчеке объявилась новая раскладка на жалованье старосте. А что мы будем делать, если, к примеру, безкишенский, чернокомский и другие старосты, глядя на вас, начнут требовать себе жалованье и тоже, понимаешь, начнут бузить и отказываться от своей службы? Ты думал о том, что тут может произойтить?.. Может произойтить большой беспорядок — неповиновение начальству. Вон оно, дело-то, куда клонит. К беспорядку! Ты понимаешь, чем это пахнет? Если хоть немного понимаешь, то сиди и не рыпайся, пока тебя не взяли за жабры, и благодари бога, что у нас такой хороший крестьянский начальник. Другой на его месте сразу заарканил бы тебя куда следует. А он только махнул рукой и приказал сделать тебе хорошую протирку. Пускай, говорит, дотягивает свой строк. А если начнет бузить, то, говорит, мы найдем на него управу...

После Финогена старшина начал отчитывать Ивана Адамовича, что он что-то с этим делом недодумал, что-то недосмотрел и допустил на сходе такие споры и раздоры, что дело дошло до самого крестьянского начальника.

Но Иван Адамович к этому времени уж пришел в себя. Он несколько раз перечитал бумагу, присланную из волости, разобрался в ней как следует и заявил старшине, что ничего противозаконного у нас на том сходе не было. Споры, ругань, крики, конечно, были. А разве без этого обойдешься? У нас все дела решаются со спорами и руганью. По этому делу шума и ругани было не больше, чем по другим делам. Что касается назначения нашему старосте жалованья, то нарушение тут, конечно, есть. Все старосты и у нас в волости, и, видать, по другим волостям отбывают свою службу бесплатно. И назначать жалованье нашему старосте, может быть, не следовало. Тут господин крестьянский начальник, конечно, прав. Он лучше нас знает закон и порядок и приставлен на то, чтобы наблюдать за нами. Но никакого беспорядка и нарушения у нас не произошло. Мы не хуже других деревень взыскиваем и сдаем в волость государственную оброчную подать, губернский земский сбор и волостной налог.

С Финогеном старшина говорил долго и грубо, а с Иваном Адамовичем он спорить ни о чем не стал, сообразив, что это ему не по плечу и что Иван Адамович за словом в карман не полезет и на все может дать правильный ответ.

На этом вся история с назначением жалованья Финогену и кончилась. Поругав его еще за мягкость в обращении с недоимщиками, старшина наказал в первый же воскресный день собрать полный сход и объявить на нем это распоряжение крестьянского начальника, а потом нажимать на сбор недоимки и не ждать приезда в деревню самого пристава.

Финоген и без старшины знал, что пристав, так или иначе, будет в Кульчеке. Каждый год, обычно к концу зимы, он объезжал свой стан. Считалось, что старосты и волостные начальники выжмут к этому времени из мужиков все, что можно, и недоимка остается только за самыми злостными неплательщиками. Вот с ними и выезжал воевать господин пристав.

Приезд пристава не особенно пугал Финогена. После отъезда старшины он всю зиму не давал своим мужикам покоя с податями и даже с Кузьмы Тимина выжал всю недоимку. В общем, дела с податями обстояли у него не хуже, чем в других деревнях, однако недоимщики в деревне все-таки были, конечно, из самых бедных домохозяев.

Приехал пристав вскоре после масленицы. Это был тот же пристав, который приезжал к нам прошлым летом ловить государственных преступников. На этот раз он явил-

ся в Кульчек вместе со старшиной, в сопровождении новоселовского и комского урядников. И сразу же потребовал к себе на земскую Финогена.

По случаю приезда столь важного начальства Финоген повесил на грудь медную бляху и заставил Максима Щетникова и Никиту Папушина тоже нацепить свои служебные медали. А потом все вместе с Иваном Адамовичем отправились на земскую.

Вот пришли мы к Тиминым, рассказывал потом он об этом, Максим и Никита остались на крыльце, а мы с Иваном Адамовичем заходим в дом. В избе пристава нет, а старшина с урядниками сидят за самоваром, и Матрена Тимина подает им на стол разное угощение. Не успели мы и слова вымолвить, как на нас набросился новоселовский урядник Михеев: «Что вы,— говорит,— сразу приперлись... Не понимаете, что людям с дороги передохнуть надо? Даже мы,— говорит,— с этими вашими податями все кишки себе вымотали, а каково ему,— и показывает на горницу, где, видать, находится сам пристав.— А каково,— говорит,— ему? И возраст не тот, и чин не чета нашему».

Сказал это и пошел с докладом насчет нашего прихода. Через минуту выходит оттудова и говорит: «Не управился еще с дороги. Ждите, позовет». Потом уселся за стол, налил себе стакан чая и спрашивает комского урядника Чернова:

— Значит, ты лесным объездчиком здесь служил? Чем же кончилась тут твоя служба?

— Ничем,— ответил Чернов.— Пришлось убраться, чтобы не кокнули. Вот и подался в полицию...

— А как теперь они тебя принимают?

— С виду признают, как-никак полицейская власть. А на самом деле ждут подходящий случай, чтобы пришить. Здесь ведь почти половина деревни ссыльнопоселенцы, бывшие каторжане. К начальству они не благоволят.

— Ну, это известно.

— Я стараюсь лишний раз сюда не соваться. Разве уж особый случай, вроде нынешнего. Ну, тогда, конечно, хочешь не хочешь, а приходится.

— Правильно делаешь,— сказал Михеев.— Чего самому на рожон лезть... А как ты себя здесь чувствуешь?— обратился он к старшине.— Не думаешь, что тебе устроят здесь темную?

— Да вроде не дошло еще до этого,— ответил старшина.

— Не дошло. Но похоже, что к этому клонится,— ска-

зал новоселовский урядник.— Того и гляди, опять начнется такая же кутерьма, как после японской.

— А что тогда было?— спросил старшина.

— А ты что? Ничего не знаешь?

— Помню, что наше обчество здорово корежили тогда с податями. У меня тятенька тогда еще живой был. Он за все ответ держал. Я не вникал ни во что.

— А я тогда уж на службе здесь состоял. Так что сам видел все это.

И новоселовский урядник стал рассказывать о том, что делалось тогда в наших местах. Во время японской войны здесь, по его словам, держался порядок. Мужики хоть и кряхтели, но закон соблюдали, повинности выполняли, подати платили. А когда в Красноярскове началась заваруха и по другим городам тоже пошли бунты и беспорядки, тут и у нас тоже все пошатнулось. По деревням поползли слухи о скорой перемене власти, о каких-то льготах и все такое.

А потом вышел манифест о свободе всяких собраний, о созыве Думы. Мужики до этого не особенно бузовали. А как вышел этот манифест, их словно подменили. Ни одного схода ни в одной деревне не проходило без того, чтобы на нем не паскудили на разные лады государственную власть, особенно наше полицейское начальство. А потом дело пошло еще дальше. Деревни, одна за одной, начали отказываться от платежа податей. И нам, и волостному начальству нельзя стало и заикаться об этом перед мужиками. Того и гляди, самосуд устроят. Вот смотрела, смотрела на это наша высшая власть, а потом взяла да и объявила весь уезд на военном положении. Свободу собраний, конечно, отменили и начали наводить порядок. Волостную и сельскую администрацию сменили. Произвели аресты. По деревням взяли кой-кого... Особенно голосистых. А потом уж принялись за подати. С каждым мужиком пришлось иметь дело по отдельности. Уговаривать его да урезонивать. А если это не помогало, сажать в тюрьму.

— Примерно то же самое, что и сейчас,— закончил свой рассказ новоселовский урядник.— Теперь мы ведь тоже и уговариваем, и урезониваем, и даже в каталажку их сажаем. Только без солдат пока обходимся. А может, и солдат придется вызывать, если дальше так пойдет...

— К тому дело и клонится,— согласился с Михеевым Чернов.

Дальше разговор перешел у них опять на нынешние вре-

мена, и они начали припоминать, в каких деревнях их особенно плохо принимали. Но тут из горницы вышел наконец сам пристав. Урядники замолчали и вскочили на ноги. Финоген с Иваном Адамовичем тоже поднялись со своей скамейки у порога и стали ждать, какой им будет приказ.

А он сразу же потребовал себе список недоимщиков, уселся за стол и начал его читать. Читал, читал, а потом набросился на Финогена. И такой-то он, и разэтакий, и мужиков в деревне распустил, и недоимку накопил, и государственную власть подрывает, и начальство не уважает...

— Вот ругал он меня, ругал,— рассказывал Финоген,— и самому ему это, видать, уж надоело. А потом и говорит: «так что берись, староста, за дело, а то худо тебе будет. Чтобы завтра же,— говорит,— все эти недоимщики с утра были на сборне и полностью рассчитались. Кто не принесет деньги, тех сразу же будем описывать, а вечером устроим на их имущество торги. Так что сей же час назначай на это дело понятых. А на ночь,— говорит,— наряди сюда людей на охрану земской квартиры. Чтобы тут с вечера до утра один человек дежурил с улицы, а другой в ограде, прямо у самого крыльца. Вооружать их,— говорит,— не надо. Но чтобы оба непременно были с трещотками и теми трещотками перекликались друг с другом и всем прохожим и проезжим подавали таким манером знак, что они охраняют здесь начальство».

После встречи с приставом Финоген нарядил охрану земской квартиры и понятых на завтрашний день для описи и продажи с торгов имущества недоимщиков. Никто не хотел идти на это грязное дело, и Финогену с трудом удалось уговорить Федота Саетова, Кузьму Плешкова и Ефима Рассказчикова.

Вечером Финоген собрал всех недоимщиков, и старшина объявил им о том, чтобы они завтра с утра являлись на сборню прямо к самому приставу рассчитываться со своей недоимкой. А у тех, кто не заплатит, будет произведена опись имущества и все, что найдут у них поценнее, будут продавать вечером с торгов. Обсказал все это, еще раз пригрозил всем и ушел на земскую. А мужики стали думать да гадать, что им теперь делать и как оправдываться завтра перед начальством. И тут сразу зашел разговор о том, будет ли пристав описывать у недоимщиков последнюю лошаденку и последнюю коровенку. Одни стали говорить о том, что у пристава не хватит совести пускать людей по миру из-за этой недоимки, так как у некоторых недоимщиков,

кроме коровенки и лошаденки, действительно ничего нет за душой. А другие начали доказывать, что у начальства нет и не может быть никакой совести и что казна платит начальникам жалованье не за то, чтобы они разбирали мужицкие дела по совести, а чтобы сильнее гнули народ. выжимали из него последние соки.

Тут в разговор вмешался Иван Адамович. Он подтвердил, что начальству полагается решать податные дела не по совести, а исходя из интересов казны. А отбирать и продавать последнюю лошаденку и коровенку у недоимщика казне невыгодно. В этом случае недоимщик уже не будет содержать хозяйство, а значит, и подлежать обложению податями. Казне выгоднее оставить недоимщику лошаденку и коровенку и из года в год продолжать доить его хоть понемножку с податями. Пристав может приказать описать у мужика последнюю лошадь. Но продавать ее начальству, видать, запрещено, так как казна лишается в этом случае налогоплательщика.

А потом стали говорить о том, что может получиться с этой описью имущества. Лошаденок и коровенок кой у кого описать, конечно, можно. А что потом с ними делать? Местные купцы зимой скот не закупают. Ведь его надо будет сразу ставить до самой весны на откорм. И вообще, они опасаются покупать что-либо с торгов за недоимку, чтобы не вступать в контру с мужиками.

Что касается мужицкого барахла, то кому оно нужно. Шубенки, шаленки, холстишко. У богатых такого добра своего достаточно. А кто победнее, у тех и денег нет на покупки. Да и кому захочется ввязываться в такое дело...

На другой день пристав со старшиной в сопровождении урядников Михеева и Чернова пожаловали на сборню. Здесь их уж ожидал Финоген с Иваном Адамовичем, сотский, десятский и понятые.

К приходу пристава Папушин уже согнал на сборню всех недоимщиков. Было их человек около тридцати, почти четверть всего сельского общества. Кроме недоимщиков, на сборню пришло много любопытных посмотреть и послушать, как становой пристав будет расправляться с их односельчанами.

По случаю столь важного события Финоген велел тщательно вымести сборню и поставить там несколько скамеек. Но недоимщики стеснялись садиться в присутствии столь важного начальства и с виноватым видом толпились у дверей.

Пристав вошел, ни с кем не поздоровался, уселся за стол, вынул список, заглянул в него и сразу же отложил в сторону. Потом осмотрелся кругом и спросил:

— Кто здесь понятые?

Тут Саетов, Плешков и Рассказчиков встали со своих мест.

— Знаете свои обязанности?— спросил пристав Рассказчикова, который сразу высунулся вперед.

— Так точно, ваше благородие!— по-военному ответил Рассказчиков. Он ведь казак был и умел разговаривать с начальством. — Старшина все обсказал нам, что следует.

— Тэк-с,— процедил пристав,— а знают ли понятые, что им придется не только описывать, но и отбирать у кого надо описанное имущество?

Рассказчиков опять высунулся вперед и сказал, что старшина упредил их об этом, но не сказал им ничего о том, как им быть, если, к примеру, хозяин или особенно хозяйка не захотят показывать свое добро, отворять кладовку, открывать сундук и все такое.

— В таких случаях придется действовать силой,— сказал пристав.— Захватите с собой на всякий случай в подводу топор, ломик, молотки и отвертки. Ничего не поделаешь — служба. А потом, вы не одни ведь будете действовать. Опись будет производить урядник Чернов. Он знает, как надо в таких случаях действовать. Ну а теперь приступим к делу.

И пристав одного за одним начал вызывать по списку недоимщиков. Иван Адамович сразу же о каждом из них докладывал: какая у него пашня и домашность, сколько на кого было начислено податей и сколько за каждым состоит недоимки.

И о каждом из них пристав брал в оборот Финогена — почему этот человек не уплатил до сего времени самую важную государственную оброчную подать? И Финоген каждый раз обсказывал ему, как много раз он прижимал этого человека, но что по его бедности так и не смог выжать из него больше ни копейки.

— А ты, старшина, что скажешь насчет этого человека?— обращался пристав к старшине. И старшина докладывал ему, что он самолично сажал его в каталажку и самовар у него отбирал, но так ничего от него и не добился. Но если человек уплатил волостной и сельский налог, то и казенную подать может выплатить. Может, но не хочет.

Жать надо на него, описывать и продавать у него что-то из домашности. Другого ничего не остается.

Так пристав перебрал всех недоимщиков. Все они в один голос говорили, что заплатить пока ничего не могут и готовы садиться за это в тюрьму и даже идти на каторгу.

— Ну, на каторгу за недоимку не ссылают,— отвечал им на это пристав.— И в тюрьму мы вас сажать не будем. Там ведь кормить вас надо. Для чего нам даровые нахлебники. А вот описать мы вас сегодня опишем и что можно взять у вас — возьмем и продадим с торгов. Так что ступайте по домам и ждите урядника с понятыми.

После этого пристав распустил всех недоимщиков и приказал Финогену приступить с понятыми к описи их имущества. Чтобы не допускать снисхождения, он приставил к ним урядника Чернова, а новоселовскому уряднику Михееву приказал проводить вечером торги на описанные вещи.

Описывать решили с верхнего конца деревни, с домохозяйства Никифора Сивоплеса. Когда всем скопом пришли к усадьбе Сивоплеса, Чернов все дело взял в свои руки. Финогена с Никитой Папушиным он оставил на дворе осматривать домашность, а сам с сотским и понятыми пошел в избу.

Изба у Сивоплеса была маленькая, с двумя подслеповатыми оконцами. В избе все было голо и бедно. Покривившаяся печь, голая кровать. Под кроватью старые заношенные бродни и хомут с рваной шлеей. В переднем углу стол без скатерти. На столе залатанный самовар. А около дверей на самом видном месте на гвоздике собачья доха.

Никифор Сивоплес со своей старухой с испугом смотрели на незваных гостей.

А урядник Чернов был, видимо, в этих делах напрактикован. Он сразу прошел вперед, важно расселся за столом, вытащил из кармана тетрадку и приготовился записывать имущество хозяина. Тем временем понятые начали высматривать в избе, что можно из домашности Сивоплеса взять на торги. Рассказчиков на всякий случай даже под стол и под кровать заглянул. Ничего подходящего для описи они не нашли, и Максим Щетников заявил об этом уряднику.

А урядник уже заметил у дверей на вешалке собачью доху Сивоплеса.

— Как это ничего!— закричал он.— А доху собачью не видите! Новая доха. Хорошей масти. Оценим ее рубля в три. Такую доху на торгах с руками оторвут...

Тут понятые стали объяснять уряднику, что эта доха у Сивоплеса особенная, что она сделана у него из шкур бешеных собак и никто ее на торгах и даром не возьмет.

— Ну, это мы еще увидим,— сказал урядник.— В Кульчеке не купят, в Коме можно продать.

И велел отнести доху на подводу, которая сопровождала их по деревне.

Больше у Сивоплеса описывать было нечего, и все отправились к следующему недоимщику.

Таким манером Финоген с понятыми в сопровождении сотского и десятского, под командой урядника Чернова, обошли всех недоимщиков. В некоторых домах им все-таки что-то платили. И тех хозяев они не описывали. А там, где им не давали ни копейки, они требовали открывать кладовки и сундуки. У кого-то взяли новое седло, охотничье ружьишко и еще кое-что в таком роде. И почти во всех домах забирали холст и самовары.

Все описанное добро привезли на сборню и аккуратно разложили по скамейкам. А самовары расставили по окнам. Теперь можно было начинать торги на отобранные вещи, и Никита Папушин опять поехал по деревне. Он стучал в окошко в каждом доме и во все горло кричал:

— Хозяин дома?! На сходку давай! Пристав и старшина будут. Велено всем приходить на торги!..

К вечеру народ потянулся на сборню. В первую очередь, конечно, те, у которых было отобрано имущество. Ну а другие пошли по привычке. Раз начальство требует быть на торгах — значит, хочешь не хочешь, а приходится идти. А потом, всем было любопытно, как будут проходить эти торги.

Я в эти дни к Ивану Адамовичу не заходил и старался не попадаться на глаза приехавшему начальству. Я почему-то здорово боялся пристава, хоть и знал, что ни в чем перед ним не виноват. А на торги я все-таки пошел, спрятался на сборне в темный уголок между печкой и каталажкой и наблюдал оттуда.

Постепенно сборня заполнилась народом. Мужики терпеливо ожидали начала торгов, поглядывая на разложенное посредине сборни добро и на выставленные в ряд самовары. В переднем углу за длинным столом расположились урядники Михеев и Чернов, старшина, Финоген и Иван Адамович. Рядом на скамейке примостились сотский Щет-

ников, десятский Папушин и понятые. Все ждали, когда Михеев откроет торги, так как откуда-то уже знали, что пристав поручил это именно ему. Наконец Михеев встал, постучал по столу и попросил комского урядника приступить к делу.

Тут Чернов подошел к куче добра, разложенного на скамейках посредине сборни, взял собачью доху Никифора Сивоплеса, встряхнул ее несколько раз, высоко поднял вверх и громко сказал:

— Продается собачья доха разношерстной масти. Оценена в три рубля. Кто берет?

Чернов высоко держал доху всем напоказ, а Михеев стоял за столом с поднятым молотком и ждал, когда кто-нибудь заявит о своем желании купить ее. Мужики молча смотрели на Чернова с дохой и на Михеева с молотком.

Это даже удивило Михеева, и он стал сердито понукать собравшихся:

— Вы что, не слышали? Продается с торгов собачья доха, хорошей выделки, почти новая. И всего только за три рубля. Кто берет? Заявляйте!

И опять молчание. Никто не изъявлял желания покупать доху Сивоплеса. Это уж рассердило Михеева.

— Это безобразие!— закричал он.— Вы что, сговорились срывать торги?! Это вам даром не пройдет!

— Денег нет, господин урядник!— послышались голоса.

— Как это нет!— возмутился Михеев.— Всего три рубля за такую вещь. Хозяин дохи здесь?

— Здесь!— послышались голоса, и Никишу Сивоплеса вытолкнули вперед.

— Твоя доха?— резко спросил его Михеев.

Сивоплес с испугом смотрел на Михеева и что-то бормотал. Михеев прислушался и сердито стукнул молотком.

— Что он говорит?— спросил он у старшины.

— Кто его знает,— ответил старшина.— Я прошлый раз пробовал говорить с ним, но так и не понял, что он бормочет. Я посадил его в каталажку. Думал за ночь он очухается, но и утром у него ничего не понял. Он вроде блаженный у них.

— Ну, вот что, как там тебя?..

— Никифор Сивоплес,— подсказал Иван Адамович.

— Ну, вот что, Никифор Сивоплес. Давай три рубля, бери свою собачью доху и иди с ней к чертовой матери.

Никиша молча стоял перед Михеевым и только моргал

глазами. Михеев посмотрел на него, обождал немного и сказал:

— Не хочешь?! Ну, тогда пеняй на себя.— Тут он несколько раз сильно стукнул молотком и громко закричал:— Продается собачья доха... Малоношеная... Хорошей масти... И всего только за два рубля. Кто берет?!

И опять никто из мужиков не изъявил желания купить доху Сивоплеса. Тут Михеев совсем взбеленился:

— Продается собачья доха, малоношеная, хорошей масти... Продается... продается... продается всего только за один рубль!.. Кто берет?

Тут Михеев несколько раз стукнул молотком по столу и уставился на мужиков, пришедших на торги. А те смотрели на него и опять не изъявляли желания покупать эту несчастную доху. Сзади послышался глухой ропот и недовольные голоса. Михеев резко застучал молотком и сердито произнес:

— Последний раз объявляю — продается собачья доха и всего только за один рубль. Кто берет?

Михеев угрожающе поднял молоток вверх, как будто хотел пригрозить всем за то, что они не покупают доху Сивоплеса. Наступила напряженная тишина. Михеев стоял с высоко поднятым молотком. И тут комский урядник вдруг заявил:

— Если за рубль, то я беру.

Михеев облегченно вздохнул. Торги у него наконец-то сдвинулись с места. И он громко объявил:

— Собачья доха! Идет за один рубль! Кто больше? Считаю: один рубль — р а з! — И он сильно стукнул молотком.— Собачья доха... Идет за один рубль. Кто больше? Считаю — д в а! Собачья доха... хорошей масти... малоношеная,— раздельно говорил он.— Идет всего за один рубль... Считаю...

Михеев поднял молоток, чтобы стукнуть третий раз. И тогда собачья доха Сивоплеса задарма сделается собственностью урядника Чернова. И хотя все знали, что доха сделана из шкур бешеных собак, но в этот момент как-то забыли об этом и только жалели Сивоплеса. А Михеев стоял с поднятым молотком. Вот-вот произнесет «т р и»... И тут при гробовом молчании вдруг послышалось:

— Даю два рубля!

Это сказал Финоген. Он сидел за столом рядом с Михеевым и вместе со всеми переживал беду Сивоплеса. И когда увидел, что доха за бесценок перейдет в собственность

комскому урядику, ие выдержал и громко заявил: «Даю два рубля!»

От такого оборота все сначала как бы обомлели, а потом дружио и радостно зашумели. Послышались голоса:

— Молодец Финоген! Давай, Финогеи! Бери себе, чем отдавать этому живодеру.

Фииоген вышел из-за стола, подошел к Чернову, взял у иего Сивоплесову доху, встряхиул ее иесколько раз и повторил:

— Даю два рубля.

А Чериов отвернулся в сторону и соображал, что ему теперь делать. Ои видел, что все иа сборие возмущеиы его решеиием взять задарма доху Сивоплеса, и решал: стоит ли ему из-за этой дохи глубже вбивать клии в свои отиошения с кульчекским обществом? Подумал, подумал... и отказался от этого. Так что доха Сивоплеса после третьего удара молотком перешла во владение Финогена. Финоген тут же при общем одобрении заплатил за иее два рубля Иваиу Адамовичу, получал от него квитаицию и отдал ее вместе с дохой прямо в руки Сивоплесу.

Дальше были произведеиы торги на остальное добро иедоимщиков. И хотя все вещн продавались за бесцеиок, но никто не соблазиялся их дешевизиой. Если кто что-нибудь и покупал, то покупал свон же вещи. Еремей Павлович Грязнов купил свое иовое седло за три рубля, а Оидреян Лабадов свой дробовик тоже за три рубля. Ершовы выкупили свой холст. На этом все покупки с торгов и кончились. Все остальиое имущество осталось непроданиым.

И Михеев, и старшииа, и Чериов поиимали, коиечио, что мужики сговорились ие покупать иа торгах описаииые вещи. И во всем стали виинить Фииогена. «Это от иего все идет,— решили они.— И при описи по домам ои отлынивал, и эта покупка Сивоплесовой дохи иастроила всех протнв торгов и против иачальства».

Пристав ие особеиио удивился иеудаче торгов иа сборе и ие стал сваливать виму иа Фииогеиа.

— Я сам вижу,— сказал ои старшие и урядиикам,— что это не тот староста, иа которого можно положиться. Но у иас нет прямых улик, чтобы к иему придраться. Тем более что дело с податями обстоит у него ие хуже, чем в других деревиях. А сейчас подведем итог с нашими делами в Кульчеке.

Тут ои опять потребовал у старшииы список кульчекских недоимщиков, долго его читал и иакоиец заявил:

— С Никифора Сивоплеса недоимку придется списать. Ничего не поделаешь. Пусть староста напишет об этом на твое имя особую бумагу, а потом оформите это дело в волости официальным путем через уездное казначейство. Волостной писарь знает эту процедуру.

Что касается барахла, которое вы безуспешно пытались распродать сегодня с торгов, то его придется возвращать хозяевам. Но ни в коем случае не сразу. Пусть оно полежит какое-то время под арестом. А потом можно и отдавать, но только в том случае, если хозяин будет погашать недоимку.

— А как быть с теми, которые, вроде Сивоплеса, не смогут заплатить?

— Ничего не возвращать, пока полностью не заплатят.

— Может, и с них можно все списать, как с Сивоплеса?

— Ни в коем случае. Списывать недоимку мы можем только в исключительных случаях и не более чем с одного, от силы с двух человек на деревню.

— А как быть со здешним старостой?— спросил в заключение старшина.— Все-таки он ведет себя с мужиками не так, как надо. Как бы чего не вышло.

— Со старостой? Староста находится в твоем подчинении. Подтягивай его, следи за ним, требуй с него... На то ты и старшина, хозяин волости. Вот и действуй как хозяин. А у меня с ним будет особый разговор...

Действительно, перед отъездом пристав имел с Финогеном особый разговор.

— Я думал, он опять начнет меня жучить насчет податей,— рассказывал потом об этом Финоген,— а он насчет податей говорил совсем мало. Наказал только жать покрепче на мужиков, не отдавать им описанное имущество, пока они не выплатят свою задолженность. А после повел речь... И о чем бы, вы думали? Об этих самых государственных преступниках, которых мы караулили прошлым летом на Безкишенском хребте. Оказывается, начальство все-таки от кого-то унюхало, что они прорвались тогда в Убей и махнули оттуда в город, и теперь начало дознавать, кто тогда там с этим делом прошляпил. Мы на Безкишенском хребте или заседатель с урядником в Медведевой. И вот он начал выкручивать меня с этим делом, как да почему мы тогда их не укараулили...

Ну, тут я сообразил, куда он гнет, и сразу же заявил ему, что не мы одни укарауливали их тогда, что заседа-

тель с урядником и медведевским старостой держали засаду на Убее. Там они их и пропустили. Потому что у нас на хребте место подходящее. Никак его не обойдешь и не объедешь, а по Убею дорога идет по большим лугам с глухими зарослями. Чтобы перекрыть там дорогу этим государственным, надо было человек пятьдесят, а может, и все сто нарядить, не говоря о том, что то место можно обойти и объехать Каменной переволокой. А на переволоке, мы это знаем, у них караула не было. Там, видать, эти государственные и пробрались, куда им надо было.

Ну, он послушал, послушал меня и говорит: «Может, и так было, а может, и иначе. Мне почему-то сдается, что они мимо вас проскользнули. Впрочем,— говорит,— это дело прошлое. От нас они все равно не уйдут. А вам надо быть на страже, если опять придется кого-нибудь караулить. Только,— говорит,— имейте в виду, что в следующий раз вы от нас в случае чего так просто не отделаетесь. Теперь время тревожное, и сельскому начальству надо за все быть в ответе. Старосте, сотскому, десятскому надо быть все время начеку, присматриваться ко всему, что делается в деревне, прислушиваться, о чем мужики ведут разговоры и на сходе, и по домам, не затевается ли опять какая-нибудь буза с податями. И в случае чего обо всем сразу же доносить по начальству. Особенно,— говорит,— надо следить за приезжими из города али из других мест, из расейских деревень в Солбинской волости. Живут там сильно плохо и все время бузуют против начальства. Того и гляди, затеют какую-нибудь заваруху. Так что этих приезжих надо все время проверять и дознавать, кто они такие и зачем препожаловали к вам. Ну, и за своими надо следить, особенно за поселенцами. Это народ аховый...

Внапоследок пристав еще раз строго-настрого наказал Финогену описанное имущество недоимщикам не раздавать, пока они не погасят свою задолженность, и предупредил, что он пришлет сюда урядника для проверки.

На этом разговор пристава с Финогеном и кончился, и он со старшиной и урядниками отправился по другим деревням. А Финоген выждал дня два после их отъезда и стал раздавать хозяевам отобранные самовары. Остальное имущество он попридержал и возвращал его по мере погашения недоимщиками своей задолженности. В общем, зима оказалась для Финогена и Ивана Адамовича самым беспокойным временем. В деревню то и дело наезжало начальство, и Финоген с Иваном Адамовичем только тем и

занимались, что на всякие лады прижимали мужиков с податями...

Помогать Ивану Адамовичу я, конечно, по-прежнему помогал, много раз переписывал ему списки недоимщиков, разные статистические отчеты, общественные приговоры насчет гоньбовой и мостовой повинности, но о моем поступлении в волость в подписаренки разговор больше уж не заходил. Финоген об этом, видимо, забыл, а отцу было не до того. Зима подходила к концу. После пасхи надо было перебираться на заимку, потом управляться с пашней, с огородами, готовиться к сенокосу. Одно поджимало другое.

А маме разговор отца с Финогеном насчет моего поступления в волость подписаренком запомнился. Зимой и весной ей тоже было не до того. А после троицы она, не говоря никому ни слова, поехала в Кому и попросила дядю Якова узнать в волости все, что надо, насчет этого дела.

А дядя Яков — мужик пробойный. Он сразу же пошел к волостному заседателю, с которым он по своей малаховской родове состоял в каком-то сватовстве. От него дядя Яков узнал, что никаких подписарят в волости пока нет и что если мой отец по-настоящему думает об этом, то пусть не спит, а обращается с этим делом прямо к самому волостному писарю, который, как это всем известно, у нас всему голова.

Но легко сказать пойти к волостному писарю. С пустыми руками с таким делом к нему ведь не сунешься. Да и с деньгами тоже особенно не полезешь. Человек получает большое жалованье. Принеси ему три — пять рублей, он и говорить с тобой не станет. А давать ему двадцать — тридцать — где их взять?

Тем временем пришла весна, и дело стало приближаться к петрову дню. А к этому времени у нас в горах по солнопекам как раз вызревает клубника. Год на год не приходится, но бывает так, что ягоду эту у нас кадками возят. А в этом году клубника уродилась не особенно обильно, но не так уж плохо. Мужики и бабы в праздники валом повалили в ближнюю тайгу. Тащат, везут оттуда ягоду ведрами. И тут мама надумала набрать ведра три хорошей отборной ягоды и повезти их волостному писарю в подарок. В Коме-то у них с клубникой совсем плохо, так что он рад будет. Ну а там можно завести разговор и насчет дела.

Как только она решила это, так сразу же погнала нас всей семьей в Сингичжуль. Там у отца было одно заветное местечко, о котором никто не знал в деревне. Ягода оказалась крупная, хорошая, и за день мы набрали ее несколько ведер. А на другой день мама с Чуней целый день перебирали ее — ягодка к ягодке.

Глава 20
ДЕРЕВЕНСКИЙ ТИЯТР

В воскресенье утром отец ни свет ни заря поехал в Кому. Он ссыпал в кадушку всю нашу ягоду и повез ее с собой. О том, что он поехал хлопотать насчет моего дела, я ничего не знал и решил, что он повез ягоду на продажу.

А вечером я, как всегда в праздники, торчал с ребятами на народе. Весна в деревне подходила к концу. Праздничные игры и хороводы на лужке сами собой прекратились. И хотя в воскресенье все были заняты неотложными делами, но все равно по весенней привычке выходили вечером на улицу побеседовать о том, что занимает и беспокоит каждого хозяина и хозяйку. Одни говорили о ягоде клубнике, за которой они только что, вроде нас, ездили в тайгу, другие о банных вениках, которые им пришлось заготовлять в этот день на зиму, третьи о погоде, о посевах, о болезнях и все такое.

А молодые парни не сдавались наступающему лету с каторжной работой во время сенокоса и страды. И хотя одеты были все уж по-будничному, но настроение было у всех все еще праздничное. То тут, то там слышались песни. Снизу из-за речки доносились развеселые звуки гармоники.

Около Сычевых, как всегда, собралось много народу. Все больше парни да так называемые женатики — молодые мужики, которые поженились недавно и не отвыкли еще ходить да гулять по деревне. И разговоры тут велись уж не о работе, не о погоде, не о болезнях, а больше о силенке, о борьбе, об охоте, о рыбалке и о других подобных вещах.

А Пантя Грязнов и Шимка Лупанов сбегали к Яше Браверману и притащили от него большую двухпудовую

гирю. Вокруг этой гири сразу же началась оживлеиная возия. Одии стали пробовать ее иа вес, другие подиимать, третьи кидать — кто бросит дальше. Но вскоре все стали смотреть на Ефима Ларивоиовича и Гришку Щетиикова. Сначала они стали выжимать по очереди эту гирю. И оба выжимали ее довольио-таки легко. Потом стали бросать ее, а внапоследок додумались перекидывать через ворота Яши Бравермаиа. И тут оказалось, что у дяди Ефима силеики все-таки больше, чем у Гришки Щетникова. Эгу двухпудовую гирю он перебросил через ворота прямо в Яшину ограду. А Гришка Щетников несколько раз бросал ее, и оиа каждый раз задевала за верхиюю перекладииу иа воротах и падала обратио иа иашу сторону.

Между тем становилось уже поздио. Но праздничиая жизнь на улице продолжалась.

Вот к иашему кругу подходит большая толпа парней во главе с Аверькой-гармонистом. Никто и иикогда до приезда Аверьки в Кульчек ие играл у иас так завлекательно и так красиво иа гармоии. И теперь по праздиикам Аверька с утра до иочи окружен целой толпой поклонииков. Они или пляшут под его гармонь так, что земля дрожит, или поют песни. Или просто ходят за ним как очумелые, разинув рты, да слушают его игру.

Вот и сейчас Захар Поляков и Михайло Маслеков дружно поют под его гармошку старую сибирскую песию. Захар и Михайло считаются из иаших ребят лучшими песельииками и всегда подпевают под гармонь частушки. Они поют их поодиночке, почему-то непремеино изо всей мочи, стараясь перекрыть своим голосом гармониста и превзойти друг друга. А эту песню оии поют вместе, хоть и громко, но как-то дружно и красиво, без надсадного крика. Большая, изрядио поношеииая гармоиь Аверьки в двеиадцать ладов о четырех басах буквально выговаривает в его руках слова песии:

Нам приятель острый иож,
Сабля-лиходейка...
Пусть умрем мы ии за грош,
Жизнь наша копейка!..

А ребята, которые идут вместе с Аверькой, весело подхватывают припев:

Пусть умрем мы ни за грош,
Жизнь наша копейка!..

Я смотрю на все это, а сам думаю о том, что мне, пожалуй, пора уж идти домой. Мама, того и гляди, пошлет Чуню разыскивать меня по деревне.

Но Чуни пока нет, и я спокойно жду, что здесь будет происходить дальше. Вероятнее всего, начнут петь и плясать под Аверькину гармонь. Но Аверьке, видать, надоело весь день пилить на ней. Он прошел через толпу и сел на скамейку рядом с Сергеем Семеновичем. Потом сильно сжал свою гармонь, так что она аж загудела чуть не на все лады. Потом он застегнул ее на два ремешка и решительно поставил рядом с собой.

Тут в толпе произошла некоторая заминка, так как все поняли, что Аверька играть больше не будет. И вот все стоят, не поют, не пляшут, и как бы не знают, что им дальше делать без Аверьки. А уходить по домам никому не хочется. И все, вроде меня, ждут чего-то да посматривают на Аверьку. А Аверька без своей гармонии тоже не знал, что с собою делать. Он сидел, сидел на скамейке, а потом вдруг обратился к Сергею Семеновичу:

— А это что, правду про тебя бают, Ворошков, или так брехают, что будто бы ты в молодые годы урядника у себя зарезал и за это в Сибирь пошел?

Ворошков сидел молча и не отвечал на вопрос Аверьки.

— За что ты его ухлопал?— не унимался Аверька.

— За что я его ухлопал, это известно мне да тем судьям, которые меня сюда сослали,— с достоинством ответил Сергей Семенович.— И спрашивать об этом не принято. Нас здесь без малого тридцать душ на поселении-то. И у каждого своя статья, своя душевная рана. Негоже говорить об этом...

— Не сердись, Ворошков. Я ведь это так спросил. К примеру. Может, думаю, расскажешь нам что-нибудь антиресное. Ты ведь человек бывалый.

— На следующий раз думай, о чем говоришь.

— А правда ли, что ты умеешь разыгривать тиятр про шайку разбойников? Или это так, по-пустому болтают?

— Как это по-пустому?— послышался из толпы обиженный голос.— Сергей Семенович у нас каждый год на рождестве с ребятами по домам ходит да этот тиятр про разбойников разыгривает.

— Тоже скажешь. Уж два года не разыгривал.

— Потому что обидели человека. Зашел со своей шайкой к Лининым. А старик взял да и выгнал их из дома. Да еще обругал. Говорит, в такой праздник ходите чертей тешить. Ну, вот Сергей Семенович и перестал после того разыгривать свой тиятр.

Сергей Семенович был очень доволен тем, что Аверька сразу же переменил с ним тему разговора. Обождав немного, когда другие перестанут о нем рассказывать, он с достоинством ответил Аверьке, что в молодые годы ему дивствительно приходилось представлять тиятр про шайку разбойников.

— Что там молодые годы. Ты сейчас нам представь этот тиятр,— заявил Аверька.

Но Сергей Семенович почему-то стал отказываться, ссылаться на то, что у него нет уж прежнего голоса, что у него опять сильно стала болеть нога. Какой уж из него получится атаман, когда он хромает на правую ногу. Ну, и самое главное,— нет настоящего обворужения. Разве это тиятр — палкой вместо сабли махать. А потом, он один ведь все равно не может представлять и атамана, и есаула, и егеря и петь песни за всю шайку разбойников.

Тогда все стали уговаривать Сергея Семеновича не ломаться перед народом и разыграть как следует свой тиятр. Ребята помогут и споют, где надо. Престрашного егеря может разыграть Захар Поляков, на есаула пошлют за Ванюшкой Гарасимовым. Оба они это дело знают. А насчет обворужения надо просить Дувку Бравермана. У него есть и сабля, и леворверт — не отличишь от настоящих.

Мне очень хотелось посмотреть и послушать, как Сергей Семенович будет представлять свой тиятр про шайку разбойников. Но я не понимал, почему он так долго заставляет себя упрашивать. Нынче зимой он зашел как-то к нам вечером посидеть да послушать разные побывальщины от отца, от дяди Ильи, от Степана Красного об охоте и о рыбалке.

Сам Сергей Семенович, конечно, не охотник и не рыбак. Но он любит послушать разные истории. Да и сам не прочь кое-что рассказать. Не об охоте, конечно, и не о рыбалке, а о науке, о чужих землях и о вечном двигателе, который он уж много лет придумывает.

В тот вечер у нас тоже попросили его показать свой тиятр. И Сергей Семенович охотно согласился на это. Он

с видимым удовольствием вышел на середину избы и начал разыгрывать, как к одному богатому хозяину, вроде нашего Меркульева, нагрянула шайка разбойников под начальством грозного атамана, как они потребовали от этого хозяина вина и всякого угощения, пили и гуляли в его доме, как атаман потом посылал своего есаула за егерем, за красной девицей и как потом все разбойники сели в лодки и с песнями отправились дальше грабить купцов и богатых мужиков.

Атамана, есаула, егеря, красную девицу и всех разбойников Сергей Семенович представлял в лицах. Атамана он старался разыграть как можно страшнее и свирепее. Поэтому атаманские слова он произносил громко и грозно. При этом топал ногами, вращал глазами, махал саблей (вместо сабли он махал у нас сковородником), тряс бородой и лихо закручивал свои длинные седые усы.

— Ведь атаман он!— объяснял нам Сергей Семенович.— Ведь сколько народу пограбил, поубивал. Значит, имел такую силенку и такой голосище, что все его боялись.

Когда Сергей Семенович представлял красную девицу, он старался ходить мелкими шажками, говорить тоненьким нежным голоском. При этом закатывал глаза и делал умильную улыбку, что при его большой седой бороде и длинных усах вызывало общий хохот. Слова есаула Сергей Семенович произносил с насмешкой к атаману, чтобы все видели, что хотя он, есаул, и подчиняется атаману, но и сам парень не промах. Особенно всем нравилось, когда есаул становился перед атаманом во фронт и с явной насмешкой произносил: «Слушаю, господин атаман! Одна нога здесь, друга там! Сам к вечеру». На что атаман, не замечая есауловой насмешки, каждый раз отвечал: «То-то! Смотри, братец, поторапливайся!»

Все слова есаула, егеря, купца, красной девицы и разбойников Сергей Семенович произносил без запинки, но с показом атамана у него получалась почему-то осечка. Как только дело доходило до атамана, он начинал кричать, топать ногами, махать сковородником и сразу же забывал все, что ему надо было говорить дальше. Тогда он переставал представлять атамана и начинал вспоминать вслух его слова. Тут он сразу произносил их свободно и правильно. А потом опять напускал на себя атаманскую свирепость, начинал кричать, топать, махать сковородником и опять, под общий хохот, забывал слова.

Но Сергей Семенович нисколько не сердился на то, что все смеялись над тем, как он забывал говорить атаманские слова.

Он и сам смеялся над этим. Посмеется немного, а потом снова начинает разыгрывать свой тиятр дальше.

Сергей Семенович представлял шайку разбойников не только у нас, но и в других домах, и в деревне научились от него петь разбойничьи песни. А мы, ребятишки, часто повторяем в своих играх слова его атамана: «Вот мой меч! Полетит твоя голова с плеч!»

Пока я сидел на бревне да вспоминал все это, Сергей Семенович обсказывал Аверьке, как надо по-настоящему показывать тиятр про шайку разбойников. Он заметно оживился, когда стал говорить о том, как должны разыгрывать себя атаман, есаул, престрашный егерь и все остальные разбойники. Сергей Семенович знал не только все атаманские слова и весь разговор разбойников. Он знал даже, как все разбойники были одеты. Оказывается, разбойники ходили в красных рубахах, в кушаках и с саблями на боку. А атаман носил красную кашемировую рубаху, голубой кушак, широкие плисовые шаровары, бобровую шапку, хорошие городские сапоги, ходил при сабле и с леворвертом. А есаул ходил в красной рубахе, плисовых штанах, при сабле, но без леворверта.

Может быть, Сергей Семенович сам в молодые годы был разбойником. Может, он всему этому выучился на практике. Неспроста ведь он попал в Сибирь на каторгу, а потом к нам в Кульчек на поселенье. Вот тебе и Сергей Семенович! А еще говорят, что он мухи не обидит.

Тем временем Пантя Грязнов и Шимка Лупанов сбегали за Иваном Гарасимовым, а Дувка Браверман сходил домой и принес свою крашеную саблю и деревянный револьвер, который был так ловко сделан, что его аж не отличить от настоящего. Сергей Семенович взял саблю, махнул ею несколько раз для пробы и подцепил ее на свою опояску с левой стороны. Потом он повертел в руках Дувкин револьвер, полюбовался на него и заткнул его за свою опояску с правой стороны. Затем он попросил тех ребят, которые умеют петь разбойничьи песни и знают, как представлять разбойников, выходить в круг и садиться в легкие шлюпки. Тут сразу человек десять здоровенных ребят вместе с Михайлом Матвеевым и Захаром Поляко-

вым вышли из толпы на середину круга и уселись на землю друг за другом, как будто они на самом деле сели в лодку на весла. А Сергей Семенович вместе с есаулом — Иваном Гарасимовым — зашли в лодку после всех. Они не стали садиться в лодке и остались в ней стоя. Потом Сергей Семенович махнул рукой, и ребята все зараз стали раскачиваться, как будто они и в самом деле сидят в лодке на веслах и плывут по реке. И тут Михайло Матвеев затянул, а остальные дружно подхватили песню, которую их научил петь Сергей Семенович:

> Хороша наша деревня, только улица грязна.
> Хороши наши ребята, только славушка худа.
> Величают нас ворами да разбойниками...
> Мы не плуты, мы не воры, не разбойники —
> Мы хорошие ребята — рыболовщики...

Дальше они пели в песне о том, как эти рыболовщики ловят рыбу по сухим берегам, по амбарам, по клетям, по богатым мужикам, как у дяди у Петра они заловили осетра, да такого осетра, что с гнедого жеребца. А у тетушки Ненилы заловили три перины. И так далее в таком же роде.

Песня кончилась, когда они приплыли в какое-то распрекрасное место. Тут разбойники все встали на ноги, что означало, что они оказались уж на берегу. А Сергей Семенович вышел вперед, молодецки прошелся по кругу, как будто это он уж попал в дом к богатому хозяину, оправил свою большую бороду, лихо подкрутил усы и громогласно, без запинок, заговорил:

> Что за прекрасная долина.
> Все зеркала и картины!
> Чем нам жить там,
> Мы будем жить здесь!
> Друзья, следуй за мной!

Тут он сделал знак своим разбойникам и громко запел:

> Ты позволь-ко нам, хозяин,
> В нову горенку войти...

А разбойники дружно, хором, рявкнули припев:

> Ой ли, ой люли,
> В нову горенку войти...

Толпа с интересом смотрела на этот ворошковский «тиятр», главным образом на самого Сергея Семеновича.

Всегда молчаливый и какой-то пришибленный, он прямо преобразился, когда стал разыгрывать своего атамана. Он чертом расхаживал по кругу, немного припадая на свою хромую ногу. Левую руку он молодецки положил на эфес Дувкиной сабли, а правой лихо подкручивал свои длинные усы.

— Вот тебе и Ворошков!— слышалось из толпы.— Гляди, какой молодец! Настоящий атаман!

— Башковитый мужик. Ничего не скажешь.

— Увидишь, что дальше будет у него с этим есаулом. Прямо умора!

Ребята, разинув рты, смотрели на этот «тиятр», а я совсем забыл о том, что Чуня, того и гляди, явится сюда за мной.

Вдруг я почувствовал, что кто-то крепко схватил меня сзади за рубаху:

— Давай скорей домой. Тятенька из Комы приехал. Собирать надо тебя скорее в подписаренки.

— Куда собирать? В какие подписаренки?— спросил я Чуню, не понимая, о чем она ведет речь.

— В Кому тятенька повезет тебя завтра сдавать в подписаренки,— повторила Чуня.— Пойдем скорее, а то он рассердится. Да и мама не похвалит.

Тут я наконец сообразил, в чем дело, и мы бегом направились домой. Отца я нашел дома с Финогеном за столом. Они сидели за чаем и о чем-то оживленно разговаривали.

— Вот подъезжаю я к его дому,— рассказывал отец Финогену.— Стук-стук в ворота. Закрыто. Вот, думаю, какая оказия. Не уехал ли куда в гости по случаю праздника? Еще раз стучу. Слышу, кто-то идет, открывает калитку. Куфарка, видать, ихняя. «Чево тебе?— спрашивает.— Стучишь ни свет ни заря».— «Сам-то дома?» — спрашиваю. «Сам-то дома. Только он не любит, когда его в праздники по делам беспокоют».— «Какие,— говорю,— там дела... Из Кульчека — ягоду привез. Три ведра,— говорю,— самой отборной».— «Это,— говорит,— другое дело. А то,— говорит,— ходют тут разные, особенно витебские. Отбою нет». Говорит это, а сама впускает меня в ограду. «Жди,— говорит,— вон там, под крышей. Сейчас встанут». Сказала это самое и ушла. Вот жду я под крышей. Может, час, а может, и два. Вруг слышу — скрипнула дверь, выходит сам на крылечко, вытирает губы платочком. «Кто там?» — спрашивает. «К вам,— говорю,— Иван Акентич. Из Кульчека. Ягоды

привез вам, глубеницы — три ведра. Ягода,— говорю,— отборная, вчерась только набрали». — «Ягода, говоришь? Ну-ко покажи». Посмотрел, попробовал. Дивствительно, ягода и на вид, и на вкус хорошая. «В тайге,— спрашивает,— брали?» — «В Сингичжуле,— говорю ему,— брали. На самом хребте, в солнцепеке». Посмотрел он еще раз на ягоду, не говоря ни слова, вытаскивает партаманет, вынимает трехрублевку и подает. «Спасибо,— говорит,— мужичок... Вот тебе три рубля. Не обидно будет за три ведра?» — «Что вы,— говорю,— Иван Акентич. Я ведь не с этим. Не надо,— говорю,— мне ваших трех рублев». Ну, тут он сразу насторожился и спрашивает: «В чем дело?» — «Возьмите,— говорю,— лучше моего парня к себе в волость в подписаренки». Тут он подумал что-то и спрашивает: «Вы из Кульчека будете?» — «Из Кульчека»,— говорю. «Это ваш мальчик помогает кульчекскому писарю?» — «Как же,— говорю,— все время пишет ему разные списки».— «Ну что же,— говорит,— пожалуй можно. Мне показывали его работу. Почерк еще не окрепший, но пишет разборчиво, даже красиво. Тогда давайте его,— говорит,— к нам. Если стараться будет, положу жалованье. Не сразу, конечно, а когда присмотрится к делу. Так что привозите его на неделе, а там видно будет». Сказал это, попробовал еще раз ягоду, вытер руки платочком, крикнул кухарку и ушел. А я высыпал ей ягоду в корыто и сам не свой еду домой. Даже к родне ни к кому не заглянул.

Финоген слушал отца и все время одобрительно кивал головой. А потом завел речь о том, что теперь все будет от меня зависеть. Человеком стать или обалдуем, вроде Пуданова Кондрашки. Ничего с парнем не могут сделать. Мужицкую лямку тянуть не желает, к делу ни к какому не привержен. Грамоте не пошел учиться. Ходит по деревне да выламывается.

Тут Финоген допил свою чашку, опрокинул ее на блюдечко, положил сверху обглоданный кусочек сахара. Потом не торопясь встал из-за стола, перекрестился на образа, сел к окну и не торопясь стал закуривать.

— Если будет там стараться все произойти, до всего достичь да перед народом нос не воротить, то до большого дела может дойти. Вон Бирюков-то с того же начал, а потом целой волостью заправлял. Значит, отправляетесь завтра?

— Да, ехать надо. Чего тянуть-то.

— Непременно надо ехать. С таким делом тянуть нельзя. Ну, в добрый путь. Дай вам бог удачи.

Глава 21
НА ЛЕГКУЮ ВАКАНСИЮ

Дом, в котором помещалось волостное правление, был расположен на большой площади в самой середине села, рядом с магазином купца Демидова. Это был обычный крестовый дом, под высокой шатровой крышей, с несколькими амбарами и поднавесами на дворе. Над окнами, со стороны улицы, виднелась вывеска с черным двуглавым орлом и надписью: «КОМСКОЕ ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ». Сзади во дворе к этому дому был прирублен большой придел, в котором находились, как я потом узнал, волостная тюрьма и помещение для волостных сторожей и «ходоков» (почтарей).

Мы оставили нашего Гнедка за воротами у коновязи и пошли во двор. Около пристройки, или, вернее сказать, волостной тюрьмы, на завалинке сидели и грелись на солнышке какие-то мужики. Не останавливаясь, мы прошли прямо в волость и оказались в прихожей. Здесь не было пока ни одной души, кроме волостного сторожа, в котором я сразу же признал дедушку Митрея, который живет в Коме около тетки Орины и приходится ей большой родней по дяде Егору, так что и с нами он состоял в каком-то непонятном для меня сватовстве. Дедушко Митрей производил в канцелярий уборку.

— Ты что же это, сват, опять в волости?— спросил его отец.

— А куды мне. К чежолой работе уж неспособный. Здоровья не стало. Пусть сыновья ее ворочают. По домашности есть кому управиться. Вот и нанялся сюды на легкую вакансию. Без дела-то сидеть не хочется. А семье все-таки прибыток. А вы чего это в такую рань?

— Да вот привез парня к вам приоделять. В подписаренки. Здоровьишко у него никудышное. С самого малолетства получилось какое-то сердцебиение. Ну и внутренности, видать, тоже не в порядке. Вот и приходится теперь

доводить его до дела. В крестьянстве-то от него пользы будет мало...

Мне было горько и обидно слушать сетования отца на мое плохое здоровье. Но дедушко Митрей не обратил на них никакого внимания и, видимо, сразу принял их на веру. Он одобрительно отнесся к решению отца отдать меня в волость и даже высказал уверенность в том, что из этого непременно должен получиться какой-то прок, если, конечно, я буду стараться как следует доходить тут до дела. Потому что в волости работа умственная и без старанья тут ничего не достигнешь.

И дальше дедушко Митрей стал рассказывать отцу про Бирюкова, который поначалу тоже работал здесь в подписаренках, а потом дошел до такой грамоты, что сделался волостным писарем и три года ворочал волостью, пока его не забрали в солдаты.

— Вот уж дивствительно был писарь... И дело знал, и с мужиком умел обойтись, будь он из Комы, из Кульчека али хоть из самой Витебки. С каждым поговорит, все расскажет, растолкует. За то и любили его мужики, как родного. Не то что нынешних писарей. Разве теперя писаря!

Пока дедушко Митрей разговаривал с отцом о Бирюкове и о нынешних писарях, я рассматривал волость, в которой мне, может быть, суждено будет работать.

Через открытую дверь из прихожей я видел большую комнату, заставленную канцелярскими столами. Один стол был огромный, два других поменьше. На каждом стояли чернильницы и лежали стопками какие-то бумаги. Справа и слева у стены виднелись два шкафа, забитые какими-то делами. К этой канцелярии примыкала еще одна комната, дверь в которую была закрыта. Но, судя по всему, там тоже стояли столы и шкафы с бумагами. Кроме того, из прихожей вела еще одна дверь не то в горницу, не то в кладовку. Эта дверь была тоже плотно закрыта.

Со двора время от времени доносился чей-то разговор, а здесь, в канцелярии, стояла какая-то прохладная тишина. Тут я вспомнил, с какой злостью говорил Финоген о волостных начальниках.

— Приедешь туда,— говорил он,— и как-то даже боязно соваться к ним со своим делом. Потому что сидит человек за большим столом, обложенный со всех сторон толстыми книгами, и все что-то пишет. И одет по-чужому, и говорит

не по-нашему, и чем-то все время недовольный. Не успеешь и рта раскрыть, а он тебе уж режет: «Не туда лезешь, не так говоришь!»

И вот я теперь смотрю на эти столы, заваленные бумагами, на эти шкафы, забитые канцелярскими книгами, и мне кажется, что они начинены скрытой неприязнью ко мне, к моему отцу, к Финогену, к каждому, кто приходит сюда по какому-нибудь делу. Вот с минуты на минуту явятся сюда писаря. Они сядут за эти столы, и сразу все образуется так, как говорил Финоген, что к ним и подступиться страшно. Как мне вести себя с этими людьми, одетыми по-городскому, умеющими писать разные строгие и умные бумаги об окладных листах, гоньбовых ведомостях и анатомических театрах? Сознание пропасти, лежащей между мною и этими чужими, далекими от нас людьми, делало меня ничтожным в собственных глазах.

Между тем дедушко Митрей подмел полы, отер со столов пыль и оставил нас с отцом одних в прихожей.

— Ну, вы сидите тут да ждите. Сперва помощники придут — Иван Фомич, Павел Михайлович, Иван Осипович. А потом и сам заявится. Вам ведь к самому?

— К нему, конечно, к Ивану Акентичу,— ответил отец.

— Ну, он-то на работу не торопится. Да и куда ему спешить. Жалованье огребает большое. Помощников у него много... Весь день пишут ему эти бумаги. Так что долгонько вам придется ждать его.

И дедушко Митрей пошел к себе в сторожку. А мы остались в прихожей одни. Отец, подобно мне, чувствовал себя здесь не совсем уверенно и, видимо, тоже волновался. Хотя Иван Иннокентьевич и сказал ему приводить меня в волость, но сказал он это еще в воскресенье, а сегодня уж вторник. Сегодня он может сказать совсем другое.

Вдруг в сенях раздались чьи-то торопливые шаги, и в прихожую вбежал молодой парень в темной сатинетовой рубахе, новом картузе и в новых базарных сапогах. Он быстро прошел прямо в большую канцелярию, бросил свой картуз на шкаф и стал расхаживать взад и вперед, что-то выделывая руками. Потом подошел к столу у окна, вытащил из него большую пачку бумаг, уселся за стол и стал записывать эти бумаги в толстую книгу.

Не успел я сообразить, кто бы это мог быть из помощников Ивана Иннокентьевича, о которых говорил дедушко Митрей, как в волость вошел новый человек. Он был очень похож на того заседателя, который был у нас с приставом в

Кульчеке, но, присмотревшись поближе, я увидел, что это какой-то другой начальник. Он уверенно, не торопясь вошел в волость, как к себе домой, и сразу обратил на нас внимание:

— Откедова будете? Кого ждете?

— Да из Кульчека к Ивану Акентичу приехали. Вот парня привез к вам в волость приоделять...

— А, как же, знаю, знаю. Ну, ждите тогда. Вы лучше на крылечко идите. Там сподручнее ждать-то. Здесь ведь народ скоро набьется. Теснота, духотища.

Тут он прошел в большую комнату и поздоровался за руку с этим молодым парнем.

— Пишешь?— спросил он его.

— Давно уж пишу.

— Пишешь, пишешь, а толку мало. Вот придет Иван Акентич, спросит почту, а она у тебя опять не готова. Смотри, Петька! Достукаешься! Вытурит он тебя как миленького.

— Кто это?— спросил я шепотом отца.

— Волостной заседатель. Из комских. Хивоньи Ефремовой сын. Вверху живут. У самого крестика. Славный мужик...

— А волостной заседатель... он что? Тоже начальник?

— А как же. Волостным сходом выбирают.

— А он выше или ниже старшины?

— Да, видать, старшины-то пониже.

Не успели мы как следует разобраться с этим делом, как в волости появилось новое лицо. Это был полный, белобрысый, прыщеватый молодой человек в пиджаке, в брюках навыпуску, в возрасте Павла Константиновича. Только без бороды и без усов. Он шумно отдышался и прошел в большую комнату. Здесь он поздоровался с Петькой, сел за самый большой стол к окну, которое выходило в улицу, и положил перед собой пачку бумаг. Потом что-то порылся в этой пачке и обратился к Петьке:

— Тут вчера была бумага от крестьянского начальника насчет представления сведений о состоянии посевов. Дай-ко мне ее.

— Не записал еще, Иван Фомич.

— Как это не записал?!

Тут Иван Фомич встал, подошел к Петьке, взял у него бумаги и стал их перебирать.

— Слушай, Петька! У тебя мозги набекрень, что ли? Или вообще в голове у тебя труха? Ведь я тебе тысячу раз говорил — просматривай бумаги перед записью во входящий журнал. Которые посрочнее да поважнее — записывай в первую очередь, а остальные потом. А ты всю почту из Новоселовой затурил в бумаги от старост. Вот смотри — от исправника бумага, а ты засунул ее в самую середину, а вот из окружного суда — и тоже там, а вот от податного инспектора. Все важные бумаги. Ты же знаешь, что их надо сразу же отдавать Евтихиеву. А вот и от крестьянского начальника бумажка. Сейчас же впиши ее и дай мне. Да пошевеливайся. Скоро он придет и опять начнет тебя шпиговать.

Тут Иван Фомич хотел еще что-то сказать Петьке, но из соседней комнаты вышел заседатель Ефремов и позвал его к себе:

— Иди-ко сюды. Я тебе расскажу, что там вчера было.

Иван Фомич прошел за заседателем, и из той комнаты вскоре послышался его раскатистый смех.

А в канцелярию вошел какой-то новый писарь. Он тоже поздоровался с Петькой и сел за другой стол к другому окну, выходящему в улицу. Потом не торопясь свернул себе папироску, всунул ее в небольшой мундштук и закурил. Потом, поразобравшись немного в своих бумагах, обратился к Петьке:

— Ты отправил вчера с почтой повестки с вызовом в суд?

— Как же, как же, Павел Михайлович. Отправил.

— А какие это конверты лежат у тебя в разносной книге?

— А это... это, Павел Михайлович, ваши повестки лежат. Я их вчера не успел отправить.

— Как это не успел отправить?— всполошился Павел Михайлович.— Я уж судей вызвал на будущую неделю, а мы еще повестки не разослали. Ты соображаешь? Судьи приедут, а судить некого будет.

— В пятницу отправлю, Павел Михайлович, а в воскресенье им всем вручат. И все успеют приехать вовремя.

— Ну, смотри, Петька! Теперь сенокос. Время рабочее. Если суд сорвется — жалоб не оберешься. На всякий случай я все-таки скажу об этом Ивану Иннокентиевичу.

— Ой, не говорите, Павел Михайлович! Миленький, не говорите!— испугался Петька и стал слезно упрашивать

Павла Михайловича ничего не говорить Ивану Иннокентиевичу.

Тем временем в волость пришел еще один писарь и занял свободное место за большим столом против Ивана Фомича. Это был Иван Осипович Арзамасов. Он жил рядом с дядей Егором, и мы все знали, что он каждый день ходит в волость на занятия.

Теперь все писаря были в сборе. Они сидели по своим местам и начали строчить свои бумаги.

А в нашу прихожую начал набиваться народ по всяким делам. Кто был посмелее, тот проходил прямо в канцелярию и обращался или к Ивану Фомичу, или к Павлу Михайловичу, или к Арзамасову. А те, кто постеснительнее, те обращались к Петьке. А он уж говорил им, к кому они должны идти со своим делом. А тут еще напоследок заявились сисимский и коряковский старосты. Они приехали в волость сдавать подати. Ну, их с деньгами сразу увел в другую комнату волостной заседатель.

Наконец, примерно к полудню, пришел сам Иван Иннокентиевич. Был он очень толстый, в пиджаке, с золотой цепочкой на жилетке, в брюках навыпуску, в шляпе и с толстой тростью. У него была такая же козлиная бородка, как у нашего Павла Константиновича. Жил он недалеко от волости, но почему-то, пока шел сюда, очень запыхался, дышал с хрипом и каким-то присвистом. Однако настроение у него было веселое.

Еще на дворе за него уж уцепились какие-то бойкие мужики. Окруженный ими, он прошел через прихожую, не обратив на нас с отцом внимания. Войдя в канцелярию, сказал своим помощникам: «Здравствуйте, господа!» — и, не задерживаясь, прошел в следующую комнату. Тут все было двинулись за ним, но их сразу же осадил заседатель:

— Обождите, мужики! Не до вас пока. Поначалу почту надо прочитать. Потом вон старосты деньги привезли. Их надо принять, оформить фитанции. Ну а после того он уж начнет с вами валандаться.

Тут заседатель плотно закрыл перед ними дверь и закричал:

— Петька! Давай почту! Чего тянешь!

Петька схватил со стола какие-то бумаги и бросился в ту комнату. Мужики обиженно зашумели и повалили обратно в прихожую. Здесь они снова расселись по скамейкам и начали ворчать. Дескать, вот какой пузан. Нет, чтобы мужика пораньше отпустить. Ведь знает же — рабочее время.

Сенокос. Каждая минута дорога. А он спит до обеда. А придешь к нему — и не подступись. Гляди, как разъелся на наших хлебах-то. Как боров! Идет-то — хрюкает.

И тут между ними начался длинный, много раз еще в Кульчеке слышанный мною разговор о лягавых.

Лягавыми у нас называют всех тех, кто богато живет, нарядно по-городскому одевается, говорит по-образованному, кто каждый день сладко ест и пьяно пьет и не ворочает эту каторжную мужицкую работу.

К лягавым у нас относят прежде всего больших начальников, которые сидят у мужика на шее (крестьянский начальник, мировой судья, становой пристав), потом больших купцов, которые обжуливают и обирают его разным манером (Терсков, Мезенин, Бобин, Демидов), и, наконец, людей, работающих на легких вакансиях и получающих от казны или от волости большое жалование (доктора, фельдшера, учителя, писаря).

Лягавых начальников мужик ненавидит прочной и постоянной ненавистью, считает их дармоедами, поставленными измываться над народом и выколачивать из него подати. Купцов он не любит, но терпит, так как без них все равно не обойтись. А к людям, работающим на легких вакансиях, относится по-разному, в зависимости от того, как они сами к нему относятся.

Мужики долго и лениво вели этот привычный для них разговор о лягавых. Тем временем из комнаты Ивана Иннокентиевича стали доноситься раскатистые взрывы смеха... Всем было интересно знать, над чем они там так здорово смеются. Даже писаря перестали писать свои бумаги и стали прислушиваться к тому, о чем там ведется разговор. Наконец, после очередного взрыва смеха, оттуда вышли волостной заседатель, сисимский и коряковский старосты.

— И учудит же Иван Акентич! Так запомни, говорит, молодушка, и обязательно передай ему... приезжали, мол, волостной старшина Крапивин и волостной писарь Лопухин.

— А она им,— захлебываясь от смеха, подхватил другой.— Да чего, говорит, не запомнить-то. Ведь в крапиву мы ... ходим, а лопухом-то ... подтираем.

И старосты закатились смехом.

— А про попа-то что отморозил. Ведь придумает же такое. Прямо умора.

— Да! По этой части он специялист,— многозначитель-

но сказал заседатель.— Целый день может отмачивать такие номера.

— И откуда такое берется у человека. Прямо иа удивленье!

— Талан такой. Да и образоваиие не иаше,— объяснил заседатель и, обратившись в прихожую, спросил:

— А теперь, мужики, кто из вас к Ивану Акентичу?

Тут несколько человек повскакали со скамеек. Мы с отцом тоже встали, чтобы заседатель обратил на нас вииманне. И ои сразу же нас заметил:

— Обождите, мужики. Пропустим сиачала кульчекских. Они раньше всех сюды заявились. Да и дело у них, я думаю, не займет миого времеии. Не то что у вас. Давайте!— обратился он к отцу.— Идите скорее...

Отец осторожно подтолкнул меия в бок, и мы пошли с ним через канцелярию в другую комнату. Здесь за единственным письменным столом восседал волостной писарь Иван Иннокентиевич Евтихиев. Рядом, около стола, стоял большой железный ящик, а сзади на стене висел большой царский портрет в раме. Иван Иннокеитиевич сразу узиал отца, поздоровался с иим за ручку и тут же приступил к делу.

— Привез хлопца? Вот и хорошо. Как звать-то?— обратился он ко мне.

— Иннокентий,— ответил я.

— Иннокентий так Иннокентий. Хорошо, что не Сосифат какой-нибудь, ие Карп, не Варсаиофий. Имена-то у вас такие, что язык сломаешь.

— Не мы ведь имеиа-то даем, Иваи Акентич. Батюшко иарекает при крещении. Ои уж приставлеи иа это.

— Вот он и придумывает, как бы потруднее да посмешнее. Ну что ж, Иннокеитий. Приходи завтра с утра иа работу. Присматривайся. Первое время будешь так ходить, а поднатореешь — положу жаловаиье.

Тут Иван Ииинокеитиевич встал, взял меия за руку, вывел в большую комнату и громко сказал:

— Вот, господа, знакомьтесь — мой иовый помощиик. У иас будет работать. Собствеино, ие работать, а учиться. Подписареиком пока будет. Присматриваться к делу. А там увидим. Так что прошу любить и жаловать.

Не успел я сообразить, как мие знакомиться с этими людьми, как Иваи Инокеитиевич круто повериулся и ушел в свою горницу. Теперь я остался одии стоять посредине канцелярии. Все помощники Иваиа Иннокеитиевича молча

на меня посмотрели, и никто не сказал мне ни слова. Все остались на своих местах и занимались своим делом. Они разговаривали с мужиками, которые стояли около их столов, и не обращали на меня никакого внимания, как будто Иван Иннокентиевич не выводил меня к ним напоказ в канцелярию, как будто не говорил, что я с завтрашнего дня должен буду работать с ними подписаренком. А я стоял посредине канцелярии и не знал, что мне делать, куда мне себя девать. На мое счастье, в это время от Ивана Иннокентиевича вышел отец.

— Чего стоишь?— сказал он мне.— Ступай теперь на фатеру к тетке Татьяне. А завтра уж с утра заявишься сюда. Пошли.

Мы вышли из волости. На дворе группами сидели и лежали те же мужики. Тут же мы встретили дедушку Митрея, который только что принес откуда-то ведро пива.

— Ну, как дела-то?— поинтересовался он.— Были у самого-то?

— Да вроде в порядке,— ответил отец.— Сказал, завтра приходить на занятие.

— Ну, если сказал приходить — значит, все идет как следует. Теперь уж старанье нужно...

— Ты тут, сват, уж досматривай за парнем,— обратился отец к дедушке Митрею.— Чтобы он, значит, не баловал здесь, доходил до всего.

— А сам-то ты почаще сюды наведывайся,— посоветовал дедушко Митрей.— Следить за ним надо. Ты забеги-ко к Оксинье Ларивоновне. Она ведь тебе родня. А Иван Фомич ей деверем приходится. Пусть попросит его за парнем приглядывать.

— И то правда. Как это мне самому-то не втемяшилось? Да ведь на покосе она.

— Дома сидит. Вчерась видел ее. От фершала шла. Парнишко у нее хворает.

— Тогда надо заехать.

И мы пошли с тятенькой за ворота.

— Ну, теперь иди на фатеру,— напутствовал меня отец, усаживаясь в тарантас.— А завтра являйся сюда пораньше. Да слушай, что тебе будут говорить. Вникай! А может, к Оксинье Ларивоновне заедем?..

Мне не очень хотелось идти на квартиру к Малаховым. Тетка Татьяна с утра на покосе. И будет только к вечеру. Значит, я один буду весь день сидеть в пустом доме да ждать ее приезда. Нет, уж лучше побуду еще с отцом, заеду

с ним к тетке Оксинье, а оттуда провожу его домой, в Кульчек.

Тетку Оксинью мы застали дома. Она очень обрадовалась нашему приезду и сразу поставила самовар. А потом стала снаряжать на стол. И все жаловалась на то, что совсем извелась последние дни. Сенокос пришел. Работать надо. А тут парнишко заболел. То ли обкормила его, то ли на солнце, вариак, перегрелся. Совсем было извелся. Спасибо фершалу. Дал какие-то порошки. Сегодня ребенок и спал спокойно, и желудок вроде наладился. Дальше тетка Оксинья спросила про своих родных, как они живут там в Кульчеке.

— Лаврентий на прошлой неделе в волость кого-то привозил, так забежал на минуту. Посидел немного и уехал. Я толком и не поняла, что там у них. То ли тятенька захворал, то ли мамонька. Мамонька-то, слава богу, у нас пока ничего. За седьмой десяток перевалило, а ни на что пока не жалуется. Я больше за тятеньку боюсь. Семья большая, работы много. А он лезет везде. Куда надо, куда и не надо. Надорвется еще...

Выговорив все, что у нее наболело и что она считала важным непременно нам рассказать, тетка Оксинья усадила нас пить чай и наконец спросила, зачем это мы заявились в Кому в сенокос да еще в будни, когда дорога́ каждая минута. Тут отец объяснил ей, что он привез меня отдавать в волость в подписаренки, что здоровьишко у меня не ахти какое и что для этой каторжной мужицкой работы я все равно мало соответствую.

— Ну что же... Может, так-то даже и лучше. Может, в люди парень выйдет, если будет стараться. Но только я тебе скажу — в волости работа тоже нелегкая. Это только говорят, что там сидят, мол, люди на легких вакансиях. А на самом деле там часто ой как трудно бывает. У нас Ваня приходит иной раз оттуда прямо сам не свой.

— Известное дело,— рассудил отец.— Тут по своему-то хозяйству умишком раскинешь, и то голова кругом идет. А большое ли наше хозяйство. А там ведь целая волость. Двадцать деревень.

— А осенью, когда на мужиков подати накладывают, так там ночей не спят. Всё считают, считают! Писаря-то со всей волости съезжаются со своими старостами. Сами-то насчитывать не умеют, ну и норовят все к нашему Ване. Один

просит помоги, другой просит. За неделю-то, пока подати эти раскладывают, парень так изведется, и не узнать. Вроде лихоманкой хворал. Вот тебе и легкая вакансия!

Долго еще тятенька с теткой Оксиньей толковали о волости и о волостных начальниках. Наконец он спохватился, что ему давно пора ехать домой.

— А мы к тебе ведь с докукой,— сказал он на прощанье.— Ты уж попроси Ивана Фомича, чтобы он немного доглядывал за парнем там в волости, приструнивал бы его как следует.

— Как же, как же,— сказала тетка Оксинья.— Свои ведь. И Ваню попрошу привечать. И сама буду узнавать, как он там поведет себя. Коваленковы-то тут рядом живут. В случае чего и у них всегда можно узнать...

Домой отец поехал горами, через Тон. Я решил его проводить. Дорога из Комы к Тону все время идет в гору до самого Симистюля. Поэтому мы ехали все время шагом. Отец молчал и сосал трубку. Изредка он как бы спохватывался, что ему надо поторапливаться, и понукал Гнедка. Но потом опять впадал в свою молчаливость. Видимо, он все передумывал, что сегодня он видел и слышал и в волости и у тетки Оксиньи.

Я тоже молчал и тоже думал. Но мои думы были связаны почему-то не с волостью, а с дорогой, по которой мы медленно поднимались на Симистюль. Комские ездят по ней на свои пашни и покосы. Меня же эта дорога, если я даже только смотрю на нее, непременно уводит к нам в Кульчек. Может быть, это потому, что я по ней много раз ездил к себе домой, когда учился в комской школе. Особенно запомнились поездки с братом, когда он приезжал за мной накануне пасхи и увозил меня на целую неделю на каникулы.

А пасха приходится у нас часто на самую распутицу, когда с гор бросается весенняя вода и сносит все мосты. Тогда в Кульчек надо пробираться на верховых через горы по Подтонью. А это дело не такое простое, так как приходится проезжать несколько ключей, по которым с шумом и ревом катится весенняя вода. И как только мы выезжали из Комы, то сразу начинали думать, как нам перебраться через Симистюль, как бы не накупаться в Казлыке и в других безымянных логах. Помилуй бог! Чуть не сообразишь, в каком месте лучше переехать какой-нибудь ерундовый ло-

жок, так и ухнешь вместе с коием в какую-иибудь яму. Попробуй потом из нее выбраться. Хорошо, если благополучно вылезешь. И мы, конечно, миого раз купались с Коионом во время этнх поездок. Тоиуть, правда, ие приходилось, потому что Коион хитрый и смелый. И сразу видит, как лучше проехать в опасных местах.

Зато как хорошо, когда приедешь домой. Сколько разговоров о том, что хоть и перемокли, и даже иакупались, но не ушиблись, не покалечились и, слава богу, благополучно добрались до дома.

А как хорошо ндти в Кульчек из Комы пешком около тронцы. Весна в полиом разгаре. Деревья, трава, хлеба иа полосах — все в самом соку, все густо зеленеет и как бы радуется жизни. Цветов видимо-иевндимо. Даже хмурый Тои весь покрыт высокой густой травой н выглядит прнветливее, чем обычно. Птицы все время перепархивают с куста на куст. Где-то иевдалеке о чем-то кукует кукушка. Даже комары ие особеиио иадоедают. Сорвешь иесколько березовых веток и спокойно отмахиваешься. А идти интересно. Дорога идет больше березияками с широкими поляиами, покрытыми сплошиым ковром ярких цветов. Место высокое. Идешь и обозреваешь и комские, и чериавские, и безкишеиские пашии. Все онн со своимн сопками, стрелками, солиопеками и заветерами видиеются где-то виизу. Дальше, за темным анашеиским бором, голубеют таииствеииые горы за Еннсеем. А пройдешь Тон — впереди высится громада Шерегеша. Стоит огромиый и какой-то торжествеииый. И стоит прямо над иашнм Кульчеком. А от Тона иачииаются уж наши кульчекские пашни. А недалеко за Хмелевкой и наша пашня. Идешь и вспомннаешь, как ты там бороиил, возил копны, как потом начал коснть и жать. Вспомииаешь, как мы неделями жилн там с братом иа пашне. Ои с восходом солица выезжал с сохой на полосу, а я корчевал березовые пни иа старой заброшенной залежн.

Наконец мы выехалн на Симистюльскую гору. Пришло время расставаться. Отец слез с тараитаса, поправил шлею на Гиедке, подтянул перетягу и долго-долго что-то возился с супоиью. Ои затягивал ее и виовь распускал, опять затягивал и завязывал н опять отпускал. И все что-то ворчал про себя. Я стоял около тарантаса и не мог поиять, почему ои так долго валандается с этой супонью. Тем более что и супонь-то исправная. Я сам запрягал утром Гиедка. Наконец он последннй раз затянул и завязал ее, поправил на Гнедке еще раз шлею, подтяиул перетягу и подошел ко мие.

— Ну, брат, оставайся. А я поеду. А то дома уж заждались меня. В это воскресенье мать ты уж не жди. А на следующей неделе она приедет понаведать тебя. Ну, я поехал...

Отец слегка тронул Гнедка и медленно, не оглядываясь, поехал вниз в Симистюль. Я долго стоял на дороге и смотрел ему вслед. А потом, когда он скрылся за поворотом, поднялся на высокий чудской курган недалеко от дороги. С него хорошо была видна вся противоположная сторона Симистюля. Дорога медленно наизволок поднималась там в гору. Она то скрывалась за березками, то опять шла чистым местом. Я сел на курган и стал смотреть, как отец медленно едет в гору. Гнедко шагисто, без понуканий, идет по дороге. Он, вероятно, доволен, что наконец-то кончилась эта длинная комская морока с непонятными ожиданиями то у одного, то у другого дома. Отец чувствовал, конечно, что я стою на этом чудском кургане. Но он не оглядываясь ехал шагом в гору, пока не скрылся за крутым поворотом в густом березняке.

Долго еще сидел я на кургане и смотрел на дорогу, по которой отец уехал домой. Я знал, что теперь он едет уж не шагом, а крупной рысью, и хорошо понимал, почему он не оглядывался и не подавал мне с той стороны никаких прощальных знаков. Он понимал, что, может быть, навсегда отвез меня из родного дома и отправил в чужие люди искать свою судьбу...

ПОДПИСАРЁНОК

Глава 1
ВОЛОСТЬ

Я пришел в волостное правление, когда дедушко Митрей только что начал там свою утреннюю уборку.

Я тихо прошел через сени в прихожую и уселся на скамейку.

— На занятие явился? — сразу заметил меня дедушко Митрей.

— Явился...— не очень уверенно ответил я.

— Рановато пришел. Никого еще нет. У кого жить-то будешь?

— У Малаховых...

— Ну что ж... У них тебе будет неплохо. Вот только до волости далековато. Ну да ничего... Молодой еще. Я в твои годы-то бегал как угорелый. И откуда только сила бралась. А теперь совсем здоровья не стало. Сегодня, думал, не встану. Ноги ноют, спина гудит, а голова вроде мякиной набита. К дождю, что ли... Кое-как размялся. Того и гляди, писаря придут, а у меня еще не прибрано. Вон Фомич уж идет. И чего его черт несет в такую рань...

И дедушко Митрей торопливо стал протирать столы и подоконники в канцелярии.

Иван Фомич, о котором нам с отцом рассказывала вчера тетка Оксинья, оказался невысоким, довольно полным человеком лет двадцати пяти в черном картузе, в синей сатинетовой рубахе со шнурком вместо пояса, в черных брюках навыпуску. Проходя через прихожую, он кивнул мне, поздоровался с дедушкой Митреем и стал ходить взад и вперед по канцелярии. Он был, видимо, в хорошем настроении, потому что все время чему-то улыбался и мурлыкал какую-то песню. А потом сел за стол и стал читать откуда-то появившуюся у него газету. За

чтением он то смеялся, то ругался и в заключение кликнул дедушку Митрея.

— Чего тебе?—недовольно отозвался дедушко Митрей.

— Не чевокай, когда тебя зовут по делу. Ты кто такой будешь? Спирин, Димитрий Васильевич? Да? — строгим голосом спросил Иван Фомич.

— Ну, Спирин...— неохотно ответил дедушко Митрей и вышел с веником и тряпкой из комнаты Ивана Иннокентиевича.

— Ты что здесь делаешь?

— Как что! Видишь, пол подметаю, столы вытираю.

— А кто ты есть такой?

— Кто есть, тот и есть.

— Ты отвечай как следует, когда тебя спрашивают...— строго сказал Иван Фомич.— Здесь, в волости, ты кто? Старшина? Заседатель? Судья? Ходок?

— Ну, сторож я... Ты что, не знаешь, что ли? — Дедушко Митрей уж не понимал: шутит с ним Иван Фомич или допрашивает по-настоящему.

— И давно ты тут сторожишь?

— Да давненько уж. Сначала ходоком был, почту по деревням развозил, а теперича, значит, волость охраняю...

— Ну и что ты тут думаешь выслужить?

— А что я здесь выслужу? Служу — этот год за улазских, лонись служил за коряковских, а еще раньше за медведевских. Им самим-то сидеть здесь невыгодно, вот и нанимают меня. Сорок рублей в год получаю, на своих харчах. Это все-таки деньги. На дороге не валяются.

— А благодарности от них ты имеешь?

— Каки таки благодарности?

— Ну, благодарят они тебя как-нибудь за хорошую работу? К пасхе, к рождеству?

— Разевай рот шире! Отблагодарят! Они сами норовят, как бы с меня благодарность сорвать. Как наймут, так и требуют магарыч. Улазскому старосте выставил осенесь две бутылки да ведро пива. Даже не угостил, сукин сын! Все сам вылакал.

— Вот видишь как! А ведь другим сторожам награды дают за хорошую работу, медалями награждают.

— Это где же их так ублажают?

— А вот слушай! — Тут Иван Фомич взял свою газету и стал читать: — «Государь император по всеподданнейшему представлению г. министра финансов в первый день января 1914 г. всемилостивейше соизволил пожаловать за

особые заслуги и отлично усердную службу золотые медали с надписью «За усердие» для ношения на груди на Аннинской ленте сторожам Енисейской казенной палаты: отставному рядовому Михаилу Шатову и запасному ротному барабанщику Петру Клявину...» Хочешь иметь такую медаль? Похлопочем. Завтра же напишем крестьянскому начальнику. А там пойдет дальше.

— А деньги за нее платят? — сразу оживился дедушко Митрей.

— За медаль? Нет, не платят.

Дедушко Митрей подумал немного и потом решительно заявил:

— Тогда не хочу. Не хлопочите.

— Вот те раз! Тебе что — не нужна медаль?

— А для чего мне она, если за нее не платят? Вон Кузька Анашкин пришел с японской с Егорием, и Белошенков отхлопотал ему за этого Егория большие деньги. Вот это я понимаю — награда!

— Ты что же, спиться хочешь, как Кузьма Анашкин?

— Чево?

— Я говорю, ты что хочешь, вроде Кузьмы Анашкина, спиться на даровые деньги?

— Не хочу я спиться. Просто не надо мне никакой медали, если за нее не платят. К чему мне она?

И дедушко Митрей направился к выходу.

— Постой, постой!— окликнул его Иван Фомич.

— Ну, чево тебе еще?.. — спросил его дедушко Митрей.

— Я еще со вчерашнего дня дома не был,— просительным тоном начал Иван Фомич.— Пойду спать. Если будут спрашивать, так ты скажи, что я к приходу почты обязательно буду.

— Прогулял, поди, всю ночь?— ворчливо сказал дедушко Митрей.

— Прогулял не прогулял, а надо пойти соснуть.

Тут Иван Фомич снова что-то замурлыкал и отправился домой.

— Вот смотри да наматывай на ус,— многозначительно сказал мне дедушко Митрей.— Умнеющий человек. Главный помощник у Ивана Акентича. Вся волость на нем держится. А гляди, что винище-то делает. Пьянствовал, видать, всю ночь. И дома уж не ночует — вот до чего дошел. Ох, пошатнулся народ. Покорежился. Как и жить будет?

В каталажку в нашу так и везут со всей волости. И все за пьянство да за буянство.

— А какие это мужики во дворе сидят, дедушко Митрей? На подамбарье?

— Да они самые и сидят — волостные арестанты. Отсиживают свой строк.

— А почему они не в каталажке?

— В каталажке, брат, душно. В каталажку мы их толкаем, когда пристава али крестьянского ждем. А так они сидят у нас на вольном воздухе. Летом — на подамбарье, под навесом, по всему двору. Кому где удобнее. А зимой в сторожке с ямщиками и ходоками. Вина пить им не позволяем, за ворота не пущаем. Разве уж так — посидеть вечером на лавочке, когда начальства нет. А трезвые-то они ведь люди как люди.

И дедушко Митрей ушел к себе в сторожку, а я остался в прихожей ждать писарей. Вскоре сюда стал собираться народ по разным делам к волостному начальству. А кое-кто явился на почту. Оказывается, при волостном правлении производились почтовые операции, и ведал ими сам Иван Иннокентиевич.

Одни пришли сюда пешком, другие приехали на тарантасах, а то и на телегах по дороге на пашню. Тут же с утра торчали ямщики, которые отбывали при волостном правлении гоньбу. В любую погоду они должны были ехать по волости с почтой или везти куда-нибудь по делам волостных начальников. Скоро маленькая прихожая до отказа набилась народом. Мужики сидели на лавках и на скамейках, говорили о погоде, о сенокосе и лениво матюгали волостных писарей, что они так поздно приходят на работу.

Первым прибежал в канцелярию Петька Терсков и как угорелый начал записывать в толстый журнал какието бумаги. Потом появился Павел Михайлович. Он был много старше Ивана Фомича. Бритый, с длинными висячими усами, с короткими ершистыми волосами, в аккуратном сером пиджаке, он показался мне почему-то очень строгим. В прихожей к нему сразу же бросилось несколько человек. Но он молча, не говоря ни слова, прошел в канцелярию, уселся там за свой стол, разложил на нем какие-то дела, свернул не торопясь цигарку и только после этого подозвал к себе какого-то просителя.

Позже всех пришел Иван Осипович. Он был совсем еще молодой. Одет был, как и Иван Фомич, по-летнему,

в рубашку с гарусным шнурком вместо пояса и темные брюки навыпуску. Но только рубашка у него была новая, брюки в складочку, а штиблеты начищены до блеска. И выглядел он празднично, как именинник. Его длинные черные волосы были аккуратно зачесаны, а лицо, изъеденное оспой, было почему-то очень бледное. Как только он уселся на свое место, его сразу же окружило несколько человек.

А я сидел и сидел в прихожей. Павел Михайлович и Иван Осипович второпях меня, видать, не заметили, а подойти к ним я не решался. «Может, заседатель Ефремов,— думалось мне,— придет и заставит меня что-нибудь делать». Но и заседатель почему-то не приходил. Теперь у меня оставалась одна надежда на Ивана Иннокентиевича. Но я и сам понимал, что это была плохая надежда. Пришел он только к полудню, в шляпе, с толстой тростью с золотым набалдашником. Сегодня он дышал тоже с хрипом и свистом. Тем не менее у него, как и вчера, было веселое настроение. Окруженный посетителями, он прошел в канцелярию, сказал помощникам: «Здравствуйте, господа!»— и скрылся в своей комнате. А я так и остался сидеть в прихожей.

Мне было это до слез обидно. Но все же я как-то укрепился и не раскис. А потом стал присматриваться к тому, как работают Павел Михайлович и Иван Осипович. Около Павла Михайловича народ особенно не задерживался. А Иван Осипович, тот сначала поговорит с человеком, потом начнет что-то искать в книгах, потом напишет что-то и с этим написанным идет к Ивану Иннокентиевичу. А то сразу напишет несколько бумаг и отнесет их ему. А просители, которым он напишет эти бумаги, уже толкутся около дверей Ивана Иннокентиевича или прямо лезут к нему в комнату.

А Иван Иннокентиевич сидел у себя за закрытой дверью и принимал этих посетителей. Принимал он их по одному — тихо, спокойно. Но иногда оттуда слышался шумный разговор. Это Иван Иннокентиевич отказывал кому-то в какой-то просьбе. И люди выходили от него то с какими-то бумажками, а то с пустыми руками. Те мужики, которые выходили с бумажками, были очень довольны. А те, которые выходили без всяких бумажек, были очень сердиты. После их ухода Иван Иннокентиевич, видать, тоже некоторое время сердился.

Иногда Иван Иннокентиевич звал к себе Павла Ми-

хайловича или Ивана Осиповича, а иногда сам выходил к ним и что-то спрашивал.

А один раз, когда в прихожей уж никого не было, а в канцелярии стояло только три человека около Ивана Осиповича, он вышел очень сердитый.

— Как же это так, Иван Осипович, вы ссыльнопоселенцу выдаете нормальный паспорт?..

— Но по справке от старосты он числится крестьянином, имеет домообзаводство, исправно платит подати.

— Это на порядок выдачи паспортов не распространяется. Канышев,— обратился он к мужику, который с сердитым видом стоял около Ивана Осиповича.— Вы ссыльнопоселенец?

— Крестьянин я,— ответил Канышев.

— Но из ссыльных?

— Ну, из ссыльных. Уж без малого пятнадцать годов состою в крестьянстве.

— Вот видите,— обратился опять к Ивану Осиповичу Иван Иннокентиевич.— Надо проверять все эти справки. Хорошо, что я случайно помню, что Канышев поселенец. Так что исправьте ему в паспорте так: предъявитель сего Енисейской губернии, Минусинского уезда, Комской волости, деревни Коряковой крестьянин ИЗ ССЫЛЬНЫХ Василий Алексеевич Канышев уволен в разные города и села Российской империи в пределах Восточной Сибири... Понимаете — крестьянин из ссыльных и в пределах Восточной Сибири... Всем поселенцам, прожившим не менее десяти лет на месте приписки или перечисленным в крестьяне, мы можем выдавать паспорта, но только на Восточную Сибирь... Понимаете? На ВОСТОЧНУЮ СИБИРЬ. Вы куда, Канышев, хотите ехать?

— На родину хочу ехать. В Расею.

— Поезжайте, Канышев, куда хотите. Но мы за вас не в ответе. Мы отпускаем вас только по Восточной Сибири...

— Это как же понимать... по Восточной Сибири?

— Значит, в пределах Иркутского генерал-губернаторства — Енисейская и Иркутская губернии, Забайкальская и Якутская области.

— Мне надо в Тамбовскую губернию.

— Городской или деревенский был на родине-то?

— Деревенские мы... Может, знаете Моршанский уезд, село Голощекино?

— Ну и поезжай с богом. Только не останавливайся

надолго в городах. Повидаешься с кем надо — и домой. Сейчас везде спокойно. А если какая заваруха начнется, сразу возвращайся. Когда собираешься ехать-то?

— Да после страды уж. Управлюсь с хлебом и поеду...

— Ну, благополучного тебе пути,— сказал Иван Иннокентиевич, подписал исправленный Иваном Осиповичем паспорт и вручил его Канышеву. Тот осторожно взял паспорт и вышел в прихожую. Здесь он смачно сплюнул в угол и ушел.

А Иван Иннокентиевич продолжал строчить Ивана Осиповича:

— ...И могилевским выдаете нормальные паспорта. Они же еврейки... Вы же сами пишете — и у д е й с к о г о вероисповедания. Значит, надо добавить: уволены в разные города и села Российской империи в черте еврейской оседлости. Понимаете, в черте е в р е й с к о й о с е д л о с т и. Всем евреям мы выдаем паспорта обязательно с такой оговоркой... Вы куда едете, Фейга Моисеевна?— спросил он одну из женщин, которая была постарше.

— Во Владивосток.

— Ну и прекрасно. С таким паспортом вы можете ехать куда угодно, кроме столичных городов.

— В столичных городах нам делать нечего,— сердито ответила Фейга Моисеевна.

Хотя эти женщины и получили паспорта, но ушли из волости чем-то недовольные. После этого в канцелярии на некоторое время установилась тишина. Иван Иннокентиевич ушел в свою комнату, Иван Осипович с обиженным видом рылся в бумагах, а Павел Михайлович что-то писал за своим большим столом.

Я уж подумывал, не пойти ли мне теперь к Ивану Иннокентиевичу? Подумывать-то подумывал, но так и не пошел. Не очень-то пойдешь к нему, когда он даже Ивана Осиповича так отчитал. И я по-прежнему остался сидеть в своем уголке в прихожей.

Скоро в волость стал собираться новый народ. Сначала пришел комский писарь Родионов, высокий, нескладно скроенный молодой человек. Он принес какие-то бумаги и сразу же вручил их Петьке. После него заявился кругленький, лысенький, наголо бритый человек в вышитой белой рубашке, в брюках навыпуску. Он както вкрадчиво поздоровался со всеми, осторожно посмотрел в другую комнату на Ивана Иннокентиевича, повер-

телся некоторое время в канцелярии и незаметно ушел. Оказывается, это был тот самый Белошенков, который писал мужикам всякие жалобы и прошения по начальству.

Потом пришел старшина и привел с собой какого-то старика из богатых комских мужиков. Старик этот почему-то все время подхихикивал и всем подмигивал, а со старшиной говорил какими-то многозначительными намеками. И старшина был уже не тот, который наезжал к нам в Кульчек выколачивать подати. Тот был высокий, чахлый, бритый, с обвислыми усами, а этот здоровый и румяный, со стриженой бородой и стрижеными усами. Он заглянул в комнату Ивана Иннокентиевича, а потом уселся за стол Ивана Фомича и стал рассказывать, как у комского богача Тимофея Зыкова дочь съездила нынче весной на пароходе в Красноярск, прожила там две недели и за это время научилась говорить по-городскому, по-образованному.

— Тимофея она зовет теперь папаней, а Анну — маманей,— рассказывал со смехом старшина.— Сестренку Настю кличет Тюней, а брата Микишку величает Миком...

— А телегу называет екипажем,— подхватил старик.— Папаня, говорит, с утра запрёг в екипаж Пегануху, а маманя собрала и сложила в него все наши шундры-мундры...

— При нас она учила их есть по-образованному,— продолжал старшина.— Прямо умора! Налила всем по отдельной тарелке и сует под нос каждому. «Теперича,— говорит,— дохтура запрещают есть из общей чашки». А Тимофей смотрел, смотрел на все это, потом плюнул и говорит: «Ты хоть при добрых людях-то не срами меня со своим городским обхождением!» Потом пошел в куть, принес оттуда большую хлебальную чашку, вылил в нее из всех тарелок щи и говорит: «Пусть в городе едят по-городскому, а мы в деревне будем есть по-своему, по-деревенски». Сказал это и сунул ей ложку в руки: «Ешь,— говорит,— из общей чашки, лахудра этакая, пока я тебя по-деревенски не отдубасил!» Та, конечно, в слезы. Ну, куды там... Мужик так завелся, что, того и гляди, за перетягу возьмется. Тут мы с Епифаном уж стали его уговаривать. Брось, говорим, Тимофей. Не растравляй себя. Может быть, в городе и на самом деле ездят в екипажах, а едят каждый наособицу с отдельных тарелок.

Пока шел разговор о Тимофее Зыкове и его дочери,

в волость пришел урядник — плотный человек невысокого роста, в полной полицейской форме, с саблей и револьвером. Он поздоровался со всеми, заглянул в комнату Ивана Иннокентьевича и важно расселся в канцелярии ждать почту из Новоселовой.

Наконец в волости появился Иван Фомич. Он, видать, не особенно торопился сюда. А может быть, у него сегодня не было здесь срочной работы. Он сразу же заметил меня в прихожей:

— Ты что тут сидишь?

— На занятия пришел, а работы не дают,— чуть не со слезами ответил я.

— Ай, ай, ай!— укоризненно промолвил он.— Это никуда не годится. Тебя как звать-то?

— Иннокентием... — ответил я.

— Обожди немного.— Он прошел в канцелярию и через минуту позвал меня.— Ты не топчись там в прихожей. Утром, как придешь, сразу садись на мое место. А потом я тебя уж устрою... Петька! Как у нас там гектограф?

— Ничего не берет, Иван Фомич. Надо перетапливать.

— А почему не перетопил?

— Не успел, Иван Фомич...

— Ты что, не знаешь, что гектограф всегда должен быть наготове? Ну-ка, Иннокентий, сбегай в сторожку и узнай, как там у дедушки Митрея печь. Если топится, то пусть отставит с плиты все свои горшки и сковородки. А если не топится, то пусть ее немного подшурует. Скажи — надо спешно перетапливать гектограф.

Я не знал тогда еще, что за штука этот гектограф и для чего его надо перетапливать. Но расспрашивать Ивана Фомича я не посмел и побежал скорее в сторожку.

Сторожкой называлась в волостном правлении большое низкое помещение в боковой пристройке, с тремя окнами в переулок, с большим столом в переднем углу и маленькой иконой на божнице. В глубине, с противоположной стороны, виднелись две грубо сколоченные двери. В них имелись маленькие отверстия с железными прутьями. Двери вели в волостные арестантские камеры. А между камерами стояла кирпичная печь с большой чугунной плитой. Эта печь отапливалась из сторожки и обогревала обе камеры, которые ничем не отличались от нашей кульчекской каталажки. Только были побольше и

почище, и двери у них были покрепче. И в той и в другой камере имелись широкие нары.

В сторожке за столом сидело несколько человек. Они хлебали щи из большой миски, а дедушко Митрей стоял у плиты и что-то шуровал на сковородке.

— Дедушко Митрей! — окликнул я его.— Иван Фомич спрашивает — можно ли сейчас перетопить на плите этот самый, как его?..

— Гитограф, чево ли? — подсказал дедушко Митрей.— Можно, можно. Тащите.

Я побежал к Ивану Фомичу и сказал, что плита в сторожке топится и гитограф можно перетапливать.

— Гектограф, — поправил меня Иван Фомич.— Ты знаешь, что это такое? Это, брат, простая, но очень хитрая штука. Петька! Где гектограф?

— В судейской, Иван Фомич.

— Тащи его.

Когда мы с Иваном Фомичом пришли в сторожку, Петька уже принес туда большой противень, заполненный каким-то темно-синим месивом. Иван Фомич поставил его на горячую плиту.

— Гектограф, мой милый,— обратился он ко мне,— простая и вместе с тем очень хитрая штука. Видишь, на этом железном листе что-то вроде студня. Да это и есть студень, только не на мясном наваре, а из желатина и глицерина, и заменяет он нам, может быть, не меньше десяти писарей. Пока ты здесь его перетапливаешь, я особыми чернилами настрочу всем сельским старостам нашей Комской волости одно строгое приказание. Когда студень застынет, мы напечатаем на нем восемнадцать оттисков нашего приказания и разошлем его потом всем нашим деревням. А без гектографа эту бумагу нам пришлось бы переписывать не менее двадцати раз. Подумай, какое это облегчение в работе.

— А повестки с вызовом в волостной суд вы печатаете тоже на гектографе? — спросил я Ивана Фомича.

— И повестки, и циркуляры разные. Иногда нам присылают длинные-длинные циркуляры. Ну, что-нибудь насчет выколачивания с мужиков податей, чтобы весной не жгли в полях палы, не оставляли в тайге костры, чтобы прививали обязательно всем ребятишкам оспу и все такое... С такого циркуляра мы пишем особыми чернилами копию и делаем на ней приписку: «Всем сельским старостам — к сведению и неуклонному исполнению», ста-

вим подписи нашего волостного начальства. Потом печатаем все это на гектографе и рассылаем по волости. Вот, брат, какая штука этот гектограф. Спасибо тому, кто его придумал. Теперь вставай к плите. Смотри внимательно да помешивай его, когда он начнет распускаться. Под плиту дров не добавляй. Важно, чтобы он распускался медленно. Я потом загляну сюда или пришлю Петьку.

Теперь я остался один перетапливать этот гектограф. Он медленно таял на моих глазах и постепенно превратился в темную жидкую массу. Я усердно перемешивал ее и ждал Ивана Фомича или Петьку. Но ни тот, ни другой не приходили. Тогда я сам решил сбегать к ним и оставил гектограф на попечение дедушки Митрея.

В канцелярии я увидел много народа. Кроме комского писаря, урядника и старшины, здесь сидели фельдшер Стеклов, Белошенков и еще какие-то люди. В комнату к Ивану Иннокентиевичу тоже набилось много народа, и оттуда то и дело доносился оглушительный смех.

Иван Фомич сидел за своим столом и разговаривал с каким-то человеком. Увидев меня, он рассмеялся и сказал:

— Почта, брат, из Новоселовой пришла. Теперь мне отсюда уж не вырваться. Вот тебе бутылка с глицерином...— Тут Иван Фомич достал откуда-то из-под стола бутылку.— Налей из нее в гектограф, ну так примерно с полчашки и все время размешивай. А когда он у тебя равномерно разойдется, осторожно сними его с плиты и поставь у них в сторожке на стол минут на двадцать. Когда он как следует застынет, попроси дедушку Митрея отнести его в судейскую. А сам иди домой. Сегодня работать нам все равно не дадут. А завтра приходи пораньше и занимай мое место. Я подойду, и мы начнем с тобой печатать.

Глава 2
ПЕРВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

На другой день я явился в волостное правление, когда дедушко Митрей еще не управился там со своей работой. К моему удивлению, я уже застал Ивана Фомича. Как и вчера, он читал за своим столом какую-то газету.

— Обожди немного,— сказал он, увидев меня, и снова углубился в чтение. При этом он, как и вчера, все время то гмыкал, то смеялся, то ругался. Наконец аккуратно сложил газету, шлепнул по ней ладонью и сказал:

— Живут же где-то люди, что-то делают! В газетах о них пишут. В одном месте организовали кооператив, в другом — кредитное товарищество, в третьем — маслодельную артель. В Солбе учредили еженедельный по средам базар. В одних местах какие-то торги, в других переторжки. В селе Амонашевском обнаружен труп неизвестного человека. Только у нас в волости ничего не происходит. Во всей волости нет ни одного кооператива, ни одной маслодельной артели, ни одного базара. Попробовал отец Петр организовать в Коме общество трезвости. В селе триста дворов, не считая всяких приезжих и поселенцев, а в общество вступило четыре человека. Вот и живем так. Весь мир сам по себе, а мы сами по себе. И знают нас только потому, что мы платим подати да поставляем солдат. Только поэтому и числимся где-то по окладным листам да по призывным спискам. Вот так-то, мой дорогой. Мы ведь, оказывается, родня с тобой. Наша Оксинья-то теткой тебе приходится. Ну что ж, будем родственниками. А теперь займемся гектографом. Или постой, поговорим сначала с дедушкой Митреем.

Тут Иван Фомич снова развернул газету, подмигнул мне и кликнул дедушку Митрея. Тот вышел из судейской с веником в руках и недовольно спросил:

— Ну, чего тебе опять?..

— Ты недавно плакался, что у вас в прошлом году потерялся конь из табуна?

— Потерялся.

— Не нашли его?

— Найди попробуй. Все суседские деревни объездили, везде узнавали, спрашивали. Но так и не нашли. Добрый конь был. Сорок рублей давали. Пропал ни за грош.

— А какой масти он был?

— Мухортой масти, с темными крапинами.

— Нашелся твой конь, Митрей Васильевич. Говори: слава богу.

— Как нашелся?

— Так и нашелся. Пришатнулся к лошадям Сосипатра Козулина в деревне Тарайской.

— Это где же такая деревня? Я что-то и не припомню... За рекой или на Июсе где?..

— Деревня-то? Далеконько отсюда. В Знаменской волости, где-то за Батенями...

— Эвон куда зачесался! Далеко ведь отсюдова. Неужто цыганы туда угнали?

— И цыгане могли угнать, и сам мог туда податься. Как перебрался за реку, так и пошел от деревни к деревне прямо в Знаменскую волость. А там, значит, и пришатнулся к лошадям этого Сосипатра Козулина.

Иван Фомич говорил все это серьезно, и дедушко Митрей даже не заметил, что его опять разыгрывают...

— Через день, через два, а может, и через неделю,— продолжал Иван Фомич,— Сосипатр заметил чужого коня со своими лошадьми. «Чей это конь? Откудова?» — не знает. Тут поймал Сосипатр твоего Мухортка, привел в деревню, спрашивает соседей: «Не знаете ли, мужики, чей это конишко? К моим лошадям пришатнулся». Никто из его соседей твоего Мухортка, конечно, не знает. Тогда повели они его к дяде Вахромею, который помнит в Тарайской наперечет всех лошадей до седьмого колена. Тот посмотрел на твоего Мухортка и сразу говорит: «Ведите этого коня к старосте. Это конь приблудный. У нас в деревне ни у одного хозяина нет такого. Был похожий немного у Малафея Беспрозванного, так того коня у него уж три года, как волки задрали». Тут Сосипатр с твоим конем к старосте. А староста и говорит Сосипатру: «Раз этот Мухортый пришатнулся к твоим коням, ты, значит, и соблюдай его, пока мы не найдем ему хозяина. Можешь на нем работать. Но чтобы конь был в теле, в полном порядке». И сразу все это со своим писарем оформил по всем правилам. То есть взял с Сосипатра расписку на коня и написал в Знаменское волостное правление, чтобы там сделали розыски хозяев к твоему Мухортку. Те, конечно, объявили по всей Знаменской волости, что в деревне Тарайской у Сосипатра Козулина есть пригульная лошадь такой-то масти, таких-то примет. Но в Знаменской волости хозяев твоему Мухортку, как и следовало ожидать, не нашлось. Тогда Знаменское волостное правление написало обо всем этом в Красноярск в газету, а я сейчас прочитал и решил скорее тебя обрадовать.

— Они что же, и про Вахромея этого напечатали, к которому моего Мухортка водили, и про Малафея, у которого конь похожий был?

— Ну, про Вахромея они ничего не печатали. Это я

уж присочинил немного. Но ведь это и так понятно. Ведь в каждой деревне есть свой Вахромей, который всех коней знает наперечет. У вас в Кульчеке есть кто-нибудь, кто знает деревенских коней и жеребят наперечет? — обратился ко мне Иван Фомич.

— У нас,— сказал я,— Секлетея Афанасьева Полякова. Всех чужих коней к ней водят. Она сразу и говорит — чей конь, от какой кобылы, от чьего жеребца, в каком табуне ходил. Она все знает и помнит.

— Вот видишь!

— А что там написано насчет моего Мухортка? — спросил дедушка Митрей.

— Да то и написано, что Знаменское волостное правление разыскивает хозяев к пришатнувшемуся к лошадям крестьянина Сосипатра Козулина мерина масти мухортой, роста среднего, около четырех лет, грива на правую сторону, на лбу звездочка, тавра нет, правое переднее копыто расколото. Оценена в шестнадцать рублей.

Вначале дедушко Митрей внимательно слушал Ивана Фомича. Но когда тот начал перечислять приметы пришатнувшегося к лошадям Сосипатра Козулина мухортого коня, на лице его появилось недоумение, которое потом сменилось досадой. Наконец он плюнул в сторону и сказал:

— Вранье все это! Никакой звездочки у моего Мухортка на лбу не было. И тавро у него было на задней левой ляжке. Ты мне про какого-то другого коня читаешь.

— Я тебе про коня мухортой масти читаю. Тут этих объявлений насчет пришатнувшихся лошадей в каждой газете по нескольку штук, и все о конях самых разнообразных мастей: и сивой, и каурой, и рыжей, и пеганой. А вот насчет мухортого прочитал первый раз и сразу же решил, что это о твоем пишут.

— Тоже скажешь... Мне за Мухортка сорок рублей давали, да я и то не отдал. Это был конь! Хоть под седлом, хоть на вожжах. В обозе ходил на нем два раза в Красноярско. А тут оценили коня в шестнадцать рублей. И правое копыто еще расколото. Такого коня ковать надо круглый год.

— Жаль, жаль! А я думал, объявился твой Мухортко. Дай, думаю, обрадую человека...

— Ничего ты не думал. Если бы думал, так не морочил бы мне голову. А я развесил уши и слушаю. А то и невдомек, как он попадет от нас в эту Знаменскую во-

лость. Большу грамоту знаешь, а такой пустяк сообразить не можешь...

И дедушко Митрей ушел в сторожку в уверенности, что на этот раз он как следует отчитал Ивана Фомича.

А Иван Фомич сходил в судейскую и принес оттуда гектограф. Потом протер его влажной тряпкой и показал мне одну из тех строгих бумаг, которые повергали в трепет нашего Финогена и заставляли Ивана Адамовича спешно сочинять в волость очередные сводки и ведомости.

Потом Иван Фомич положил этот циркуляр на гектограф так, чтобы весь текст, написанный химическими чернилами, впитался в студень, чтобы каждая буква, каждая точка, каждая запятая вошли в него. Через некоторое время он осторожно содрал циркуляр с гектографа и стал накладывать на него один за одним чистые листы бумаги. Положит лист, разгладит его как следует и сразу же снимет. Потом другой, потом третий... И на этих листах отпечатывается красивыми оранжевыми буквами точь-в-точь тот самый циркуляр, который он смял и бросил под стол. А я стоял и дивился на такое дело.

— Понял теперь, как нужно работать на гектографе?

— Понял.

— А ну, попробуй!

Я взял чистый лист бумаги и осторожно положил на гектограф. Потом пригладил его несколько раз и снял. И у меня тоже отпечатался этот циркуляр, только немного кособоко.

— Ладно, сойдет! — сказал Иван Фомич.— Напечатай теперь таким манером двадцать экземпляров, потом осторожно протри гектограф влажной тряпкой и поставь под стол. А циркуляры принеси мне.

Через некоторое время я принес Ивану Фомичу отпечатанный циркуляр, и он немедленно «расписал» его всем сельским старостам Комской волости.

Я представил, как через несколько дней все старосты Комской волости, в том числе и наш Финоген, получат эту строгую бумагу, и стало обидно, что никто из них не догадается, что это я напечатал ее на гектографе.

— Ну, вот теперь у тебя есть уж постоянная работа. Будешь печатать нам на гектографе. Потом, когда немного освоишься с делом, сам будешь писать эти бумаги

химическими чернилами. Почерк у тебя хороший. А пока, до поры до времени, помогай в работе нашему Петьке.

Петька Терсков, которого дедушко Митрей именовал заочно брандахлыстом, был комский парень лет семнадцати. Он уже курил, соображал что-то насчет выпивки и старался в волости держаться со всеми как взрослый. В товарищи ему я, конечно, не годился.

Петька очень обрадовался, что я буду его помощником. Он отвел меня в маленькую пустую комнату, вход в которую был из прихожей, усадил там за большой стол, потом принес туда огромную кипу картонных папок с подшитыми в них бумагами.

На каждой папке большими буквами было напечатано:

Дело №
Комского Волостного Правления
начато 191.... г.
кончено 191.... г.

И на каждой папке от руки уж было написано — какое именно это дело. Или «С текущей перепиской», или «С циркулярными указаниями высшего начальства», или «С податными реестрами», или со статистическими отчетами. Дел было много. Больше двадцати штук.

А потом Петька принес еще огромную пачку бумаг. Они были размечены Иваном Осиповичем красным карандашом, и я должен был рассортировать их по сделанным разметкам, а потом подбирать их по датам поступления и отправления и подшивать в соответствующие дела.

Объяснив мне все это и показав, как делается подшивка в картонные папки, Петька оставил меня одного и спокойно ушел к себе в канцелярию.

А подшивать волостные бумаги оказалось занятием интересным. Прежде чем подшить бумагу к намеченному делу, ее надо было непременно просмотреть и даже внимательно прочесть. Поначалу я подшивал разные циркуляры и приказы Комского волостного правления сельским старостам. Все они были очень строгие и сердитые и почему-то всегда с угрозами. Недаром Финоген не ждал от них ничего хорошего.

И вот теперь эти строгие бумаги лежали у меня на столе, и я спокойно вчитывался в них. Мало того. На сто-

ле у меня лежали бумаги от самого крестьянского начальника, от станового пристава, от мирового судьи. Эти бумаги были тоже строгие и такие же сердитые и с угрозами. Только пугали они уж не сельских старост, а самого волостного старшину, все Комское волостное правление.

Кроме строгих и сердитых приказов от новоселовского начальства, было много бумаг из Минусинска от исправника, от уездного казначейства, от воинского присутствия, из Ачинска от воинского начальника, из Красноярска от какого-то тюремного надзора, от статистического комитета, от губернского по крестьянским делам присутствия и даже от самого господина губернатора. Эти бумаги были тоже очень строгие. Но строгость в них была какая-то вежливая.

Крестьянский начальник и пристав требуют, приказывают, последний раз предписывают, и все время «под страхом строгого административного взыскания». А оттуда то же самое, но только в других оборотах: «О выполнении благоволите донести в самом непродолжительном времени», «Статистический комитет надеется не позднее пятнадцатого мая получить от вас исчерпывающие сведения по данному вопросу».

А потом я стал подшивать бумаги, присланные в волость из деревень от сельских старост. Эти бумаги интересовали меня главным образом почерками писарей. Вот донесение комского старосты о ссыльнокаторжном Анкудинове. Оно написано прямым, красивым почерком комского писаря Родионова. Вот бумажка безкишенского старосты. Она написана каким-то серым, слепым почерком, с завитушками. А вот «рапорт» из Проезжей Комы. Написан он мелким, четким, красивым почерком. Поля широкие, строчки ровные. Сразу видно, что это писал настоящий писарь. В волости у нас восемнадцать деревень. И из всех в волостное правление поступали донесения, сообщения и даже какие-то «рапорты». Все они были написаны разными почерками, и за каждым мне представлялись разные писаря, непохожие друг на друга.

В общем, подшивка бумаг двигалась у меня довольно медленно. Перед окончанием занятий Петька заглянул ко мне в комнатку и остался очень недоволен моей работой.

На другой день я тоже больше читал, чем подшивал свои бумаги, и закончил работу только на третий день. Теперь Петька поручил мне наделать ему побольше конвертов для отсылки бумаг сельским старостам. Он принес

пачку чистой бумаги и показал, как можно сразу за один прием сделать десять заготовок для конвертов и моментально их склеить. И опять оставил меня одного.

Эта работа была нетрудная. К тому же здесь мне не приходилось отвлекаться на чтение разных интересных бумаг, и я быстро сделал Петьке двести с лишним конвертов. Он даже удивился.

Через некоторое время Петька доверил мне записывать бумаги во входящий и исходящий журналы. Во входящий полагалось вписывать не только номер поступившей бумаги и от кого она получена, но и о чем она написана. А написаны они были иногда так, что их трудно было понять, а не только записать. В этих случаях я обращался за помощью к Петьке. Он внимательно прочитывал такую бумагу, долго думал о чем-то, потом возвращал ее мне и говорил: «Запиши как-нибудь».

А потом мне начали подбрасывать работенку Иван Фомич, Павел Михайлович и даже Иван Осипович.

— Вот перепиши-ка этот циркулярчик о борьбе с грызунами,— говорил мне Иван Фомич.— И напечатай его на гектографе.

— А теперь таким же манером сооруди вот этот приказ о борьбе с лесными пожарами,— говорил он в следующий раз и вручал мне длинный циркуляр высшего начальства, который обязывал сельские власти принимать самые неотложные меры к тушению возникающих летом лесных пожаров.

Потом я графил разные отчеты и ведомости, переписывал сводки о состоянии посевов, о взимании окладных сборов, о наличии хлебозапасных фондов в волости и все такое.

Иван Осипович поручал мне снимать копии со статейных списков на ссыльнокаторжных, присланных на поселение в нашу волость. А Павел Михайлович приспособил меня писать и печатать ему на гектографе повестки с вызовом заинтересованных лиц в волостной суд. Даже сам Иван Иннокентиевич стал поручать мне иногда кое-какую работенку, главным образом переписывать разные статистические отчеты.

Теперь я был в волости уж постоянно при деле, и Иван Иннокентиевич положил мне даже жалованье — три рубля в месяц. На такие деньги можно было уж жить на свой счет и не быть в тягость дяде Якову и тетке Татьяне.

Когда я принес ей деньги, она даже расплакалась: «Никакой платы нам от тебя не надо! Спасибо, что живешь с нами. А деньги эти мы пошлем твоей матери. Порадуем ее первым твоим заработком».

Один раз, когда я довольно быстро и аккуратно переписал для Ивана Иннокентиевича какой-то отчет, он подмахнул его не читая, немного подумал о чем-то и позвал к себе Ивана Фомича.

— Меня очень беспокоит наша книга для записи арестантов,— сказал он Ивану Фомичу.— Ведется она у нас неаккуратно. Случись ревизия — опозоримся с этим делом на всю губернию. Может быть, поручить вести ее Иннокентию? Дело несложное. Пусть парень приучается к самостоятельной работе.

Иван Фомич подумал немного и одобрил намерение Ивана Иннокентиевича. С этого дня я стал вести арестантскую книгу на заключенных в комской волостной тюрьме.

Отбывающие в волостной тюрьме отсидку арестанты все свое время проводили в сторожке. В ней они и дневали, и ночевали, и кормились на своих харчах — варили на плите у дедушки Митрея щи, жарили сало, кипятили чай. Дедушко Митрей был в волости единственным тюремщиком и держал своих арестантов в большой строгости. В случаях неожиданного появления начальства — пристава или крестьянского начальника — они должны были немедленно прятаться в свои камеры. Но с большим начальством бог как-то миловал. Даже урядник, в общем-то для арестантов человек вредный, в сторожку не заглядывал.

Вместе с арестантами в сторожке проводили время приезжавшие в волость старосты. Здесь находились дежурные ямщики, здесь предпочитали проводить время старшина и заседатель. Они чувствовали себя тут начальниками, были окружены почтением и не сидели с закрытыми ртами, как у нас в канцелярии.

Теперь я стал аккуратно записывать в арестантскую книгу всех мужиков, отбывающих по решению волостного суда или по приговору мирового судьи отсидку, и выписывать их по истечении положенного срока. Тут для меня самым важным был прием арестанта, приведенного под конвоем деревенского десятского. Его приводят ко мне со двора, и я записываю его в арестантскую книгу с точным указанием времени прибытия на отсидку. С этого момента он становился уже нашим арестантом.

Делать это мне почему-то было неловко, так как аре-

стант смотрел на меня как на волостного тюремщика. Получалось, что это я делал его арестантом. А потом десятскнй уж по моему приказаиию отводил его в сторожку и сдавал дедушке Мнтрею.

По истечении положеииого срока я выписывал его нз своей арестантской кинги, и он становился вольным человеком н отправлялся домой.

Таков был порядок водворення арестантов в волостную тюрьму. Но этот порядок строго не соблюдался. Иногда привезенного арестанта сразу сдавали в сторожку дедушке Митрею, а мне прнносили направление от сельского старосты. Оформлять заочно мне даже нравнлось, хоть я н поннмал, что это нарушение порядка, и на всякий случай ходнл потом в сторожку посмотреть на арестанта.

Вести арестантскую кннгу оказалось нетрудно. Изредка лишь прнвезут кого-ннбудь нз той нлн нной деревнн на отсидку за драку нлн мелкую кражу. Запишешь его в свою книгу, а дня через трн-четыре уж выпнсываешь. Редко-редко кого засудят на неделю. Так что с этнм делом я вскоре хорошо освонлся. Одно только тут меня пугало, как бы в волость не нагрянул крестьянскнй начальннк. Я видел, как все его здесь боялнсь, н мне казалось, что если он приедет проверять волость, то начнет свою проверку с волостной тюрьмы и, значнт, с моей арестантской кннги.

К моему удивленню, я узнал от Ивана Фомнча, что крестьянскому начальннку ревизовать волостное правленне ие положено. Ревизией волостей занимаются особые чнновннкн прн губернаторе, когда он выезжает из Красноярска для обозрення губерннн. Выезжает он для этого обычно летом, в хорошую погоду, на большом пароходе и делает остановки в волостных селах по берегу Енисея. Во время этих поездок сам он занят слушаннем торжественных молебствнй, встречамн н обедамн с местиым начальством и купечеством, а его чнновинки особых порученнй тем временем ревизуют местные волостные правлення.

После торжественных встреч н молебнов господину губернатору устранвают пышные проводы. Все довольны встречей с иачальннком губериин н с умиленнем вспоминают, где, когда и у кого он был, кому пожал руку, кому сказал ласковое слово. Только пнсаря в волости сндят повеснв головы и ждут со дня на день позорной казин.

И действнтельно, через иекоторое время в губернскнх ведомостях появляется приказ господина губернатора, в котором в назиданне всей губернии он делает жестокий

разнос волостным властям тех мест, которые соизволил посетить: в волостных правлениях грязь и беспорядок, волостные тюрьмы в антисаиитарном состоянии, дороги плохи, мосты в неисправности, по податям большой недобор н недоимка... Ругают волостную администрацию, а отдуваться за все прнходится писарям.

— Доведись такая ревизия у нас,— говорил Иван Фомич,— что возьмешь с нашего старшины или заседателя? Их никакой ревизией ие прошибешь. Они рады будут, если их освободят от должностей. А нам беда. Прикажут сменить волостного писаря, подобрать новый состав помощников. Ивану Иннокентиевичу это как с гуся вода. Он перелетная птица. Снимут в Коме — он поедет в Ужур, в Знаменку, в Балахту, на худой конец, в Солбу али в Беллык. Будет там рассказывать свои анекдоты. А нам, брат, труба. Выгонят с белым билетом — куда пойдешь, кому пожалуешься? Так что будь осторожен и аккуратен. А то и сам засыплешься, и нам всем из-за тебя не поздоровится.

Глава 3
ПОСЕМЕЙНЫЕ СПИСКИ

После того как мои арестантские дела наладнлись, Иван Фомич вручил мне пачку метрических выпнсей Комского, Анашеского, Медведевского и Сисимского церковных приходов на новорожденных н умерших и велел разнести этих новорожденных и умерших по волостным посемейным спискам.

— Давай, брат, давай! Пора тебе по-настоящему входить в дело,— наставлял он меня.— Действуй. Но учти — к этой работе надо относнться особенно строго. Ннкаких помарок, ннкакнх исправлений и тем более ошибок. Это ведь на людей, поннмаешь, списки, а не на домашний скот к податным ведомостям. По ним составляются призывные списки на рекрутов. Тут иужна пущая осторожность.

Я и сам понимал, какое важное дело поручает мне Иван Фомнч. Посемейные списки велись в волости на каждую деревню, на каждое село по отдельности. Это были толстые книги, изготовленные в Красноярске в типографии, и записи в них делались по строго определенной форме. Люди, прожнвавшие в волости, числилнсь в этих спнсках

семьями. Семьи у всех огромные, и в них трудно разобраться. У другого хозяина несколько сыновей и несколько дочерей. Сыновья уж все поженились, у них пошли свои дети. Старшие сыновья уж выделились и живут своим домохозяйством, а по списку числятся по-прежнему в отцовской семье. А дочери повыходили замуж в другие деревни, а отметок об этом тоже нет. Только записи об отношении мужчин к воинской повинности велись в этих списках более или менее исправно. И почти в каждой семье на мужчин можно было найти такие записи: «Призван в 19... г. на действительную военную службу», «Зачислен в 19... г. ратником ополчения первого (или второго) разряда», «Освобожден в 19... г. от военной службы по состоянию здоровья», «Убит под Мукденом во время русско-японской войны».

Хотя посемейные списки старались вести аккуратно, но все равно они были неточные и все время исправлялись и дополнялись. Неправильные записи или случайные ошибки правили красными чернилами. Тут надо было не семь, а семьдесят семь раз отмерить и проверить, прежде чем внести какую-нибудь запись.

Ко всему этому в посемейных списках имелось много домохозяев с одинаковыми фамилиями. В Коме было много Кирилловых, Анашкиных, Зыковых и Черновых, в Анаше — Колеговых и Терсковых, в Улазах — Черкасовых и Сиротининых, в понизовых деревнях Лалетиных и Соломатовых, а Сисим и Корякова были почти сплошь заселены Потылицыными и Юшковыми. Кроме того, почти в каждой деревне имелись свои Непомнящие и Беспрозванные. У многих сходились не только фамилии, но и имена.

Когда я сунулся в комский посемейный список, то сразу застрял там среди нескольких косяков Зыковых, Анашкиных и Черновых, просидел два дня и не осмелился сделать ни одной записи. Иван Фомич заметил это и посоветовал мне отложить в сторону комский список и начать работу с кульчекских метрик. «С кульчекским списком,— сказал он,— тебе разобраться будет легче. А с комскими поможет Родионов».

С кульчекским посемейным списком я действительно быстро разобрался и вписал в него несколько новорожденных и умерших. К своему удивлению я не нашел в списке ни Матюгова, ни Ивочкина, ни Ворошкова и других наших поселенцев. На мой недоуменный вопрос об этом Иван Фомич объяснил, что все эти поселенцы — бо-

были. Пашни они не пашут, скота не держат, податей не платят, повинностей не отбывают. Как поселенцы они лишены права голоса на сходе, так что живут в деревне как бы на птичьих правах. Они считаются приписанными к нашей деревне. Это значит, что при явке на поселение они были направлены на жительство в Кульчек, а может, сами попросились туда, и с тех пор считаются прнписанными к Кульчеку. Но волость к их жизни никакого касательства после этого уж не имеет и в посемейных списках их не числит.

Другое дело поселенцы, которые обзавелись семьями, имеют свое домообзаводство, пашут пашню, разводят скотишко. Право голоса на сельском сходе онн тоже не имеют, но облагаются всеми податямн, отбывают все крестьянские повинности, н их детей, вместе с сыновьями местных старожилов, забирают по рекрутскому призыву в солдаты.

Теперь я должен был прнступить к работе над комскимн списками и предварительно договориться об этом с комским пнсарем Родионовым. Несмотря на недолгое пребыванне в волости, я уже хорошо знал Кирилла Тихоновича. Ему едва исполнилось семнадцать лет, а он заправлял уж всем комским обществом. А в комском обществе свыше трехсот домохозяев, не считая поселенцев и всякой приезжей голытьбы. Но трудность его писарской работы состояла не в том, что общество было здесь большое, а в том, что народ в Коме был привередливый и зловредный.

У нас в Кульчеке мужики все неграмотные. Редко-редко кто может с грехом пополам накорябать свою фамилию. А в Коме школа открылась много раньше нашей, и у них среди мужиков уж много грамотеев. А потом, комскне мужики любят тереться в волости около писарей и начальства, ко всему прнслушиваться да принюхиваться. Кроме того, в Коме много народа, занятого разным рукомеслом — сапожники, шерстобиты, пимокаты, овчинники, кузнецы, плотники, коробейники, не говоря о поселенцах. Это народ все бывалый. Многие пашут пашню, держат скот, платят подати, имеют право голоса на сходе и гнут там свою линию. Из-за этого в Коме на сходах всегда бывает много споров и раздоров.

И тем не менее Родионов хорошо справлялся там со своим делом, и Ивану Иннокентиевичу не приходилось жучить его за задержку разных срочных ведомостей и отче-

тов. Наоборот, его часто ставили в пример другим писарям.

В волостном правлении Кирилл Тихонович бывал почти каждый день. То принесет какую-нибудь срочную сводку, то явится к приходу волостной почты из Новоселовой, то просто так зайдет послушать веселые рассказы Ивана Иннокентиевича, поговорить о делах с Иваном Фомичом, Павлом Михайловичем или Иваном Осиповичем. И все принимали его как своего. Даже Петька старался показать ему свое расположение.

У меня с Родионовым сразу же установились хорошие взаимоотношения. В отличие от других писарей, которые не замечали меня при своих наездах в волость, он с первых же дней моего поступления в подписаренки относился ко мне как к равному, ничем не подчеркивая свое превосходство в знании канцелярской премудрости. При наших встречах он всегда интересовался моими делами, спрашивал, что я пишу для Ивана Фомича и Павла Михайловича, как ко мне относится Иван Иннокентиевич. Узнав, что он уж назначил мне жалованье три рубля в месяц, Кирилл Тихонович сначала рассердился на то, что он так скупится, а потом махнул рукой и сказал: «И то хорошо... Три рубля тоже деньги. На дороге не валяются. Лучше, чем работать даром».

А позже, когда мы с ним познакомились ближе, он стал интересоваться тем, читаю ли я книги и что мне удалось достать интересное. Из всех помощников Ивана Иннокентиевича и сельских писарей, которые круглый год наезжают в волостное правление, он был единственный, кто проявлял какой-то интерес к книгам.

Разбираться в посемейных списках Кирилл Тихонович пригласил меня к себе на комскую сборню. Она находилась недалеко от волости, была значительно больше нашей кульчекской и имела более обжитой вид. Сельский писарь в Коме занимался не у себя дома, как в других деревнях, а здесь, на сборне, и поэтому требовал от старосты содержать ее в чистоте и порядке.

Как и у нас в Кульчеке, комская сборня представляла большое помещение для сельских сходов, каталажку для арестантов и каморку для писаря. В помещении для сходов, кроме стола и лавки в переднем углу, никакой мебели не было, так что пришедшим на сход мужикам приходилось, как и у нас в Кульчеке, или стоять впритык друг к другу, или устраиваться, сидя на полу.

Каталажка с окованной дверью была тоже больше нашей. А писарская каморка, очень светлая и уютная, была такой маленькой, что нам пришлось перейти для работы в большое помещение для сельских сходов.

Разносить новорожденных и умерших по комскому посемейному списку мне с Кириллом Тихоновичем не представляло особого труда. Он хорошо разбирался в многочисленных Кирилловых, Черновых и Анашкиных, заполнивших Кому, и мне оставалось только делать по его указанию короткие записи в волостной посемейный список.

Во время этой работы я обнаружил, что отец Петр, отец дьякон и псаломщик Василий Елизарьевич почему-то в комских посемейных списках не числятся и к комскому сельскому обществу никакого касательства не имеют. А комские купцы Демидов и Паршуков состоят мещанами города Красноярска, хотя всю жизнь проживают здесь, в Коме, имеют тут свои дома с торговыми лавками и по нескольку огромных амбаров. Новоселовские купцы Терсков, Мезенин и Бобин, по словам Кирилла Тихоновича, тоже состоят мещанами города Красноярска, податей не платят, волостных и сельских повинностей не выполняют и пишутся уже не крестьянами, а мещанами. Это, видимо, для них самое главное. Быть крестьянами, числиться по спискам наравне с простыми мужиками они считают для себя позорным и предпочитают состоять городскими мещанами и платить городские налоги. А городские жители, известно, государственную окладную подать не платят, губернский земский сбор не платят, волостные и сельские сборы на них не начисляются. Разве это сравнишь с мужицкой жизнью?..

Во время работы над посемейными списками у нас все время велся разговор о книгах. Мы перебрали с ним всех комских жителей, у которых можно было найти что-нибудь для чтения. Но наши поиски не имели успеха. У отца Петра, отца дьякона и Василия Елизарьевича на этот счет ничем не поживишься. Правда, у отца Петра была Библия. Но мы наверняка знали, что эту книгу со многими нарядными закладками он нам никогда не даст. У купца Паршукова, кроме чудесных исцелений и описаний жизни различных угодников божиих, других книг не имеется. Дело в том, что он сам «исцелился» при гробнице святителя Иннокентия Иркутского от какой-то болезни, и об этом его «исцелении» было даже что-то напечатано в одной такой книге. Паршуков очень гордился этим, показывал эту кни-

гу всем своим знакомым, и, говорят, даже принес ее один раз в волость. Но Иван Иннокентиевич поднял его на смех. С тех пор Паршуков в своем «исцелении» у гробницы святителя Иннокентия в волости уж не заикается. Но книжки о жизни святых и о разных чудесах собирает.

О купце Демидове у нас разговор даже не заходил, так как он ни с кем в селе и в волостном правлении не общается, у себя в доме никого не принимает, книг и газет не читает и всем этим не интересуется.

Еще думали мы обратиться с просьбой о книгах к фельдшеру Стеклову. Но нас смущало семейное положение Стеклова. Сначала у него состояла в женах одна комская девица. И он прижил с нею двух деток. Потом привел к себе в дом ее младшую сестру и тоже прижил с нею ребеночка. А теперь женился на нашей учительнице Таисии Герасимовне и тоже привел ее в свой дом. И живет теперь мирно одной семьей с тремя женами. Мужики, глядя на это, только руками разводят. Православному вроде не положено иметь трех жен. А с другой стороны, он хоть и маленький, а все-таки начальник, ходит со светлыми пуговицами и к тому же неплохой фельдшер и к народу относится хорошо. И живут они тихо, мирно, без ссор, без скандалов. Отец Петр смотрит на это почему-то сквозь пальцы. Так что тут, выходит, и придраться не к чему. Но мы с Кириллом Тихоновичем решили, что книг для чтения в доме Стеклова не найдем.

Об Иване Фомиче, Павле Михайловиче и Иване Осиповиче мы знали, что по части интересного чтения у них ничем не поживишься.

После Комы и Кульчека я таким же манером отработал метрические выписи на Черную Кому, Безкиш и Ивановку, которые состояли в Комском церковном приходе, а потом принялся за деревни Анашенского, Медведевского и Сисимского приходов. Над этими деревнями мне пришлось основательно попотеть. Но все-таки я их понемногу осилил. Теперь я знал жителей почти всех деревень нашей волости, за исключением Витебки и Александровки, и у меня сложилось о каждой деревне особое представление. Ивановка целиком состояла из переселенцев, приехавших из Черниговской и Житомирской губерний. Безкиш и Черную Кому заполнили переселенцы из Витебской и Могилевской губерний. В других деревнях переселенцев было ма-

ло. А в Витебке и Александровке своего церковного прихода, оказывается, нет. Эти деревни заселены переселенцами-католиками. Вместо католической церкви они, по бедности, имеют простой молитвенный дом. Католический священник, или, как они называют его, ксендз, бывает у них наездами два раза в году. Приедет, окрестит на католический манер родившихся ребятишек, отпоет оптом всех умерших, отбарабанит за два-три дня все, что надо, и спокойно уедет домой. А метрические списки на рожденных и умерших не составляет и выписок из них в волостное правление не присылает. Из-за этого посемейные списки на Витебку и Александровку ведутся в волости неточно. Записи, конечно, есть, но больше со слов жителей. А им доверять нельзя. Особенно по части новорожденных. От витебского писаря на этот счет трудно добиться какого-либо толку. Списки на новорожденных и умерших он присылает. Но составляет их тоже со слов. Умершие в его списках числятся правильно, а новорожденные... Короче, этим спискам доверять нельзя. Особенно при составлении призывных списков на рекрутов.

Глава 4
МОИ ВОЛОСТНЫЕ НАСТАВНИКИ

Так постепенно я вошел в повседневную работу волостного правления и целыми днями мог наблюдать за работой своих писарских учителей и наставников. Больше всех мое внимание привлекал Иван Иннокентиевич.

Хотя старшина и заседатель являлись в волости главными начальниками и все наши бумаги исходили от их имени, но настоящим хозяином волости был Иван Иннокентиевич.

На службу он являлся позже всех, ровно к одиннадцати часам, когда ему наступало время проводить почтовые операции — принимать и выдавать заказные письма, выплачивать денежные переводы, принимать и выдавать посылки. Занимался всем этим сам Иван Иннокентиевич и получал за это от казны особое жалованье. Появившись в волости, он долго приходил в себя от утомительной доро-

ги с квартиры, после чего иачинал прнннмать ожидающих его с утра посетителей, а потом рассказывал свои веселые истории про попов, купцов и богатых мужнков.

Иван Фомнч, Павел Михайлович и Иван Осипович состояли у него как бы в работниках. Он сам определил и платил им жалованье. Отношения между ними были какието неравиые. Он держал их от себя в каком-то отдалеиии и никогда не переходил с ними на короткую ногу.

С комскимн купцамн Иван Иннокеитневич не знался. Сельских старост он признавал, пока принимал от них податные деньги. В другое время старался их ие замечать. На приезжнх пнсарей смотрел свысока. Он с удовольствием рассказывал им свон веселые историн, но сразу же после того начииал жучить их за задержку какихнибудь сводок н ведомостей. На другие темы разговоров с ними ие вел.

С мужнками Иван Ииiокентиевич был иеприветлнв. Руки им ие подавал, садиться ннкогда не приглашал.

Свое писарское дело Иван Иннокеитиевич зиал хорошо, ио работать ие любил и все сваливал на своих помощииков.

А высшего начальства он боялся и всячески старался перед ннм выслужиться. Начальство особеино придирчиво относнлось к податиым делам и к воеиному учету. Иваи Иинокеитиевич строго следнл за Иваиом Фомичом, который вел у иего эти дела, чтобы ои вовремя представлял кому следует все даиные по этой части.

Иваиа Фомича все в волости счнтали главным помощнником Ивана Иннокентиевича. Но эта работа ему не иравилась, и он ииогда жаловался на то, что только иужда заставляет его заниматься статнстическими сводками, раскладочиыми делами и призывными списками. Особеино не нравилась ему работа по податной частн.

Каждый год после осеиней раскладкн податей в волости иачиналось выколачнвание нх с мужиков. За это брались виачале старшина и заседатель. А после них по деревиям отправлялся уж сам прнстав, в сопровожденин урядника и волостного начальства. И так всю зиму, то старшииа, то заседатель, то все вместе с приставом. Жмут мужика сиачала уговорами. От уговоров переходят к угрозам, потом начинают просто требовать — гонн деньги нли садись в кутузку. И так мурыжат его всю зиму, пока не выжмут все, что можно выжать.

На следующий год повторяется то же самое. Составля-

ют новые списки и опять вымогают с мужика деньги. И так из года в год... Однако Иван Фомич уверен, что этому когда-то наступит конец. Если в городе опять произойдет какая-нибудь заваруха, думал он, то по деревням снова начнется кутерьма с податями, как это было после японской войны. Мужики откажутся платить подати, а если их начнут сильно прижимать, то, чего доброго, возьмутся за начальство. К этому все идет. И тогда нам здесь уж несдобровать. Сначала сведут счеты со старшиной и с заседателем, потом с волостным писарем, а дальше дело дойдет и до его помощников, которые составляют эти податные списки.

Все это Иван Фомнч поннмал, конечно, по-своему, на свой лад. Поэтому работа с податными списками была ему не по душе. Главное, что его в этом деле беспокоило, это не понукания Ивана Иннокентиевнча н не угрозы админнстративного взыскания со стороны высшего начальства. Его беспокоило отношение мужиков к волости и к ним — волостным писарям.

— Ты вот каждый день слушаешь веселые рассказы Ивана Иннокентиевича,— сказал он мне раз.— А знаешь ли ты, что он рассказывает свон историн с заряженным револьвером? Да, да... В столе у него всегда наготове заряженный наган. Кроме того, во время занятий он на всякнй случай держит около себя старшину или заседателя.

Я не знал, что Иван Иннокентиевич сидит в своей комнате с заряженным револьвером, и не мог понять, для чего ему нужен этот револьвер. Непонятно мне было и желанне Ивана Иннокентиевича держать около себя во время работы старшину илн заседателя.

— Ты слышал вчера крупный разговор Ивана Иннокентиевнча с каким-то Бнжаном из Витебки? — продолжал растолковывать мне суть дела Иван Фомич.— Приехал из Внтебки мужик с жалобой на то, что на него неправильно насчиталн подать и теперь сжнвают его за эту подать со свету, так как заплатить ее он не может. И Иван Иннокентиевич вместо того, чтобы поговорить с ним по-хорошему, сразу стал отправлять его обратно в свою деревню. Пусть, говорит, с этнм разбирается твое общество. А мы здесь раскладкой податей не занимаемся. Ну, мужик, конечно, сразу и взвился. Как да почему?.. И стал настанвать на своей жалобе. А Иван Иннокентиевнч, вместо того чтобы успокоить человека, велел старшнне вывести его вон. Коекак вытащили его во двор, а он там уж совсем вошел в

раж, начал ругаться и грозиться. Так что пришлось посадить его в каталажку, пока он не одумается. Теперь тебе понятно, для чего Иван Инокентиевич держит у себя в столе заряженный револьвер и заставляет старшину и заседателя дежурить около себя?

— Он мужиков боится...— сообразил я.

— Вот именно... Вчера была история с Бижаном из Витебки, а завтра может произойти такой же случай с каким-нибудь Беспрозваным из Проезжей Комы. Такие встречи происходят у нас все чаще и чаще. Мужик приходит теперь к нам всегда злым и не скрывает своего недовольства нашими волостными порядками. И это сразу же прорывается у него здесь наружу. Он, не стесняясь, матюгает в прихожей Ивана Инокентиевича, что он поздно является на работу, и открыто прокатывается насчет старшины и заседателя, а при отказе ему в какой-либо просьбе лезет в спор и доказывает свои права. Не все, конечно, так ведут себя, но очень многие. Особенно злы на нас бывшие солдаты, побывавшие на японской войне. Они готовы в любой день спалить нашу волость. Я ведь занимаюсь военным учетом и знаю, что это за люди. Есть у вас такие в Кульчеке?

— У меня дядя Василий уж два раза ездил в Минусинско на какую-то комиссию. Ему на войне под Мукденом прострелили правое плечо. Вот он и хлопочет себе белый билет. Боится, что его опять заберут на войну. Потом, наш сосед Ехрем Кожуховский тоже ездил туда за этим.

— Получили они белые билеты?

— Не дали. Сказали, что их будут числить на учете на всякий случай.

— Ну и как смотрят они теперь на это?

— Ругаются. Говорят, комиссия была неправильная. Доктор посмотрел на них только издали и сразу записал в книгу, чтобы белые билеты им не давать.

— Что же собираются они теперь делать?

— Хлопочут ехать на новую комиссию.

— Вот видишь. Случись что, они первыми явятся сюда. Меня они, может, и не тронут. Я ведь, слава богу, не начальник. А все мои учетные списки спалят, а потом возьмутся за старшину и за заседателя. Вот так и живем. И мужиков боимся, и от начальства жизни нет. Чуть что скажи лишнее или неловко обмолвись на его счет, и на тебя сразу же стукнут куда надо, что ты, такой-сякой, разэтакий, мутишь народ, строишь козни против начальства. А это,

брат, может плохо кончиться. Теперь знаешь какое время... Говори, да оглядывайся.

И дальше Иван Фомич стал объяснять мне, какое у нас сейчас беспокойное время. Высшее начальство очень боится, как бы мужики не начали буитовать. Поэтому оно требует от волостного начальства строго следить за настроением деревни, в корне пресекать на сельских сходках и в других местах всякие разговоры о больших податях и тяжелых крестьянских повинностях. Такие разговоры оно расценивает как подстрекательство против высшей власти, а людей, которые ведут такие разговоры, требует брать на заметку, следить за ними и доносить о них. А чтобы это дело было вернее, оно имеет на местах тайных людей, которые за всем этим следят, ко всему прислушиваются да принюхиваются и обо всем доносят потом по начальству. Таких людей все очень опасаются. Они могут любого человека оговорить, донести на него то, чего и не было. Проверять их ведь не станешь. Они же тайные. Вот и называют их стукачами.

— А у нас в волости есть такие стукачи?— спросил я Ивана Фомича.

— Определенно есть,— ответил Иван Фомич. Потом осмотрелся кругом и сразу перешел на шепот:— В Коме, говорят, занимается этим Белошенков. Он все время вертится у нас, прислушивается к тому, о чем говорим мы, приезжие старосты и писаря, о чем болтают у нас мужики в прихожей, ожидая волостное начальство. И обо всем, говорят, доносит жандармскому начальству. С этим человеком надо быть осторожным...

Действительно, Белошенков почти каждый день бывает у нас в волости. Придет, посидит, поговорит с кем-нибудь, заглянет в комнату Ивана Иннокентиевича, поговорит о чем-то в прихожей с мужиками и незаметно уйдет. Я никак не мог подумать, что этот ласковый и обходительный человек состоит каким-то стукачом и пишет на всех доносы. Но Павел Михайлович и Иван Осипович тоже его чураются, а Иван Иннокентиевич не хочет иметь с ним никакого дела.

Как бы там ни было, но все помощники Ивана Иннокентиевича, да и сам он, жили под страхом доносов. Все были твердо убеждены в том, что за ними кто-то следит, кто-то их подслушивает, проверяет их благонадежность и в один прекрасный день их могут потребовать за что-то к ответу. Этим страхом были заражены не только наши волостные, но даже некоторые сельские писаря. Белошенкова они не боя-

лись. Но были уверены, что у них в деревнях есть свои доносчики и наушники, особенно из тех мужиков, которые всегда трутся около приезжего начальства, подпевают ему во всем и готовы оговорить любого мужика, если он рьяно ратует на сходе против подушной раскладки и резко распространяется насчет начальства.

— Вот ты куда попал на работу!— шутливо запугивал меня Иван Фомич.— Это тебе, брат, не деревня, не Кульчек, в котором ты мог спокойно жить, не задумываясь о том, что тебя могут взять на тайный учет, как неблагонадежного человека. Здесь, брат, другое дело. Тут живи, да оглядывайся.

И Иван Фомич, и Павел Михайлович, и Иван Осипович действительно говорили обо всем в волости с большой оглядкой. Особенно когда туда приходил Белошенков. А я не знал, как мне теперь вести себя с этим человеком. Он всегда заговаривал со мной, расспрашивал, как мне работается, какое жалованье назначил мне Иван Иннокентиевич, и все такое... Потом Белошенков покровительственно хлопал меня по плечу и заводил разговор с кем-нибудь другим.

После Ивана Иннокентиевича и Ивана Фомича я долгое время присматривался к Павлу Михайловичу. Не в пример Ивану Фомичу, который дальше Новоселовой, кажется, нигде не бывал, Павел Михайлович проживал даже в Петербурге. О Петербурге я кое-что знал из прочитанных книг. А один из моих родственников служил там в солдатах в лейб-гвардии Финляндском полку на Васильевском острове. Дядя Егор даже на карауле бывал в Зимнем дворце. Он привез со службы несколько открыток с видами Петербурга и подарил их мне. Из этих видов мне запомнились Главный штаб, Мариинский дворец, Таврический дворец, Сенатская площадь с Медным Всадником. Я много раз расспрашивал дядю Егора о том, как он стоял на карауле в Зимнем дворце и что он там видел, что это за здание — Главный штаб, далеко ли от Зимнего дворца стоит Мариинский дворец, и вообще просил рассказать мне побольше о Петербурге. Но дядя Егор ничего вразумительного мне не рассказывал. Из всего, что он видел за время своей трехлетней службы в Петербурге, его больше всего поразила многочисленность населения города. «И идут, понимаешь, и идут, и едут без конца с утра до ночи. И откуда только берется столько народа? Просто удивительно!» Это поражало его больше всего в Петербурге, и об этом он говорил всегда, вспоминая о своей службе в лейб-гвардии Финляндском полку.

Павел Михайлович тоже ничего интересного о Петербурге не рассказывал. Иногда только, когда при чтении газет, привезенных с новоселовской почтой, речь заходила о каком-нибудь событии на Литейном проспекте, на Знаменской площади или в других местах Петербурга, он говорил: «Литейный проспект... Как же, знаю, знаю. Он идет от Невского прямо до Невы». А если дело происходило на Знаменской площади, то он говорил: «Знаю, знаю... Там еще памятник Александру Третьему... Прямо перед вокзалом». Ничего другого от Павла Михайловича я так и не узнал, а расспрашивать его о том, как он там жил, я стеснялся.

А Иван Осипович после окончания комской школы несколько лет учился в городе Канске в каком-то маслодельном училище. А потом приехал домой в Кому и поступил в волость помощником к Ивану Иннокентиевичу. Писал он быстро, красивым разборчивым почерком и сидел в волости на выдаче паспортов и текущей переписке. О Канске, о маслодельном училище и вообще о маслодельном деле он нам ничего не рассказывал. Даже речь об этом никогда не заводил. Ко мне он относился очень хорошо, часто помогал советами по писарской части, но ничего интересного от него, так же как и от Павла Михайловича, я не узнал.

Таковы были мои волостные учителя и наставники. Они аккуратно каждый день приходили в волость на работу, принимали там по делам разную публику, составляли ведомости, списки и отчеты, журили и подтягивали сельских старост и писарей и не вели между собою и с приходящим народом никаких опасных разговоров насчет начальства. Ко мне они относились хорошо, все время загружали работой и всячески одобряли мое усердие. Мужики, приходившие по делам в волость, настроены были хоть и бузливо, но с начальством пока считались и бунтовать, судя по всему, не собирались. Так что Иван Иннокентиевич мог спокойно рассказывать каждый день свои веселые истории про попов, купцов и богатых мужиков.

Глава 5
СЕЛЬСКИЕ ПИСАРЯ

Довольно часто привычное течение жизни волостного правления нарушалось наездами сельских старост со своими писарями. Приезжали они

к нам чаще всего с какими-нибудь сложными ведомостями и отчетами. И, конечно, по податным и призывным делам.

Во время этих наездов наше волостное правление превращалось в шумное сборище. Комната Ивана Иннокентиевича была в такие дни забита до отказа. Сложными вопросами затребованных отчетов и ведомостей он, конечно, не занимался и всех писарей сплавлял по этим делам к своим помощникам. А сам, вместе с заседателем, принимал от старост привезенные подати. На это у него уходили считанные минуты. А остальное время он рассказывал им свои веселые истории. Рассказывал он их всегда с блеском и воодушевлением. Так что из его комнаты все время доносились оглушительные взрывы смеха.

Ивану Фомичу, Павлу Михайловичу и Ивану Осиповичу в эти дни было не до меня, и я мог спокойно присматриваться к заполнившим нашу волость людям.

Приехавшие старосты все были бородаты на один манер и казались мне какими-то безликими. К Ивану Иннокентиевичу они после того, как внесли привезенные подати, заходить не осмеливались, в разговор своих писарей с его помощниками не вмешивались и мотались без дела по волости. Чтобы не мозолить глаза волостному начальству, они уходили в нашу судейскую комнату или отсиживались в сторожке с ямщиками и арестантами.

По-другому вели себя сельские писаря. Им, хочешь не хочешь, приходилось держать ответ по своим делам перед Иваном Фомичом, Павлом Михайловичем и Иваном Осиповичем, а то и объясняться с самим Иваном Иннокентиевичем. Всех их я уже знал по поступающим в волость донесениям, отчетам и ведомостям. Это были или малограмотные мужики, кое-как набившие себе руку на писарском деле, вроде безкишенского писаря Кожуховского, или писаря из мужиков, порвавшие с крестьянством и окончательно перешедшие на легкую писарскую вакансию, или, наконец, писаря из расейских переселенцев, вроде нашего Ивана Адамовича. Значит, тоже из мужиков, только немного пограмотнее да посмышленее, как все расейские.

Писали свои бумаги сельские писаря по раз навсегда заведенному шаблону. Те, которые овладели этим шаблоном, считались хорошими писарями. А такие как безкишенский, по своей малограмотности не могли овладеть этой канцелярской премудростью и все время жили под страхом, что волостное правление в одно прекрасное время пришлет на их место другого, более грамотного

писаку. Такие писаря держались в волостном правлении униженно, ходили как прибитые, с виноватым видом. Они были запуганы постоянными выговорами и разносами Ивана Иннокентиевича и его помощников. Даже Петька Казачонок позволял себе покрикивать на них, и это сходило ему с рук.

Среди наезжавших в волость писарей обращал на себя внимание коряковский писарь Потылицын. Он выглядел среди других писарей щеголем, являлся в волость в нарядной рубашке, подпоясанной красивым шнурком, в брюках навыпуску. Но главным образом он выделялся тем, что вместо правой руки у него была культяпка и все свои бумаги он писал левой рукой.

До писарства Потылицын, говорят, брал большие подряды на поставку дров пароходству. Дело это шло у него очень хорошо, и он наверняка сделался бы богатым подрядчиком, не случись с ним беды. Для заготовки дров он придумал какую-то дровоколотную машину, которая замечательно действовала от молотильного привода. Только знай подкладывай чурки да подставляй на них топор-колун. Но один раз эта машина сработала не так, как надо, и вместо того чтобы ударить по колуну, стукнула по его правой руке, и докторам пришлось отнять ее до самого плеча. С тех пор Потылицын перестал брать подряды на заготовку дров пароходству и занялся писарством. Писарил он сразу на два общества — на Корякову и на Сисим — и с делом своим справлялся. Во всяком случае, не состоял у Ивана Иннокентиевича злостным недоимщиком по части представления всяких списков и ведомостей.

Со всеми другими писарями Потылицын был обходителен, но держался от них как-то наотлет. А на меня вообще не обращал внимания, хотя и видел, что я все время наблюдаю за тем, как он орудует одной левой рукой при составлении своих отчетов.

Несмотря на преклонные годы, теснинский писарь Альбанов выглядел еще молодцом. Только одевался как-то странно. Сверху походил на настоящего писаря — в городском пиджаке, в нарядной рубашке с отложным воротничком, а снизу на деревенского мужика — в холщовых штанах, в самодельных деревенских бахилах. Уж своим появлением Альбанов настраивал всех на веселый лад. Все знали, что он будет рассказывать разные любовные истории про теснинских девок и ребят. Альбанов рассказывал их всегда с большим смаком. О своих писарских делах он говорил тоже

с большим увлечением. Скучные отчеты и донесения в его устах становились очень интересными, так как он всегда дополнял их разными забавными подробностями из жизни тесинских мужиков. Благодаря этому Альбанов был всегда желанным гостем в волостном правлении. Здесь все очень к нему благоволили, а приезжие писаря старались держаться с ним на дружеской ноге.

На меня Альбанов тоже не обращал внимания, хотя я очень усердно, вместе со всеми, слушал его рассказы.

Другое дело витебский писарь Великолуцкий. Он был единственным из всех приезжих писарей, который держался со мной как с равным. Кроме Витебки, Великолуцкий писарил еще в Александровке. Деревни эти были таежные и заселены расейскими переселенцами. Жили они там очень бедно и все время обременяли начальство разными просьбами. То клянчили денежное пособие от казны, то просили у волостного правления семенную ссуду. Когда им в этом отказывали, они придумывали новые просьбы и ходатайства. Подати они платили плохо и состояли в волости в злостных недоимщиках.

Ко всему этому Великолуцкий был не силен в писарском деле и всегда состоял в долгу перед волостным правлением по части представления разных сводок, ведомостей и отчетов.

Вот приходит время Ивану Фомичу составлять очередные призывные списки на рекрутов. По другим деревням это дело идет у него как следует. Рекрута проверяются по метрическим выписям от церковных приходов и по посемейным спискам. А в Витебке и Александровке своего церковного прихода нет, метрических записей на новорожденных и умерших не ведется, а в их посемейных списках черт ногу сломает. Другому парню лет уж под тридцать, а он у них и в новобранцы еще не вышел. Староста это подтверждает, а Великолуцкий пишет приговор от общества о том, что парень еще малолеток. Вот и приходится призывать этого малолетка по наружному виду. Дело это хлопотное и кляузное и начальству из уездного воинского присутствия очень не нравится.

Или срочно запросят старост дать сведения о состоянии посевов. Тут все писаря немедленно доносят волостному правлению, что посевы в нынешнем году очень плохие, что лето засушливое, с весны не было ни одного дождя и все повыгорело. А если весна была дождливая, то пишут, что все посевы повымокли, что их задушило пыреем, жибреем,

лебедой, затянуло повиликой и всякой другой дурной травой. И что благодаря этому виды на урожай в этом году очень неблагоприятные. А от Великолуцкого опять же ни ответа ни привета.

Или требуют от старост данные о состоянии дорог и мостов, а в засушливый год о борьбе с «кобылкой». И тут все писаря дружно пишут, что дороги у них плохи, все мосты снесло во время весеннего паводка и теперь их приходится чинить или делать заново, а с «кобылкой» никакой борьбы не ведется. С весны служили молебны о даровании дождя, но дождей не было, и «кобылка» пожирает посевы. А от Великолуцкого опять же ни слова.

Тогда вызывают его в волость и дознают — почему он ничего не пишет о видах на урожай, о состоянии дорог и мостов и о борьбе с «кобылкой». И тут он с невинным видом объясняет, что посевы у них всегда плохие, так как место у них таежное и хлеб родится плохо... Мосты и дороги тоже плохие: Витебка и Александровка деревни маломощные, народ живет там бедно, денег на постройку мостов и исправление дорог не имеет, а «кобылка» у них в тайге, как известно, не водится... «Так чего же ты,— спрашивают его,— нам об этом не напишешь?» — «А чего же мне писать вам об этом?— отвечает, не моргнув, Великолуцкий.— Вы и сами,— говорит,— все это хорошо знаете». Тут отводят его, голубчика, в судейскую, сажают за стол и заставляют накорябать нам эти отписки.

Из-за всего этого Иван Иннокентиевич со своими помощниками обходились с Великолуцким очень круто. Глядя на них, старшина и заседатель тоже в грош его не ставили. В других деревнях за недобор податей жучат старост. А писаря остаются в стороне. А в Витебке и Александровке во всем оказывается виноватым Великолуцкий. Это он писал общественные приговора с просьбой о выдаче денежных пособий, это он придумал требовать безвозвратную хлебную ссуду, это он клянчит от казны пособие на лечение каких-то больных. Это он все время что-нибудь выпрашивает для своих деревень. И, главное, старается всех разжалобить своим несчастным видом.

Во всем волостном правлении только я относился к Великолуцкому доброжелательно. Поэтому он держался здесь все время около меня. У нас с ним завязалось что-то даже вроде дружбы. Будучи старым солдатом, он рассказывал мне разные бывальщины о том, как он служил в каком-то знаменитом артиллерийском дивизионе и даже принимал

участие в высочайшем смотре. А о Витебке и Александровке, о том, как они там живут и что в их жизни интересного, он ничего ие рассказывал и от моих расспросов об этом всегда уходил.

Из всех писарей мое внимание больше других привлекали проезжекомский писарь Шипилов и улазский Брехнов. Это были иастоящие писаря. Оии досконально знали все волостиые и сельские порядки, все крестьянские права и повииности, зиали, когда и какие отчеты и ведомости нужно представлять в волость, и, судя по всему, хорошо знали все те строгие законы, которыми крестьяиский иачальиик, мировой судья, становой пристав и другое иачальство все время запугивали волостиое правление.

И Брехиов, и Шипилов были очеиь стары и всем своим видом как бы дополияли друг друга. Брехнов был высокий, Шипилов — малеиький; Брехнов уж устал и согнулся от старости, Шипилов, наоборот, держался прямо, выглядел бодро и свежо, как крепкий груздь; Брехиов был совсем слепой, ходил в больших очках с толстыми стеклами, Шипилов обходился без очков: у иего были малеиькие остреиькие глазки; Брехиов был одет в серый заношеииый пиджак, в теплую рубашку, в серые брюки с ошметками и в большие неуклюжие ботиики. А Шипилов, наоборот, ходил всегда щеголем — в суконием черном пиджаке с жилеткой, на которой виднелась золотая цепочка от часов, иа иогах у него были хорошие ботиики, и походил он ие на деревеиского писаря, а иа комского купца Демидова.

И писали они по-разному. У Брехиова был крупный, размашистый и какой-то расхлестаииый почерк. Он не особенио соблюдал в своих бумагах правильиое расположеиие строчек. Его донесения написаиы были как бы небрежио, кособоко. В иих ие было достаточиых полей. Они почти иикогда ие умещались иа одной страиице и переползали на обратную стороиу.

А у Шипилова все было как бы отпечатано мелким убористым почерком. Все буквы стояли у него четко и прямо, как в солдатском строю. Каждое донесеиие было с широкими полями и всегда умещалось иа одиой странице.

Шипилов и Брехиов состояли в большой дружбе и знали друг друга, видимо, ие один десяток лет. Во время своих наездов в волость они всегда были иеразлучны. Вместе приходили в волость, вместе уходили, вместе сидели в судейской и вели о чем-то иеторопливый разговор. И вместе рассказывали иам разиые интересиые истории о старых воло-

стных порядках. Рассказывал главным образом Шипилов. Брехнов только изредка вставлял в его рассказ какую-нибудь подробность, которую случайно упускал Шипилов.

Оказывается, раньше в волостях все было по-другому. Вместо волостного старшины был волостной голова, а в деревнях вместо нынешних старост были сельские старшины. Всеми делами, как и теперь, в волости заправлял волостной писарь. Волостные писаря, как и сейчас, были наемные. Но только жалованье у них почему-то было маленькое. По закону волостному писарю со всеми его помощниками полагалось 171 рубль 60 копеек в год. Жалованье было маленькое, а жизнь богатая, потому что волостные власти имели тогда постоянный доход. Большие деньги поступали прежде всего от винных откупов. Казенной торговли водкой тогда еще не было, и во всех почти деревнях имелись кабаки. А на открытие кабака требовалось согласие сельского общества и разрешение волостного правления. За это разрешение волостное и сельское начальство брало с винных откупщиков, которым принадлежали все деревенские кабаки, большие деньги. Кроме того, эти винные откупщики ежегодно платили волостным писарям по двадцать пять рублей с каждого кабака, не считая денежных подарков к большим праздникам. А Комской волости тогда еще не было, и все наши деревни входили в Новоселовскую. Волость была огромная. Около пятидесяти деревень, не считая татарских улусов. «Вот и считайте, какая прибавка получалась волостному писарю к его маленькому жалованью...»

Так и жили. Жалованье было маленькое, но имели большой постоянный доход. Пришел мужик в волость за какой-нибудь справкой или за паспортом — плати, с жалобой на кого-либо — тоже плати. Многие умные писаря ухитрялись брать с приходящих мужиков даже на мытье волостных полов. Зашел в волость, значит, натоптал, нанес грязи, а грязь надо мыть. Вот и гони пять копеек на мытье полов. Тогда ведь все было проще. Теперь это называлось бы незаконным побором, а раньше было в порядке вещей. Брали все... сельские писаря и старшины, волостные писаря и начальники, становые пристава и окружное земское начальство. Губернская администрация жила тоже на взятках, получала регулярно определенную сумму от купцов, от винных откупов, от золотопромышленников. Волостной писарь в Новоселовой два раза в году праздновал свои именины, и все сельские писаря и старшины должны были подносить ему к именинам подарки. Подарки эти делались, конечно, за

счет общества. Деиьгн раскладывалн подушио, а хлеб, масло н мясо собнрали подворно. Так, как сейчас собнрают ругу на содержанне церковных причтов. А из инородческнх улусов к каждым именинам ему пригоняли по табунчику лошадей илн по гурту скотншка.

А волостные начальннки в свою очередь должны былн регулярио делать подарки и выплачивать определенную сумму в Мннуснннск — окружному земскому начальству. Тогда вместо ныиешних уездов былн округа, и всемн делами в этнх округах заправлял окружной земский суд. Вместо нынешнего уездиого исправника был окружной земский исправник, а вместо нынешннх крестьянскнх начальников были земские заседатели. И волостное начальство должно было выплачивать им каждый год к определениому сроку определенную сумму. Этн взносы назывались тогда хабарой. Ну а окружное начальство в свою очередь платнло свою хабару губернскому начальству.

Все это Брехнов и Шипилов рассказывалн размеренно, не торопясь. И нельзя было понять, жалеют ли они о тех порядках нли, наоборот, осуждают их. Онн поннмали, конечно, что это былн плохие порядкн. Но иикак не моглн удержаться от восхнщення, когда начиналн высчнтывать, сколько новоселовскому писарю доставляли в очередные нменины масла, мяса, меда, янц и всего прочего, не говоря о табунчиках лошадей и гуртах скотншка нз инородческих улусов. Получалась сказочная жизнь. Недаром все волостные пнсаря строили себе потом дома в городах. Капиталы наживали на своих должностях. Не то что теперь.

Два раза в иеделю, по поиедельннкам и четвергам, нз волости в Новоселову ходнт у иас почта. Рано утром, еще до занятий, Лнпат Кнрнллов, комский мужнк, состоящий при волости ходоком, а точнее говоря, рассыльиым, везет в Новоселову большой кожаный баул с письмами и казенными пакетами.

Из Новоселовой Лнпат возвращается только к вечеру. К его прнезду в волостном правлении собирается самая отбориая комская публнка: фельдшер Стеклов, купец Паршуков, мужнцкнй ходатай по разным делам Белошенков, учнтельиица Тансня Гераснмовна, комскнй писарь Родионов, урядник Чернов. Они располагаются у иас как дома и ведут разговор о последннх комскнх и новоселовскнх новостях.

Старшииа Безруков и заседатель Ефремов тоже торчат здесь, стараясь вставнть свое слово в общую беседу.

Вся работа в волостном правлении в это время, конечно, прерывается. Пришедшие по делам мужики, видя такое дело, недовольно расходятся по домам.

Часов около семи, то есть в самом конце занятий, на волостном дворе слышится звон колокольчиков, и через некоторое время Липат и дедушко Митрей втаскивают в канцелярию баул, набитый письмами, бандеролями и газетами. Липат извлекает из него небольшую кожаную сумку со страховой корреспонденцией и папку с казенными пакетами и несет это Ивану Иннокентьевичу. А Петька начинает разбирать содержимое баула. Из него надо прежде всего отобрать комскую корреспонденцию. А остальное рассортировать на две части — на низовые и на верховые деревни, чтобы завтра отправить все это с ходоками.

Но Петька сортирует почту очень медленно, и Иван Фомич, Павел Михайлович и Иван Осипович в конце концов сами принимаются за это.

Наконец общими усилиями почта рассортирована, и Петька торжественно вручает два письма купцу Паршукову, казенный пакет уряднику Чернову, газету «Сельский вестник» Белошенкову и десятка три писем на всю Кому писарю Родионову. Остальным гостям ничего нет. Они стараются сделать огорченный вид. Но это у них не получается, и они с довольным видом отправляются по домам.

После их ухода Иван Фомич, Павел Михайлович и Иван Осипович берут из рассортированной почты какие-то газеты и начинают их читать. Почитают, почитают их, аккуратно свернут и положат обратно, куда надо. А потом берут из почты бандероли с еженедельными журналами «Нива», «Родина», «Пробуждение» и просматривают их. В этих журналах много картинок. Мы с Петькой сразу же пристраиваемся, чтобы посмотреть эти картинки. Петька и сам не прочь распечатывать бандероли с такими журналами, но боится. Иван Иннокентьевич строго-настрого запретил ему касаться чужой корреспонденции.

Кроме газет и журналов, по почте шло много бандеролей с какими-то книгами. Иван Фомич, Павел Михайлович и Иван Осипович иногда вскрывали их. В большинстве случаев это были приложения к журналам «Нива» и «Родина» — собрания сочинений разных писателей — Мамина-Сибиряка, Шеллера-Михайлова, Помяловского, исторические романы Соловьева и разные другие книги.

А Иван Иннокентьевич сразу же принимался за чтение

Енисейских губернских ведомостей. Просмотрит их, передаст Ивану Фомичу и накажет непременно ознакомиться с каким-нибудь важным циркуляром высшего начальства. Другими газетами и журналами Иван Иннокентиевич почему-то не интересовался.

На первых порах я только наблюдал за всем этим. А потом меня тоже приспособили разбирать почту. Сортировал письма я поначалу довольно медленно. Но потом хорошо освоился с этим делом.

Особый интерес вызывали у меня газеты. Когда я учился еще в кульчекской школе, наш дядя Иван прослышал в Новоселовой на ярмарке, что в газетах печатают разные интересные истории, и выписал себе из Петербурга газету под названием «Копейка». Она приходила ему еженедельно целый год. Сам дядя Иван читать, конечно, не умел, и эту газету должен был читать ему Варивоха. И Варивоха на первых порах ему читал. Но никаких интересных историй не вычитывал, и дядя Иван утратил к ней всякий интерес. Так что занимала она после того только одного Варивоху. И он выискивал в ней разные смешные картинки со смешными пояснениями. Один раз он прибежал к нам с этой газетой и показал в ней такой рисунок: растерянный парикмахер с ножницами в руках стоит перед сердитым господином. А тот на него что-то кричит. Под картинкой была объяснительная надпись:

КЛИЕНТ: Что вы наделали?! Вы отрезали мне кусок уха!

ПАРИКМАХЕР: Прикажете подравнять-с?..

Над этой картинкой и надписью к ней все у нас долго смеялись.

В следующий раз Варивоха принес газету с другой картинкой. В пассажирском вагоне железной дороги сидят несколько важных господ. Один из них с папиросой в зубах. Перед ним стоит кондуктор. Под картинкой был такой текст:

КОНДУКТОР: В вагоне курить нельзя...

ПАССАЖИР С ПАПИРОСОЙ: Я и не курю...

КОНДУКТОР: Но у вас папироса в зубах!

ПАССАЖИР С ПАПИРОСОЙ: Мало ли что... У меня сапоги на ногах, но я же не хожу...

Над этой картинкой никто у нас не смеялся.

Больше ничего интересного за весь год Варивоха в своей газете не вычитал, и дядя Иван на нее на следующий год уж не подписался.

Разбирая волостную почту, я обратил внимание на то, что особенно много газет идет сисимскому лесничему, который живет на винокуренном заводе Яриловых. Еще в Кульчеке я хорошо знал, каким важным начальником является в наших местах лесничий. Один раз он проехал откуда-то, видимо, из тайги, через нашу деревню в сопровождении целой свиты объездчиков. И вот этот важный начальник нежданно-негаданно заявился один раз к нам в волостное правление.

Приехал он верхом в сопровождении двух объездчиков. Объездчики остались на дворе, а он пожаловал к нам, вежливо поклонился всем в канцелярии и прошел прямо к Ивану Иннокентиевичу.

Был он совсем еще молод, без бороды, с небольшими усиками, в какой-то легкой, очень красивой куртке, в мягких, ярко начищенных сапогах...

С его появлением у нас сразу все притихли и стали прислушиваться, о чем он будет говорить с Иваном Иннокентиевичем. А он, оказывается, специально приехал, чтобы просить Ивана Иннокентиевича все его газеты и письма оставлять у нас в волостном правлении до его востребования. Волостной ходок на завод Яриловых не заезжает и всю его почту оставляет в соседней деревне. Оттуда она поступает ему с большим опозданием.

— Теперь я буду присылать своего нарочного за почтой прямо к вам, — сказал он Ивану Иннокентиевичу, — и почти на два дня раньше буду знать, что происходит на белом свете.

Говорил лесничий с Иваном Иннокентиевичем весело и как-то уважительно что-то ему рассказывал, над чем-то шутил и о чем-то его расспрашивал. А Иван Иннокентиевич все ему поддакивал и обещал все, о чем он просил.

— Тогда обо всем, Иван Иннокентиевич, договорились,— сказал в заключение лесничий. — Еще раз большое вам спасибо. А теперь, на прощание, расскажите мне какой-нибудь анекдот, на что вы, говорят, великий мастер. Только анекдот обязательно сибирский, чтобы я мог вывезти его потом на память в Россию.

Иван Иннокентиевич был очень польщен, что слава о нем как о рассказчике достигла даже до лесничего. С другой стороны, он был немного смущен. Ведь лесничий ждет от него веселый интересный анекдот, и, главное, еще чисто сибирский. Тут не обойдешься какой-нибудь глупой историей про купцов, попов и богатых мужиков. Но Иван Ин-

нокентиевич не растерялся, немного прокашлялся и с достоинством спросил:

— Значит, непременно сибирский?

— Только сибирский, Иван Иннокентиевич. Непременно сибирский...

— Трудновато будет, но попробую. Заранее прошу извинить, если анекдот окажется не особенно веселым.

Тут Иван Иннокентиевич встал, приосанился, прошелся по комнате, потом крепко уселся за своим столом и приступил к рассказу:

— Вы знаете, конечно, или, во всяком случае, много слышали об осеннем выходе сибирских приискателей с золотых промыслов. Люди возвращаются по домам после каторжной работы, возвращаются с заработком. Многие даже с большими деньгами. И хотят, конечно, погулять, повеселиться. И везде их встречают как дорогих гостей, угощают, опаивают, обирают, обворовывают всяким манером. И даже охотятся на них, как на диких зверей. Редко кому из них удается не пропиться в пути в пух и прах и благополучно добраться до дома.

И вот один из таких приискателей, молодой еще парень, шел проселочным путем в родные места и постучался в одной деревне на ночевку в большой крестовый дом на самой околице. Хозяева — старик и старуха — встретили его как родного. Накормили, напоили и спать уложили. Утром встает наш приискатель и первым делом выходит на крыльцо покурить и подышать свежим воздухом. А на крыльце старик. Сидит и оттачивает большой нож.

— Это на кого же ты, дедушка, точишь такой ножичек? — спросил его парень.

— На тебя точу, милок. На тебя. Вот направлю его как следует и начну тебя резать.

Тут парень видит, что дела его плохи, и стал на всякий случай осматриваться. Двор большой, забор высокий, плотный, ворота крепкие, на замке. Дом на околице. Начни кричать в случае беды — никого не дозовешься.

А старик тем временем наточил нож и — на парня. А тот, конечно, от него. С крыльца на двор. Старик за ним. Парень от него. Старик за ним. Старуха с крыльца наблюдает, как старик гонится по двору за парнем. Сделали один круг. Второй... На третьем кругу старик стал выдыхаться. Сделали еще круг. Старик уж еле тянет, а все-таки гонится. Гнался, гнался и, наконец, свалился в изнеможении.

А старуха видит это и начинает отчитывать парня. И такой-то он, и разэтакий:

— Приняли тебя как родного! Напоили тебя, накормили и спать уложили. А ты вместо благодарности — что делаешь? Ах ты, сукин сын! Гляди, до чего старика-то довел...

— Вот и весь мой анекдот, — неожиданно закончил свой рассказ Иван Иннокентиевич. — Можно сказать, в одной фразе старухи. Боюсь, что он покажется вам неинтересным...

— А почему они ночью его не укокошили? Сонного?

— Если бы они его укокошили — это был бы обычный сибирский случай осенью на Енисейском тракте... И тогда у нас не было бы уже анекдота, — сразу нашелся ответить Иван Иннокентиевич.

— И то правда... — сказал лесничий и покачал головой. — Ах ты, сукин сын! Гляди, до чего старика-то довел... — повторил он ругань старухи и еще раз покачал головой. — Очень смешной анекдот, Иван Иннокентиевич. Только немного грустный. И, конечно, настоящий сибирский. Большое вам спасибо. И за договоренность насчет почты, и за прекрасный сибирский анекдот.

Тут лесничий встал и еще раз повторил ругань старухи. Потом рассмеялся и попрощался с Иваном Иннокентиевичем. Проходя через нашу канцелярию, он опять всем нам вежливо поклонился и, как мне показалось, как-то особенно посмотрел на меня. Иван Иннокентиевич вместе со старшиной и заседателем пошли во двор его провожать. А мы все бросились к окнам посмотреть на его отъезд. Лесничий легко вскочил на подведенного ему коня и выехал в улицу. Объездчики тоже сели на лошадей и последовали за ним.

После отъезда лесничего у нас еще добрых два часа говорили о нем. Сначала о том, какой он обходительный да уважительный, что он имеет какое-то большое образование специально по лесному делу. А потом как-то незаметно перешли к разговору о том, сколько он получает жалованья. Оказывается, двести пятьдесят рублей в месяц. Все этому, конечно, дивились и очень ему завидовали. А дедушко Митрей, когда ему сказали об этом, только сплюнул в сторону.

— Быть того не может, — решительно заявил он, — чтобы одному человеку, хоть он и большой начальник, платили такие деньги. Шуточное дело — двести пятьдесят руб-

лей в месяц, — рассуждал он. — На такие деньги можно дом купить или сразу четыре швейных машины компании «Зингер» или лисапед, как у Демидова. А в Новоселовой на складе за двести пятьдесят рублей можно купить молотилку или косилку с граблями и с жатвенным приводом. Это даже богатым мужикам не всем под силу. А если перевести такие деньги на хлеб, то, выходит, он получает по триста пудов пшеницы за один месяц. Эвон что оно получается... И скажут же такое...

В сторожке тоже обсуждали приезд лесничего в волость. Обсуждали ходоки и арестанты, которые находились там на отдыхе. Они не знали, сколько лесничий получает жалованья, какой он уважительный да обходительный. Они говорили об его объездчиках, которые охраняют казенную тайгу. И вот, оказывается, объездчики в Чернавке, которые следят за Анашенским бором, здорово прижимают чернавских мужиков. Прижимают их летом и осенью. Отбирают у них грибы и бруснику. Охотятся, в общем, за грибниками и ягодниками. А порубщиков в бору совсем не трогают. Боятся дразнить мужиков.

А проезжекомский арестант, который отсиживал срок в волостной тюрьме за драку, рассказывал о том, что у них объездчики ведут себя тише воды и ниже травы. Получают жалованье, ездят для виду в тайгу, охотятся там, а порубщиков не трогают. И проезжекомских баб с ягодами и грибами в казенной даче не обижают. Боятся, народ в Проезжей Коме настырный. Там вечные драки и происшествия. Оштрафуй их — потом беды не оберешься.

У нас в Кульчеке тоже есть два объездчика. Братья Шевелевы. Они живут в деревне тихо и мирно. Никого не трогают. В тайгу, конечно, выезжают почти каждый день. Верхами, с ружьями за плечами, в сопровождении целой своры собак. Но никого не штрафуют. Да и кого штрафовать? Березняка и листвяга у нас и на своей общественной даче довольно. В казенную дачу ездят только за хорошим строевым лесом на тес, на плахи, на двери, на рамы. Но строятся у нас мало. Так что и порубщики в казенной даче бывают редко. Шевелевы — люди умные, не лезут на рожон с этим делом. Никого не штрафуют и живут себе спокойно.

О самом лесничем наши арестанты ничего не говорили. Только медведевский мужик, который отбывал десятидневный срок по приговору мирового судьи, рассказывал, что лесничий на заводе Яриловых живет в большом казенном

доме и что в том доме тринадцать комнат. А о семье лесничего, о его жене, детях, о его няньках и кухарках этот мужик ничего не рассказывал. Похоже на то, что в этих тринадцати комнатах лесничий живет один, без семьи.

А мне во всем этом самым главным показалось то, что лесничий и дня не может прожить без новых газет и готов два раза в неделю гнать нарочного за ними к нам в волость.

После этого я стал припоминать, кто же у нас в волости, кроме учителей, получает газеты и журналы. Во всех восемнадцати деревнях никто из мужиков газет не выписывает. Газеты и журналы идут прежде всего учителям. Но и то не всем. В нашей комской школе, кроме отца Петра, отца дьякона и псаломщика Василия Елизарьевича, было еще две учительницы. А выписывает какую-то маленькую газетенку из Минусинска только Таисия Герасимовна. Ни один священник из четырех церковных приходов Комской волости, ни один дьякон, ни один псаломщик газет не получали. Ни один сельский писарь газет не выписывал. Иван Иннокентиевич, Иван Фомич, Павел Михайлович и Иван Осипович газет и журналов тоже не выписывали. Урядник газету в руки не брал. Комские купцы Демидов и Паршуков, фельдшер Стеклов, агент компании «Зингер» Кириллов газет не получали. Почти в каждой деревне, даже самой маленькой, имелись купцы, которые содержали свои лавки. Никто из них, кроме улазского Колегова, газет не выписывал.

А лесничий теперь стал аккуратно присылать к нам два раза в неделю верхового объездчика за своей почтой. Этот объездчик являлся рано утром по вторникам и субботам, получал почту и увозил ее своему начальнику на завод Яриловых.

Глава 6
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ

Один раз Иван Иннокентиевич позвал меня к себе и вручил предписание минусинского уездного исправника, в котором волостному правлению предписывалось в самый короткий срок донести: «В ка-

ких иаселенных пунктах волости имеются церкви, когда и из каких материалов эти церкви построены и кто наблюдал в искусственном отношении за постройкой этих церквей».

— Пойди с этой бумажкой к отцу Петру, скажи, что я прошу его написать все, что требуется насчет иашей комской церкви. Бумажку ему ие оставляй. Пусть напишет отдельно.

Отца Петра я застал дома. Он вышел ко мне из калитки в каком-то заиошенном, засаленном подряснике и был очень недоволен тем, что я оторвал его от дела. Судя по птичьему гомону иа дворе, ои ие то кормил, не то собирался кормить гусей и уток.

Я привык видеть отца Петра или в церковиом облачеиии, или в дорогой красивой рясе с большим серебряиым крестом на груди. Заношенный подрясник и птичий гомон совсем ие вязались у меня с его привычным обликом.

Я вручил ему бумажку господина исправника и передал просьбу Ивана Иннокентиевича иаписать все, что требуется, насчет комской церкви. Отец Петр внимательно прочел бумажку и сильно рассердился:

— Чего этому самодуру вздумалось заниматься чужими делами? Пойди к Василию Елизарьевичу. Пусть он посмотрит все это в нашем архиве и иапишет что надо.

Василий Елизарьевич несколько раз прочитал бумажку исправника. Потом долго и глубокомыслеиио ее рассматривал и в заключение сказал:

— Ну что ж, раз требуют — придется писать. Пойдем в церковь. Архив у иас там.

В церкви мы зашли сначала в сторожку. Один из трапезников — высокий бородатый старик — взял ключи и отомкнул церковные двери. Мы пошли иа правый клирос. Здесь Василий Елизарьевич оставил меня и прошел в алтарь.

Во время учения в Коме я со всей школой ходил по праздникам в церковь. Но я бывал в церкви во время службы, когда она была заполиеиа народом, когда перед иконами горели многочисленные свечи и лампады и все освещалось сверху двумя огромиыми паникадилами.

А сейчас в церкви было пусто, перед иконами не горело ни одной свечи, ни едииой лампады, и ослепительиая позолота на икоиостасе и иа окладах многочислеиных икои выглядела тускло, святые ие возносили торжественно вместе с паствой своих молитв к небу, а с каким-то иедоумением смотрели в пустую полутемиую церковь.

Ближе всех ко мне оказался на правом алтарном притворе архангел Михаил. Он был с непокрытой головой, в серебряных латах, в какой-то красной юбке, с голыми ногами, обутыми в сандалии с тонкими ремнями вокруг икр.

Со времени поступления в волость я ежедневно слушал смешные рассказы Ивана Иннокентиевича, в которых церковные пастыри выступали в самых смешных и даже неприличных положениях, и постепенно утратил последние следы своей религиозности. Однако, входя в алтарь, я понимал, что для тех, кто верует, место это священное, что даже псаломщик не имеет права проходить между престолом и царскими вратами.

Зная все это, я старался держаться в алтаре благопристойно и очень удивился, когда Василий Елизарьевич заговорил со мною громко, без всякого уважения к этому святому месту. Он стоял около внутреннего шкапа в церковной стене и укладывал какие-то рукописные книги и толстые папки с подшитыми бумагами.

— Это наш архив, — сказал он мне. — Ведется он с 1855 года, со дня постройки нашей церкви. Здесь хранятся метрические книги о рождении, бракосочетании, исповедные ведомости, переписка с духовной консисторией и документы о постройке храма. По приезде сюда псаломщиком, я сильно интересовался этим архивом. Летом приду, устроюсь к алтарному окну и читаю эти самые дела. Другой раз весь день просидишь за чтением. Забирай-ка вот эту стопу бумаг, и пойдем в сторожку. Там будет удобнее.

Мы взяли подобранный материал и вышли из алтаря.

— ...Особенно казались мне интересными тогда бумаги, касающиеся постройки церкви. Комская церковь сравнительно еще новая. Во всяком случае, строили ее значительно позже, чем церкви в Анаше и в Новоселовой. Строить ее начали в 1851 году, а закончили только в 1856 году. Целых пять лет строили. И возводил ее какой-то Аркадий Рудаков. Он был и подрядчиком, и строителем. Кто он, откуда родом, я так и не доискался. Но в одном месте упоминается, что Рудаков был вольноотпущенником какой-то госпожи Коряниной, видимо, из крепостных, и выкупился у своей помещицы. Оно и понятно. Человек брался за такие подряды, как наша церковь. Шутка сказать. Надо было поднять такую махину.

— А много он взял за постройку? — полюбопытствовал я.

— За постройку он вырядил одиннадцать тысяч руб-

лей с прибавкой тысячи пудов хлеба, видимо, на прокорм плотников, каменщиков и прочих мастеровых, которые должны были у него работать на постройке. За эти же деньги он должен был поставить весь материал на постройку и потом всю церковную утварь, иконы и все прочее, чтобы, значит, дело сразу могло пойти на полный ход. Вот это я и напишу сейчас господину исправнику.

Пока Василий Елизарьевич все это мне рассказывал, мы успели выйти на паперть. Церковь стоит у нас на горе, и с паперти вся Кома видна как на ладошке. День был хороший, солнечный. Справа, над Енисеем, высились сопка и гора Турецкая. Все село лежало внизу, в глубокой лощине. Вдали в голубой дымке маячил Тон. Солнце все заливало светом и теплом. После церковной прохлады и полутьмы приятно было постоять на высокой паперти, ощутить влажное дыхание ветерка с Енисея, взглянуть на табуны лошадей на Турецкой.

— Господи! Как хорошо. День-то какой! — произнес Василий Елизарьевич и вдруг неожиданно затянул:

Милосердия двери отверзи нам,
Благословенная богородица...

Потом так же неожиданно остановился и спросил:

— Ты чего не подхватываешь? Такой удивительный напев: «Надеющиеся на тя да не погибнут...» Пой давай! Видишь, благодать какая! Ты ведь пел у меня на клиросе, когда учился. И голос был у тебя хороший. И вел себя отлично. Хороший мальчик был. Приходи петь в хор сейчас...

— Смеяться будут...

— Кто смеяться будет?

— В волости будут смеяться. Начнут дразнить монахом, поповичем.

— А ты не обращай внимания. Им-то какое дело?.. Подумай и, если решишься — приходи на спевку. Ну, пойдем писать начальству эту справку. И чего взбрело в голову исправнику требовать от нас такие сведения. Обратился бы в консисторию. Там ему в два счета все бы отрапортовали.

В сторожке Василий Елизарьевич велел трапезникам освободить для нас стол в переднем углу и расположился за ним со всем своим архивом.

— А первым священником был в Коме отец Григорий Чистяков. Он только что окончил тогда Калужскую духов-

ную семинарию и был рукоположен пастырем в нашу Покровскую церковь. А первым дьяконом был его отец. Так и приехали сюда всей семьей. Видишь, как раньше-то было. Старались не разлучать семьи. Назначают сына в новую церковь и отца туда же посылают. В один приход. Не то что теперь. Однако надо писать эту справку. Ты меня, пожалуйста, не отвлекай своими разговорами.

— Я вас не отвлекаю, Василий Елизарьевич.

— Как это не отвлекаешь, если я не пишу, а говорю все время с тобой. Значит, отвлекаешь. А это я специально для тебя прихватил...

Тут Василий Елизарьевич сунул мне объемистую старинную книгу, пронумерованную, прошнурованную и припечатанную сургучной печатью. Это оказались какие-то ИСПОВЕДНЫЕ ВЕДОМОСТИ, которые велись причтом со дня открытия комской церкви, — «ОБРЕТАЮЩИМСЯ В ПРИХОДЕ ЛЮДЯМ, СО ИЗЪЯВЛЕНИЕМ ПРОТИВ КОЕГОЖДЫ ИМЕНИ О БЫТИИ ИХ В СВЯТУЮ ЧЕТЫРЕХДЕСЯТНИЦУ У ИСПОВЕДИ И СВЯТЫХ ТАЙН ПРИЧАСТИЯ, И КТО ИСПОВЕДОВАЛСЯ ТОКМО, А НЕ ПРИЧАСТИЛСЯ, И КТО НЕ ИСПОВЕДАЛСЯ».

И вот когда первый комский священник приступил к составлению этих исповедных ведомостей по своему приходу, то выяснилось, что многие из его прихожан помногу лет не были у исповеди и у святого причастия. Он обратился к окружному земскому начальству (тогда вместо уездов были округа, а вместо уездного полицейского управления был окружной земский суд) с просьбой о том, чтобы оно побудило его прихожан выполнить свой христианский долг, то есть исповедаться в ближайший пост и приобщиться к таинству святого причастия. При этом причт представил начальству выписку из исповедных росписей о не бывших у исповеди и святого причастия в течение нескольких лет. И тут оказалось, что хотя комская церковь была построена в свое время на деньги прихожан, однако сами прихожане не отличались особым рвением к святой вере. Всего в то время в приходе, включая Кому, Кульчек, Безкиш и Черную Кому, вместе с детьми было тысяча триста шестьдесят душ обоего пола. Из них не было у причастия пятьсот девятнадцать человек, не считая малых детей. Многие не были у причастия по пятнадцать лет.

Я сразу, конечно, уткнулся в этот старинный список и нашел в нем своего дедушку Трофима, которому было в то

время только двенадцать лет, и прадедушку Константина, которому было тогда шестьдесят четыре года. Оказывается, дедушко Трофим не был у исповеди и причастия целых девять лет, а прадедушко Константин только три года. И по матери я нашел в этих исповедных ведомостях своих предков. Оказывается, дед мой, Тимофей Иванович Тахтин, из ясашных. Ему в ту пору было сорок лет, и он уже два года не был у причастия, а его жена — моя бабушка Дарья Семеновна не постилась и не причащалась пять лет.

Получив от комского причта эти исповедные ведомости, окружной земский суд обратился к Новоселовскому волостному правлению с грозным приказанием:

«В силу Именного указа, состоявшегося 18 января 1801 года, предписываю Волостному Правлению понудить поименованных в исповедных ведомостях лиц исполнить христианскую обязанность в нынешнем же Спасовом посту и о последующем с возвращением регистра с сделанными против каждого в бытности или нет отметками донести. Июль, 28 день, 1857 год. Заседатель первого участка Харченко».

Новоселовское волостное правление поручило немедленно провести эту операцию кандидату при волостном голове Колегову и уже 28 августа донесло земскому заседателю Харченко, что принятыми мерами понуждения удалось в спасов пост привести к исполнению христианской заповеди и святого причастия только 173 человека из 519. На это земской заседатель строго-настрого приказал Новоселовскому волостному правлению порученную ему задачу принуждения прихожан комской Покровской церкви к принятию исповеди и святого причастия непременно и полностью провести в будущий великий пост.

Как это дело прошло дальше, по имеющимся в деле материалам не видно. Вероятнее всего операция принуждения к исповеди и святому причастию проведена была полностью.

Пока я разбирался с исповедными ведомостями, Василий Елизарьевич написал требуемую справку.

— Вот и готово,— сказал он удовлетворенно.— Я написал им все, что рассказывал тебе. Там они еще спрашивают, кто наблюдал в искусственном отношении за постройкой церкви и имел ли он по этой части надлежащее свидетельство. Откуда мне это знать? В архиве об этом ничего нет. Знаешь, что я им напишу: «Из контракта с Рудаковым не видно, кто будет наблюдать в искусственном

отношении за постройкой церкви и имел ли сам Рудаков надлежащее свидетельство по этой части». Вот так-то... Познакомился ты с исповедными ведомостями?

— Познакомился...

— Интересно?

— Очень интересно. Я там нашел своего прадедушку и дедушку по отцу и дедушку и бабушку по матери...

— Они что же, не исповедовались и не причащались, раз попали в эти ведомости?

— Не исповедовались и не причащались...

— И долго?

— Дедушка девять лет, а бабушка пять лет...

— Ай, как нехорошо,— сокрушенно покачал головой Василий Елизарьевич.

— Это ведь давно было, Василий Елизарьевич. Еще в 1857 году...

— Все равно нехорошо...

— А потом, начальство ведь все равно заставило их говеть и причащаться.

— Конечно, конечно. Начальство тогда знало порядок. Заботилось вместе с церковью о душах своих подчиненных. И вера крепче была, и люди лучше соблюдали религию, не то что теперь. Бога не признают, в церковь не ходят. Хоть палкой загоняй. У исповеди и причастия одни старики да старухи, да и то не все... Хорошо, что отец Петр придумал сейчас венчать только тех женихов и невест, которые были у исповеди и причастия. Так что теперь хочешь не хочешь, а приходится поститься. Иначе не женишься и замуж не выйдешь.

Тут Василий Елизарьевич собрал и тщательно сложил весь архивный материал, принесенный нами из церкви.

— Теперь давай отнесем все это обратно. Эй, кто там? Церковь-то открыта?

— Церква-то? Церква-то открыта,— сказал откуда-то появившийся трапезник.— Поначалу я хотел ее запереть. Не зашел бы кто, думаю, а потом решил — кто пойдет?.. Все на пашне. Но все же на всякий случай посидел на паперти. Так что открыта она, церква-то.

Тут мы забрали весь наш архив и понесли его в церковь. И пока мы шли, пока находились в алтаре и возвращались обратно, Василий Елизарьевич ругал нынешние порядки и хвалил прежние времена:

— Теперь ведь как у нас делается? Надо мужику паспорт, он идет на сельскую к писарю или к старосте. Так

и так, мол, собираюсь на заработки. На подать надо заработать. Дайте справку в волость на паспорт. Писарь смотрит в податную книгу. Если за человеком нет большой недоимки — сразу пишет ему эту справку, что он поведения хорошего, под судом и следствием не состоит, недоимок за ним не имеется, и просит волостное правление выдать ему паспорт на один год. И все. Тот приезжает к вам в волость и получает паспорт. А раньше, брат, шалишь! Пришел к старосте за этой справкой, а он прежде всего спрашивает: «У исповеди, у святого причастия был?» А потом уж глядит в свою податную книгу. А не говел в пост, не был на исповеди и у причастия — и поведение хорошее не запишут, и справки не дадут. Вот какие порядки были.

Или, скажем, какое дело у начальства. Урядник или сам становой на допросе прежде всего спрашивает — какой нации, какого вероисповедания, не привержен ли к какой ереси, и непременно задает вопрос — был ли на исповеди и когда именно сподобился святого причастия. И все это пишет в свой протокол. Ну, мужики знали это, конечно. И бога почитали, и начальства боялись. И церковному причту легче было работать и легче жить. Полный доход имели. У нас в приходе несколько тысяч человек — и все несли понемногу. То за поминки, то за крестины, то молебны заказывали.

Тут Василий Елизарьевич стал плакаться, как трудно в наше время стало жить священнослужителям, что мужики смотрят на них как на попрошаек и если и дают какую малость, то всегда в оскорбительной форме...

Я пришел и вручил Ивану Иннокентиевичу справку Василия Елизарьевича. Он прочитал ее и остался очень доволен:

— Молодец! Все узнал. Только насчет искусственной части не докумекал. Жаль, жаль. Ну, ничего, сойдет. Там у исправника по этой искусственной части соображают, видимо, не больше нашего. Но как быть с Анашем, с Медведевой, с Сисимом? Там ведь тоже церкви... Ну, в Медведевой и Сисиме церкви плохонькие, деревянные и по искусственной части совсем непримечательные. Но в Анаше церковь каменная, с колоннами и построена, говорят, много раньше нашей комской. Надо все это выяснить. Придется старшину посылать. Позови-ка его ко мне...

Старшину я нашел на дворе. Он, как всегда, томился от бездействия и лениво переругивался с дедушкой Митреем. А дедушко Митрей принимал его разговор всерьез и сильно разволновался:

— Если порядок, дык его надо самому каждый день соблюдать. Вчера говоришь: «Чего мужиков в каталажке держишь? Выпусти их! Пусть в ограде на вольном воздухе сидят. Куда они убегут». А севодня выговариваешь: «Чего арестантов распустил! В каталажку их, туды их перетуды, раз засужены!»

— Иван Иннокентиевич вас зовет,— сказал я старшине.

Он сразу же испугался. Он всегда пугался, когда Иван Иннокентиевич требовал его к себе.

— Ладно... Не канючь! И без тебя тошно,— оборвал он дедушку Митрея.— Опять куда-то ехать? — спросил он меня и, не дожидаясь ответа, пошел к Ивану Иннокентиевичу. А я последовал за ним.

— Ну, вот, старшина, спешное дело,— встретил его Иван Иннокентиевич.— Придется тебе поехать в Анаш, потом в Медведеву и Сисим.

— Чего там опять приключилось?

— Исправник требует немедленно донести ему: в каких населенных пунктах у нас имеются церкви, когда и из каких материалов они построены, какой подрядчик и за какие деньги их строил и кто наблюдал в искусственном отношении за постройкой этих церквей.

— Это что же, к старосте мне обращаться с этим делом или как?

— К писарю надо. Без него не обойтись. Поезжай в Анаш, покажи писарю эту бумажку, и отправляйтесь с ней к батюшке. Так, мол, и так, отец Исидор. Потрудитесь написать что надо. Начальство требует. И тоже покажи ему эту бумажку.

— А если он заартачится?

— Кто заартачится?

— Ну, батюшка анашенский.

— Как это заартачится? Не имеет права. Приказ начальства. Не мы ведь это придумали, а исправник требует. Не уйду, мол, батюшка, пока все как следует не напишите. Вот и весь разговор. Посмелее надо. Ты ведь хозяин волости. Потом в Медведеву и в Сисим еще придется ехать с этим.

И Иван Иннокентиевич вручил старшине злополучную бумажку от исправника. Старшина осторожно взял ее, по-

вертел в руках, осмотрел внимательно, как будто хотел проверить, нет ли в ней какого-либо изъяна, потом вытащил из кармана большой цветной платок, осторожно завернул в него эту бумагу и тоскливо произнес:

— Вот жизнь-то. Ни днем, ни ночью покоя. Пропади она пропадом, эта служба... Кто там сегодня из ямщиков-то? Пусть подают на фатеру... Попить чаю перед дорогой...

И старшина отправился к себе на квартиру собираться в Анаш.

Глава 7
КОННЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ УРЯДНИК

Урядник Сергей Ефимович Чернов не являлся должностным лицом волостного правления, какими были старшина, заседатель, волостные судьи и писаря. Однако он как бы состоял при волости и все свободное от разъездов время находился у нас. Так что вся работа волостного правления проходила на его глазах.

С Иваном Иннокентиевичем Сергей Ефимович держался, конечно, не на равной ноге. Такие отношения были у него с Иваном Фомичом, Павлом Михайловичем и Иваном Осиповичем. На нас с Петькой он смотрел покровительственно, а на старшину и заседателя свысока.

Старшина был хозяин волости, соединял в себе власть административную и полицейскую. Он служил по выбору волостного схода и, подобно старостам, сотским и десятским, отбывал общественную службу. Урядник был только полицейским чином. Но он состоял на государственной службе. Он не подчинялся старшине, однако обязан был оказывать ему содействие.

Старшине подчинялись в волости все старосты, сотские и десятские. В подчинении Сергея Ефимовича находились только сотские и десятские. Старшина и все волостное правление подчинялось крестьянскому начальнику. Сергей Ефимович был подчинен становому приставу. Тем не менее неграмотный старшина и неграмотный заседатель смотрели на Сергея Ефимовича, одетого в форменный полицейский мундир, как на официального представителя власти, и не гнулись перед ним в дугу только потому, что Иван Ин-

нокентиевич и его помощники держались с ним совершенно независимо.

Как бы там ни было, но наш Сергей Ефимович каждый день, когда не находился в служебных разъездах, являлся в волость в полном параде, то есть в мундире с погонами, в фуражке с кокардой, при сабле и револьвере, и целый день мотался здесь без дела. Вместе со всеми он слушал веселые рассказы Ивана Иннокентиевича, узнавал и обсуждал местные новости или что-нибудь рассказывал о своих геройских подвигах во время разъездов по волости.

Как и все полицейские, Сергей Ефимович служил в свое время на действительной военной службе, дослужился там до унтер-офицерского чина и по увольнении в запас стал искать себе легкую вакансию. Поначалу он поступил объездчиком в Сисимское лесничество и был определен на службу на наш кульчекский участок. Здесь он рьяно взялся за выполнение своих обязанностей.

Наши кульчекские мужики не видели особого различия между тайгой, принадлежащей казне, и своим общественным наделом и за строевым лесом предпочитали ездить в казенную дачу. И вот Сергей Ефимович начал ловить их и составлять на них протоколы. По этим протоколам виновным в порубке выходил штраф. Одному несколько рублей, другому несколько рублей. Все это кончилось неожиданной развязкой. В одну темную ночь у Сергея Ефимовича зарезали коня, и он не смог уж выезжать в тайгу для поимки порубщиков. Однако Сергей Ефимович не пал духом и привел себе из Комы от родного тятеньки другого коня. Но теперь стали охотиться уж за ним самим и в одно прекрасное время чуть не угробили его в тайге.

Тут Сергей Ефимович сообразил, что дальнейшая служба в Сисимском лесничестве на кульчекском участке ему заказана, и подался в полицию. А там должным образом оценили его служебное рвение в должности лесного объездчика и назначили полицейским урядником сначала в Ермаковскую волость, а потом перевели на его родину — к нам в Кому. Как конный полицейский урядник Сергей Ефимович получал жалованье двадцать пять рублей в месяц, готовое обмундирование, сто рублей в год на содержание лошади и пятьдесят четыре копейки на ремонт своего оружия.

Поначалу все ждали, что он начнет выискивать в Кульчеке своих недоброжелателей. Но Сергей Ефимович ока-

зался достаточно сообразительным, чтобы не осложнять своих отношений с мужиками, н махнул на старое рукой. И вообще, в новой должности ои не спешил показываться к нам в Кульчек. Кроме Кульчека, в его ведении находилось ведь еще семнадцать деревень.

А волость у нас была спокойная. Раньше, говорят, у нас много было на поселенье политических. И у начальства было много хлопот с иими. А после 1905 года политических к нам ие присылают. Волнеиий никаких иет. Грабежей тоже нет. Бывают драки, больше по престольным праздникам, да мелкие кражи. И по всей волости повальное винокурение.

Сергею Ефимовичу по должности все время приходилось разъезжать по волости и заниматься этими делами. Приедет, произведет допрос, кого надо посадит в кутузку, а все материалы дознания пошлет в Новоселову приставу.

А бывают дела н совсем незначительные. Что-нибудь о краже курицы, гусенка или поросенка, дела об угрозах, драках и оскорблениях. Этимн делами Сергею Ефимовичу заниматься было в общем-то не положено. Они состояли в ведении сельской полиции — старосты, сотского, десятского. Но так как о таких происшествиях поступали жалобы, то ему волей-иеволей приходилось заниматься ими.

Прежний урядник Кожевников допрашивал воров, драчунов и буянов с резиной. Кроме шашки и револьвера, он был вооружен еще резиновым бруском четверти три длиной и пальца три шириной. Огреет им человека раз-два, он и не виноват, да в чем угодно сознается. А у Сергея Ефимовича резииы не было. То ли он не мог купить ее нигде, то ли пристав запретил ему наводить порядки в волости с ее помощью. Так что Сергей Ефимович обходился на допросах без резины и выколачивал признание внны простым рукоприкладством. Призовет на допрос какогонибудь мужичоика, подозреваемого в мелкой краже, положит для острастки револьвер на стол и соображает, как ему лучше привести к сознанию вины этого человека: уговаривать его подобру-поздорову созиаться во всем или сразу пришить кулаком как следует, чтобы был посговорчивее?

А человек Сергей Ефимович был сильный. Роста хоть и не высокого, но весь как бы налитой. Грудь колесом, кулачищи что иадо... Ну и напрактнковался он, конечно, здо-

рово оглушать с одного удара. Самому ему это очень нравилось. Он чувствовал себя в такие минуты богатырем и держался очень гордо, так как был уверен, что наводит в волости закон и порядок.

Один раз он со старшиной Безруковым и двумя комскими мужиками привел в волость уж после занятий какого-то комского мужичонка. Говорят, его поймали на речке с чужим гусем. Поймали и посадили в комскую каталажку. Вообще-то, это дело следовало передать нам в волостной суд. Но комский староста решил проучить вора и упросил Сергея Ефимовича самому допросить его как следует у нас в волости, вечером, после занятий.

Был этот мужичонка шерстобитом, человек бедный, хозяйства своего не имел и перебивался кое-как с хлеба на квас. И здоровьишко, видимо, имел не ахти какое: выглядел бледным и худосочным. Ну, и испуган был, конечно, сильно, так как знал, как ведутся урядником допросы.

И вот Сергей Ефимович вместе со старшиной увели его в судейскую. А комские мужики, приведшие шерстобита в волость, уселись в прихожей на скамейку, закурили и стали прислушиваться к тому, что делается за закрытой дверью в судейской.

Я много раз слышал о допросах Сергея Ефимовича и знал, что он сейчас начнет бить этого шерстобита. Но я не понимал, для чего пошел на допрос наш старшина. Неужели ему это так интересно?

Между тем из судейской послышался громкий разговор. Сначала говорил что-то Сергей Ефимович. Потом старшина. Шерстобит тоже что-то говорил, но его плохо было слышно. И так несколько раз. Сергей Ефимович и старшина сердились и ругались, а шерстобит, видимо, оправдывался. Потом ненадолго все смолкло, и послышался истошный крик. После этого сразу все стихло, так что я мог явственно слушать разговор комских мужиков в прихожей:

— И прежних гусей, видать, он спер. Я думал, может, орел утащил али чьи-нибудь собаки задрали. У Ерлыковых кобель — знаешь? Как сорвется с цепи, так и на речку — гоняться за гусями.

— Напрасно мы грешили на ерлыковского кобеля. Кобель-то оказался двуногим. Видать, и моего гусака изготовили в жаровне с луком и картошкой.

— И баба у него такая же вредная. В глаза лебезит, а за глаза ворованных гусей жарит.

— А чего от них ждать? Известное дело — шерстобиты...

Тем временем нз судейской опять послышались голоса. На этот раз Сергей Ефнмовнч и старшина говорили тихо, а шерстобнт крнчал. Но вот Сергей Ефимович и старшина тоже стали крнчать. Они старались перекрнчать шерстобита, а тот старался перекрнчать их. О чем оии кричалн — понять было трудно. Но вскоре Сергею Ефимовичу, вндимо, надоело валандаться. Раздался пронзительный крнк: «Караул! Убнвают!» — н голос Сергея Ефнмовнча: «Как ты бьешь! Вот как надо!» Послышалось глухое паденне тела. Потом все смолкло. Тут из судейской вышел старшина и сказал одиому из мужнков:

— Иди, принеси из сторожки ковш воды. Хлнпкнй ворто у вас оказался. Дохлятина какая-то.

Комский мужик даже обрадовался, что шерстобнта надо отливать водой. Он побежал н принес из сторожкн большой ковш воды. Старшнна взял этот ковш н пошел в судейскую. Но шерстобит к этому времени уж очухался. Дверь в судейскую была приоткрыта, и оттуда было хорошо слышно, как Сергей Ефимович вразумлял его:

— Теперь ты знаешь, как со мной иметь дело. Иди домой и запомнн — если еще раз попадешься, я из тебя все потроха выбью.

Шерстобнт встал, вытер свою жиденькую бороденку, сплюнул на пол н, шатаясь, пошел из судейской. Не глядя иа комских мужнков, он прошел через прихожую и скрылся в сенях.

— Ишь, какой ферт выискался. Гусятины захотел,— словно оправдываясь, сказал старшииа.— Разводил бы своих гусей да и ел бы нх на здоровье.

— А как же с нашим делом тапернча будет? — обратился к нему однн нз мужнков.

— С каким это делом?

— А как же! У меня трн гуся пропалн. У кума Никанора гусак потерялся. Ведь он съел! Теперь это ясно.

— А вы заявлялн о пропаже этих гусей? — вступнл в разговор вышедший нз судейской Сергей Ефимович.

— Нет, не заявляли.

— А почему не заявляли?

— Дык чего заявлять-то. Думалн, орел утащнл, а может, ерлыковскнй кобель съел. Он ведь как сорвется у них с цепн, так сразу на речку н начннает полысать за гусямн. Только перья по сторонам летят.

— Так чего же на Ерлыкова не заявлялн?

— Дык чего на него заявлять-то? Вчера его Полкан

сорвался с цепи, сегодия мой Кучум. И тоже, поимаешь, сразу иа речку и за гусями. Сегодня заявлю иа иего я, а завтра он на меня. И будем судиться туды-сюды. А теперича дело ясное. Собаки тутака ии при чем...

— Плохо, что не заявлял. А теперь уж поздио. Не пойман — не вор.

— Как это ие пойман? Мы с живым гусем доставили его на сборию.

— Ну и хорошо. Гуся своего вы получили обратно. А за кражу жалуйтесь на иего в волостной суд. Двое суток тюрьмы ему обеспечено. Ты вот лучше скажи, почему ему полтора рубля за шерстобитье не доплатил?

— Как это ие доплатил! Врет он, подлюга! Все до копеечки отдал!

— Смотри, как бы он тебя самого в суд не потянул...

— То ись как это в суд?! Меия в суд?!

— А вот так... Заявит, и будешь в ответе.

— Смотрите, какое дело получается! Меня же обокрал и на меня же в суд. Ну, скажи, что за порядки пошли. Срамота, да и только! Да я век ни с кем не судился, а тут в суд с таким паршивцем. Да я завтря же отдам ему эти полтора рубля, туды его перетуды!

Тут мужики встали и, ругая на все корки шерстобита, пошли из волости. А Сергей Ефимович со старшиной расселись в канцелярии. Оба они были в приподнятом настроении. Видимо, кулачиая расправа доставила им большое удовольствие.

— Ишь, ведь что придумал. Я, говорит, за долг взял у него гуся. И как это ты его? С одного удара и сразу с копылков долой. И бьешь-то вроде не особенно сильно.

— Уметь надо, старшииа.

— И, главное, без крови, без членовредительства!

— Сиоровка на все требуется. Ну, до свиданья. В Сисим завтра еду и в Корякову. Говорят, опять там самогои вовсю гонят.

— Да, самогон там гнать любят. Хлеб у них родится неплохо. Чего им не гнать. Ты лучше скажи: что нам делать с твоей самогонной посудой? Ведь весь амбар кадками да самогоиными аппаратами забил. И во дворе-то уж все самогоиом провоняло. Может, сжечь все это?

— Надо с иачальством согласовать. С приставом...

Тут Сергей Ефимович сходил в судейскую, нацепил там на себя револьвер и шашку, надел свою формениую фуражку с кокардой и отправился домой.

— И бьет, понимаешь, почти без размаху... — ударился в рассуждения старшина и стал отрабатывать правой рукой прием Сергея Ефимовича. — Нет! Не то! Не выходит! Я ударю — тот стоит да «караул!» орет. А он смажет — человек сразу валится как подкошенный. Дивствительно, сноровка нужна. Без практики тут далеко не уедешь... Ну, ладно! Пиши тут свои бумаги, а я пойду в сторожку выпить чайку.

И старшина отправился к дедушке Митрею чаевничать. А я по свежим следам заглянул в судейскую. Там все было как обычно. Большой стол, диван у стены, с другой стороны стул для писаря. Все на своем месте. И ничто не говорило о том, что тут только что с боем допрашивали комского шерстобита. Только на полу виднелись свежие темные пятна — растертая сукровица. Видать, это от неумелых ударов старшины.

На другой день Сергей Ефимович отправился в Корякову, а оттуда по всем низовым селениям, то есть в Сисим, Брагину, в Убей, в Медведеву и в Гляден, и через неделю пригнал в волость целый обоз с кадками и самогонными аппаратами. Самогонщиков он не трогал, а только составлял на них протоколы. На том и кончалось дело. Самогона по волости гнали видимо-невидимо, подводы с кадками и аппаратами приходили в волость изо всех деревень. А в волостной тюрьме за самогон никто не сидел и штраф в пользу казны не платил. Судя по всему, виновные откупались у Сергея Ефимовича от тюрьмы и от штрафа. Посуду и аппараты он у них отбирал, протокол для видимости составлял, потом драл с них, сколько мог, за все это и оставлял дело без движения. Так что все было честь честью. Законность соблюдена, виновные обнаружены и наказаны, интересы казны соблюдены, и получена некоторая прибавка к жалованью.

А у нас в Кульчеке Сергей Ефимович не мог накрыть винокуров. В других деревнях народ кляузный, выказывают друг на друга. Особенно в деревнях, в которых много расейских. Они доносят на старожилов, а старожилы выказывают на них. Не успеет Сергей Ефимович приехать в такую деревню, как к нему на земскую кто-нибудь уж заявляется с доносом: у Морозовых на заимке гонят... В Черемшаном ключике гонят в два аппарата. Тут Сергей Ефимович берет сотского и десятского, двух понятых и накрывает тех самогонщиков и у Морозовых на заимке, и в Черемшаном ключике, выливает самогон и брагу, от-

бирает аппарат и составляет, конечно, строгий протокол.

А у нас в Кульчеке не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь выказал самогонщиков. Да и сам Сергей Ефимович, видимо, не особенно хотел ввязываться в кульчекские дела. Помнил, что у него есть там особые «друзья». Так что самогон гнали у нас спокойно, без опаски. Гнали сначала в деревне по баням, а потом, чтобы не подводить старосту, сотского и десятского, стали гнать за деревней, в Барсуковом логу. И, конечно, по заимкам.

Волостное начальство знало, что в Кульчеке образовался вроде как бы самогонный заповедник, и наезжало к нам попьянствовать. Для таких случаев у нашего старосты всегда имелось про запас несколько бутылок первача. Этот запас аккуратно пополнялся всей деревней. Гонит кто-нибудь к празднику али к свадьбе и обязательно отнесет старосте бутылочку первача. Так и велось дело. Никому не в обиду: ни себе, ни начальству.

К войне урядника с самогонщиками наше волостное начальство относилось совершенно равнодушно. Пригнал он из Коряковой или из Проезжей Комы подводу с самогонными кадками — хорошо. А не пригнал бы — еще лучше. Ивана Иннокентиевича интересовала главным образом анекдотическая сторона дела. После каждой поездки по волости Сергей Ефимович недели две рассказывал разные забавные подробности о своих самогонных похождениях. В Медведевой он застукал одного самогонщика в бане с целым чаном браги. Пойманный с поличным хозяин стал объяснять, что брага приготовлена у него не на самогон, а для лечения ломоты в суставах. Чтобы устранить всякие сомнения на этот счет, он тут же разделся и влез в чан с брагой.

А в Проезжей Коме произошел такой случай. Один раз самогонщики заранее узнали о приезде Сергея Ефимовича. Винокуренный аппарат и посуду отвезли куда-то в тайгу, а самогон, боясь обыска, решили переправить в Иржи к надежным людям. И отправили туда своего человека.

В дороге на этого человека напоролся какой-то малотесинский мужик. Он смекнул, что у того что-то в санях спрятано, и на всякий случай поехал вслед за ним. А проезжекомский мужик сообразил, что влопался с этим делом, и решил дать от него ходу. А тот, конечно, не отстает. Вот доехали они таким манером до Малой Теси. Проезжекомский мужик гонит в хвост и в гриву дальше в Иржи. А малотесинский мужик поднял у себя в деревне тревогу. Дес-

кать, гнался за вором... Не цыган ли?.. Везет целый воз добра... Тут малотесниские мужики повскакали на лошадей, догнали проезжекомского мужика и предоставили его в свою деревню на сборню. Собрался народ. Спрашивают: «Кто таков? Куда едешь? По какому делу? Что везешь?» Тот молчит. Тогда решили обыскать его и нашли у него в санях под сеном три больших лагушки. Спрашивают: «Что это?» А тот: «Не знаю». Тогда налили ему чашку для пробы. Он выпил и опять молчит. Тогда решили сами пробовать. Сначала налили чашку старосте, потом сотскому, десятскому. Тем временем в деревне прослышали, что на сборне всех поят даром ворованным спиртом. И повалили туда. Каждому хотелось задарма попробовать крепкого первача.

К вечеру вся деревня была пьяна.

Глава 8
ЦЫГАНЕ

В один прекрасный день, когда наши занятия были на полном ходу, то есть когда Иван Иннокентиевич рассказывал свои смешные истории, Иван Фомич, Павел Михайлович и Иван Осипович составляли ведомости и отчеты и писали мужикам разные справки, когда Петька Казачонок вписывал в журналы свои входящие и исходящие бумаги, а я печатал на гектографе очередной циркуляр высшего начальства для рассылки его сельским старостам «к сведению и неуклонному исполнению», в один из таких дней на улице перед волостным правлением показался целый обоз. Впереди на легких дрожках ехал Сергей Ефимович. За ним в тарантасе, запряженном парой добрых коней, на задней беседке, сидело три человека, в которых все сразу же признали цыган. На облучке сидел молодой цыган и правил лошадьми. Рядом с ним примостился какой-то комский мужик, видимо, из понятых. На следующем тарантасе были тоже цыгане, а на облучке пристроился второй комский мужик. Третий тарантас был заполнен пожилыми и молодыми цыганками. На двух последних телегах были тоже женщины с малыми ребятишками.

Переговорив о чем-то со старшиной, Сергей Ефимович

призвал к себе дедушку Митрея и велел ему немедленно открыть обе арестантские камеры. Потом приказал комским мужикам, следовавшим при обозе, отвести туда и запереть на замок всех взрослых цыган — их оказалось восемь человек, а женщин и цыганят отправить на сельскую.

Тут начался дикий вой и гвалт. Кричали и били себя в грудь цыгане, плакали и причитали цыганки. Про цыганят и говорить не приходилось. Они заливались горькими слезами. Доносились возгласы: «За что, господин урядник?! Мы ни в чем не виноваты! Мы никого не ограбили, не обокрали!»

Во время этой кутерьмы я успел разглядеть подъехавших людей. Старый седой цыган был в легком черном пальто, в широких шароварах и в хороших сапогах. Другой цыган, лет пятидесяти, с густой черной бородой, был в суконной поддевке, в широких шароварах и тоже в сапогах. Только сапоги у него были почему-то подкованные. А третий был совсем молодой, лет двадцати, со здоровым свежим румянцем. Одет он был почему-то лучше других — в хороший коричневый пиджак, в кашемировую рубаху со шнурком, в плисовые штаны и хорошие сапоги. Он стоял с гитарой в руках, не кричал, не бил себя в грудь и смотрел на всех с растерянной улыбкой.

А остальные цыгане были одеты похуже. Один из них, высокий, не очень бородатый, был в какой-то пестрой рубахе. И тоже в поддевке. Но поддевка и сапоги на нем были уже поношенные.

Женщины — одни очень нарядные, в длинющих юбках и цветастых шалях, а другие не особенно выряжены. Среди них была одна совсем старая женщина. Видимо, жена главного цыгана. Она не плакала, не кричала, не хваталась за голову, как другие цыганки, а только качала головой и все утирала своей шалью слезы. Остальные цыганки и цыганята — их было человек пятнадцать — голосили, каждый на свой лад. А один цыганенок не отставал от Сергея Ефимовича и все время со слезами его просил: «Господин хороший! Отпусти нас! Я тебе на пузе протанцую!»

Перед тем как посадить цыган в каталажку, их привели к нам в канцелярию и обыскали. Отобрали у них сколько-то денег, какие-то тряпки и острые вещи. Кисеты с табаком, огниво и трут им оставили. У красивого цыгана отобрали гитару. Тут старый цыган со слезами стал просить Сергея Ефимовича оставить его младшему сыну этот инструмент, потому что без гитары его Степа жить не мо-

жет. Он не будет спать, не будет есть и совсем изведется.

Сергей Ефимович поначалу стал ломаться, говорить, что он своей игрой будет мешать другим арестантам спать. Но тут кто-то из писарей сказал, что сейчас наша волостная тюрьма пустует. В ней нет ни одного арестанта. Сергей Ефимович усмехнулся и сказал этому Степе:

— Ну что ж... Садись в каталажку с гитарой. Но только играть на ней ты теперь будешь под мою команду...

Никто в волости не знал, где и за что заарестовал урядник этих цыган, откуда, куда и по каким делам они ехали. На воров и конокрадов они вроде не походили. Да разве поедешь на воровское дело целой семьей с малыми ребятами. Тарантасы, кони, сбруя у них были справные. Сами были одеты тоже хорошо.

На этот раз Сергей Ефимович ничего не стал нам рассказывать. Засадив цыган в каталажку, он сразу же, не заходя к нам, отправился домой.

После его ухода все у нас занялись своими делами. Иван Иннокентиевич стал рассказывать разные интересные истории, а я пошел в судейскую допечатывать на гектографе какой-то циркуляр. Потом расписал его всем сельским старостам, передал Петьке для рассылки по деревням и побежал в сторожку посмотреть на цыган.

Все наши арестанты живут здесь на своих харчах, поэтому приезжают на отсидку, как в тайгу на промысел — с сухарями, с вяленым мясом и свиным салом. А у цыган не было ни сухарей, ни вяленого мяса. Арестовал их Сергей Ефимович сегодня утром, когда они всем табором стояли в бору у дороги. Так что утром они и поесть-то ничего не успели, и ребятишек своих не покормили.

Когда я пришел в сторожку, старый цыган уговаривал дедушку Митрея пожалеть их христа ради и достать им хоть ковригу хлеба. Деньги, он знает, у них отняли. Но в крайнем случае он может рубаху свою ему на хлеб отдать. Рубаха хорошая, кашемировая. Износу ей нет. Теперь такого кашемира уж не найдешь.

У дедушки Митрея за душой тоже не водилось ни полушки. А цыган этих ему было жалко. Конечно, он мог бы пройти по домам по соседству с волостью и попросить для них и хлеба, и молока. Народ у нас сердобольный и для голодных людей такую малость не пожалеет. Но он побаивался Сергея Ефимовича. Уходя из волости, тот строго наказал ему есть арестантам ничего не давать. Даже водой

их не поить. Дескать, пусть им как следует подведет бока, чтобы знали, как с ним иметь дело.

— Оно конечно, — плакался дедушко Митрей, — урядник тоже начальник и никого над собой в волости не признает. А с другой стороны, я сам вот уж который год состою в волости сторожем. И ни разу еще не было такого случая, чтобы заставляли морить голодом арестантов. Уж на что жестокий человек был прежний урядник со своей резиновой дубиной, но и тот не доходил до того, чтобы держать людей без воды и без хлеба. Скотина всякая и то есть просит, а разве порядок морить голодом? Они хоть и цыгане, а все равно такие же люди, как мы.

Собирать милостыню для цыган дедушко Митрей не стал и решил поделиться с ними своим хлебом. От одной ковриги он не обеднеет, а людям поможет, раз они попали в такую беду. И поить водой их решил сколько надо, но только чтобы они не подвели его перед урядником. Потому что ему с этим живодером по такому делу связываться не хочется.

И дедушко Митрей разделил пополам принесенную из дома ковригу хлеба и отдал в каждую камеру своим подопечным арестантам.

— Спроси у них, знают ли они наших кульчекских цыган, — попросил я дедушку Митрея.

— Спрашивал уж... И про ваших кульчекских, и про наших комских. Не знают ни тех, ни других. Едут из Минусинскова в Ачинско. Трактом ехать поопасались — начальства там много. А начальство, знаешь, всегда к цыганам придирается. Вот и поехали стороной. Из Абаканскова на Беллык, потом через Уяр в нашу Витебку. Оттуда надумали в Балахту податься, а там прямо через Назарово в Ачинско. Да вот и влопались здесь в эту передрягу.

Пока дедушко Митрей рассказывал мне все это, я прислушивался к цыганам, которые сидели в камерах. Мне было слышно, как они негромко о чем-то разговаривали между собою на своем непонятном языке. Изредка из левой камеры доносились приглушенные звуки гитары. Я знал, что на гитаре можно очень красиво играть, что в городах есть даже знаменитые гитаристы и певцы, которые поют под гитару. И я долго ждал, не запоют ли цыгане в каталажке.

Но цыганам, видимо, было не до песен. Они взяли от дедушки Митрея хлеб, кипяток и стали просить его сходить на сборню и узнать, что там делается с их семьями. Но

15 Заказ 1388

дедушко Митрей пойти на сборню раньше вечера отказался. Занятия еще не кончились, и в любое время может потребовать по делам Иван Акеитич. Тогда я сам решил сбегать туда и узнать, что там делается.

На сборне я застал полный тарарам. Каталажка для арестованных была открыта, и цыганки сложили туда все свои пожитки. Кирилл Тихонович сидел, закрывшись в своей писарской каморке. А всю сборню, в которой проводились многолюдные сельские сходы, занимали теперь цыганки со своими ребятишками.

В переднем углу за столом, за которым во время сельского схода обычно восседают староста с писарем, сидела теперь старая женщина с тремя молодыми цыганками. Цыганенок, который хотел проплясать «на пузе», сидел тут же с ними с заправским видом взрослого человека. Две цыганки с грудными детьми и три девчонки-няньки устроились около каталажки и убаюкивали плачущих детей.

А старая женщина за столом что-то наказывала молодым цыганкам. Изредка она тяжело вздыхала, качала головой и смахивала слезу, но крепилась и продолжала тихо говорить. Молодые цыганки то и дело ее перебивали и начинали о чем-то спрашивать. Иногда кто-то из них начинал всхлипывать, но спохватывался и продолжал внимательно ее слушать. А старая цыганка все говорила и говорила, все что-то им объясняла и наказывала. Наконец она, видимо, обо всем с ними договорилась и сделала знак цыганенку. Тот быстро прошел в каталажку и появился оттуда с небольшой гитарой. Потом надел ремень от гитары через плечо и стал тихо перебирать струны. Теперь старая цыганка немного оживилась и вышла из-за стола. Молодые цыганки тоже поднялись со своих мест и стали в кружок посредине сборни. А цыганенок заиграл на своей гитаре какую-то песню. И как только он заиграл, вперед вышла молодая красивая цыганка и запела:

Ты пойди, моя коровушка, домой,
Ты пойди домой недоеная...

Женщины, которые только что со слезами сидели за столом, сразу же забыли, что у них большое горе, и дружно подхватили:

Ты пойди домой недоеная,
У нас горница нетопленная...

Они пели эту песню очень красиво. Цыганки с грудными детьми и няньки с ребятишками сразу же подошли к ним. Маленький цыганенок перестал плакать и стал что-то лопотать. А молодая цыганка весело продолжала:

> У нас горница нетопленная,
> Малы дети ненакормленные...

Песня получалась у нее так красиво и хорошо, что Кирилл Тихонович вышел послушать. Он стоял у дверей своей каморки, прислонившись к стене, и на лице его играла довольная улыбка.

Маленьким цыганяткам песня, видать, тоже нравилась. Они перестали плакать, визжали и что-то радостно лопотали.

А песня усиливалась и нарастала. Все женщины на сборне и девочки-подростки включились в пение. Даже старая цыганка не удержалась и вместе со всеми подпевала:

> Как у всех-то мужья так добры,
> Накупили своим женам бобры...
> А уж мой муженек-дурачок,
> Он купил мне коровушку,
> Он купил мне коровушку,
> Загубил мою головушку...

Недавние слезы, беспокойство за арестованных родных, безвыходное положение — все на время забыто. Пели с увлечением, дружно, стараясь войти в веселый настрой песни. Видимо, песня облегчала их тяжелое положение. А потом, все ведь знали, что эта песня веселая, что петь ее надо дружно, что если петь ее на слезливый лад, то она никому не понравится.

Когда песня кончилась, все началось сначала — заверещал грудной ребенок, заплакали другие дети. Старуха цыганка покачала головой и тяжело вздохнула:

— На сердце кошки скребут, а петь приходится. Такая уж, видно, наша цыганская доля...

Потом она стала увещать молодых цыганок:

— Вот так и пойте возле каждого дома. Да сначала стучитесь — есть ли кто из хозяев. А в богатые дома не заходите, а то еще собак спустят. Подальше от греха. А как споете, просите христа ради хлеба и молока для малых ребят...

Тут цыганки стали собираться идти по селу за милостыней, а я побежал в волость, чтобы рассказать обо всем этом дедушке Митрею.

Вечером после занятий я остался в волости напечатать Павлу Михайловичу на гектографе несколько десятков повесток с вызывом в волостной суд.

Вдруг в канцелярии появился Сергей Ефимович, как всегда в полной форме. Он спросил, здесь ли старшина, и, узнав, что его в волости нет, прошел в комнату Ивана Иннокентиевича, где в это время изнывал от безделья заседатель.

А через некоторое время в волость заявились два здоровенных мужика, видимо, комские десятские, и спросили урядника. Я указал им на дверь Ивана Иннокентиевича, и они прошли туда.

— Ну что ж, — сразу послышался голос Сергея Ефимовича, и он вышел в сопровождении десятских и заседателя Ефремова, — пора приступать к делу. Старшину ждать не будем. С кого же начнем? — спросил он заседателя Ефремова и, не ожидая его ответа, приказал десятским: — Ведите сюда старого цыгана. Он у них всему голова.

После этого Сергей Ефимович с заседателем прошли в судейскую, а десятские отправились в сторожку за арестованным.

Я знал, что сейчас сюда приведут старого цыгана и Сергей Ефимович начнет его допрашивать. Мое сердце защемило от жалости к этому старику. Я хорошо понимал, что лучше уйти сейчас отсюда, но мною вдруг овладело какое-то любопытство, и я решил непременно допечатать свои дурацкие повестки в волостной суд и посмотреть, как будут допрашивать цыган.

Тем временем десятские привели старого цыгана и спокойно уселись в прихожей на скамейку.

И тут почти сразу появился старшина. Узнав, что Сергей Ефимович с заседателем уже на месте, он сильно расстроился:

— Выходит, опоздал я... Давно начали?..

— Только что старика привели, — ответил один из десятских.

— Тогда ничего, — сказал старшина и подошел к закрытой двери судейской комнаты.

Он долго прислушивался к невнятному разговору за дверью. Потом весь как-то напружинился, повел своими могутными плечами и рубанул кулаком сверху вниз. Потом рассмеялся чему-то и скрылся в судейской.

И как только он вошел в судейскую, разговор там сразу оживился. Сергей Ефимович что-то громко говорил про

каких-то украденных коней. А старый цыган отвечал ему тихо и, видимо, во всем запирался. И пока он говорил, из судейской было ничего не слышно. А потом опять начинал говорить Сергей Ефимович. И чем он больше говорил, тем сильнее распалялся, так что внапоследок начинал кричать. И так несколько раз. То громкий разговор, то тихо, то громкий разговор, то опять тихо. Наконец, ему, видимо, надоело спорить со старым цыганом, и он закричал:

— Не хочешь говорить добром, заставим сознаться силой! Ну-ка, старшина, давай!

Тут старшина тоже что-то спросил старого цыгана и, не получив от него ответа, видимо, ударил его на свой манер. Послышалось глухое падение и одновременно пронзительный вопль. Дверь судейской распахнулась и оттуда выскочил заседатель Ефремов. Он был бледен, глаза его дико блуждали, его всего трясло. Он с визгом выскочил в прихожую и бросился сначала ко мне в канцелярию, потом передумал и, всхлипывая, побежал на улицу.

Сразу же за ним из судейской вышли Сергей Ефимович и старшина Безруков. В раскрытую дверь судейской виден был старый цыган. Раскинув руки, он лежал на полу.

— Видал таких? — презрительно произнес Сергей Ефимович, кивнув головой в сторону сбежавшего заседателя. — Тоже суется не в свое дело...

Потом он кивнул десятским на неподвижное тело и строго приказал:

— Оттащите его в сторожку да попрыскайте там на него холодной водой, чтобы очухался. Потом придете сюда.

Мужики подняли старого цыгана и поволокли. А Сергей Ефимович и старшина прошли в канцелярию и расселись за столом Ивана Фомича. Сергей Ефимович закурил папиросу и стал вроде как бы отдыхать после тяжелой работы. А старшина сидел и чему-то бессмысленно улыбался. Потом вдруг ни с того ни с сего громко засмеялся. Сергей Ефимович вопросительно посмотрел на него.

— А заседатель-то наш... в слезы ударился. Как малый ребенок. Смотреть умора.

— Сам-то хорош, — укоризненно сказал Сергей Ефимович.

— А я что? Не дрожу, не плачу, как он...

— Если взялся за дело, то выполняй его как следует. С толком.

— А я что? Разве неладно? По-твоему старался. Чтобы он сразу того-этого... сознался.

— С толком, говорю, работать надо. Так ведь и убить человека можно. А за это судить будут. В тюрьму могут укатать за самосуд. Знаешь, какие времена пошли.

— Вот тебе раз, — удивился старшина. — А как же ты сам-то, Сергей Ефимович, шерстобита этого прошлый раз одним махом?..

— Да, одним махом... А он через минуту встал, отхаркался да и пошел домой как ни в чем не бывало. А после тебя человека надо водой отливать. Разве это дело? Пойди-ко посмотри, как он там у них.

Старшина встал и с виноватым видом пошел в сторожку. Сергей Ефимович начал прохаживаться по канцелярии. Я уткнулся в свои бумаги. Мне хотелось спрятаться под стол. А Сергей Ефимович вдруг как бы в первый раз заметил меня:

— Тебе что? Не нравится это?

Я не знал, что отвечать ему.

— Ничего, ничего. Привыкай ко всему.

И он опять стал прохаживаться по канцелярии. Через минуту из сторожки возвратились старшина и комские мужики.

— Ну, как он там? — спросил мужиков Сергей Ефимович.

— Очухался. Кое-как отводились. Думали, окочурится.

— Черт его возьмет. Они живучие. Где он там? В камере, что ли?

— В камеру на нары уложили...

— Вот и хорошо... Выйдите пока на улицу. Когда надо — позову.

Мужики встали, почесались и отправились в сторожку.

— Я ведь что, — начал оправдываться перед Сергеем Ефимовичем старшина. — Я ведь думал, как лучше. Дознавать, думаю, от него надо все, что к чему.

— Да что дознавать-то?

— Как что? А коней в Коме разве не оне увели?

— В том-то и дело, что не увели.

— А что же люди бают?

— Мало ли, что люди бают. Не увели, а похоже на то, что украли.

Дальше Сергей Ефимович стал рассказывать старшине о том, как в воскресенье комский староста привел к нему одного парня, который заметил в Мохнатеньком клю-

чике в густом колке двух спрятанных коней. Похоже на то, что кони ворованные. Трогать тех коней он побоялся. Могут пришить еще. А по приезде домой на всякий случай заявил об этом старосте.

— Ну, я сразу после того собрался и поехал туда с понятыми, — рассказывал Сергей Ефимович. И действительно, нашел в указанном месте чьих-то спрятанных коней. Трогать их я тоже не стал, оставил там в укромном месте своих понятых, чтобы они могли застукать воров, если те явятся за этими конями. Вот жду день, другой — никого нет. Сидят мои караульщики в назначенном месте, а кони как стояли на привязи, так и стоят. И бока у них уж подвело. Шутка сказать — несколько дней без корма. На третий день приходит ко мне Кирилл Беспрозванный, знаешь, живет в Курничной рядом с Ерлыковыми, и объясняет, что в Чернавском бору около самой дороги в Ивановку расположился целый табор цыган. Человек тридцать с ребятишками будет. Не меньше. Ну, тут мне сразу все и открылось: кто украл и спрятал в Мохнатеньком комских лошадей. Тянуть, думаю, с этим делом дальше нечего. С вечера вызвал к себе сотского и двух десятских, а утром сегодня мы их там и накрыли. Понимаешь, в чем дело?..

— Таперича мне все ясно.

— Ну, если ясно, то давай действовать. Судя по старику, придется с ними долго канителиться. Слышал, что он заявляет? «Мы,— говорит,— тут ни при чем. Это,— говорит, — ваши комские украли».

— Ишь, сволочь, что придумал. На комских сваливает.

— То-то и оно. Придется основательно с ними поваландаться, пока не добьемся толку. Ничего не поделаешь. Служба. Приходится заниматься. Иди скажи, чтобы вели сюда этого бородача, который со стариком сидит. Посмотрим, что он скажет.

Через некоторое время десятские привели в судейскую второго цыгана. Это был здоровенный мужик с копной черных волос и большой черной бородой. Он был в заношенном черном пиджаке, в широких шароварах и справных сапогах с подковами. Допрашивали его тоже с криком и руганью. Только этот цыган оказался очень смелым. Он тоже кричал и ругался и никак не хотел сознаваться в краже комских коней. Наконец в судейской началась потасовка, послышались приглушенные крики:

— Упирается, сволочь!

— Под ножку его! Под ножку!

— Здоровый, сволочь!

— А теперь вот тебе! Вот, вот, вот!

— Молчит, сволочь! Как в рот воды набрал.

Из судейской Сергей Ефимович и старшина вышли потные и красные, как после жаркой бани. Сергей Ефимович был очень сердитый и сразу закричал на своих помощников в прихожей:

— Чего расселись! Не видите, что ли?

Мужики испуганно вскочили.

— Тащите этого быка в камеру! И давайте третьего. Кто там за ним?

— Да молодой цыганенок этот.

— Давайте его сюда... Может, от него чего-нибудь добьемся?

Мужики неохотно вошли в судейскую, взяли под руки черного цыгана и уволокли его в сторожку. Через минуту они возвратились одни.

— В чем дело? — закричал Сергей Ефимович.

— Дык не может он. Трясет его всего. Похоже, что родимчик ударил.

— А вам-то что?

— Не случилось бы чего, господин урядник. Мы ведь тоже в ответе.

— Кто здесь начальник?! — заорал Сергей Ефимович. — Я или вы?! Я — начальник! И я в ответе буду. Делайте, что сказано, пока я за вас не взялся.

Мужики опять пошли в сторожку. А Сергей Ефимович стал расхаживать по нашей канцелярии. Он, видимо, совсем вошел в раж. Лицо у него покрылось белыми пятнами.

— Ишь что придумали! Родимчик! Я ему покажу родимчик! — проговорил он и вдруг неожиданно набросился на старшину: — А ты что молчишь?

Старшина сидел у стола и опять чему-то бессмысленно улыбался.

— А что я? Я ничего, — проговорил он.

— Сидишь без дела! Ты же хозяин волости!

— Ну, дак чего же, что хозяин...

— Как это чего?.. Иди, посмотри, что там и как. Тебе городят разную чепуху, а ты все принимаешь. Вроде так и надо... Сходи, проверь там.

— Дивствительно, сходить, поглядеть, — сказал старшина и лениво поднялся во весь свой богатырский рост.

В это время в сенях послышались голоса посланных мужиков.

— Ведут, — сказал Сергей Ефимович. — Пойдем. Надо браться за дело.

Я взглянул в прихожую, и мне вдруг стало страшно. Десятские вели под руки на допрос молодого цыгана. Сегодня утром от стоял у нас в канцелярии со своей гитарой и смотрел с удивлением на все происходящее. И вот сейчас Сергей Ефимович со старшиной начнут выбивать у него признание в том, что он со своим отцом и братьями украл в Коме двух коней и спрятал их в Мохнатеньком ключике.

А мужики уж ввели его в прихожую. Подойдя к судейской, он вдруг неожиданно выпрямился, оттолкнул от себя своих сопровождающих и неуверенно вошел в судейскую.

Дальше я уж не выдержал и бросился бежать из волости. По дороге мне все время представлялось, как Сергей Ефимович начнет кричать на молодого цыгана, будет стращать его и требовать, чтобы он во всем чистосердечно признался, как этот молодой цыган будет от всего отпираться и как наконец старшина своим страшным ударом свалит его с ног.

На другой день я, как всегда, раньше всех пришел в волость и застал дедушку Митрея за утренней уборкой нашей канцелярии. На этот раз он с остервенением скоблил пол в судейской.

— Чего это ты, дедушко Митрей, пол-то скребешь? — спросил я его.

— Закровенили вчера с этими цыганами. До самого рассвета лютовали. А толку, видать, никакого не добились.

— И молодого цыгана тоже били?

— Всех били.

— Я спрашиваю про молодого цыгана, который с гитарой.

— Ну, этот и без битья чуть не окочурился.

— Его при мне еще привели на допрос.

— И допрашивать не пришлось. Как только зашел к ним в судейскую, так и зашелся. То ли испужался сильно, то ли родимчик его ударил. Свалился на пол, побелел весь, пена изо рта пошла. Перепужал всех. Вытащили его в

сторожку, еле отводились. И вызывать больше не стали. Умрет еще, а потом отвечать придется.

— А остальных допрашивали? Из второй камеры?

— Всех допрашивали...

— И тоже били?

— Били, конечно. Видишь, весь пол закровенили. Вошли в такой раж. По два раза вызывали. Старшина особенно старался. Понравилось ему бить беззащитных людей, силу свою показывать. Наел себе харю-то на волостных харчах, вот и лютует.

И дальше дедушко Митрей стал осуждать Сергея Ефимовича и старшину за то, что они напрасно терзают этих цыган.

— Воров бить, конечно, надо. Это уж исстари так заведено. И цыганы все воры. Это уж по цыганской родове положено им воровать. С малолетства учатся тому. Но ведь раз на раз не приходится. Двиствительно, в Коме украли двух коней. Только не успели их увести. Помешал кто-то. А кто украл? Может, цыгане украли, а может, и свои. Что у нас, кроме цыган, воров нет? Поразвелось его, ворья-то. А они ухватились за первых встречных. И терзают их. А что толку? Бить-то надо тоже с умом. Подумать, примерить, что к чему, а потом уж бить. Ну, старшина туды-сюды — неграмотный мужик... Какой с него спрос — чурка с глазами. А урядник. Он ведь начальник. В мундере, с кокардой... Шашка... левольверт. А соображенья не больше, чем у старшины...

К девяти часам наши писаря, как всегда, пришли на занятия. Все знали, что урядник со старшиной всю ночь с боем допрашивали цыган. И все ни слова об этом не говорили. В одиннадцать часов явился на работу Иван Иннокентиевич. Он тоже знал о допросах, а делал вид, что в волости ничего не случилось. Только свои истории не рассказывал.

В полдень в волость припожаловал Сергей Ефимович при полной форме. Он как ни в чем не бывало поздоровался со всеми за ручку. Никто из писарей не заводил с ним никакого разговора. Но он, кажется, даже не заметил этого, так как был чем-то очень недоволен.

Сразу по приходе он уселся за Петькин столик сочинять донесение господину приставу насчет этих цыган. Заголовок своего донесения он написал сразу — одним махом. А дальше у него что-то застопорилось. Он просидел

за Петькиным столом до самого обеда и написал всего-навсего только три строчки.

А старшина пришел только к концу дня и тоже был чем-то недоволен. Он попробовал завести разговор с Иваном Иннокентиевичем, но тот сразу оборвал его. Иван Фомич, Павел Михайлович и Иван Осипович тоже не стали с ним разговаривать.

Заседатель Ефремов с утра не отходил от своего места около железного сундука в комнате Ивана Иннокентиевича и в разговор со старшиной и урядником не вступал.

В общем, этот день прошел у нас как-то нехорошо. Никто не шутил, не рассказывал смешных историй. Все были молчаливы и с пришедшими по делу мужиками обходились очень строго.

А к вечеру к волости подали три пары подвод, посадили на них арестованных и повезли в Новоселову. Всех женщин и ребятишек, которые были в комской сборне, отправили на цыганских подводах.

Случай с цыганами на некоторое время нарушил привычную, размеренную жизнь в нашей волости. Сергей Ефимович заметил, что все его волостные друзья, за исключением старшины Безрукова, теперь чураются его. И старался не показываться к нам в волость. А если иногда и приходил, то держался строго официально. Но все же он, видимо, тяготился молчаливым бойкотом своих волостных друзей и искал случай восстановить хорошие отношения. Этот случай скоро представился.

Под самый николин день, который почитается в Брагиной престольным праздником, он застукал там целых три винокуренных завода и пригнал в волость две подводы с арестованными винокурами и четыре подводы с винокуренными аппаратами и кадками из-под браги. После этого он заявился в волость веселый, оживленный, готовый рассказать занимательные подробности поимки этих винокуров.

Нашим писарям, видимо, тоже надоело сердиться на Сергея Ефимовича из-за каких-то избитых цыган. И все охотно стали слушать забавные подробности поимки брагинских винокурщиков.

Иван Иннокентиевич тоже помаленьку сменил гнев на милость и на этот раз решил послушать рассказы Сергея Ефимовича. И Сергей Ефимович за закрытой дверью в избранном кругу рассказал ему все подробности своих

брагинских похождений. Иван Иннокентиевич остался очень доволен его рассказом, а старшина Безруков и заседатель Ефремов смеялись до упада.

В общем, к обоюдному удовольствию, нарушенные хорошие отношения были восстановлены. И Сергей Ефимович вновь почувствовал себя своим человеком в нашей волостной канцелярии.

А мне этот случай запомнился на всю жизнь. И приезд цыган в волость, и допрос их Сергеем Ефимовичем и старшиной, и особенно молодой цыган Степа с гитарой. Такой красивый и такой беспомощный, с растерянной улыбкой.

Глава 9
1914 ГОД, МОБИЛИЗАЦИЯ

Через два примерно месяца после моего поступления в волость была объявлена мобилизация.

К этому времени я уже несколько освоился со своим положением подписаренка, вошел в привычную колею работы волостного правления. Каждый день волость с утра заполнялась народом. Весь день здесь мотались по своим делам приехавшие из деревень старосты и писаря, приходили мужики с жалобами в волостной суд, за паспортами, за какими-то справками и по всяким другим делам.

В общем, ничто не предвещало каких-либо чрезвычайных событий, и мобилизация свалилась на нас как снег на голову. Когда я утром шестнадцатого июля раньше обычного явился на занятия, то, к удивлению, застал в волости всех писарей и даже самого Ивана Иннокентиевича. Оказывается, ночью был получен приказ о призыве на службу старых солдат и ночью же были разосланы по волости нарочные с красными пакетами.

Теперь мне стало ясно, почему Иван Иннокентиевич со старшиной и заседателем проверяли на той неделе после занятий эти красные пакеты. Иван Иннокентиевич вынул тогда из своего железного ящика целую пачку таких пакетов, тщательно пересчитал их и спрятал обратно. А старшина и заседатель стояли рядом. Разговора их я не слышал, но лица их почему-то были очень озабочены.

Потом я вспомнил разговор между Иваном Фомичом и Павлом Михайловичем о красных пакетах. Они знали, что есть тайное распоряжение держать пакеты наготове, но не придавали этому особенного значения. Эти пакеты, оказывается, всегда хранятся в волости в железном ящике, и волостному начальству каждый год с наступлением лета приходится проверять их. И все проходило спокойно. Может, и на этот раз отделаемся только испугом? Воевать-то вроде не с кем. А впрочем, мало ли что взбредет в голову военному начальству. Могут призвать несколько возрастов на какие-нибудь маневры. В общем, Иван Фомич и Павел Михайлович не придали тогда всему этому особого значения и решили, что это очередная проверка красных пакетов и дело, как всегда, ею и ограничится. А оказывается, все получилось по-другому.

В первый день мобилизации в волости не произошло особенных изменений. Только приходящего народа почти совсем не было. Так что писаря заняты были больше разговорами о том, будет ли война или дело обойдется только тем, что впустую переполошат народ и оторвут мужиков от работы.

А Иван Иннокентиевич против обыкновения был в этот день сильно озабочен. Он сразу же послал ходока за комским старостой и урядником, потом быстро накатал строгое предписание всем сельским старостам, чтобы они на третий день мобилизации явились в волость со своими сотскими и десятскими для наведения порядка в Коме и на комском перевозе во время следования мобилизованных на сборный пункт в Новоселову. Эту бумажку я немедленно напечатал на гектографе, а Петька Казачонок расписал ее всем сельским старостам и на конвертах, по указанию Ивана Иннокентиевича, сделал жирные надписи: «В. срочно. По мобилизации». Эти пакеты тоже разослали по волости нарочными.

По случаю мобилизации старшина Безруков напустил на себя важность и с озабоченным видом мотался из угла в угол, не зная, что делать, куда спешить, на кого нажимать и кого подтягивать. Он несколько раз совался к Ивану Иннокентиевичу, но тот только отмахивался от него.

А волостного заседателя Ефремова в волости уже не было. Он, оказывается, по своим годам попал под мобилизацию, так что должен был вместе со всеми отправляться на сборный пункт. И на его место немедленно вызвали из Витебки какого-то Станислава Болина.

Через некоторое время в волость заявились урядник Сергей Ефимович и комский староста и о чем-то долго совещались с Иваном Иннокентиевичем. Разговор у них, как мы потом узнали, шел о комском перевозе. Паром на перевозе старенький, от силы берет шесть подвод. А на четвертый день из всех восемнадцати деревень волости хлынут мобилизованные. Несколько сот человек. Да не одни, а с провожающими — с отцами, с матерями, с женами, а может быть, и с малыми детьми. До Новоселовой мобилизованные должны будут ехать на своих подводах. Значит, на перевозе скопится много народа. Легко ли будет переправить на ту сторону всю эту ораву! А народ приедет пьяный, настроен будет бузливо против начальства. Да и в Коме тоже надо иметь надзор. Здесь волость, монополка, несколько купцов, с которыми у мужиков свои счеты. Мало ли что может быть. Вот и решили вызвать всех старост, сотских, десятских, чтобы они держали здесь порядок.

После разговора с Иваном Иннокентиевичем комский староста нарядил несколько плотников спешно ремонтировать паром. Беда, этот комский паром, того и гляди, рассыплется на ходу посредине реки. Поэтому решили на всякий случай пригнать на перевоз несколько больших лодок и заблаговременно нарядить на ту сторону реки десятка три подвод для перевозки мобилизованных на сборный пункт в Новоселову.

А в канцелярии у нас разговор все время вертелся о том, с кем мы собираемся воевать, раз проводится такая большая мобилизация. Но разговор как-то не клеился, так как наши писаря ничего вразумительного сказать об этом не могли. Поэтому как-то незаметно все внимание сосредоточилось на том, как будут вести себя мобилизованные, когда будут следовать через Кому на перевоз. Всем было ясно, что волостному начальству на глаза им лучше не показываться.

К вечеру стали приезжать нарочные из деревень с первыми донесениями от старост о мобилизации. Судя по этим донесениям, все призываемые в назначенный срок выедут в Кому для следования оттуда к сборному пункту.

На другой день в волость прискакал сам пристав. Это был тот самый пристав, который приезжал к нам в Кульчек выколачивать с мужиков подати, в том же мундире с погонами, но только почему-то без револьвера.

Пристав уселся в нашей общей канцелярии за большим столом и стал расспрашивать Ивана Иннокентиевича и

урядника, как обстоят дела в волости с мобилизацией. Узнав, что мобилизованные, судя по всему, бунтовать у нас не собираются, он облегченно вздохнул и заявил, что он за Комскую волость особенно не беспокоится. Его пугает Ачинско-Минусинский тракт, по которому через два дня повалят запасные со всего уезда. Там можно ждать любое. И тут пристав потребовал от старшины направить в Новоселову в его распоряжение всех сотских от Комской волости. Тогда старшина жалобным голосом стал просить пристава о том, чтобы он не забирал себе наших сотских, что сотские нам самим нужны, так как в Коме и на перевозе сгрудится видимо-невидимо народу. Мало ли что может случиться...

— У вас есть восемнадцать старост и больше тридцати десятских. Можно навести любой порядок,— отрезал пристав.— А сотских немедленно без разговоров гоните ко мне в Новоселову.

Тут старшина еще о чем-то стал просить пристава. Но тот очень рассердился:

— Благодари бога, что я старост и десятских тебе оставляю. И все из-за этого дурацкого комского перевоза. А то угнал бы всю вашу сельскую полицию...

А потом пристав повел речь с Иваном Иннокентиевичем насчет того, что в народе созрело какое-то недовольство к начальству. Каждый мужик волком смотрит на любого представителя власти, особенно на чинов полиции.

— Все мы,— говорил он,— чувствуем себя как на пороховой бочке. Достаточно одного неосторожного шага, чтобы где-нибудь да заварилась каша. Случись что-нибудь — все мы окажемся как в мышеловке. В центральных губерниях имеется сельская полицейская стража. На каждую тысячу человек населения положен один стражник. Если взять вашу волость, в которой живет свыше десяти тысяч человек, это было бы десять надежных, дисциплинированных, вооруженных унтер-офицеров. А у вас на волость один урядник. Что он сделает?.. От сельской же полиции никакого проку. Возьмем вашу Комскую волость: восемнадцать сельских обществ — восемнадцать неграмотных старост и тридцать с лишним неграмотных десятских... Все они клянут свою общественную службу. Попробуй заставить их наводить порядок, если, грешным делом, начнется какая-нибудь заваруха. Они сами начнут бузить первыми. Ну а заваруха непременно начнется. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. И к этому надо быть готовым. Особенно сейчас с

мобилизованными. У себя по деревням они бузить не догадаются, а как съедутся сюда, так сразу же начнут сводить счеты с начальством. Одного урядник припугнул, у другого самовар за подать отобрали, третьего в волости невежливо приняли. Это ли не обиды. А тут еще ваш перевоз. Он больше всего меня беспокоит. Непременно нарядите туда всех старост и десятских, чтобы держали там порядок...

— А как, господин пристав, с волостью?— опять осмелился задать вопрос старшина.— Здесь ведь тоже придется выставлять охрану?

— Соображайте сами. Своя голова есть на плечах,— сказал пристав и ушел с Иваном Иннокентиевичем в его комнату. Они закрылись там и о чем-то долго беседовали с глазу на глаз. А потом пристав спешно уехал в Новоселову и увез с собою нашего урядника.

На второй и на третий день занятия в волости велись обычным порядком. Все писаря аккуратно приходили на работу и сидели там положенное время. Но волость пустовала. Никто в эти дни не заходил к нам по своим делам.

А из Новоселовой и из деревень все время приезжали какие-то нарочные. Иван Иннокентиевич со старшиной были начеку и с утра до поздней ночи сидели в волости. Нарочных из деревень Иван Иннокентиевич досконально расспрашивал о том, как у них обстоят дела. Благополучные донесения старост его не успокаивали, и он был почему-то уверен, что мобилизованные непременно начнут бунтовать. В деревнях они ведут себя спокойно, потому что не будешь же бунтовать против своего старосты. А съедутся сюда, непременно начнут бузить...

На четвертый день мобилизации я пришел на работу, как всегда, раньше других и не нашел в волости ни одной души. Все окна, все двери в канцелярии были настежь открыты, но ни ходоков, ни дедушки Митрея не было. Старшина и Иван Иннокентиевич, которые безвылазно, с утра до ночи, сидели здесь предыдущие дни, тоже отсутствовали. И ни одного старосты, ни одного десятского. Все пусто... Хоть шаром покати.

Поначалу я решил, что так и надо: старшина мог спешно выехать куда-нибудь по делам, а Иван Иннокентиевич... а Иван Иннокентиевич и другие писаря придут позднее. Они лучше меня знают, что им сегодня делать.

И я стал ждать их прихода на работу. Ведь сегодня мобилизованные должны повалить из своих деревень в Новоселову на сборный пункт. И все через Кому, мимо нашего волостного правления. Интересно, как будут принимать их Иван Иннокентиевич и другие писаря, если они будут заходить в волость. А заходить они к нам будут непременно.

Между тем время давно перевалило уже за девять часов. Комская улица заметно оживилась. По ней то и дело с гиком и шумом проезжали парные подводы с мобилизованными. Но никто из нашего начальства, из писарей, из ходоков и сторожей в волость не являлся. Даже Петька Казачонок, который жил по соседству с волостью, даже он не показывался.

Тогда я стал догадываться, что все наше начальство, писаря, ходоки и ямщики в волость сегодня не явятся. Судя по их разговорам, они были уверены, что мобилизованные при следовании через Кому непременно начнут громить волость и расправляться с волостным начальством. И не особенно будут разбираться, кто здесь начальник, а кто просто ходок или ямщик. Всех будут лупить, кто подвернется под руку.

А потом я вспомнил, как Иван Фомич, Павел Михайлович и Иван Осипович все эти дни сговаривались поехать зачем-то всем скопом на заимку. Тогда я не сообразил, зачем они собираются летом ехать на заимку, а теперь мне стало ясно, что они сговаривались прятаться там от мобилизованных. Глядя на них, наши ходоки и ямщики и даже дедушко Митрей тоже решили на всякий случай отсиживаться по домам.

«Что же мне теперь делать? — спрашивал я себя.— Оставаться здесь или тоже убираться домой?» Я понимал, что мне лучше будет уйти отсюда поскорее, с другой стороны, мне почему-то было стыдно оставлять всю волостную канцелярию открытой, без присмотра.

А мобилизованные все чаще и чаще стали заходить в волость и спрашивать старшину, заседателя и волостного писаря. Узнав, что в волости ни души нет, одни уходили спокойно, а другие сердито матюгались и тоже уходили. Никто из них меня не троиул, не обругал, не обидел. Так что сидеть в волости мне было совсем не страшно.

Вдруг к волостным воротам на бешеном карьере подкатила тройка. Ямщик с силой осадил лошадей. В тарантасе сидело три человека. Один из них соскочил на землю, вы-

хватил из коробка топор и бросился во двор. Через минуту он с криком ворвался в нашу канцелярию:

— Старшину давай! Урядника! Писаря! Всех порубаю, так их растак!..

А я нисколько не испугался этого человека, так как узнал в нем моего родного дяденьку Ефима из Черной Комы. И я его сразу же окликнул:

— Никого нет, дядя Ефим. Я с утра один здесь сижу...

Тут дядя Ефим сразу опомнился, узнал меня, вспомнил, что я поступил в волость подписаренком, и расплакался пьяными слезами.

— Акеха!!! Племяш, что ты тут делаешь? Давай, брат, отсюдова. А то какой-нибудь дурак, вроде меня, пришибет еще.

— А как же я все оставлю здесь?— попытался я урезонить дядю Ефима.

— Никто ничего тут не троиет. Кому нужны ваши бумаги? Пошли!

В тарантасе около ворот сидели еще два мои чернавские дяди — дядя Еким и дядя Ерофей, а на облучке какой-то чернавский мужик. Дядя Еким и дядя Ерофей тоже были пьяным-пьяны, но они сразу узнали меня и приветствовали радостным матом. После того как мы устроились в тарантасе, ямщик ударил по лошадям и закричал: «Грабят!» Мои дяди тоже закричали в три голоса: «Караул! Грабят!» Кони сорвались с места и бешеным галопом бросились по улице. Через каких-нибудь три-четыре минуты я уже открывал ворота у Малаховых, и тетка Татьяна со слезами встречала своих мобилизованных братьев.

Только мы выпрягли лошадей и уселись пить чай, как на улице показался скачущий во весь опор верховой. Он что-то кричал и размахивал руками. Увидев в нашем доме целую компанию за столом, он сердито закричал:

— Чего расселись!.. Там монополку громят, а вы чаи распиваете!..

Тут он огрел своего коня и поскакал дальше. А мои дядья сразу забыли и о выпивке, и о закуске, выбежали во двор, вскочили на своих коней и поскакали к монополке.

Дядя Яков не торопясь запряг коня в тарантас и тоже поехал туда. Я, разумеется, пристроился с ним, чтобы посмотреть, что там делается.

Монополка в Коме помещается недалеко от волости, вверх по улице, домов через десять. Когда мы туда приехали, вся улица около монополки была уже забита телега-

ми и запружена народом. Мы остановились в стороне, около чьего-то дома. Дядя Яков поручил мне стеречь подводу, а сам отправился посмотреть, что делается около монополки. Мне тоже хотелось видеть, что там творится, и я забрался на ближайший забор. Отсюда все было хорошо видно. Монополка — большой крестовый дом с высоким крыльцом в улицу — была заперта на замок, ставни на окнах наглухо закрыты. На крыльце, у палисадника и у ворот толпился народ, слышались крики: «Скоро там?!», «Выволакивай его!», «Что будем делать, мужики?!», «Чего там ждать! Ломай дверь!».

Тут сразу откуда-то появились топоры, и несколько человек принялись рубить дверь монополки. Однако она не поддавалась, так как была крепко окована железом. Тогда откуда-то притащили длинное бревно и с криком: «Раз, два, взяли!» — стали вышибать дверь. Несколько ударов, и она вместе с косяками подалась внутрь. Тут же стали разбивать ставни у окон. Наконец дверь и оконные ставни были выворочены, и люди ворвались в монополку. Через минуту в окна и в дверь полетели бутылки с водкой. Кто был ближе, хватали эти бутылки на лету. Кто был далеко, изо всех сил проталкивались вперед, чтобы тоже поймать себе что-нибудь. Тем временем на дворе разбили амбар и потащили из него водку в ящиках. Вокруг этих ящиков сразу началась свалка. А мужики, которые были далеко и не могли пробиться ближе, кричали, ругались, требовали делить по справедливости на всех.

Однако шум и волнение продолжались недолго. Водка и в монополке, и на складе в амбаре быстро кончилась, и все стали расходиться и разъезжаться.

Через некоторое время появился дядя Яков с бутылкой водки и большим синяком на лбу. А потом объявились дядя Ефим и дядя Еким. У них дела по части водки обстояли немного лучше. Они принимали участие в разгроме винного амбара, и им перепало там по нескольку бутылок.

На другой день я пошел на занятия попозже и еще издали увидел, что ставни на окнах в волости наглухо закрыты. Ясно было, что там опять никого нет. Сторожка и двери волостного правления были на замке. Значит, делать мне там было нечего, и я надумал пойти на комский перевоз посмотреть, как там плавят через Енисей мобилизованных.

Перевоз устроен в Коме под высокой горой, которая выше села тянется над Енисеем. Верстах в трех от села эта гора отступает от реки и образует высокий залавок. Да и

Енисей собрался здесь в одно русло. Вот на этом очень удобном для перевоза месте комское общество и поставило паром. А дорогу сюда пришлось прокапывать, а местами прямо прорубать в горе над самой рекой. И вот теперь на этой дороге сгрудились сотни подвод с мобилизованными.

День был жаркий. Хотя время уже перевалило за полдень, солнце все еще пекло. Усталые лошади понуро стояли на пыльной дороге и лениво отмахивались хвостами от гнуса. А на подводах и на обочинах дороги располагались мобилизованные с провожающими. В их поведении я не заметил ничего, кроме большой усталости и терпеливого ожидания скорее продвинуться вперед к перевозу. А некоторые мобилизованные лежали, раскинувшись на траве у дороги, и спали. Молодой мужик со старой женщиной одиноко сидели в стороне под березой. На телеге насупротив понуро сидел старик в картузе. На другой телеге сидели муж с женой и двумя ребятишками. У женщины был измученный, заплаканный вид. Ребятишки жались к отцу.

А дальше шла уж прорытая к перевозу дорога. Над ней почти отвесно высилась покрытая густым кустарником гора. А с другой стороны обрыв прямо в Енисей. Дорога узкая, каменистая; никуда с нее ни сойти, ни отъехать. И хоть на ней скопилось много народа, но не слышно было ни громкого разговора, ни смеха, ни песен, как это бывает на многолюдье. И слез не было и причитаний. Все держались ближе друг к другу. Все как бы прислушивались к чему-то там впереди и ждали той роковой минуты, когда оборвется последняя нить, связывающая осиротевшие семьи с их уходящими кормильцами. А оттуда, с перевоза, время от времени появлялись старые и молодые женщины. Они молчаливо брели по краю дороги с окаменелыми лицами. Они не плакали, но на их лицах как бы застыла последняя боль прощания. Никто не окликал их, не заговаривал с ними. Все с сочувствием смотрели на них и думали о том, что скоро-скоро и для них наступит момент последнего расставания.

Поначалу мне хотелось увидеть здесь кого-нибудь из наших кульчекских. Но никого из них я в этой очереди не приметил. Подобно моим чернавским дядюшкам, они, видимо, догуливали в Коме у своих родственников последние денечки.

А потом я стал присматриваться к мобилизованным и их провожающим, и мне сразу припомнились проводы наших рекрутов в Кульчеке. В этот день к каждому из них с утра собираются в дом родственники, друзья и соседи. После

прощального завтрака с участием всей родии начииается обряд прощания. Рекрут клаияется земным поклоном тятеньке и мамоньке и просит у них родительское благословеиие. Отец и мать со слезами благословляют сына иа дальнюю сторону, иа тяжелую солдатскую долю. Если иовобранец женат, он кланяется своей молодой жене тоже земным поклоном и просит у иее прощения за все свои обиды и иаказывает ей оставаться ему вериой жеиой. Потом ои кланяется поясиым поклоиом всему честному народу, пришедшему иа его проводы, и просит всех не помииать его лихом, если ему придется сложить свою головушку иа чужой стороне. Во время этого прощаиия все плачут. Плачут отец и мать, голосит жеиа, если рекрут жеиатый, плачут братья и сестры, близкие родственники и родствеииицы, причитают сердобольные соседки.

А на дворе рекрута ожидает уже целая толпа и встречает его песией. С песией выводят его в улицу, с песией ведут за деревню. Здесь иа проводы рекрутов собирается вся деревня, от мала до велика. Родствеиники, коиечио, по-прежнему плачут, ио их слезы и причитания заглушаются многоголосой песней. Поют складио и дружно и как-то серьезио, как бы делают какое-то большое и важиое дело. В гуляике поют хоть и дружно, но как-то вразброд. Одни вместе со всеми, потом перестают петь, что-то говорят друг с другом, шутят, а потом, как бы опомиившись, бросаются в общий водоворот песни и даже покрывают всех своими голосами. А тут поют все как-то по-серьезному, как бы молитву. И песня звучит здорово и оглушительио. Но вызывает у всех ие радость, а слезы. Рекрута ведут куда-то как бы иа казнь, или на расправу, или в тюрьму и заранее отпевают его. И чем сильиее, чем согласиее звучит песня, тем больше она вызывает ответных слез. Тут даже посторонние люди иачинают плакать. Да и как не плакать. У одиих где-то иа чужой стороне служат сыновья, у других братовья, у молодых солдаток мужья. А кое у кого угнаииые иа войиу так и остались лежать в далеких маньчжурских степях, и кости их там давио уж истлели.

Но вот песня умолкает. Рекрутов усаживают на подводы. Слышатся плач и причитания, и ямщики трогают лошадей. Проводы закоичены, и люди расходятся по домам. А родные остаются на дороге и долго-долго смотрят иа удаляющиеся подводы, пока оии ие скроются из виду.

И теперь, когда я гляжу иа длииную очередь подвод с

мобилизованными, мне ясно представился наш Кульчек. Как и с рекрутами, там в каждом доме проходил обряд прощания мобилизованного с отцом и матерью, с женой и малыми детьми, с братьями и сестрами, со всеми родственниками. Их так же с песнями вели за околицу на безкишенскую дорогу, и здесь проходило последнее расставание. Но тут было больше горя, больше слез и причитаний, так как отправляли не трех-четырех, чаще всего холостых, новобранцев, а тридцать—сорок семейных мужиков, и провожали их прямо на войну, на убой, под неприятельские пули. И горе каждой семьи множилось на число провожаемых на войну кормильцев, на плач и крик оставляемых дома отцов и матерей, жен и детей. Это горе все копилось, копилось и при последнем расставании выливалось в одно большое отчаяние.

Чем ближе к перевозу, тем тревожнее становилось на дороге. Одни для чего-то пересматривали свой немудрящий багаж, другие поправляли упряжь на лошадях, третьи отходили за чем-то от своих подвод к соседям и сразу же возвращались обратно...

Но вот и залавок с перевозом. Здесь я бывал много раз, когда еще учился в комской школе. Тогда мы приходили сюда всей школой, чтобы посмотреть на пароходы, которые изредка причаливали здесь к нашему берегу. Но тогда, кроме перевозчиков да двух-трех пассажиров, только что приехавших из Красноярска, здесь никого не было. А сейчас весь залавок был забит подводами, а на берегу против причала виднелась большая толпа. В ней резко выделялись старосты и десятские. Несмотря на жаркую погоду, все они были почему-то в черных шабурах, и у всех на груди были приколоты большие медные бляхи. Всеми ими верховодил комский староста — высокий бородатый мужик тоже в шабуре и с огромной бляхой. А провожающие — старики, старухи и женщины, некоторые даже с детьми, с обреченным видом ждали, когда с той стороны подойдет паром и наступит для них горький и страшный момент последнего расставания.

А момент этот все приближался и приближался. Очередные подводы были подтянуты с залавка к самому спуску к реке. Паром уже отчалил с той стороны. В толпе на берегу не слышно было никакого разговора. Все молча смотрели на паром. Только чья-то гармонь время от времени жалобно пиликала и сразу же как бы смущенно замолкала. А паром здорово относило вниз, и лопашные изо всех сил работали

на нем на гребях, стараясь скорее прибиться к берегу. Наконец они кое-как подошли к этой стороне, много ниже перевоза, и смогли выбросить на берег чалку. Несколько старост и десятских уж ждали их там и потянули паром вверх. И как только он стал подходить к причалу, комский староста подал знак готовиться к погрузке. Тут сразу же раздались отчаянные крики и причитания. Женщины, сидевшие до этого с каменными лицами, начали голосить, дети плакать. Мобилизованные тоже плакали, но плакали молча. Одни из них падали ниц перед своими родными, другие последний раз обнимали своих жен и детей. А которые были без провожающих, смотрели на все это и по-своему переживали общее горе.

Тем временем старосты и десятские погрузили подводы на паром и подошли к толпе. Они очень уважительно стали звать в первую очередь тех, которые были без провожающих. И несколько человек, махнув на все рукой, последовали на паром. Среди них был гармонист, который до этого что-то осторожно напиликивал на своей гармошке. Теперь он в последний раз заиграл что-то веселое, а потом в исступлении ударил свою гармошку о прибрежный камень и с остервенением стал втаптывать в землю разлетевшиеся планки. А другой здоровенный мужик, похожий на нашего Григория Щетникова, выхватил из кармана бутылку с водкой, выхлопнул пробку и одним духом, не отрываясь, выпил ее до дна. А посудину бросил далеко-далеко в Енисей. Семейных солдат старосты и десятские отрывали от родных и под руки отводили на паром. Ни одно место в нашей Комской волости, ни одна околица наших деревень не были свидетелями такого отчаяния, как этот проклятый комский перевоз. Восемнадцать деревень свезли сюда свое горе, свои слезы, и они как бы захлестнули здесь все вокруг. И эту узкую дорогу, и этот залавок, на котором сгрудилось до сотни подвод, и этот старый, дощатый, еле живой паром, и этот широкий, могучий, холодный, равнодушный ко всему, стремительный Енисей.

И вот загруженный до отказа паром отваливает от берега и медленно ползет против течения. Он должен почти на версту подняться вверх, чтобы прибиться на той стороне прямо к причалу. А провожающие — женщины, старики, дети — со слезами идут за ним по берегу. Но вот паром под прямым углом поворотил в реку. Его начинает сильно сносить вниз по течению, но он медленно и упорно продвигается на ту сторону и наконец прибивается там к причалу.

С него сходят люди, съезжают подводы. Кто-то машет оттуда, но узнать своих на таком расстоянии уж невозможно. А провожающие все равно стоят и смотрят туда. Смотрят и ничего уже не видят, кроме огромной холодной равнодушной реки, которая, как бы играя на солнце, стремительно катится куда-то в неведомую даль.

На перевозе я пробыл недолго. Проводил на ту сторону только один паром. Оставаться дольше было тяжело. Да и что я там мог увидеть, кроме того, что уже наблюдал. Паром еще не отчалил с той стороны, а старосты и десятские стали уже подтягивать к причалу очередные подводы. И сразу послышались слезы и причитания.

На обратном пути я наблюдал больше почему-то не запасных солдат, призываемых на войну, а их отцов и матерей, их жен и детей. Им не грозила здесь война, голод, смертоубийство. Они знали, что всех мобилизованных погонят воевать — на смерть и в лучшем случае на увечье. И тут мне вспомнилась смерть нашего дальнего родственника, который, как и Ефрем Кожуховский, все время хлопотал после солдатчины о белом билете.

Дядя Василий воевал во время русско-японской войны. В сражении под Мукденом ему прострелили правое плечо, и с войны он пришел калекой. Но белый билет ему не дали, а зачислили в запас. Так что при первой же мобилизации он подлежал призыву. Дядя Василий хлопотал, чтобы ему выдали белый билет, и его два раза вызывали в Минусинск на комиссию. И оба раза почему-то оставляли в запасе. И это так на него подействовало, что он со дня на день стал ждать мобилизации. Повторный призыв на солдатскую службу так пугал дядю Василия, что он нынче зимой застрелился. Взял свою винтовку-малопульку, ушел на гумно и предпочел рассчитаться с жизнью дома.

Утром следующего дня я, как всегда, пораньше явился в волость. Дедушко Митрей был уже на своем месте и наводил в канцелярии чистоту и порядок. Но старшина, Иван Иннокентиевич и его помощники опять отсутствовали. Даже волостных ямщиков не было.

Днем в волость украдкой заглянул Иван Фомич, посидел малость, узнал, как у нас тут обстоят дела, посоветовал нам не оставлять волость без присмотра и незаметно куда-то ушел.

На пятый день объявился наконец старшина. Явился он

в хорошем настроении и, судя по всему, неплохо провел все это время. Теперь он очень хотел что-то делать, чем-то распоряжаться. Но без Ивана Иннокентиевича не знал, куда поспешать, на кого нажимать, кого подтягивать. И тут как раз явился с перевоза комский староста узнать, что делать дальше. Переправа мобилизованных идет день и ночь и уже почти закончена. Староста и десятские на перевозе совсем выбились из сил и собираются разъезжаться по домам. А как быть с переправой подвод из Новоселовой? На той стороне их скопилось уж сотни три, не меньше. Одним комским перевозчикам с этим делом не управиться. Как бы не вышло какой-нибудь мороки.

Тут старшина сразу сообразил, что старост и десятских надо непременно задержать. Но решить это своей властью он боялся и побежал куда-то договариваться обо всем с Иваном Иннокентиевичем. Через час он явился обратно и, не говоря ни слова, отправился на перевоз.

А на следующий день все писаря как ни в чем не бывало явились в волость. Они ни о чем друг друга не расспрашивали и ничего друг другу не рассказывали, как будто все пришли сюда из одного места, где отсиживались эти дни... Видать, в самом деле прятались где-то на заимке. А может быть, по домам сидели. Ведь мобилизованные буянили в Коме только поначалу. А в следующие дни даже пьяных не было.

Но Иван Иннокентиевич и его помощники были убеждены в том, что им грозила здесь жестокая расправа, и держались теперь геройски. Они были уверены, что после разгрома монополки мобилизованные непременно взялись бы за волость, если бы они вовремя не убрались оттуда в безопасное место.

В этот же день из Витебки приехал заступать на должность новый волостной заседатель. Это был молодой еще расейский мужик огромного роста, в аккуратном пиджаке из самодельного сукна, в каких щеголяют у нас все переселенцы. В волость он явился с каким-то потерянным, даже испуганным видом. Судя по всему, ему в первый раз в жизни пришлось близко встречаться с такими важными людьми. Изредка он силился улыбаться, когда речь заходила о его семье и хозяйстве. Но эта улыбка сразу же куда-то пропадала.

И вот старшина повел его к Ивану Иннокентиевичу, объяснив заранее, какую большую силу и власть Иван Иннокентиевич имеет в волости. При встрече со Станисла-

вом Болиным Иван Иннокентиевич сразу напустил на себя важный вид. Не говоря ни слова, он уставился на Болина, как будто что-то хотел рассмотреть у него внутри. Он так долго в упор рассматривал Болина, что у того от страха дух захватило. Потом Иван Иннокентиевич с шумом открыл свой железный ящик, вынул из него большую медную бляху с надписью «ВОЛОСТНОЙ ЗАСѢДАТЕЛЬ», положил ее перед собою и только после этого пригласил Болина садиться. Затем он спросил Болина, сколько ему лет, какого он вероисповедания и может ли он подписывать казенные бумаги. Узнав, что Болин совершенно неграмотен, Иван Иннокентиевич сокрушенно покачал головою, откинулся на спинку стула, посмотрел в потолок, потом снова уставился на Станислава Болина и начал вразумлять его насчет тех обязанностей, которые ему предстоит выполнять, став волостным заседателем.

— Волостной заседатель, — втолковывал Станиславу Болину Иван Иннокентиевич, — является большим начальником. Он первое лицо в волости после старшины, а при отсутствии старшины, которому часто приходится отлучаться по делам, остается главным лицом в волостном правлении. Как должностное лицо заседатель имеет свою печать и должен носить на груди медную бляху. Половина всех бумаг в волости идет за его подписью и печатью...

Станислав Болин с испугом слушал Ивана Иннокентиевича. Он, видимо, никак не ожидал, что будет наделен в волости такой огромной властью. И никак не мог сообразить, что он будет делать, сделавшись таким большим начальником. А Иван Иннокентиевич продолжал втолковывать ему обязанности волостного заседателя.

— Старшина, — вразумлял Иван Иннокентиевич Станислава Болина, — отвечает у нас за сбор податей, за общий распорядок, за тишину и спокойствие в волости, а вы, как волостной заседатель, должны поддерживать порядок в волостном правлении, чтобы все здесь делалось как положено, чтобы правильно велись все денежные книги и отчетность, чтобы аккуратно велось все делопроизводство. Потом, на заседателя возлагается у нас обязанность волостного казначея. Он должен принимать от сельских старост казенные подати и волостные сборы. Казенные подати своевременно отправлять в уездное казначейство, а волостные сборы расходовать по назначению волостного схода на наем писарей, на покупку канцелярских принадлежностей, на оплату гоньбовых расходов и все та-

кое. И, конечно, заседатель несет полную ответственность за сохранность этих денег. Случись с ними что-нибудь неладное, он первый в ответе, его первого потянут в суд, ему первому тюрьма...

Станислав Болин сидел ни жив ни мертв, а когда Иван Иннокентиевич спрашивал: понятны ли ему обязанности волостного заседателя, бормотал в ответ что-то невнятное...

Дальше Иван Иннокентиевич возложил на Станислава Болина ответственность за состояние волостной тюрьмы и за своевременное представление разных статистических сведений, за составление призывных и мобилизационных списков, за работу волостного суда и за состояние гоньбовой повинности. Ближайшую обязанность Станислава Болина как волостного заседателя Иван Иннокентиевич усматривал в хранении денежных сумм, налоговых и денежных книг в нашем железном несгораемом ящике. Ключ от этого ящика он — Станислав Болин — должен хранить теперь денно и нощно при себе и открывать этот ящик только по требованию волостного писаря. В заключение Иван Иннокентиевич велел Петьке Казачонку принести печать волостного заседателя и положил ее на стол рядом с медной бляхой и ключами от железного ящика. Потом он встал и несколько торжественно произнес:

— А теперь, старшина, прицепи новому заседателю положенный ему по должности знак служебного достоинства...

Старшина встал, принял от Ивана Иннокентиевича медную бляху и подошел к Станиславу Болину. Тот испуганно вскочил.

— Чего ты дрожишь, как необъезженный жеребец? — сказал старшина и стал прицеплять бляху на грудь Болину.

— А теперь получай печать волостного заседателя и ключи от несгораемого ящика, — продолжал Иван Иннокентиевич и показал Болину на железный ящик. — Печать выдавай моим помощникам для припечатывания казенных бумаг, а ключ никому, кроме меня, не доверяй.

Тут Иван Иннокентиевич позвал к себе в комнату всех своих помощников и на их глазах торжественно вручил Станиславу Болину печать волостного заседателя и ключи от железного ящика:

— Вот, господа, наш новый волостной заседатель — Станислав Викентьевич Болин. Прошу любить и жаловать...

Станислав Болин с виноватым видом стоял перед всеми с казенной печатью и ключами в руках, с большой медной бляхой на груди. Он был бледен. Пот градом катился с него. Он что-то бессвязно бормотал, потом вдруг, неожиданно для всех, начал всхлипывать, как ребенок.

Никто не ожидал такого оборота. Иван Иннокентиевич даже растерялся и велел Петьке Казачонку сбегать в сторожку за водой. А Станислав Викентьевич, всхлипывая, опустился на стул и начал бормотать что-то бессвязное. Он попробовал пить принесенную Петькой воду, но руки его тряслись, зубы выбивали дробь, вода из ковшика расплескивалась.

— Эх, беда какая, — не то с удивлением, не то с сожалением произнес старшина.

— Отведи его в сторожку и успокой,— приказал старшине Иван Иннокентиевич.— Объясни, что ничего страшного в его службе нет. Я, кажется, немного сгустил краски...

С этого дня Станислав Болин насовсем водворился в нашей канцелярии. Он с утра до ночи сидел в комнате Ивана Иннокентиевича и охранял свой железный ящик, в котором кроме денежных книг и документов, как я теперь знал, хранились еще красные мобилизационные пакеты. А вскоре Болин совсем перешел на жительство в волость. Столовался он где-то на стороне. Значит, имел какую-то квартиру. Но на ночь непременно приходил в волость и устраивался спать возле своего железного ящика.

Вскоре все узнали, что Станислав Болин — добродушнейшее существо, наивный и робкий, как ребенок, и стали над ним всячески потешаться. А мы с Петькой вызнали, что он до смерти боится щекотки. Достаточно протянуть к нему руку с намерением пощекотать его, как он начинал корчиться и всхлипывать от смеха. И мы все время мучили и пугали его этим. Вот он сидит в комнате Ивана Иннокентиевича и ждет, когда тот потребует у него ключ от железного ящика. А Петька подойдет к дверям и издали нацелится на него линейкой. Болин, конечно, сразу заметит это и начинает беспокойно ерзать на стуле, потом осторожно смеяться, а потом всхлипывать и корчиться от смеха. Кончалось это тем, что Станислав Болин, забыв и про Ивана Иннокентиевича, и про старшину, и про других писарей, с яростью бросался на Петьку, чтобы вырвать у него эту злополучную линейку. А тот, разумеется, давал стрекача. Конец этой истории доигрывался обычно во дво-

ре. Первое время это всех забавляло, но потом Иван Иннокентиевич запретил устраивать такие игры в канцелярии. Но в его отсутствие и когда в волости не было народа, в эту игру включались все писаря и в первую очередь старшина, которому особенно нравилось дразнить Болина.

Недели через две после мобилизации в волости появился урядник Чернов. Все это время он состоял при приставе на Минусинском тракте. При следовании по тракту мобилизованные громили все монополки и частные винные лавки, сдирали со столбов телеграфные провода и расправлялись с начальством, если оно появлялось на тракте. И новоселовский пристав со своими урядниками старались им там не попадаться. Они мотались поблизости от тракта по соседним деревням, сгоняя оттуда подводы на тракт для перевозки мобилизованных. Но все же один раз пристав вместе с нашим Черновым как-то оплошали и попали им в лапы. И попали каким-то шутникам, которые, то ли от большого ума, или от большой дурости, решили извести их на тот свет веселым способом. Они выставили им по четверти водки и велели выпить ее без остатка. И пить заставили с песнями, с пляской, под гармошку. Поначалу пристав и Чернов пили только для отвода глаз и старались больше петь и плясать. Однако этот номер у них не прошел, и их заставили пить без обмана все до конца, пока они не могли уж ни встать, ни сесть, лишились языка и потеряли человеческий облик. Тогда их усадили на их же пароконную подводу и отпустили на все четыре стороны. А ямщик был у них откуда-то из ближнего притрактового села и повез их прямо к себе. А там, на их счастье, оказался новоселовский доктор. Он кое-как и отводился с ними.

После мобилизации все пошло в волости по-старому. Мужики, как и раньше, являлись к нам по своим делам. Иван Иннокентиевич по-прежнему стал приходить на занятия только к одиннадцати часам и как ни в чем не бывало рассказывал свои веселые истории. Так же два раза в неделю ходила почта в Новоселову и по волости. Только увеличилось количество писем, да у Ивана Фомича прибавилось работы с военным учетом.

Но все-таки у нас стало теперь как-то шумнее и многолюднее. С самого утра к нам стали заходить новые люди, чтобы узнать, не было ли ночью нарочного из Новоселовой, не приезжал ли оттуда кто из большого начальства, не заглядывал ли в волость за почтой сисимский лесничий и если приезжал, то что он рассказывал о войне. На удивление всем, он привозил в волость самые интересные новости. Живет человек на отлете от всех, почти в самой тайге, а знает больше всех, что делается на белом свете.

А на белом свете творилось что-то несуразное. После мобилизации все ждали войны с Японией. Мысль о такой войне для всех была привычной. А когда вышел первый манифест, то оказалось, что нам объявила войну Германия. А потом вышел манифест о войне с Австро-Венгрией и, наконец, с Турцией.

Манифесты эти были для всех совершенно непонятны. Ну, война с турками еще туда-сюда. Воевать с турками — все это хорошо знали — приходилось много раз. Но никто не помнил ни одной войны с Германией и Австро-Венгрией. Знали, что в этих государствах живут немцы, которых почему-то называют колбасниками. Знали, что в наших городах живет много немцев. Есть среди них даже генералы. Но чтобы воевать с немцами... Этого никто не мог понять. В конце концов, что надо от нас этим колбасникам?

А новости с каждой почтой сыпались как из мешка. Сообщали о назначении великого князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим, писали в газетах о каких-то патриотических манифестациях в Петербурге и в Москве. В связи с войной была введена военная цензура, и все государство было объявлено на каком-то особом положении, а Сибирская железная дорога на военном положении. В связи с этим на всю Восточную Сибирь, включая нашу Енисейскую губернию, был назначен какой-то главноначальствующий — генерал Нищенков. Никто об этом генерале ничего не слыхал, а теперь он был поставлен над всеми губернаторами и даже над самим генерал-губернатором. Назначение на Восточную Сибирь особого главноначальствующего вызвало много разговоров. Из них выходило, что вся власть начала перестраиваться на военный лад и, чего доброго, эта перестройка дойдет и до сельских мест. Того и гляди, рядом с крестьянским начальником и становым приставом над нами поставят еще какого-нибудь полковника, а то и генерала. Ну а там дело дойдет и до деревень. И по деревням начнут сажать военных началь-

ников. Неспроста же говорил пристав о какой-то конной полицейской страже из унтер-офицеров, которую, по его словам, давно уж собираются установить в Сибири. Того и гляди, поставят эту стражу в наших местах.

О патриотических манифестациях в Петербурге и в Москве особенно не распространялись. Они не вызывали в наших местах никаких откликов. К немцам, которые были объявлены теперь нашими врагами, никто никаких неприязненных чувств пока не выказывал. Даже урядник Чернов ничего плохого о них не говорил. Но это было только поначалу. По мере развития военных событий стало известно, что немцы всегда были нашими врагами и только тем и занимались, что вставляли нам палки в колеса. А теперь решили совсем порешить нашу державу. Так что придется воевать с ними до победного конца.

А война все шла и шла, и конца ей не предвиделось. За первой мобилизацией последовала вторая, за второй третья. Призывали все старых солдат, и Иван Фомич готовил на них новые и новые списки. А я эти списки ему переписывал.

В первую мобилизацию солдаты готовы были все крушить и ломать. А к повторным призывам они как бы привыкли: не бузили, не шумели, не собирались бить начальство, а послушно следовали на свои сборные пункты. И новоселовское, и наше комское начальство, и Иван Иннокентиевич, и все его помощники не прятались уж от них по заимкам, а спокойно занимались своим делом. У всех создалось впечатление, что в народе что-то надломилось и мобилизуемые уразумели, что криком и шумом тут делу не поможешь, что от войны никуда не уйдешь, от мобилизации не спрячешься, что высшая власть здорово укрепилась и установила такой порядок, что теперь даже пикнуть нельзя против начальства без того, чтобы не угодить в тюрьму или под военный суд.

И слез при проводах мобилизованных стало меньше. Слез стало меньше, но от этого было не легче. Вместо них у каждого при проводах был тяжелый камень на сердце.

После нескольких мобилизаций бывших солдат (нижних чинов запаса) принялись за ратников. Сначала за ратников ополчения первого разряда, потом за ратников ополчения второго разряда. Тут все решили, что дальше возьмутся за старых солдат-инвалидов, которые воевали с японцами. В запас их в свое время не зачислили, а выдали им белые билеты. И вот теперь откуда-то стало известно, что

высшая власть решила призвать их в армию, так как солдатскую службу они знают, и хоть на войне и покалечены, но могут еще хорошо охранять военные склады и выполнять в военных лагерях разные хозяйственные работы.

Однако неожиданно для всех высшая власть решила пополнять действующую армию по-другому и распорядилась досрочно призывать на военную службу рекрутов-новобранцев. Раньше их брали в солдаты на двадцать втором году от рождения, а теперь решили призывать досрочно, начиная с восемнадцати лет. И тут Ивану Фомичу пришлось срочно готовить на них призывные списки, а мне эти списки переписывать. В один из них попал и наш Конон. С этими досрочными призывниками долго не церемонились. Их всех быстро освидетельствовали на призывном пункте, и через некоторое время мы с мамой отвезли Конона в Новоселову на сборный пункт. Там его вместе с другими новобранцами сразу же загнали в огромную баржу, стоявшую у причала. По дороге обратно, когда мы подъезжали уже к комскому перевозу, на реке показался огромный пассажирский пароход с двумя баржами. День был теплый, ясный, хороший, а на пароходе и на баржах не было видно ни одного человека.

— Некрутов везут... — догадалась сразу мама. — Как баранов, внутрь всех загнали, — сказала она и утерла слезы. — А потом из Красноярскова уж повезут их в каких-то теплушках на войну. С лошадями, говорят, везут их туда. На убой. Как скота на мясобойню...

Глава 10
КРЕСТЬЯНСКИЙ НАЧАЛЬНИК

Лето выдалось нынче на редкость жаркое, засушливое. С самой весны не было ни одного дождя. После троицы начала гореть тайга. Солнце скрылось в дымной хмаре. Над селом с утра до ночи висела едкая пыль. Из деревень поступали тревожные вести: хлеб выгорал на корню. Травы на покосах тоже были плохие. Скот отощал. Мужики приходили в волость злые и без конца говорили о том, что не миновать в этом году голодовки. Да и сена совсем не будет. Придется в тайге косить,

ворочать там дурную траву, а зимой гнать туда скотину на кормежку. И работников нет. Все на войне, которой и конца не видно...

В газетах все чаще и чаще стали писать о засухе. Иван Фомич, который один из всех писарей более или менее аккуратно читал газеты, сказывал, что засуха приняла в нынешнем году небывалые размеры. В Ачинском и Канском уездах, оказывается, тоже все выгорело. В Иркутской и Томской губерниях, в Акмолинской области тоже была засуха.

Начальство было сильно обеспокоено плохими видами на урожай и без конца требовало от волости разные сводки о состоянии посевов. А в Красноярске, говорят, образовался какой-то продовольственный комитет, который должен был закупать хлеб для нас в урожайных местах. Этому комитету надо было знать, сколько он должен закупить хлеба для каждой деревни, для каждой волости, для каждого уезда, для всей Енисейской губернии.

Эти сведения, разумеется, затребовали от волостных правлений, а те в свою очередь препоручили это дело сельским старостам. Они должны были в самый короткий срок представить в волость ведомости о потребном количестве хлеба для своих селений по каждой семье отдельно, с указанием количества едоков.

Вся эта работа была проведена сельскими писарями в очень короткий срок. Потом эти ведомости проверяли и уточняли у нас в волости и сильно убавили общую сумму продовольственной ссуды и отослали крестьянскому начальнику.

Через несколько дней Иван Иннокентиевич позвал меня к себе и спросил:

— У тебя есть в Новоселовой родственники или какие-нибудь знакомые, у которых ты мог бы прожить несколько дней?

Я подумал немного и сказал, что у меня есть в Новоселовой родственники и я могу прожить у них хоть целую неделю.

В Новоселовой у нас был действительно родственник — Тарас Васильевич Тахтин. Он заезжал иногда к нам в Кульчек проездом куда-то в Солбинскую волость и всегда вызывал у меня к себе повышенный интерес. Тарас Васильевич совсем не походил на наших кульчекских мужиков. Водку не пил. Так что при его приездах тятенька не метался по деревне в поисках бутылочки. Держался Тарас

Васильевич как-то строго, говорил обо всем обдуманно, никого не ругал, не матюгал, и как-то по особому уважительно относился к моей матери.

Родом Тарас Васильевич был чернавский и приходился матери двоюродным братом. А в Новоселову он ушел в дом к Назару Бережковскому. Жили они там справно, и я почему-то сразу решил, что могу остановиться у них.

— Ну, если так, — сказал Иван Иннокентиевич, — то иди скорее, собирайся. Поедешь денька на два к крестьянскому начальнику. Поможешь там в его канцелярии писать эти продовольственные списки. Видимо, еще сокращать решили. Возьми с собой на всякий случай пальтишко и еще что-нибудь. Через час пойдет почта. Поедешь с Липатом.

У Ивана Иннокентиевича я недопонял, что должен буду писать продовольственные списки у самого крестьянского начальника. А пока я бегал домой сказать тетке Татьяне, что на несколько дней уезжаю в Новоселову, эти слова Ивана Иннокентиевича дошли до меня как следует. И я сильно струсил.

За время своего короткого пребывания в подписаренках я узнал, что наше Комское волостное правление подчинено бесчисленным начальникам. С каждой почтой из Новоселовой приходил целый ворох разных распоряжений, предписаний, указаний, требований и отношений. Они поступают из Минусинска от уездного исправника, от воинского присутствия и уездного съезда крестьянских начальников, от уездного казначейства, из Красноярска от губернского по крестьянским делам присутствия, от казенной палаты, окружного суда, духовной консистории, тюремной инспекции, от какого-то горного надзора, и еще от кого-то из других городов, и даже от каких-то Богомдарованных рудников. И все они начинаются строгими приказаниями, а кончаются еще более строгими предупреждениями и угрозами.

Но все же самым главным начальником является у нас крестьянский начальник. Он непосредственно направляет работу волостного правления и наделен такой властью, что может отменить любое решение волостного старшины. Более того. Он может отменить любое решение волостного схода. Он может даже запретить собираться волостному сходу.

Я знал, что крестьянский начальник имеет большую власть над нами, но никогда не думал, что мне придется являться к нему на работу. Я читал десятки его распоря-

жений, многие из которых повергали в страх наших волостных начальников и даже самого Ивана Иннокентиевича. Часто совсем маленькая бумажка от него заставляла их метаться по всей волости. А нынче осенью он сам неожиданно нагрянул к нам. В волостную канцелярию он даже не зашел, а остановился на своей тройке у ворот и потребовал старшину Безрукова. Говорил он с ним властно и грубо, не сходя со своего тарантаса. Он приказал ему в самый короткий срок собрать все недоимки, которые состоят по волости за мужиками, причем особенно напирал на медведевское общество.

— Ты потакаешь медведевским! — кричал он старшине. — Потому что сам медведевский. Но смотри! Я с тобой разделаюсь, если ты не подгонишь мне окладные сборы.

Пригрозил так и укатил на своей тройке в Новоселову.

После этой встречи с крестьянским начальником наш старшина с ног сбился, разъезжая из деревни в деревню, распекая старост, устраивая сходы, уговаривая мужиков, угрожая им отсидкой, описью и распродажей имущества. Но его увещания и угрозы на мужиков уже не действовали.

До войны все было проще. Отберут у мужика за недоимку самовар и выставят его на сборне всем напоказ. Смотрите, дескать, Филины-то без самовара остались. Чай-то из чугунки теперь пьют. И, конечно, Филиным было стыдно перед всей деревней пить чай из чугунки. Большего позора у нас в деревне и не знали. Разве уж кому ворота вымажут дегтем... Ну и приходилось, хочешь не хочешь, где-то искать деньги, влезать в долги или продавать скотину и выплачивать эту проклятую недоимку. Можно сказать, выкупать свой собственный самовар. А сейчас мужика уж никаким самоваром не прошибешь. Во всех деревнях все сборни ими забиты. А толку никакого... «Обойдемся, — говорят, — как-нибудь и без самоваров, а платить все равно не будем». Вот старшина и мечется из деревни в деревню, сажает недоимщиков в каталажку и ждет, скоро ли его самого потянут в тюрьму и куда потянут — в Новоселову или прямо в Красноярск в тюремный замок.

Но не только старшина, но и все волостные начальники живут под постоянным страхом перед крестьянским начальником, потому что у нас на местах нет здесь другой власти, выше его. Даже Иван Иннокентиевич, который командует в волости и старшиной, и заседателем, и волостными судьями, и всеми сельскими старостами, и даже во-

лостным сходом, даже он боится крестьянского начальника. Боится, потому что тот в любое время может снять его с должности и поставить на его место кого-нибудь другого.

Иван Фомич, Павел Михайлович и Иван Осипович тоже побаиваются крестьянского начальника, хотя они и не волостные начальники, а только помощники Ивана Иннокентиевича и ни за что в волости не отвечают. Но мало ли, что ему может прийти в голову. Пришлет в одно прекрасное время Евтихиеву какого-либо другого помощника, а из них кого-нибудь прикажет вытурить вон. И жаловаться некому.

Я не был волостным начальником, и мне пока не грозили от крестьянского начальника ни тюрьма, ни увольнение. Однако я боялся его, вероятно, сильнее всех. Потому, что был заражен общим страхом перед ним, и, конечно, потому еще, что я был все-таки меньше всех. И сейчас, когда я как следует расчухал, что мне надо выезжать прямо к нему на работу, то не на шутку струсил. Что там надо будет делать с этими списками, как их переписывать и переделывать? Справлюсь ли я с этим? Может, лучше не ездить туда? Пусть посылают писать эти списки Петьку Терскова, а я за него буду вписывать и выписывать бумаги во входящий и исходящий журналы.

Но отказываться от поездки было поздно. Липат уже поджидал меня, сидя со своим почтовым баулом в тарантасе, а Тихон Зыков восседал на облучке. Я с побитым видом влез к Липату в тарантас и устроился на его бауле. Тихон тронул лошадей, и мы покатили на комский перевоз.

Подобно дедушке Митрею, Липат несколько лет состоял при волости ходоком. Был он мал ростом, горбат, имел жиденькую черную бороденку. Из-за своего физического недостатка к тяжелой крестьянской работе он был, конечно, непригоден. Это обстоятельство и заставило его податься в волость на «легкую вакансию» и из года в год наниматься в ходоки. Но ходок он был очень хороший. Вот уж несколько лет аккуратно доставлял по понедельникам и четвергам почту в Новоселову и из Новоселовой, будь это самый сильный весенний или осенний ледоход или любая непогода, когда самые отчаянные люди воздерживаются перебираться через реку.

Но никто в волости не придавал этому особого значения. Все уже привыкли к аккуратности Липата, да и сам Липат тоже, видимо, не видел в своих поездках ничего осо-

бенного. Только каждый раз после такой оказии он был возбужден более обычного, чаще курил и все время над чем-то посмеивался.

Большой горб и маленький рост не особенно обременяли Липата в жизни и, во всяком случае, не портили ему настроения. Он выглядел всегда веселым. Даже большая семья и постоянная нужда не сломили его, и он принимал это от жизни как само собой разумеющееся. «Большая семья, — говорил он, — большая нужда, маленькая семья — и нужды меньше», — и сразу старался перевести разговор на другую тему.

В Новоселову за почтой Липат ездил всегда с огромным револьвером, который каждый раз не знал, куда прятать. Карман штанов он оттягивал, из-за пазухи выкатывался. Кроме того, револьвер делал Липата похожим на начальника. А это ему не нравилось. Наконец он додумался завертывать его в тряпку, класть в баул и запечатывать вместе с почтой. Это сразу развязало Липату руки и особенно язык. Что-что, а поговорить он любил.

Сегодня Липат, как всегда, был в хорошем настроении. Подобно дедушке Митрею, он стал расспрашивать, как у меня обстоят дела насчет девчонок. Увидев, что я стесняюсь отвечать на его расспросы, он вступил в спор с Тихоном Зыковым, с которым у него были свои темы для разговора.

В противоположность Липату Тихон был настроен крайне мрачно и преисполнен самых тяжелых предчувствий.

— Тебе все хахоньки да хихоньки. Все шутки разные выкамариваешь, — укоризненно говорил он Липату. — А ты всурьез подумал о том, как мы жить-то будем. Если такая жара еще неделю-две простоит, кусать-то зимой нечего будет. Все сгорит на корню. Да и скоту кормов не будет. Смотри, что делается!

И Тихон широким жестом показал на Енисей, над которым нависла сизая пелена дыма, на еле видимую в густой хмаре громаду Тона, на тусклое солнце, изливавшее на сожженную землю потоки тепла.

— Был бы рот, а кусать что-нибудь найдем, — бодро возразил Тихону Липат.

— А что найдешь-то? Картошки и той не будет. И та выгорела. Лебеду, что ли, жевать будешь али из полыни оладьи печь?

— Ссуду дадут из мангазина, — не сдавался Липат.

— Ссуду дадут на посев, а не на еду. Так что на эту ссуду ты не надейся.

— Из урожайных мест привезут. Сам знаешь, в волости списки составляли. По два пуда на душу в месяц записывали.

— Разевай рот шире. Написать все можно. Вам, суракам, наобещают, а вы и тешите себя...

— Так списки же составляли. Мне на восемь душ сто девяносто два пуда записали.

— Тебе сто девяносто два пуда, да мне полтораста, да моему соседу тоже без малого двести. А в Коме у нас почти пять сотен дворов, и в каждом доме не меньше пяти ртов. Ну-ко, сочти, сколько на них надо будет? Иван Фомич сказывал — на одних комских только на один месяц надо четыре тысячи пудов. А сколько на год?.. А ведь у нас в волости восемнадцать деревень и везде есть хотят. А Новоселовская волость, а Балахтинская, а Знаменская, Беллыкская, а под Минусой... Там ведь вон какие поселения... Тут только на один наш уезд надо мильон пудов. А где их купить и как их привезти сюды? И чем мы будем расплачиваться за это? Вот и подумай как следует...

Липат сидел, подавленный доводами Тихона.

— Молчишь! — торжествующе сказал Тихон. — То-то и оно... Прогневали бога, вот теперь и расхлебываем. В воскресенье ходили с иконами. Молебны служили. Сначала в Карасуке, потом в Симистюле. Молились, молились... Глядим — из-за Тона что-то стало натягивать и немного погромыхивать... Ну, думаем, благодаренье богу. Вроде умолили. Не тут-то было. Тянуло, тянуло, но так и не вытянуло. Вдруг ни с того ни с сего подуло из-за реки. Так и разнесло наши тучки. — Тихон опустил вожжи и, как бы под тяжестью, согнулся на своем облучке. Лошади сразу сбавили ходу и уныло брели по пыльной дороге.

— А тут еще эта война! Воюем, воюем... Сколько народу перебили, а все конца-краю не видно. Того и гляди, последних мужиков подберут. Правду старые люди говорят, что скоро конец света. Видать, дело и впрямь клонится к этому...

Против таких доводов Тихона Липату трудно было что-нибудь возражать, и он постарался перевести разговор на другую тему. Мы подъезжали уже к перевозу, где нас ждал паром. Паром после первой мобилизации переделали. Вместо четырех огромных весел, или, как их еще называют, гребей, на него поставили большое колесо с широ-

кими плицами, как на пароходных колесах. Это колесо надо было вертеть руками за большие железные ручки. Крутить должны были сами пассажиры. Но сегодня, по случаю волостной почты, перевозчик привел на паром жену и сына — парнишку лет четырнадцати — крутить это колесо. Кроме того, к нашему приезду на пароме уже стояла одна подвода. На ней, закутавшись в шаль, с обреченным видом сидела старая женщина и смотрела на едва видимый в дымной хмаре противоположный берег. Судя по всему, она боялась плыть на пароме и на всякий случай оставалась на своей телеге. Мало ли что может быть. Если и тонуть, то все-таки на своей телеге, при своем месте. А около паромного колеса стоял молодой парень, видать, ее сын. Он не отрываясь смотрел вниз на стремительное течение воды. Увидев подошедшего Липата, оторвался от лицезрения реки и, как бы подводя итог увиденному, сказал:

— И текет, и текет, и текет!.. И откудова столько воды берется! И куды она текет?

— Стихея, милок, стихея! — ответил ему Липат. — С Белогорья берется. А текет на сивер, в Туруханско.

Как только мы установили свою пару на пароме, перевозчик влез на свой помост и стал к рулевому веслу, а его парнишка ловко выпрыгнул на подмостки и снял там канат, которым паром был причален к этим подмосткам. А жена перевозчика с парнем и Липатом начали крутить колесо. Паром медленно пополз против течения. Тут мы с Тихоном тоже подошли к ним на помощь. И потом крутили посменно, очень долго. Сначала поднимались около берега вверх против течения почти на версту. Во время коротких передышек, когда Липат и Тихон сменялись у колеса, они или ругали комское общество за то, что оно до сего времени не поставило на своем перевозе хороший паром, или сокрушались тем, что вода в Енисее совсем спала и что, видать, и вверху на Белогорье дождей тоже нет и с урожаем под Минусой в этом году тоже будет туго.

Но все-таки мы кое-как переправились на ту сторону, хотя нам и здорово пришлось попотеть. А дальше мы уж спокойно поехали прямо в Новоселову, и теперь Липат ругал уж не комских, а новоселовских мужиков за то, что они не могут сделать хорошую дорогу у Красного камня. Того и гляди, ухнешь там прямо в Енисей. А Тихон смотрел на новоселовские пашни и убеждался в том, что здесь

за рекой виды на урожай еще хуже, чем у нас. В Коме хоть и погорело, но все-таки на семена, может, что-нибудь соберем. Потому что места наши все же подтаежные. Не так сушит, как здесь за рекой.

В общем, ехать с Липатом и Тихоном было не скучно. И места на той стороне Енисея были очень интересные. Смотри да любуйся. Голые конусообразные сопки стоят по берегу друг над другом несколькими рядами. Будто их кто-то расставил поинтересней. А перед самой Новоселовой виднелась гора с какими-то уступами. Издали она напоминала чем-то гигантскую лестницу. Липат говорит, что новоселовские так и зовут эту гору «Три лесенки».

Пока я думал об этом, мы незаметно доехали до новоселовской пристани, где останавливаются пароходы из Красноярска и из Минусинска. Здесь я предполагал увидеть что-нибудь интересное. Все-таки здесь принимают и высаживают пассажиров, выгружают разный товар. Но на пристани, кроме маленькой избенки, оказывается, ничего нет. А в той избенке, кажется, никто не живет. Даже на нашем комском перевозе две избы, несколько амбаров, паром, лодки и все время копошится какой-то народ. А тут пристань — и никого нет.

Подъезжая к Новоселовой, я увидел прежде всего телеграфные столбы, убегающие куда-то в горы в сторону от Енисея. Тут мне вспомнились многократные споры и разговоры наших мужиков в Кульчеке о том, почему проволока на телеграфных столбах все время гудит. Одни утверждали, что проволока гудит от ветра. Другие уверяли, что она гудит потому, что по ней все время идут взад и вперед телеграммы. Мне очень хотелось побежать к телеграфному столбу, приложиться к нему ухом и послушать, как на нем гудит проволока. Но столбы были далеко от дороги. Но если бы они были и близко, я все равно постеснялся бы просить Липата и Тихона ждать меня, пока я буду бегать да слушать это телеграфное гудение.

В Новоселовой я думал узреть что-нибудь такое, чего нет ни в Кульчеке, ни в Коме. С малых лет я много слышал о новоселовских купцах, о новоселовском начальстве, о новоселовской ярмарке, о новоселовских мужиках, которые не сеют там и не жнут, а ухитряются жить лучше нас. А поначалу здесь показалось мне нисколько не лучше, чем в нашей Коме, и гораздо хуже, чем в нашем Кульчеке. Все село вытянулось в одну улицу и состояло из маленьких хибарок. Только в середине села появились большие дома.

Но в Кульчеке у нас их было гораздо больше, чем здесь. Потом мы проехали мимо нескольких домов с красивыми резными наличниками на окнах и тяжелыми воротами. Липат объяснил мне, что это дома новоселовских купцов — Терскова, Мезенина, Бобина, Неуймина.

С Липатом я доехал до почты, которая находилась в самом центре села. Здесь я оставил его и пошел искать своих родственников. По пути я увидел на площади несколько магазинов. Магазины были в Новоселовой действительно огромные. Ничего не скажешь. Не чета комским лавкам Демидова и Паршукова, а тем более нашим кульчекским лавочкам Яши Бравермана и Арона Кравца. Около этих магазинов у коновязей стояло много лошадей, запряженных в телеги и тарантасы. Несмотря на будничный день и рабочее время, здесь, видать, неплохо торговали.

Потом я посмотрел у них церковь. Она оказалась значительно меньше нашей комской и в искусственном отношении построена как-то по-другому — с высокими колоннами, с карнизами и фигурами над дверями и окнами. Зато волостное правление было не чета нашему. Оно помещалось в двух больших крестовых домах под железными крышами, окрашенными синей краской. Эти дома соединялись между собою высокой крытой галереей с красивыми перилами прямо в улицу.

Недалеко от волости была больница. Под больницу было занято целых три дома. Их поставили рядом под одну крышу. Получился длинный-длинный дом. Сюда возят лечить со всей Новоселовской и из нашей Комской волости всех покалеченных и изувеченных в драках и на работе.

А школа в Новоселовой каменная, с огромными окнами, с красивым крылечком. И тоже под железной крышей.

Еще в Кульчеке я постоянно слышал о том, что в Новоселовой живет много всякого начальства. Позже, когда я учился в Коме, к нам на школьный спектакль приехало из Новоселовой не меньше двадцати подвод, и все парами да тройками. Приехали к нам тогда новоселовские купцы да начальники с разряженными женами и детками. Таких ласковых женщин и красивых девочек мне до этого никогда не приходилось видеть. Но сегодня я не встретил ни начальников, ни их жен, ни их деток. Да оно и понятно. На улице жарища, пылища. Чего им выходить в самый полдень. Сидят себе дома да попивают чаек. А может быть, куда-нибудь разъехались. Денег много, пристань ря-

дом. В неделю, говорят, бывает два-три парохода. Садись и поезжай. Хоть в Красноярск, хоть в Минусинск.

Тараса Васильевича дома я ие застал. Ои был со всей семьей на покосе. Дома была только его теща — бабушка Парасковья — полная, не особенно приветливая женщина. Узнав, чей я, зачем приехал в Новоселову, она даже обрадовалась и сказала: «Живи, хоть неделю, хоть две. Мне веселее будет. Только вечером приходи пораньше».

Теперь мне ничего не оставалось делать, как идти к крестьянскому начальнику. И вот я явился в его канцелярию. Она помещалась напротив церкви во дворе у одного богатого мужика, в небольшом новеньком флигеле, который состоял всего из одной комнаты. В этой комнате было два канцелярских стола грубой работы. Третий столик стоял в глубине у стены, рядом со шкапом, и был завален разными бумагами. Крестьянского начальника в канцелярии не было, и я застал там только его письмоводителя. Это был молодой человек в очках, одетый в суконную куртку с синими петлицами и светлыми пуговицами. В волости у нас говорили, что у крестьянского начальника письмоводительствует какой-то студент, и я сразу догадался, что это он и есть и что одет он в свою студенческую форму. По правде сказать, я в то время не знал еще, где и чему учатся студенты. Знал только, что они по учебиому рангу выше минусинских семинаристов, которые учатся на учителей и одеваются тоже по форме.

Поэтому письмоводитель крестьянского начальника заслоиял для меня в этом молодом человеке студента. Я видел его в студенческой форме, но что скрывалось за этой студенческой формой, для меня было не ясио. А как письмоводителя я знал его отлично. Он пишет нам от имени крестьянского начальника мелким-мелким почерком ехидные бумаги одна строже другой. Я отлично помнил содержание миогих этих бумаг, некоторые обороты в них и давно уже обратил внимание на то, что письмоводитель шлет нам строгие приказы даже в отсутствие своего крестьянского начальника. В этих случаях ои привычные выражения в распоряжениях крестьяиского иачальника «предписываю», «приказываю», «ставлю Вам иа вид» ловко заменял оборотами: «Канцелярия крестьянского начальника предписывает Вам...», «пркказывает Вам», «ставит Вам на вид». И сам подпнсывал эти бумажки. И они производили у нас такое же магическое действие, как будто бы за подписью самого крестьянского иачальника.

Студент встретил меня очень приветливо, спросил, как я устроился с квартирой, и, узнав, что я буду жить здесь у родственников, сразу перешел к делу. Он освободил для меня маленький столик, заваленный бумагами, вручил мне наши комские продовольственные списки и попросил сделать по ним общий сводный список по другой форме. Тут же он вручил мне письмо от продовольственного комитета, в котором давалась эта самая форма. Убедившись, что я правильно понял его поручение, он снабдил меня бумагой и линейкой, а сам углубился в свою работу.

Материал, над которым предстояло работать, был мне знаком. Я помогал Ивану Фомичу составлять эти продовольственные списки. И мы сделали их, как это требовалось, по каждой деревне отдельно. Теперь надо было написать сводный список по всей волости, но совершенно по-другому. Работа была нетрудная, но очень кропотливая. Сначала мне нужно было награфить ведомость со многими делениями и заполнить эти деления определенными надписями. За этим делом я мог свободно наблюдать за письмоводителем крестьянского начальника.

А он сидел и писал свои бумажки и при этом что-то напевал и насвистывал. Меня даже удивило это. Мы там в Коме читаем его строгие распоряжения: «Категорически требую!», «Последний раз предупреждаю!», «Под личную ответственность!», «Под страхом административного взыскания!». Получив такие бумажки, волостное правление гоняет по деревням нарочных, старшина и заседатель сломя шею мечутся из деревни в деревню и гнут в дугу старост и писарей. Даже Иван Иннокентиевич, который относится к волостным делам довольно прохладно, даже он, получив бумажку с таким предупреждением, перестает рассказывать свои смешные истории и начинает быстро соображать, что надо делать. А он сидит здесь и играючи пописывает эти бумажки, и притом еще напевает и насвистывает. Может быть, не такие уж эти бумаги важные, если он пишет их с песней да с посвистом? Глядя на него, у меня даже стало изменяться отношение к самому крестьянскому начальнику. Раньше я глядел на строгие бумажки со штампом и его подписью и ничего за ними не видел и ничего не чувствовал, кроме страха и ощущения того, что хочешь не хочешь, а надо скорее делать то, что он требует. А то не миновать беды. А теперь при виде его строгой бумажки я не буду всматриваться в его штамп и в его подпись и считать их воплощением его всемогущества, а буду

вспоминать студента и думать о том, как он пел и насвистывал. Если он тем не менее и вкладывал в эту бумажку немного ехидства, то больше для острастки. Сам он, похоже, человек не ехидный.

В первый день я графил сводные ведомости и заполнял сделанные графы заголовками. Студент несколько раз подходил ко мне проверять работу и не делал мне никаких замечаний. Видимо, у меня все было в порядке.

На другой день я рано утром пришел в канцелярию. Студент был уже там, но пока ничего не писал, не пел и не насвистывал. Как только я появился, он сразу же встал и сказал:

— Пойдем сначала на реку искупаемся.

Мне не очень хотелось идти с ним купаться, но я не посмел отказаться, и мы пошли на новоселовскую протоку. Дорогой он расспрашивал меня о том, какую работу я выполняю в волостном правлении и сколько мне там платят. На его вопросы я отвечал коротко и односложно. Узнав, что в волости я пока ничего определенного не делаю, а только всем помогаю и получаю за это пять рублей в месяц, он больше ни о чем меня не расспрашивал. В общем, разговор у нас не клеился, и он, видимо, решил, что ничего интересного от меня не узнает.

Я же расспрашивать его стеснялся. Да и не знал, о чем с ним говорить. Сознание нашего неравенства связывало меня, порождало робость, стеснительность. За работой я мог возместить эти недостатки своей старательностью. А здесь, во время купанья, от меня ничего не требовалось, и я должен был молчать да ждать его вопросов.

А купаться-то студент не умел. Влез в воду по грудь и плещется. Потом окунется и опять плещется. И не плавает и не ныряет. Может это он по-студенчески купается. Может быть, по-студенчески так и надо — стоять по грудь в воде да полоскаться. И, глядя на него, я тоже только стоял в воде, хотя мог легко переплыть эту новоселовскую протоку. Окунешься и стоишь, стоишь и смотришь вверх по течению, как искрится и серебрится река до самой Городовой, которая неподвижной громадой высится на той стороне Енисея.

Первые два дня мы занимались со студентом одни. Крестьянского начальника не было. Это мне даже нравилось, так как я здорово побаивался его появления. Кто его знает, как он тут на меня посмотрит, особенно на мою работу. А без него я пишу себе да пишу. Письмоводитель

этот, хоть он и студент и не умеет как следует купаться, в общем-то человек вроде неплохой. И меня особенно не беспокоит. Подойдет, посмотрит, как у меня идут дела, и опять начинает писать свои бумаги, напевать и насвистывать. А на третий день утром, когда мы сходили пополоскались на Енисее и потом уселись за работу, я увидел в окно, как из хозяйского дома вышел невысокий круглый человек в казенном мундире, в фуражке с кокардой, в сапогах и направился прямо в нашу канцелярию. Я сразу узнал в нем крестьянского начальника, который разносил в Коме нашего старшину. Только лицо его на этот раз не было злым. Он открыл дверь в наш флигель, задержался немного на пороге и внимательно осмотрел всю канцелярию. После этого не торопясь вошел в комнату.

Мой студент стоял за своим столом и улыбался ему. Я, конечно, тоже встал. А крестьянский начальник подошел к студенту, поцеловал его и потом потрепал немного по спине.

— Ну, как тут наши дела?

— Да, кажется, ничего.

— А что это у тебя за хлопец?

— Из Комы. От Евтихиева. Вызвал обрабатывать комский продовольственный материал.

— Ну и как?

— Уже кончаем.

Крестьянский начальник посмотрел на меня и чуть-чуть кивнул мне. Потом обратился к студенту:

— А как данные по потерям от засухи?

— По Новоселовской и Знаменской волостям получены полностью. Из Комы нет по Витебке и Александровке. Деревни самые кляузные, а сведений не дают. Ну, я взгрел комского старшину как следует. Жду сегодня. Если пришлют, то завтра можно все отправить.

— Ну что же... Обождем до завтра.

Крестьянский начальник прошелся по комнате, потом снял фуражку, повесил ее на гвоздик и уселся за свой стол у окна.

— Спасибо тебе, Сашенька, что ты не забывал тут Анну Павловну. А то она извелась бы без тебя...

Студент поклонился.

— А как вы съездили? Что нового у нас в Иркутске?

— Да как сказать. Вроде ничего не изменилось. С весны, как всегда, много солнца, но мало тепла. В начале июня на Ангаре утонуло несколько человек. Неожиданно

нагрянул ураган огромной силы. В Жилкиной сорвало плашкоут. Понтон в городе еле отстояли...

— Это у нас почти каждый год.

— К сожалению, почти каждый год. Ну, дома все благополучно. Сразу же по приезде навестил твою мать, да и у наших встречались. Все досконально доложил ей о твоей жизни и клятвенно заверил, что осенью ты прямо отсюда отправишься в Томск слушать лекции в университете. А что у нас, Сашенька, делается тут насчет пожаров? Ведь горит все кругом!

— Да что делается?.. Получили из Красноярска многословный циркуляр о том, как надо осторожно обращаться в лесу с огнем. И разослали его по волостям «к неуклонному исполнению». А когда стало сильно гореть, мы с лесничим попросили Герасима Петровича срочно вызвать старшин и урядников и обязать их немедленно нарядить из подтаежных деревень особые команды для тушения пожаров. У нас в особо угрожаемом положении Комская волость. И я потребовал, чтобы из Сисима, Коряковой, Медведевой, Кульчека и Проезжей Комы в тайгу были направлены противопожарные наряды. И чтобы мне два раза в неделю сообщали о результатах принятых мер. Судя по полученным сводкам, пожары в районе Сисимского лесничества ликвидированы.

— Наивный ты человек, Сашенька! Неужели ты веришь этим дурацким сводкам? В сводках, дорогой мой, всегда все в порядке. По этой части даже безграмотные писаря набили руку.

— Как же это так? — удивился студент.

— Да так... По привычке. Каждый год мы еще с зимы делаем самые строгие внушения о том, чтобы все сельские старосты провели специальные сходы и обязали на них всех домохозяев не жечь весной в полях палов, не разводить по лесам костров. И чтобы об этом все сельские общества составили особые приговора с подписями всех домохозяев. И что же? Бумаги сами по себе, а палы и пожары сами по себе. Все старосты аккуратно представляют каждый год общественные приговора не палить палов, не разводить по лесам костров. И в каждом есть формулировка: «В том и постановляем настоящий приговор и утверждаем его нашим рукоприкладством». И дальше идет это самое рукоприкладство, пять подписей грамотных да пятьдесят пять фамилий неграмотных. По форме — не придерешься. Распоряжение выполнено. А полы как палили, так и палят.

Палят жниву на полосах, прошлогоднюю траву в березняках и вообще палят везде, где есть что палить. И костры в тайге как жгли, так и жгут. А где палы и костры, там и лесные пожары. А ты говоришь — пожары в Сисимском лесничестве ликвидированы. Нет, дорогой мой. Сводки — это одно, а пожары — это другое. По сводкам, пожары потушены, а по Енисею на пароходе ехать нельзя. Над рекой стоит такой дым, что пароход не может идти. Как в осенний туман...

Дальше крестьянский начальник стал рассказывать, что тайга горит не только у нас, но, видимо, по всей Сибири. Над всей дорогой от Иркутска до Красноярска стоит ужасный дым. Это не обычная хмара от привычных, так сказать, рядовых пожаров, ежегодно заслоняющих от нас неделями солнце и наводящих на всех безнадежное уныние. Нет! Это едкий удушливый дым от близости пожаров. Между Нижнеудинском и Тайшетом тайга горит на расстоянии сотен верст, горит, можно сказать, у самого полотна железной дороги. Из вагона видны огромные выжженные площади с черными обгорелыми пнями.

Около Канска тайга немного отошла в сторону. А дышать все равно нечем. Дым свежий и стелется по земле. Приехал в Красноярск — город во мгле. Горы за рекой скрылись в дыму. Между Ачинском и Красноярском, говорят, тайга тоже горит совсем рядом с дорогой, а дальше на запад, рассказывают, все горит между Томском и Мариинском.

— А что делается, дорогой мой, на Енисее! — рассказывал крестьянский начальник. — В Красноярске я должен был навестить знакомых на даче, около монастыря. Знаете мужской монастырь выше города напротив Лалетиной? Поехал туда на катере. Кое-как, можно сказать ощупью, добрались до Лалетиной. Пока там высаживали да брали новых пассажиров, сверху, с Маны подул ветерок и нагнал столько дыма, что стало совсем темно. Как в густом тумане. Но тем не менее катер все-таки пошел дальше к монастырю. Ехали, ехали... и подъехали к тому же берегу. Только ниже Лалетиной. И так несколько раз. Отчалим — едем, едем... и приезжаем снова туда же.

Но все же кое-как мы добрались до монастыря, и я побывал у моих знакомых. К вечеру иду от них на пристань. Иду и беспокоюсь. Придет ли, думаю, катер по расписанию к восьми часам? А наш катер, оказывается, отсюда и не уходил. Как привез нас утром, так с того вре-

мени и стоит на причале. Давно ему уж пора в город. Ну, публика, понятно, начинает волноваться. В конце концов все-таки уломали команду отправиться обратно. И что бы вы думали?! Как только отошли на несколько сажен от мостков, так сразу же потеряли ориентировку и опять начали кружиться в этом дыму, как в тумане. Ехали, ехали и, представьте, приткнулись опять к тому же берегу ниже монастыря, у Гремячего ключика. А дальше уж ни с места. Как говорится, ни зги не видно. Да и опасно. Еще у моста на бык напорешься. Так и простояли в этом Гремячем до самого утра. На заре уж немного просветлело, и мы успели проскочить в город, к пристани.

А дорога назад пароходом. Ведь четверо суток шли сюда вместо положенных сорока шести часов. Пройдем час-два, приткнемся к берегу и ждем, когда хоть немного посветлеет. И заметьте, около Сисима дыма не меньше, чем у Дербиной, у Бирюсы, у Езагаша. Значит, и Сисимская тайга горит. А ты говоришь — пожары ликвидированы. По рапортам сельских старост, действительно ликвидированы. А на самом деле как горело, так и горит. Так что немедленно вызывайте комского старшину. Я заставлю его как следует заняться этим делом и не втирать нам очки своими дурацкими сводками...

Поговорив еще немного о разных делах, крестьянский начальник ушел домой и в канцелярии больше не появлялся. Так что дальше мы со студентом сидели весь день уж одни. Он как ни в чем не бывало пел и насвистывал песни, писал бумаги, а я осторожно вписывал в свой сводный список разные продовольственные цифры.

На другой день крестьянский начальник с утра пришел в канцелярию и, не снимая с головы фуражки с большой кокардой, уселся за стол и открыл окно. Стол во флигеле был у него поставлен так, что он мог с любым посетителем говорить через окно, не впуская его в канцелярию.

И как только он уселся, на дворе сразу появились к нему люди. До этого никто не заходил сюда, кроме ходока из волости да почтальона с почты. А сегодня, как только он пришел и уселся у своего окошка, сразу потянулись один за другим.

Первым явился витебский староста. Он неуверенно вошел во двор и стал оглядываться по сторонам. Увидев в открытом окне крестьянского начальника, он поспешно снял картуз и медленно с обнаженной головой направил-

ся через весь двор. Когда он подошел к окну, крестьянский спросил его:

— Кто такой?

— Витебский староста, ваше благородие. Привез пакет из волости.

Крестьянский начальник взял пакет, не торопясь распечатал его, вынул бумажку, брезгливо развернул ее, повертел в руках, потом передал студенту.

— Посмотри, Сашенька, что они там накорябали.

Студент глянул в бумажку и сказал:

— Сводка о состоянии посевов по Витебке и Александровке. Теперь мы можем завтра же отправить все наши материалы в Красноярск.

А витебский староста стоял у окна и, видимо, ждал взбучку за задержку этих сведений. Я тоже думал, что крестьянский начальник начнет его сейчас разносить, так как перед самым отъездом из Комы читал грозную бумагу насчет этого дела. К моему удивлению, крестьянский начальник не выразил никакого возмущения с задержкой этих сведений. Он не кричал на старосту, не делал ему никаких внушений, даже не спрашивал его ничего насчет этих самых посевов, а довольно равнодушно посмотрел на него и спросил:

— Чего тебе еще?

Тогда староста стал низко кланяться и без конца повторять: «Ваше благородие!», «Ваше благородие!». Потом дрожащими руками вытащил из-за пазухи свернутый лист бумаги и подал его в окошко.

Крестьянский начальник взял бумагу, взглянул на нее и сразу резко спросил:

— Общественный приговор! О чем?.. Сашенька, посмотри, что они там клянчат...

Студент взял приговор витебского общества и молча стал его читать. Пока он читал, я смотрел на крестьянского начальника и никак не мог понять, почему он сам не стал читать эту бумагу. Может, написано неразборчиво, а может быть, он вообще не любит читать и писать всякие бумаги и заставляет делать это своего студента.

Тут мне вспомнилось, как мы в Коме один раз получили от него весьма срочную и очень строгую бумагу, написанную им самим. Иван Иннокентиевич со всеми своими помощниками два дня читали ее и ничего не могли понять, кроме того, что там речь шла о каком-то анашенском деле. Потом у нас еще два дня думали, что же де-

лать с этой строгой непонятной бумажкой. Наконец додумались послать ее анашенскому сельскому старосте «для исполнения» и стали ждать от него ответа. А в Анаше тоже не сумели прочитать эту бумагу и прислали ее обратно с просьбой объяснить им, что надо по ней делать. Тут наши комские писаря еще два дня думали, что им дальше делать с этой бумажкой. И додумались послать ее обратно крестьянскому начальнику с надписью: «На Ваше распоряжение». Через день крестьянский начальник нарочным вызвал к себе самого Ивана Иннокентиевича вместе со старшиной. Приехали они от него очень сердитые и сразу же в ночь отправились в Анаш по этому делу. После этой истории Иван Иннокентиевич целую неделю не рассказывал свои смешные истории, а старшина все время ходил какой-то сумрачный и только отмахивался, когда его что-нибудь расспрашивали про это дело.

Наконец студент дочитал приговор витебского общества.

— Они просят у казны денег на отправку в Томск на лечение какого-то больного,— объяснил он крестьянскому начальнику.— Почему-то его надо непременно отправлять в Томск... В общем, я не совсем понял, в чем тут дело.

Крестьянский начальник взял от студента приговор, осторожно положил его на стол перед собой, потом в упор уставился на старосту и спросил:

— В чем тут дело? Объясни толком!

Тут витебский староста довольно сбивчиво стал объяснять, что в прошлом году из их деревни призывался новобранец Максим Родзиевский. В солдаты его не взяли, так как он болен волчанкой. У него уж и нос провалился, и челюсти оголились. Начальство приказало везти его скорее обратно домой. А потом пришла из волости бумага, чтобы его немедленно отправить в Томск на излечение. Ну, сами Родзиевские по бедности отправить его не могли. Тогда из волости вышла новая бумага, чтобы общество его отправило в Томск за свой счет...

— Когда вы его отправляете? — спросил крестьянский начальник.

— Не отправляем мы его, ваше благородие. Не на что нам его отправлять. Народ у нас бедный. Живем плохо. Чуть по миру не побираемся. Место таежное. Хлеб не родится. Сидим на одной бульбе. А нынче еще засуха.

В смочные годы хлеб не дозревает или его убивает помхой. А нынче все выгорело... А отправить его в Томск нужны большие деньги. А потом: отправим мы его в Томск, тогда нас заставят и остальных Родзиевских отправлять. У них ведь, кроме Максима, и старик со старухой, и еще двое ребятишек болеют. Выходит, обществу всех их надо отправлять. А откуда нам взять столько денег? Мы и подати-то еле выплачиваем...

— Теперь я вспомнил об этом деле,— сказал крестьянский.— Вам же ясно писали, что казна не располагает средствами на отправку вашего Родзиевского в Томск на стационарное лечение. Если Родзиевские не в состоянии лечиться на свой счет — их обязано отправить общество. Неужели вы там этого не понимаете?

— Как не понимаем, ваше благородие. Мы все понимаем. Но только мы не можем. Живем плохо. Еле концы с концами сводим. Это обществу непосильно.

— А жить с ним посильно? Ведь они всю деревню заразят.

— Не заразят, ваше благородие. Они отдельно живут от деревни. На отшибе — за речкой. Лет пятнадцать уж там живут. С самого приезда. И ничего... бог милует. Никто, кроме них, в деревне не болеет. Так что окажите божескую милость, ваше благородие. Отправьте его на казенный счет. А то у нас обчество сумлевается, как бы не прислали новой раскладки за этих Родзиевских...

— Вот что, староста,— сказал крестьянский начальник.— Приговор твой я не возьму. Никаких средств на это у меня нет. Кроме того, лечебное дело не входит в мои обязанности. Иди со своим приговором в больницу к начальнику врачебного участка доктору Овчинникову. Проси его об этом. Но учти — если вы этих Родзиевских из деревни не уберете, то я отправлю их в Томск за ваш счет. Пора кончать это безобразие, а то вы у меня заразите всю деревню, всю волость. Бери свой приговор, и чтобы духу твоего здесь не было. Иди к Овчинникову, поезжай в Минусинск, в Красноярск, к черту, к дьяволу, а Родзиевских этих из деревни убирай. Через два месяца старшина приедет проверить это дело...

Тут крестьянский начальник сунул в руки старосте приговор витебского общества и захлопнул перед его носом окно. Потом встал, подошел к шкапу, вынул из него флакон с духами, налил их на носовой платок и стал протирать себе руки.

— Какая дичь! — возмущался он.— Целая семья вымирает от туберкулеза кожи, а они дипломатию разводят: отправим одного — заставят отправлять всех!

Тут крестьянский начальник заметил, что витебский староста все еще стоит под окном с непокрытой головой и чего-то ждет. Это почему-то сильно рассердило крестьянского. Он резко открыл окно и негромко, но раздельно проговорил:

— Я тебе что сказал? Я тебе сказал, что приговор у тебя не возьму, что денег у меня на отправку Родзиевского в Томск на лечение нет, чтобы ты с этим приговором шел в больницу к доктору Овчинникову. Он начальник врачебного участка и должен заниматься этим. Марш отсюда, пока я не послал за урядником...

И снова захлопнул окно под носом витебского старосты. А тот постоял еще некоторое время, спрятал приговор в карман, надел свой картуз и медленно пошел к воротам.

Крестьянский начальник стоял у окна и смотрел ему вслед. Когда староста скрылся за воротами, он как бы сам себе сказал:

— Не даст ему Овчинников ни копейки. У него тоже нет для таких случаев кредитов. Особенно сейчас. И все-таки это дело так оставлять нельзя. Надо заставить их отправить этих Родзиевских...

Потом он прошелся по своей канцелярии, что-то подумал и обратился к студенту:

— Напишите, Сашенька, комскому старшине построже, под личную ответственность, чтобы он не позднее первого октября обеспечил отправку семьи Родзиевских в Томск на стационарное лечение за счет сельских сборов витебского общества, в крайнем случае за счет волостных сумм. И чтобы об исполнении немедленно сообщил. А я с Овчинниковым об этом поговорю.

И крестьянский начальник сердито вышел из канцелярии. Однако вскоре пришел обратно, сел за свой стол и раскрыл окно. И тут во дворе сразу появился новый проситель. Судя по одежде, тоже расейский. Подобно старосте, он при входе во двор сразу же снял свою войлочную шляпу и через весь двор шел с непокрытой головой. Подойдя к окну крестьянского начальника, стал низко кланяться и жалостливо повторять: «К вашей милости, ваше благородие... К вашей милости».

— Что у тебя?

— С прошением к вашей милости.— Мужик вынул из своей шляпы сложенное прошение и подал его в окно.— Окажите божескую милость. Помогите! Невтерпеж стало. Семья большая.

Крестьянский начальник взял прошение, развернул его, посмотрел и недовольно сказал:

— Опять витебский. Эти витебские в печенке у меня сидят.

— Семья большая,— продолжал мужик,— хлеб не родится, пшеница не дозревает, рожь вымокает. А если что и уродится, то каждый год убивает помхой. Хоть глаза закрывай да убегай куда-нибудь или возвращайся обратно в Могилевскую губернию...

— А чего же вы селились в этой Витебке? Ехали бы в Анаш, в Тесь, в Убей, в Брагину... Там места хорошие.

— Просились, ваше благородие. Нигде не пускают. Говорят, самим тесно. В Кульчеке хотели было взять. Запросили с нас три ведра водки да пива пять ведер. Это ведь тридцать с лишним рублей. Две коровенки можно купить. Вот и пришлось селиться в Витебку.

— Когда приехали в Витебку?

— Да уж три года живем.

— Значит, в двенадцатом году?

— В двенадцатом. Так и есть,— подтвердил мужик.

— Ничего не выйдет,— отрезал крестьянский начальник.— Главное управление по землеустройству и земледелию отпустило средства на хозяйственное устройство переселенцев по отдельным местностям водворения на трехлетие 1913—1915 годов. А ты приехал в двенадцатом. Кроме того, в связи с войной кредитование по этой статье вообще прекращено. Так что я не располагаю сейчас никакими средствами...

— Ваше благородие! — заговорил жалобно витебский мужик.— Окажите божескую милость. Невтерпеж стало. Ребятишки изголодались... На одной картошке сидим...

— Война. Денег нет. Ничего не могу сделать.

И крестьянский начальник захлопнул окно под носом у витебского мужика. Однако витебский мужик не уходил. Он стоял под окном и что-то ждал. Крестьянский начальник отвернулся от окна, потом встал и начал ходить по своей канцелярии. А мужик все стоял и стоял под окном. Наконец крестьянский начальник снова открыл окно и спросил:

— Чего ты еще ждешь?

— Ваше благороднеl Хрнстом богом прошу! Помогите... Семья большая, хлеб не родится...

— Знаю, слышал. Пшеиица не дозревает, рожь вымокает, а денег у меия нет. Где я их тебе возьму?

И крестьяиский начальник снова захлопнул окно, но тут же открыл его н уже резко сказал:

— Нет денег! Нечего тут стоять! Поезжай домой!

И сиова захлопнул окно.

Витебский мужик постоял еще некоторое время. Потом надел свою шляпу, обождал еще что-то н наконец поплелся через двор к воротам.

В тот деиь к крестьяискому иачальинку приходнло еще несколько проснтелей. Но это были все какие-то неинтересиые посетнтели. Приходила учнтельннца нз куртакской школы с жалобой на то, что иовоселовскнй старшнна задержнвает ей казеиное жалованье. Потом пришел какой-то бородатый мужик нз Зиаменской волости с жалобой на то, что он ие может добиться от общества никакого решения иасчет своей усадебиой землн. Сосед поставнл иа его усадьбу свой амбар. По его жалобе из волости приезжал заседатель, пропьяиствовал в деревие два дня, иичего не решил н уехал обратно.

С этимн жалобщнками крестьянский начальинк решил дело очень быстро. Насчет задержки жалованья куртакской учительнице он приказал студенту взгреть как следует иовоселовского старшину, а насчет спорной усадьбы обратнлся с просьбой к приставу послать в ту деревню знаменского урядннка, осмотреть н обмерить эти спорные усадьбы и иачертить их плаи.

Внапоследок, уж перед самым вечером, к крестьянскому начальннку пришел какой-то бородатый мужик, лет пятндесятн, в новом шабуре, в хорошнх бахнлах, в старой, потрепанной шапке-ушаике и с бичом в руке. Ои довольно уверенио подошел к окну крестьянского иачальинка, заткиул бнч за опояску, сплюнул в стороиу, сиял шапку, вытащнл нз нее прошеиие, потом иадел шапку и только после этого уж подал свое прошеиие. Все это время крестьянскнй начальннк сидел за свонм столом и смотрел на этого мужнка. Этот мужнк, виднмо, чем-то его интересовал. А с другой стороны, н сердил. Все же он молча взял от иего прошеиие и спросил:

— Сибиряк будешь илн переселеиец?

— Чево это?

— Местный будешь или из расейских? — раздраженно спросил крестьянский начальник.

— Легостаевский я. Расейских у нас нет. Все свои — русские.

— Сразу видно,— сказал крестьянский начальник.— Шапку-то сними!

— Чего сними? — спросил мужик.

— Сними шапку-то! — повторил крестьянский.

— Шапку-то? Чего ее снимать-то? Не в церкви ведь,— сказал мужик, но все-таки снял шапку и засунул ее за пазуху.

А крестьянский начальник молча читал поданную мужиком бумагу.

— Это ты будешь Емельян Лалетин?

— Я буду.

— Тут пишут, что ты нынче в крещенье на ярмарке в Новоселовой быстрой ездой сбил с ног крестьянина деревни Старой Кузурбы Степана Потылицына и тот от сильного толчка упал на землю, стряс себе внутренности и потом пролежал в постели две недели. Волостной суд два раза вызывал тебя, а на третий раз заочно приговорил тебя за это к двухдневному аресту при волостной тюрьме.

Тут крестьянский начальник отложил бумагу в сторону и уставился на легостаевского мужика. А тот стоял перед окошком и в свою очередь смотрел на крестьянского начальника.

— Теперь решение суда вошло в законную силу и приговор подлежит исполнению.

— Как это так вошло? С какой это стати в законную силу! — заговорил, повышая тон, мужик.

Крестьянский начальник с усмешкой смотрел на легостаевского мужика, а тот все больше и больше распалялся.

— Это как же так! На двое суток! Ни за что ни про что и в законную силу?!

— На суде надо было говорить об этом, а не мне. Я ведь не судья.

— На суде, на суде! Вранье там было все, на этом суде. Не сшибал я его оглоблей в плечо, а только толкнул легонько отводой по ногам, когда проезжал мимо. Ну, он дивствительно это поскользнулся и упал в снег. Так это совсем другое дело. А то сбил с ног, стрёс внутренности! Скажут же такое! Да если б я стрёс ему внут-

ренности, так он не бежал бы за мной да не матюгался на чем свет стоит. И вранье все это, что он лежал после того две недели в постели. Он в тот же день пьянствовал в Новоселовой у родни всю ночь. У меня есть свидетели. Может, он с перепоя хворал. А что у него есть свидетель — Степан Анашкин, так ведь он шел далеко позади с нашим легостаевским мужиком Василием Онуфриевым. Почему он не вызвал в суд Василия Онуфриева? А потому, что тот всю правду сказал бы. А он позвал Степана Анашкина. А этому свидетелю — хоть он и сотский у них — круглая цена — бутылка водки. За бутылку он на отца родного покажет.

— На суде надо было все это рассказывать, Лалетин. Судьям, а не мне. Почему три раза не являлся в суд?

— Так это ж ребенку ясно, что все это дело липовое! Неужто надо ехать в суд да все это обсказывать! А для чего же там сидят судьи? Неужели они не видят, где черно, где бело.

Студент давно перестал писать свои бумаги и слушал этот разговор. Мне тоже было интересно.

— А что я жалобу на суд не подал,— продолжал мужик,— так я сначала не поверил такому-этакому. Засудить в каталажку ни в чем не повинного человека! А потом, когда мне все это втолковали, я приехал к здешнему мировому. Рассказываю ему, что и как было это дело. А он послушал меня да и говорит: «Я,— говорит,— такими пустяковыми делами не занимаюсь. Я,— говорит,— работаю по большим делам — по убийствам, по грабежам, или кто кого покалечит как следует или нанесет ножевую рану. А с этим делом,— говорит,— надо теперь ехать в Минусу на какой-то съезд крестьянских начальников». Ну, я послушал, послушал его и думаю, зачем мне ехать в Минусу, триста верст киселя хлебать, и разыскивать там какой-то съезд крестьянских начальников, когда у нас в Новоселовой сидит и заправляет делами свой крестьянский начальник...

— Поздно ты, Лалетин, вздумал хлопотать об этом. Приговор суда вошел в законную силу, и теперь его никто уже отменить не может. Так что хочешь не хочешь, а придется тебе отдежурить в волостной тюрьме двое суток. А теперь бери свою жалобу обратно и уходи отсюда. Нам говорить с тобой не о чем...

Тут крестьянский начальник сунул мужику его прошение и захлопнул окошко. Мужик оторопело стоял перед

закрытым окном и, видимо, не мог сообразить, что ему делать дальше. Он повертел прошение в руках, взял его из правой руки в левую, а потом из левой руки опять в правую и наконец понял, что как ни крутись, а придется ему теперь садиться в новоселовскую каталажку. Тогда он стал махать под окном своим прошением и кричать:

— Выходит, ни за что меня в тюрьму! Да как это так! Да с какой стати! Да за меня все обчсство поручится, что я ни в чем не виноват! Да я ему — туды его растуды — покажу, как меня в тюрьму сажать! Они, кузурбинские, все там заодно против наших легостаевских за то, что мы выжили их из нашего Гнилого ключика! Пять лет пасли овец на наших местах, а теперь не ндравится! Вот и мухлюют!

Долго бы еще легостаевский мужик кричал и ругался под окном у крестьянского начальника, если бы сюда не пришел пристав в сопровождении урядника. Он сразу подошел к легостаевскому мужику, уставился на него и спросил:

— Ты что, хочешь, чтобы я тебя в каталажку упрятал?

Легостаевский мужик, видимо, понял, что пристав действительно может укатать его в каталажку. Но все-таки он выдержал свой характер и спросил пристава:

— За что это в каталажку?

— За то, что орешь тут на весь двор...

— Я не ору, а дело говорю,— произнес легостаевский мужик, заталкивая свое прошение за пазуху.— Понасажали тут разного начальства невпроворот. В каждом доме по начальнику. А толку никакого не добьешься.— И не торопясь пошел со двора.

— Слушай, Герасим Петрович! — сказал крестьянский начальник.— Когда ты наконец установишь у меня при канцелярии дежурный пост? Сам видишь — невозможно работать!..

— А кого я тебе поставлю, если у меня по одному уряднику на волость. Вот дадут стражников на стан, тогда можно будет установить здесь официальный полицейский пост...

— Когда же они будут, эти твои стражники?

— Обещают.

— Я это «обещают» уж давно слышу. Когда же они все-таки будут?

— Как только вопрос разрешится в высших сферах...

— А когда он там разрешится? В чем там дело?

— В политике. Щекотливый вопрос. Его надо будет решать через Думу. А в Думе начнется перепалка. Начнут обвинять правительство в усилении полицейского аппарата.

— Не понимаю... На основании «Учреждения Сибирского» в Западной Сибири еще с девяносто второго года была введена пешая и конная полицейская стража. На две с половиной тысячи душ населения полагался один стражник. Разве нельзя распространить этот закон на Восточную Сибирь?

— Нет теперь в Западной Сибири полицейской стражи. И Западная и Восточная Сибирь с девяносто восьмого года управляется на основании высочайше утвержденного мнения Государственного совета о преобразовании крестьянских учреждений в губерниях Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской. По этому положению каждый уезд делится на определенное число полицейских станов и на каждую волость полагается один конный полицейский урядник. Так, как это у нас сейчас...

— А закон от четвертого мая девятьсот третьего года? Для охраны общественного спокойствия и порядка по нему в каждом уезде должна быть организована уездная полицейская стража.

— Да! Но только во внутренних губерниях. Этот закон на Сибирь не распространяется.

— Чего проще — распространить его и на Сибирь. Правительство все еще недоучитывает напряженное положение властей на местах. Малейший пустяк, особенно наши неудачи на фронте, может привести к таким событиям, когда будет уж поздно вводить уездную полицейскую стражу. Ты сам только что видел, что здесь делается. Это бандиты какие-то, а не хлебопашцы. При встрече с таким обалдуем я все время думаю о том, что он при первом удобном случае пырнет меня ножом или оглоушит обухом, который спрячет где-то под шабуром...

Тут крестьянский начальник и пристав стали жаловаться друг другу на то, как им стало трудно теперь работать, какой последнее время мужик пошел злой и сердитый, как он при каждом случае лезет чуть не на рожон и что как ни крутись, а придется устанавливать при канцелярии полицейский пост из сотских. Вызывать по очереди от каждой волости по сотскому на неделю и сажать его здесь для порядка.

Тем временем я закончил свои продовольственные списки.

Когда крестьянский начальник с приставом и урядником ушли из канцелярии, мы со студентом проверили мои списки и кое-что исправили в них.

— Ну, теперь можешь отправляться обратно в свою Кому,— сказал мне в заключение студент.— А я напишу Евтихневу, что ты хорошо помог мне в этом деле. Как ты поедешь? Может, тебе подводу из волости нарядить?

— Завтра у нас Липат с почтой приедет. Я с ним сюда приехал, с ним и обратно уеду.

— Это еще лучше,— сказал студент.— Тогда пошли по домам...

На другой день я уехал с Липатом в Кому. Мне очень хотелось рассказать Ивану Иннокентиевичу о том, как я работал в канцелярии у крестьянского начальника. Но Иван Иннокентиевич не обратил на меня при моем приезде никакого внимания. Как будто он и не посылал меня в Новоселову. Иван Фомич, Павел Михайлович и Иван Осипович тоже не поинтересовались моей там работой. Один дедушко Митрей подробно расспросил меня, у кого я там останавливался, у кого там квартирует крестьянский начальник, какая у него крестьянская начальница, есть ли у них ребятишки, держит ли он кухарку и все такое. Потом он стал расспрашивать про магазины новоселовских купцов Терскова, Мезенина, Бобина, много ли у них приказчиков и как идет у них торговлишка. Но мне как-то не особенно хотелось рассказывать ему все это...

Глава 11
В НОВОСЕЛОВСКОМ АРХИВЕ

Один раз, уже после окончания вечерних занятий, Иван Иннокентиевич позвал меня к себе и сказал:

— Собирайся завтра с Липатом в Новоселову. Понравился ты там. Опять вызывают тебя на работу к крестьянскому начальнику.

На другой день я с Липатом и Тихоном Зыковым отправился в Новоселову. На этот раз настроение у меня было хо-

рошее. Мне было приятно, что этот студент у крестьянского начальника вспомнил обо мне и второй раз вызвал к себе на работу. Меня распирало желание похвастать этим перед Липатом. Однако Липат не проявлял решительно никакого интереса к моей особе и к моей поездке к крестьянскому начальнику. Он был занят с Тихоном серьезным разговором о том, что по всем признакам, того и гляди, на днях объявят новую мобилизацию. Не ожидая окончания страды, заскребут последних мужиков под метелку и угонят в солдаты.

Предстоящая мобилизация Липата не волновала. Со своим горбом впереди и горбом сзади он был полный и законченный калека и еще в молодости при рекрутском наборе получил белый билет. Но ему было очень жаль Тихона. Того и гляди, угонят мужика в солдаты.

А у Тихона дела были действительно плохи. Он числился ратником ополчения первого разряда и уж при прошлой мобилизации чуть-чуть не угодил под призыв. Так что на этот раз ему несдобровать, хоть он, почитай, уж старик. Заберут как миленького. На фронт, может, и не погонят. Какой он вояка? И ружья-то всю жизнь ни разу в руках не держал. Но все равно могут укатать куда-нибудь окарауливать склады с казенным добром. А дома останется одна баба с дочерями да с парнишкой.

Вот об этом Липат и вел с Тихоном разговор всю дорогу. Он успокаивал Тихона, как мог, уверял его в том, что на этот раз начальство будет собирать старых солдат, потому что они обучены военному делу, проходили словесность и ружейные приемы и хорошо могут охранять казенные склады.

— А вас, ратников, ведь обучать еще надо,— говорил он Тихону.— Ведь не поставишь, к примеру, тебя сразу на часы. Какой ты часовой, когда и из дробовика-то стрелять не умеешь. А потом, что тебе беспокоиться? Ведь тебе уж перевалило за сорок три года. А ратников старше сорока трех лет не берут. Это я уж точно знаю. Ведь все время около начальства верчусь.

Доводы Липата, видимо, мало действовали на Тихона, и он продолжал плакаться на то, что на этот раз ему все равно не миновать мобилизации. А мобилизацию эту надо ждать со дня на день, потому как Иван Акентич опять чуть не каждый день заглядывает в свой окованный ящик и проверяет в нем красные пакеты. А эти красные пакеты — дело известное. Как развезут их нарочные по волости, так и начнется светопреставление — сплошной рев да плач. По-

следних мужиков угонят. Хоть бы с хлебом дали управиться, как-нибудь собрать эти злыдни, которые уцелели от засухи.

Потом Тихон с Липатом перешли к разговору о нынешнем урожае. Хлеб после дождиков, благодаренье богу, немного выправился. И травенка понаросла. Так что и сенишка все понемногу понакосили. Зиму как-нибудь продержаться можно. Ну а с весны там уж как бог велит... В общем, все бы ничего, если бы не эта война. Она всех доведет до ручки. И народ уж обессилел, и государство скоро прахом пойдет.

Так в жалобах на недород да на войну мы доехали до Новоселовой, задержавшись дольше обычного на комском перевозе. Попутчиков по ту сторону на этот раз не было, и мы с Липатом и Тихоном здорово упарились крутить проклятое паромное колесо.

В Новоселовой я, не заходя к родственникам, сразу же заявился в знакомый мне флигель, в канцелярию крестьянского начальника. Студент встретил меня приветливо и объяснил, что на этот раз вызвал меня по особому делу. В Новоселовой при волостном правлении имеется большой архив. Больше чем за сто лет. И приехал из Красноярска один ученый человек поработать в этом архиве. И ему надо будет кое в чем помочь.

— Пойдем в волостное правление. Он, наверное, уж там.

Студент замкнул свой флигель, занес ключи на квартиру крестьянского начальника, и мы отправились в волостное правление. Поднялись на галерею, соединяющую два дома, в которых помещается волостное правление. Здесь студент оставил меня одного и прошел в правый дом узнать, где находится сейчас приехавший из Красноярска ученый человек.

Я остался ждать встречи с этим человеком. Я, конечно, немного побаивался, так как никогда не видел еще ученых людей. Ученый человек, да еще из Красноярска... Кто его знает, что он за человек и зачем черт принес его сюда, в новоселовский архив. И, главное, как я буду ему помогать? Не нашел себе другого архива для работы.

Кроме того, меня подавляло и здание Новоселовского волостного правления, и люди, которые в нем находились. Это действительно волостное правление, а не простой деревенский крестовый домишко, как у нас в Коме. На галерею все время поднимались и проходили в левую половину мужики, какие-то сердитые, чем-то недовольные. Кроме меня, здесь

стоялн еще людн, одетые по-городскому, тоже чем-то недовольные. А потом нз правой половнны в левую с независнмым вндом прошел какой-то человек. Ои мимоходом бросил людям на галерее несколько слов. Может, это заседатель новоселовский, а может, и сам старшина. А потом из левой половнны вышел краснвый молодой человек в пиджаке, в рубашке с галстуком н в брюках навыпуску. Он насвистывал какую-то песню и, не обращая иа нас внимания, прошел на правую половнну волости.

Через иекоторое время оттуда вышел мой студент.

— Ну, пойдем знакомнться с Кузьмой Кузьмичом. Он здесь, в архнве.

Сначала мы вошли в большую комнату, предназначенную, вндимо, для сторожей и ходоков. В ней стоял в углу большой стол и имелась плнта. Слева виднелись две камеры для арестантов. В общем, все было как у нас в Коме, но только получше, подобротнее. У нас, например, двери у арестантскнх камер были сколочены из простых досок н сделаны с окошечкамн, в которые былн вставлены тоненькне железные прутья. А тут дверн былн обнты лнстовым железом, а в окошечки вставлены толстые железнны.

Кроме того, здесь была еще одна дверь, через которую мы вошлн в большой корндор, и только через него попали в новоселовский волостной архнв. Этот архнв заиимал всю вторую половиину дома. Он был весь уставлеи полкамн, забнтыми перевязаннымн пачкамн дел. В архиве было прохладио, пахло пылью, сыромятной кожей и мышамн, которые, вндимо, где-то здесь обосновались иа жительство. Два окна, выходящие на улицу, были иастежь раскрыты, и около нних за большнм, грубо сколоченным столом сидел человек, которого студент называл Кузьмой Кузьмичом. По одежде он ничем не отлнчался от нашего Ивана Иннокентиевнча. Был в таком же пнджаке с жнлеткой, в длнннных брюках навыпуску. Так же, как у Евтнхнева, у него имелась небольшая козлииая бороденка. Но только, в отличие от Евтихнева, он был сухопарый и носил иа носу большие золотые очки. Увндев нас, ои встал из-за стола и пошел к нам навстречу.

— Ну вот, Кузьма Кузьмич, привел вам помощника. Надеюсь, вы останетесь им довольны. Мальчик старательный. Пншет четко, краснво. Только ие особенно быстро. Зато почти без ошибок и без помарок.

— Ну что же, будем знакомы,— сказал Кузьма Кузьмич и подал мне руку.— Как звать-величать?

Смутившись, я назвал свое имя и отчество.

— А родом откуда?

— Из Кульчека...

— А мать откуда? Из Черной Комы?

— А мать из Черной Комы,— ответил я, удивившись тому, что Кузьма Кузьмич знает, откуда родом моя мать.

— Так вот, Иннокентий Гаврилович, будешь работать со мной в этом архиве. Долго я тебя здесь не продержу. Но денька три-четыре придется посидеть. Спасибо вам, Александр Евсеевич, что устроили мне помощника. Надеюсь, мы с ним сработаемся. Ну что ж, Кено, приступим к делу!

Тут Кузьма Кузьмич вынул золотые часы из жилета, посмотрел на них и сказал:

— Часика два еще поработаем...

— Кузьма Кузьмич, к четырем вас ждут сегодня к обеду у Купчиновых...

— Благодарю вас. Непременно буду. А вы заходите в свободное время поболтать...

— Обязательно, Кузьма Кузьмич...

Пока Кузьма Кузьмич разговаривал со студентом, я немного осмотрелся. Меня поразила величина новоселовского архива. У нас в Коме тоже есть архив. Но маленький, только за десять лет. И помещается он во дворе, в простом амбаре, без окон. Нынче летом Иван Иннокентиевич заставил нас с Петькой проверять его. Петька все время куда-то убегал, оставляя меня работать в амбаре одного. Три дня провели мы за проверкой архива по старой истрепанной описи. А потом я эту опись несколько дней переписывал в новую, пронумерованную, прошнурованную и припечатанную сургучной печатью книгу.

А новоселовский архив был за сто с лишним лет и весь был заставлен высокими полками. И все полки были забиты делами. Несколько дел с закладками лежало на столе у Кузьмы Кузьмича и на длинной скамейке посредине архива.

После ухода студента Кузьма Кузьмич объяснил мне, что я должен буду делать. Оказывается, мне придется переписывать для него здесь некоторые бумаги, которые он разыщет в разных делах. Тут он взял из отложенной на столе пачки одно дело восемьсот четырнадцатого года под названием «Ведомость о состоянии ясашных в Красноярском округе жительствующих», раскрыл его и попросил меня прочесть. Эта ведомость была написана не особенно разборчиво, с какими-то завитушками. Многие слова я не мог разо-

брать, а некоторые были мне непонятны. Кузьма Кузьмич следил за мной, помогал прочитывать неразборчивые слова, а некоторые из них даже выписал на особую бумажку. После того как мы разобрались с этой ведомостью, он попросил меня переписать ее, но непременно, не стесняясь, переспрашивать неразборчивые места.

А потом он устроил меня за стол поближе к окну, вручил это дело и придвинул чернильницу.

— Так что начинай, а я буду рыться по полкам. Может, еще найду что-нибудь интересное. Архив у вас, надо прямо сказать, замечательный.

И он полез под самый потолок разыскивать другие интересные дела, а я принялся переписывать «Ведомость о состоянии ясашных в Красноярском округе жительствующих». В ней перечислялись какие-то ясашные инородцы, которые проживали в то время в Новоселовской волости.

Оказывается, они проживали в 1814 году во многих деревнях Новоселовской волости. Одни оседло (98 душ), а другие вели кочевой образ жизни (184 души). Деревни на левом берегу Енисея, в которых проживали эти ясашные — Кузурба, Бараит, Малый Имыш и другие, меня не интересовали, а интересовали деревни на правом берегу, которые входили теперь в нашу Комскую волость. И тут оказалось, что больше всего этих ясашных проживало в то время в нашей Черной Коме. Их было здесь больше двадцати человек. И среди них имелся даже князек Никита Григорьевич Тахтараков с детьми и братьями (десять душ). А потом еще две семьи Дружининых (восемь душ) и Еремеевых (три души). И жили они хлебопашеством. Сам князец Тахтараков пахал три с половиной десятины, а его родственники две с половиной. Сверх хлебопашества они занимались еще звероловством и рыболовством, «но не изобильно». И хотя эти Тахтараковы, Дружинины и Еремеевы проживали тогда в Новоселовской волости, но в ведомости было записано, что они являются инородцами Яринской землицы, Тинской волости.

А в Медведевой, оказывается, в то время жило только двенадцать ясашных. И считались они почему-то не Яринской, а Камасинской землицы, Угумакова улуса. У них тоже имелся свой князец — Евтифей Шемелихин. Из этих двенадцати камасинцев восемь человек были одной фамилии — Тахтиных. Один из них — Иван Степанович Тахтин — проживал не в Медведевой, а в Теси. Жил он там «в сроку». Это, как мне объяснил Кузьма Кузьмич, значит, что он жил

там в работниках. А хлеб ясашные в Медведевой почти не сеяли. Жили главным образом «рыбным и звериным промыслом». Только Тахтины пахали полдесятины озимого и полдесятины ярового...

Кроме Черной Комы и Медведевой, ясашные инородцы проживали еще в Улазах. Их было здесь десять душ, и считались они инородцами Яринской и Качинской землицы. А в Безкише их было только пять душ. За рекой ясашных проживало больше всего в Кузурбе (тринадцать душ). Они были тоже Яринской землицы и Ачинского комиссариатства.

Наконец я с грехом пополам переписал эту ведомость. Кузьма Кузьмич взял ее и начал подчеркивать в ней красным карандашом какие-то места. Наподчеркивал, отложил в сторону и сказал:

— Очень хорошо! Теперь я дам тебе другое дело. Тоже об ясашных. И такое же старое, как и это.

И он вручил мне дело «Об учинении выправки о всех нациях и какого исповедания».

Выправка об ясашных в этом деле была небольшая. И написана была разборчиво. Во всяком случае, я прочитал ее без особенных затруднений, хотя и не совсем уверенно. Кузьма Кузьмич следил за мной, одобрительно поддакивал и в заключение сказал: «Вот так и перепиши».

Тут я, заикаясь и заплетаясь, сказал, что я ведомость о ясашных переписал, как вы говорили, хорошо, а оказалось там что-то неладно, и вы всю ее перечеркали красным карандашом. Теперь я напишу эту выправку, а в ней окажется тоже что-нибудь не так...

— Об этом не беспокойся,— сказал Кузьма Кузьмич.— Ошибок в твоей выписке я не нашел и сделал в ней отметки для себя. Так что спокойно продолжай работу. Ты говоришь, мать у тебя из Черной Комы?

— Из Черной Комы.

— А из какой она фамилии?

— Из Тахтиных.

— Тогда внимательно читай эти ведомости. Может быть, найдешь в них кого-нибудь из своих предков по матери.

Теперь я взялся за это второе дело. Оно относилось уже к 1819 году. Новоселовское волостное правление доносит в нем Красноярскому земскому суду, что в селениях Новоселовской волости ясашных язычников шаманского закона не имеется, а имеются ясашные греческого вероисповедания,

обзаведшиеся домохозяйством, хлебопашеством и скотоводством.

И дальше давался подробный реестр с перечислением подушно всех ясашных в каждой деревне. Из этого реестра видно, что в Черной Коме проживает тридцать один человек ясашных Яринской землицы, Абалакова улуса, князьца Никифора Тахтаракова, а в Безкише — пять душ той же землицы и того же улуса, князьца Бачатова. Дальше перечислялись деревни на левом берегу Енисея: Имыш — три души, Кузурба — одиннадцать душ, Марьясова — двадцать две души, Бараит — шесть душ.

Среди чернокомских ясашных в этой выправке числился Иван Тахтин с сыновьями Сергеем и Тимофеем. Тут я сообразил, что Иван Тахтин является моим прадедом по мамоньке, а его сын Тимофей — мой родной дедушко. И как только я догадался об этом, мне сразу стало интересно читать и переписывать все эти ведомости и реестры о ясашных инородцах.

Поэтому я с особым рвением взялся за следующее дело «О доставлении сведений об инородцах», относящееся уже к 1854 году. Минусинский земский исправник 30 мая 1854 года приказал Новоселовскому волостному правлению «всенепременно через одну неделю представить ему сведения о всех проживающих в оной волости деревнях и селах — как в срочных работах (то есть в работниках), так и своими юртами — инородцах прежде бывшего Качинского ведомства и составить на них посемейные списки с указанием, какая семья к какому роду принадлежит».

На это приказание волостное правление представило земскому исправнику «Сведения о проживающих в волости инородцах». В этом списке по деревне Черная Кома числится четырнадцать дворов инородцев Качинской степной думы Тинского улуса. На все четырнадцать дворов в деле имелись посемейные списки с полным перечислением всех членов семей каждой фамилии. Из них меня больше всего интересовала, разумеется, семья моего дедушки Тимофея Ивановича Тахтина. Ему было в это время уже сорок два года. У него была жена Дарья Семеновна тридцати трех лет и несколько детей. Но моей мамы, тетки Татьяны, дядьев Екима, Савоси и Ефима в это время на свете еще не было. Они родились позже от бабушки Апросиньи, на которой дедушко женился после смерти Дарьи Семеновны.

Я помнил немного своего дедушку Тимофея. Когда я был еще совсем маленький, мы по дороге в Кому заехали с ма-

мой к ним. Дело было зимой. На дворе трещал сильный мороз. В избе у дедушки было сильно натоплено. И почему-то было много народа. Я еще не понимал тогда, что у дедушки была огромная семья, три женатых сына. И все жили в одной избе, одной семьей. Дедушко сидел на кровати в полушубке, с трубкой в зубах и всеми распоряжался. Говорил он негромко, но наставительно. И все его почтительно слушали. Помню еще, что нас угощали за чаем намоченным на квасу маком и мелко накрошенным, настоянным на соленой воде чесноком, куда надо было макать хлеб, как в сметану. Судя по всему, это было в великий пост. На меня в доме дедушки никто не обращал внимания. Никто меня не приласкал, никто со мной не поговорил. Всем было почему-то не до меня.

Теперь я стал соображать, сколько лет могло быть в то время моему дедушке. В 1854 году ему было сорок два года, а увидел я его лет четырех-пяти, в 1903 или 1904 году. Значит, дедушке было в это время более девяноста лет.

А дальше у Кузьмы Кузьмича шло дело от 24 ноября 1858 года «Об инородцах, оседло живущих между крестьянами». Это дело касалось прямо моего дедушки. Я его быстро переписал и легко запомнил. Минусинский земский исправник послал Новоселовскому волостному правлению приказание, чтобы волостному правлению «с получением сего тотчас же предписать всем сельским старшинам, чтобы они немедленно отобрали подписки от проживающих оседло в их деревнях инородцев, особо от тех, кои желают поступить в крестьянское звание, и особо от тех, кои не желают... По собрании подписки эти немедленно представить ко мне, причем вменить в обязанность всем сельским старшинам, что если кто из проживающих в их деревне инородцев не изъявит желания поступить в крестьянское звание, то тех инородцев, не давая им ни пахотных, ни сенокосных угодий, тот же час выслать на жительство в места их причисления».

И в этом же деле имеется «подписка» от 12 октября 1858 года о том, что «мы, нижеподписавшиеся, Минусинского округа, Июсской инородной управы, старо-июсского рода, проживающие в деревне Чернокомской, Павел Васильевич Тахтараков, Тимофей Иванов Тахтин, Ермил Гавриилов Еремеев, Иван Осипов Тахтин, дали сию подписку Новоселовскому волостному правлению в том, что желаем поступить в оседлые крестьяне по деревне Чернокомской, а потому и просим покорнейше Новоселовское волостное прав-

леиие причислить нас в крестьяиское сословие. В том и подписуемся... К сей подписке личною просьбою неграмотных ииюродцев Павла Тахтаракова, Тимофея Тахтина, Ермила Еремеева и Иваиа Тахтиха руку приложил сельский писарь Иваи Михайлов Жихов.

При даче сей подписки был и печать мие ввереииую приложил безкишеиский старшииа Ростовцев».

Я писал все эти ведомости об ясашных инородцах и иикак не мог поиять, почему мои прадеды и деды, пока они жили в Медведевой, были Камасиской землицы, а когда переехали в Черную Кому, стали уже Яринской землицы. А по последнему делу «Об ииюродцах, оседло живущих между крестьянами» сделались потомками какого-то «староиюсского рода». Но расспрашивать об этом Кузьму Кузьмича я постеснялся. А потом, главиым для меия в этом было не то, какой землицы был мой дедушко — Камасинской, Яринской или потомком старо-июсского рода, хотя я и решил почему-то, что он был потомком камасиицев. Главным для меия в этом было то, что хотя мой дедушко и был камасиской родовы, ио с молодых лет врос в русскую нацию, а потом окончательио перешел в русское крестьянское сословие. Ои, видимо, еще с детства, еще в Медведевой, обрусел, был два раза женат на русских женщинах, и его дети, в их числе и моя мама, были совсем русскими и слыхом иичего ие слыхали о Камасинской землице и Угумаковом улусе, откуда происходил дедушко. О камасиицах мие хотелось расспросить Кузьму Кузьмича поподробиее, ио я ие осмелился заводить с ним разговор об этом и спросил его только о том, где находился в свое время этот Угумаков улус. Этот улус находился, оказывается, иа самом юге нынешнего Канского уезда иа реке Мане, где степиые места переходят в иепроходимую Саяискую тайгу. Видать, мои предки по дедушке обитали в этой тайге, пока ие осели в иашей Медведевой и здесь окончательио слились с русскими.

Писал я все эти ведомости об ясашных ииюродцах, и в голову приходили мне какие-то иовые необычные мысли. Еще в школе мы знали от Павла Коистаитиновича о древних славянах, об осиоваиии Русского государства, об Иване Грозиом и завоевании Ермаком Сибирского царства, о том, как русские люди прошли от Урала до самого Берингова пролива. Но все это наших мест вроде ие касалось, а шло мимо нас, как бы стороной. Все это было, ио было где-то далеко-далеко от иас и прямого отиошеиия к иам ие имело и не имеет. И иаш Кульчек как стоит сейчас, так и раньше

стоял на этом же самом месте. И Кульчек стоял, и Кома стояла, и другие деревни стояли. А мужики, как и сейчас, пахали пашню, разводили скотишка, так и жили, как сейчас. Только народу было поменьше, да не было железных печек, и сено косили не литовками, а большими серпами, которые называли горбушами. В общем, история шла сама по себе, а мы жили сами по себе, на отлете, вне всякой истории. А оказывается, это продвижение русских от Урала на восток имеет к нам прямое отношение, и я со стороны мамы оказываюсь какой-то камасинской породы, и мои предки в Медведевой даже пашню не пахали, а жили звероловством и рыболовством.

Мой прадед по маме Иван Тахтин переехал из камасинской тайги в Медведеву, а дедушко Тимофей перешел на оседлую жизнь в Черную Кому и сделался совсем русским. А может быть, и по тятенькиной родове было что-нибудь такое же. Может быть, мой прадед по отцу тоже приехал откуда-нибудь в Кульчек или в Кому и осел здесь на постоянное жительство. А до этого жил где-то в России или на Урале.

Часов около трех к нам в архив пришел студент.

— Зашел напомнить вам, Кузьма Кузьмич, что вас ждут сегодня у Купчиновых на обед.

— Благодарю вас, Александр Евсеевич. Нам не пора двигаться?

— Время еще терпит. Как идет у вас работа?

— На полном ходу. Я ищу на полках интересный материал, а мой помощник, спасибо вам за него, делает мне копии с нужных документов.

— Можно мне посмотреть эти документы?

— Буду рад ознакомить вас с ними.

И Кузьма Кузьмич подал студенту выписанные мною реестры о ясашных и инородцах. Студент долго и внимательно их читал, а потом сказал:

— Какой интересный материал! Я и не предполагал, что в нашем новоселовском архиве хранятся такие замечательные вещи. А почему вы снимаете с этих документов полные копии, не ограничиваетесь короткими выписками и справками?..

— Конечно, так было бы лучше. Но я работаю ведь не в архиве иркутского генерал-губернатора и, на худой конец, не в Енисейском губернском архиве, где существует какая-то система и некоторые гарантии, что этот архив сохранится и к нему со временем будет разрешен доступ. А здесь

ведь волостной архив. Можете ли вы быть уверены в том, что этот великолепный архив в одно прекрасное время не сгорит вместе со всем Новоселовским волостным правлением? Дом сухой как порох... Противопожарных средств никаких. Тут же в одном помещении волостная тюрьма и что-то вроде кухни, где с утра до ночи горит плита. Малейшая оплошность — и от вашего архива ничего не останется. А копии с документов — это не абстрактные исторические факты, с которыми можно оперировать в научной работе, но материал, который имеет самостоятельное научно-познавательное значение. А потом, ведь наши архивы в Сибири, да и не только в Сибири, фактически недоступны для научной работы. К архивным материалам у нас имеют доступ очень немногие лица. Чтобы получить доступ к архивам Восточной Сибири, мне пришлось устраиваться сверхштатным чиновником особых поручений при губернаторе. Только благодаря этому я смог основательно поработать в архивах Абаканского волостного правления и Абаканской инородческой управы, а сейчас приехать к вам. Разве здесь допустили бы меня в архив без губернаторского поручения работать над темой колонизации Южной Сибири.

— Вы работаете над этой темой?

— Поначалу ставил такую задачу. А потом, в процессе работы, эта тема переросла в историю племен и народностей, населяющих Южную Сибирь. Тема большая и совсем еще нетронутая.

Дальше Кузьма Кузьмич стал рассказывать студенту о том, как он хорошо поработал над этой темой в Абаканске и Усть-Абаканске. Архивы там богатые, с ценнейшими материалами, но, как и здесь, хранятся в неприспособленных помещениях и в любое время могут сделаться добычей огня.

Часов около четырех Кузьма Кузьмич сложил на стол все свои дела об ясашных инородцах, положил в портфель переписанные мною реестры и ведомости, тщательно закрыл окна в архиве и отправился со студентом к крестьянскому начальнику на обед. Проходя через волостную тюрьму, он попросил сторожа закрыть архив на замок.

Из волости я сразу же побежал к своим родственникам. Тарас Васильевич на этот раз оказался дома. Он очень обрадовался моему приезду и стал расспрашивать меня, как я служу в волости и скоро ли я, подобно Бирюкову, сделаюсь волостным писарем и буду заправлять всеми комскими волостными делами.

На следующий день я с самого утра засел в архиве за переписку разных реестров и ведомостей на ясашных инородцев. Это были ведомости и реестры все о левобережных инородцах, и я писал их уж без всякого интереса.

А наши ясашные в Черной Коме, в Медведевой, в Безкише и Проезжей Коме почти все перешли в крестьянство. И после того на них уж не стали составлять разные реестры и ведомости.

Кузьма Кузьмич искал на полках новые, нужные ему дела, просматривал их и некоторые передавал мне для переписки. В полдень к нам опять заявился студент. На этот раз они говорили с Кузьмой Кузьмичом о войне, о том, как плохи наши дела на фронтах, и как плохи наши дела в тылу, и как трудно теперь начальству ладить с народом. Все работоспособное население мужского пола угнано на войну, а подати остались прежние, и сверху требуют выколачивать их любыми средствами. А мужики, конечно, артачатся. По деревням то и дело происходят неприятные инциденты. Вчера пришла тревожная телеграмма из Знаменки, и Купчинов ни свет ни заря должен был выехать сегодня туда. Так и живем в ожидании всяких неприятностей. По городам забастовки, антиправительственные демонстрации, в деревне нарастает глухое недовольство, которое неизвестно чем кончится. А войне не видно конца.

Я писал Кузьме Кузьмичу бумаги еще два дня и один праздник. За это время студент несколько раз приходил к Кузьме Кузьмичу, и они все время говорили о разных делах. Студент рассказывал о том, как он учится в Томском университете. Изучает он там какое-то право, а Кузьма Кузьмич в связи с этим завел с ним речь о каком-то степном праве минусинских инородцев и посоветовал студенту познакомиться с этим правом.

На пятый день я переписал Кузьме Кузьмичу все, что было надо. Он поблагодарил меня и дал мне за работу пять рублей. Студент тоже благодарил меня и опять хотел нарядить для меня общественную подводу до Комы. Но и на этот раз я от общественной подводы отказался и с очередной почтой уехал с Липатом к себе в Кому.

В волости я по-прежнему следил за всеми бумагами, поступающими от крестьянского начальника. И по мелкому разборчивому почерку, каким они были написаны, я знал, что студент все еще находится в Новоселовой. А осенью от крестьянского начальника начали поступать распоряжения, написанные другим — крупным и размашистым — почерком.

И мне стало ясно, что его Сашенька уехал в Томск изучать в университете какие-то юридические науки. И хотя студент писал нам строгие и ехидные бумаги, но мне было жаль, что он уехал из Новоселовой и не вызовет уже меня к себе переписывать разные ведомости и отчеты. .

Глава 12
ВОЛОСТНОЙ СХОД

В начале сентября волостное правление начало усиленно готовиться к созыву волостного схода. Иван Иннокентиевич на время перестал рассказывать свои веселые истории и занялся ориентировочным подсчетом предстоящей на сходе раскладки губернского земского сбора и волостных расходов по каждому обществу в отдельности и по волости в целом. А Иван Фомич несколько дней сидел за гоньбовыми ведомостями и подсчитывал, сколько подвод и в какое время выставило каждое общество в волостное правление и у себя дома для перевозки почты, сельской и волостной администрации и новоселовского начальства и сколько им придется выплачивать за это денег из волостных сумм.

Для меня у них тоже нашлась работенка, связанная с подготовкой волостного схода. Иван Фомич вручил мне сводную ведомость поступления государственных окладных сборов за нынешний год:

— Перепиши почище для Ивана Иннокентиевича. Он должен поехать со старшиной к крестьянскому начальнику за разрешением созывать волостной сход. И тот, конечно, будет интересоваться положением дела с податями...

Еще в Кульчеке мне не раз приходилось слышать разговоры наших мужиков, ездивших гласниками на волостной сход, о том, как много им приходилось там спорить и ругаться. В чем была суть их споров и раздоров на волостном сходе, я тогда так и не уразумел.

И вот теперь я сам увижу этот волостной сход и узнаю, с кем и из-за чего нашим гласникам приходится там спорить и ругаться.

От крестьянского начальника Иван Иннокентиевич и старшина приехали очень озабоченные. Иван Иннокентиевич сразу же поспешил домой, а старшина стал рассказы-

вать иам о том, какой вредиый этот крестьяиский иачальник.

— Смотрит, понимаешь, на тебя как на бараиа. Выпучит глаза, упрется в тебя своими золотыми очками и начииает орать. Идешь к иему — уж поджилки трясутся, а явишься — совсем оторопь берет...

На этот раз крестьяиский начальник, как всегда, был сердит и сразу же завел с иими речь о том, как лучше провести предстоящий волостиой сход. Ои все время напирал на то, что время у иас теперь военное, что не только в городах, но и по деревням объявилось много неблагоиадежных людей, которые стараются во всем перечить начальству, вставляют ему палки в колеса и иа всякие лады мутят мужиков разговорами о податях, тяжелых повиииостях и особенио о войие. Такие люди могут затесаться и иа волостной сход и, чего доброго, иачнут баламутить и подзуживать гласников, как это не раз бывало уж после япоиской войны. Так что волостиому иачальству надо быть иасторожe, пе распускать вожжей на сходе, держать гласииков в крепкой узде, чтобы оии не затеяли какой-иибудь бузы. И ни в коем случае не допускать никаких разговоров иасчет войны.

Ну а иасчет всего остальиого крестьяиский иачальиик, по словам старшииы, особенио не распространялся. «Сами,— говорит,— сообразите там, что к чему... Слушайтесь во всем Иваиа Акеитича. Пока он у вас в писарях, я,— говорит,— за Комскую волость спокоеи...» Виапоследок, как всегда, припугнул меия иасчет сбора податей, потом прикинул что-то в уме и велел созывать сход десятого сеитября. «Сам,— говорит,— приеду к вам иа сход».

На другой день я под диктовку Иваиа Фомича написал, а потом напечатал на гектографе и разослал строгое предписание всем сельским старостам, чтобы они скорее выбирали от своих деревеиь гласииков и пригоняли их десятого сентября прямо на волостной сход.

И вот теперь все мы, каждый по-своему, стали ждать волостной сход. Иван Фомич, Павел Михайлович и Иван Осипович уж давно служили в волости. Оии много раз видели волостной сход и почему-то нисколько им не иитересовались. А старшииа сильно беспокоился. Ему здорово запали на ум слова крестьяиского иачальиика блюсти иа сходе осторожиость и пресекать всякие разговоры насчет войны. Мало ли что может быть. Особеиио боялся старшииа гласииков из тех деревеиь, в которых много населилось расейских переселеицев. Беда с этими расейскими. Все оии такие

законники. Подати с них без пристава и урядника не выжмешь. А чуть что не по ним, едут сразу жаловаться начальству. На волостном сходе от них можно ждать любой подвох...

Иван Иннокентиевич тоже опасался волостного схода. В течение всего года ему и в голову не приходило как-то считаться с мужиком. На работу в волостное правление он даже в сенокос и в страду жаловал только к одиннадцати часам, прекрасно зная, что мужики ждут его там по своим делам чуть ли не с самого рассвета. С приходящим народом он обходился, ничего не скажешь, без шума, без крика, но как-то так, что люди уходили от него недовольные. Он без конца потешал нас веселыми рассказами, но никто из мужиков ни разу не слышал от него приветливого слова.

А потом, эта тучность, одышка с каким-то присвистом, козлиная бородка, пиджак со множеством пуговиц, яркий галстук, жилет с золотой цепочкой на отвислом животе, брюки навыпуску, начищенные до блеска ботинки со скрипом. Мужики сразу видели, что этот толстопузый, нарядный господин не любит народ, гнушается им, хотя и живет за его счет.

Иван Иннокентиевич знал, конечно, что крестьянский начальник не даст его в обиду волостному сходу, но понимал, что ему все равно не избежать там неприятностей.

А пока он стал обращаться с приходящими по делу мужиками обходительнее. И бороду немного обрезал, и галстук и жилет снял, и вместо дорогого пиджака надел просторную теплую косоворотку.

А мы с Петькой Казачонком гадали главным образом о том, прибавит или нет волостной сход Ивану Иннокентиевичу жалование. Сейчас он на себя и своих помощников получает сто пятьдесят рублей в месяц. Из них платит Ивану Фомичу тридцать рублей, Павлу Михайловичу двадцать пять рублей, Ивану Осиповичу двадцать рублей, Петьке десять рублей и мне пять рублей. Вот если бы сход прибавил ему немного на нас. В Новоселовском волостном правлении, плакался Петька, помощник на входящем и исходящем получает пятнадцать рублей.

За день до схода в волость начали съезжаться сельские старосты со своими писарями. Обычно старосты приезжают к нам нарядные, с причесанными бородами, с волосами, густо смазанными коровьим маслом. И сразу же Иван Иннокентиевич и Иван Фомич начинают жучить их за задержку каких-нибудь отчетов и ведомостей. А стар-

шина, который и пикнуть не смеет перед Иваном Иннокентиевичем и Иваном Фомичом, заводит с ними разговор о о недоброте податей и грозит им вызовом к крестьянскому и становому.

На этот раз они приехали в волость тоже нарядные и смазанные маслом, но держались как-то в стороне, как будто они совсем и не старосты. Они знали, что им не надо на этот раз ни в чем отчитываться перед волостным начальством, что, наоборот, волостное начальство должно будет вроде как бы отчитываться перед ними. И писаря их не мотались с утра до ночи в волости, а, поговорив немного с Иваном Фомичом, сразу же расходились по своим комским квартирам.

Иван Иннокентиевич и старшина все это, конечно, видели и только вразумляли старост в том, чтобы они со своими гласниками вели себя на сходе как следует и не вздумали бы прокатываться там насчет начальства и заводить разговор о войне. На сход приедет сам крестьянский. Так что надо держать язык за зубами...

А потом начали подъезжать гласники. Из дальних деревень — на пароконных подводах, сразу по нескольку человек, а из деревень, которые поближе, верхами.

Гласники не были такими нарядными, как старосты, но чувствовали себя в волости уверенно, как бы хозяевами. Не все, конечно, но те, которые уж по нескольку раз бывали на волостном сходе. Такие гласники хорошо знали, что имеют полное законное право решать волостные дела по-своему и только ждут на сходе того момента, когда можно будет как следует поругаться с волостным начальством.

А старшина и даже сам Иван Иннокентиевич чувствовали себя перед ними как бы в чем-то виноватыми. Они ходили по волости не своими ногами и говорили какими-то чужими голосами, так как понимали, что многие гласники точат на них свой зуб. А потом, ведь сам крестьянский начальник упреждал вести себя с ними осторожнее, держать их в узде и всячески осаживать, особенно по части разговоров о податях и о войне. Хоть в гласники выбирали мужиков справных, хорошего поведения, не состоявших под судом и следствием, но ведь и справный мужик, если дать ему волю, может повернуть дело не туда, куда следует...

Меня же интересовали прежде всего наши кульчекские гласники. Первым из них я увидел Марка Зыкова. Он

подъехал к волости верхом, неторопливо вошел в нашу канцелярию и сразу направился к Ивану Фомичу. Тот встретил его как старого знакомого и спросил, как обстоят дела в нашем Кульчеке. Тут Марко объяснил ему, что дела у нас в Кульчеке обстоят как следует, что в гласники выбрали мужиков подходящих и все они завтра без всяких сумлений будут на сходе.

Потом в этот день из наших гласников заходил в волость еще Ефим Рассказчиков. Он сразу же сунулся к Ивану Иннокентиевичу, видимо, поговорить с ним о своих казацких правах. Но старшина не допустил его до Ивана Иннокентиевича. После того Рассказчиков долго топтался около нас в канцелярии, что-то все время бормотал про себя и опять хотел прорваться к Ивану Иннокентиевичу. Но снова напоролся на старшину, который опять отправил его ни с чем обратно.

А Финоген и Иван Адамович на сход не приехали. Финоген все-таки сменился из старост, и на его место заступил Семен Ундеров, из-за речки. А Иван Адамович уехал в свой Караскыр, и на его место заступил новый, совсем еще молодой писарь. И тоже из расейских.

С половины дня старшина и заседатель начали готовить волость к завтрашнему сходу. Они боялись приезда крестьянского начальника и решили на всякий случай навести в волости полный порядок. Под их наблюдением ходоки вымыли арестантские камеры и сторожку, подмели двор. Особенно старался с этим делом заседатель Болин. Он отпросился у Ивана Иннокентиевича сразу же после схода съездить к домашним в свою Александровку и теперь поторапливал дедушку Митрея и Епифана, чтобы они пошевеливались.

На другой день вся волость с утра была забита гласниками. Они стояли группами у ворот, на дворе, в сенях и в прихожей и все время о чем-то говорили. Наша большая канцелярия была пока свободна. Все столы и шкафы с делами были перетащены в судейскую и закрыты там на замок. А посередине был поставлен и накрыт зеленым сукном Петькин столик. На нем возвышалась большая стопа канцелярских книг и пачка каких-то бумаг.

Иван Фомич, Павел Михайлович, Иван Осипович, даже Петька Казачонок на занятия в этот день почему-то не явились. А Иван Иннокентиевич пришел в теплой косоворотке. Он был чисто выбрит, держался бодро, пересмотрел на столе и привел в порядок канцелярские книги и

бумаги, послал старшину на двор угомонить гласников:

— Скажи им, чтобы не шумели. Ждем на сход самого крестьянского. Из-за того и задержка.

— Да говорил я им. Ждем, мол, и все такое. Да разве они понимают! Знаете наш народ...

— Придется ждать. Ничего не поделаешь. Идите и занимайте их чем угодно, — отрезал Иван Иннокентиевич. Увидев меня, он очень обрадовался:

— Хорошо, что ты пришел. Не уходи никуда. Сиди рядом в моей комнате. Ты в любое время можешь мне понадобиться.

Без малого в двенадцать Иван Иннокентиевич окончательно решил, что крестьянский начальник на сход не приедет, и велел загонять всех в помещение.

Через минуту гласники, вместе со своими старостами, сплошной стеной стояли в нашей канцелярии перед столом под зеленым сукном, за который уселись Иван Иннокентиевич и старшина, до отказа забили прихожую, поналезли в комнату Ивана Иннокентиевича, где я занял удобное местечко, чтобы лучше видеть все, что происходит на сходе. Ближе ко мне, возле самой двери, стояли анашенские гласники, рядом с ними впритык наши кульчекские. Дальше виднелись комские и гласники других деревень. После того как установилась сравнительная тишина, старшина, запинаясь, начал:

— Дык что же, мужики... Видать, придется начинать без крестьянского начальника. Ждали-ждали, а он, видать, и не приедет. Если бы ему приехать, то он, значитца, уж приехал бы. А если он не приехал, то, значитца, уж не приедет. И как теперича он уж не приедет, то нам придется начинать без него. Сейчас Иван Акентич поначалу обскажет вам, как мы тутака работали, списки и ведомости составляли, разные дела волостные справляли. Уж вы, Иван Акентич, обскажите гласникам все это по порядку, чтобы они, значитца, ни в чем не сумлевались.

Тут выступил перед нами Иван Иннокентиевич и стал обсказывать «господам гласным волостного схода», как в истекшем году работало волостное правление. В волость поступило за год свыше шести тысяч бумаг. И примерно такое же число вышло из волости. Затем Иван Иннокентиевич стал перечислять по бумажке, сколько поступило в волость казенных окладных сборов, волостных налогов и каких-то переходящих сумм и куда эти деньги по волостным книгам перечислены, сколько было представлено

высшему начальству разных статистических ведомостей и отчетов, сколько дел было рассмотрено волостным судом, сколько отсидело народу в волостной тюрьме, как исправлялись по метрическим выпискам наши посемейные списки и как составлялись призывные списки на рекрутов и мобилизованных. Потом Иван Иннокентиевич стал говорить о разгоне обывательских лошадей по волости и о том, сколько придется начислять денег при раскладке волостных сборов, чтобы расплатиться за произведенную гоньбу.

О мобилизации, о призыве на войну почти всех старых солдат, о комском перевозе, который ни к черту не годится, Иван Иннокентиевич ни слова не сказал, как будто это нас и не касалось.

Пока Иван Иннокентиевич говорил о приходе и расходе податных сборов и разных переходящих сумм, гласники внимательно его слушали и уважительно поглядывали на большую стопу канцелярских книг и бумаг на столе, а когда он перешел к гоньбовым делам, тут сразу начался шум, послышались невнятные крики и вопросы. Но Иван Иннокентиевич не обращал на это внимания и как ни в чем не бывало продолжал обсказывать волостные дела. Говорил он громко, складно, без всяких запинок и все выкладывал цифры, цифры и цифры. В заключение он придвинул к себе стопу канцелярских книг и начал раскладывать их по столу:

— Вот перед вами книга «Прихода и расхода денежных сумм», вот книга «Раскладочных регистров на взыскание окладных сборов», вот книга «Переходящих сумм», арестантская книга, посемейные списки на каждую деревню. Все эти книги ведутся изо дня в день. А вот к ним положенная денежная документация. Каждый месяц мы аккуратно проверяем все эти книги и перед самым сходом еще раз их проверили. Никаких подчисток, подозрительных помарок и поправок в них не обнаружено. Об этом мы составили надлежащий акт и приобщили его куда надо. Можете все проверить сами. Вот перед вами все денежные книги, а вот папки с надлежащими документами.

На этом Иван Иннокентиевич закончил обсказывать волостные дела. Гласники, которые только что шумели и что-то кричали насчет волостной гоньбы, приумолкли и молча глядели на него и на старшину. А Иван Иннокентиевич и старшина сидели за столом, покрытым зеленым сукном, и в свою очередь смотрели на гласников. Наконец

Иван Иннокентиевич попросил старшину вести дело дальше.

— Дык вот, господа гласники. Иван Акентич обсказал, значитца, как работала волость, как мы каждый месяц, это самое, проверяли денежные книги и бумаги, все ли в них правильно, не сломаны ли сургучные печати, не вырваны ли, значитца, листы. Иван Акентич самолично вместе с нами все это осматривал, все нам обсказывал, что, значитца, и к чему. Потом составит акт об этой самой проверке, подпишет его за нас и на наших глазах, это самое, приложит на него наши волостные печати, чтобы, значитца, все было честь честью, как принадлежит по закону. Вот так и работали. Можете сами все проверить, как, что и к чему...— Тут старшина осторожно сдвинул стопу книг и пачку бумаг в сторону гласников и еще раз сказал: — Проверяйте все как следовает. Мы ничего не скрываем. Смотрите, это самое, как мы, значитца, работали.

— Проверить надо, — послышался чей-то неуверенный голос. — А то этот толстопузый наговорил тут три короба.

— Проверить, проверить! — послышались голоса. — На словах-то все у них гладко.

— Мужики!.. Кто тутака грамотный? Беритесь.

— Давай, Колегов! — обратился кто-то к анашенскому гласнику, который стоял ближе всех к зеленому столу и выглядел моложе других.

— Давай, Колегов! — поддержали анашенские гласники. — Ты ведь грамотей у нас. В Новоселовой учился, все там произошел.

Колегов помялся немного, но потом неуверенно двинулся к столу.

— Действуй, Колегов!

— Бери самую главную книгу. Что там в ней?

— Вон эту толстую смотри. Она у них, видать, самая главная.

Иван Иннокентиевич со старшиной сразу же отошли в сторону, чтобы не мешать Колегову производить проверку.

Колегов осторожно подошел к столу и в нерешительности уставился на стопу конторских книг. Весь сход молча наблюдал за тем, как он будет производить проверку. И от того, что все на него смотрели и все от него что-то ждали, Колегов совсем растерялся. Однако все-таки осмелел, взял самую толстую книгу, послюнил для верности пальцы, осторожно открыл ее и бессмысленно уставился

в написанное. Его губы что-то беззвучно шептали. Видимо, он читал записи в книге.

Сход молча наблюдал за ним и ожидал результатов. А Колегов перевернул следующую страницу и опять уставился в нее.

— Что в рот воды набрал? Сказывай, что там.

— Смотрит в книгу, а видит фигу, — послышалось откуда-то сзади.

— Не при нем написано!

А Колегов продолжал бессмысленно смотреть в книгу. Наконец он молча закрыл ее и положил обратно на стопу таких же толстых книг.

— Ну, рассказывай, что вычитал?

— Чего уставился, как баран на ворота?

— Как там у них?

Колегов молча стоял у стола и растерянно смотрел на книги, сложенные стопой, и на папки с денежными документами и как бы взвешивал, что ему дальше делать. Наконец он, не поднимая головы, медленно, с виноватым видом направился к своим анашенским гласникам.

— Тоже нашелся ревизор, — послышались злые голоса.

— Не знаешь, так не суйся.

— Лезут всякие не в свое дело.

Тут все напустились на Колегова, и каждый старался сказать ему что-нибудь обидное. Анашенские гласники чувствовали себя тоже в чем-то виноватыми и смущенно отругивались. После некоторого замешательства послышались голоса:

— Как же будем, мужики, дальше? Ведь проверять-то надо.

— А что проверять-то? И так видно, что все у них в порядке.

— Еще бы! Сидят на этом деле.

— Их на кривой не объедешь.

Иван Иннокентиевич со старшиной подошли к столу.

— Кто еще будет делать проверку? — обратился старшина к сходу.— Выходите, проверяйте. Честь честью. Мы ничего не скрываем.

— Хватит! Напроверялись!

— Давай дальше! Проваландаемся с этой проверкой.

— Не обмишуриться бы, мужики. Все-таки дела-то денежные.

— Если бы у них дело было нечистое, не заставляли бы делать эту проверку.

— Оно конечно. Но все же...
— Чего там... Давай дальше!
— Давай, давай! С утра тута паримся.
— Тогда, господа гласные,— сказал Иван Иннокентиевич,— будем считать, что с первым вопросом мы закончили. В приговор волостного схода, я думаю, мы запишем, что заслушали и приняли к сведению сообщение о работе волостного правления за год и единогласно признали состояние делопроизводства и денежной отчетности удовлетворительным. Согласны с таким решением?
— Согласные! — послышались голоса.
— Ну и хорошо,— сказал Иван Иннокентиевич. Потом он сдвинул все волостные книги и папки с бумагами в сторону и обратился к гласникам: — Дальше у нас, господа гласные, на очереди рассмотрение сметы волостных расходов на будущий год и выбор волостных судей. В обсуждение сметы, я думаю, мы сейчас ввязываться не будем. Это вопрос сложный, и нам лучше будет перенести его на вечер. А до обеда давайте провернем выборы волостных судей. Согласны, господа гласные?
— Согласные!
— Выборы так выборы.
— Давай скорее!
— Тогда приступим к делу. Вопрос нетрудный, и мы быстро с ним справимся,— сказал Иван Иннокентиевич и объяснил сходу, что из шести волостных судей три отслужили свой трехлетний срок и взамен их надо выбирать новых.— Выбирать в судьи надо людей надежных, уважаемых, которые под судом и следствием не состояли и ни в чем плохом не замечены. И, разумеется, домохозяев справных, не приверженных к пьянству и буянству. Взамен комского, безкишенского и сисимского судей, которые отвели свой срок, мы должны выбрать на следующее трехлетие новых судей от Коряковой, от Анаша и от Проезжей Комы. Эти деревни стоят у нас по судьям на очереди. Как будем решать это дело?
— Несогласные! — сразу закричали коряковские гласники.
— Несогласные! — подхватили анашенские.
— Несогласные! — завопили проезжекомские. — Очередь неправильная.

Но тут сразу вступили в спор тридцать комских, восемь безкишенских и восемь улазских гласников, усмотрев в отказе коряковских, анашенских и проезжекомских

опасность для себя, как бы их снова не впятили на эту службу.

За ними вступили в спор другие гласники. Брагинские, медведевские, убейские и гляденские по установившейся привычке всем понизовым деревням действовать заодно изо всех сил стали кричать за коряковских. Ну а остальные деревни, в том числе и наши кульчекские, стали нападать на Корякову, на Анаш и на Проезжую Кому... И тут начался сплошной галдеж. Улазские кричали против анашенских, витебские против проезжекомских, чернокомские против безкишенских... Все перепуталось и перемешалось... Одни кричали одно, другие из кожи лезли, доказывая другое. Все старались перекричать друг друга. А наш кульчекский гласник Рассказчиков ни с кем не спорил, никому ничего не доказывал, а кричал что-то сам по себе, глядя в потолок.

Старшина и Иван Иннокентиевич ничему этому не удивлялись. Они спокойно сидели за своим столиком и ждали, когда сход угомонится. И действительно, через некоторое время крик начал помаленьку затихать. То ли выдохлись особо рьяные крикуны, то ли они на самом деле договорились обо всем. Многие гласники даже на двор вышли, чтобы перекурить, так как понимали, что курить на сходе в такой тесноте да духотище неподходяще.

Тогда Иван Иннокентиевич решил, что пришло время ставить вопрос ребром, и велел старшине загонять гласников в помещение для окончательного решения.

— Так как, господа гласники? — обратился старшина к сходу, когда все возвратились на свои места.— Значитца, будем выбирать от Коряковой, от Анаша и Проезжей Комы али будем, это самое, решать дело по-другому?

И тут коряковские, анашенские и проезжекомские изо всех сил начали кричать: «По-новому!» А комские, безкишенские и улазские, те, конечно, опять схватились с ними. И опять в этот спор вступили гласники от других деревень. И опять пошел сплошной рев и крик. А Рассказчиков опять кричал что-то свое, сам по себе. И никак нельзя было понять, за кого он стоит.

А наш Марко Зыков почему-то в этот спор до поры до времени не ввязывался. И вот он наконец увидел, что пришло время ему действовать, и так заорал, что сразу покрыл весь сход. Тут комские, безкишенские и улазские приободрились и дружно стали вопить вместе с ним на коряковских, анашенских и проезжекомских. Те, конечно,

не сдавались, но прежнего пару у них уж не было. Тем более что медведские, брагинские и гляденские наконец сообразили, что им невыгодно поддерживать в этом деле коряковских. Ведь в случае чего очередь на судей может обернуться и на них.

Это, видать, и решило дело. И хотя коряковские, анашенские и проезжекомские все еще пыжились, но скоро их совсем стало не слышно. Тут Иван Иннокентиевич решил, что волостной сход пришел наконец к единогласному решению вопроса, и спросил, что будем делать — выбирать судей от Коряковой, от Анаша и Проезжей Комы или кричать еще дальше?

И тут сход так дружно закричал «Согласные!», что в этом крике совершенно потерялись возражения коряковских, анашенских и проезжекомских гласников. Для близира они начали опять ерепениться, но тут наш Марко Зыков, а за ним и все остальные гласники так заорали на них, что те наконец уразумели, что против всего схода не попрешь. Тогда они махнули на все рукой и стали сговариваться, кого из своих мужиков впятить на эту общественную службу. Когда через некоторое время старшина спросил их, кого они предлагают от своих деревень волостными судьями на следующее трехлетие, они сразу же назвали трех человек — Потылицына из Коряковой, Колегова из Анаша и Сиротинина из Проезжей Комы. Тут некоторые гласники усомнились было насчет анашенского Колегова. Не тот ли это Колегов, который только что брался проверять волостные книги? Но оказалось, что анашенские предлагают совсем другого Колегова. Тот мужик хоть и неграмотный, но другому грамотному даст фору. Потому как сильно сноровистый мужик. И хозяин хороший. В прошлом году выделил старшего сына — дом ему крестовый отгрохал, а нынешней зимой дочь выдал в Улазы... Ну, тут всем стало ясно, что этот Колегов мужик подходящий, и вместе с коряковским Потылицыным и проезжекомским Сиротининым выбрали его в волостной суд на три года.

После этого старшина и Иван Иннокентиевич отпустили гласников на обед и наказали им там поторапливаться, так как впереди предстоят кляузные дела с волостной сметой и волостной гоньбой.

А мне Иван Иннокентиевич наказал вечером непременно приходить на сход, потому что я в любой момент могу ему там понадобиться.

— Видишь, что тут делается,— сказал он.— Это еще вопрос был пустяковый. А вот гоньбу начнут обсуждать и волостные сборы — увидишь, что будет. Кошмар!

После этого он спрятал все денежные книги н документы в железный ящик и отправился на квартиру.

Вечером сход собрался для обсуждения сметы волостных расходов. Как и утром, гласники со своими старостами заполнили прихожую, набились в комнату Ивана Иннокентиевича, в которой я опять устроился в ожндании его приказаний. В помещенин было тесно и жарко. Гласникн нмели усталый вид.

Иван Иннокентиевич со старшиной восседали за своим зеленым столиком, на котором стояла теперь большая лампа-молния. Оба они понимали, что им придется сегодня на сходе очень туго, и каждый по-своему ожидал предстоящие неприятности.

Старшина смотрел на плотную стену гласников перед его столом н сокрушался о том, что он хоть и начальник надо всей волостью, но не имеет над сходом никакой властн. Волостной сход не то что сельский, в какой-нибудь Брагиной или в Глядене. Сельский сход всегда можно повернуть куда надо. А здесь ничего не укажешь, ничего не прикажешь. Что хотят, то и творят. А урядник, вместо того чтобы прийтн да урезонить кой-кого, сидит дома, около своей урядницы. И крестьянский тоже хорош. Обещал сам приехать, а вместо того прислал с нарочным бумажку, дескать, управляйтесь как знаете. Бумажка, конечно, дело хорошее, но ею ведь никого не осадишь, не сдержишь.

А Иван Иннокентиевич тоже переживал этот волостной сход, но не подавал вида. Он как ни в чем не бывало сидел за зеленым столом в своей теплой косоворотке и спокойно ждал, когда гласники придут в себя, соберутся с силами и сход сможет продолжить свою работу.

А гласники смотрели, смотрели на старшину и Ивана Иннокентиевича и начали шуметь. Откуда-то сзади послышались бузливые выкрики не тянуть время по-пустому.

Старшина и сам видел, что время уж позднее, и по знаку Ивана Иннокентиевича приступил к делу:

— Сейчас Иван Акентнч обскажет вам, сколько, значитца, пойдет у нас на гоньбу, на писарей и на это самое, на чернила, на бумагу, на страховку. Так вы давайте, значитца, говорить обо всем спокойнее. Иван Акентич советует, это самое, говорить обо всем поодиночке. И шуму, говорит, будет меньше, и толку, значитца, больше.

— Как это поодиночке? — послышались голоса.

— Ну, каждый, значитца, сам за себя. Сначала ты, потом, к примеру, я. И так и дале — один за другим. Не скопом, значитца, не оравой, а поодиночке.

— Ты рот нам не затыкай!..— сразу послышались голоса.— Ишь что удумали — поодиночке... Один за другим! А мне в одиночку-то говорить, может, страшно...

— Еще бы! Скопом-то сподручнее.

— Мы один за другим не приучены. Пусть лягавые говорят поодиночке.

— Вон как этот пузан жарит. Разве мы так сможем.

— Как хотим — так и говорим. Нечего нам зажимать рот.

— Начинай давай! Завел волынку!

— Так я тоже и говорю, что надо начинать,— сказал старшина.— Время позднее, а мы, тово-этово, шумим попустому. Уж вы, Иван Акентич, обскажите гласникам эту самую волостную смету, что там у вас и к чему, чтобы они, значитца, знали, за что им платить этот самый волостной сбор.

— Давай скорее!

— Говори, что к чему.

Тут Иван Иннокентиевич взял со стола небольшой листок бумаги и стал объяснять гласникам, что волостная смета состоит из расходов, так сказать, очевидных, переходящих из года в год и не вызывающих ни у кого никакого сомнения. Это страховка здания и надворных построек волостного правления, отопление, освещение, ремонт печей, окон, дверей, канцелярские расходы. Дальше идут расходы непредвиденные — постройка волостного архива, палисадник со стороны площади, отхожее место на задах за волостным амбаром. А затем идут уж наши главные расходы — наем волостного писаря и его помощников, жалованье членам волостного правления и большая сумма на оплату волостной и сельской гоньбы.

— Сегодня,— сказал в заключение Иван Иннокентиевич,— я думаю, мы рассмотрим и утвердим наши бесспорные расходы — страховку, отопление, освещение, канцелярские расходы, постройку волостного архива, установку палисадника, а завтра перейдем к нашим главным расходам. Согласны, господа гласные?

— Согласные! Выкладывай, чего там у вас?

Тогда Иван Иннокентиевич стал обсказывать по своей бумажке, сколько сход должен будет дать денег волост-

ному правлению на эти предвиденные расходы — на страховку, на ремонт, на отопление и так далее. И каждый раз спрашивал гласников, согласны ли они на эти расходы. И каждый раз сход дружно отвечал ему: «Согласные!» Но когда дело дошло до постройки волостного архива, тут сход сразу заартачился.

Волостной архив помещается у нас на дворе в старом амбаре. Амбар без окон, без потолка, прямо под тесовой крышей. Все волостные дела за несколько лет сложены там по полкам и портятся от сырости. Но сколько Иван Иннокентиевич и старшина ни уговаривали сход, что нельзя дальше хранить архив в таком помещении, что крестьянский начальник приказал строить для архива особое помещение, как в Новоселовой, сход уперся — и ни в какую. Бузливые гласники сразу начали кричать, что никому архив этот не нужен и не для чего тратить на него волостные деньги.

Пока спорили да рядили, совсем стемнело. Иван Иннокентиевич зажег лампу-молнию и обратился к сходу с вопросом, что ему в таком случае писать в приговор насчет этого архива?

— Что хочешь, то и пиши, а мы несогласные!

— Пусть крестьянский начальник строит этот архив на казенный счет, если он ему нужен!

— Тогда я напишу, господа гласные, что волостной сход единогласно решил в связи с военным временем перенести этот вопрос на будущий год. Мы не отказываемся строить архив, но в будущем году решим, когда и как нам лучше это сделать.

— Правильно!

— Пусть ждут!

— Хитер пузан! Знает, как ответ держать.

Дальше речь повелась об устройстве палисадника перед волостью, и на сходе опять начался шум и гам. Этот вопрос почему-то особенно заинтересовал гласников, расположившихся вместе со мной в комнате Ивана Иннокентиевича. Пока дело шло о страховке, об отоплении, об освещении, даже об архиве, они не обращали на это внимания. А тут почему-то сразу оживились.

— Писаря я в этом деле понимаю,— завел разговор один из этих гласников.— Окна у него выходят прямо на площадь, на проезжую дорогу. Под окнами коновязь, шум, грязь, пылища. Вот он и хочет отгородиться от всего этого садом. Поставят палисадник, посадят черемуху, рябину,

калину, цветы разные, и сиди себе, точи балясы да помахивай перышком. Чем не жизнь.

— Ишь чего захотел толстопузый. Ему забава, а мужик, значит, все это устраивай.

— Им только поддайся. Не то еще потребуют. Устроят сад, а потом придумают фонтан в нем ставить. Как в Ужуре.

— Про фонтан он вроде не говорил.

— Не говорил, так как знает, что на фонтан сход не пойдет. Им бы только на палисадник нас поддеть!

— А там, помяни мое слово, начнут выкручивать нам руки с этим фонтаном.

— А что, мужики,— вмешался в разговор сравнительно молодой еще гласник.— А что, мужики, сад с фонтаном... Это же хорошо. Приехал сюда, сделал что надо, напоил коней в этом фонтане и с богом домой.

— Да как соорудить-то его? Тут и не придумаешь.

— Придумают. Лишь бы деньги были. Мастеров из города выпишут. А может, в волости кого найдут. Особенно из этих расейских. Погляди, какие колесухи они на наших речках понаставили. Нам и не снилось. С шерстобитками, крупорушками. За хорошие деньги они и фонтан соорудят.

— А в Ужуре перед волостью дивствительно устроен фонтан. Небольшой, конечно, но все время сикает.

— Тоже скажешь, фонтан. Это родник у них там из земли бьет. Водяная жила.

— Какая тебе жила? Не знаешь, так не говори. Дыру они там в землю провертели. Позвали анжинеров с рудника. Рудник-то у них рядом. Те приехали, что-то покумекали и давай сверлить. Сверлили, сверлили, пока из этой дыры не ударила струя. А ты — родник.

— В Ужуре, значит, просверлили, а мы чем хуже? Нам тоже можно дыру в землю просверлить.

— Чего проще. Давай! Кричи сходу. Может, послушают тебя.

— В самом деле, может, послушают...

Тут молодой гласник вскочил, подошел к двери и пронзительно закричал:

— Палисадник, мужики, надо! И чтобы с фонтаном! Как у ужурских!

— Ты что? Белены объелся?

— Придурок какой-то.

— Не до фонтанов тутака. И палисадник-то, видать, ставить не будем.

— Не хотят, значит. Правильно. Без фонтана какой палисадник. Без фонтана я тоже не даю согласия.

— Так как, братцы, с палисадником? — который раз спрашивал старшина.— Я думаю, ставить придется. И волость будет выглядеть лучше, и пылищи будет меньше...

— Не надо!

— Несогласные!

— Измором хотят взять.

— Значит, тогда красить будем с улицы,— подвел итог спорам старшина.— И окна, и двери. И ворота заодно подновим. Согласные?

— Согласные! — дружно ответил сход.

— Вывеску другую надо повесить. Эта совсем почернела.

Пока об этом судили да рядили, стало совсем поздно, и старшина распустил гласников.

На другой день сход с утра приступил к найму волостного писаря. Иван Иннокентиевич предоставил это дело решать со сходом старшине, а сам уселся в сторонке у окошка с таким видом, как будто это его совсем не касается.

— А теперича, господа гласники,— начал старшина,— давайте нанимать Ивана Акентича и дальше заправлять нашими делами. Иван Акентич уж два года состоит у нас на этой должности. Крестьянский начальник, значитца, им очень доволен и препоручил мне и дальше подряжать его на эту должность. И на словах, значитца, наказывал, и вот бумагу насчет этого вчера прислал с нарочным. Читайте сами.

Тут старшина взял со стола небольшой листок и показал его гласникам.

— Давай ты, Колегов, что ли,— обратился он к анашенскому гласнику, который проверял волостные книги.

Колегов подошел к столу, осторожно принял листок, долго молча смотрел в него и потом положил его на стол.

— Сказывай, что вычитал? — раздались голоса.

— Обождите. Дайте человеку с умом собраться.

Наконец Колегов уразумел, что он вычитал, и одним духом выпалил:

— Крестьянский начальник пишет, чтобы непременно брать этого писаря. Другого ему, видать, не надо.

— Вот и я то же баю,— подхватил старшина.— Он, зна-

читца, и мне то же сказал. Пока, говорит, Иван Акентич у меня в Коме, я, это самое, за волость спокоен.

Все гласники молча уставились на Ивана Иннокентиевича, который сидел как ни в чем не бывало на стуле у окна. Послышались разрозненные голоса:

— Приглянулся он ему, видать, чем-то.

— Такой же пузан. Разъелись на наших хлебах-то.

— Вот и держатся друг за друга.

— Так что будем делать, гласники? — спросил старшина.

— Нанимать придется. Куды подашься.

— Оно конечно. Раз такое дело.

— А мы несогласные! — раздались голоса.— Другого искать надо.

— Лодырь он. Спит каждый день до обеда. Приедешь в волость за справкой, приходится ждать его весь день.

— Народом гнушается. Руку мужику подать брезгует.

— Зато дело свое знает. Тут уж ничего не скажешь.

— Тот-то и оно. Как ни вертись, а придется нанимать.

— Так как будем, гласники? — снова вопросил старшина.

— Согласные!.. Несогласные!.. Согласные, согласные!..

После небольшого препирательства несогласные примолкли, и старшина обратился к сходу с новым вопросом:

— Теперича как будем дальше? Иван Акентич получает у нас полторы сотни на месяц. Это, значитца, общим скопом тысячу и восемь сотен в год. На эти деньги он держит от себя, значитца, всех своих помощников и платит им большие деньги. Так что самому ему остается совсем мало. И он просит у схода надбавку в две сотни рублей. Как будем решать это дело, гласники?

— Значит, две тыщи требует.

— Обдирают мужика с головы до пяток.

— Вилы ему в бок, а не надбавку! — опять забузили сзади.

— Не прибавлять, а убавить ему надо!

— Чтобы меньше жрал. Гляди, мурло-то наел какое.

— Ошкур-то на брюхе не сходится!

— Убавить ему! Этакие деньги!

— Убавишь, а он сядет да уедет.

— Пускай едет. Другого найдем.

— Кого ты найдешь? Нанимать-то надо по указке крестьянского.

— Связали мужика по рукам и ногам...

В самый разгар этих споров Иван Иннокентиевич встал, подошел к столу. Сход сразу умолк. Все уставились на него. А он, помолчав немного, сказал:

— Дело ясное. Благодарю волостной сход за хорошую оценку моей работы и за приглашение меня на новый срок. Что касается прибавки, которую я прошу, то она столь незначительна, что я на ней не настаиваю и согласен служить за прежнюю плату. Согласны?

— Согласные! — раздались дружные голоса.

— На том и порешим, чем обливать меня помоями. А теперь у нас, господа гласные, до обеда еще один небольшой вопрос о жалованье нашим членам волостного правления — старшине и заседателю.

Тут старшина сразу отошел к окну.

— Старшина получает у нас восемь рублей в месяц,— продолжал Иван Иннокентиевич,— а заседатель шесть рублей. Как будем решать этот вопрос дальше?

Поначалу сход никак не отвечал на вопрос Ивана Иннокентиевича. Гласники, казалось, были испуганы тем, что, кроме писаря, надо платить еще жалованье старшине и заседателю. Но потом они одумались и начали шуметь и кричать. Но говорили и кричали только про старшину.

Гласники в моей комнате тоже ругали старшину, но ругали его так, что старшина выглядел у них не таким уж плохим. Действительно, на даровых харчах он здорово разъелся. И самоварник он, и мужиков в кутузку сажает, и угощение от старост принимает. А с другой стороны, и то понять надо, что должность у него собачья. Поставь на его место другого, тот тоже начнет покрикивать, ездить на паре с колокольцами, обжираться на земских квартирах, сажать недоимщиков в каталажку, отбирать самовары за подать. Конечно, старшина тоже начальник. Но это свой мужицкий начальник, без светлых пуговиц, без золотых погонов, без кокарды. А что в каталажку он сажает, так это даже лучше. Он посадит на ночь, а утром выпустит, а становой сразу отправляет в волостную тюрьму на целую неделю. А что касается насчет угощения, то тут ничего не скажешь. К угощению действительно он привержен. Но ведь и то надо понять, что он выпьет и спокойно уедет обратно. Если казенной водки нет, он и самогоном ублаготворится. Ни одного мужика за самогон не обидел. Не то что урядник. Тот ведь и брагу выльет, и кадки с аппаратом заарестует, и протокол, собака, еще составит. Выкручивайся потом, как знаешь. С таким старшиной жить еще можно...

А в большой комнате продолжался шум и гвалт насчет жалованья старшине. Никому не хотелось платить ему такие деньги. Одно дело жалованье писарям. Они грамоту большую знают, напрактикованы в своем деле. А старшиной каждый дурак может быть. Езди на паре с колокольцами да прижимай мужиков. На это большого ума не надо. Спорили, спорили и все сошлись на том, что крутись не крутись, а эти деньги платить ему придется. Это ведь крестьянский начальник придумал ему жалованье, чтобы он сильнее гнул мужика. Так что не мытьем, так катаньем, а эти деньги из нас все равно выжмут. Уж, видно, такая планида мужику вышла — кормить начальство.

Спорили, спорили, шумели, ругались и, почитай, перед самым вечером утвердили старшине и заседателю старое жалованье.

После того как гласники разошлись на обед, старшина стал плакаться на них Ивану Иннокентиевичу:

— Уж больно нехорошо они выражаются. И толстопузые мы с тобой, и кровососы, и самоварники. Куды это годится!

— А что делать. Им ведь рот не заткнешь.

— Как что делать! Урядника надо позвать. А то, чего доброго, за воротки возьмут. Особенно с этими волостными сборами.

— Нельзя, старшина.

— Как это нельзя? Ему ведь все равно делать нечего. Дрыхнет около своей бабы.

— Нельзя, старшина, понимаешь — нельзя. Позови его, а потом с этим делом беды не оберешься...

— Да какая может тут приключиться беда, если он, значитца, придет на сход и сядет с нами за стол? Все-таки человек при полной форме, обворужен и все как следует. Тут особо рьяные горлопаны сразу сбавят тон.

— Не выйдет, старшина. Полиции категорически воспрещено вмешиваться в работу органов местного самоуправления. Тем более оказывать давление на работу волостного схода. Так что не придет он к нам. А если по глупости придет, то крестьянский начальник задаст нам такую взбучку, какая тебе не снилась. Да и ему от своего начальства не поздоровится.

— Господи Сусе! Да за что же нас-то драть! Он сам же наказывал осаживать и одергивать.

— Время пришло, старшина, такое! Ничего не поделаешь.

— Так и он говорил нам про это самое время. Война, говорит, сейчас и все такое. И что оно, это самое время?

— А то и оно, что спокойной жизни у нас пришел конец. Это мы живем пока тут в углу, на самом краю света. Ничего не видим, не слышим. А в других местах этому пришел конец. Другие места опять забиты у нас политическими. А политические — они народ грамотный. Более того — образованный. И все на начальство зуб точат. Чуть что не так — сразу пишут в газеты. А там только и ждут их писем. Получат и печатают. И сразу начинается шум, разговоры, а то и прямой скандал. И начальству приходится все это расхлебывать.

— А нам-то что? У нас в волости этих политических ведь нет.

— У нас-то, слава богу, пока нет, а в Новоселовской, в Абаканской, в Ермаковской волостях уже есть. Все наши места, особенно под Минусинском, опять забиты политическими. А политические — они все знают, где что делается, и обо всем пишут. Минусинск город хоть и паршивый, а издает две газетенки. И каждая ищет кляузный материал. Случись такой факт, как присутствие полицейского урядника на волостном сходе, они сразу ухватятся за него и поднимут такой визг, что всполошат все начальство. До губернатора дело может дойти...

— Ишь ты какое дело! А нельзя ли как-нибудь приструнить эти газетенки?

— Приструнивают, конечно. А что толку? Закроют одну, посадят хозяина в тюрьму. А через некоторое время выходит другая, под новым названием. Еще почище прежней.

— А мне, дураку, и невдомек.

— То-то и оно... До Комы я в Ужуре служил. И жалованье выше, и село без малого уж город. А из-за этого самого уехал оттуда. Все время как бы под гласным надзором. Пришел поздно на работу — они уж знают, повздорил с мужиком — они уж сочиняют кляузу. А тут еще прииск рядом. Того и гляди, и там заварится какая-нибудь буза... Крестьянский начальник все время начеку, пристав на седьмом взводе. Ну а о волостных властях и говорить не приходится. Они за все в ответе. А здесь я сам себе хозяин. Что хочу — то и ворочу. Получаю меньше, зато сплю спокойно.

— Выходит, сидеть надо и не рыпаться? Ничего себе — жисть! А не написать ли нам, Иван Акентич, куды следует насчет крикунов, которые особенно рьяно дерут глотку

на сходе? Я заметил тут кой-кого. Может, пришпандорят их оттудова.

— Опять же нельзя, старшина. Зачем нам подливать масла в огонь? Ну, напишем мы кому следует. Начнется следствие. Приедут жандармы. Чего доброго, возьмут кого-нибудь. Тут сразу поднимется шум в газетах об аресте гласных волостного схода. Может дойти до центральной печати. Ославят нас с тобой на всю губернию. А после того тебе в ту деревню и глаза не показывай.

— Это верно. Пришибут. Народ у нас такой. Не трогай — хорош. Тронешь — самоварник, кровосос! А что делать? Я сам человек подначальный. Меня самого гоняют как собаку. Пропади пропадом она, эта самая служба. Запятили на три года. И не вырвешься.

И старшина отправился на квартиру.

На следующий день сход должен был приступить к обсуждению гоньбовых дел. Гоньба является у нас одной из государственных повинностей, которую мужику приходится выполнять наравне с военной службой, службой на выборных должностях, выплатой казенных, волостных и сельских податей, дорожными работами и другими общественными обязанностями.

Гоньба является самой важной после военной службы государственной повинностью. На гоньбе, можно сказать, держится вся высшая власть. Крестьянский начальник, становой пристав, мировой судья, волостной старшина и другие волостные начальники, сельские старосты, сотские, десятские, писаря, волостная почта, нарочные по срочным делам, участковые доктора и фельдшера, учителя, священнослужители, землемеры — всем им полагаются бесплатные подводы.

Все государственные повинности выполняются крестьянством бесплатно. В солдатах мужик служит бесплатно, на ремонте казенных дорог и мостов работает бесплатно, таежные пожары тушит бесплатно, приезжающее по делам начальство кормит бесплатно. А вот общественная гоньба ему оплачивается. Оплачивается по три копейки с версты за лошадь. Говорят, раньше гоньба тоже выполнялась бесплатно, но вызывала на местах большие нарекания. Из этого затруднения начальство придумало хитрый выход. Оно приказало оплачивать гоньбу, но не за счет казны, а за счет самого мужика, из волостных сумм. И теперь сельским старостам и волостным правлениям приходится вести строгий учет выполненной гоньбы, а волостным сходам

ежегодно начислять на сельские общества необходимые ему на оплату гоньбовые деньги.

И, конечно, волостным и сельским писарям приходится основательно потеть с этим делом, чтобы учесть в волостных расходах гоньбовые деньги, утвердить их на волостном сходе, а потом включить их в волостные окладные листы вместе с другими волостными расходами.

И хотя общественная гоньба мужику оплачивается, но этих денег он никогда не видит. За выставленную подводу он получает от старосты «фиток» с указанием следуемых ему денег, а в конце года сдает его обратно старосте в уплату волостной или сельской подати. На этом все дело и кончается. Таким образом, мужик не обижен властью. За выполненную гоньбу он получил полный расчет по установленному тарифу. И интересы казны соблюдены, так как все эти гоньбовые расходы переложены на органы крестьянского самоуправления.

А гласники, как и накануне, с утра уже толпились на дворе и о чем-то возбужденно говорили между собою.

Иван Иннокентиевич пришел на этот раз раньше обыкновенного и все время что-то считал в своей комнате на счетах.

— Спасибо, что пришел,— встретил он меня ласково.— Сегодня ты мне будешь особенно нужен. В этом ящике моего стола я оставляю тебе книгу разгона обывательских лошадей, книгу раскладки волостных сборов и целую папку с важными бумагами. Смотри прежде всего за тем, чтобы кто-нибудь из гласников не спер их на курево. А потом, все время следи за мной и по первому моему знаку тащи все это мне туда. Понимаешь? А теперь беги, разыщи старшину и скажи ему, что пора начинать эту обедню.

Через некоторое время все гласники и старосты были на своих местах, и Иван Иннокентиевич начал обсказывать им, сколько каждое общество выставило подвод в течение года и сколько ему полагается за это гоньбовых денег из волостных сумм.

Гласники внимательно слушали Ивана Иннокентиевича и во всем с ним соглашались. Да и что возразишь, когда эти цифры взяты от их же старост и писарей. Сомнения вызвала только комская цифра. Уж что-то много они выставили лошадей в этом году. Но об этом долго не спорили, так как знали, что комскому обществу пришлось выставлять много лошадей для мобилизованных.

А в остальном все шло как по маслу. Кульчекские вы-

ставили подвод на сто шестьдесят восемь рублей, анашенские на девяносто шесть рублей, ивановские на сорок семь рублей. И так далее — все восемнадцать сельских обществ. Когда все эти цифры сложили, получилась большая сумма в две с лишним тысячи рублей.

— Теперь, господа гласные,— продолжал Иван Иннокентиевич,— сюда надо добавить еще волостную гоньбу. При волостном правлении дежурит у нас в постоянном наряде три лошади. Общий разгон лошадей по волостному правлению в денежном исчислении выражается за год в сумме семисот девяносто двух рублей сорока пяти копеек. Эти деньги также подлежат раскладке в качестве волостных сборов.

И опять гласники безоговорочно высказали свое полное согласие на уплату этих денег.

Я слушал все это и никак не мог понять, почему Иван Иннокентиевич и старшина опасались обсуждения на сходе гоньбовых дел. Ведь гласники без шума, без спора принимают к обложению все предъявляемые им суммы.

Однако, как я увидел дальше, главная трудность состояла не в этом. При волостном правлении постоянно дежурят для служебных надобностей три лошади. В год это составляет тысяча девяносто пять лошадей. Лошадей должны поставлять в волость по очереди все восемнадцать сельских обществ. Иван Иннокентиевич заранее высчитал, что Кома должна держать гоньбу при волости семьдесят пять дней, наш Кульчек тридцать пять дней, Корякова двадцать два дня, все остальные деревни по-разному, сообразно имеющемуся у них числу домохозяев.

Теперь сходу оставалось только установить очередность отбывания гоньбы каждым обществом. Вот тут-то каждой деревне и надо было отстаивать свой интерес, чтобы ее не впятили отбывать эту гоньбу в неудобное время. Так что интересы получались у всех разные. Ни одному обществу не хочется отбывать гоньбу во время страды или сенокоса, в весеннюю или осеннюю распутицу. Волостное правление на это время ведь не закроешь. Всем хочется иметь более выгодную очередь в феврале или в марте, когда и дорога хорошая, и погода помягче, или в июне, когда все управятся с посевами.

На прошлогоднем волостном сходе после долгих споров такая очередь была установлена, с учетом того, какое общество и в какое время уже отбывало эту гоньбу и в каком порядке надо выполнять ее дальше. Иван Иннокенти-

евич все это объяснил сходу и зачитал им эти очереди. Но тут сразу начался большой шум, послышались крики, что гласникам хотят заткнуть рты какими-то списками и сделать все по-своему и что сход сам установит эти очереди.

— Ну что ж, господа гласные, дело ваше. Решайте его заново,— сказал Иван Иннокентиевич и уселся на свой стул за зеленым столом.

Я подошел к двери посмотреть, как сход будет решать это дело. Ближе всех от меня были анашенские и кульчекские гласники. Рядом с ними стояли безкишенские и проезжекомские. И вот анашенские что-то доказывали кульчекским и безкишенским, проезжекомские — анашенским и тесинским. Гласники других деревень вели такой же спор со своими соседями. Спор этот то затихал, то неожиданно вспыхивал, но в общем велся пока вполсилы, так как гласники еще не размялись после ночевки и не взялись еще как следует за свою тяжелую работу. Тут старшина решил поддать им немного пару и спросил:

— Так как, мужики? Надо ведь что-то решать.

Этот вопрос как бы подстегнул гласников. И прежде всего из тех деревень, которые уже отвели в этом году свою гоньбу. Они с ожесточением набросились на деревни, которым надо было еще отбывать свою очередь.

А те, конечно, старались отругиваться. Каждое общество старалось выгородить себя и впятить на неудобную очередь своих соседей. Так что начался сплошной крик и галдеж, которому не предвиделось конца. Старшина несколько раз пробовал вмешаться в этот спор, но его голос тонул в общем шуме. Наконец он махнул на все рукой и уселся за стол рядом с Иваном Иннокентиевичем. И тут Иван Иннокентиевич почему-то вспомнил обо мне.

— Как там у тебя? — спросил он, когда я, по его знаку, подошел к зеленому столу.

— Все в порядке,— ответил я.

— Никто не совался к документам?

— Никто не совался.

— Ну и хорошо. Дай-ка мне сюда книгу окладных сборов. Я тут займусь кое-чем, пока они шумят.

А гласники все кричали и кричали. И чем дальше, тем сильнее. К полудню крики и шум стали немного стихать. Похоже было, что гласники обо всем договорились. И тут старшина решил, что пора уж эти споры кончать.

— Так как же, господа гласники? — вопросил он.— Что будем делать?

И только он сказал это, сход опять как бы подстегнули. Первыми заорали комские. Их подхватили кульчекские, безкишенские, анашенские. Они требовали взяться наконец как следует за сисимских, коряковских, за витебских и александровских и запрячь их наконец в это дело. А те в свою очередь подняли крик о том, что сначала надо впрячь в работу медведевских и иржинских, а потом уж нападать на них. Медведевские и иржинские тоже не молчали и изо всех сил отругивались. Так проспорили до самого обеда, не решив ничего.

После обеда собрались в прежнем порядке и стали спорить дальше. Теперь мне стало даже неинтересно и слушать, и наблюдать этот спор. За Иваном Иннокентиевичем следить тоже уже не было нужды. Он сразу же по приходе взял из своего железного ящика какие-то бумаги и читал их. Теперь мне лучше было бы уйти домой. Но я помнил наказ Ивана Иннокентиевича никуда не уходить, так как я в любое время могу ему понадобиться.

Тем временем наступила ночь. На столе у старшины и Ивана Иннокентиевича зажгли лампу-молнию, а сход как ни в чем не бывало продолжал кричать и шуметь. Иногда спор совсем почти замирал, и тогда старшина обращался к гласникам со своим неизменным вопросом — как будем решать это дело? И каждый раз гласники с прежним остервенением возобновляли свой спор и крик.

Но за день они здорово устали и совершенно выдохлись. По квартирам, конечно, не расходились, но считали возможным выйти на двор, чтобы немного очухаться на свежем воздухе. А многие стали прятаться в мою комнату. Пройдет сюда как бы крадучись, присядет в уголок на корточки и слушает. Посидит так некоторое время, а потом ложится на пол. Скоро в углу около меня устроились несколько гласников. Глядя на них, я тоже улегся на свою тужурку около железного ящика. Тут меня стал одолевать сон. Поначалу я, конечно, бодрился, тряс головой, дрыгал ногами и руками, но все равно незаметно заснул, вернее говоря, забылся, так как все время слышал многоголосый гул волостного схода. Он то накатывался, и я тогда сразу просыпался, то уходил куда-то вдаль, как перекаты грома. И тогда я впадал уже в полное забытье.

Проснулся я, видимо, поздно, под чьим-то шабуром.

В волости уж никого не было. На зеленом столе по-прежнему ярко горела лампа-молния. Двери в сени были открыты, и оттуда навевало холодом. Дедушко Митрей прибирал волость и, как всегда, беззлобно ругался. На этот раз он бранил гласников, которые наворотили здесь много грязи.

— Что, проснулся, брат? — приветствовал он меня.— Это я тебя накрыл шабуришком.

— Поздно уж? — спросил я.

— Да за полночь уж перевалило.

— А что решили, дедушко Митрей?

— Ничего, брат, пока не решили. Не такое это дело, чтобы сразу его решить. Иди-ко ты лучше в сторожку да устраивайся там на ночевку...

— Я домой пойду.

— Куда пойдешь? Будить всех? И дождь на улице. Иди, тебе говорят, в сторожку. В котелке на плите там чай стоит, а хлеб возьми в туеске на окошке. Там же сало. Отрежь себе ломтик. А спать ложись на нары в рестантскую камеру. Шабуришко-то возьми с собой. Накроешься там.

На другой день утром сход возобновил работу. Гласники имели усталый вид, ругались как-то вяло. Они как бы разминались и раскачивались спросонья, и только очередной вопрос старшины выводил их из полудремотного состояния. Спорили все о том же: кого впятить на гоньбу при волости на самое трудное время. Однако, в отличие от вчерашнего дня, прежнего пара у них уж не было. Пошумев и покричав некоторое время, они опять переходили на негромкий разговор.

В течение дня старшина много раз просил гласников скорее решать это дело. Но каждый раз сход отвечал на это беспорядочным криком и шумом. Но этот крик и шум с каждым разом становился все слабее и слабее. Потом сход начал сильно редеть. Большинство гласников ушли на двор и в сторожку. Многие, как и вчера, набились ко мне в комнату, расселись здесь на корточки и лениво говорили о том, удастся ли гласникам дальних деревень и на этот раз отбрехаться от своей очереди на волостную гоньбу.

К концу дня Иван Иннокентиевич увидел, что гласники

окончательно выдохлись, и велел старшине загонять их в помещение.

Теперь управление сходом он взял на себя. Внятно и вразумительно он заявил гласникам, что сход, судя по всему, склоняется к тому, что во время страды, сенокоса, весенней и осенней распутицы гоньбу при волости должны отводить в следующем году дальние деревни.

Не успел Иван Иннокентиевич закончить эти слова, как сисимские, коряковские, витебские, александровские и иржинские подняли крик, что их неправильно назначают на эту очередь. Но тут на них набросились гласники остальных тринадцати деревень, и опять начался беспорядочный гвалт. После того как шум немного утихомирился, Иван Иннокентиевич стал говорить дальше. Он попросил гласных волостного схода соблюдать тишину и спокойствие и понять одно, что если они и дальше будут так кричать и ругаться, то проспорят еще несколько дней и все равно не придут ни к какому решению. А суть дела заключается в том, что наши дальние деревни должны в равной мере с другими деревнями отбывать гоньбу при волости. И хотят они этого или не хотят, а, очевидно, придется сделать именно так. Согласны ли вы с этим, господа гласные?

Тут большинство дружно закричало: «Согласные!», «Правильно!». Гласники дальних деревень попробовали было кричать, что они несогласные. Но их голоса были на этот раз заглушены дружным криком остальных.

Теперь всем стало ясно, что волостной сход пришел наконец к решению этого вопроса, и Иван Иннокентиевич объяснил, что он запишет такое решение в книгу приговоров волостного схода, чтобы уж ни у кого не было никаких сомнений на этот счет. Тогда гласники дальних деревень опять начали шуметь. Но дело их было уже решено, и сход поднял такой шум и крик, что сразу заглушил все их возражения.

После этого Иван Иннокентиевич зачитал сходу очереди для остальных тринадцати сельских обществ, причем комских назначил на самую средину зимы, а наших кульчекских вслед за ними на март месяц. После долгих криков и споров сход, в конце концов, принял эти очереди. На этом все гоньбовые дела были полностью решены всего только за два дня.

В последний день сход занимался раскладкой волостных сборов. Все утвержденные расходы волостного правления в предстоящем году были уже подсчитаны Иваном

Иннокентиевичем и, по примеру прошлых лет, распределены по всем обществам, сообразно имеющемуся в каждом обществе числу бойцов.

Теперь начали бузить витебские и александровские и требовать, чтобы волостным сборы распределять не по числу бойцов, а по силе возможности каждой деревни. В Витебке и Александровке, доказывали они, бойцов в два раза больше, чем, к примеру, в Брагиной, а пашут они и скота держат в двух деревнях в три раза меньше, чем брагинские. Так что волостные подати надо раскладывать по пашне, по количеству домашнего скота, а не по бойцам и полубойцам...

Хотя витебские и александровские здорово на этом настаивали, но никто из других деревень их не поддержал. Иван Иннокентиевич тоже не согласился с ними, так как в этом случае, сказал он, придется заново пересчитывать подати по всем деревням и потратить на это, может быть, не меньше недели. Поэтому волостные сборы на Витебку и Александровку насчитали, как это и раньше делалось, по числу имеющихся у них бойцов.

Последним вопросом на сходе стоял вопрос об открытии в Коме почтового отделения. Вопрос этот, оказывается, уж неоднократно становился на волостном сходе и не вызывал у гласников особых сомнений. Поэтому сход единогласно одобрил предложение Ивана Иннокентиевича просить господина крестьянского начальника первого участка Минусинского уезда вновь поставить этот вопрос перед соответствующими инстанциями, с учетом того обстоятельства, что вопрос этот особенно назрел, так как с началом войны количество корреспонденции увеличилось в несколько раз.

На этом волостной сход закончил свою работу, и Иван Иннокентиевич объявил, что неграмотные гласники могут спокойно разъезжаться по домам. Их фамилии будут вписаны в приговор заочно. А гласники грамотные должны задержаться до завтра, чтобы самолично подписать приговор. Волостные судьи тоже могут отправляться восвояси, так как они люди неграмотные и их подписи под приговором будут учинены тоже заочно. А старосты, разумеется, должны остаться, чтобы своими подписями и приложением казенных печатей скрепить приговор волостного схода, затем получить окладные листы на государственную оброчную подать и волостной сбор.

Глава 13
ИСКУССТВО РАСКЛАДКИ ПОДАТЕЙ

На другой день у нас начались обычные занятия. Все шкафы с канцелярскими книгами и делами были перетащены обратно в нашу общую канцелярию и расставлены где надо. Все помощники Ивана Иннокентиевича сидели на своих местах и как ни в чем не бывало усердно строчили свои бумаги.

Сход окончился, гласники разъехались по домам, а у нас в волости все равно было полно народа.

Первыми ни свет ни заря в волость заявились грамотные гласники, чтобы по приказу Ивана Иннокентиевича накорябать свои фамилии под приговором волостного схода. И были очень недовольны тем, что Иван Иннокентиевич дрыхнет дома, вместо того чтобы составлять скорее этот приговор.

Потом стали собираться старосты. На этот раз они являлись со своими писарями, которые во время схода отсиживались где-то по своим комским квартирам. Старосты были тоже недовольны отсутствием Ивана Иннокентиевича, но не осмеливались выражать свое недовольство и мотались без дела, жалуясь на свою проклятую судьбу.

У писарей, как всегда, были какие-то дела к Ивану Фомичу, Павлу Михайловичу и Ивану Осиповичу. Но и они выражали недовольство отсутствием Ивана Иннокентиевича.

А Ивана Иннокентиевича все не было и не было. Явился он, как всегда, только к одиннадцати часам, побритый, напомаженный, наодеколоненный и уже не в байковой косоворотке, а в своем городском костюме с галстуком и золотой цепочкой на жилете.

Тут старосты и гласники бросились было к нему оформлять приговор и получать окладные листы. Но Иван Иннокентиевич не стал с ними даже разговаривать и сразу наглухо закрылся в своей комнате. Тогда всем стало понятно, что приговор у него еще не готов и что он только приступил к его составлению.

Теперь старостам и гласникам ничего не оставалось, как ожидать, когда он закончит это дело. А писаря, те, конечно, сразу сообразили, что это займет у него много времени, и быстро куда-то смотались.

Прошел час, два... иаступило время отправляться нам на обед. Ивану Иннокеитиевичу тоже, видимо, захотелось есть, и он вышел из своей комнаты. Тут все старосты и гласники повскакали было со своих мест, чтобы скорее подписывать этот приговор. Но Иван Иннокентиевич сердито замахал на них руками.

— Не отрывайте меня от дела! — сказал он сердито.— Приходите к вечерним занятиям. А ты, Спирин,— обратился он к дедушке Митрею,— сходи с этой запиской ко мне на квартиру. Пусть Клавдия Петровна пришлет мне чего-нибудь закусить.

К началу вечерних занятий старосты, писаря и гласники опять собрались у иас в каицелярии, но Иваи Иннокентиевич все еще сидел у себя за закрытой дверью. Только часов около шести он потребовал всех к себе. Он сидел с видом победителя за своим письменным столом. Перед ним лежала раскрытая книга приговоров волостного схода и три пачки окладных листов на государственную оброчную подать, на губернский земский сбор и на волостные расходы.

Первым Иван Иннокентиевич попросил комского писаря Родионова вписать в книгу фамилии своего старосты и неграмотных гласников, потом потребовал у комского старосты его печать, несколько раз шлепнул этой печатью по подушечке с краской и осторожно приложил ее па вписанную фамилию старосты. И только после того попросил трех комских грамотных гласников расписаться в книге. Затем он вручил старосте под расписку окладные листы и разрешил ему отправляться восвояси.

Таким же манером Иван Иннокентиевич учинил потом подписи остальных старост и гласников в книге приговоров, вручил им окладные листы и в заключение строго-настрого наказал не задерживать присылку раскладочных приговоров и податных ведомостей, потому что время теперь военное, государство сильио нуждается в деньгах и начальство не потерпит задержки на местах с этим делом. Потом он спрятал книгу приговоров в свой железный ящик и стал свертывать свои дела на столе.

Старосты и писаря видели, что Иван Иннокентиевич собирается домой, и все еще что-то ждали от него. Но Иван Иннокентиевич не замечал этого или делал вид, что ничего не замечает. Тогда убейский писарь попросил его объяснить им, каким манером они должны производить раскладку государствеииой оброчной подати. Губернский земский

сбор, волостные и сельские расходы надо раскладывать по бойцам. Это им ясно и понятно. А государственную оброчную подать требуется раскладывать с учетом размера и доходности каждого хозяйства по усмотрению сельского схода. В Коме это делается по-своему, мы, убейские, раскладываем на свой лад, а коряковские, те опять же своим манером. И так во всей волости. И никому не известно, кто из нас делает эту раскладку правильно. А от мужиков отбоя нет. Каждый год нарекания и обиды. Наши, убейские, обижаются, что мы делаем раскладку не по-коряковски. Ну а коряковские сердятся, что у них раскладка делается не по-убейски. У них-де эта раскладка правильнее. И здесь, у вас, нас каждый год ругают за эту раскладку. То не так, другое не этак. Заставляют по нескольку раз переделывать...

— Переделывать ваши раскладочные приговора нам нет никакого интереса,— заявил ему на это Иван Иннокентиевич.— Но, к сожалению, приходится исправлять их, потому что вы присылаете нам такие приговора, что в них сам Соломон Премудрый не разберется. Что касается порядка раскладки оброчной подати, то подсказывать вам этот порядок я не могу. Закон категорически воспрещает волостным властям вмешиваться в какой-либо форме в это дело. Закон требует производить эту раскладку сельским сходом по своему усмотрению, с учетом размера и доходности каждого крестьянского двора. Вот и руководствуйтесь этим правилом, а нас в это дело не вмешивайте. Вот все, что я могу сказать вам по этому поводу...

Тут Иван Иннокентиевич надел свое пальто, взял шляпу и трость с золотым набалдашником, сказал всем: «До свидания, господа!» — и не торопясь вышел из волости.

Никто не ожидал такого оборота дела. Все знали, что закон воспрещает волостным властям вмешиваться в раскладку оброчной подати. Уж на что Бирюков был хороший и обходительный человек, но даже он под всякими предлогами воздерживался помогать сельским писарям в этом деле. А куда как было бы легче, если бы волостной писарь, вручая старосте окладной лист на оброчную подать, давал бы одновременно примерную раскладочку этой подати. И писарю было бы легче, и староста мог бы действовать смелее. Потому что тогда он знал бы, куда ему надо гнуть с этим делом, куда заворачивать. Закон законом, а хороший совет начальства и закон ставит на свое место. Но

ничего не поделаешь. На волостного писаря жаловаться некому...

— Обойдемся как-нибудь. Не первый раз,— нарушил общее молчание тесинский писарь Альбанов и первым отправился на свою комскую квартиру. За ним последовали остальные. Только безкишенский писарь Кожуховский задержался в волости и терпеливо стал ждать, когда Иван Фомич закончит разбираться со своими делами, чтобы потом поговорить с ним с глазу на глаз.

Наконец Иван Фомич свернул все свои папки с бумагами, положил их в шкаф.

— Что это ты, Трофим Андреич, совсем скис? — спросил он Кожуховского.— Нездоровится, что ли?

— Шуткуешь все, Иван Фомич. А мне не до смеха.

— Да что случилось-то?..

— Не видишь, что ли? — Тут Трофим Андреич помахал своими окладными листами.— Опять эту чертову раскладку надо делать.

— Ну и что?

— Просили Евтихиева дать примерную раскладочку оброчной подати. Куда там... Делайте, говорит, сами как хотите. По усмотрению сельского схода и все такое. А нас, говорит, в это дело не вмешивайте.

— Так это даже лучше. Тебе ведь не первый раз...

— Как бы не так! — Тут Трофим Андреич безнадежно махнул рукой.— Ты же сам знаешь, какая это морока. Как начнешь все сводить вместе — и пашню, и домашний скот, и бойцов, и полубойцов, так сразу, понимаешь, в голове начинается какое-то столпотворение, ум, понимаешь, начинает заходить за разум...

Дальше Трофим Андреич перешел с сердитого тона на просительный:

— В прошлом году ты, Иван Фомич, все это мне обмозговал, подсчитал и расписал. И мне было легко, и мужики на сходе были довольны. Уж ты подмогни мне и на этот раз, а я тебя честь честью отблагодарю. И деньгами, сколько следует, и мясом могу вознаградить. Борова к казанской откармливаю. Хороший боров.

— Знаешь что, Трофим Андреич. Завтра воскресенье. Занятий в волости не будет. Приходи сюда с этим делом пораньше. Поговорим не торопясь, без свидетелей. Только пива надо устроить. Без пива, знаешь, у нас такой разговор пойдет плохо...

— Известно, какой разговор без пива. Разве можно без пива такое дело.

— Тогда приходи завтра часам к десяти. Только не говори об этом никому. И насчет пива не забудь...

— Не забуду, не забуду.

И Трофим Андреич поплелся в сторожку договариваться с дедушкой Митреем насчет пива к завтрашнему дню.

Не успел Иван Фомич как следует отделаться от Трофима Андреича, как откуда ни возьмись чернокомский писарь Тесленков и ни с того ни с сего начал доказывать ему, что на мужика накладывают чересчур много податей: и оброчный налог, и какой-то губернский земский сбор, и наши волостные и сельские сборы.

— Четыре подати, понимаешь! И все на одни мужицкие плечи. Он ведь платит, платит, мужик-то, а потом, чего доброго, начнет лягаться...

— Тогда пишите приговор чернокомского общества о том, что вы отказываетесь платить казенные подати, а заодно волостные и сельские сборы...

Тесленков с недоумением уставился на Ивана Фомича, не понимая: серьезно он говорит это или шутит.

— Ты что, забыл, как за такие разговоры некоторых умников в Туруханск отправили? На жительство. Хочешь, чтобы насчет нас тоже кое-куда стукнули? Живо загремим оба.

Тут Тесленков сообразил, что он зарапортовался, и стал уверять Ивана Фомича, что он не за то, чтобы совсем не платить подати, а чтобы платить их по справедливости по силе возможности...

— Это уж ваше внутреннее дело,— ответил Иван Фомич.— Раскладывайте на сходе так, чтобы на богатых приходилось больше, а на бедных меньше. Вот и все. Каждому обществу предоставлено право решать это дело посвоему.

— Да мы и так стараемся. По целой неделе ругаемся на сборне. Договоримся вроде обо всем, чтобы на каждого по силе возможности. А как начнем сводить концы с концами, получается совсем не то, что надо. У Тимофеева у нашего дом крестовый, двух работников держит и работницу, запрягает десять коней, пашет пятнадцать десятин, сепаратор имеет, косилку, молотилку, а у его соседа Медведева пятистенная избенка уж покособочилась, сеет с грехом пополам две десятины, скотишка тоже в обрез. А пла-

тят поровну. Объясни ты мне, христа ради, в чем тут закавыка?

— Не так считаете.

— Так считаем. Только у нас получается не так, как надо.

— Значит, в чем-то ошибка. Сейчас мне надо идти домой. Приходи завтра с утра. В волости занятий не будет. Поговорим об этом не торопясь.

На другой день утром я тоже поплелся в волость. Там, по моим расчетам, должно быть много народа. Придут старосты со своими писарями рядить комских ямщиков. Может быть, сам Иван Иннокентиевич явится и будет рассказывать интересные истории. А потом, мне хотелось посмотреть, как сегодня встретятся у Ивана Фомича и будут себя вести друг с другом Трофим Андреич и чернокомский писарь Тесленков.

Дело в том, что нынче летом Тесленков сильно обидел Трофима Андреича. Обидел ни за что, просто из озорства. В волости все знали об этой истории и долго потешались над ней.

А мне почему-то было жаль тогда Трофима Андреича. И вообще, среди других писарей он выглядит каким-то жалким. По своему наряду он ничем не отличался от мужиков, навещающих волость. Только засаленная брезентовая сумка да спрятанная в ней небольшая чернильница с деревянной затычкой изобличали в нем писаря.

Пишет свои бумаги Трофим Андреич каким-то ровным, безликим почерком и по сравнению с другими писарями выглядит человеком малограмотным. Поэтому дела с разными отчетами и ведомостями, податными, гоньбовыми и призывными списками всегда у него не ладятся. Во время своих наездов в волость он целыми днями переделывает и переписывает их в нашей судейской. И каждый раз Иван Фомич бракует его работу.

Ко всему этому Трофим Андреич человек нудный. Разговаривать с людьми не любит, а говорит больше сам с собой. Пишет свои списки в судейской и все время что-то бормочет.

Другие писаря, если требуется что-то написать, расходятся по своим комским квартирам. На худой конец, отправляются в комскую сборню, которая всегда пустует, так как комский писарь Родионов работает там в особой писарской каморке. А Трофим Андреич всегда шел писать свои ведомости в нашу судейскую.

Это сильно не нравилось приезжим старостам и писарям. Судейская комнатенка была единственным в волости местом, где можно было собраться после занятий за ведром пива и поговорить о своих делах.

А тут сидит Трофим Андреич и что-то пишет. Пишет и все время что-то бормочет. А попробуй его оттуда выжить — он, чего доброго, еще пойдет жаловаться Ивану Иннокентиевичу. Неприятностей не оберешься. Евтихиев, известно, пьяных не терпит и выпивку в волости не одобряет. Оно конечно, пиво — не водка. Никто этим пивом пьяным не напивался. Но ведь как повернуть дело...

Дедушко Митрей был тоже недоволен Трофимом Андреичем. Оказывается, Трофим Андреич не только писал в судейской свои списки и ведомости, но и оставался там на ночевку. Постелет на диван свое пальтишко, закроет в окне ставень, защелкнет дверь на крючок и спит себе спокойно.

Утром дедушко Митрей приходит убирать судейскую. Стук-стук! Закрыто. Опять — стук-стук! Ответа нет. Тогда дедушко Митрей начинает уж ломиться. И тут Трофим Андреич открывает дверь — сам голый, на голове шапка-ушанка, крепко подвязанная под подбородком.

— Прямо срам, да и только,— жаловался дедушко Митрей.— И ведь спит до самых занятиев. Достучаться нельзя, ничего не слышит. А потом, и оставлять его на ночь в волости как-то сумнительно. Что ни говори, а все-таки волостное правление, казенные дела, денежный ящик. По-настоящему-то я запру все это на замок и сплю в сторожке спокойно. А тут и сон не берет. Волость-то, выходит, открытая. Приходи ночью — пеший, конный, забирай денежный ящик и все казенные дела и вези куда хочешь. Не до сна тутака...

Один раз, когда дедушко Митрей очередной раз плакался на Трофима Андреича, услышал его Тесленков.

— Не беспокойся, дидо. С завтрашнего дня Трофим Андреич перейдет на квартиру.

— Черт его выживет отседова! Дожидайся, когда он перейдет.

— Раз я сказал перейдет, значит, перейдет,— решительно отрезал Тесленков.— Только ты ни в каком случае не выходи сегодня ночью из сторожки и арестантов своих не выпускай.

— Ладно уж.

— И вообще не волновайся. Все будет в порядке.

Подобно Трофиму Андреичу, Тесленков тоже был не снлен в грамоте, н у него тоже не все получалось со списками и ведомостями. Но Тесленков этим не сокрушался. Наоборот, он даже похвалялся своей малограмотностью и все время заявлял, что он простой мужик, что ему лучше пашню пахать да сено косить, а не составлять эти дурацкие списки и ведомости, по которым с мужика дерут три шкуры.

С помощниками волостного писаря Тесленков обращался запросто, пересыпал свою речь крепкими выражениями, к старшине и заседателю не проявлял никакого почтения, и, что меня больше всего удивляло, Иван Фомич и Павел Михайлович все время возились с ним, переделывали по нескольку раз его ведомости н не брали с него за это ни копейки.

Даже сам Иван Иннокентиевич любил видеть Тесленкова среди свонх слушателей и беззлобно потешался над безграмотными выражениями в его донесениях. А Тесленков видел, что тому это нравится, и старался в каждую свою бумагу непременно ввернуть какой-нибудь заковыристый оборот.

Тесленков тоже был недоволен назойливым присутствием Трофима Андреича в нашей судейской и после разговора с дедушкой Митреем решил выжить его оттуда.

Ночью он вымазался сажей, чтобы не быть узнанным, нарвал поблнзости в чьем-то огороде жгучей крапивы, открыл в судейской ставень и оконные створки, влез через окно к Трофиму Андреичу и начал хлестать его крапивой. Трофим Андреич с перепугу начал метаться, кричать «Караул!», а разве докричишься? Окно в судейской выходит в глухой переулок. Кто там услышит? А если и услышит, то не обратят внимания. «Опять,— скажут,— уряднлк кого-то в волости допрашивает. Вора какого-нибудь бьет. И что за народ нынче пошел. Никак без воровства не могут».

Отхлестав крапивой Трофима Андреича, Тесленков выпрыгнул в окно, прикрыл ставень да и был таков. А Трофим Андреич выбежал в чем мать родила на волостной двор и стал кричать на весь околоток. Тут из сторожки вышел дедушко Митрей со своими арестантами и начал его успокаивать. Кто-то сбегал в судейскую и принес оттуда его одежонку. А Трофим Андреич с перепугу да от обиды ударился в слезы. Спать обратно в судейскую он не пошел. В сторожке с арестантами спать тоже не пожелал,

а попросил дедушку Митрея устроить его на ночь в арестантскую камеру и закрыть его там на замок.

Утром дедушко Митрей приходит с уборкой в судейскую и видит — стол перевернут, стулья разбросаны, диван разворочен, казенная лампа разбита... Что делать? Он ведь за казенное имущество в ответе. Пришлось идти к старшине: «Так, мол, и так... Какой-то фулиган вломился через окно в судейскую, исхлестал крапивой Трофима Андреича, опрокинул стол, разворотил диван, поломал казенную лампу... Как теперича быть?»

А старшина уж наведан был обо всем этом. Ему даже понравилось, что Трофима Андреича таким манером наконец выжили из судейской. Но для вида он очень рассердился, позвал Трофима Андреича и стал ему строго выговаривать, что он устраивает в волости разные переполохи, перепугал ночью сторожей и арестантов, разворотил в судейской диван, опрокинул стол и разбил казенную лампу, и что теперь волей-неволей придется обо всем этом составлять на него протокол и передавать дело становому приставу, чтобы он произвел по этому делу полицейское расследование.

— За такое дело я сам могу любого человека посадить на четверо суток,— заявил старшина Трофиму Андреичу.— Но мне тебя жалко. Составим протокол. Пусть дело решает дальше пристав. Может, своей властью с тобой обойдется, а может передать дело мировому судье. Как ни вертись, а тюрьмы тебе не миновать. Фулиганство в присутственном месте с порчей казенного имущества! Это не шутка...

Трофим Андреич никак не ожидал такого оборота и очень перепугался. Он стал оправдываться, рассказывать старшине, как все это случилось на самом деле. Но чем больше он оправдывался, тем непреклоннее становился старшина.

— Если тебя избили,— выговаривал он Трофиму Андреичу,— жалуйся. Укажи по фамилии этих фулиганов, свидетелей назови, которые все это видели, слышали. Чтобы все было как следовает, по форме. Ну, скажи — кто тебя избил, перепугал? Я его своей властью посажу в каталажку. Не знаешь? Тогда за все держи ответ. В самом деле: переполошил всю волость, учинил полный разгром казенного имущества и хочешь сухим выйти из воды. Нет! Это дело тебе даром не пройдет.

Конечно, Трофим Андреич дознался потом, кто выдрал

его крапивой. Но на Тесленкова жаловаться побоялся и за хорошее угощение умолил старшину не составлять протокол. Лампу для волости он, конечно, купил, диван починил. А дальше все пошло обычным порядком. Во время своих наездов он продолжал переделывать и переписывать свои списки и отчеты, но делал это уж не в судейской, а на комской квартире. В суд на Тесленкова он не жаловался. Может быть, стесnялся предстать там в смешном виде, а может быть, труснл Тесленкова. Кто знает, что может вытворить этот бугай. Еще придумает что-нибудь более обидное.

Когда я пришел в волость, Иван Фомич и Трофим Андреич уже сидели в канцелярии за ведром пива. Иван Фомич то и дело прикладывался к ковшику, а Трофим Андреич ничего не пил и все время плакался на то, что у него ничего не получается с этой раскладкой.

— С губернским земским сбором, с волостными и сельскими податями еще туда-сюда. Раскладываю, как велено, по бойцам.

— Ну и как оно получается?

— Получается как надо. В обществе у нас девяносто семь бойцов и шесть стариков, значит, еще шесть полубойцов. А всего, значит, выходит ровно сто платежных душ. Теперь делю волостной налог на эти сто душ и получаю три рубля сорок четыре копейки на бойца. А дальше уж начисляю на каждого хозяина сколько следует. К примеру, у Евтифея Баранова два с половиной бойца. Значит, начисляю ему три рубля сорок четыре копейки, да еще три рубля сорок четыре копейки, да на старика-полубойца один рубль семьдесят две копейки. А всего получается восемь рублей шестьдесят копеек. С губернским земским сбором и сельским налогом поступаю так же. Земского сбора на душу приходится по три рубля восемьдесят четыре копейки, а сельского по три рубля двадцать... Так что на Евтифея Баранова я еще начисляю — земского три рубля восемьдесят четыре копейки плюс еще столько и еще полстолько, а всего десять рублей пятьдесят копеек, и сельского таким же манером ровно восемь рублей. И так на всех домохозяев. Вот посмотри...

Тут Трофим Андреич вручил Ивану Фомичу вновь составленную им ведомость губернских, волостных и сельских сборов на свою деревню.

— Всю ночь проваландался... Как у меня тут получилось?

Иван Фомич внимательно просмотрел ведомость Трофима Андреича и что-то прикинул на счетах:

— Ну что же. Как будто все правильно. Во всяком случае, в полном согласии с решением волостного и сельского сходов. А что у тебя не получается с оброчным?

— Так ведь оброчный требуют раскладывать уравнительно. И на платежные души, и на все хозяйство, то есть на пашню, на покос и на домашний скот... С земским сбором, с волостным и сельским налогом — там все просто. Подсчитывай на бойцов, и вся недолга. А тут надо все по-другому. Попробовал сегодня. Куда там... Как в дремучей тайге... Голова идет кругом!

— Да что у тебя не получается-то?

— Не понимаю, как окладную сумму перевести на скот, на покосы и на пашню.

— Ты из своих мужиков с кем-нибудь посоветуйся. Они с этим делом разбираются лучше нас.

— Все шуткуешь, Иван Фомич! А мне не до шуток. Надо домой ехать, сход собирать, раскладку эту делать. А тут охвостье какое-то в голове.

— Ну, ладно... Видать, в самом деле до тебя тут что-то не доходит.

— Я тоже и говорю, что не доходит.

— Ты одно пойми, что государственную оброчную подать нам начисляют теперь не по окладным душам, как делалось раньше и как ты сегодня распределил губернский, волостной и сельский сборы, а на нарезанную обществу от казны землю. Понимаешь ты это?..

— Вроде как бы понимаю. Но только так, самую малость.

— Значит, надо эту подать начислять не на бойцов и полубойцов, как ты это делаешь при раскладке мирских сборов, а на землю...

— На землю, на землю! Я тоже понимаю, что на землю. Да как на нее начислять, на землю-то? Бойцы, лошади, коровы — они ведь не земля...

— Значит, надо все налоговые показатели переводить на землю, выражать их в пахотных единицах — ну, по-нашему в десятинах... Сколько у вас за деревней числится пашни?

Трофим Андреич посмотрел в свою ведомость и сказал:

— Шестьсот десять десятин.

— Возьмем для ровного счета шестьсот десятин. — Тут Иван Фомич взял лист бумаги и стал записывать цифры.—

Теперь пойдем дальше. Многие деревни при исчислении казенной подати приравнивают одного бойца к десятине пашни. У вас, говоришь, ровно сто полных бойцов — значит, это будет еще сто десятин. Получается уж семьсот. Покосные угодия тоже следует переводить на пашню. В некоторых деревнях покосный пай приравнивается к десятине пашни. Сколько у вас покосов?

— Сто пятьдесят покосов...

— Значит, добавим к семистам еще сто пятьдесят и получим восемьсот пятьдесят десятин. Теперь будем переводить на пашню домашний скот, сначала лошадей и коров, разумеется, без молодняка. Сколько у вас домашнего скота?

— Шестьсот восемьдесят три...

— Проезжекомские приравнивают шесть голов домашнего скота к десятине пашни. Если взять по-проезжекомски, то у вас будет еще шестьсот восемьдесят три, деленное на шесть — значит, сто тринадцать и восемь десятых, для ровного счета сто четырнадцать десятин. Как у вас насчет овец и свиней?

— Овец обкладываем, а свиней нет...

— Так же, как у всех. А сколько числится овец?

— Восемьсот пятьдесят голов...

— В большинстве деревень принято считать двадцать овец за десятину. Значит, еще сорок три десятины. Теперь сколько будет всего: пашня — шестьсот десятин, рабочие руки — сто, покосы — сто пятьдесят, домашний скот вместе с овцами — сто пятьдесят семь, а всего получается тысяча семь десятин. Общая сумма государственной подати на Безкиш — четыреста тридцать три рубля восемьдесят четыре копейки. Значит, на каждую десятину приходится... сорок три копейки.

— Господи Сусе... В голове все кругом пошло...

— Теперь можно приступить уже к подворной раскладке. Для этого все налоговые показатели каждого домохозяина надо тоже переводить на пашню. Возьмем твоего Евтифея. Какие у него данные? Два бойца и один полубоец — две с половиной десятины, пашня — две с половиной десятины, два покосных пая — две десятины, три лошади и три коровы — значит, еще одна десятина, и десять штук овец — полдесятины, а всего восемь с половиной десятин. На каждую десятину приходится у нас по сорок три копейки. Значит, начисляем государственной подати на твоего Евтифея на восемь с половиной десятин — три рубля шестьдесят три

копейки. Вот такую процедуру раскладки придется проделать с каждым домохозяином... Понятно?..

Тут Иван Фомич вручил Трофиму Андреичу листок со своими расчетами. Трофим Андреич повертел этот листок, потом осторожно положил его обратно на стол Ивану Фомичу:

— Нет, не получится это у меня.

— Да ведь теперь тебе все ясно. Ты сам можешь теперь все это сделать.

— Ничего мне не ясно. В прошлом году ты вот так же все мне объяснял. На этом самом месте. Пока объяснял, мне все было вроде как бы ясно, а как попробовал сделать сам, так сразу и запутался. И в нынешнем году запутаюсь. Тут столько цифр, что голова идет кругом. И дроби надо знать. Ты вон считаешь все это играючи, а я и с простыми числами еле-еле орудую. А потом, не понимаю это я, как человека и, положим, коня и корову можно переводить на пашню. Человек, по-моему, сам по себе, а конь и корова — сами по себе. При чем тут пашня и посев? Не укладывается все это в мою башку.

— Ну, хорошо. Положим, я сделаю тебе примерную раскладку. Но общество-то с этой раскладкой может и не согласиться...

— Как это так не согласится! На каком на таком основании?

— На том основании, что ему предоставлено право делать раскладку по своему усмотрению. Мы с тобой считаем шесть лошадей за одну десятину пашни, а коряковские шесть лошадей принимают уж за две десятины. Мы берем шесть коров за десятину, а они только пять. И овец считают по-своему. В каждой деревне свой счет, свой порядок, потому что каждому обществу предоставлено на это право.

— Мало ли, что ему предоставлено. Им взбредет в голову считать это по-другому, а мне, выходит, надо все переделывать, а потом заново переписывать. Нет, уж ты сделай мне так, как сейчас рассказывал. А сход я со старостой к этой раскладке уж как-нибудь подведу. Покричат, поругаются день-другой, а потом им можно подсунуть любую раскладку.

— А ты, Трофим Андреич, оказывается, большой дипломат.

— Куды нам в дипломаты. Нам бы как-нибудь, с грехом пополам свалить это дело с плеч. И слава богу.

— Ну ладно, Трофим Андреич, договорились. Оставляй

мне окладной лист и раскладочную ведомость. К завтрашнему дню я все это тебе сделаю. И поедешь спокойно домой. Да деньги за работу захвати. А мясо привезешь потом, когда зарежешь своего борова. Договорились?

— Денег-то сколько?

— Как и в прошлом году...

— Это что же — пять рублей?

— А ты думал как...

— И мясо?

— И мяса полпуда. Впрочем, как хочешь. Я ведь не напрашиваюсь.

— Ладно уж. Обдирай. Пользуйся случаем.

Трофим Андреич встал и с обиженным видом вышел из канцелярии. Через некоторое время к Ивану Фомичу заявился Тесленков. Иван Фомич встретил его очень приветливо, угостил пивом и сразу же завел речь о податной раскладке. Оказалось, что Тесленков делает раскладку как все:

— Волостные и сельские сборы, губернский земский сбор распределяю по числу платежных душ, а государственную оброчную разверстываю на рабочие руки, на пашню, на покосы и на домашнюю скотину.

— А получается это у тебя?

— Со скрипом, но получается. У меня ведь сын грамотей. Все подсчеты он делает. Самому мне с этим не справиться...

— Прошлый раз ты говорил, наоборот, что у тебя как раз не получается с этим. Считаешь, говорил, в одну сторону, а получается совсем не то, что надо...

— Вот именно. Я затем и пришел к тебе, чтобы как-то разобраться с этим.

— Значит, тебя интересует принципиальная сторона вопроса?

— Меня интересует, почему это, как мы ни раскладываем, а главная часть податей падает на бедных? В общем, почему бедные платят за богатых?

— Вот это и есть принципиальная сторона вопроса.

— Если это принципиальная, то объясняй мне принципиальную.

— Попробую, хоть это дело и кляузное. Начальство, как ты знаешь, категорически запрещает нам входить в обсуждение раскладочных дел. Считайте, проверяйте, требуйте, помогайте, а решений органов крестьянского самоуправле-

ния не касайтесь. Что постановил волостной и сельский сход по этой части, то обжалованию уже не подлежит.

— А при чем тут начальство? Я ведь с жалобой на тебя к нему не пойду.

— Знаю, что не пойдешь, а проболтаться можешь. Говорил, мол, с Иваном Фомичом, так он объяснял мне то-то и то-то. А случись с раскладной какая-нибудь буза в той же Витебке али Александровке? Ты ведь сам слышал их гласников на сходе. Случись там, говорю, какая заминка, нас с тобой сразу потянут. Теперь время военное. Говори, да оглядывайся.

— Да мы-то тут при чем, если в Витебке начнут?

— В Витебке начнут, а у вас в Черной Коме подхватят. И пойдет по всем деревням. Это дело у всех наболело. Тут нас, голубчиков, и возьмут за жабры.

Иван Фомич встал и прошелся по канцелярии. Потом выпил очередной ковшик пива, сел за стол и взял безкишенскую раскладочную ведомость.

— У меня у самого печенка болит, глядя на эту податную раскладку. Хочется обложить всех матом, а потом просто и внятно разъяснить, что суть дела тут не в раскладке, а в податном законе, по которому надо делать раскладку.

— Как не в раскладке! В раскладке, Иван Фомич. В раскладке! А закон — закон правильный. Подоходный. С богатых — побольше, с бедных — поменьше. По силе возможности...

— Всякий закон, Тесленко, даже самый правильный, можно повернуть так, что от него ничего не останется. Закон — дышло, говорят в народе. Куда его повернешь, туда и вышло.

— Это что же, выходит, раскладку мы делаем не по закону?

— В этом все дело.

— Вот тебе раз! Делаем все по-правильному, а выходит не по закону. Тут я уж ничего не понимаю... Объясни мне, дураку, в чем тут дело?

— Тогда слушай внимательно и мотай все на ус. Только с условием — ни с кем об этом не говорить. Согласен?

— Согласен, конечно,— сказал Тесленков и пересел на другой стул, поближе к Ивану Фомичу.

— Мы с Трофимом Андреичем только что разбирались с этим делом. Что у него получается? В Безкише у них ровно сто платежных единиц.

И вот он по указанию волостного схода начисляет на них губернский земский сбор из расчета три рубля восемьдесят четыре копейки с бойца, волостной сбор из расчета три рубля сорок четыре копейки на бойца и сельский сбор, по решению своего сельского схода, по три рубля двадцать копеек с бойца. Возьмем для примера в Безкише Евтифея Баранова. Он имеет в семье двух бойцов и одного полубойца и из этого расчета должен платить губернский земский сбор девять рублей шестьдесят копеек, волостной сбор восемь рублей шестьдесят копеек и сельский сбор ровно восемь рублей, а всего двадцать шесть рублей двадцать копеек.

А потом мы стали определять на этого Ефтифея государственную оброчную подать, и определять ее не подушно, не по бойцам, а по доходности его хозяйства, как этого требует высшая власть. Государственной оброчной подати на безкишенское общество начислено по окладному листу немного больше, чем губернского земского сбора и так называемых «мирских» налогов, то есть волостных и сельских податей, взятых по отдельности. В исчислении на используемую безкишенским обществом землю этой подати приходится у них по сорок три копейки с десятины.

Когда мы все налоговые показатели Евтифея Баранова (рабочая сила, посев, покос и домашний скот) перевели принятым у нас в волости способом на пашенное исчисление, у него получилось восемь с половиной десятин, которые подлежат оплате из расчета по сорок три копейки с десятины. Так что государственной оброчной подати мы начислили на него три рубля шестьдесят пять копеек. Видишь, что получается. Сумма государственной оброчной подати на общество почти такая же, как земский, волостной и сельский сборы, взятые по отдельности, а исходя из доходности хозяйства Баранова, мы насчитали на него этой подати почти в три раза меньше тех податей. И так с него, голубчика, и будут драть эти подати — государственной оброчной три рубля шестьдесят пять копеек, губернский земский сбор девять рублей шестьдесят копеек, волостной сбор восемь рублей шестьдесят копеек и сельский — ровно восемь рублей, а всего двадцать девять рублей восемьдесят пять копеек. Как ты думаешь, правильно мы с Трофимом Андреичем рассчитали эти подати али неправильно?

— Правильно, конечно,— не задумываясь, ответил Тесленков.— Ты ведь уж сколько лет сидишь на этом деле, знаешь, что к чему...

— Да, правильно, если исходить из решений волостного и сельского сходов раскладывать мирские сборы и губернский земский сбор подушно, по бойцам, как мы это делаем сейчас. И неправильно, если идти в этом деле от закона о государственной оброчной подати, исчисляемой по доходности каждого отдельного крестьянского хозяйства.

— Как это так? Я что-то не пойму. Опять правильно и неправильно...

— А ты слушай как следует, вот и поймешь. Только держи язык за зубами. Государственная оброчная подать начислялась раньше тоже ведь подушно — по бойцам. Но высшая власть вынуждена была отменить такой порядок обложения, так как он вызывал массу нареканий и недовольств. Из-за этого в России дело доходило даже до бунтов. Так что высшее начальство вынуждено было отменить подушную подать и заменить ее податью подоходной.

Но если подушная подать была признана государством неправильной и заменена податью подоходной, то почему же мы губернский земский сбор, волостные и сельские расходы начисляем на мужика по-прежнему подушно, по забракованной и отмененной высшей властью системе? Почему это делается так, когда по смыслу этого нового податного закона губернские, волостные и сельские расходы следует начислять, как и государственную оброчную подать, тоже по доходности, то есть по силе возможности каждого хозяйства. Ты как? Согласен с этим?

— Еще бы! Мы только и говорим об этом при раскладке. Спорим, ругаемся, а все без толку...

— Спорите, ругаетесь, но ведь только насчет оброчной подати, а я говорю о раскладке всех податей. И оброчной, и губернского земского сбора, и волостных и сельских сборов. Понимаешь, в чем разница?

— Не совсем еще...

— Поймешь дальше. Только слушай как следует. Государственную оброчную мы начислили на Баранова по доходности. Давай попробуем таким же манером начислить на него и остальные подати и посмотрим, что у нас с этим делом получается...

Тут Иван Фомич взял лист бумаги и стал делать расчет всех податей на Ефтифея Баранова не подушно, как решили и волостной и сельский сходы, а по доходности его хозяйства. Он что-то писал на бумаге, подсчитывал на счетах и наконец объявил Тесленкову:

— Государственной оброчной подати мы начислили на

Баранова на восемь с половиной десятин — три рубля шестьдесят пять копеек. Если мы таким же манером начнем подсчитывать на него остальные подати, то у нас получится следующая картина — губернский земской сбор по тридцать восемь копеек с десятины — три рубля двадцать три копейки, волостной сбор по тридцать четыре копейки с десятины — два рубля девяносто одна копейка и сельский сбор по тридцать две копейки с десятины — два рубля семьдесят две копейки, а всего вместе с оброчной податью мы начислим на Евтифея Баранова вместо двадцати девяти рублей восьмидесяти пяти копеек, которые уже начислил на него Трофим Андреич, только двенадцать рублей пятьдесят одну копейку. Понимаешь, что получается... Если все подати начислить на Баранова по доходности, а не подушно — не по бойцам, как это мы сейчас делаем, то с него приходится только двенадцать рублей пятьдесят одна копейка. Значит, по такому расчету с Баранова дерут лишних семнадцать рублей тридцать четыре копейки. За кого он платит эти лишние семнадцать рублей тридцать четыре копейки?

— За богатых,— сразу сообразил Тесленков.

— То-то и оно.— Иван Фомич отложил в сторону лист бумаги, на котором он делал расчеты.— Видишь, как все это просто и ясно... Закон о подоходной подати вышел еще в девяносто седьмом году, значит, без малого уж двадцать лет, а мы губернские сборы, волостные и сельские расходы все еще начисляем на мужика подушно — по бойцам.

— А сколько надо начислить на нашего Тимофеева?

— Давай вашего Тимофеева оставим в покое. Разбирайся с ним сам как знаешь. Лучше возьмем какого-нибудь безкишенского мужика из богатых...

Тут Иван Фомич заглянул в раскладочную ведомость, которую ему оставил Трофим Андреич.

— Ну, к примеру, хотя бы Матвея Чернова. Он у них вроде вашего Тимофеева живет, что надо... А в семье у него числится только один боец. И Трофим Андреич уже начислил на него губернский земский сбор, волостные и сельские расходы из такого же расчета, как на Евтифея Баранова, но только на одного бойца всего десять рублей сорок восемь копеек. Да еще государственной оброчной подати в пашенном начислении с сорока десятин по сорок три копейки с десятины — семнадцать рублей двадцать копеек. Так что всего на Чернова будет начислено двадцать семь рублей шестьдесят восемь копеек. Такая примерно подать и платится нашими богатеями во всех деревнях. В отдель-

ных случаях она немного увеличивается за счет того, если у кого-нибудь из них окажется в семье больше окладных душ.

А если на Чернова начислить все налоги по доходности, то получим с него оброчной — семнадцать рублей двадцать копеек, земский сбор — одиннадцать рублей сорок копеек, волостной сбор — одиннадцать рублей двадцать копеек и наконец сельский сбор — двенадцать рублей восемьдесят копеек. А всего пятьдесят восемь рублей сорок копеек. Что же у нас получается? Баранов при нынешнем порядке раскладки вместо полагающихся с него по доходности двенадцати рублей пятидесяти одной копейки будет платить двадцать девять рублей с лишним, а Чернов вместо пятидесяти восьми рублей сорока копеек — только двадцать семь рублей шестьдесят восемь копеек. В общем, Баранов будет платить более чем двойную подать, а Чернов меньше половины полагающейся с него подати.

Пример с Барановым очень красноречив, но не дает полной характеристики наших податных порядков. Баранов ведь не бедняк. Его без особой натяжки можно отнести к справным мужикам. А давай возьмем настоящего бедняка, да еще с большой семьей. Ну, положим... — тут Иван Фомич снова заглянул в безкишенскую ведомость,— ну, положим, Никиту Устюгова. У него, как и у Баранова, в семье два бойца и один полубоец, а пашет он одну десятину, имеет одну лошадь, одну корову и пять овец. По принятому порядку обложения Трофим Андреич уже начислил на него губернский земский сбор, волостные и сельские сборы столько же, как и на Евтифея Баранова, а именно двадцать шесть рублей двадцать копеек, и государственной оброчной подати один рубль семьдесят две копейки, а всего двадцать семь рублей девяносто две копейки.

А если бы все подати начислять на Устюгова по доходности, ему надо было бы платить: оброчной — один рубль семьдесят две копейки, губернский земский сбор — один рубль пятьдесят две копейки, волостной сбор — рубль тридцать шесть копеек и сельский сбор — рубль двадцать восемь копеек, а всего только — пять рублей девяносто восемь копеек.

Теперь давай сведем все вместе и посмотрим, сколько будут платить наши хозяева по существующей системе обложения и сколько они должны были бы платить при исчислении на них налогов по доходности их хозяйства.

Сейчас на Чернова будет начислено двадцать семь руб-

лей шестьдесять восемь копеек, а при раскладке по доходности он должен был бы платить пятьдесят восемь рублей сорок копеек. На Баранова начислено двадцать девять рублей восемьдесят пять копеек, а по доходности он должен был бы платить одиннадцать рублей девяносто семь копеек, и, наконец, на Устюгова будет начислено двадцать семь рублей девяносто две копейки, а по доходности с него следует только пять рублей девяносто восемь копеек. Видишь, какое дело получается. Подушная подать буквально душит бедняков, особенно многосемейных. Если Баранов, в общем-то хозяин справный, переплачивает на этом деле семнадцать рублей с лишним, то Устюгов при своей бедности переплачивает уж двадцать два рубля. Чтобы выплатить такую подать, ему надо сразу же отдавать одного из сыновей в работники, может быть, тому же Чернову или вашему Тимофееву. В общем, и батрачат у них, и подати за них платят...

Тесленков сидел совершенно подавленный расчетами Ивана Фомича. Наконец, немного опомнившись, спросил:

— А Евтихиев знает это? Знает ли он, что богатые обсчитывают нас при раскладке податей?

— Евтихиев, брат, человек умный. И прекрасно все это знает.

— Так чего же он не вправит мозги нашим старостам и писарям, не заставит их делать настоящую правильную раскладку?

— А для чего ему это делать? У него за бедных душа не болит. Ему бы только получать свои семьдесят рублей в месяц да рассказывать анекдоты.

— Но как же так? Он же волостной писарь. Он же за всем следит, всеми заправляет. И волостным начальством, и старостами, и писарями. Даже волостной сход в общем-то пляшет под его дудку, хоть там и кроют его чуть не матом.

— Ну и что же. Его кроют, а он все равно всеми заправляет и будет заправлять при нынешних порядках.

— А крестьянский начальник? Он же должен следить за порядком. Раз подушная подать отменена высшей властью, почему он позволяет волостному сходу начислять волостные расходы и этот непонятный земский сбор подушно, по бойцам? Почему он не отменяет приговора волостного схода и сельских обществ о подушной раскладке? Он ведь имеет на это право.

— Ишь ты, что захотел! Чтобы он стал отменять вашу подушную раскладку. А богатые горой стоят за эту рас-

кладку, а справные мужики, особенно малосемейные, их в этом поддерживают. Отмени он такую раскладку, богатые, чего доброго, поднимут шум, взбаламутят всю деревню, и начнутся у нас, как после девятьсот пятого года, податные волнения. Для чего ему это делать, когда бедные из года в год эту подушную раскладку терпят и подати хоть и с трудом, а платят?

— Вот это дело! Он что же, сговорился об этом с богатыми али как?

— Ну, прямого сговора, конечно, нет. А действуют заодно. Значит, что-то вроде молчаливой сделки существует. Это дело, Тесленков, сложное, и нам с тобой в нем разобраться трудно. Но одно ясно, что высшая власть ведет себя в этом деле уклончиво. Под давлением недовольства снизу, вероятнее всего из-за крестьянских волнений, она вынуждена была отменить подушную подать и заменить оброчным подоходным налогом. И, к сожалению, не нашла нужным официально распространить этот закон на все другие виды земских податей, то есть на губернский земский сбор, на волостные и сельские налоги. Таким образом высшая власть официально признала подоходное обложение податями законным, но воздержалась от проведения в жизнь этого закона при определении так называемых земских или мирских налогов, предоставив это дело на усмотрение органов крестьянского самоуправления. А органы крестьянского самоуправления находятся на местах целиком в руках деревенских богатеев. Возьми наших гласников и волостное начальство. Все они из зажиточных или справных мужиков. Они обязаны выполнять закон о государственной подоходной подати и выполняют его, но оставляют в действии выгодный им старый порядок подушного обложения губернского, волостного и сельского сборов. Высшая власть видит это и молчит. Молчит и дает возможность деревенским богачам безнаказанно грабить бедноту при раскладке налогов. А когда бедные начинают проявлять недовольство таким порядком, с ними расправляются по военным законам, как с бунтовщиками.

— Ну, а сам-то ты, сам-то ты, Иван Фомич, что думаешь об этом? Ты ведь бракуешь наши раскладочные ведомости, заставляешь заново все пересчитывать да переписывать. Выходит, ты помогаешь богатым грабить и обирать бедных?

— Что я думаю? Думаю я сейчас о том, как бы об этом нашем разговоре не стукнули куда надо, не донесли бы, что

мы с тобой сговарнваемся мутнть народ, подстрекать его не платнть податей, бунтовать протнв начальства. Вот о чем я думаю. А проверять ваши раскладочные ведомости и особенно исправлять нх мне, по совести говоря, стыдно. Стыдно, а прнходнтся... Что поделаешь? Зарабатываю здесь свон тридцать рублей в месяц. Если я не буду это делать, мне придется впрягаться в мужнцкую лямку. Пахать, пилнть, рубнть. А мне это здоровье не позволяет. А потом, н не умею я работать по-мужнцкн. С детства, как только окончнл школу, снжу здесь. Проверяю и нсправляю вашн раскладочные ведомостн. Что я могу сделать? Плетью, брат, обуха не перешнбешь. Внтебскне н александровские попробовали на сходе завестн речь о подоходной раскладке, а что нз этого получнлось? Ннчего! Сход не поддержал их и вынес решенне о подушной раскладке. Чтобы отменить эту подушную раскладку, нужен другой сход с другими гласннкамн, с гласннкамн нз бедных мужиков. И, конечно, другое начальство. В крайнем случае, специальный приказ высшнх властей с запрещеннем подушной раскладкн мнрскнх и губернскнх сборов. Вряд лн мы с тобой дожнвем до того временн...

— Так что же нам делать, Иван Фомнч? Неужто молчать н платнть эту подушную подать? Это ведь для мужнка разоренье. Заработков в нашнх местах, сам знаешь, нет, а податн требуют.

— Не знаю, что тебе и посоветовать, Тесленков. В других местах, если судить по газетам, мужикн бунтовали. Но это было до войны. А теперь, брат, вся наша держава стоит на военном положенни. Не набунтуешь. Чуть пнкнн — н сразу: на основаннн такнх-то и такнх статей правнл о местностях, состоящнх на военном положенин, крестьянина такого-то выслать на время действия военного положения в Туруханскнй край илн в Еннсейскнй уезд на Ангарскнй участок, под надзор полнцнн. Что ты на этот счет думаешь?

— Сейчас вроде ннкого не трогают.

— Не трогают до поры до временн, пока все спокойно. А начннсь хоть бы с этнмн податями заваруха, как в девятьсот шестом году, опять начнут хватать да отправлять туда. Начальство, оно, брат, настороже. Чуть что, сразу тут как тут!

— Так что же мне делать с податямн с этнмн?

— Что делать? Раскладывать! Государственную оброчную по доходности, остальные подушно — по бойцам. Раскладывать и не рыпаться. А там пусть что будет...

— Ну, задал ты мне задачку, Иван Фомич. Как подумаю, так руки опускаются. Значит, раскладывать, говоришь? А может быть, не раскладывать? Может, вообще не ввязываться в это дело?

— А кто же будет это делать за тебя?

— Кто-нибудь другой сделает, а я, пожалуй, не буду. Вот Павел Михайлович, говорят, собирается перебираться к нам в Чернавку. Там у него дом, огород, коровенка... А здесь ему у вас, видать, трудно. Пусть переезжает да писарит заместо меня. А я мельницу свою завершать буду. Колесуху ставлю в Чернавке. Там хоть обсчитывать никого не придется. За помол цена общая для всех... И с богатых, и с бедных...

— Что ж, колесуха — дело хорошее.

— Думал до весны дело отложить, а вижу, что тянуть не стоит. Чем скорее, тем лучше. Может, Коваленкову все сплавлю.

И Тесленков пошел куда-то, видать, уговаривать Павла Михайловича ехать писарем в Черную Кому.

— Постой! Погоди!— окликнул его Иван Фомич. Тесленков выжидательно остановился.

— О нашем разговоре никому ни слова. А то, чего доброго, стукнут по начальству. Неприятностей не оберешься.

— Каки таки неприятности? Закон правильный — с богатых побольше, с бедных поменьше. А мы, дураки, делаем наоборот — с бедных побольше, с богатых поменьше.

— И все-таки об этом лучше пока не распространяться. Теперь время военное. Лучше пока молчать. А там видно будет...

Глава 14
ПОВЫШЕНИЕ ПО СЛУЖБЕ

Сегодня Иван Иннокентиевич пришел на работу, как обычно, к одиннадцати часам. Народу в волости почти никого не было. Всего три человека к Ивану Осиповичу за какими-то справками. Иван Осипович быстро их отпустил. А после того все мы, вместе со старшиной Безруковым, заседателем Болиным и дежурными ямщиками, собрались у Ивана Иннокентиевича. Он был

сегодня в ударе и рассказывал одну историю смешнее другой.

Самому Ивану Иннокентиевичу эти истории тоже нравились. Он буквально разыгрывал их перед нами в лицах и сам вместе с нами смеялся над ними до упаду.

Сначала Иван Иннокентиевич рассказывал разные истории про купцов, про разных начальников, про богатых мужиков, а потом стал изображать проповедь новоселовского батюшки отца Никодима, в которой тот старался укрепить свою духовную паству в истинной вере. С особым подъемом Иван Иннокентиевич разыграл конец проповеди отца Никодима:

— От этих хорошо известных нам из Священного писания примеров всемогущества божия обратимся, братие, к нашей повседневной жизни... Не буду перечислять вам многочисленные примеры помощи божией верующим, известные мне как духовному пастырю своего прихода, расскажу вам о чудесном исцелении себя самого от тяжелого недуга...

Тут Иван Иннокентиевич сделал великопостное лицо и елейным голосом продолжал:

— ...В самом начале великого поста случился со мной нынче страшный запор... Не гонит день, не гонит два, не гонит целую неделю. И так мучаюсь весь великой пост... Обращался я со своим недугом к врачам земным. И здесь, в Новоселовой, в Балахту ездил. Принимал по их совету разные лекарствия. Ничего не помогло. Когда же я обратился со смиренной молитвой к врачу небесному...

Тут Иван Иннокентиевич сделал длинную паузу, а потом под оглушительный смех своих слушателей эффектно закончил:

— В четверг на страстной неделе перед самой заутреней меня п р о н е с л о...

За проповедью отца Никодима последовала новая история о другом священнослужителе, который всю ночь играл в карты и мысленно все время просил бога о выигрыше. И все-таки продулся в пух и прах. Конечно, батюшка был расстроен большим проигрышем и очень обижен на господа бога за этот проигрыш. Перед самым рассветом является к нему сторож из церкви узнать, надо ли сегодня звонить к заутрене. И тут батюшка не сдержался и сердито закричал: «Ни бом-ти-ли-ли! Ни за веревочку! Как он для нас, так и мы для него!»

Дальше Иван Иннокентиевич стал рассказывать нам ис-

торню про молодого попа, который остановился в одной деревне на земской квартире. А ночью на земскую квартиру заехал проезжий ухарь-купец, и хитрый хозяин отвел его спать в ту же горницу и положил в одну кровать с длинноволосым попом. Дальше мы ждали подробностей о том, как ночью купец принял длинноволосого батюшку за молодую женщину и что там у них из этого могло получиться. Но в самом интересном месте Иван Иннокентиевич вспомнил, что ему давным-давно надо быть дома по неотложному делу, и так расстроился, что не стал досказывать нам свою историю. Тут он сразу выпроводил из своей комнаты всех своих помощников и ямщиков, а меня почему-то попросил на минуту остаться. Потом обратился к старшине:

— Что будем, старшина, делать? Павел Михайлович из волости ушел. Писарить поехал в Черную Кому. Фомич занят на податных делах, статистике и военном учете, Иван Осипович выдает паспорта и ведет текущую переписку. А волостной суд вот уж две недели без писаря. Кого будем сажать на волостной суд?

— Почем я знаю?— ответил старшина.— Кого надо, того и сажай.

— Я думаю Иннокентия на это дело поставить. Справится парень. Ты не возражаешь?

— Акентия так Акентия. Мне все одно.

— Что значит «все одно»? Ты старшина. Ты — хозяин волости. Ты за все в ответе...

Когда Иван Иннокентиевич говорил старшине, что он хозяин волости и за все в ответе, то старшина всегда сильно пугался. На этот раз он тоже испугался и плаксиво заговорил:

— Так я что? Разве я против? Сажай, раз надо. Тебе виднее.

— Вот это другой разговор. Значит, его и посадим. А там видно будет. Ну, вот что, Иннокентий,— обратился он ко мне.— С завтрашнего дня берись за волостной суд!

Я думал, что Иван Иннокентиевич задержал меня, чтобы поручить мне переписать и размножить какой-нибудь новый циркуляр, и никак не ожидал, что он хочет посадить меня вместо Павла Михайловича на волостной суд. От неожиданности я так растерялся, что не знал, что ему отвечать на это. А Иван Иннокентиевич посмотрел на меня, рассмеялся и сказал:

— Что, трусишь? Ничего. Не бойся.

Я действительно здорово струсил. Испугался я, собствен-

но, не самого ведения делопроизводства волостного суда. К этому я уж немного присмотрелся, так как много раз помогал Павлу Михайловичу выписывать и рассылать по волости повестки с вызовом в волостной суд, направлять старостам для исполнения решения суда, которые уже вошли в законную силу. Потом, я почти каждый день видел, как Павел Михайлович принимал разных посетителей. Этот прием начинался обычно с того, что пришедший в волость проситель спрашивал: «А кто у вас тут будет судебный писарь?» И Павел Михайлович подзывал его к себе. А если он почему-либо не спрашивал судебного писаря, то Павел Михайлович сам спрашивал его: «Тебе что? В волостной суд?» — и опять же подзывал его к своему столу. А дальше уж нужно было заводить с ним разговор о том, с каким делом он обращается в суд. С жалобой на потраву или на кражу, на оскорбление или на избиение и все такое. Обо всем этом следовало составить протокол от имени старшины. Составить этот протокол не представляло особого труда, так как для этого имелись готовые, напечатанные в городской типографии, бланки. В такой бланк нужно было коротенько вписать суть жалобы, полные имена истца или пострадавшего, ответчика или обвиняемого и всех имеющих отношение к делу свидетелей. А потом по этому протоколу вызывать всех к назначенному времени в суд.

В общем, делопроизводство суда было мне более или менее знакомо. Главное, чего я в этом деле боялся, состояло в умении вести судебное заседание. Мне много раз приходилось видеть, как Павел Михайлович ведет заседание волостного суда в нашей маленькой судейской комнатенке. Трое бородатых судей важно восседают на диване за большим крашеным столом. На столе перед ними стоит ведро пенистого хлебного пива. А Павел Михайлович сидит напротив их со своими судебными делами. Он с шутками и прибаутками вызывает в судейскую просителей и ответчиков, пострадавших и обвиняемых со свидетелями. И каждый раз в комнату вваливается из прихожей человек десять, а то и больше бородатых мужиков и останавливается гурьбой около стола. И тут он начинает их допрашивать на разные лады. Если дело идет о потраве хлеба, то когда была произведена эта потрава, сколько лошадей было в потраве и могли ли они вытоптать и съесть хлеба на полосе, положим, на семь рублей, которые истец просит взыскать в свою пользу с ответчика. А если дело идет о драке или о краже, то тут вести допрос уж труднее. Потому что пострадавшие

и обвиняемые сразу начинают друг друга перебивать, потом друг на друга кричать, потом ругаться, так что поднимается такой тарарам, что уж ничего не поймешь. Но Павел Михайлович ведет себя в таких случаях очень умело. Он с шутками и прибаутками одних успокаивает, других увещает, третьих прерывает и останавливает, а зарвавшихся осаживает. И так постепенно всех приоделяет к порядку. А когда все помаленьку успокоятся, он продолжает допрос, выясняет досконально все обстоятельства дела и в заключение предлагает тяжущимся сторонам самим помириться и не заставлять суд выносить свое строгое решение. Тут судьи тоже начинают уговаривать враждующих кончить свою тяжбу миром. И если противники после этого действительно кончают дело миром, то все этим очень довольны, и Павел Михайлович тут же строчит в книгу решений волостного суда, что это дело производством прекращено за примирением сторон. А судьи от радости, что им удалось сделать хорошее дело, выпивают по ковшику пивца. Ну а если никакого примирения сторон не воспоследовало, то Павел Михайлович всех удаляет из судейской и просит дедушку Митрея покрепче закрыть дверь с той стороны и остается с судьями с глазу на глаз. Через некоторое время дедушко Митрей, по сигналу Павла Михайловича, открывает дверь судейской, все входят в эту комнату, и он зачитывает им из своей книги готовое решение волостного суда.

И вот когда я представил себя на месте Павла Михайловича в роли судебного писаря, то сразу почувствовал, что хотя с делопроизводством волостного суда я с грехом пополам и справлюсь, но по части ведения судебных заседаний и моментального писания сложных и гладких решений волостного суда я, пожалуй, соответствовать не смогу. Ивану Иннокентиевичу об этом я ничего, конечно, не сказал, но по моему растерянному виду он сам все понял, рассмеялся и сказал:

— Да ты не пугайся. Мудреного тут ничего нет. Волостной суд вершит свои дела, основываясь на народных юридических понятиях и местных обычаях, решает их по совести, на основании имеющихся доказательств. Так что судебному писарю нет никакой необходимости изучать наше уголовное и гражданское законодательство. Вообще-то говоря, тебе неплохо было бы, принимаясь за это дело, ознакомиться с соответствующими статьями общего положения о крестьянах, участвующих в волостном самоуправлении. Но, во-первых, ты ничего в этом положении не пой-

мешь. А во-вторых, у нас и нет его. Управляем волостью на основании этого положения, а сами его на руках не имеем. И дальше будем обходиться, видимо, без него. На всякий случай, ты все-таки запомни, что дела о краже, о мошенничестве и иски за потраву или за что другое не должны превышать тридцати рублей. Если больше тридцати рублей — жалобы не принимай и просителей сразу направляй к мировому судье. Пусть едут в Новоселову. Дела о краже мелкого рогатого скота нам почему-то неподсудны. Драки с нанесением ран тоже не подлежат разбирательству волостного суда. Вот и вся премудрость, которую тебе надо знать на первое время. Конечно, поначалу тебе будет трудновато, но помаленьку поднатореешь. Так что садись, брат, завтра за стол Павла Михайловича и начинай работать. В случае затруднений обращайся к Ивану Фомичу или к Ивану Осиповичу. Они тебе всегда помогут. Ну, оставайся. Мне надо идти.

Тут Иван Иннокентиевич надел шляпу, взял в руки свою толстую трость с золотым набалдашником, вышел в общую канцелярию и сказал:

— До завтра, господа!

Потом рассмеялся и произнес:

— Ни бом-ти-ли-ли! Ни за веревочку! Там меня ждут-пождут, а я тут анекдоты рассказываю...

И отправился домой.

Полный тревог и сомнений пришел я в тот день к себе на квартиру. Дяде Якову и тетке Татьяне я не сказал об этом ни слова. Мало ли что может еще произойти. Во-первых, Иван Иннокентиевич может до завтра все передумать. А если не передумает и поставит меня на волостной суд, то неизвестно, что еще из этого получится. Вдруг я не справлюсь и Ивану Иннокентиевичу придется сажать вместо меня кого-нибудь другого. Вот стыд-то будет. Нет! Уж лучше никому ничего пока не говорить.

На другой день я встал раным-рано, кое-как наспех попил чаю и побежал скорее в волость. На работу я обыкновенно прихожу раньше всех, когда дедушко Митрей делает еще свою утреннюю уборку. Но сегодня я пришел, когда он только что встал, умылся, оделся и сел пить чай с тремя мужиками, отбывавшими отсидку при волостной тюрьме.

Дедушку Митрея нисколько не удивило мое раннее появление. Он встал, вышел во двор, отомкнул мне входную дверь в волость и спокойно пошел допивать свой чай. А я прошел в канцелярию, нашел в шкафу книгу решений во-

лостного суда, спрятался в судейской комнате и углубился в изучение этой книги.

По мере знакомства с записанными в ней решениями волостного суда, я постепенно убеждался в том, что все они очень похожи друг на друга и написаны почти об одном и том же. Гражданские дела состояли главным образом о потраве хлеба, захвате чужой земли, неуплате долгов и все такое. А уголовные — о ссорах, о драках и о мелких кражах.

Пока я читал да разбирался в этих решениях, дедушко Митрей вымел в волости все полы и протер столы. Он заглянул в судейскую комнатку, но, увидев меня погруженным в изучение судебной книги, решил не отрывать меня от дела.

А я, разобравшись немного с этой книгой, решил выписать себе два-три решения на отдельную бумажку, чтобы выучить их как следует в качестве образца.

Между тем время шло, шло да и перевалило за девять часов. Когда я кончил писать образцы судебных решений и вышел в прихожую, там уж, как всегда по утрам, стал собираться народ, все помощники волостного писаря сидели уж на своих местах. Даже старшина Безруков и заседатель Болин пришли в волость и, как всегда, изнывали от безделья. Не хватало только одного Ивана Иннокентиевича.

Так как я прихожу в волость раньше всех, то мое позднее появление, да еще с огромной судебной книгой в руках, сразу обратило общее внимание.

— Ну вот и новый судебный писарь!— многозначительно сказал Иван Осипович.— А ведь тебя здесь уж давно ждут...

— Как ждут?!— испугался я.

— Так и ждут. Вон, в прихожей,— сказал Иван Фомич и показал на прихожую, забитую народом.— Это все к судебному писарю. Так что садись на место Павла Михайловича и начинай принимать посетителей.

— А как же я без Ивана Иннокентиевича сяду?

— Садись, раз садят,— поощрительно заметил старшина.— Он ведь сам вчерась сказал, чтобы ты того это, значитца, впрягался. Так что нечего валандаться. Видишь, народ ждет.

— Садись, пока он не передумал,— сказал Иван Фомич.— Да нет, он не передумает. У него ведь свой расчет. Павлу Михайловичу он платил двадцать пять рублей, а тебе будет платить десять, от силы двенадцать рублей. И ему

выгода, и тебе расчет. Все-таки не семь рублей, которые ты сейчас получаешь.

И Иван Фомич торжественно усадил меня за большой стол Павла Михайловича, потом крикнул в прихожую:

— Кто там к судебному писарю? Подходи!

Тут в прихожей встал со скамейки здоровенный бородатый мужик и направился к нам в канцелярию. Иван Фомич, Иван Осипович, Петька, старшина Безруков и заседатель Болин — все сразу сделали неприступно-занятой вид и стали наблюдать, как будет проходить первая встреча нового судебного писаря с просителем.

А бородач был мужик хотя и большой, но, по-видимому, тоже боязливый. Он нерешительно вошел в канцелярию и в недоумении остановился, не зная, к кому обращаться со своим делом. Я сидел за столом Павла Михайловича и ждал, когда он спросит: «А кто у вас тут будет судебный писарь?» Но мужик, вместо того чтобы задать этот простой вопрос, растерянно смотрел то на старшину, то на заседателя, то на Ивана Фомича, то на Ивана Осиповича. Даже на Петьку смотрел, только на меня не обращал никакого внимания, как будто я не сидел здесь вместе со всеми за большим столом на месте Павла Михайловича.

Теперь я в роли судебного писаря должен был сам спросить его: «А у тебя что?» — «Дело в волостной суд». Тут и подозвать его к себе. Но, вместо того чтобы задать мужику этот вопрос, я сидел красный как рак и ждал, когда наконец этот мужик сам догадается обратить на меня внимание. От растерянности у меня даже язык прилип к небу. Воцарилось тягостное для меня молчание. Я чувствовал себя так, как если бы с меня на базаре при всем честном народе содрали штаны и оставили стоять в таком виде. Наконец Иван Фомич сжалился надо мной и спросил мужика:

— У тебя что, какое-нибудь дело в суд?

— Да, жалобу хочу подать,— нерешительно сказал мужик.

— Бери протокол,— скомандовал мне Иван Фомич и сел рядом со мной.— Вот пачка бланков. Бери и заполняй. Видишь: ко мне, комскому волостному старшине, явился крестьянин деревни... Откудова будешь? Крестьянин деревни Убей Фрол Осипович Лалетин и заявил... Что там у тебя случилось, Фрол Осипович, на кого в суд жалуешься?

— Да на Вихляева нашего...

— А что он?

— Да перепахал у меня десятину земли. Тут у нас по-

селенец один жил в деревне. Долгов по фамилии. Может, знаете? Осенью он уехал от нас насовсем. В Куртак на жительство подался. К зятю. А его землишку обчество приоделило мне. Земля хорошая, на самом залавке над Енисеем. А на залавке земля у нас делится обчеством по бойцам. По десятине на бойца. А у меня — я сам боец, отцу перевалило за шестьдесят, значит, уж полубоец, да сын нынче весной на мосты ходил. Значит, тоже в полубойца вышел. Выходит, теперь у меня уж два бойца. А пашу на залавке всего одну четвертуху. Остальная пашня у черта на куличках — на горе, под Тоном. Вот обчество Долгову-то пашню мне и отвело.

— Так в чем же дело? Пашите ее.

— Как бы не так... Вихляев взял нынче весной да и перепахал. И пшеницу сразу посеял. Пшеница прет прямо в рост человека.

— Да как же он мог перепахать чужую землю, если общество отвело ее тебе?

— А вот взял да и перепахал. Что, не знаете нашего Вихляева? Мне, говорит, обчество не указ. Я, говорит, у Долгова эту землю купил. Заплатил за нее десять рублей. Я, говорит, не для обчества ее покупал...

— Ну, а общество что?

— Обчество? Обчество... ничего. А что с ним поделаешь? Он ведь богатый. Он на этом залавке десятин уж десять так нахапал.

— Ну и что? Общество может отобрать у него эту землю и отдать тебе.

— Попробуй отбери у него. Староста говорит: тебе отвели землю — ты и отбирай. Хлопочи, говорит, по начальству. Подавай в суд. Вот я и приехал искать на него управу.

— Вот что, Фрол Осипович. Если общество отвело тебе землю Долгова, оно и должно ввести тебя во владение этой землей. Если же Вихляев нахрапом захватил твою землю и не хочет считаться с обществом, то на него надо, конечно, жаловаться. Что теперь вам надо делать? Надо прежде всего взять приговор от убейского общества о том, что оно отвело вам освободившуюся после Долгова землю. Затем подать обо всем этом прошение крестьянскому начальнику и просить его, чтобы он, основываясь на приговоре убейского общества, обязал Комское волостное правление ввести вас во владение этой землей. Все права на вашей стороне, но надо хлопотать.

— А как же насчет пшеницы?

— Какой пшеницы?

— Да той пшеницы, которую он на моей земле вырастил. Ведь он пудов сто, а то, может, и все двести намолотит на моей десятине-то. Неужто ему оставлять?..

— Ну что же, будете писать жалобу крестьянскому начальнику, и пшеницу эту требуйте вместе с землей. А сейчас пока надо немедленно взять приговор от общества. Это главное. По этому приговору волость и без крестьянского начальника могла бы ввести вас во владение землей, но ведь Вихляев поднимет шум. Везде начнет жаловаться. Он знает все ходы и выходы у начальства. Добьется отсрочки в этом деле и свяжет волость по рукам и ногам. Поэтому лучше сразу писать крестьянскому начальнику — чтобы отсечь ему дорогу для кляузы. А с судом он это дело затянет года на два, а то и больше. Он на то и бьет. Может вам в Убее кто-нибудь написать это прошение?

— Да кто у нас... Кроме писаря, некому больше.

— Ну, писаря попросите. Он и напишет.

— Не будет он писать на Вихляева.

— Да, пожалуй, не будет. Побоится. Ну, тогда приезжайте сюда. Но только обязательно с общественным приговором. Здесь кто-нибудь напишет. Или в Новоселовой. Там найдутся люди.

— А может, все-таки это дело сразу судом разобрать?

— Можно, конечно. Но и для суда нужен общественный приговор. И суд, без сомнения, станет на вашу сторону. Но тогда Вихляев имеет право обжаловать это решение волостного суда в высшую инстанцию. И затянет дело до бесконечного. А ему это только и надо. Будет с вами судиться, а землицу вашу пахать. А для чего с ним судиться, когда вы без всякого суда имеете полное право вступить во владение этой землей? Так что привозите как можно скорее общественный приговор, и мы обмозгуем тут это дело, как лучше.

— Ну скажи, что получается,— развел руками Фрол Лалетин.— Вихляеву — тому все можно. А когда коснулось меня — обчество отстранилось и суд тоже норовит увильнуть в сторону.— Тут Лалетин с досадой плюнул в сторону.— Значит, приговор нужен? А если писарь начнет крутить да вывертываться?

— А вы прямо к обществу обращайтесь. Вихляев там, вероятно, всем насолил. Так что приговор вам дадут. А если писарь начнет крутить да вывертываться — приезжайте

сюда. Мы этот приговор официально затребуем от убейского старосты.

— Вот ведь какая заваруха получается. И земля моя, и обчество на моей стороне, а не знаешь, как к ней и подступиться...

Когда Фрол Лалетин ушел из волости, я сразу же сказал Ивану Фомичу, что мне с этим делом не справиться и что мне лучше будет в этот волостной суд не соваться.

Но Иван Фомич сильно рассердился, назвал меня сопляком и пригрозил ни в чем мне больше не помогать, если я откажусь от этого дела.

— Раз тебя сажают,— вразумлял он меня,— значит, знают, что ты с этой работой справишься. Таких сложных вопросов, как этот, бывает одно-два на году. Они и нам-то не всегда по плечу. Черт знает как его обломать, этого Вихляева. Мы уж не первый раз имеем с ним дело. А вообще-то говоря, ты сам знаешь, что в суд поступают дела обычно самые простые. О драках, о потравах, о мелких кражах. Да ты сам сейчас увидишь.— И он опять закричал: — Есть там еще кто-нибудь в суд?!

— А как же,— послышался женский голос.— Я уж сколько тутова жду...

И к моему столу подошла молодая баба в платочке, в шабуре, в новых сагырах, с узелком в руках.

— Откуда родом будете?— спросил ее Иван Фомич.

— Мы-то? Проезжекомские...

— Пиши в протокол — крестьянка деревни Проезжая Кома... Как звать-величать?.. Пиши — Аграфена Сидоровна Мальцева. О чем просите суд, Аграфена Сидоровна?

— А вот приехала жаловаться на Парасковью Шабалину. На всю деревню осрамила, чтоб ей ни встать, ни лечь, стервозе...

— Да что у вас с ней приключилось?

— А то и приключилось, что эта самая... в прошлое воскресенье ни с того ни с сего набросилась на меня в улице, ударила коромыслом, сбила с ног и начала топтать, а потом кулаками меня по голове да по голове. Мало того — шаль на мне всю изорвала. Новую шаль изорвала, стерва! Четыре рубля плачено за шаль-то. А теперь хоть брось. Да вот сами посмотрите...

Тут Мальцева вынула из узелочка шаль и стала совать ее Ивану Фомичу. Но Иван Фомич не стал рассматривать ее шаль.

— Это ты на суде показывай. Нам достаточно твоего

словесного заявления. А кто-нибудь видел все это? Кого вызывать в свидетели?

— Старосту нашего запишите — Ефима Сиротинина. На мое счастье, пригодился поблизости. А то она изувечила бы меня. Озверела совсем баба... Он и отобрал меня, дай бог ему здоровья. А она так разбушевалась, что и унять не могли. Пришлось в каталажку посадить.

— А еще есть свидетели?

— А как же. Сотского еще нашего вызовите — Ивана Силина. Он все видел. И в каталажку потом ее оттащил...

— А еще кто это видел?

— Да много народу сбежалось. Почитай, вся деревня. Ведь праздник был. Да я-то не помню уж никого. Не до свидетелев было. Слава богу, хоть жива осталась...

— Ну хорошо, Мальцева. Ждите повестку в суд.

— Уж вы засудите ее как следует. Чтобы она наперед знала, как рукам волю давать. И чтобы за шаль мне заплатила. Шаль-то хоть выбрось теперь. А ведь совсем новая была. Четыре рубля плачено с полтиной...

Тут Аграфена Мальцева снова стала совать свою шаль Ивану Фомичу.

— И за драку ответит, и за шаль заплатит. За все рассчитается,— сказал Иван Фомич и позвал из прихожей следующего человека.

Теперь к нашему столу подошел один тесинский мужик и стал жаловаться на то, что кто-то обрезал у его коня хвост.

— Так обкорнали, что жалко смотреть. До самой сурепицы,— плакался он.

— Да кто же это сделал-то?

— Дык они ведь ночью резали, варнаки. На поле был конь-то. Вот они и обкорнали его там.

— На кого-нибудь имеете подозрение?

— А как же. Васька Анзурянов и Фатька Еремеев это. Они на народе выхвалялись угробить моего Чалка. Вызовите Тимофея Краснова и Назара Неизвестных. Они слышали это. Да что там говорить. Вы мать Васькину вызовите — Опросинью Петровну. Пусть она на суде скажет — откуда в ту ночь ее сынок притащил в мешке конский хвост...

Пока Иван Фомич обсуждал с просителем обстоятельства этого дела, я успел оформить его заявление. И даже свидетелей всех правильно записал в протокол волостного старшины.

— Ну как? Справишься ты с такой работой?

— С такими делами справлюсь. Я насчет земли боюсь... как сегодня с Вихляевым...

— И насчет земли помаленьку привыкнешь. Там ведь все об одном и том же. То кто-нибудь у своего соседа полоску перепахал, то залежь выкосил. Вот и бегут в суд. Ну а насчет потрав — ты сам знаешь — дело еще проще. Так что садись и действуй...

С этого дня я действительно стал заправлять судебными делами, и прием жалоб в суд не представлял уж для меня никаких затруднений.

Я даже запомнил на память текст протокола волостного старшины о приеме таких жалоб: 1915 года, июня такого-то дня. Ко мне, комскому волостному старшине, явился крестьянин деревни... и заявил... (тут следовало вписать суть жалобы с указанием ответчиков и свидетелей). О чем я, комский волостной старшина, постановил записать в настоящий протокол, который и передать на рассмотрение волостного суда. Волостной старшина (подпись). Так как наш старшина Безруков был неграмотен, то я лихо вписывал в протокол его фамилию, а потом, чтобы проситель видел, что это дело нешуточное, брал печать волостного старшины, шлепал ею по подушечке с краской, дул, как это полагается, на нее и потом с силой прикладывал ее прямо на фамилию старшины. Теперь составленный мною протокол был уже за «подписом» волостного старшины и скреплен «приложением казенной печати» и на глазах просителя из простой бумажки таинственным образом превращался в «казенную бумагу», в важный судебный документ. Делу, как говорится, давался полный ход.

Иногда вместо устной жалобы кто-нибудь подавал письменное заявление. В этом случае мне уж не надо было писать протокол от имени волостного старшины. Я внимательно прочитывал это заявление и, если встречалась надобность, просил подателя что-нибудь уточнить в нем насчет своего дела, указать дополнительных свидетелей и все такое.

На каждую принятую жалобу мне полагалось завести особое дело, каждое под своим номером. И так как в суд поступали все новые и новые жалобы, то эти судебные дела росли у меня с каждым днем, но оставались, как говорил Иван Фомич, без всякого движения. Я понимал, конечно, что мне надо как можно скорее созывать волостной суд, но под всякими предлогами откладывал это. А судебные дела все копились да копились, и мне стало ясно, что это дело

долго затягивать нельзя и что как ни крутись, а все равно суд придется созывать.

Одни раз, когда у нас в канцелярии была маленькая передышка, я спросил Ивана Фомича, как мне поскорее назначить работу волостного суда. Он посмотрел на мою кипу нерассмотренных дел, покачал головой и, не говоря ни слова, повел меня к Ивану Иннокентиевичу.

Перед Иваном Иннокентиевичем лежала целая гора бумаг, и он, обливаясь потом, подмахивал их одну за другой, не читая. Наше появление его даже обрадовало. Он с видом мученика откинулся на спинку стула и вопросительно уставился на нас.

— Новый судебный писарь озабочен тем, что у него накопилось много нерассмотренных дел. Может, созвать волостной суд на следующей неделе?

— А успеем разослать повестки, вызвать судей? Их ведь надо к присяге еще приводить.

— Успеем, конечно.

— Вообще-то говоря, лучше было бы отложить это дело до осени. Жаль отрывать людей от работы во время сенокоса. Но и судебные дела копить тоже не годится. Иначе мы утонем в них совсем. Так что давайте недельки через две созовем. Только дня на три — не больше. Да судей не забудьте вызвать на день раньше и заранее предупредить отца Петра насчет присяги.

На том и порешили.

Глава 15
ВОЛОСТНОЙ СУД

В назначенный день в волость приехали судьи. Это были три бородатых, нарядно одетых мужика. Один из Коряковой, другой из Анаша, а третий из Проезжей Комы. Появились они в волости как-то незаметно и уселись в прихожей, не смея сунуться к нам в канцелярию. Тут их заметил старшина и повел к Ивану Иннокентиевичу. А тот, видя такого дела, сразу же послал меня к отцу Петру узнать, когда он может привести их сегодня к присяге.

Отца Петра я дома не застал. Он ушел в церковь отпевать покойника. Так что мне пришлось идти в церковь и от-

стоять там всю заупокойную службу. Только тогда я смог подступиться к нему с этим делом.

Узнав, что ему надо приводить судей к присяге сегодня, отец Петр очень расстроился. У него поденщики на покосе, надо сено убирать, а тут еще люди не вовремя умирают. Отпевать, хоронить надо. А теперь приспичило приводить к присяге судей. Не нашли другого времени. Но, подумав немного, он рассмеялся и сказал:

— А ведь придется... Ничего не поделаешь... После похорон по дороге на покос заверну к вам и прямо в волости обделаю это дело. Но чтобы все у вас там было без задержки. Приготовьте присяжные листы и сообразите там что-нибудь вроде аналоя. Чтобы можно было сразу же приступить к обряду...

Когда я возвратился из церкви, Иван Иннокентиевич, как всегда, рассказывал в своей комнате разные смешные истории.

В одну из коротких передышек старшина, утирая глаза от смеха, заметил меня и сразу вспомнил, что Иван Иннокентиевич посылал меня к отцу Петру:

— Ну, что он тебе там сказал? В церкву поведем судей али как?

— Отец Петр после похорон поедет на покос. Там у него поденщики. И заедет к нам по пути. Он просил непременно приготовить ему что-нибудь вроде аналоя и тексты присяги...

— Какой ему еще налой? Где мы его возьмем?— проворчал старшина.— Шуточное дело — налой. Это чтобы как в церкве было?

— Есть о чем думать,— сразу разрешил вопрос Иван Иннокентиевич.— Принесите из сторожки две табуретки, поставьте одна на другую и накройте этой хламидой. Вот вам и налой.— Иван Иннокентиевич снял со своего железного ящика пестрое покрывало и подал его старшине.— Не хуже, чем в церкви будет. А тексты присяги мы сейчас сообразим.

Иван Иннокентиевич вынул из стола какую-то папку и стал искать в ней текст присяги для волостных судей. Потом вдруг строго посмотрел на старшину и сказал:

— Чего это мы сегодня весь день анекдотами занимаемся? А дело стоит. Ты сегодня чем занят, старшина?

Старшина не любил такие крутые повороты в разговоре Ивана Иннокентиевича и сильно пугался. И на этот раз на его лице появилась растерянность, он забормотал что-то не-

внятиое насчет комских ямщиков, которые иеаккуратио подают подводы в волость.

— То-то и оно. А ты смотришь да молчишь.

— Да говорю я им.

— Не говорить им иадо, а трястн их за загривок. Ты ведь хозяии волости! Раз сказал, два сказал, а на третий раз взгрей как следует.— Тут Иваи Иннокентиевнч сокрушеино покачал головой и укоризиенно посмотрел на старшииу.— Займись-ко сейчас лучше с инми,— показал он иа наших судей.— Проинструктируй их как следует о правах и обязаииостях. Я сам должен был бы поговорить с иими об этом, ио, видишь, работы по горло.

И Иваи Ииюокентиевич показал на огромную кнпу бумаг, которые со вчерашиего дня лежали у него иа подпись. Потом стал искать свою ручку, чтобы подписывать эти бумаги, и обратил внимание иа меия:

— А ты чего еще ждешь тут?

— Прнсягу жду. Переписывать,— ответил я.

— А разве я тебе ее еще ие дал? Где же оиа, эта присяга?

И Иваи Иннокентиевич снова стал искать текст присяги.

— Может быть, их Иваи Фомич тово-этово?— обратился старшина к Иваиу Иннокеитиевичу и показал иа судей.

— Чего того-этого?

— Да это самое... Про... про...

— Проииструктирует?

— Вот, вот это самое... Про... про... и... и...

— Ну, пусть Иваи Фомич. Это даже лучше.

Тут старшина облегченио вздохиул и обратился к судьям:

— Пойдемте к Иваиу Фомичу. Он вам все расскажет. С большой головой человек. Не то что мы — дураки...

Старшииа и судьи вышли, а Иваи Иниокеитиевич опять стал искать присяжный лист для волостных судей.

— Я его ищу, а ои иа меня смотрит, проклятый,— сказал он, найдя иакоиец этот лист в своих бумагах.— Перемахай его, голубчнк, почище в трех экземплярах.

Пока я переписывал текст присяги, старшииа с заседателем соорудили нз двух табуреток отличиый аиалой. Иваи Иниокентиевич подписал тем временем огромиый ворох бумаг, передал их Петьке для рассылки по волостн и сиова стал рассказывать свои веселые истории.

А волостные судьи все это время томились от безделья. Сиачала оии сидели около Иваиа Фомича. Но тот сочииял

какой-то срочный отчет крестьянскому начальнику и разговаривать с ними о правах и обязанностях волостных судей не стал. Идти слушать веселые истории Ивана Иннокентиевича они стеснялись. У нас в канцелярии им делать было нечего. Тут и без них было много народу. И как-то само собой получилось, что они оказались одни в нашей судейской комнате. Здесь они курили трубку за трубкой и вели разговор о том, как их нежданно-негаданно оторвали в самый сенокос от работы, вызвали судить добых людей, а они не знают даже, с какого конца им к этому делу подступиться.

Отец Петр заехал к нам перед самым обедом по пути на свой покос. Одет он был в какой-то поношенный подрясник и имел довольно-таки будничный вид. Он сразу торопливо прошел к Ивану Иннокентиевичу. Спустя некоторое время они вместе вышли к нам в канцелярию. Иван Иннокентиевич попросил поставить аналой на середину комнаты и крикнуть наших судей, а отец Петр развернул на столе сверток, с которым он приехал, вынул из него епитрахиль, крест и Евангелие. Епитрахиль он сразу же надел на себя, а крест и Евангелие положил на самодельный аналой.

Тем временем из прихожей и со двора в канцелярию хлынул народ. Всем хотелось посмотреть на интересный обряд приведения судей к присяге. Старшина, заседатель, Иван Иннокентиевич, остальные писаря и посетители тоже ждали начала обряда. А отец Петр потребовал тексты присяги, просмотрел их, взглянул на судей и развел руками.

— Господин старшина,— обратился он к Безрукову.— Вы подумали, на кого похожи ваши судьи?— Тут все уставились на судей, которые с виноватым видом стояли посредине комнаты.— Ведь на разбойников они похожи! Посмотрите сами. Разве можно людей с таким свирепым видом сажать за судейский стол. Ведь перепугают они всех подсудимых. Подстричь их надо.

— Паликмахтеров-то, отец Петр, в Коме нет,— ответил старшина.

— Парикмахтеров-то действительно в Коме нет. А подстричь их все-таки надо. К таким судьям и идти страшно. Непременно засудят.

Тут мы впервые заметили, что наши судьи имеют довольно-таки свирепый вид. Все они, как на подбор, были с рыжими бородами. По отдельности каждый из них не обращал на себя особого внимания, но вместе, да еще за су-

дейским столом, они действительно могли одним своим видом навести страх на подсудимых.

— Спасибо, отец Петр, что обратили на это наше внимание,— сказал Иван Иннокентиевич.— Мы их к завтрашнему дню как-нибудь окорнаем...

— Непременно надо окорнать. Впрочем, это ваше дело. Как хотите. Ну что ж... Давайте начинать. С кого приступим? С вас, что ли?— обратился он к коряковскому судье Потылицыну.— Подойдите ближе. Встаньте сюда перед аналоем. Перекреститесь, положите левую руку на Евангелие и повторяйте за мной слова присяги.— Тут отец Петр встал впереди Потылицына, взял написанный мною текст присяги и начал громко и торжественно читать: — «Обещаю и клянусь всемогущим богом, святым его Евангелием и животворящим крестом господним хранить верность ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, государю императору, самодержцу всероссийскому, исполнять свято законы империи, творить суд по чистой совести, без всякого в чью-либо пользу лицеприятия и поступать во всем соответственно званию, мною принимаемому, памятуя, что я во всем этом должен буду держать ответ перед законом и перед богом на Страшном суде его. В удостоверение сего целую слова и крест спасителя моего. Аминь».

Судья Потылицын с испугом повторял за отцом Петром слова присяги, а в заключение еще раз перекрестился, поцеловал крест и Евангелие и поспешно отошел в сторону. Но отец Петр остановил его, подозвал к столу и попросил подписать присяжный лист. Тут произошла небольшая заминка, так как судья Потылицын оказался неграмотным. Тогда Ивана Иннокентиевич сам вписал его в присяжный лист и попросил меня за него расписаться.

Таким же манером были приведены к присяге Сиротинин и Колегов. За них мне тоже пришлось расписаться.

После окончания присяги отец Петр торопливо снял свою епитрахиль, завернул в нее крест и Евангелие, завязал все это в темный вышитый платок, попрощался со всеми и поехал на покос. Старшина, заседатель и судьи прошли к Ивану Иннокентиевичу слушать его смешные рассказы, Иван Фомич, Иван Осипович и Петька Казачонок принялись писать свои бумаги, а я сел на свое место за большой стол судебного писаря и стал думать о том, как я должен буду завтра вести себя в суде.

Все последние дни я приставал к Ивану Фомичу с просьбой научить меня побороть чувство страха и неуверенности

на предстоящем суде. Но Ивану Фомичу было не до меня. Сегодня он в конце концов сжалился надо мной, задержался после занятий и завел разговор на эту тему.

— Во-первых,— втолковывал он мне,— ты должен знать, как записываются опросы и решения в судебную книгу. Это самое главное. Пересмотри как следует старую судебную книгу. В ней ты найдешь для себя образцы на любой случай.

Когда Иван Фомич узнал, что я почти на память уж выучил эту книгу, он только руками развел и сказал:

— Тогда считай, что ты наполовину уж судебный писарь. Теперь тебе осталось выучиться держаться как следует в суде. Но это дается, конечно, не сразу...

И дальше Иван Фомич дал мне несколько напутственных советов на завтрашний день.

— Главное,— говорил он,— взять с самого начала твердый, уверенный тон, чтобы сразу все увидели, что ты тут главное лицо. Поэтому не засматривайся на весь влезший в судейскую народ. Пусть дедушко Митрей с ними воюет, а ты держись, как бы это сказать, сам по себе и, конечно, думай все время о своем деле. Как только в судейской водворится маломальский порядок, ты громко объяви, что Комский волостной суд в таком-то составе — тут ты непременно назови фамилии своих судей — будет рассматривать такое-то дело. Чтобы дальше не сбиться, можно просто зачитать заголовок с обложки этого дела. Потом надо проверить, кто из вызванных явился в суд, а затем уж приступать к рассмотрению дела. Опрос сторон следует производить строго, не торопясь. Расскажите, мол, проситель, коротенько, на что жалуетесь, как у вас там все происходило? При опросе ответчика прежде всего сообразуйся с тем, основательна ли на него была жалоба. Если жалоба на него действительно имеет все основания, то говори с ним по возможности строже. Когда спрашиваешь истца, не давай ввязываться в разговор ответчику, а при опросе ответчика затыкай рот истцу: ты, мол, свое сказал и помалкивай. Суд во всем разберется. И вообще, покрикивай на них почаще. За строгость они очень уважают. Покороче, мол, ближе к делу! Не морочь нам голову! Не разводи волынку! Не тяни кота за хвост! И все такое в этом роде. Если ты вовремя сумеешь осадить как следует просителя и ответчика, то и свидетели тебя будут уважать. Со свидетелем,— говорил Иван Фомич,— надо быть особенно начеку. Свидетель... он любит ходить вокруг да около, и если ему дать волю, то он начнет

сначала про тятеньку, потом про мамоньку, а до дела и за полчаса не доберется. Так что ты с самого начала старайся припирать его вопросами.

А если, паче чаяния, во время заседаиия немного собьешься с паиталыку, то ие придавай этому большого зиачения и, главное, никого из иих в это время не слушай. Пусть они говорят что взбредет в голову, а ты уставься в потолок и делай вид, что обдумываешь их дело. А когда соберешься с мыслями, то действуй так, как будто иичего не случилось. Главное, конечно, построже с ними, почаще их перебивай и все время ссылайся иа суд: суд, мол, видит. Суд с этим разберется. Суд учтет это! Важно не распускать вожжи, не отвлекаться в сторону и все время иаправлять опрос куда надо...

И в каждом решении непременно следует оговаривать, что порядок обжаловаиия решеиия суда стороиам разъяснен, что недовольные могут обжаловать решеиие нашего суда в Миусиский уездный съезд крестьянских иачальников. Уездный съезд может прислать иам ваше дело обратио на пересмотр, если найдет для этого достаточиые осиования. Но этого ты не бойся. Пусть жалуются. Уездный съезд решения волостных судов иикогда ие отмеияет. Во всяком случае, я не припомию ни одного такого случая. Так что действуй завтра смелее, и все будет хорошо.

На другой день я явился в волость, как всегда, раньше всех, но не пошел в каицелярию, а спрятался на дворе под иавесом и наблюдал оттуда, как собирался в суд вызваиный мною из разных деревеиь народ.

Раньше я иа эти судебиые сборища смотрел довольио-таки равиодушио. Интересовали меия тогда лишь те приезжие, которые будут судиться за драки, за пьяиство да за буяиство. И еще я смотрел, нет ли среди приезжих на суд кого-нибудь из наших кульчекских. Но к ворам и драчунам я быстро утратил интерес, потому что здесь, в волости, оии иичего ие вытворяли, держались тихо и скромио. А наши кульчекские мужики почему-то вообще не судились.

А сегодня я смотрел на приехавших в суд уж по-другому. Я помиил, что это я своей властью вызвал их сюда. Одиако созиаиие своей силы заслонялось у меия иеувереииостью. Вытребовал столько народу себе иа беду. Попробуй теперь быть с иим строгим, обрывать их на полуслове, иаправлять судебиый опрос куда надо. Как их на суде урезонить, осадить, взять в руки, держать на вожжах, ие давать им воли? Хорошо Иваиу Фомичу давать такие советы. Он

все это умеет. А у меня так не получится. А потом, ведь надо их показания еще записывать коротко и ясно в книгу и составлять умные и гладкие решения.

При мысли об этом у меня сразу начинало ныть под ложечкой и хотелось убежать куда-нибудь далеко-далеко на заимку, на покос, куда угодно, только подальше от этого волостного правления. Но бежать было уж поздно, и я волей-неволей направился в канцелярию прямо на свое место.

Проходя через прихожую, я увидел высокого улазского мужика с седой бородой и вспомнил, что он должен сегодня судиться с каким-то анашенским мужиком о потраве. Дело у них было пустяковое — всего о каких-то пяти-шести рублях. И тут у меня сразу сложился в голове весь протокол заседания волостного суда по этому делу с коротким и четким решением, сложился так ясно, что я мог бы без запинки прочитать его в суде, а потом моментально записать в судебную книгу.

— Ну вот и судебный писарь явился,— сказал Иван Фомич почтительно стоящим перед ним волостным судьям, которых действительно кто-то окорнал каждого на свой лад.— Теперь недостает только дедушки Митрея, а то можно было бы и заседание открывать. Где он запропастился? Эй! Кто там! Кликните-ка из сторожки нашего дедушку Митрея!

— Здеся-ка я. Чего меня кликать? — послышался из прихожей голос дедушки Митрея, и он вошел в канцелярию. Одет он был сегодня по-праздничному — во все базарное.

— Ну, как у тебя, все готово?— спросил его Иван Фомич.

— А чего мне готовить? Окно протер. Чернильница и прочий струмент на столе, диван — заднюю ножку — заклинил, чтобы не рассыпался во время заседания, как в прошлый раз. Вот и все...

— А пиво?

— За пиво надо деньги платить. Откуда я их возьму?

— Ты что, первый раз? Не знаешь? У судей попроси.

— Неудобнова. Судьи новые, незнакомые.

— Ай-я-яй! Как же это так, дедушка Митрей? Ведь они одуреют весь день заседать без пива. Господа судьи! Гоните дедушке Митрею по пятьдесят копеек на пиво. Сразу на три дня. Он каждый день с утра будет приносить вам в судейскую по ведру. Жалеть не будете.

Тут судьи испуганно вытащили из карманов свои кисеты

и отсчитали дедушке Митрею полтора рубля, после чего он поспешно отправился к тетке Матрене за пивом.

А судьи тоже волновались не меньше меня. Судить им никого и никогда не приходилось, и сами они ни разу ни с кем не судились. Даже свидетелями в суде не бывали. А о том, как судить, они и вовсе ничего не знали. И сегодня они с утра заявились к Ивану Фомичу, чтобы узнать от него что-нибудь насчет этого. Но к Ивану Фомичу была уж очередь в несколько человек по разным делам, и разговаривать с судьями он не стал.

— Увидите сами, что к чему,— заявил он им.— Дело покажет. А потом, у вас ведь есть судебный писарь. Его спрашивайте. Он это дело знает.

И Иван Фомич показал судьям на меня.

— Оно конечно. Что и говорить. Зря на такое дело парня не поставят,— согласился с Иваном Фомичом судья Потылицын и уважительно посмотрел на меня.

— Как же, как же... Видать, малец все это произошел, раз его определили на такое дело,— подхватил судья Сиротинин.

А анашенский судья Колегов вспомнил по такому случаю легендарного писаря Бирюкова, который, как известно, тоже состоял при волости с малых лет в подписарениках, а потом дошел до такой грамоты, что несколько лет заправлял всей нашей волостью.

Тут судьи сразу завели было разговор о писаре Бирюкове, но Иван Фомич оборвал их и попросил отправляться в судейскую и готовиться к открытию заседания.

— Как только дедушка Митрей придет, так и начинайте,— заявил он нам и подозвал одного из ожидающих его мужиков.

И вот мы пошли в судейскую. Три бородатых судьи в кашемировых рубахах, в плисовых штанах, в сапогах со скрипом. А впереди я с пачкой дел и с судебной книгой. В прихожей перед нами все почтительно расступились, и мы важно при общем молчании проследовали в судейскую. После этого я крепко закрыл на крючок дверь. Мои судьи стояли посредине тесной судейской комнатушки, не зная, что им дальше делать. Теперь я пригласил их занять места за столом на диване, а сам уселся напротив них на единственный в этой комнате стул.

— На сегодня назначено к рассмотрению десять дел,— заявил я своим судьям.— Пока не разберем их, заседание прерывать не будем. Начнем с дела по иску одного улаз-

ского мужика к анашенским о потраве. Как только придет дедушко Митрей, так и начнем...

— Ну чего же, обождем его немного,— сказал судья Потылицын.

— Обождать так обождем,— охотно согласились другие судьи.

— Теперь ты расскажи нам — как тебя по имени, по отчеству,— начал Потылицын,— как же нам судить-то их?— тут он кивнул в сторону прихожей, забитой вызванными в суд людьми.— Мы в этом деле ведь ни чох ни мох... Думали, Иван Акентич обскажет нам все, что следовает, а он послал нас к Ивану Фомичу. Ну а Иван Фомич, видишь, препоручил нас тебе. Так что теперь уж ты расскажи все нам, что тут и как, с чего начинать и чем кончать. Тут ведь законы надо знать. Вон он, мировой судья-то... Говорят, много лет учится на это дело. А нас из деревни, можно сказать прямо с покоса, и сразу за этот стол...

Тут я стал рассказывать моим судьям все, что знал о волостном суде от Ивана Иннокентиевича и Ивана Фомича. Я объяснил им, что волостным судьям совсем не нужно много лет учиться, так как они судят не по писаным законам, а по совести, на основании имеющихся доказательств. Судьи слушают, вникают в каждое дело и решают его так, как находят правильным. Волостной суд имеет право разбирать гражданские дела до тридцати рублей. Иски свыше тридцати рублей волостному суду неподсудны. А по уголовным делам — мелкие кражи, драки, буянство — можно засудить виновных до семи суток тюремного заключения. А если драки были с поножовщиной и членовредительством, то такие дела волостному суду неподсудны...

Судьи внимательно слушали меня, покачивали головами, удивляясь тому, какие они имеют большие права, и еще больше тому, что я все это досконально знаю и что я, видать, действительно дошел здесь до большой грамоты, раз приставлен на такое важное дело. Дальше разговор снова как-то незаметно перешел на волостного писаря Бирюкова, но тут как раз кстати явился дедушко Митрей. Он принес большое ведро хмельного пенистого пива и торжественно поставил его на стол.

— Выпейте по ковшичку перед заседанием... Насупротив Матрениного пива в Коме ни у кого не найдется... Старшина, заседатель, писаря без ее пива жить не могут. Денег ей перетаскал за три года уж несколько сотенных... Вот людям счастье... На одном пиве капитал наживают...

Пока дедушко Митрей разглагольствовал насчет заработков тетки Матрены, мои судьи не торопясь выпили по ковшику пива, крякнули от удовольствия и с достоинством вытерли свои бороды.

— Пейте, пейте на здоровье,— угощал их дедушко Митрей.— Пиво вкусное, непьяное. Ни в голову, ни в ноги не отдает. Выпьете — я еще раз сбегаю. Пиво у Матрены всегда есть. Ну, кого вам звать-то сюды?— обратился он в заключение ко мне.

— Давай улазских. Дело Фаддея Черкашина к анашенским о потраве...

— Знаю, знаю... Он трех свидетелев привез. Сейчас я их вам предоставлю...

Тут дедушко Митрей настежь открыл дверь и громко, без запинки произнес:

— Улазские тутака?! Черкашина требуют с анашенскими. И свидетелев сразу с собой ведите. Да пошевеливайтесь. Не в гости приехали.

— Мы улазские,— послышался голос откуда-то от дверей, и вперед протолкался проситель Черкашин — пожилой бородатый мужик, а за ним три его свидетеля.

Анашенский ответчик оказался тоже на месте. Он ждал суда в прихожей у самых наших дверей и спокойно вошел вслед за Черкашиным в судейскую.

Как только дедушко Митрей прикрыл дверь за вошедшими, я, глядя в развернутое передо мной дело, пробормотал:

— Комский волостной суд в составе волостных судей Потылицына, Колегова и Сиротинина слушает дело за номером сто девяносто седьмым по иску крестьянина деревни Улазской Тимофея Черкашина к крестьянину села Анаш Николаю Терскову — пять рублей за потраву. Проситель Черкашин здесь?

Никакого ответа. Мужики переминались с ноги на ногу и посматривали на судей. Тогда я уж более громко спросил:

— Кто из вас Черкашин?

— Я Черкашин.

— Отвечать надо, когда спрашивают. Ответчик Терсков здесь?

— Я Терсков.

— Свидетели?

— Мы свидетели!— дружно откликнулись два улазских старика и молодой мужик.

— Фамилии называйте,— пришел мне на помощь Потылицын.— По фамилиям спрашивают. Не слышите, что ли?

Свидетели назвали свои фамилии. И дальше я, как учил меня Иван Фомич, глядя в дело, сказал:

— Проситель Черкашин, объясните суду ваше дело.

Черкашин молчал и посматривал на судей.

— Проситель Черкашин,— начал я снова,— расскажите суду, когда Терсков произвел у вас потраву?

Наконец Черкашин догадался, что я тут самое главное лицо.

— Да нонешним летом. Перед самым петровым днем,— начал он объяснять мне.— Едет в воскресенье мимо нас Митрей Демидовых и окликает меня: «У тебя,— говорит,— дядя Тимофей, во Втором логу чьи-то кони в овсе. Видать, анашенские. Я два раза отгонял их, а они опять, волки, в полосу». Ох, думаю, туды их перетуды, этих анашенских. И тут же оседлал кобыленку и поехал скорее туда.

Дальше Черкашин стал подробно рассказывать о том, как он приехал на своей Саврасухе во Второй лог и нашел там в своей полосе трех коней, как он потом с Матвеем Кожуховским и Михайлом Панкрашкиным, которые пригодились рядом на своей пашне, отвели этих лошадей в остожье, как потом заявился Николай Терсков, как они уговаривали его пойти и вместе освидетельствовать потраву, а он вместо этого забрал своих лошадей и, не говоря ни слова, уехал к себе домой в Анаш.

Пока Черкашин рассказывал все это, я рассмотрел как следует и его, и ответчика Терскова, и трех улазских свидетелей. Все они были пожилые бородатые мужики. А свидетель Фаддей Демидовых был хоть и молодой еще, но тоже уже бородатый. Он, видимо, был человек веселый, так как на его лице время от времени появлялась широкая улыбка. Но он сразу же в этих случаях испуганно мотал головой.

А Черкашин все говорил и говорил. Он подробно изложил мне, сколько он мог нажать и намолотить овса со своей полосы, не случись этой оказии с потравой. По его подсчетам получалось, что он недобрал со своей полосы самое малое шестнадцать — восемнадцать пудов овса, что по нынешним ценам потянет не меньше семи рублей. Но чтобы судиться по совести, без нахрапа, как это делают анашенские, он согласен сойтись с Терсковым на мировую. Пусть заплатит пять рублей, и дело с концом.

А ответчик Терсков был мужик, видать, толковый. Он

много не рассусоливал о потраве, а сразу признал себя во всем виноватым.

— Потрава, конечно, была,— заявил он.— Да и куда денешься, если моих коней в чужой полосе заарестовали? Но только не такая большая, как говорит Черкашин. Я сам видел эту полосу перед страдой. Хороший овес был. Прямо колос к колосу. И потравы незаметно было. Пуда три мои конишки, конечно, вытоптали и съели. Это я признаю. И согласен — хоть деньгами по нонешним ценам, хоть овсом заплатить. А на большее я не согласен.

Из свидетелей я решил допросить сначала Фаддея Демидовых, который первым заметил анашенских лошадей в овсе у Черкашина. Этот свидетель, как и предупреждал меня Иван Фомич, повел речь сначала о своих родителях. Его, видите ли, тятенька в то воскресенье с утра послал во Второй лог накосить воз травы для телят, а маменька велела заехать и посмотреть полоску проса рядом с Черкашиным овсом: растет там что-нибудь или опять, кроме лебеды, ничего не уродилось.

— Подъезжаю это я к своей полоске,— рассказывал Фаддей Демидовых,— смотрю — опять чистая полоса. Только изредка чахлые колосочки. Сеем эту просу каждый год, и ни разу она у нас еще не уродилась. То ли земля у нас неподходящая, то ли знать тут что-то надо.

— Чего ты нам про свою полосу брехаешь?— не выдержал судья Потылицын.— Ты нам про потраву у Черкашина рассказывай...

— Я об этом самом и рассказываю. Проса-то наша там ведь рядом с ихним овсом была. Подъезжаю это я к своей полосе, а рядом у Черкашиных в овсе чьи-то кони. Три коня. Все укатали и вытоптали. Посмотрел я на нашу полоску, обошел ее взад и вперед, а потом думаю, надо коней-то из Черкашиной полосы выгнать. Ну, сел я верхом на своего Игреньку и отогнал их за стрелку в гору. Потом поехал косить себе траву. Еду обратно, а они опять, волки, уж в полосе. И опять мне пришлось выгонять их. Приезжаю это я домой, а тятенька сразу на меня: «Ты что, сдох там, что ли? Тут веревки надо вить, а тебя хоть с собаками ищи». А маменька, та, конечно, насчет нашей просы антиресуется, как там да что там. А я им говорю: «Надо сбегать сначала к дяде Тимофею. У него в овсе, рядом с нашей просой, чьи-то кони. Видать, еще с вечера. Все укатали и вытоптали...»

Тут уж и я не выдержал и спросил этого брехуна, на сколько рублей сделали те кони у Черкашина потраву.

— На сколько рублей?— Свидетель подумал, подумал и начал опять со своего тятеньки, что его тятенька был на другой день на пашне и видел эту потраву, а потом сильно ругал анашенских мужиков.— Мы у них никогда ничего не травим, а они у нас каждый год травят...

— Да говори ты прямо, о чем тебя спрашивают! Стравили они овса у Черкашина на пять рублей или нет?— снова пришел мне на помощь судья Потылицын.

— На пять рублей? Оно как бы это сказать... Укатали и вытоптали они всю полосу. Это верно. А на пять рублей? Это что же, надо ведь пудов двенадцать, не меньше. Двенадцать пудов они не съели, но здорово все укатали и вытоптали. Так что если это на деньги считать, то на пять рублей они действительно вытоптали и съели...

Со свидетелями Кожуховским и Панкрашкиным дело обошлось легче. О своих родителях они ничего не рассказывали, так как были уже старые люди. Поначалу они попробовали ругать анашенских мужиков за то, что они сильно обижают с этими потравами улазское общество. Но я сразу заявил и тому и другому, что это к делу не относится, и попросил их говорить о том, на сколько рублей Терсков потравил у Черкашина овес. И оба они показали, что Черкашину надо непременно присудить не меньше четырех рублей.

После их опроса я, как это положено, спросил Черкашина и Терскова, согласны ли они сойтись по своему делу миром. Но мириться они не захотели. Тогда дедушко Митрей выпроводил их всех из судейской и оставил нас одних. Теперь нам надо было решать это дело, и Потылицын обратился ко мне с вопросом, что я думаю на этот счет.

А я решил немного схитрить и сначала узнать, что думают об этом анашенский судья Колегов и проезжекомский Сиротинин. И тут Колегов сразу же стал выгораживать своего односельчанина, что, дескать, потрава хоть и была, но небольшая и овес потом все равно выправился и что если уж и взыскивать с него что-нибудь, то самое большее рублика два для острастки. И то будет слишком много.

Зато проезжекомский судья Сиротинин встал на защиту Черкашина. Три коня целые сутки провели в полосе. Съели они, может, и не так уж много, но сколько вытоптали, укатали. И он думает, что Черкашину надо непременно присудить с Терскова рубля четыре, не меньше. Может, на четыре рубля они и не съели, не вытоптали, но надо учить людей соблюдать порядок.

А мне показалось, что будет лучше присудить и не по-анашенски, и не по-проезжикомски... И я сказал, что, по-моему, Черкашину следует присудить три рубля. Тогда коряковский судья Потылицын сразу же заявил, что так присудить будет правильнее. «Значит, ни по-нашему, ни по-вашему»,— рассмеялись Колегов и Сиротинин и сразу же согласились, что так будет, пожалуй, вернее всего. Тогда я тут же вписал такое решение в судебную книгу и попросил дедушку Митрея позвать в судейскую Черкашина и Терскова. Потом я зачитал им наше решение и спросил, довольны ли они этим решением. И Черкашин, и Терсков нашим решением остались недовольны.

— В таком случае,— объяснил я им,— вы можете обжаловать наше решение в Минусинский уездный съезд крестьянских начальников.

— Это что же, хлопотать придется? Прошение туда писать?— спросил Черкашин.

— Конечно,— сказал я.— По полной форме. Прошение об отмене нашего решения как неправильного. Это прошение надо подать нам в волостной суд. А мы его, вместе с копией нашего решения, пошлем в Минусинск.

— Белошенкова нанимать придется писать эту жалобу?

— Можно Белошенкова, а может, ваш улазский писарь напишет.

— Наш писарь никому прошениев не пишет. Говорит — я кляузами не занимаюсь.— Тут Черкашин помялся немного, а потом решительно заявил:— Пропади он пропадом, этот уездный съезд крестьянских начальников. Напиши им, а они еще в Минусинско потянут ехать из-за этих трех рублей. Нет, нет! Я хоть и недоволен, но жаловаться им не буду.

— И я тоже не буду,— поспешил заверить ответчик Терсков.— В самом деле, еще заставят ехать в Минусинско. Лучше уж не заваривать эту кашу.

— Тогда договаривайтесь между собою, как лучше,— предложил им Потылицын.— Тебе, Терсков, как ни вертись, придется платить эти три рубля. Может, столкуетесь?..

— Теперь это нас уж не касается,— поспешил заявить я.— Мы свое дело сделали. Давайте переходить к следующему.

При разборе дела Черкашина я убедился в том, что рассмотрение исков о потравах не представляет для меня особых трудностей. Ведь у нас в Кульчеке эти потравы тоже бывают каждое лето. То наши кони влезут в полосу к дяде

Илье или к дяде Ивану, то ихние к нам, но до суда дело не доходит. Так что такие случаи я знал, и нового для меня в этом деле ничего не было, кроме того, что я научился допрашивать таких бестолковых свидетелей, как этот Фаддей Демидовых.

Следующее дело было у меня тоже о потраве. Это было дело по иску крестьянина деревни Витебки Хлориана Крумпова к крестьянам деревни Проезжая Кома Севастьяну Толоконникову, Петровану Непомнящему, Василию Сычеву и Матвею Сизых — двадцать восемь рублей за потраву.

Когда мы вызвали всех по этому делу в нашу судейскую, истец Хлориан Крумпов стал просить суд перенести рассмотрение его дела на конец дня, так как у него съехались еще не все свидетели.

При подаче жалобы в волостной суд Крумпов просил вызвать по своему делу из Витебки шесть свидетелей. И вот, оказывается, из этих шести свидетелей на суд явились пока только три человека. А главные свидетели — Феликс Вайгант, Юлиус Шкутан и Адам Варник — еще не приехали. Повестки с вызовом в суд им вручены, и они с часу на час должны быть.

Учитывая это, мы решили перенести рассмотрение этого дела на конец дня.

Других дел о потраве у меня на этот день не было, и я предложил своим судьям рассмотреть комское дело по жалобе крестьянина Анисима Зыкова на крестьянина Пудана Чернова, который самовольно перепахал у него полдесятины паров и посеял на ней овес. Истец Зыков просит волостной суд поступить с Пуданом Черновым по закону за самовольный захват земли.

Дело это оказалось для нас совсем не трудным, так как Пудан Чернов представил суду удостоверение от восьми комских домохозяев, заверенное старостой, о том, что Анисим Зыков годом раньше сам самовольно забрал у Пудана Чернова эту пашню и что он, Пудан Чернов, испокон веков пахал эту землю и она, как это исстари ведется, должна оставаться в его владении.

На этом основании мы решили в жалобе Анисиму Зыкову на Пудана Чернова насчет этой земли отказать.

А дальше было еще такое же земельное дело. На этот раз с жалобой в суд явилась комская жительница Степанида Спирина, у которой самовольно запахали три четвертухи залежи братья Созонт и Василий Зыковы.

Сама Спирина суду о своем деле почти ничего не гово-

рнла. Она только тяжело вздыхала да прнчнтала. И за нее все объяснял комский староста Ннканор Кнрнллов. Оказывается, залежь, которую запахали братья Зыковы, находилась у нее около самой занмкн. Раньше Спирнны ее пахали много лет, а последние годы, после смерти мужа, Спнрнна только коснла ее.

А Созонт и Васнлнй Зыковы держались на суде довольно нахально. Земля у Спнриной — доказывали онн — пустует уж много лет. Спнрнна ее не пашет и не собнрается пахать. А нм рядом пахать нечего. Мало ли что эта земля занималась предкамн Спнрнной. Тогда было малолюдство. Пашн сколько хочешь. А теперь народу прибыло. Кругом утесненье. А дальше будет еще хуже. Что же, эта земля должна пустовать еще двадцать лет, пока у Спнриной не вырастут ребятншки? В общем, Зыковы виновнымн себя ни в чем не признали н вспаханную землю возвращать Спнриной отказалнсь.

Показання братьев Зыковых не понравнлнсь нашим судьям. Может быть, потому, что Степанида Спнрина во время нх опроса плакала н прнчитала. А может быть, потому, что комскнй староста стал стыднть их за то, что онн перепахалн залежь у Спнриной не от земельного утеснения. Зыковы в Коме самн старожилы, зажнточные домохозяева, н нмеют свон залежные земли, которые пахалнсь их отцами н дедамн. И захватили онн землю у Спнрнной от жадности, потому что земля эта хорошая, на удобном месте и не так далеко от села. И еще надеялнсь на то, что за Спирнну некому будет заступнться и это сойдет нм с рук.

Жалоба Спнрнной основывалась на единственном доводе, что эта земля заннмалась еще ее предкамн. У нас это признается везде н является как бы законом. Пахал, пахал человек землнцу, а потом решнл дать ей отдохнуть. И вот эта полоса зарастает у него лебедой, полынью, осотью, а через два-три года на ней начинает густо растн пырей. Особенно в дождлнвые годы. Вырастает чуть не в рост человека. И тогда хозяин коснт его на сено. Но через три-четыре года пырей уже перестает глушнть остальную траву, н на этой залежи начннает пробиваться другая растительность. И пырея хорошего нет, и другая трава не вошла еще в снлу. Тогда хозяин совсем оставляет эту залежь, пока она не вылежится как следует. Но залежь все равно счнтается его землей. Раньше, когда в нашнх местах народу было мало, на эту залежь никто не зарнлся. Все знали, кто ей хозяин и что еслн полезешь ее пахать, то он тебя вытурит. Знали это и

не лезли на чужие залежи. Да в этом и нужды особой не было, так как тогда много еще было свободных земель. Но это было давно. А теперь, когда понароднилось много народа и жить стало теснее, старый порядок стал все время нарушаться. Залежь принадлежит хозяину, а он ее не пашет и не косит и вроде не проявляет к ней никакого интереса. А на самом деле он ждет, когда его земля отдохнет и наберет силу. Но тут появляются охотники, которым хочется захватить отдыхающую землю. Чаще всего нарушителями старого порядка оказываются местные богачи, вроде убейского Вихляева, который таким нахрапом захватил у слабосильных мужиков около десяти десятин лучшей земли. А последние годы этот порядок стал нарушаться еще расейскими переселенцами, которых некоторые деревни наприниимали себе в общество. Эти расейские своей земли в тех деревнях, конечно, не имеют, а пахать и сеять им тоже надо. Вот они и выезжают с сохой на отдыхающие залежи. Но тут является хозяин этой свободной земли и не дает ее пахать. Начинается спор. Один доказывает свое право пахать и сеять, чтобы не умереть с голоду, другой ссылается на свое право собственности на эту землю, освященное местным обычаем. Спор переходит в ссору, а ссора в драку. Пускаются в ход колья, жерди, топоры, все, что попадется под руку. Бывает, что дело доходит даже до убийства. У нас в Кульчеке был такой случай, когда один расейский мужик убил топором местного старожила, который не давал запахивать ему свою залежь.

Но дело Спириной с Зыковыми под такие случаи не подходило. В нем было ясно, что Зыковы запахали эту землю не от нужды, а от жадности, надеясь, что это сойдет им с рук. И тем не менее жалоба Спириной показалась нашим судьям не такой уж бесспорной. Они не сочувствовали, конечно, братьям Зыковым, не оправдывали их. Они так же, как и комский староста, были настроены против Зыковых и считали, что те должны немедленно возвратить землю Спириной. Но с другой стороны, они, подобно Зыковым, не прочь были взять под сомнение старинный обычай, в силу которого право собственности на необрабатываемую залежь признавалось за тем или иным домохозяином только потому, что земля занималась еще его предками.

Этот земельный правопорядок наши судьи брали под сомнение по другим соображениям. Оказывается, Потылицын первым в Коряковой купил себе сенокосилку. И Колегов в Анаше тоже имел такую машину. А кто у нас имеет

косилку, тот может накашивать сотии копеи сеиа. Если лето дождливое, то иа залежах прет густой пырей. И тогда хозяева сами косят эти свои залежи и мечут иа иих большие стога сеиа. А если год засушливый, то трава иа этих залежах совсем плохоиькая и косить ее руками иет иикакого расчета. В таких случаях хозяева косят себе сеио иа своих обычных покосах. Травы там всегда хорошие. А богатые мужики едут иа своих сенокосилках иа эти пустующие залежи и спокойио косят их. Потому что машиной есть расчет косить даже самую плохую траву. Так бывает год, два, а то и три. И хозяева таких пустующих земель не обращают на это внимаиие. Дескать, земля все равно отдыхает... Пусть человек пользуется... А потом, глядишь, опять пришел дождливый год и иа тех залежах прет хорошая трава. И тогда иастоящие хозяева выходят иа эти свои залежи косить сеио. И туда же едут иа своих косилках богатые мужики. Оии считают теперь эти залежи вроде как бы уж собствеииостью, так как косили их по два, по три года. И тут начинается между иими ссора и ругаиь, и владелец залежи гонит богатого мужика с его машииой прочь со своей залежи, величает его горлохвостом, кровососом и другими обидиыми прозвищами.

— Не зиаю, как и жить дальше,— плакался Потылицыи Колегову.— Прямо ума ие приложу. Завел эту машину. Залез в долги. Думал, буду сенишка побольше накашивать. Можио будет иесколько лишиих коровеиок держать. А иа деле что получается? Я раньше и без машииы десять — двеиадцать четвериков ставил. А теперя с машииой еле-еле пятиадцать мечу, не говоря о том, что со всеми соседями по пашие из-за этих залежей перецапались. Стоило из-за этого огород городить.

— А я косилку купил с жатвеииым приводом,— похзастал Колегов.— Пшеиицу и овес хорошо берет. И у себя теперь все машиной жиу, и на стороиу зовут иарасхват. По пяти рублей с десятины беру иа их коиях. За два года почти полиостью оправдал машину.

Услышав такое, Потылицыи сильио расстроился. Ои забыл и про тяжбу Спириеой с Зыковыми и пристал к Колегову с расспросами иасчет этого жатвениого привода к косилке — сколько ои стоит да как работает и часто ли ломается. А потом стал плакаться и всячески корить себя, какой ои иесообразительиый. Первым в Коряковой завел сенокосилку и иедопетрил купить к ией жатвеиный привод.

Пока мои судьи рассуждали иа эту тему, я иаписал ре-

шение о том, что волостной суд рассмотрел жалобу Спириной о захвате у нее земли братьями Зыковыми, что он признает захват этой земли у Спириной незаконным и просит волостного старшину обязать комского сельского старосту снова ввести Спирину во владение этой землей.

Решением этим Зыковы остались очень недовольны. Они были уверены в том, что ничего не сделали противозаконного. Но если и общество, и волостной суд против них, то ничего не поделаешь, и им волей-неволей придется от той земли отступиться. Пусть Спирина на ней телят пасет, а они вспашут себе лишнюю десятину где-нибудь в другом месте.

Спирина, как и следовало ожидать, решением суда осталась довольна, но стала плакаться на то, что Зыковы испортили у нее всю залежь. Теперь ее два-три года нельзя будет косить. Придется сено на заимку возить с другого покоса. Шутка ли... Но мы с этим разбираться уж не стали.

А мои судьи помаленьку начали входить в дело. Поначалу они сидели за столом с растерянным видом, чувствовали себя неловко, не знали, куда девать свои руки и как смотреть на просителей и ответчиков, которые вплотную стояли перед их столом и давали им свои показания. Но постепенно стали задавать опрашиваемым вопросы. Кроме того, у них нежданно-негаданно объявился добровольный помощник, который старался всячески облегчить их работу. Этим помощником оказался Хлориан Крумпов.

После того как мы отложили его дело на конец дня, он почему-то решил не уходить из судейской и вознамерился слушать, как мы будем рассматривать другие дела.

А в суде заведен такой порядок — приглашать к слушанию каждого дела только тех, кто имеет прямое к нему отношение. А остальных, особенно всяких любопытных, не пускать. А если они, паче чаяния, туда полезут, то их оттуда безо всяких выпроваживать, чтобы они не мешали. Поэтому дедушко Митрей сразу же заметил, что Хлориан пристраивается слушать чужие дела, и сразу же выпер его из судейской в коридор. Но не прошло и пяти минут, как Хлориан снова появился в нашей судейской и стал спокойно слушать дело о самовольном захвате Пуданом Черновым земли у Ивана Зыкова.

А потом как-то так получилось, что Хлориан все время крутился в нашей судейской при опросе истцов и ответчиков, пострадавших и обвиняемых и их многочисленных свидетелей. Он вместе с ними выслушивал наши решения и открыто выражал нам свое одобрение. Если обвиняемый или

пострадавший выражали недовольство решением суда, он ловко вступал с ними в разговор и объяснял им, что суд не мог вынести другого решения, что у суда не было для этого достаточных оснований и что им надо было в свое время заблаговременно заявить в волость свидетелей со своей стороны или предоставить суду какую следует справку от старосты или приговор от общества.

Далее Хлориан стал оказывать нам уж некоторые услуги. Когда я или кто-нибудь из судей спрашивал какого-нибудь бестолкового свидетеля, а тот не мог сразу уразуметь, о чем его спрашивают, Крумпов старался прийти ему на помощь. «Господин судебный писарь (или господин волостной судья) спрашивают тебя о том-то и о том-то». А иногда он приходил на помощь спрашиваемому и отвечал за него: «Господин судебный писарь (или господин волостной судья), обвиняемый понял ваш вопрос»,— и старался дальше коротко и внятно изложить нам ответ того человека.

К середине дня у Крумпова установились с нашими судьями наилучшие отношения. Он держался с ними почтительно, усердно величая их господами судьями и всячески возвышая перед ответчиками и обвиняемыми, которых мы засудили. Когда на шестом деле дедушко Митрей притащил от Матрены второе ведро пива, судья Потылицын пригласил Крумпова выпить. Крумпов не преминул этим воспользоваться и потом рассыпался перед судьями в благодарностях.

Короче говоря, Хлориан Крумпов стал не только нашим помощником, но и хорошим знакомым. Наши судьи забыли о том, что у него есть большой иск к проезжекомским мужикам за потраву, и видели только одно — какой он услужливый и обходительный человек. Даже дедушко Митрей, который очень сурово обходился с приехавшими на суд мужиками, даже он стал проявлять к Крумпову особое расположение. Ему нравилось уважительное отношение Хлориана не только к волостным судьям и судебному писарю, но даже к нему — волостному сторожу, которого тот почтительно величал господином волостным стражем...

«Господин волостной страж просит вас выйти в прихожую и ждать там решения суда»,— помогал он дедушке Митрею выпроваживать публику из нашей судейской, когда мы заканчивали опрос свидетелей.

Таким же манером он приглашал тяжущихся входить в судейскую для заслушивания нашего решения. Так что дедушке Митрею оставалось только открывать да закрывать нашу дверь.

А мне этот Хлориан Крумпов чем-то не нравился. Вообще-то говоря, витебские жители меня очень интересовали. У них были какие-то звучные имена — Августин, Феофан, которые я встречал только в книгах. И одеты они были всегда как-то не по-нашему. Жили они в Витебке голодно, кормились одной картошкой, скота держали помалу, а одевались всегда лучше нас. Одевались они, как и мы, во все самодельное. Но это самодельное было сшито у них на городской манер. Они приезжали в волость в ловко скроенных тужурках, которые не чета были нашим неуклюжим шабурам и длинным неудобным шубам. Кроме того, они носили еще какие-то вязанные из шерсти рубахи. А наши мужики держали в несколько раз больше овец и шерсти с них снимали в десятки раз больше, а таких вязаных теплых рубах не имели.

Итак, витебские были вроде потолковее наших. На тяжелой крестьянской работе им за нашими, конечно, не угнаться. Но они умели как-то вкрадчиво подойти к начальству и добиться от него, чего им требуется.

Хлориан явился с жалобой на проезжекомских мужиков месяца полтора тому назад, когда я только заступил на место судебного писаря. Как и все приходящие с жалобами в волостной суд, он спросил, кто из нас будет судебный писарь, и, узнав, что судебным писарем являюсь я, подошел ко мне и уважительно поздоровался со мною за ручку. Вместо того чтобы сразу, как делают другие, выложить мне свою жалобу, он сначала расспросил меня, на какую сумму имеет право судить наш волостной суд, и только после того предъявил свой иск к проезжекомским мужикам. Еще ни разу мне не приходилось принимать жалоб на такую большую сумму за потраву. В старой судебной книге, которую я изучил от корки до корки, я тоже не встречал таких больших исков за потраву. И вообще, такая большая потрава выглядела неправдоподобной. Особенно для витебских.

За время своего пребывания в волости я тысячу раз слышал, что место в Витебке таежное, что хлеб там родится плохо, что сеют там понемногу и только озимую рожь, которая часто у них вымерзает, что хлеба своего им всегда не хватает и живут они главным образом на картошке. Откуда у Крумпова могла произойти такая большая потрава?

А примерно через неделю к нам приехал из Проезжей Комы Иван Толоконников узнать о жалобе Хлориана Крумпова. Он прямо ахнул, когда услышал, что тот думает высудить с него, с Непомнящего, Сычева и Сизых почти тридцать

рублей. А потом попросил записать свидетелями с их стороны пятерых проезжекомских домохозяев и ихнего старосту и иепремеиио вызвать всех их в суд. И вот теперь мне казалось, что иеспроста этот Хлориаи Крумпов увивается около иас, поддакивает иам во всем, величает нас всех господами и все время умильио смотрит иа меия, как будто я прихожусь ему родным племяиником.

Я понимал, что иам ие следует его особеино привечать, прииимать его услуги, вступать с ним в близкое зиакомство. Но Иван Фомич советовал выгоиять из судейской только тех, кто будет мешать суду работать, и иичего не сказывал о таких, как Крумпов, который не мешает, а, наоборот, всячески помогает иам. А потом, я просто не зиал, как отшить его, сделать так, чтобы ои не совался в нашу работу. Поэтому я старался по мере возможиости ие смотреть на него, не слушать, что ои говорит, и все делать так, как будто его совсем нет в иашей судейской.

А он как ни в чем ие бывало неизмеиио присутствовал при рассмотрении всех иаших дел, виимательио выслушивал наши решеиия и громогласно всем заявлял, что наш суд самый правильиый, что иаш суд ни иа какой кривой ие объедешь, что это такой суд, который все видит, во всем разбирается, и что иадо благодарить матерь божию, что мы имеем в волости таких честных, таких хороших, таких правильиых судей.

От этих непомерных похвал мои судьи вырастали в собственных глазах и проникались еще большим расположеиием к Крумпову. И вообще, ои им так понравился, что они едииодушио призиали его башковитым и очень уважительным мужиком и стали ласково называть его просто Хлором.

В одии из перерывов этот Хлор сообщил нам, что его свидетели приехали иаконец из Витебки и теперь все оии налицо.

Тогда мы тут же решили приступить к рассмотреиию его дела. Но оказалось, что Вайгант, Шкутаи и Варник хотя в Кому и приехали, ио в волость еще ие пришли и где-то прохлаждаются по своим квартирам, а может, по дороге в суд застряли в лавке у Демидова. Крумпов долго извинялся перед иами за такое дело, а потом побежал их разыскивать. А мы тем времеием занялись одним тесинским делом по жалобе Василия Кузьмииа иа своих односельчаи Тимофея Аизуряиова и Фаддея Еремеева иа то, что они обрезали хвост и гриву у его лошади...

И вот иаконец подошло время рассматривать наше по-

следнее дело о потраве у Хлориана Крумпова. По мере приближения этого момента Крумпов стал заметно волноваться. Он уже привел Вайганта, Шкутана и Варника в волость и теперь все время бегал в прихожую и о чем-то с ними шушукался.

А проезжекомские ответчики по его делу к нам в судейскую не лезли. С утра они вместе со всеми терпеливо ждали своей очереди в прихожей, а когда дело отложилось на конец дня, скрылись куда-то и теперь заявились слушать свое дело.

— А таперича вызывают витебских и проезжекомских насчет потравы,— пригласил их дедушко Митрей в судейскую.— Давайте скорее, а то наши судьи осовели уж здесь от этой духотищи.

Тут сразу Хлориан Крумпов в окружении своих шести свидетелей оказался в нашей судейской. За ним довольно неохотно потянулись проезжекомские мужики.

Когда Хлориан помогал нам выспрашивать пострадавших, обвиняемых и свидетелей по другим делам, он делал это четко, ясно и вразумительно. И судьи были этим довольны. И сам он был собой доволен. А когда он стал обсказывать суду свое собственное дело, голос его стал прерываться и дрожать, и сам он стал задыхаться и даже путаться.

Поначалу это даже удивило наших судей. Но они решили, что его волнение вполне понятное. Такая большая потрава. Остался человек с семьей без куска хлеба. Хоть на кого доведись — начнешь волноваться.

Но Крумпов постепенно оправился и начал довольно складно рассказывать суду о том, каким образом он потерял в этом году весь свой урожай. Оказывается, проезжекомское общество перенесло поскотину к самым витебским пашням. А в поскотине у них, как известно, пасется скот. Коров пасут пастухи, и, кроме того, имеется еще несколько вольных табунов лошадей, и, между прочим, большой табун Толоконниковых. А жеребец у Толоконниковых хитрый. Подойдет к поскотине и начнет об нее чесаться. Почешется раздва, глядишь, и свалит целое прясло. Ну, тут табун сразу через этот пролом в витебские пашни. Так и нынче... Этот жеребец выворотил в Черемуховом ключике целое прясло и привел табун прямо в его полосу.

— Перед самым петровым днем,— рассказывал Крумпов,— приезжаю я на свою полосу посмотреть, как там у меня и что... И, матерь божия! На полосе лошадей три-

дцать пасется. Все укатали и вытоптали. Тут побежал я к своим соседям. «Беда!— кричу.— Проезжекомский табун весь урожай съел да вытоптал!» Ну, действительно, мы тогда с Вайганом и Совейкой выгнали этих лошадей обратно в проезжекомскую поскотину, подняли и укрепили сваленное прясло. На другой день поехал я к проезжекомскому старосте: «Так и так,— говорю,— у меня произведена большая потрава». А он мне: «Какая,— говорит,— теперь потрава. Хлеб еле-еле в дудку вышел... Выправится еще».— «Так поскотина,— говорю,— там у вас в Черемуховом никуда не годится... Ваш проезжекомский табун через нее прямо в мою полосу».— «Ладно,— говорит,— присмотрим».

Ну, думаю, все наладится. Тем временем прошли дождики. Теперь, думаю, справится моя рожь. Еду в воскресный день посмотреть. И... опять на моей полосе тот же табун. И опять пришлось мне загонять его в проезжекомскую поскотину. А в ильин день я опять застукал этот табун на своей пашне. Вот приходит время собирать урожай. А у меня и жать нечего. Так, кое-где отдельные колоски. Посмотрел я, заплакал горькими слезами, схватился за голову. Как жить! Чем кормиться! Куда жаловаться! Пошел к нашему старосте. «Так и так,— говорю,— господин староста. Что делать? Остался без куска хлеба... Проезжекомские весь урожай в Черемуховом ключике стравили». А староста мне и советует: «Не падай духом, Хлориан. Если стравили — жалуйся в волостной суд. Там все рассудят, со всем разберутся, не дадут тебя в обиду. Там сидят люди правильные, понимающие, что к чему».

Дальше Крумпов подробно рассказал, как он приезжал в волость подавать жалобу на проезжекомских мужиков и нашел здесь полное понимание со стороны господина судебного писаря. Он правильно записал всех ответчиков и свидетелей и всех до одного вызвал на сегодня в суд. И теперь он, Крумпов, надеется, что господа волостные судьи войдут в его бедственное положение и присудят ему эти несчастные двадцать восемь рублей, чтобы он смог купить у тех же проезжекомских мужиков пудов пятьдесят жита и как-нибудь продержаться с семьей до нового урожая.

Проезжекомские мужики смотрели на Хлориана разинув рты. На их лицах выражалось полное недоумение. Они только хлопали глазами да разводили руками. Мои же судьи, слушая его, сокрушенно качали головами. Они, видимо, во всем ему верили. Потылицын даже настроился немедленно допрашивать его свидетелей, чтобы не особенно

затягивать дело. Но я объяснил им, что мы должны сначала заслушать противную сторону, то есть ответчиков, и только после того приниматься за свидетелей.

А проезжекомские мужики, которых мы стали опрашивать об этой потраве, стали дружно от нее отказываться. По их словам все оказывалось по-другому. Никакого общего табуна с Толоконниковым у них нет. Кобыленки и молодняк пасутся у них в разных табунах, а рабочие лошади сами по себе — ходят на воле в поскотине. А что насчет толоконниковского жеребца, то действительно у Толоконникова был такой жеребец и того жеребца не держала ни одна изгородь. Но ведь этого жеребца выхолостили еще в прошлом году, и он теперь ходит как миленький коренным в сохе. Поскотину в Черемуховом ключике у них с весны проверял староста. Поскотина там крепкая. Ее ни разу не пришлось чинить ни прошлым, ни нынешним летом. И потом, откуда у Крумпова объявилась в Черемуховом ключике десятина ржи, когда у него была засеяна там всего одна четвертуха? И вообще-то витебские больше четвертухи в одном месте не сеют. Особенно в Черемуховом ключике. Не верите — съездите, посмотрите сами... Небольшие полоски, то здесь, то там... Да и, правду сказать, куда размахнешься, если кругом тайга. Так что жалоба Крумпова на потраву десятины ржи — сплошной поклеп. А потом, если случилась такая большая потрава, надо было, как это делается у хороших соседей, осмотреть ее с понятыми от витебского и проезжекомского общества. В общем, проезжекомские ответчики начисто отказались признать на полосе Хлориана какую-либо потраву и просили суд как следует разобраться с этим делом. А Крумпову они даже ломаного гроша не заплатят.

Все витебские свидетели дружно показали в пользу Крумпова. Проезжекомские табуны действительно стравили у него большую полосу хлеба, и эта потрава должна оцениваться не менее как в тридцать рублей. Но дальше между этими свидетелями началась какая-то разноголосица. Один говорил, что полоса была у Крумпова совсем рядом с поскотиной. У других получалось так, что полоса не у поскотины, а в стороне, за стрелкой. Один утверждал, что полоса была около его пашни, а другой клялся и божился, что она находится рядом с его пашней, причем оказывается совсем в другом месте. Он потому и знает об этой потраве, что эти проезжекомские табуны на его глазах съели у бедного Хлориана весь посев. А Станислав Совейко договорился до того, что у Хлориана было стравлено две полосы. Одна, загона

на четыре, у самой поскотины и большая полоса за ключиком в мысочке, к солнопеку. В итоге получалось так, что проезжекомские лошади потравили у Крумпова хлеб не на одной, а на нескольких полосах и все эти полосы находились в разных местах.

Теперь дело дошло до свидетелей со стороны ответчиков. Тут первым стал говорить проезжекомский староста. Он показал, что Хлориан действительно приезжал к нему летом с жалобой на то, что наш табун прорвался к ним через поскотину на пашни и стравил у него в Черемуховом ключике большую полосу ржи.

— Тут я сразу же договорился с ним,— рассказывал староста,— освидетельствовать завтра с понятыми эту потраву, чтобы все было честь честью, по-суседски, без обиды. На другой день беру я понятых и с утра еду с ними в указанное место. Ждем-пождем там до самого обеда витебских понятых. Но так и не дождались их. Тогда мы одни осмотрели по Черемуховому ключику нашу поскотину. И всю ее нашли в порядке. А потом осмотрели по пути около поскотины витебские полоски с хлебом. Полоски все маленькие, и ни на одной незаметно никакой потравы. Какая из этих полосок крумповская, так и не разобрались. Хотели поехать в Витебку к старосте насчет этого дела. А потом решили, что он, может, и не знает, что к нам приезжал какой-то витебский пустобрех, натрепался насчет потравы, а потом ушел в кусты. Так впустую и съездили в этот Черемуховый ключик. Потратили целый день зазря. Однако я на всякий случай наказал проверять там поскотину, да и сам время от времени наведывался туда. Как бы, думаю, эти витебские не подстроили нам чего-нибудь. Но все обошлось вроде как бы хорошо. Поскотина до самой осени простояла в исправности, и других жалоб о потраве от витебских не было.

Свидетели Кузьма Сюксин и Еремей Филин полностью подтвердили показания старосты. Они ездили с ним понятыми свидетельствовать эту потраву, проваландались там целый день, поломанной поскотины не нашли и потравленного хлеба у витебских не видели, хоть и обошли все их полоски. И больших полос там не видели. Все больше по четыре, от силы по пять загонов.

Наконец все свидетели со стороны истца и ответчиков были опрошены, и подходило время нам выносить свое решение. Тут дедушко Митрей, как это ему полагается, стал всех вытуривать из судейской. И ответчики, и свидетели не торопясь стали выходить в прихожую. Один Хлориан чего-

то пережидал. Когда все уже вышли и дедушко Митрей собирался закрывать судейскую, он вроде как бы одумался и вспомнил, что ему тоже надо выходить. Но, вместо того чтобы идти в прихожую, он подошел к нашему столу и вдруг ни с того ни с сего стал прощаться об ручку с нашими судьями, будто он расставался с ними насовсем. Он по очереди долго тряс руку каждому судье и приговаривал: «Уж вы войдите в мое положение. Из-за этой потравы я остался с семьей без куска хлеба».

Простившись с судьями, Хлориан схватил в заключение и мою руку и стал усиленно ее трясти. Он тряс мою руку, а сам умильно смотрел мне в глаза и чуть не со слезами повторял: «Господин судебный писарь, господин судебный писарь! Войдите в мое положение».

Сказать по правде, я не понимал, с чего это Хлориану вздумалось со мной прощаться, и не знал, как отвечать на это рукопожатие. На всякий случай я тоже стал трясти ему руку. Крумпов как бы обрадовался этому моему рукопожатию и стал еще сильнее трясти мою руку. А потом как бы нехотя пошел из судейской.

Тут я почувствовал, что в моей руке после его рукопожатия что-то осталось. Как только дедушко Митрей наглухо закрыл за ним дверь, я осторожно разжал ладонь и увидел в своей ладони большой серебряный рубль...

Сначала я ничего не понял. Для чего Крумпов оставил в моей руке этот серебряный рубль и что мне с ним теперь делать? Я на всякий случай сунул его в свой карман и взглянул на своих судей. На этот раз они не смотрели на меня выжидательно и не ждали моего мнения по этому делу. На этот раз они что-то оживленно говорили между собою и не обращали на меня никакого внимания. И тут внутри меня вдруг кто-то отчетливо сказал: «Ведь этот жулик вручил тебе взятку... Взяточник ты, вот кто!» Я понимал, конечно, что это я сам себе сказал эти слова, но все равно до смерти перепугался. «Ведь это я взятку взял у него»,— мысленно повторял я эти свои слова, и краска стыда залила мне лицо. «Хорош судебный писарь! Нечего сказать,— опять кто-то заговорил во мне.— Не успел и дня проработать, как уж начал принимать рублики. Что-то скажут отец с матерью, если узнают это. Воспитали сынка».

Тут я снова взглянул на своих судей. Раньше, когда мы выпроваживали всех из судейской и дедушко Митрей закрывал за ними дверь, Потылицын обращался ко мне с неизменным вопросом: «Как ты думаешь, брат? Присудить

ему или не присудить?» И ждал, когда я выскажу свое мнение. И как только я говорил, что этому просителю следует присудить или в иске отказать, он сразу же заявлял: «Мы тоже думаем так... Вот и пиши такое решение, а мы тем временем поговорим о своих делах».

После этого я начинал писать в судебную книгу решение, а мои судьи выпивали по ковшичку пивца и начинали рассуждать о хозяйстве, об урожае, о работе и все такое. А на этот раз все пошло по-другому. Не успел я прийти в себя, как Потылицын обратился ко мне со словами:

— А ведь ему надо, брат, присудить. Здорово обидели мужика эти проезжекомские.

— Присудить, конечно, надо,— сразу поддержал Потылицына анашенский судья Колегов.— Голодать иначе будут.

А проезжекомский судья Сиротинин впал в большое раздумье:

— Оно, конечно, потрава была. И с поскотиной этой каждое лето морока получается. То в одном месте, то в другом. Всяко ведь быват. Так что дивствительно присудить ему надо...

А у меня буквально сверлило в голове, что я сделался взяточником. Я понимал, что взяточник — человек купленный. И если Крумпов всучил мне один рубль, то теперь надеется при моей помощи содрать с проезжекомских мужиков двадцать восемь рублей. Моему отцу нельзя будет после этого показаться в Проезжей Коме. Там на него все будут пальцами показывать. А что скажет мама, когда узнает об этом? Да она изведется с горя.

А серебряный рубль в кармане прямо прожигал мои штаны.

— Так что пиши ему в свою книгу рублей двадцать пять... Больше-то ему не стоит.

— Хватит ему и двадцати пяти,— подтвердили Колегов и Сиротинин.

— Какое право мы имеем присуждать ему эти деньги? Ведь никакой потравы не было!— резко возразил я.

— Как это не было!— всполошился Потылицын.— Ты что, не слышал, что он рассказывал? Толоконниковский жеребец своротил целое прясло поскотины и прямо со всем табуном влез в его полосу.

— И свидетели витебские это доказывают,— поддержал Потылицына Колегов.

— Вранье все это!— отрезал я.

На этот раз меня злили наши судьи. Почему они запомнили показания Крумпова и его свидетелей, а показания ответчиков, проезжекомского старосты с понятыми, пропустили мимо ушей?

— Враньё все это!— повторил я.— Никакой потравы не было. И толоконниковского жеребца не было. И поскотины он не ломал. И десятины ржи у Крумпова не было. Я ведь записал все их показания. Вот они у меня в книге...

И я стал сравнивать показания Крумпова, ответчиков и свидетелей и доказывать моим судьям, что мы не имеем никакого права присуждать Крумпову ни одной копейки за потраву. Однако на этот раз мои судьи уперлись и решительно настаивали на том, что Крумпову надо хоть немного присудить. Не все, что он требует, но хотя бы рублей двенадцать...

Все предыдущие дела мы решали за одну-две минуты, да минут десять — пятнадцать я тратил на писание решения. А сейчас мы проспорили уж минут тридцать и ни до чего не договорились. Судьи настаивали решать дело в пользу Хлориана, а я заявил, что такое решение писать не буду. Наконец мне пришло в голову пойти с этим делом к самому Ивану Иннокентиевичу и рассказать ему все. Тут я с шумом захлопнул свою судейскую книгу и заявил судьям, что иду с этим делом к самому Ивану Иннокентиевичу. Я расскажу ему все по порядку и сделаю так, как он прикажет. Если он велит решить дело в пользу этого жулика, то мы присудим ему все двадцать восемь рублей. Если скажет отказать в иске — мы откажем.

Мое решение идти к Ивану Иннокентиевичу здорово перепугало судей, и они сразу пошли на попятную.

— Пиши тогда ему полный отказ, если такое дело,— первым передумал Потылицын.— Может, в самом деле там и потравы не было. Неспроста он весь день увивался вокруг нас. А мы, дураки, развесили уши: какой он уважительный да обходительный... Пиши, так его растак, отказать ему полностью. Пусть жалуется в Минусинско этому уездному съезду.

Вслед за Потылицыным судьи Колегов и Сиротинин тоже решили, что Крумпову в иске лучше будет отказать...

А серебряный рубль, лежавший в моем кармане, делал меня как бы соучастником какого-то тайного сговора решить это дело в пользу Крумпова. И теперь мне хотелось как можно скорее доказать самому себе, что я не взяточник, не продажный человек, что я не причастен ни к какому тайно-

му сговору с Крумповым и что мне совершенно не нужен его серебряный рубль.

При опросе сторон и свидетелей я коротенько записал их показания в свою судебную книгу. Из них было видно, что иск Крумпова к проезжекомским ответчикам в сумме двадцати восьми рублей за потраву ни на чем не основан. Поэтому решение суда я написал очень коротко и быстро со ссылкой на это обстоятельство и сразу же подал знак дедушке Митрею впускать в судейскую Крумпова с ответчиками и всех свидетелей, которые более часа томились в нашей прихожей в ожидании решения суда.

Крумпов вошел в судейскую в окружении своих свидетелей. На этот раз он держался очень уверенно. На его лице играла довольная улыбка.

Проезжекомские ответчики со своими свидетелями хмуро глядели на сияющего Крумпова и на его гордых свидетелей и ничего хорошего для себя от нашего суда, видимо, не ждали. Они очень неприветливо уставились на меня, как будто заметили в моем кармане серебряный рубль.

А наши судьи не приветствовали Хлориана, как раньше, доброжелательными улыбками. Они молча сидели на своих местах, не обращая ни на кого внимания.

Но Крумпов принял это за хорошее предзнаменование. То, что мы почти два часа совещались по его делу, он тоже считал хорошим признаком и был уверен, что выиграет свой иск к проезжекомским мужикам.

За этот день я уж девять раз зачитывал решение нашего суда и освоился с этим делом. А потом, мне даже нравилось зачитывать эти решения. И я старался читать их громко и отчетливо, чтобы они были ясны и понятны заинтересованным сторонам.

И сейчас все — и истец, и ответчики, и свидетели — уставились на меня в ожидании решения суда. Хлориан смотрел на меня смело и уверенно, как на своего верного друга, и на его лице играла еле заметная, понятная только мне улыбка. Его свидетели смотрели на меня тоже ласково, как будто я был их старым знакомым или, на худой конец, приходился им земляком и приехал в Кому в судебные писаря прямо из их Витебки.

А я старался не смотреть ни на Крумпова, ни на его свидетелей. И зачитывать им наше решение мне вдруг почему-то расхотелось. Мне стало даже немного жаль этого Хлориана. Он столько потратил хитрости, чтобы засудить проезжекомских мужиков, столько помогал нам сегодня в работе.

А потом, он ведь все точно рассчитал — сколько он закупит хлеба на высуженные деньгн. Наверняка решнл купить пудов сорок пшеницы в Анаше. У анашенских хлеба родятся всегда хорошие. Может, он даже со своими свидетелями поделится той пшеничкой. Недаром же онн клялись, что у него была полностью стравлена десятиниа хлеба.

Однако жалел я Крумпова самое короткое время. Серебряный рубль в кармане все время напоминал мне о том, что я получил взятку, что Крумпов купил меня с потрохамн за этот рубль и что мие надо как можио скорее показать ему и его гордым свидетелям, что меня ни за рубль, ни за два и даже за три рубля ие купишь. Тут мне иеожиданно пришла в голову мысль — прочитаю сейчас решение, а потом отнесу Иваиу Фомичу этот проклятый рубль. Пусть он с иим что хочет, то и делает. А мне эти деньги не нужны. И как только мне пришло это в голову, я сразу твердо встал иа иоги, прямо посмотрел на Крумпова, на ответчиков и на всех свидетелей и начал читать наше решение.

Чнтал я его громко и внятно, не сбиваясь и не заикаясь, как это у меня получалось утром. Читал так, что даже мои судьи приободрились и смело стали поглядывать по сторонам. После обычиого общего вступления иасчет состава суда я сразу перешел к сутн дела и прочитал, что «Комский волостной суд, рассмотрев показания сторон и свидетелей, прнзнал иск Крумпова к проезжекомским ответчикам в сумме двадцати восьми рублей за потраву недоказаиным и иа этом основании решил в том нске Крумпову отказать и дело производством прекратить».

Крумпов слушал наше решенне поначалу совсем спокойно, а когда поиял, что его дело в суде совсем завалилось, ему стало не по себе. Он долго стоял как бы оглушеиный, ио потом одумался н вдруг... заплакал. Он плакал горькими слезами и приговаривал: «Как же это так, господа судьи? Как же мне теперь быть? Ведь вы оставили меня с семьей без куска хлеба».

Свидетели Крумпова тоже потеряли свой гордый вид и один за другим молча стали покидать судейскую. Зато проезжекомские ответчнки, решнвшне, что Крумпов непремеино нагреет их с нашей помощью на двадцать восемь рублей, вдруг обрели дар речн и стали шумно выражать свое одобрение решению суда.

А судьям почему-то стало иеловко, что они засуднли Хлориана, и они стали всячески его утешать. Они повторялн ему те слова, которые ои сам говорил здесь засужеиным,

что суд во всем разобрался, все взвесил, и туда и сюда, и нашел его иск к проезжекомским ответчикам недоказанным и на этом основании вынес свое справедливое решение.

Тем временем я сделал запись в судебную книгу, что истец Крумпов решением суда остался недоволен и что порядок обжалования этого решения ему известен. Дальше мне делать в судейской было нечего, и я объявил судьям, что все назначенные на сегодня дела мы рассмотрели и завтра с утра будем продолжать свою работу. После этого я собрал все мои дела и пошел в общую канцелярию к Ивану Фомичу, чтобы посоветоваться с ним, как мне разделаться с этим проклятым серебряным рублем.

Иван Фомич только что пришел на вечернее занятие и просматривал за своим столом какие-то бумаги. По моему виду он сразу заметил, что у меня что-то случилось, и вопросительно уставился на меня. А я, не дожидаясь его расспросов, сразу выпалил:

— Иван Фомич! Что мне делать?

— Что случилось?

— Я взял взятку...

— Час от часу не легче. Большая взятка-то?

— Один рубль.

И я вынул из кармана злополучный серебряный рубль и подал ему. Он взял рубль, покрутил его в руках и осторожно положил перед собою на стол.

— Как это случилось?

Я рассказал...

— Значит, и судьям всучил по рублю?

— Не знаю...

— А как они были настроены при решении дела?

— Они хотели непременно присудить ему двадцать пять рублей. Но я отказался писать такое решение и сказал, что пойду жаловаться на них Ивану Иннокентиевичу, потому что это будет неправильное решение. Тогда они испугались и решили в иске Крумпову отказать...

— И отказали?

— Отказали...

— Как этот прохвост принял ваше решение?

— Сначала остолбенел, а потом начал плакать.

— Ну что же. Все ясно. Ты поступил правильно. Молодец! И судей согнул на свою сторону. Это тоже хорошо. Но в следующий раз взятки не бери...

— Коиечно, ие буду... Я ие зиал, что он суиул мне деиьги. Но как отдавать?

— А ты окликии его и скажи, что ои только что иечаянио оброиил около тебя эти деиьги...

— А что же мы теперь будем делать с этим рублем? Как его ему отдать? — забеспокоился я.

— Теперь уж поздио. Впрочем, посмотрим. Дедушка Митрей!

— Чего?— послышалось из судейской.

— Есть там кто-нибудь, кроме тебя?

— Никого иет. Все разошлись.

— И Крумпова этого иет?

— Хлора? Тоже иет. Ушел вместе с витебскими.

— Что же теперь делать с этим рублем?— опять спросил я Иваиа Фомича.

— Сейчас мы найдем ему иазначение. Дедушка Митрей!

— Ну, чево еще?

— Прибери там как следует и обязательио открой окио. Чтобы хорошо проветрилось. А потом сходи к тетке Матрене и принеси от иее на этот рубль два ведра пива. Поставишь их там иа столе. Да поторопись, пожалуйста.

— Куда торопиться-то?.. На пожар, чево ли?.. Успеется...

И дедушко Митрей пошел к Матрене за пивом. Через полчаса все собрались в судейской. На столе стояло два больших пеиистых ведра пива. У всех было веселое настроеиие. Иваи Фомич первым зачерпиул большой ковш и произнес шутливую речь иасчет меия, что я хоть и мал еще, но уж научился брать взятки и что мою первую взятку надо как следует смыть хорошим пивом.

Он выпил первым. За иим опрокинули по ковшику Иван Осипович, Петька Казачоиок, старшиив Безруков и заседатель Болии. Все пили и хвалили меия за то, что я и взятку взял от Крумпова, и дело решил по справедливости.

А потом и меия заставили выпить большой ковш. Я коекак осилил его и пошел домой. После такого длиииого дия я даже ие чувствовал усталости, вероятио, от выпитого пива. Потому что пиво у тетки Матреиы действительио вкусное, ио ие пьяное. В голову ие ударяет, ио придает бодрость и силу. Оттого я, после такого тяжелого дия, шел домой веселый, с хорошим настроением. И нисколько не боялся завтрашиего заседаиия волостного суда.

Глава 16
ДЕЛО ВИХЛЯЕВА

В один из дней, когда я уж более или менее освоился с судебными делами, к нам в волость приехал из Убея какой-то пожилой мужик. Не задерживаясь в прихожей, он прямо вошел к нам в канцелярию, осмотрелся, выжал сквозь зубы: «Здравствуйте...» — и спросил: «А где у вас Павел Михайлович?» Услышав, что Павел Михайлович уехал писарить в Черную Кому, он спросил: «А кто же теперь за него ведет судебные дела?» Тогда ему указали на меня.

Я не знал еще тогда, что этот высокий, по-крестьянскому хорошо одетый мужик со стриженой бородой и какими-то колючими глазами и есть тот самый Вихляев, на которого приезжал жаловаться один убейский мужик, у которого он нахрапом захватил десятину земли, отведенную ему обществом. А теперь сам Вихляев заявился к нам с какой-то жалобой в суд. Я думал, что он, как все, обратится с этим делом ко мне. А он посмотрел на меня, усмехнулся и, не сказав ни слова, прошел к Ивану Иннокентиевичу.

А у Ивана Иннокентиевича в тот день, как всегда, было хорошее настроение, и он не переставая рассказывал свои смешные истории. Вскоре к захлебистому смеху старшины и заседателя присоединился сухой, деревянный смех Вихляева. Спустя некоторое время он вышел от Ивана Иннокентиевича и, не задерживаясь у нас в канцелярии, отправился куда-то по своим делам.

После его ухода Иван Иннокентиевич кликнул меня и вручил мне заявление Вихляева «Комскому волостному старшине на волостной суд». Он попросил меня внимательно ознакомиться с этим заявлением, завести на него, как полагается, особое дело, а потом назначить его на рассмотрение в порядке очереди.

В своем заявлении Вихляев просил взыскать со своего односельчанина Давида Кириллова шестнадцать рублей двадцать пять копеек за то, что тот ушел от него из работников раньше срока. Но суть жалобы заключалась не в том, что Кириллов ушел от Вихляева раньше срока, а в том, что Вихляев, согласно заключенному между ними условию, хочет рассчитать его за проработанное время в половинном размере. Основываясь на таком условии, он теперь утверждает, что переплатил Кириллову эти шестнадцать рублей

двадцать пять копеек, и просит суд взыскать с него эти деньги обратно.

При подготовке других дел мне всегда была ясна суть каждой жалобы, а свидетельские показания в суде не оставляли потом у меня никаких сомнений в основательности того или иного денежного иска или в виновности тех или иных лиц в ссорах и драках.

И в деле Вихляева все было тоже как будто ясно и справедливо, но вместе с тем никак не укладывалось в моей голове. Вихляев нанял Кириллова в работники на год за шестьдесят рублей и заключил с ним об этом письменное условие. Давид Кириллов пробыл у него в работниках немногим больше полугода и ушел потом домой. По заключенному условию Кириллов должен был получить за проработанное время тридцать два рубля пятьдесят копеек. И деньги эти он с Вихляева получил. Но по этому же условию Вихляев, в случае преждевременного ухода от него Кириллова, может заплатить ему только половинную плату. В общем, получалось так, что жалоба Вихляева была правильная и справедливая, но условие, на котором она основывалась, было очень жестокое. И суд, основываясь на этом условии, должен рассчитать Кириллова за работу у Вихляева только в половинном размере, так что ему придется за проработанное время всего по восемь копеек в день.

Будет ли справедливо такое решение суда, я был не уверен и, главное, не знал, кого мне поддерживать в суде при решении этого дела.

А жалобой Вихляева сразу заинтересовались Иван Фомич и Иван Осипович. Они попросили меня показать им заявление Вихляева и условие, которое он заключил с Кирилловым на работу.

— Плохо придется этому Кириллову,— сказал Иван Осипович.— Засудит его теперь наш волостной суд. Как ты думаешь?— спросил он меня.— Засудит или нет?

— Не знаю,— ответил я.— Если засудит, то ему придется с Вихляева всего по восемь копеек в день...

— Здорово. Жалко будет, если засудит. Но что поделаешь. Условие заключено по всем правилам, при старосте и свидетелях. Умный мужик этот Вихляев. И откуда только он выудил образец этого условия? Убейскому писарю такое не сочинить.

— Все обстряпал, а одной вещи не предусмотрел,— сказал Иван Фомич.

— Какой именно?

— Все денежные договора и условия должны, по закону, оплачиваться гербовым сбором. А это не оплачено. Значит, оно не имеет законной силы. Так что суд может отклонить его и рассматривать дело исключительно на основании свидетельских показаний...

— Вот это здорово,— сказал Иван Осипович.— А я и не знал об этом. Ты что-нибудь кумекаешь?— обратился он ко мне.

Я признался, что пока еще ничего не кумекаю.

— Ты видел у Ивана Иннокентиевича гербовые марки?— спросил меня Иван Фомич.

— Видел.

— А знаешь, для чего их у него покупают?

— Видел, что покупают, потом наклеивают на какие-то бумаги и тут же перечеркивают. Портят новые марки. Даже жалко. А для чего так делают — не знаю...

— Какой же ты судебный писарь, если не знаешь, для чего гасят гербовые марки? Запомни — гербовые марки идут на оплату частных денежных документов государственным гербовым сбором. Положим, я тебе продал, а ты у меня купил новый крестовый дом под шатровой крышей за триста рублей. Сто пятьдесят рублей ты платишь мне чистоганом, а остальные в рассрочку на год. И вот мы составляем об этом купчую и записываем в нее эти наши условия. А потом несем купчую сюда, в волостное правление. Здесь ее заверяют и взыскивают с нас государственный гербовый сбор, то есть берут определенную сумму в пользу казны, а на эту сумму наклеивают на нашу купчую гербовые марки, а потом их погашают, то есть перечеркивают. Только в этом случае наша купчая будет иметь законную силу. Условие на наем работника — тоже денежный документ и, следовательно, подлежит оплате гербовым сбором. А у Вихляева оно не оплачено. Значит, суд при рассмотрении дела с этим условием может не считаться. Понял, в чем дело?

Я вспомнил, как мне приходится составлять от имени старшины протоколы с жалобами в волостной суд и потом скреплять их казенной печатью и как они от приложения печати сразу приобретают законную силу. У меня печать, решил я, а здесь гербовая марка. В этом все дело.

— Понимаешь теперь, в чем суть?— еще раз переспросил Иван Фомич.

— Теперь понимаю,— не особенно уверенно ответил я.

— Вот и хорошо. Судебный писарь все должен знать. Когда будете рассматривать это дело, ты после того, как

заслушаете показания Вихляева, заяви, что условие не имеет законной силы, так как оно не оплачено гербовым сбором, и что поэтому суд будет рассматривать дело, сообразуясь только с показаниями сторон и свидетелей. Сумеешь ты это сделать?

— Нет, не сумею,— ответил я.

— Это почему же?— спросил Иван Фомич.

— Вихляева боюсь.

— Какой же ты судебный писарь, если боишься Вихляева? И дело-то пустяковое. Всего на шестнадцать рублей.

— Других не боюсь, а Вихляева боюсь. Да вы и сами говорили убейскому мужику, который приезжал с жалобой на него, что Вихляев все ходы и выходы знает и что с ним даже общество боится тягаться.

— Да, да, говорил. Что верно, то верно. Мужик он хоть и неграмотный, но умный и хитрый. И, пожалуй, сразу поставит тебя чем-нибудь в тупик. Но что делать. Жалоба подана, и суд обязан ее рассмотреть. Так что оформляй это дело и назначай к слушанию. А мы тебе как-нибудь поможем...

Разговор с Иваном Фомичом и Иваном Осиповичем меня немного успокоил, но мне все-таки не хватало смелости назначать это дело в порядке очереди. И я откладывал его каждый раз до следующего вызова волостных судей. Отложил раз, отложил два, а дальше уж и откладывать нельзя. Того гляди, заявится Вихляев и потянет меня к Ивану Иннокентьевичу. А то, чего доброго, крестьянскому начальнику нажалуется. Тогда совсем беда. Так что крутись не крутись, а от встречи с Вихляевым мне не отвертеться.

Один раз, когда я занимался своими судебными делами, к волости подъехал проезжекомский писарь Шипилов, про которого говорили, что он знает все на свете. Он сильно огорчился, что уже никого не застал в волости, кроме меня, а потом вдруг ни с того ни с чего начал расспрашивать меня о том, как я живу, как работаю, что читаю и вообще как провожу свободное время.

Занятый встречами с Иваном Иннокентьевичем, Иваном Фомичом и Павлом Михайловичем, Шипилов в волости меня почти не замечал, и теперь я был очень удивлен его приветливым разговором. Я не особенно вразумительно отвечал на его расспросы, особенно по части чтения книг в свободное время, а потом меня вдруг осенило расспросить его насчет этого проклятого гербового сбора, что он такое и для чего установлен.

Шнпилов удивился моему вопросу, сказал, что ои никак не ожндал, что я ннтересуюсь столь серьезнымн матернями, и спроснл, зачем мие это?

Тогда я подробно рассказал ему о деле Внхляева.

Шипилов вннмательно выслушал меня н сокрушенно покачал головой:

— Да... Жалко человека. Пнсьменные условня иа наем работнников в нашнх местах пока не прнняты, и нам, слава богу, ие приходится нметь с нимн дело. Но коль скоро такое условне представлено суду как денежный документ, то, конечно, оно должно быть оплачеио гербовым сбором. А вообще-то говоря, это условие имеет кабальный характер.

Тем временем стал прнблнжаться иазиачеиный день работы волостиого суда, и я решил еще раз сходить к Ивану Фомнчу, чтобы он как следует растолковал мне, как лучше вестн себя прн рассмотрении этого дела.

— Как жаль, что я не судебный пнсарь, — вздохнул Иван Фомнч. — А то все было бы проще. Я не стал бы особенно валандаться с этим делом, а без всяких разговоров впнсал бы в книгу решенні отказ Вихляеву в нске. Он н пнкнуть у меня не посмел бы. А еслн бы стал ерепеннться, то я сумел бы заткнуть ему глотку. Давно пора одернуть этого жнводера. А тебе это будет не под силу. Так что действуй окольным путем. Как только судьн съедутся н вы начнете работу, ты выберн подходящні момент н осторожно наведн разговор на это дело. Объясни нм все насчет гербового сбора н растолкуй, что условне между Внхляевым н Кирнлловым не нмеет законной снлы. Потом расскажн нм, что за фрукт этот Внхляев, н все время внушай нм, что нехорошо будет суду вставать на сторону снльного н богатого н утеснять бедного, беззащитиого человека. Кого нз судей тебе лучше будет взять в оборот? Кто нз них толковее н податлнвее, с того и иачннай...

Из трех судей, с которыми я имел дело, мне больше всех нравнлся Потылнцын. Он был веселее и обходнтельнее своих иапарнников, любнл поговорнть о тяжелой мужнцкой доле, немного подшучивал над своей темнотой н неграмотностью. Он старался разобраться с обстоятельствами каждого дела, которое мы рассматривали, н часто вмешнвался с этой целью в споры и раздоры тяжущихся сторон. Когда дедушка Мнтрей выпроваживал всех нз судейской, ои сразу же обращался ко мне с вопросом, что я думаю насчет этого дела. Выслушав меня, ои тут же заяв-

лял, что думает точно так же, и только после этого осведомлялся о мнении Колегова и Сиротинина. И всегда получалось так, что Колегов и Сиротинин думали точь-в-точь так, как думали мы с Потылицыным. Так что по каждому делу у нас получалось полное согласие.

Кроме того, мне казалось, что Потылицын должен знать, что за человек этот Вихляев. Ведь их деревни стоят почти рядом. Убейские знают наперечет всех коряковских, а коряковские всех убейских. Тем более Вихляева, который своим богатством славится на всю округу.

Когда судьи съехались и мы начали свою работу, я стал искать подходящий случай, чтобы поговорить о Вихляеве. Один раз, когда мы только что разобрали какое-то пустяковое убейское дело о потраве, я завел о нем речь с Потылицыным. И тут оказалось, что Потылицын довольно хорошо знает Вихляева и даже состоит с ним в каком-то кумовстве. Тогда я стал рассказывать ему, а заодно с ним Колегову и Сиротинину, как к нам в волость приезжал один убейский мужик с жалобой на Вихляева за то, что тот нахально захватил у него отведенную ему обществом землю.

Потылицын, а за ним Колегов и Сиротинин охотно мне во всем поддакивали. Они осуждающе качали головами и удивлялись тому, как все это сходит Вихляеву с рук. А потом сами начали говорить про Вихляева и как-то незаметно перешли на очень уважительный к нему тон. Им почему-то очень нравилось, что он самый богатый человек не только в Убее, но и во всех соседних с Убеем деревнях. Они не могли скрыть своего уважения к его богатству, к его жадности на работу, к его умению наживать деньги. «Да, — говорили они, — большую силу забрал человек. Одной пашни поднимает до двадцати десятин... И то сказать — таким хозяйством править надо. Ну а насчет нахрапства, так ведь это дело известное, без нахрапства богатства не наживешь».

Дальше я попробовал объяснить судьям суть спора Вихляева с Кирилловым. Они внимательно слушали все мои объяснения насчет государственного гербового сбора и удивлялись тому, как все это хитро придумано и что я все это, несмотря на свои малые годы, уж произошел и так досконально знаю.

Что касается моих рассуждений насчет кабальности и несправедливости вихляевского условия с Кирилловым, то мои судьи опять во всем мне поддакивали, опять со всем

соглашались и осуждающе качали головами по адресу Вихляева. А потом завели разговор между собой о том, как плохо бывает, когда работники уходят от хозяев раньше срока. Хорошо, если работник уйдет зимой или осенью после уборки хлебов или, на худой конец, ранней весной, когда еще не трудно найти нового. А то ведь норовят уйти в сенокос, а то н прямо в страду, когда не только другого работника, и поденщиков-то днем с огнем не сыщешь. Как плохо приходится от этого справным мужикам. Оно конечно, может и так быть, что у человека что-нибудь случилось нли чем-ннбудь приболел. Мало ли что бывает. Ну, тогда это дело понятное. А то ведь уходят, варнаки, к другому хозяину, который переманнвает их на один сезон н платит, конечно, дороже. Такие уж времена пришли... Когда человеку приспичило, податься некуда — приходит и просит: «Помоги, отработаем...» А когда, значит, взял сколько надо, и уж играет в обратную. Дескать, у нас тоже хозяйство, тоже надо делать свою работу, как всем людям. Здорово Внхляев придумал. Умный мужнк. Знает, как прнарканить работника. Только вот насчет гербовых марок маленько оплошал. Да разве по первому разу учтешь все. Думаешь одно, а получается другое.

А потом мои судьн начали рассуждать о Кириллове, и как-то нехорошо. Конечно, мужик он бедный. Что правда, то правда. Но опять, кто просил его ндти к Вихляеву в работникн? А если уж обнадежил человека, даже условие с ним подписал, то надо было держаться и не подводнть его. Оно конечно, может у него какая-нибудь беда стряслась. Но, с другой стороны, и Вихляева понять надо. Хозяйство большое, лето короткое... Попробуй найтн другого работника в сенокос или в страду. А на поденщнках далеко не уедешь. Поденщику-то надо полтнннник платить на день, пятнадцать рублей в месяц, трндцать рублей за один сезон... Вон оно куда тянет.

— Я сам работника держу, — плакался Потылицын своим напарникам. — Плачу ему тоже шестьдесят рублей в год. И тоже, понимаешь, обхаживаю и ублажаю его на всякне лады, чтобы не ушел... Особенно в сенокос али в страду. А то ведь труба, вострый нож. Так что обо всем этом подумать надо, а не решать дело с бухты-барахты...

Наконец наступил последний день заседаннй нашего суда, на которое я назначнл внхляевское дело.

Весь этот день я слушал со своими судьями разные дела о ссорах, о кражах, о потравах. Весь день мои судьи

глушили ковшиком пиво, карали виновных, оправдывали невинных. Весь день я записывал в нашу судебную книгу обстоятельства каждого дела, составлял решения и зачитывал их тяжущимся сторонам. А сам наблюдал исподволь: не появился ли в волости Вихляев со своими свидетелями, не приехал ли ответчик Кириллов. Наконец подошла очередь приниматься и за это дело, и я попросил дедушку Митрея звать в судейскую Вихляева, Кириллова и их свидетелей. Но в прихожей их почему-то не оказалось, и дедушко Митрей пошел разыскивать их в сторожке или на дворе. Пока он ходил за ними, я, как мне советовал Иван Фомич, попробовал немного отвлечься и думать о чем-либо другом. Но ни о чем другом мне не думалось. Я понимал, что мне надо непременно что-то сделать, что-то предпринять. По-настоящему мне следовало пойти сейчас к Ивану Иннокентиевичу. Но я был уверен, что он ничего хорошего мне не присоветует, а, чего доброго, прикажет решать это дело в пользу Вихляева. Заводить с моими судьями новый разговор было бесполезно. Я уже знал, в какую сторону они будут тянуть. Остается условие, не оплаченное гербовым сбором, да слабая надежда на то, что при рассмотрении дела обнаружится еще какое-нибудь новое обстоятельство, которое позволит суду отказать Вихляеву в иске.

Вихляев явился в суд с Егором Воротниковым, Василием Семеновым и бывшим убейским старостой Соломатовым, которые находились при заключении его условия с Кирилловым. На этот раз он показался мне не таким сердитым. Наоборот, он выглядел сегодня веселым и приветливым. Он кивнул головой нашему Потылицыну и сказал:

— А я и не знал, что тебя волостным начальником поставили. Судить, значит, меня будешь...

— Придется, — отвечал Потылицын.

— Давай-давай... Только по справедливости суди.

— Будем стараться.

А Кириллов приехал в суд со своим сыном, молодым еще парнем. Они стояли в судейской с пришибленным видом, как будто на самом деле были в чем-то виноваты перед Вихляевым.

Поначалу я, как это у нас положено, попросил Вихляева коротко изложить суду свою жалобу на Кириллова.

— Моя жалоба, видать, суду уж известная, — начал Вихляев и повторил все то, что у него было написано в заявлении.

Теперь пришло мое время сказать свое слово. Вихляев ждал, что я начну читать его условие. Кириллов с сыном узрились на меня с таким видом, как будто я хочу чем-то ударить их. Судьи тоже насторожились и ждали, что я скажу сейчас насчет гербовых марок.

От страха, что надо сейчас начинать этот разговор, у меня совсем перехватило горло. Однако я хорошо помнил совет Ивана Фомича смотреть в затруднительных случаях в потолок и собираться с силами, не обращая ни на кого внимания. И я действительно уставился в потолок, набрал полную грудь воздуха и, не глядя ни на кого, как в школе на уроке, начал говорить давно заученные слова:

— Ваше условие с Кирилловым я читать не буду. Оно не имеет законной силы. Это денежная бумага, а все денежные бумаги должны оплачиваться государственным гербовым сбором.

— Какая это еще денежная бумага? — перебил меня Вихляев.

— Надо было купить в волости на шестьдесят копеек гербовых марок, — продолжал я, не обращая внимания на слова Вихляева, — наклеить их на условие, а потом погасить их, то есть перечеркнуть или расписаться на них. Без этого условие не имеет законной силы, и волостной суд будет рассматривать ваш иск к Кириллову только на основании показаний сторон и свидетелей. Вы объяснили свое дело, теперь пусть ответчик Кириллов расскажет суду, за что он вам задолжал эти деньги.

— Как же это ты оплошал с этим делом, кум Степан? — спросил Вихляева Потылицын. — Что, пожалел шестьдесят копеек на эти марки, что ли?

— Ничего я не оплошал. Условие составлено по всей форме у старосты при свидетелях. Если бы потребовались марки, писарь сказал бы. Невелики деньги шестьдесят копеек. Заплатил бы...

— Чего же он, ваш писарь, не знает этого, что ли? А теперь вон какая канитель получается.

Пока Потылицын и Вихляев говорили, я немного пришел в себя и даже заметил, что Вихляев немного сбавил тон и держится не так твердо, как поначалу. И я уж немного увереннее сказал:

— Не в старосте и не в свидетелях дело, а в том, что условие не оплачено гербовым сбором. И поэтому не имеет законной силы. Так что суд может не заслушивать ваших свидетелей. Его сейчас больше ин-

тересует, что скажет по этому делу ответчик Кириллов.

— Ответчик наговорит вам всякую ерунду, — зло произнес Вихляев, потом развел руками и растерянно произнес: — Все составлено по форме у старосты, при свидетелях, с приложением казенной печати, и вдруг... не оплачено каким-то гербовым сбором, не имеет законной силы. Тут что-то неладно. — Потом подумал и сказал возмущенным тоном: — Не признают законный документ! Разве это суд!

— Да ты не переживай, кум Степан, — снова обратился к Вихляеву Потылицын. — Может, парень и правду говорит, что надо было что-то наклеить. Он ведь к этому делу приставлен.

— Кто его приставил?

— Волостной писарь приставил. Кто же, кроме него, может в волости распоряжаться? Сходи к нему. Объясни, что к чему.

— Вот еще завели порядки. — Тут Вихляев с остервенением плюнул на пол. — Нет! Я это так не оставлю...

Он резко повернулся и вышел из судейской. Его свидетели потоптались немного на месте и тоже куда-то ушли. Так что мы остались теперь одни с ответчиком Кирилловым и его сыном. Никто не ждал такого оборота. Мои судьи растерялись и вопросительно смотрели на меня. А я, по правде говоря, испугался еще больше их и тоже не знал, что делать. Я смотрел на спасительный потолок и подобный случай. Но такого в старой судебной книге не было. Все там было проще и понятнее. Наконец, собравшись с силами, я попросил дедушку Митрея пойти узнать, куда ушел Вихляев и если он в волости, то что он делает. Дедушко Митрей через минуту вернулся обратно:

— Сидит в комнате Ивана Акентича. Что-то толкует со старшиной. Видать, самого ждет.

— Вот и хорошо, — сразу сообразил Потылицын. — Иван Акентич ему все растолкует, что к чему. А мы давайте пока послушаем Кириллова. Что он расскажет нам насчет этого дела.

— Надо послушать, — согласились Колегов и Сиротинин. — Спрашивай его пока, — обратились они ко мне. — Как у них все это получилось?

— В самом деле, из-за чего у вас сыр-бор разгорелся? — обратился Потылицын к Кириллову.

— Да из-за этого самого, — начал Кириллов. — Дело известное. Задолжал я ему немного. Сына старшего женил.

Ну и занял на свадьбу тридцать рублей. А отдавать-то знаете как... Сына женил, а его в солдаты угнали. Думал, невестка помогать будет. А она взяла да к своим ушла... Вот и остались мы двое с младшим да старуха хворая. А Вихляев пристает с ножом к горлу: плати, да и баста... Я ему: «Обожди, Степан Прокопьевич, дай немного с силами собраться». Куда там... «Мне, — говорит, — деньги до зареза нужны. Плати, — говорит, — или я тебя в суд потяну». — «Побойся бога, Степан Прокопьевич, — говорю. — Разве мы отпираемся. Мы в суде-то вовек не бывали. В крайнем случае отработаем вам эти деньги. Вон, — говорю, — какой парень у меня вырос... На любой работе устоит». — «Это, — говорит, — другое дело. Тогда давай парня». Так и договорились, что пойдет к нему мой Федор в работники до петрова дня за эти за самые за тридцать рублей. «Но только я на словах, — говорит, — наше условие не признаю. Пойдем к писарю, все оформим как следует». Пришли к писарю.... Я остался в избе, а он пошел к нему в горницу. Поговорил с ним там о чем-то, выходит и объясняет: «Писарь на полгода условие не пишет. Говорит, такие договора составляются только на год. Так по казенной форме требовается». — «Но мы же, — говорю, — на полгода столковались. До петрова дня». — «А разве с писарем, — говорит, — столкуешься. Уперся, и баста. Может, в самом деле нельзя писать на полгода... Да ты, — говорит, — чего боишься... Отработает парень до петрова дня, а я тем временем найду себе нового работника. Так что ты не сумлевайся». — «Ну, если так, — говорю, — то пусть пишет хоть на два года».

Тут в судейскую возвратился Вихляев. Кириллов сразу замолчал.

— Ты что, воды в рот набрал, что ли? — обратился к нему Вихляев. — Рассказывай дальше, как тебя обманом наняли на год в работники. Может, поверят твоей брехне.

Потом, обращаясь ко всем судьям, он злорадно произнес:

— Иван Акентич требует к себе судебного писаря с нашим условием. Посмотрим, имеет ли оно законную силу...

К Ивану Иннокентиевичу я пришел в сопровождении Вихляева и молча подал ему это злополучное условие. Он внимательно прочитал его и спросил:

— Свидетели и староста в суд приехали?

— Приехали...

Иван Иннокентиевич еще раз посмотрел в условие, повертел его в руках и сказал:

— Составлено по всей форме, подписано при свидетелях, скреплено казенной печатью старосты. — Потом в упор спросил меня: — С чего ты взял, что оно не имеет законной силы?

— Это денежная бумага, а все денежные бумаги должны оплачиваться гербовым сбором...

— Откуда ты это взял?

— Иван Фомич сказал.

— Почему ко мне не пришел узнать?

— Вы наказали мне спрашивать обо всем Ивана Фомича...

— Договора о найме работников в сельских местностях не подлежат оплате гербовым сбором.

— А Шипилов тоже говорит...

— Ты что же, спрашивал его?

— Показывал ему это условие. Он прочитал и говорит: «Условие недействительно, так как не оплачено гербовым сбором. Пожалели, — говорит, — шестьдесят копеек, и документ не имеет своей силы...»

— Гм... В самом деле, почему не оплатили условие гербовым сбором? — обратился Иван Иннокентиевич к Вихляеву.

— Не знали, Иван Акентич. По темноте деревенской. Но ведь можно сичас наклеить эти марки. Сколько они стоят? Я сичас...

И Вихляев полез в карман за кисетом.

— Можно, конечно, — произнес Иван Иннокентиевич и снова стал перечитывать условие. — С шестидесяти рублей полагается шестьдесят копеек.

— Шестьдесят так шестьдесят, — сказал Вихляев. — Лишь бы все было как следоваит...

Он вынул из кисета большой серебряный рубль и подал его Ивану Иннокентиевичу.

— А Шипилов говорит, что условие теперь надо оплачивать в трехкратном размере, — осмелился я напомнить Ивану Иннокентиевичу правило о гербовом сборе, рассказанное мне Шипиловым.

— Да, да... Действительно, теперь надо платить в трехкратном размере, — поспешно согласился Иван Иннокентиевич. — Так что извольте уплатить один рубль восемьдесят копеек.

— Ну и порядочки придумали. Мужика обирать, — про-

изнес Вихляев с перекошенным лицом и полез в кисет за вторым рублем. — Только теперича, Иван Акеитич, чтобы все было в порядке, имело законную силу.

Иван Иннокентиевич взял от Вихляева второй рубль, открыл железный ящик, положил туда деньги, потом извлек из него толстую тетрадь с гербовыми марками, взял из нее марок на один рубль восемьдесят копеек, наклеил их на условие и перечеркнул крест-накрест пером.

— Теперь документ имеет полную законную силу, — сказал он, подавая мне условие. — Зачитаешь его судьям, и решайте дело на основании этого условия.

— А Кириллов говорит, что он нанимался только на полгода, чтобы отработать долг.

— Мало ли что он говорит. Говорить все можно... Вот условие, к которому он руку приложил... Сразу же опроси свидетелей и старосту. Если они подтвердят условие, то кончайте дело в пользу просителя. Из-за каких-то шестнадцати рублей такая возня. Ступай, и не валандайтесь там...

— Неужто заставил заплатить его этот гербовый сбор? — спросил меня судья Потылицын, когда мы с Вихляевым возвратились в судейскую.

Я молча показал условие, на котором виднелись четыре наклеенных и перечеркнутых гербовых марки. Судьи покачали головами и уважительно посмотрели на меня.

— Втройне пришлось заплатить, — зло сказал Вихляев. — Учат, учат нас, дураков, уму-разуму, а все впустую. Ну а теперь решайте, волостной суд, дело как следует. Теперича документ законный...

Дальше нам ничего не оставалось делать, как допрашивать свидетелей со стороны Вихляева — старосту Никифора Соломатова и убейских мужиков — Егора Воротникова и Василия Семенова.

Никифор Соломатов подтвердил, что в бытность его старостой Степан Вихляев действительно нанял Давида Кириллова в работники. Об этом наш убейский писарь составил им по всей форме письменное условие, которое он, Соломатов, как староста, заверил приложением казенной печати в присутствии Егора Воротникова и Василия Семенова.

Егор Воротников и Василий Семенов показали, что они действительно по просьбе Вихляева были свидетелями, когда он, Вихляев, нанимал Кириллова себе в работники. Нанял он его, как они тогда поняли, на год, за шестьдесят рублей. И об этом они тогда заключили между собою ус-

ловие по всей форме. Во время опроса Соломатова, Воротникова и Семенова Давид Кириллов стоял понуро в стороне со своим сыном. Он, видимо, уж понял, что ему сегодня ничем не оправдаться и что Вихляев непременно засудит его здесь.

А Вихляев, наоборот, чувствовал себя очень гордо, так как видел, что суд теперь почти что в его руках и не посмеет отказать ему в иске к Кириллову.

Наконец Вихляев со своими свидетелями и Кириллов с сыном удалились из судейской, и дедушко Митрей закрыл за ними дверь. И тут мои судьи вдруг обрели дар речи. Они удивлялись тому, как ловко Вихляев обошел с этим условием Кириллова, и не сомневались в том, что Кириллов нанимался к нему только на полгода. Они видели, что Вихляев обошел с этим условием не только Кириллова, но и убейского писаря, и старосту, и своих свидетелей Егора Воротникова и Василия Семенова. Об их сговоре обмануть Кириллова не могло быть и речи, так как они мужики самостоятельные и на такое дело никогда не пойдут. Но Вихляев так ловко обставил это дело, что им тоже некуда податься и они вынуждены подтвердить это условие.

В общем, мои судьи очень жалели Кириллова. При его бедности ему очень трудно будет разделаться с Вихляевым, и тот непременно поддеиет его на какой-нибудь новый крючок. И в то же время они не могли скрыть своего восхищения Вихляевым.

— Вот голова!

— Не дай бог заводить с таким дело. Обведет, собака, вокруг пальца.

— Ловкач, каких мало. Как ни вертись, а придется присудить ему эти деньги.

Я тоже понимал, что нам придется кончать это дело в пользу Вихляева, и, не говоря ни слова, принялся писать решение. Мне было очень жаль Кириллова и его сына, я был уверен, что Вихляеву опять удастся заполучить кирилловского парня в работники.

Вихляев остался очень доволен нашим решением и сильно благодарил моих судей за то, что они рассудили его дело правильно, по закону. А потом ни с того ни с сего стал благодарить меня:

— Ловко ты обвел меня с этим гербовым сбором. Спасибо тебе за урок. Он мне еще пригодится.

А Кириллов молча выслушал наше решение и, не говоря ни слова, ушел со своим сыном из судейской. Мне даже

стыдно было спрашивать его, доволен ли он решением.

За время моей работы судебным писарем я рассмотрел со своими судьями больше ста дел. И даже получил взятку от витебского мужика. Но у нас не было ни одного неправильного решения. А в этом деле мы вынесли несправедливое решение.

Глава 17
ЭТИ НЕПОКОРНЫЕ ГЛАСНИКИ

С переходом на место Павла Михайловича мое положение в волости сильно изменилось. Поначалу я думал, что уменье вести судебное заседание и книгу решений волостного суда будет самым главным в моей новой работе. Но, разобравшись с делом, я увидел, что это только полдела, что мне предстоит не только вести судебные заседания, коротко и ясно записывать решения волостного суда в судебную книгу, но, кроме того, приводить эти решения в исполнение.

Эта работа оказалась для меня не менее трудной и важной, чем первая. Передо мной лежало на столе несколько десятков рассмотренных нашим судом дел, решения по которым вошли в законную силу. И я должен был сделать по ним несколько десятков распоряжений сельским старостам, чтобы они взыскали с кого надо и выдали кому следует деньги за потраву, ввели кого-то во владение пахотной или усадебной землей и так далее все в таком роде.

А по уголовным делам, если виновные были приговорены к отсидке, требовалось сделать распоряжение, чтобы старосты немедленно арестовали тех людей и под конвоем доставили их в нашу волостную тюрьму. И старосты по моему распоряжению должны были брать этих людей под арест и отправлять их к нам на отсидку.

Эта работа не представляла бы для меня особых затруднений, если бы я делал ее для Павла Михайловича, когда он ведал всеми судебными делами и отвечал за это. Но теперь я писал строгие распоряжения не для Павла Михайловича, а для себя. И это было совсем другое дело.

Все эти бумаги я писал по установленной форме. Они

шли за подписью волостного старшины или заседателя и волостного писаря. Я вписывал их фамилии в свои распоряжения и подкреплял их приложением казенной печати, а Иван Иннокентиевич подмахивал их, не читая. После этого они становились официальными документами и должны были исполняться на местах под страхом строгой ответственности. Я писал эти бумаги исходя, разумеется, из сути каждого судебного дела. Никто за мной не следил, никто меня не проверял, и я оказывался единственным блюстителем и исполнителем закона, наделенным большой властью. А я был ведь совсем еще мальчишка, подросток, мне едва минуло пятнадцать лет. И сознание своего мальчишества в таком важном деле порождало у меня страх и неуверенность.

Короче говоря, я утонул в своей судебной работе. Раньше я чувствовал себя в волости вольной птицей. Перепишешь Ивану Фомичу какую-нибудь статистическую ведомость, сделаешь что-то для Ивана Осиповича или для Павла Михайловича. А потом присматривайся к пришедшим в волость интересным людям, слушай веселые рассказы Ивана Иннокентиевича, хвастливые побасенки урядника и все такое. А теперь я с утра до вечера, не разгибаясь, сидел за своими судебными делами, и вся волостная жизнь отошла у меня куда-то на второй план.

А время шло да шло своим чередом. Наступила осень, и волость начала готовиться к очередному волостному сходу. Иван Фомич и Иван Иннокентиевич уже были заняты составлением гоньбовых реестров, ведомостей поступления и расхода волостных сборов и всякими другими данными, которые могут потребоваться на волостном сходе. Перепиской этого материала они меня теперь не загружали, так как видели, что я зашиваюсь с судебными делами. А сам я этим материалом уже не интересовался. Не интересовался я и волостным сходом, как это было в прошлом году. Я уже знал, как он будет проходить, какие вопросы будут на нем решаться, и не ждал ничего нового и интересного.

В общем, подготовка к волостному сходу проходила как-то мимо меня. Я, конечно, видел, что Иван Иннокентиевич сменил свой городской костюм на теплую байковую рубаху, стал раньше приходить на работу и уважительнее обходиться с приходящими мужиками. Но это не было для меня новым, и я принимал это как нечто для Ивана Иннокентиевича должное.

Никаких тревожных разговоров в связи с созывом волостного схода в волостном правлении не велось. Деревня жила своей жизнью, изнемогая от непосильной работы. Благополучно прошли сенокос и страда. С большим трудом и сена накосили, и с хлебом управились.

Начальство во время сенокоса и страды старалось в деревни не показываться, людей от работы не отрывать. Так что особых поводов для волнений и недовольства не было.

Как и в прошлом году, старшина и Иван Иннокентиевич ездили в Новоселову к крестьянскому начальнику за разрешением на созыв схода. И крестьянский начальник, как и в прошлом году, наказал им не распускать гласников, держать их крепко в узде, не позволять им распространяться насчет начальства, насчет войны и тяжелых крестьянских повинностей, в общем, не лезть со своими разговорами куда не следует.

Когда по приезде старшина рассказывал обо всем этом в нашей канцелярии, я слушал его уж без всякого интереса и только спросил: будет ли нынче сам крестьянский на сходе? Но, оказывается, крестьянский начальник предупредил старшину, чтобы сход проводили без него и чтобы во всем слушались Ивана Иннокентиевича. «Пока Евтихиев у вас, — опять заявил крестьянский начальник старшине, — я за Комскую волость спокоен».

Дня за два до схода в волость начали съезжаться старосты и сельские писаря. Никто из них не обращал на меня внимания, хотя все знали, что я заступил на место Павла Михайловича и веду в волости теперь все судебные дела.

Павел Михайлович тоже приехал со своим старостой и тоже не проявил ко мне никакого интереса. Он поздоровался со мной за ручку, поощрительно похлопал по плечу и ушел куда-то. И потом ни разу не подошел ко мне, не расспросил ни о чем, не сказал ни одного ласкового слова, как будто мы были чужие люди.

А потом стали съезжаться гласники. Из Кульчека, как всегда, приехал Марко Зыков и еще несколько человек, и в их числе Ефим Рассказчиков. Он опять пытался прорваться к Ивану Иннокентиевичу поговорить насчет своих казацких прав. Но старшина довольно грубо его выпроводил.

А из Витебки приехал гласником тот самый Бижан, который скандалил с Иваном Иннокентиевичем насчет подушной раскладки и был посажен старшиной в каталажку.

Вечером, накануне схода, мы перетащили наши столы и шкафы со всем делопроизводством в судейскую и закрыли их там на замок. В канцелярии оставили только Петькин столик и накрыли его зеленым сукном.

Утром в волость я, конечно, пришел, но решил Ивану Иннокентиевичу не показываться, чтобы он не заставил меня сидеть во время схода в своей комнате. Весь волостной двор был заполнен гласниками. Там же мотались в ожидании схода сельские старосты и писаря.

Иван Фомич, Иван Осипович и Петька в волость к открытию схода не пришли.

Часов около девяти во двор вышел старшина и стал звать гласников в помещение:

— Давайте, мужики! Пора начинать. Иван Акентич велел собираться!

— Крестьянский-то будет? — спросил кто-то старшину.

— Крестьянский-то?.. Крестьянский-то не будет. У него важные дела. Сказал: «Обходитесь без меня. Слушайтесь, — говорит, — только вашего Ивана Акентича. Он все знает, что к чему». Так что давайте, мужики. Иван Акентич уж торопит.

И старшина пошел за ворота загонять в помещение остальных гласников.

Через некоторое время двор опустел. Оставшиеся писаря прислушивались к тому, что делается на сходе. Но на сходе, видать, ничего особенного не происходило. И писаря разошлись один за одним по комским квартирам.

А я что-то ждал на дворе. Я понимал, что мне здесь делать теперь нечего. А уходить считал как-то неудобным. Ведь в волость я пришел на работу и должен был здесь что-то делать. И тут как раз в волостном дворе появился Иван Фомич.

— Давно началось? — спросил он.

— Да с полчаса уж, — ответил я.

— Ничего не произошло?

— Как будто не произошло.

— А как ведут себя гласники? Не бузуют?

— Пока не бузуют.

— Значит, дня три можно не приходить. Отдохнем немного. А потом начнется волынка с раскладкой. Каждый год одно и то же. Ты что собираешься делать эти дни?

— Не знаю еще.

— Если надумаешь — приходи ко мне. Попьем чаю, поговорим. Наша Оксинья рада будет.

— Хорошо, приду.

— Приходи завтра. Вечером, когда все управятся с работой.

И Иван Фомич отправился домой. А я опять остался на волостном дворе. Опять что-то ждал, прислушивался к тому, что делалось на сходе, зашел в сторожку, посидел там с дедушкой Митреем, вышел во двор и неожиданно встретил здесь комского писаря. Кирилл Тихонович только что вышел из волостного правления весь красный и упаренный.

— Еле выбрался, — сказал он, отпыхиваясь. — Хотел послушать, как на сходе будут делать проверку.

— Ну и как? — спросил я. — Кто из гласников втяпался нынче в эту проверку?

— Какой-то Бижаи из Витебки.

— Как она у него получилась?

— Оскандалился, конечно. Оскандалился, но, кажется, расчухал, что Евтихиев специально разыгрывает сход с этой проверкой, чтобы поставить всех гласников в смешное и глупое положение. Ну, я пошел. Теперь мне здесь делать нечего.

— Я тоже пойду, пока меня не сцапал старшина или Иван Иннокентиевич.

— Ну, им сейчас не до тебя. Скоро сход должен рядить Евтихиева на новый срок. И без скандала это дело нынче не обойдется. Наши комские гласники сильно настроены против него.

Мы вышли из волости и направились не торопясь на комскую сборню.

— Комские мужики не могут забыть своего Бирюкова. Он был действительно обходительный и уважительный волостной писарь. Не то что Евтихиев. Посмотрим, как у него сойдет на этот раз дело со сходом.

Так в разговоре об отношениях Евтихиева с волостным сходом мы дошли до комской сборни, и Кирилл Тихонович провел меня здесь в свою писарскую каморку.

— А я уж готовлю ведомости на раскладку податей, — сказал он, усаживаясь за стол, и придвинул мне четыре разграфленные и мелко исписанные ведомости.— На днях получим окладные листы, и придется с этим делом провести здесь на сборне несколько бессонных ночей.

Тут у нас, естественно, зашел разговор о предстоящей годовой раскладке податей, и я стал дознавать у него, почему губернские, волостные и сельские сборы начисляют-

ся в Коме подушно, а не по доходности, как государственная оброчная подать.

Кирилл Тихонович стал объяснять мне принятый у нас порядок раскладки и, подобно Ивану Фомичу, стал говорить о том, как он выгоден богатым и обременителен для бедных и многосемейных мужиков. За этим разговором и застал нас тесинский писарь Альбанов. Он спешил в волость и, проходя мимо, заметил нас на сборне.

— Чего вы тут ждете? — спросил он. — Давайте скорее в волость. Там, говорят, с Евтихиевым заварилась такая каша, что старшина закрыл даже волостной сход...

Мы сразу сообразили, какая каша могла завариться с Иваном Иннокентиевичем, и поспешили вслед за Альбановым в волость. Действительно, волостной сход прекратил свою работу, но гласники не расходились и возбужденно обсуждали свои дела на волостном дворе. Из их разговоров легко было восстановить картину происшедших событий.

После проверки витебским гласником работы волостного правления сход приступил к рассмотрению сметы расходов на будущий год. Без шума и споров сход утвердил страховые и канцелярские расходы, расходы на ремонт и отопление волости и опять отказался от постройки архива, несмотря на уговоры старшины и Ивана Иннокентиевича не перечить с этим делом начальству.

А потом приступили к найму Ивана Иннокентиевича. И тут поначалу все шло очень хорошо. Зачитали бумагу от крестьянского начальника о том, что он горячо рекомендует волостному сходу Ивана Иннокентиевича как опытного, благонадежного и исполнительного волостного писаря и что он, крестьянский начальник, надеется, что волостной сход окажет полное доверие Ивану Иннокентиевичу и пригласит его на работу на следующий год.

В добавление к этому старшина передал устное приказание крестьянского начальника волостному сходу непременно подрядить Ивана Иннокентиевича писарем на следующий год.

Пока читали эту бумагу да старшина обсказывал свой разговор с крестьянским начальником, на сходе начался глухой шум, послышались крики: «Лодырь!», «Дармоед!», «Народом гнушается!» и все такое. Потом выскочил вперед витебский гласник Бижан и начал кричать, что такого писаря волости не надо, что это писарь, которого надо ждать целый день для минутного разговора, что он не

хочет как следует выслушать простого человека и заставляет старшнну нн за что сажать мужнков в каталажку. За Бижаном на Ивана Иннокентиевнча набросклнсь витебские и александровскне гласннкн. За внтебскнми н александровскими комские, потом анашенские и улазские. И так, однн за одним, почтн все сельскне общества. Из нашнх кульчекскнх гласннков больше всех, говорят, крнчал Рассказчиков.

Старшина пробовал было унять этот шум и завел речь о том, что крестьянский начальник прнказал нанять Ивана Иннокентиевича, что другого пнсаря ему в Коме не надо н все такое. Но тут на сходе опять поднялся шум и крик. И так несколько раз. Начнет старшина что-то говорнть в защиту Ивана Иннокентневнча, вразумлять и уговарнвать сход, его слова покрываются общим шумом и недовольным крнком гласников.

Пока велся этот спор между старшнной и волостным сходом, Иван Иннокентиевнч прошел в свою комнату, вынул нз стола какой-то сверток и пачку бумаг н все это спрятал в свою сумку. А потом попроснл заседателя Болина передать старшине, что он совсем уходнт со схода.

Увидев это, старшнна окончательно перетрусил и бросился вслед за Иваном Иннокентневнчем узнать, что ему теперь делать.

Иван Иннокентиевнч посоветовал старшнне распустнть сход до завтра н немедленно вызвать Ивана Фомича, чтобы он — Иван Иннокентневнч — мог передать ему — Ивану Фомнчу — все волостное делопронзводство. Самому старшнне Иван Иннокентневнч посоветовал немедленно ехать в Новоселову к крестьянскому начальнику с донесеннем, что волостной сход в Коме начал бунтовать н все хочет делать по-своему.

Тут старшнна распустнл гласннков, а сам, вместе с урядннком, поехал в Новоселову.

И вот теперь гласникн думали, что им завтра делать на сходе. Старшнна наверняка опять начнет навязывать им в писаря Евтнхиева. И опять начнет запугнвать их начальством. Как быть? Что делать? Идтн на попятную перед начальством илн все-таки требовать себе другого пнсаря?.. Однн склонялись к тому, что онн с Евтнхневым поступилн правильно и что волостной сход нмеет законное право выбирать себе своего волостного писаря, а не нанимать его по указке начальства. А те, которые былн потруслнвее, те опасалнсь, как бы с этнм делом чего не вышло.

Вступать в контры с начальством не стоит. Оно не мытьем, так катаньем своего добьется и мужика все равно доконает.

На другой день сход с утра приступил к работе. После встречи с крестьянским начальником старшина чувствовал себя увереннее. Рядом с ним за зеленым столиком сидел теперь Иван Фомич. Ночью он принял все волостные дела от Ивана Иннокентиевича и вместо него повел сход дальше.

Вопреки общему ожиданию старшина не настаивал теперь на найме Ивана Иннокентиевича на новый срок и сообщил, что крестьянский начальник не возражает против приглашения на эту должность другого человека. И тут сход без шума, без гама подрядил на это место Павла Михайловича. А Иван Фомич по требованию старшины сразу же написал об этом срочное донесение крестьянскому начальнику.

На третий день поздно вечером волостной сход закончил работу. А на следующий день от крестьянского начальника нарочным поступило уведомление о том, что он приговор комского волостного схода в части приглашения Павла Михайловича на должность волостного писаря не утверждает и направляет в Комское волостное правление на эту работу какого-то Ананьева. Этот Ананьев должен работать волостным писарем на тех же условиях и на том же окладе, как и Евтихиев.

В тот же день Ананьев приехал в Кому и остановился на земской квартире. В волость он пока не показывался. Ждал, пока Иван Фомич не завершит всю работу с волостным сходом, то есть пока не составит приговор схода, не оформит его подписями гласников и не вручит старостам окладные листы на государственную подать, губернский земский сбор и волостной сбор.

А Иван Иннокентиевич как-то незаметно уехал, можно сказать, скрылся из Комы. Никто его не провожал, никто с ним не прощался, и никто не жалел об его отъезде. Говорят, он поехал из Комы волостным писарем в Балахтинское волостное правление.

А через несколько дней в волостное правление явился Ананьев и занял место в комнате Ивана Иннокентиевича.

Это был плешивый, бритый, невысокого роста старичонка с седыми моржовыми усами. Одет он был, как и Иван Иннокентиевич, в темную тройку. Только вместо галстука

подвязал шею каким-то шнурком. И говорил он каким-то хриплым, скрипучим голосом.

Не успел этот Ананьев у нас как следует обосноваться, как во всеуслышание заявил, что в нашей волости завелись зловредные люди, которые мутят народ, подбрасывают мужикам потаенные листовки, настраивают их не туда, куда надо, и что неспроста волостной сход не нанял в волостные писаря такого человека, как Иван Иннокентиевич.

Тут же Ананьев оговорился, что все это к нам не относится, что он всем нам доверяет и на нас полагается и что в этих делах его не проведешь, так как он старый обстрелянный воробей и знает, как и кого следует вывести на чистую воду.

А потом он на несколько дней закрылся в своей комнате и все что-то писал. Некоторые мужики пробовали было сунуться к нему по своим делам, но он сразу же вытурил их обратно.

Спустя некоторое время он перестал от нас закрываться. Наоборот, он сидел теперь все время при открытой двери и громко, чтобы мы все слышали, втолковывал старшине и заседателю, что в волости у нас неспокойно и волостному начальству, пока не поздно, надо принимать строгие меры.

Иногда Ананьев выходил к нам в большую комнату и заводил разговор о беспорядках в волости. В общем, по его словам выходило так, что не только отдельные лица, но и вся наша волость находится теперь на подозрении у начальства. Дело складывалось так, что отказ волостного схода взять в волостные писаря Ивана Иннокентиевича вырастал в большое государственное дело и истолковывался начальством как организованное выступление против власти и что за всем этим скрывается злонамеренная работа неблагонадежных людей, которую надо как можно скорее пресечь...

Это, видимо, и было тем важным государственным делом, которым Ананьев занимался по приезде к нам первое время. Не прошло и двух недель со дня появления его в Коме, как к нам в волость приехал из Минусинска какой-то начальник в красивом мундире с погонами, с толстым плетеным шнуром на левом плече. Это был, оказывается, жандармский начальник.

Приехал он как-то незаметно, без шума, без грома, и стал с глазу на глаз беседовать с волостными начальниками, помощниками волостного писаря, с ходоками и даже со сторожами. А один раз он вызвал в судейскую и меня и завел речь насчет Павла Михайловича. Говорил он со

мной очень ласково, вроде я приходился ему родным племянником, просил меня ничего не пугаться, говорить только правду и, главное, никому ничего о нашем разговоре не рассказывать.

Дальше он завел со мной разговор о том самом, чем запугивал нас Ананьев: видел ли я у Павла Михайловича запрещенные книги или подметные листки, не давал ли он мне читать их или печатать на гектографе, когда и с кем он вел злонамеренные разговоры.

Я не мог подтвердить все эти наветы на Павла Михайловича.

Переговорив со всеми с глазу на глаз, жандармский начальник так же незаметно уехал к себе в Минусинск. А нам стало ясно, что он приезжал в Кому по доносу Ананьева и что этот Ананьев очень зловредный человек и может в любое время оговорить кого угодно перед начальством.

После отъезда жандармского начальника мы со дня на день ожидали ареста Павла Михайловича, но, к общему удивлению, его никуда не забрали, а только уволили из чернокомских писарей. Видимо, донос Ананьева насчет того, что он кого-то мутит, не подтвердился. Не подтвердился, видать, его донос и о том, что у нас в волости со дня на день можно ожидать какие-то беспорядки.

Несмотря на это, Ананьев продолжал и продолжал сочинять свои государственные бумаги. Всех посетителей, которые приезжали в волость за справками или по почтовым делам, он подробно расспрашивал о том, как мужики настроены у них против войны, как они не хотят платить податей и всячески уклоняются нынче от новой раскладки, как они ругают высшую власть и собираются взяться за начальство и как гласники, которые устроили на волостном сходе бунт против начальства, продолжают ехидничать и подзуживать мужиков, настраивают их не туда, куда надо.

А потом Ананьев додумался допрашивать об этом ходоков, которые развозят нашу почту по волости. Он напирал при их опросе главным образом на то, как старосты распустили у себя мужиков, не торопят их с раскладкой и вместо того, чтобы пришпандорить как следует особенно рьяных брехунов и бузотеров, сами подпевают им насчет больших податей и тяжелых повинностей.

Старшине и заседателю он говорил, что по делу Коваленкова к нам приезжал не тот начальник. Он ограничился только одной Комой, опросом наших ходоков и сторожей и не заглянул ни в одну деревню в волости. А волость на-

ходнтся в весьма опасном положении. Волостной сход в таком важном вопросе, как выбор главиого пнсаря, пошел прямо против начальства. Но это только начало. Сегодня пошли протнв начальства в найме волостного писаря, завтра откажутся платить подати, а дальше, чего доброго, подожгут волостное правленне илн подложат под него бомбу, как было в Абакане в 1906 году. Беда в том, что нет строгостн. Коваленков настронл волостной сход против иачальства, а его отпустнлн в Черную Кому. А в Проезжей Коме, в Теси, в Аиаше, по другим деревням сидят свон Коваленковы и мутят мужиков. Знают, что им все сойдет с рук. Страшно подумать, чем все это кончится.

Вскоре Ананьев нашел у нас себе единомышленннка. Им оказался ходатай по мужицким делам Белошеиков. При Иване Иннокентиевнче его в волостном правлении ие прнвечали. Сам Иван Иннокентиевич старался его не замечать. А теперь он с утра являлся к Ннкнфору Карповнчу (так звали и величалн нашего Ананьева), слушал его россказнн о том, как плохо обстоят дела по всей Комской волости, н старался ему во всем поддакнвать.

От этих разговоров старшнна н заседатель не иаходнли себе места. Особенно старшнна. Ему ведь все время иадо было ездить по волости, н ои лучше другнх знал, как мужнкн обозлены протнв начальства, как оии озлоблены раскладкой н что раскладочных прнговоров из деревень все еще нет. А время-то, оно ведь идет. Того и гляди, потянут в Новоселову к крестьянскому. Значнт, надо как-то вывертываться. Ехать, торопнть старост н пнсарей. И ехать надо, и ехать бсязно. Уж больно обозлен народ.

А заседатель Болнн слушал Ананьева молча. С первых дней прнезда в волость он не переставая думал о том, что эта служба не доведет его до добра. А теперь окончательно уверился в том, что пропадет здесь ии за грош. На бумаге он начальннк, имеет большую власть, а на деле — сторож около железного ящнка. Но все равно за все в ответе. Тут в случае чего и ухлопают его около этого железного ящика.

После отъезда Ивана Иннокеитневича в волости у нас стало как-то пусто и безлюдно. Раньше к прнходу почты нз Новоселовой по понедельникам н четвергам у нас было многолюдно, весело, шумно. После приезда Ананьева этн посещеиня прекратнлнсь.

Мужнки тоже реже стали навещать волостное правленне. Пнсаря н старосты были заняты по свонм деревням раскладкой.

Из-за этого волость наша на некоторое время обезлюдела, и мы целыми днями сидели одни, выполняя повседневную работу. Из Новоселовой продолжали поступать разные распоряжения от крестьянского, от мирового, станового пристава. Поступали разные бумаги и из наших деревень. Иван Фомич и Иван Осипович составляли на них ответы и относили их Ананьеву. А тот, не говоря ни слова, учинял на них свою подпись. Расписывался он очень медленно, не то что Иван Иннокентиевич, и украшал свою кривобокую подпись каким-то замысловатым росчерком с бантиком. Подпишет таким манером все бумаги и передает их Ивану Осиповичу, а то прямо Петьке Казачонку для рассылки куда следует. А с Иваном Фомичом о волостных делах не говорит, ни о чем с ним не советуется, хотя и знает, что Иван Фомич был главным помощником Ивана Иннокентиевича.

В один из таких дней к нам заявился комский писарь Родионов в сопровождении своего старосты. Вошли они веселые, довольные и, не задерживаясь в нашей большой комнате, сразу проследовали к Ананьеву. Оказывается, они принесли и вручили ему раскладочный приговор комского сельского схода и составленную на основе этого приговора податную ведомость на комских домохозяев.

Нам показалось странным, что Родионов не задержался после этого в нашей канцелярии, не поговорил с нами о своих комских и о волостных делах. Тем более что последнее время он почти совсем перестал у нас бывать. Но обсуждать это странное поведение Родионова нам было некогда, так как Ананьев вручил Ивану Фомичу комский раскладочный приговор и податную ведомость и попросил немедленно заняться их проверкой. Тут Иван Фомич, Иван Осипович и я вместе с ними стали выборочно проверять: правильно ли произвел Кирилл Тихонович все податные начеты и не нарушил ли в чем-либо принятого волостным сходом порядка раскладки казенных и волостных податей.

А вечером Родионов сообщил нам по секрету о том, что завтра утром он покидает Кому и уезжает насовсем в Новоселову письмоводителем к инспектору народных училищ Талызину. Староста об этом пока не знает, и он заявит ему об этом только завтра при отъезде, а то, чего доброго, тот побежит к старшине с жалобой и Ананьев живо состряпает из этого какое-нибудь очередное кляузное дело.

Мы очень жалели, что Кирилл Тихонович покидает нашу Кому, а с другой стороны, радовались за него, даже завидовали ему. Он будет работать с таким умным и обходитель-

ным иачальннком, как инспектор Талызнн. Около такого человека есть чему поучиться. И по работе, н особеиио по части образоваииости.

А я особенно жалел об отъезде Родионова. Я терял в нем старшего товарища, к которому мог запросто в любое время обратиться за советом по моей работе. А потом, с его отъездом я лишался доступа к книгам. Последнее время это дело у нас немного иаладилось. Дело в том, что Кнрнллу Тнхоновичу удалось хорошо познакомнться с снснмскнм учнтелем Барановскнм, которому все время идут по нашей почте киигн и газеты. И Бараиовский оказался таким хорошим человеком, что стал давать Кнрнллу Тнхоновнчу свои кннги для чтения. Кннгн он посылал ему с нашнм комскнм ходоком, который два раза в неделю бывает в Сиснме с волостной почтой. Кнрилл Тнхоновнч получал от него книги, читал их, а потом передавал мне. Я таким манером получнл от иего и прочнтал ромаи писателя Достоевского «Униженные и оскорблеииые», иесколько сочиненнй писателей Шеллера-Михайлова и Мольера.

Роман Достоевского оглушнл меня, возбуднл массу каких-то неясиых вопросов н ие дал на ннх ннкакнх ответов. Роман звал меня куда-то, но не указывал, куда мне идтн, что делать. Я уходил за село, бродил и броднл там по лесу, думал и думал. Мысли ронлнсь в голове, но все какне-то неясные, беспорядочные. Не покндало ощущение острой боли за людей, жалости к людям, сочувствие нх горю и беде.

А комедии Мольера показалнсь мие скучными и иепонятными. Кирнллу Тихоиовнчу онн тоже ие поиравились. Снснмскнй учитель, когда Кирилл Тихонович рассказал ему об этом, снльио рассердился и сказал, что этн комедни написаны Мольером для сцены н что мы еще ие иаучнлись чнтать такне вещи.

А раскладка податей в этом году действнтельно затянулась. Волостиой сход давио уже прошел, а раскладочный приговор н податные ведомостн представила только одна Кома. От остальиых деревень нн ответа нн прнвета. У такнх пнсарей, как в Безкише, в Витебке, в Убее, в Медведевой — это дело понятное. Пнсаря там малограмотные, не могут вовремя справнться со своим делом. Но в Кульчеке, в Проезжей Коме, в Тесн, в Улазах пнсаря хорошне. А от них тоже нет иичего. У Иваиа Иннокентиевнча старшииа и заседатель после волостного схода сразу же ездили по волостн, нажимали с этим делом иа старост и писарей. И волостное

правление было в курсе с положением этого дела на местах. А нынче они безвылазно сидят около Ананьева, и он изо дня в день вбивает им в голову, что дела в волости идут плохо, что волостной сход устроил бунт против начальства и теперь волостные гласники настраивают мужиков по своим деревням не туда, куда надо.

Но все-таки в конце концов они решили, что сидеть сложа руки да ждать, когда старосты со своими писарями раскачаются с этим делом, не годится, что надо что-то делать, пока в это дело не вмешалась высшая власть. И начинать надо с Черной Комы.

Положение в Черной Коме Ананьев считал особенно опасным. Ведь там отсиживается Коваленков, который был главным подстрекателем гласников волостного схода против начальства и настропалил их против Ивана Иннокентиевича. Теперь он продолжает там это вредное дело.

И вот после длительной инструкции Ананьева старшина спешно выехал в Черную Кому, а на другой день уж возвратился обратно и рассказывал нам о чернокомских делах. По его словам, дела там обстоят из рук вон плохо. Коваленкова из писарей вытурили, а нового писаря еще не нашли. Так что общество осталось без писаря. А сельское общество без писаря все равно что человек без головы. Особенно если староста неграмотный, как это получилось сейчас в Черной Коме. Собирал сход два раза насчет этой раскладки. Поговорили, поспорили, поругались, покричали, но так ничего и не решили. А может, что и решили, но все равно без общественного приговора решения нет. Попробуй узнай без приговора, что они решили. Один говорит одно, другой другое. И прямо наоборот. Так и застопорилось дело. Просили Коваленкова помочь, а он наотрез отказался. Написать обо всем этом староста по своей неграмотности не мог, а приехать в волость, рассказать обо всем — боится. Сидит и ждет, когда начальство приедет к нему и начнет трясти его за шиворот с этим делом.

Тут мы стали расспрашивать старшину насчет Павла Михайловича. Что он и как он там. Но рассказывать что-нибудь о Павле Михайловиче старшина не стал и начал перепевать насчет него все то, чего он наслушался от Ананьева, что такой он и разэтакий, настраивает мужиков против начальства, возмутил волостной сход, чтобы сесть на место Ивана Иннокентиевича, и что из-за этого у нас в волости расстроились теперь все дела и может произойти какая-нибудь заваруха.

Тут Иван Фомич ие вытерпел и заступился за Павла Михайловича. Он прямо заявил старшине, что все это иеправда и что следствие произведенное минусинским начальииком эти обвиинения не подтвердило.

Но тут старшииа, к нашему удивлеиию, довольно внятно стал говорить о том, что дыма без огня не бывает и что хотя непойманный и не вор, ио может статься, что он тоже нечист на руку и что бабушка еще надвое сказала, чем все это кончится, так как на Павла Михайловича и еще кое на кого поступил куда следует новый материал, и что теперь ему уж не выбраться сухим из этого нового дела.

А иа другой день с новоселовской почтой Ивану Фомичу пришло требование немедлеиио явиться в камеру мирового судьи по делу, предусмотренному какой-то важиой статьей какого-то важного закона.

Иван Фомич, конечно, очень перетрусил. Судя по всему, его с какой-то стороны замешали в дело о бунте комского волостного схода против начальства.

Аиаиьев, оказывается, уже знал, по какому делу Фомича вызвали в Новоселову, и потирал руки от удовольствия. Он был уверен, что на этот раз там заварилось такое дело, которое «попахивает тюряхой». И дальше он под большим секретом сообщил нам, что дело идет о чтении Павлом Михайловичем и Иваном Фомичом запрещенных киниг, в которых поносится государь император, вся царская фамилия и святая православная церковь. А потом Ананьев стал проезжаться насчет Ивана Фомича:

— Я сразу сообразил, чем он дышит... Только у меня ничего в руках против него не было. Но спасибо добрым людям. Они сделали то, что надо.

А старшина стал рассказывать о том, что Павла Михайловича в Черной Коме ему увидеть не удалось. Его спешно вызвали в Новоселову к мировому судье. Жена, говорят, отправляла его туда со слезами, как в тюрьму. Даже салом и сухарями снабдила. На всякий случай, если там его посадят.

Старшина и Ананьев были очень довольиы таким оборотом дела. Особенно Ананьев. На мирового судью, разъясиил ои, по существующим закоиам возложена в сельских местиостях обязаиность следователя по политическим делам. «Дело ясное, что тут дело темиое, политическое...— ехидничал Ананьев.— Всыпались иаконец, голубчики. Может быть, мои письма возымели силу, а может, кто-нибудь другой сообщил насчет их все, что следует».

А через день из Новоселовой возвратился Иван Фомич. Он сразу же прошел к Ананьеву и долго сидел у него за закрытой дверью. А потом вышел к нам и стал рассказывать, по какому делу его и Павла Михайловича вызвал мировой судья.

Оказывается, на них поступил из Комы чей-то донос о том, что они читали книгу какого-то французского писателя под названием «Жизнь Иисуса». В этой книге доказывается, что Иисус Христос совсем не бог и не сын божий, а самый что ни на есть простой человек. Но только очень умный и добрый, который за всех болел и всем хотел добра.

— Ну, мы с перепугу,— рассказывал Фомич,— стали было запираться. Но запираться нам оказалось очень трудно. Мировой судья уж знал, что эта книга шла бандеролью через нашу волость сисимскому учителю Барановскому, что люди видели, как мы вскрывали эту бандероль. Ко всему этому и сам Барановский обратился с жалобой к начальнику Новоселовской почтово-телеграфной конторы на задержку у нас в волости его корреспонденции. И эта жалоба какими-то путями тоже оказалась у мирового.

— Тогда нам ничего не оставалось,— рассказывал дальше Иван Фомич,— как признаться во всем. Действительно, мол, было такое дело. Виноваты, ваше высокоблагородие, читали такую книгу. И сами этому не рады, потому что она перевернула у нас все вверх тормашками. Дальше мы хотели рассказать ему, что нас особенно смутило в этой книге, но мировой судья слушать нас не захотел. «Книга эта,— говорит,— написана французским ученым Ренаном и напечатана у нас с разрешения цензуры. Что вы в ней вычитали, мне не интересно. А вот распечатывать чужую бандероль и задерживать ее на целую неделю вы не имели права. Это,— говорит,— нарушение такой-то статьи почтовых правил, и я вынужден оштрафовать вас за это...»

Тут мы, понятно, очень обрадовались, что вышли сухими из такого дела, и стали просить мирового судью не взыскивать с нас этот штраф здесь, в Новоселовой, а выдать нам на него исполнительный лист сюда, в Кому... Ну, мировой судья сразу сообразил, для чего нам это надо, и приказал своему письмоводителю написать нам исполнительный лист. Я только что вручил его сейчас господину Ананьеву вместе с полагающимся с нас штрафом. И тут же обрадовал его тем, что решил уйти из волости. Пойду, говорю, в Кому сельским писарем вместо Родионова. А то, чего доброго, говорю, вы состряпаете на меня еще новое дело... Ну,

он помычал, помычал, а делать нечего. «Как,— говорит,— хотите... Решили уходить — уходите»... И произвел со мной полный расчет. Так что я теперь у вас уж не работник...

Услышав такое, мы с Иваном Осиповичем сильно расстроились. Я и представить не мог, как останусь в волости без Ивана Фомича.

А Иван Фомич повел дальше речь о том, где и у кого он был в Новоселовой. Сначала рассказал о своей встрече с Кириллом Тихоновичем. Он действительно письмоводительствует у инспектора Талызина. Сидит у него на квартире в отдельной комнате и пишет разные бумаги. Работа несложная, но ответственная. Составляет ведомости на жалование учителям всего района. А район у инспектора большой — вся северная часть Минусинского уезда от реки Тубы — больше девяноста школ. И много работы со снабжением школ учебниками, школьными пособиями и письменными принадлежностями. А текущую переписку с учителями ведет сам Федор Никанорович.

Дальше мы поинтересовались, разумеется, тем, где Родионов живет в Новоселовой, у инспектора в доме или квартирует у кого-нибудь. С квартирой, оказалось, он устроился хорошо. Получает у инспектора сорок пять рублей, за комнату со столом платит десять рублей, на работу ходит по часам, как и у нас. Можно жить. И работать интересно. Весь дом забит книгами. Даже в канцелярии стоят шкафы с книгами. Читай в свободное время, что хочешь. Только курить в доме нельзя. Но Родионову это не в тягость. Он у нас ведь из некурящих. В общем, и местом, и работой наш Кирилл Тихонович доволен. И одного только боится — как бы его не забрили в солдаты, так как по своим годам он подлежит очередному досрочному призыву новобранцев.

И еще Иван Фомич узнал, что скоро у нас в Коме откроется почтовое отделение. Вопрос об этом, оказывается, уж окончательно решен. И дело немного затянулось из-за кредитов.

А потом Иван Фомич рассказывал еще что-то о знаменском волостном сходе, что там у нашего начальства тоже были какие-то неприятности, но не с волостным писарем, как в Коме, а с раскладкой. Но о чем там сыр-бор возгорелся, Иван Фомич не рассказывал.

Таким образом, вопреки предположениям Ананьева Павел Михайлович опять вышел сухим из воды и вместе с Иваном Фомичом спокойно приехал в Кому. В волость к нам он, конечно, не заходил, а заглянул к Ивану Фомичу на ком-

скую сборню. Там я и встретил его, когда зашел туда после занятий посоветоваться с Фомичом о своих делах.

Они сидели в писарской каморке за ведром пива и обсуждали наши волостные дела. Говорили о том, как будет выкручиваться с податными делами Ананьев. Со дня на день из деревень пойдут раскладочные приговора сельских сходов и податные ведомости. Их надо проверять. Особенно расчеты по бойцам, по пашне и по домашнему скоту. Сам Ананьев еле тянет и способен только сочинять доносы. Иван Осипович запурхался с текущей перепиской. Петька еле-еле справляется на входящем и исходящем. Остается один Иннокентий. И Иван Фомич не то в шутку, не то всерьез спросил меня:

— А как ты? Справишься с этим делом? Выручай Ананьева. Тебе так нравится с ним работать...

— Неужели тебе нравится Ананьев?— удивился Павел Михайлович.

— Он с первого дня мне не понравился,— решительно ответил я.— Совсем лысый, с толстыми моржовыми усами, с какими-то шнурками вместо галстука. Всем грозит, всех пугает. А пишет какими-то корявыми буквами. Еле ворочает пером. Даже расписываться как следует не умеет. Приставит к своей фамилии какой-то дурацкий бантик и думает, что это хорошо. Разве настоящие писаря так расписываются...

— Что верно, то верно,— рассмеялся Иван Фомич.— Вот и помоги ему разделаться с этими податными делами.

И хотя я помогал Ивану Адамовичу подсчитывать подати на кульчекских домохозяев и слышал, как сам Иван Фомич обучал этому делу безкишенского писаря Кожуховского, но сразу же заявил им, что эти ведомости и приговора проверять мне пока еще не под силу, так как это дело очень сложное и трудное. И кроме того, я все еще боюсь некоторых писарей — Шнпилова, Альбанова, улазского писаря Брехнова и коряковского Потылицына. Они много лет пишут ведомости и приговора и разбираются с этим делом лучше меня.

Но все-таки с проверкой раскладочных приговоров и податных ведомостей, решили Иван Фомич и Павел Михайлович, Ананьев обойдется. Сам он этим заниматься, конечно, не будет и, наверно, возьмет себе в волость Белошенкова. Тот хоть и кляузник, но человек толковый, много лет работал в писарях и дело это знает.

— Лучшего заместителя на твое место,— сказал Павел

Михайлович Фомичу,— Ананьеву не найти. На худой конец, он утвердит раскладку в некоторых деревнях и с ошибками. Начальство это не заметит. А мужику к таким вещам не привыкать. Он все выдюжит.

Дальше Иван Фомич и Павел Михайлович повели разговор о том, как трудно будет Ананьеву справиться с теми обществами, которые начнут бузить с раскладкой. Ну, с Черной Комой и Ивановкой, где раскладка еще не проведена, они как-то справятся. Народишко живет там более или менее сносно и бунтовать не будет. А как быть с Витебкой и Александровкой? Живут там сильно плохо и давно уж доведены этими раскладками до озлобления. А тут еще война. На волостном сходе они опротестовали раскладку по бойцам. И ничего не добились. Теперь хотят провести раскладку по-своему, ни по бойцам, ни подушно. Но не знают, как это сделать. У них, оказывается, хлопочет со всем этим Ян Бижан. Был в Проезжей Коме у Шипилова. Тот отсоветовал ему заводить с этим делом историю. Приезжал в Черную Кому к Павлу Михайловичу. Тот тоже отговаривал его начинать это дело. Бижан очень обиделся на Павла Михайловича. «Все вы,— сказал он,— сговорились с начальством. Действуете с ним заодно. Поеду,— говорит,— в Беллык, в Солбу, в Абаканск. Может, там найду порядочных людей, которые присоветуют, как нам выбраться из этой податной петли».

А на другой день в волости появился урядник Чернов и, как всегда, стал хвастливо рассказывать о том, где он был и что он видел во время своих поездок по волости. Оказывается, сразу после волостного схода он ездил по нашим деревням, ко всему присматривался, прислушивался и принюхивался.

— Расспрашивал я их,— говорил Сергей Ефимович,— не как должностное лицо. Чинам полиции, как известно, вмешиваться в раскладку запрещено. Поэтому я дознавал все это как бы из простого любопытства. И в каждой деревне мне в один голос твердили: мужики обозлены. И насчет начальства, и насчет податей, и особенно насчет войны. На сходах открыто ругают власть. Поносят ее на чем свет стоит.

Особенно тревожным урядник считал положение в Витебке и Александровке. От старост ничего вразумительного урядник не добился, а писарь Великолуцкий от прямого разговора увиливал, говорил что-то о неправильном начислении на них губернского земского сбора и волостной по-

датн и о том, что витебское и алексаидровское общества хотят все это перениачить по-своему.

— А как онн собираются это перeииачить и когда они все это переиначат, я так и не понял,— говорил Сергей Ефимович. И стал сожалеть о том, как раньше с этим делом было все легче и проще. И раньше мужики иастроены были бузлнво, и ругалнсь, и кряхтели, а раскладку все-такн делали. Зиалн, что от иее никуда не деиешься. А нынче дело дошло до того, что, может быть, прндется подключать к этому делу полицию. В Витебке и Александровке без этого определенио не обойтнсь.

Старшнна Безруков и заседатель Болин вместе с нами слушали россказнн Сергея Ефнмовича и все время сокрушенно качали головами. А потом повели его к Ананьеву, закрылись в его комиате и до самого конца занятий советовалнсь с ннм об этнх делах.

На другой день Ананьев, старшииа и урядиик с утра выехалн в Новоселову за указаннем, что им делать н как себя вестн дальше.

Без Аианьева и старшнны в волости было как-то свободнее.

На следующнй день наши волостные начальники возвратнлись. Ананьев сразу же сочиннл очередиое приказание всем сельскнм старостам в трехдиевный срок, под страхом строгой ответственности, представить волостному правленню раскладочные прнговора своих сельских сходов и составлеиные на основанни этнх прнговоров податные ведомости. Сочиннл это прнказанне, передал его Ивану Оснповнчу н попроснл сейчас же напечатать на гектографе и с нарочнымн разослать по волостн. А старшииу распирало желание рассказать иам скорее о своей встрече с крестьянским начальником н становым прнставом, какого страха они там иатерпелись и какне иовости узиали.

Сначала они заявнлись к приставу. Хотелн подробно обсказать ему о том, как у нас обстоят дела с раскладкой н все такое. А он, вместо того чтобы выслушать их, набросился на старшину и иа урядника и иачал ругать их последиимн словамн. И такне они, и разэтакие. Довели волость до опасной черты. Раскладка не делается. Мужики обозлены и точат зубы на начальство. Того и гляди, начнут поступать приговора с отказом платить подати. Сверху жмут, требуют какнх-то сдвигов с раскладкой, а ои ничего вразумительиого сказать ие может, кроме общнх слов, что дело обстоит иеблагополучио.

— Впоследок становой начал грозить мне судом,— рассказывал старшина.— Ты, говорит, с этим делом помогаешь нашим внутренним врагам, этим самым социлистам, которые везде нюхтят и мутят, настраивают народ против начальства и подзуживают не платить податей и не выполнять повинностей. Теперь, говорит, время военное и тебя, говорит, могут судить за такое дело даже военным судом. А от пристава мы пошли к крестьянскому,— рассказывал старшина,— и все честь честью ему обсказали, что раскладка идет пока туго, что раскладочные приговора получены только от комского общества, что другие деревни с этим делом еще не раскачались, а в Витебке, Александровке к этому делу еще не приступали. И о том доложили, что мужики по всем деревням сильно бузуют, ругают раскладку податей и высказывают недовольство войной... Ну, тут крестьянский стал так ругаться, что его пришлось отпаивать водой. А когда он немного пришел в себя, то набросился на меня и тоже стал грозить мне тюрьмой. Впоследок он немного успокоился, поблагодарил Никифора Карповича за его сигналы и заявил, что дела наши обстоят хуже всех. Во всех соседних с нами волостях раскладка закончена, говорит, а у вас только началась. Губернское правление бьет тревогу и по моему ходатайству направляет к вам своего человека с особыми полномочиями. Он разберется с вашими делами. Его приказы для вас обязательны. Он будет представлять у вас нашу высшую власть. Подготовьтесь как следует к его приезду. Наймите заблаговременно хорошую квартиру, чтобы он не мотался на земской. А теперь отправляйтесь к себе. Жмите и давите на старост. Чтобы за две недели раскладка была закончена. Иначе придется отправиться на отдых в Минусинсо, а может, даже в Красноярсо на казенную квартиру, на готовые харчи. Вот, значица, до чего дошло,— подвел итог старшина своей встрече с начальством.— Управляем, проверяем, жмем и гнем — все вместе, а в ответе один старшина. Впятили меня на три года на эту службу, пропади она пропадом...— И старшина отправился в сторожку отвести свою душу в разговоре с ходоками и ямщиками.

Глава 18
ГУБЕРНСКИЙ СОВЕТНИК

На другой день мы с самого утра ждали каких-нибудь событий. Ждали, как вчера и позавчера, как каждый день, старост и писарей с раскладочными приговорами и податными ведомостями и, потом, этого важного начальника из губернского правления, о котором говорил со старшиной и Ананьевым крестьянский начальник. И старшина с утра пошел к Тимофею Зыкову договариваться с ним насчет квартиры.

Но ни одного писаря, ни одного старосты с податными делами в этот день не объявилось. Начальника из губернского правления тоже пока не было. Приехал он только через два дня в полдень и очень долго сидел за закрытой дверью с Ананьевым, старшиной и заседателем. А потом старшина и заседатель отвели его на квартиру к Тимофею Зыкову. Уходя, он поздоровался с нами, назвал себя по имени и отчеству. Звали его Виктор Павлович. Был он в возрасте Ивана Осиповича, пожалуй, чуть постарше — лет под тридцать. Носил длинные волосы — на пробор, небольшую козлиную бороду и совсем коротенькие усы. Одет был не по-начальнически, а как-то просто по-городскому — пиджак без светлых пуговиц с зелеными петлицами, брюки навыпуску, ботинки со скрипом. Ну, совсем как Иван Иннокентиевич, но только, конечно, когда Иван Иннокентиевич был молодым и не таким жирным.

Вечером Виктор Павлович явился в волостное правление, осмотрел все наше помещение, заглянул в сторожку и в нашу волостную тюрьму, приказал заседателю открыть наши амбары на волостном дворе, потом вызвал наших ходоков в комнату Ананьева и неожиданно для всех стал наводить в волости свой порядок.

Большой топчан с постелью в комнате Ананьева, на котором дневал и ночевал заседатель Болин, он приказал немедленно вынести в кладовку.

— Здесь присутственное место, а не спальня,— сказал он и велел принести и поставить сюда хороший письменный стол, который заметил в одном из наших амбаров.— Здесь будет мое рабочее место.

Тут заседатель Болин начал бормотать, что на этом топчане он караулит железный ящик, в котором хранятся

все наши важные дела, волостные книги, казенные деньги и красные пакеты.

— Волостное правление должны охранять сторожа,— ответил ему Виктор Павлович.— Если вам нравится спать около этого ящика — устраивайтесь на полу. А утром выносите свою постель в кладовку.

После комнаты Ананьева Виктор Павлович принялся перекраивать нашу общую канцелярию и судейскую. Огромный, грубо сколоченный некрашеный стол, за которым с разных концов сидели Иван Фомич и Иван Осипович, он велел отнести в амбар, а оттуда принести два нормальных канцелярских стола. За одним из них сразу же устроился Иван Осипович. А мой стол он велел ходокам перенести в нашу судейскую и поставить его вглубь к самому окну. Старый судейский стол, за которым вершат дела наши судьи, приказано было придвинуть к стене и накрыть клеенкой.

— С завтрашнего дня будешь работать в этой комнате,— сказал он мне.— У вас будет здесь настоящая судейская.

Затем он пересмотрел два наших шкафа, забитых канцелярскими делами и книгами, и самый большой из них велел вытащить в кладовку, что в сенях при входе в волость. А столик Петьки Казачоика остался на месте у окошка.

После всех этих перемен и перестановок в волостном правлении стало как-то светлее и просторнее. Старшина и заседатель смотрели на все это и только глазами хлопали, не смея завести с Виктором Павловичем разговор. А Виктор Павлович прошелся по нашей большой комнате, заглянул в комнату Ананьева и в нашу судейскую и велел все там прибрать как следует, вымести, протереть, вымыть полы, чтобы волостное правление было настоящим присутственным местом, каким ему положено быть.

После перестройки помещения Виктор Павлович занялся нашим двором. На дворе у нас два амбара с большим поднавесом. В одном — волостной архив, другой забит самогонными аппаратами, вонючими бочками и кадками от самогонной браги. Поднавес тоже до отказа заполнен этим добром.

И вот Виктор Павлович вывел заседателя Болина на двор, показал ему на этот самогонный инвентарь и велел сейчас же перетащить все это добро на пустырь за амбары и сжечь его там без всяких промедлений. Тут заседа-

тель стал ссылаться на то, что самогонное имущество состоит у нас за урядником и он никому не позволяет к нему касаться.

— Мало ли что он не позволяет. Выполняйте то, что вам приказывают, и не рассуждайте.

Тут заседатель Болин, делать нечего, велел трем мужикам, отбывающим отсидку при волостной тюрьме, перекатывать и перетаскивать самогонные кадки и аппараты на пустырь за амбарами. В самый разгар этой работы появился урядник. Всем было интересно, как он посмотрит на это. К общему удивлению, Сергей Ефимович сразу же одобрил приказание Виктора Павловича сжечь винокуренный инвентарь и даже стал помогать разбивать на пустыре самогонные кадки и укладывать их в огромную кучу. А потом эту кучу подожгли, и она под одобрительный смех и крики окружающих с треском и шумом сгорела ясным огнем.

— На сегодня довольно! — сказал Виктор Павлович и приказал заседателю завтра утром к началу занятий вызвать к нему комского старосту.

Утром комский староста вместе с Иваном Фомичом явились к Виктору Павловичу, и он повел, к немалому их удивлению, с ними речь о постройке на пустыре, за амбарами, где они вчера жгли самогонный инвентарь, большого сооружения «для естественных надобностей». Уборной в волостном правлении нет, и все волостные начальники, писаря, ходоки, арестанты, старосты и гласники ходят по большой и малой нужде на этот пустырь. И, конечно, пустырь всегда загажен, особенно в дни работы волостного суда и волостного схода.

Волостное начальство понимало, что такое положение дела никуда не годится, и не раз ставило перед сходом вопрос о постройке на пустыре приличной уборной. И каждый раз сход решительно отклонял это предложение. Господа гласные не находили смысла тратить волостные деньги на постройку этого, по их мнению, ненужного сооружения. И вот теперь Виктор Павлович решил облагодетельствовать волостное правление и строго-настрого приказал комскому старосте нарядить несколько человек копать на пустыре яму под уборную, подвозить туда строительный материал и поставить на это дело несколько хороших плотников. Все расходы на это отнести на счет сельских сумм. Раскладку вашу, сказал Виктор Павлович, мы утвердим сейчас с учетом этого расхода, а волостное

правление учтет эту сумму в своих расчетах с комским обществом.

Старшииа и заседатель даже пикиуть ие посмелн, слушая разговор Внктора Павловича с комским старостой. Ананьев тоже не осмелился перечить и даже поддержал его.

— Не дай бог прнедет по делам нли на волостной сход крестьянскнй начальник,— сказал он,— н пожелает пойтн куда следует по большой нужде... Что будем делать? Стыда не оберешься...

Иван Фомнч, слушавшнй разговор Виктора Павловнча со старостой, прнзнал его действня смелыми и умными:

— Вот бы нам такого человека в волостиые писаря. Он жнво вывел бы нашу захудалую волость иа первое место в уезде.

А Внктор Павловнч решил, что ему пора переходить к сложным и трудным вопросам податной раскладкн. Он знал, что Иван Фомнч был главным помощнником у Ивана Иннокентиевича по этнм делам, и пригласил его для доверительной беседы. Беседовал он с Иваиом Фомичом очень уважнтельно, расспрашнвал его о том, как в нынешнем году обстоит в волости дело с раскладкой, какие деревни по этой части благополучны и в каких возможны осложкення.

На все его расспросы Иваи Фомич давал ясные, обстоятельиые ответы. Раскладка податей проходит с большнм трудом, ио в общем-то как-нибудь пройдет, за исключением Витебкн и Александровкн. Тут Виктор Павлович стал допытываться подробностей насчет этнх деревеиь. Но Иван Фомич сказал только, что живут там расейскне переселенцы из какнх-то западных губерний. От другнх деревень онн иа отлете. Кругом тайга. Хлеб роднтся плохо. Кормятся одиой картошкой. Заработков иет. Подати выплачивать нечем. Это в волостн самые бедиые, самые трудные деревнн. И начальству надо вести себя там очень осторожно.

В тот же день Внктор Павлович попросил старшнну пригласнть к нему Мнханла Грнгорьевнча Белошенкова и долго о чем-то говорнл с ннм. После этого Ананьев вывел Белошенкова к нам в большую комиату и усаднл его за второй пнсьменный стол, который прнтащнл из амбара заседатель Болнн. И всем стало ясно, что Белошеиков будет теперь служнть в волостном правленни вместо Иваиа Фомича на податиых делах, воеииом учете н статистике.

Первым из долгожданных писарей с раскладочным приговором сельского схода и податными ведомостями явился Трофим Андреич Кожуховский. В волостном правлении он все увидел по-новому. Большая наша комната, забитая раньше канцелярскими столами и огромными пузатыми шкафами, выглядела теперь светлой и просторной. За тремя небольшими столиками важно восседали Петька Казачонок, Иван Осипович и Михаил Григорьевич Белошенков. Ивана Фомича, с которым Трофим Андреич привык решать раскладочные дела, не было. За закрытой дверью в комнате Ивана Иннокентиевича сидел новый волостной писарь и какой-то важный начальник, которого прислали управлять Комской волостью.

Все это настроило Трофима Андреича на очень тревожный лад, и он зашел ко мне в судейскую, чтобы здесь немного успокоиться и подготовить себя к встрече с новым начальством. Он забросал меня десятками вопросов насчет Ананьева, о котором он не слышал пока ничего хорошего, и насчет этого нового важного начальника, которого, говорят, даже сам крестьянский начальник боится. Тут я постарался уверить Трофима Андреича, что ему нечего бояться за свои дела. Ведь все податные расчеты ему сделал Иван Фомич, которого этот начальник очень уважает. Ну а раскладочный приговор он сделал по прошлогоднему проверенному образцу.

Слушая меня, Трофим Андреич немного воспрянул духом и уверовал в то, что раскладочные дела у него в порядке, во всяком случае не хуже, чем у других писарей. И как только он уверовал в это, то направился в нашу общую канцелярию. Тут его сразу окликнул Михаил Григорьевич и, узнав, что он приехал с раскладочным приговором и податными списками, повел его к Никифору Карповичу, а Никифор Карпович сразу же представил его Виктору Павловичу:

— Безкишенский писарь. С раскладочными материалами.

— Садитесь, пожалуйста,— пригласил Трофима Андреича Виктор Павлович.— Показывайте, что привезли...

Трофим Андреич дрожащими руками вынул из своей писарской сумы податную ведомость и раскладочный приговор и вручил их Виктору Павловичу. Тот принял этот материал и строго спросил:

— Почему так долго задержались с раскладкой?

— Несколько раз ее пересматривали. Сами знаете, ка-

кое это дело. А потом, надо было написать все это... Шуточное дело, в двух экземплярах...

— Хорошо. Посмотрим...— сказал Виктор Павлович и углубился в чтение приговора безкишенского общества.

Тут Трофиму Андреичу, видимо, надо было уходить. А он стоял около стола Виктора Павловича, мялся, тяжело вздыхал и все-таки не уходил. Наконец Виктор Павлович соизволил обратить на него внимание.

— А теперь идите, пожалуйста, и спокойно отдыхайте. До завтра!

На другой день Трофим Андреич рано утром явился к Виктору Павловичу. Он был почему-то уверен, что этот важный начальник зарежет его раскладку и заставит его пересчитывать и переписывать все заново.

А Виктор Павлович сам проверил весь безкишенский материал — и раскладочный приговор, и податные ведомости. И весь этот материал оказался правильным, в полном согласии с решением волостного схода. И тем не менее Виктор Павлович решительно забраковал и раскладочный приговор, и податные ведомости. И забраковал только потому, что они написаны были водянистыми чернилами и уже сейчас читались с большим трудом.

— Вы опытный писарь,— наставлял Виктор Павлович Трофима Андреича,— прекрасно справляетесь со своим делом и должны понимать, что податная ведомость — это важный казенный документ и требует самого тщательного оформления. Перепишите все как следует. Время терпит.

Тут Трофиму Андреичу ничего не оставалось, как поворачивать оглобли и отправляться восвояси. Перед уходом он зашел ко мне, уселся за наш судейский стол и стал что-то рыться в своей писарской суме. Он укладывал в нее свои податные списки, вынимал их и снова их туда укладывал и все что-то говорил и говорил сам с собой. А потом со вздохом сообщил мне, что с раскладкой у него сделано все правильно, но заставляют переписывать заново.

— Чернила мои ему, видишь, не понравились. Водянистые, говорит, чернила. Текст нечеткий, и быстро выцветут. Три года пишу этими чернилами, и все было ничего. А теперь текст нечеткий...— Тут Трофим Андреич вытащил из сумки свою чернильницу с деревянной затычкой и с досадой водрузил ее на стол.— Водянистые чернила! Я и сам вижу, что они водянистые. А где я их возьму не водянистые? Был у Демидова, был у Паршукова... Не торгуют чернилами. Не ехать же в Новоселову...

Трофим Андреич с досадой вытащил из своей чернильницы деревянную затычку и вылил остатки своих водянистых чернил в широкую щель на полу около дверей судейской. Потом тщательно протер чернильницу тряпкой, поставил ее передо мной на стол и попросил:

— Налей мне, пожалуйста, ваших волостных чернил. Волость, я думаю, от этого не разорится. А я тебя при случае уж чем-нибудь отблагодарю.

А потом Трофим Андреич окончательно сложил свои ведомости в писарскую суму, крепко-накрепко заткнул своей деревянной затычкой чернильницу, в которую я налил ему волостных чернил, тщательно завернул ее тряпкой и отправился к Ивану Фомичу на сельскую переписывать свои податные ведомости и раскладочный приговор безкишенского общества.

Тем временем в волость один за одним начали съезжаться писаря из других деревень. Одним из первых явился однорукий коряковский писарь Потылицын, затем теснинский Альбанов, потом проезжекомский Шипилов и улазский Брехнов. Все это были писаря опытные, держались они в волости свободно и уверенно.

Раскладочные дела их особенно не беспокоили. Они знали, что с этим делом у них все обстоит как следует и что дня через два они получат от Ананьева утвержденную податную ведомость, по которой надо будет начинать выколачивать с мужиков деньги.

Они воздерживались мотаться без дела в нашей общей канцелярии и как-то незаметным образом перекочевали ко мне в судейскую. Они попросили заседателя Болина принести сюда скамейку и несколько стульев, усаживались за наш судейский стол и вели между собой свой писарской разговор о том, как им трудно было проводить в нынешнем году раскладку и как будет труднее еще выколачивать у мужиков подати.

Виктора Павловича они нисколько не боялись. И шумно одобряли все его мероприятия в волостном правлении, особенно сооружение большой красивой уборной на пустыре. Теперь волостное правление стало походить на присутственное место, говорили они, каким ему положено быть, а не на свинарник, каким оно было раньше.

Виктор Павлович ограничился с ними коротким знакомством. Только для Шипилова и Брехнова сделал исключение и долго сидел с ними у меня в судейской комнате.

А потом постепенно начали съезжаться остальные

писаря. С иими иметь дело было уже трудиее. Тут иадо было все, иачииая с раскладочиых приговоров, или исправлять, или заиово переделывать; десятки раз втолковывать им, как переводить иа пашеииое исчислеиие бойцов, домашиюю скотииу и покосиые угодия. В этой арифметике оии, подобио Трофиму Аидреичу, осиовательно путались. Эта работа целиком легла на плечи Белошеикова.

А из Чериой Комы приехал только староста и заявил Анаиьеву, что писаря в Чериой Коме все еще иет и раскладку делать ие с кем. Собирались миого раз, шумели, ругались, о чем-то как будто договорились, а о чем договорились, ои сказать ие может. Общественый приговор о раскладке иаписать было иекому.

Тут Аиаиьев решил пришить к этому делу Павла Михайловича и всю вииу за срыв раскладки в Чериой Коме взвалить иа иего. Но Виктор Павлович решительио отклонил это. «У иас иет иа это достаточиых осиований»,— заявил ои Аиаиьеву. Тогда Аиаиьев начал ссылаться иа старшииу, который ездил в Черную Кому. «Я говорил со старшииой об этом и ие иахожу осиований ставить так вопрос. И вам ие советую. Вы одии раз осеклись иа этом. Второй такой просчет вам ие простят. И вообще, заводить дело о срыве податиой раскладки в Чериой Коме я считаю иецелесообразиым. А раскладку податей в Чериой Коме, я думаю, можио поручить безкишеискому писарю. Со своей ои справился хорошо. Зиачит, и в Чериой Коме это одолеет».

И Виктор Павлович велел иемедлеино позвать к себе Трофима Аидреича.

А Трофим Аидреич только что сдал иакаиуие свои заиово переписаииые податиые ведомости и был иа седьмом небе, что свалил иакоиец с плеч это язвенское дело. Теперь он ждал из Безкиша подводу и буквальио обмер, когда дедушко Митрей потребовал его в волость прямо к самому Виктору Павловичу.

Виктор Павлович и Никифор Карпович встретили Трофима Аидреича очеиь уважительио.

Как приговореииый, опустился Трофим Аидреич иа стул и с потеряииым видом стал ждать той миииуты, когда Виктор Павлович заявит ему, что безкишеиские податиые ведомости придется еще раз переписывать.

И действительио, Виктор Павлович иачал что-то говорить о безкишеиской раскладке и все время почему-то приплетал к этому Чериую Кому.

Наконец до Трофима Андреича дошло, что Виктор Павлович только начал с безкишенской раскладки, а на самом деле говорит о Черной Коме, о том, что там нет писаря, из-за чего раскладка там до сего времени не произведена, и что все это может обернуться очень плохо, так как начальство шутить с таким делом не любит. А потом Трофим Андреич окончательно расчухал, что Виктор Павлович предлагает ему вместе с безкишенским писарством вести еще и чернокомские дела.

Трофим Андреич труснл принять это предложение и не смел от него отказываться. Поэтому он промычал в ответ что-то невразумительное. И так как Виктору Павловичу было очень важно как можно скорее запрячь его в это дело, то невразумительное мычание он счел за согласие и, не говоря ни слова, попросил из сторожки чернокомского старосту.

— Вот вам новый писарь,— заявил ему Виктор Павлович.— Знаете его? Будет писарить. И у вас, и в Безкише. Слушайтесь его. Помогайте ему... Везите его скорее к себе и поторапливайтесь с раскладкой...

Тут Трофим Андреич увидел, что он влип в новое трудное дело. И без помощи Ивана Фомича пропадет ни за грош.

А на сельской у Ивана Фомича стоял дым коромыслом. Белошенков оказался знающим и очень требовательным помощником и почти у всех писарей браковал раскладочный материал, и писаря, не теряя времени, сразу же перекочевывали к Ивану Фомичу переделывать и пересчитывать свои податные ведомости. Наша большая канцелярия в волости, в которой писарям приходилось мотаться во время податной раскладки, на время переместилась к Ивану Фомичу на сельскую, и сам он сильно извелся с этим делом.

Ивана Фомича Трофим Андреич застал в писарской каморке за начислением окладных сборов гляденскому обществу. Он тоже удивился появлению Трофима Андреича, но, узнав, в чем дело, сразу перешел с ним на деловой язык: Трофим Андреич должен немедленно ехать в Черную Кому и привезти оттуда весь раскладочный материал и обязательно прошлогоднюю податную ведомость и раскладочный приговор сельского схода. И тогда они здесь, основываясь на решении волостного схода, быстро все рассчитают: и государственную окладную, и губернский земский сбор и волостной налог. И за все это Иван Фомич

потребовал с Трофима Андреича только десять рублей. Тут Трофим Андреич начал было плакаться на то, что его насильно впятили в это, а теперь приходится платить такие деньги. Но Иван Фомич не стал с ним рядиться.

— Не хочешь — не надо,— сказал он.— Я и так с вами замотался...

Тут Трофим Андреич испугался, что Иван Фомич откажется пойти на это дело, и сразу же согласился на все его условия. Перед уходом он для пущей верности всучил ему пять рублей задатка и в ночь отправился с чернокомским старостой за раскладочным материалом.

Через неделю Трофим Андреич представил волостному правлению раскладочный приговор и податную ведомость чернокомского общества. Виктор Павлович сам у него все проверил и снова похвалил и поблагодарил его за проделанную работу. «Вы нас здорово выручили с этим делом...» — сказал он Трофиму Андреичу и попросил его еще раз переписать податную ведомость. О водянистых чернилах он на этот раз ничего не говорил и напирал главным образом на нечеткие, неразборчивые цифры в податной ведомости. «Удивляюсь вам,— сказал он Трофиму Андреичу.— Вы так отлично выполняете такую сложную и трудную работу, как податная раскладка, а цифры писать как следует не умеете. Может, не хотите затруднять себя? Так нельзя!»

Тут Трофим Андреич сразу же направился к Ивану Фомичу порадовать его тем, что Виктор Павлович утвердил их чернокомскую раскладку, но опять попросил переписать ее, так как ему теперь чем-то не понравились в ведомости цифры. И Трофим Андреич стал плакаться на то, как трудно ему будет заново переписывать эту проклятую податную ведомость, так как с цифрами у него действительно почему-то не получается. И может быть, Иван Фомич сам расставит ему, где следует, эти проклятые цифры. Но Иван Фомич сильно рассердился и категорически отказался вписывать цифры в податную ведомость Трофима Андреича. В конце концов дело кончилось у них тем, что Иван Фомич усадил Трофима Андреича за стол, вручил ему две ученических тетради, вписал туда для показа цифры от нуля до девятки и заставил его переписывать их. И вот, вместо того чтобы дописывать свою податную ведомость для Виктора Павловича, Трофим Андреич целый день писал цифры. Писал их и думал о том, какой нехороший человек этот Иван Фомич. Огре-

бает с писарей такие деньги с этой раскладкой, а вписать в ведомость какие-то паршивые цифры не хочет. Но все-таки писание этих цифр пошло Трофиму Андреичу на пользу, и он так насобачился вскоре, что Иван Фомич разрешил ему перейти на переписку податной ведомости.

Ну а дальше все у Трофима Андреича пошло как по маслу. Он за один день заново переписал чернокомскую податную ведомость, сдал ее Виктору Павловичу и поехал домой в Безкиш отдыхать после этой каторжной работы. И хоть дорого вскочила ему эта раскладка, но все-таки он с грехом пополам вышел из нее не хуже Потылицына и Альбанова, писаривших каждый по двум деревням. Теперь и он — Кожуховский — тоже писарит на две деревни, получает, шуточки сказать, тридцать пять рублей. Безкишу и Черной Коме теперь без него уж не обойтись. Теперь его голой рукой уж не схватишь.

Пока Белошейков и Ананьев заканчивали проверку раскладочных приговоров и податных ведомостей, Виктор Павлович решал вопрос о том, как ему скорее и без шума провернуть дело с Витебкой и Александровкой.

Несмотря на самые строгие распоряжения волостного правления сельским старостам о представлении раскладочных приговоров и податных ведомостей, от Витебки и Александровки по-прежнему ничего не поступало. И сами старосты, и их писарь Великолуцкий в волость не являлись и не давали о себе ничего знать. Говорят, крестьянский начальник и становой пристав, ссылаясь на указания сверху, предлагали Виктору Павловичу немедленно произвести арест витебского и александровского старост, писаря Великолуцкого и причастных к этому делу лиц. Виктор Павлович не согласился. «Такая акция станет достоянием широкой гласности,— сказал он,— наделает много шума и, вероятно, не даст положительного результата».

Обдумав и рассчитав все как следует, Виктор Павлович решил провести эту операцию на свой риск силами комской волостной администрации без участия чинов полиции и жандармского корпуса. И только просил вооружить Комское волостное правление строжайшим приказанием крестьянского начальника немедленно провести в Витебке и Александровке выборы новых сельских старост.

Как только проверка раскладочных приговоров и податных ведомостей в волостном правлении была закончена и писаря со своими старостами разъехались по домам,

Виктор Павлович приступил к проведению операции. Выполнить ее он решил руками волостного заседателя Болина, исходя из простого расчета: Болин — крестьянин из российских переселенцев, житель Александровки и, как никто из волостной администрации, пользуется доверием и в родной Александровке, и в Витебке.

И вот, после длительных и весьма строгих наставлений, заседатель Болин выехал в Витебку предъявить старосте распоряжение крестьянского начальника о выборе в Витебке нового старосты. При выборе нового старосты никаких разговоров о новой раскладке по возможности не допускать, а после выборов немедленно, вместе с писарем Великолуцким, отправиться в свою родную Александровку и таким же манером провести там выборы нового старосты. Затем обязать нового александровского старосту вместе с новым витебским старостой и писарем Великолуцким немедленно прибыть в волостное правление за новой инструкцией насчет раскладки податей. А чтобы это дело было ясным и не вызывало у мужиков сомнений, взять с собой в Кому кого-нибудь из гласников волостного схода, которые принимали участие в обсуждении сходом раскладки податей. Особенно желателен с этой стороны приезд в волостное правление Яна Бижана.

Через неделю, к общему удивлению, заседатель Болин возвратился в Кому с новыми витебским и александровским старостами, писарем Великолуцким и тремя гласниками — Бижаном и Василенком из Витебки и каким-то Бобриком из Александровки.

Заседатель Болин чувствовал себя героем и рассказывал, как он провел всю эту операцию. Прежних старост в Витебке и Александровке он не ругал, не запугивал встречей со становым и тюремной отсидкой, а прямо заявил им, что начальство решило сменить их за плохую работу и только просит их оказать ему помощь в выборе новых подходящих для этой должности людей. И витебский, и александровский старосты очень этому обрадовались, так как все время жили под страхом, что им не миновать тюрьмы за срыв раскладки. А с выбором новых старост они выходили в этом деле сухими. Великолуцкий тоже не учуял в выборах никакого подвоха со стороны начальства и повернул Болину, что волостное правление заново с новыми старостами пересмотрит вопрос о раскладке и о том, что тут хотят предпринять витебское и александровское сельские общества. А Бижан из рассказов заседателя

узнал, что волостью теперь заправляет какой-то приезжий начальник, которого даже крестьянский боится. Этот начальник все перешерстил и переделал в волости по-своему, без крика и без шума провел раскладку по всей волости. Может, он для Витебки и Александровки придумает с этим делом какое-нибудь облегчение.

Таким образом, дело с Витебкой и Александровкой наполовину было сделано. Великолуцкий и Бижан были в руках волостного правления. Теперь надо было без шума и гама упрятать их в тюрьму. За это взялся уж сам Виктор Павлович, и сделал он это, как в таких случаях положено по закону, очень вежливо и уважительно. Он пригласил старшину, заседателя и урядника в комнату Ананьева и устроил там Бижану и Великолуцкому что-то вроде допроса. А Белошенкова попросил записывать весь разговор, который он будет вести с ними. Получилось что-то вроде волостного суда над ними, только без наших судей.

Первым Виктор Павлович попросил пригласить Великолуцкого. За отсутствием прежних старост, которых в Витебке и Александровке освободили от их общественной службы, он оказывался главной фигурой в этом деле. На первый вопрос Виктора Павловича о том, почему в Витебке и Александровке до сего времени не произведена раскладка податей, Великолуцкий сбивчиво стал объяснять, что много раз собирались по этому делу и в Витебке, и в Александровке, спорили, ругались и никак не смогли прийти к какому-либо решению. Одни говорят одно, другие твердят совсем другое, а договориться ни до чего не смогли.

Тогда Виктор Павлович спросил Великолуцкого, почему сельские сходы в Витебке и Александровке не учли в этом деле решения волостного схода.

На это Великолуцкий стал сбивчиво отвечать, что мужики много говорили об этом и решили, что приговор волостного схода в этой части витебскому и александровскому обществам не указ.

После этого Виктор Павлович задал третий вопрос Великолуцкому: почему он обо всем этом не донес своевременно волостному правлению? Он же знает, что раскладка дело важное, государственное и волостное правление в большом ответе за нее.

На это Великолуцкий начал рассказывать, как он много раз говорил своим старостам непременно съездить в Кому и все обсказать волостному начальству. Но его ста-

росты, и витебский, и александровский, ехать в Кому категорически отказались. Боялись встречи с начальством, боялись отсидки.

— Ну а сами-то вы как? — спросил Виктор Павлович.— Почему сами-то об этом не написали, не приехали рассказать?

Тут Великолуцкий понес ахинею о том, что волость сама знала, что положение в Витебке и Александровке неблагополучно и что его донос ничего не изменил бы в положении дела. А потом, он ведь не должностное, не выборное лицо и за состояние дел в деревне не отвечает. Если старосты ничего не тянули и не везли в этом деле и сухими вышли из воды, тем более он не в ответе.

— Все ясно,— сказал Виктор Павлович и потребовал у Великолуцкого податные ведомости витебского и александровского обществ.

— Ведомости эти у меня готовы,— ответил Великолуцкий.— Вот они. Тут все, что надо. Остается только произвести по ним раскладку и вписать в них начисленную на каждого домохозяина подать.

— Очень хорошо! — сказал Виктор Павлович.— Я с ними познакомлюсь. А теперь попросите сюда бывших гласников волостного схода. Кто там с вами приехал? Бижан, Василенок, Бобрик...

На первый же вопрос Виктора Павловича о том, почему в Витебке так затянулось дело с раскладкой, Бижан начал говорить, что они много раз собирались на сход и никак не могли решить, как делать эту раскладку. Как ни поверни — везде получается эта самая податная петля. А насчет порядка раскладки, установленного волостным сходом, сказал, что этот порядок неправильный, что витебские и александровские гласники с таким решением схода не согласились и что поэтому для витебских и александровских оно необязательно и они выполнять его не будут.

— Хорошо,— сказал Виктор Павлович.— А как же нам быть нынче с раскладкой? Это ведь государственное дело. Надо делать или не надо? Или мы совсем отказываемся от податей?

— Раскладку надо, конечно, делать,— признался Бижан.

— Так как ее делать?

— По-другому надо делать. Не по бойцам, а по силе возможности.

— Хорошо. Тогда как вы предлагаете это делать?

— Это мы еще не решили. Это дело трудное. Собирались раз десять и все равно не решили.

— Что же дальше делать?

— Решать надо по-своему. Решать и делать по-своему.

— Хорошо. Как это делать?

— Это мы еще не знаем. Не решили еще.

— Значит, вы предлагаете делать раскладку по-другому, по-своему, и не можете сказать, когда завершите эту раскладку? Значит, вся волость, весь уезд, вся наша губерния должны ждать, когда вы в Витебке решите своим сходом, как делать раскладку податей?.. Хорошо. А что вы думаете на этот счет? — обратился Виктор Павлович к другому витебскому гласнику.

— Я думаю, надо делать, как сделано по всей волости. А то мы пропурхаемся с этим делом, пока к нам не пригонят на постой роту солдат и заставят кормить их бесплатно, пока мы не рассчитаемся полностью с нашими долгами.

— Правильно. Все правильно! — заключил Виктор Павлович и обратился с тем же вопросом к александровскому гласнику. Александровский гласник тоже высказался за раскладку по решению волостного схода.

— Теперь нам все ясно,— подвел итог своему разговору Виктор Павлович и отпустил Великолуцкого и Бижана до вечерних занятий на квартиру, а витебского и александровского гласников попросил остаться, чтобы уяснить некоторые вопросы с новыми старостами.

Разговор с новыми старостами был очень короток. Им было приказано вместе с гласниками Василенком и Бобриком немедленно возвращаться домой и под руководством волостного заседателя Болина и помощника волостного писаря Белошенкова приступить к раскладке податей, руководствуясь решением волостного схода по этому вопросу. Виктор Павлович очень торопил старост с этим делом и настоял на том, чтобы они сейчас же, не теряя ни одной минуты, вместе с заседателем Болиным выехали в Витебку. Волостному заседателю он наказал раскладку в Витебке и Александровке проводить по возможности мирно, мужиков ничем не задирать, о задержке Бижана и Великолуцкого ничего не говорить. Опираться надо в этом деле на прежних старост, которых мы освободили от этой кутерьмы, и на гласников Василенка и Бобрика.

Я знал, что Ананьев, старшина и заседатель оценивают

положенне в Витебке и Александровке как близкое к бунту против власти, против начальства, н вндят в Великолуцком и Бижане зачинщнков н подстрекателей этого буита. И я знал еще, что начальство производнт аресты такнх людей и куда-то нх высылает.

Среди сельскнх писарей нашей волости Велнколуцкий был моим добрым знакомым. У иас была с ним неравная дружба старого солдата с подростком-подпнсаренком. И он, естественно, после разговора с Виктором Павловнчем зашел ко мне в судейскую посоветоваться о своих делах. Но что я мог сказать ему... Витебского и александровского старост у нас в волостн тоже считали зачинщиками н подстрекателямн. А Внктор Павлович приказал их перензбрать без всякнх последствнй, сообразуясь с тем, что они были не протнв раскладки, а только хотели провести ее не по бойцам, а по силе возможиости. И я советовал Велнколуцкому тоже держаться за это и не соглашаться с обвиненнем в намеренном срыве раскладкн н тем более в подстрекательстве мужнков к бунту против начальства.

К назначенному временн Велнколуцкий н Бижан явилнсь в волость. В комнате Ананьева онн застали Внктора Павловнча, самого Ананьева, старшнну Безрукова и урядннка Чернова. В прнхожей волостного правления сндели трн здоровых мужнка прн медных бляхах. Велнколуцкнй и Бнжан не придали этому особого значеиия, но нм показалось странным отсутствне прн этой встрече заседателя Болина, который, можно сказать, выволок нх сюда нз Витебки. А этот новый начальннк, который перекроил на свой лад всю волость, встретнл нх очень уважнтельно, пригласил прнсесть к своему столу, справился о том, как онн пообедалн и отдохнули после утомнтельной дороги нз Витебки, н стал жалеть нх, что они попалн с этой раскладкой в такое трудное положенне, что должны расплачнваться теперь за срыв раскладкн податей по всей Комской волостн. Начальство здорово взбеленилось с задержкой раскладкн в Внтебке и Александровке н требует строгого наказаиия внновных в этом.

— Ну, мы тут вот посовещалнсь об этом и решили ие передавать это дело вверх высшему начальству, а наказать вас своей властью, которой располагает волостной старшнна по закону. Это все проще н, главное, будет сделано на месте адмнннстративным порядком, без суда, без вмешательства полицни, без судебной волокиты.

Тут Великолуцкий и Бижан поняли, что оии влнплн в

серьезиое дело, что заседатель Болин вымаиил их из Витебки, что оии находятся теперь в руках этого вежливого человека, который без погои, без светлых пуговиц является здесь хозяином положения и от которого зависит, возвращаться ли им в Витебку или мотаться здесь несколько дней в сторожке с ходоками и ямщиками. А потом, самое главное — оии же ии в чем ие виноваты перед властью. Если бы они уговаривали мужиков не платить податей, бунтовать против иачальства. Это было бы другое дело. Оии даже ие были против раскладки. Они же понимают, что без податей государству не обойтись, и они только за то, чтобы подати, как само начальство говорит, раскладывались на мужика по справедливости.

Все это Бижаи сразу же обсказал этому важному начальнику. Но не таков был человек Виктор Павлович, чтобы вступать в спор с Бижаном. Ои зиал, что делает все правильно, по закону, и спокойно стал уговаривать Бижана особенно ие волноваться, понять, что волостиое начальство вынуждеио это сделать, и сделать для их же пользы, чтобы не передавать дело судебным властям, что пять суток ареста при волостиой тюрьме ие такое уж большое дело. Отлежитесь, отоспитесь, отдохиете в Новоселовой и спокойно поедете домой.

— Почему в Новоселовой, а не здесь, не у нас? — сразу всполошился Великолуцкий.

— Ну, это дело у иас обычное,— стал успокаивать его Ананьев.— По податным делам сажают всегда в Новоселову. Так что придется снабдить вас туда кормовыми. Арестантам в нашей волостной тюрьме мы кормовых не даем, а в иовоселовской приходится оплачивать...

И Аиаиьев попросил старшииу выдать Великолуцкому и Бижану по одному рублю денег. После этого урядиик крикнул из прихожей комского сотского и приказал ему подавать к крыльцу лошадей.

На другой деиь он рассказывал старшине о том, как доставил в новоселовскую тюрьму Бижаиа и Великолуцкого. Сначала сдал их по всей форме в волостное правлеиие, потом явился к становому приставу с доиесеиием, что Комское волостное правлеиие направило в новоселовскую волостную тюрьму на пятисуточный арест витебского писаря Великолуцкого и крестьяниия той же деревни Яиа Бижана за срыв податиой раскладки.

Господин стаиовой был очень доволен положением дел в Комской волости, особенно тем, как Виктор Павлович

ловко провел операцию с арестом Бнжана и Великолуцкого. «Умный человек этот Виктор Павлович. Ничего не скажешь. Далеко пойдет... Такие люди в иаше время иужны».

Потом с такнм же донесением Сергей Ефимович явился в каицелярию крестьянского начальника. Крестьянского иачальника ои не застал и все подробности, изложенные в донесении Комского волостного правления, рассказал его письмоводителю. Тот выслушал все с большим интересом и тоже стал хвалить Виктора Павловича. «Эти дураки,— сказал ои, иамекая, судя по всему, на прнстава и крестьянского,— взбаламутили бы всю волость, а может, и весь уезд, а он одии так обстряпал дело, что ии к чему ие придерешься».

А насчет отсидкн Великолуцкнм и Бижаиом пятидневного ареста письмоводитель заявил, что вряд ли их освободят после этого. Крестьянскому сажать мужиков право ие дано. Он делает это руками волостной администрации н местной полицни. Мараться с вашим Великолуцким и Бижаном он не будет, а предложит приставу передать дело высшему иачальству. А там с такими молодцамн валандаться ие любят и живо иа осиовании таких-то и таких-то статей «Правил о местностях, состоящих иа военном положенин» высылают в Туруханский край. А впрочем, подождем. Увидим, что на этот счет скажет Виктор Павлович. В этом деле его слово решающее.

На другой деиь после отправки Бижаиа и Великолуцкого в Новоселову Внктор Павлович позвал меня к себе. Я немного удивился этому приглашению, так как за все это время он меия ие замечал, а еслн замечал, то задавал мне какие-нибудь шутлнвые вопросы, касающнеся работы волостиого суда. Чаще всего его вопросы вертелнсь вокруг кем-то придуманного судебного дела «Об отбнтин хвоста забежавшему в чужой огород поросенку». Ответа на свой вопрос Виктор Павлович от меня обычио не дожидался, улыбнется н уйдет нлн сразу же займется своим делом. А сегодия он был настроен очень серьезно, не спрашивал, когда мы будем рассматривать дело об отбитин хвоста забежавшему в чужой огород поросеику, а сразу передал мне несколько мелко исписаниых листков и спроснл: смогу ли я правильио прочесть и хорошо перепнсать нх? Я взял листочки у Виктора Павловича. Это было его пнсьмо кому-то по поводу срыва Бижаном и Великолуцким податной раскладки. Почерк у Виктора

Павловича был четкий, разборчивый, дело Бижана и Великолуцкого я знал по рассказам очевидцев во всех подробностях и сразу же решил, что смогу правильно прочитать и хорошо переписать его письмо.

— Тогда оставь все свои судебные дела и пять раз перепиши его. Оно будет пока без адреса.

Тут я с интересом взялся за эту работу. Письмо Виктора Павловича было довольно большое — три с лишним страницы. В своем письме Виктор Павлович признавал Бижана и Великолуцкого виновными не в преступном срыве, а в преступной затяжке податной раскладки и не находил в их действиях преступных намерений против государственной власти. Вина за это, по его мнению, в значительной степени лежит на органах крестьянского самоуправления, не уделяющих должного внимания вопросам разъяснения нашего податного законодательства. В заключение своего письма Виктор Павлович предлагал кому-то признать Бижана и Великолуцкого виновными в преступной затяжке раскладки государственных окладных сборов и на основании 17 и 19 ст. «Правил о местностях, состоящих на военном положении» (Св. зак. т. II изд. 1892 г. прил. к 23 ст. Общ. учр. губ.) выслать их под надзор полиции на Ангарский участок Енисейского уезда на все время действия в иркутском генерал-губернаторстве военного положения. И подпись — советник енисейского губернского правления В. Федоров.

Через несколько дней из Витебки возвратились заседатель Болин вместе с Белошенковым и привезли раскладочные приговора витебского и александровского сельских сходов и податные ведомости.

Раскладка в Витебке и Александровке прошла на этот раз благополучно. Особенно старались помочь этому бывшие сельские старосты, которых по указанию Виктора Павловича освободили от занимаемых ими общественных должностей.

Теперь вся работа с податной раскладкой была в волости полностью закончена, и закончена благодаря энергичным и разумным действиям Виктора Павловича. После возвращения заседателя Болина из Витебки Виктор Павлович из Комы сразу же уехал. И хотя он буквально спас Комское волостное правление от позора с этим срывом раскладки, но все равно никто не жалел об его отъезде. Наоборот, все даже радовались. Ананьев потому, что он из бессловесного наблюдателя распоряжений Виктора

Павловича снова становился полновластным хозяином волости.

Старшина и заседатель радовались отъезду Виктора Павловича потому, что снова чувствовали себя в волости начальниками, а не бессловесными пешками в его руках. Особенно радовался его отъезду, как это ни странно, заседатель Болин. После двух поездок в Витебку и Александровку по раскладочным делам он обрел некоторую уверенность в себе, почувствовал себя немного начальником и начал внятно высказывать в разговорах со старостами и писарями некоторые не лишенные смысла соображения.

Ивану Осиповичу и особенно Ивану Фомичу Виктор Павлович почему-то не понравился, хотя они и одобряли все его распоряжения насчет внутреннего переустройства нашего волостного правления. А эта вежливость и уважительность к людям, говорили они, у него показная. Для видимости. Он нисколько не жалеет мужика и готов содрать с него с живого шкуру, лишь бы угодить высшему начальству. Только он делает это по новой моде — очень культурно и уважительно. Смотри, как он культурно и уважительно укатал в тюрьму Бижана и Великолуцкого. У высшего начальства такие люди теперь ценятся...

Глава 19
ПРОЩАЙ, КОМА

Вопреки нашим ожиданиям вопрос об открытии в Коме почтового отделения разрешился довольно быстро. Не успели мы как следует свыкнуться с этой новостью, как в Кому приехал из Новоселовой начальник будущего почтового отделения господин Угрюмов. Явился он к нам с просьбой оказать ему содействие в найме подходящего помещения для почтового отделения. Выглядел этот начальник очень молодо, одет был в красивый почтовый мундир со светлыми пуговицами и держался очень гордо.

Сначала он прошел к Ананьеву, посидел у него некоторое время, но, как и следовало ожидать, ничего толкового от него не узнал и обратился за советом к Ивану Осиповичу.

Иван Осипович сразу сообразил, что ему надо, и послал дедушку Митрея за комским старостой. Ну а дальше дело уж завертелось само собой. Пришел комский староста и вместе с Иваном Фомичом повел Угрюмова к Ерлыковым, в доме которых проживал до отъезда Иван Иннокентиевич.

Дом Ерлыковых начальнику очень понравился. И в цене сразу сошлись. Только долго договаривались насчет отстройки и отделки дома.

В тот же день оформили договор на три года, по семьдесят пять рублей в год. После этого почтовый начальник уехал к себе в Новоселову.

На другой день у нас была почта из Новоселовой, и Иван Фомич, как всегда, явился к нам помогать обрабатывать полученную корреспонденцию на Кому, на верхние и на нижние деревни. За работой он рассказывал нам о том, как они вместе с новоселовским начальником рядили вчера у Ярлыкова дом под почтовое отделение:

— Почта будет помещаться в той части дома, которая была у Ерлыковых сенями. Изба и две горницы пойдут под квартиру начальника. А кухню он решил устроить на дворе, рядом с домом. «Моя жена,— говорит,— не выносит в доме кухонного чада». Дом, конечно, отеплят — проконопатят и снаружи, и изнутри и оштукатурят. А к входным дверям на почту договорились пристроить небольшие сени, которые называются по-иностранному тамбуром. И чтобы в этом тамбуре обязательно было небольшое окошечко.— Будущий начальник почтового отделения Ивану Фомичу очень понравился.— Держится хоть и с фасоном, но человек, видать, неплохой. Поблагодарил нас со старостой за помощь и даже к чаю пригласил на земскую. И все расспрашивал о Коме, какова тут жизнь, как тут обстоит дело с охотой и рыбалкой. И о Новоселовой, конечно, кое-что рассказывал. Не нравится ему чем-то Новоселово. Село небольшое, а все равно пыльно и шумно. Между прочим рассказал, что Новоселовская почтово-телеграфная контора набирает себе учеников с двухклассным образованием. Ученик должен проходить у них трехмесячный практический курс обучения, овладеть почтовым делопроизводством и научиться работать на телеграфном аппарате. Если за это время он зарекомендует себя хорошим работником, его назначат на службу в почтово-телеграфное ведомство. За время ученичества ему будут платить по пятнадцати

рублей в месяц, а по назначении на должность он будет получать полное жалование.

— Я, кстати сказать,— обратился ко мне Иван Фомич,— закинул ему удочку насчет тебя. Так что соображай — здесь сидеть тебе и гнуть спину на судебных делах или податься на почту...

Я подумал немного и решил, что меня туда не примут.

— Как это не примут! — возмутился Иван Фомич.— Двухклассное образование имеешь, основательно наторел на письмоводстве и так толковый парень. Как это не примут!

— Мне не справиться на аппарате.

— И на аппарате справишься. Не боги горшки-то обжигают. Выучишься.

Тут Иван Фомич вместе с Иваном Осиповичем стали уговаривать меня немедленно ехать в Новоселову и подавать начальнику почты прошение со всеми полагающимися в этих случаях документами.

— Завтра же без разговоров,— убеждал меня Иван Фомич,— иди в церковь к псаломщику. Пусть он оформит тебе метрическую выпись о рождении. Потом сбегай к фельдшеру за справкой о состоянии здоровья, потом съезди в Кульчек за своим свидетельством об окончании двухклассного училища. Да не болтай пока об этом ни с кем. Мало ли что еще может получиться. А паспорт мы тебе сейчас выправим. Есть у тебя рубль за паспорт?

Рубля у меня, конечно, не оказалось.

— Ладно, я заплачу за тебя. Потом отдашь,— сказал Иван Фомич, а Иван Осипович тут же выписал мне паспорт, что я «уволен во все города и села Российской империи сроком на один год».

На другой день я пошел к Василию Елизарьевичу, и он, не говоря ни слова, сходил в церковь, нашел в метрической книге запись о моем рождении и учинил мне из той книги формальную выписку. А фельдшер Стеклов справку о состоянии моего здоровья не дал и сказал, чтобы я за этой справкой обратился к начальнику Новоселовского врачебного участка доктору Овчинникову.

Теперь мне надо было отпроситься у Ананьева на несколько дней, чтобы съездить в Кульчек, в Новоселову.

Вопреки моему ожиданию, Ананьев отпустил меня на три дня. Но только строго предупредил не опаздывать.

Мои родные сразу же одобрили мое намерение по-

ступить учеником на почту, и мы с тятенькой, не теряя времени, отправились из Кульчека в Новоселову. По приезде туда я сразу пошел на почту. В кармане у меня лежало составленное Иваном Фомичом прошение с просьбой о принятии меня в почтово-телеграфные ученики.

Идти к начальнику почтово-телеграфной конторы с этим делом было немного страшновато. Кто знает, каков он, этот начальник. Может быть, он относится к тому кругу важных чиновников, которые на всякие лады терзают наше волостное правление и даже на волостного писаря смотрят как на мелкую канцелярскую сошку. Недаром так боялся его Иван Иннокентиевич.

Правда, я не мог припомнить ни одной строгой и оскорбительной бумаги от начальника Новоселовской почтово-телеграфной конторы в адрес нашего волостного правления. Но я хорошо помнил, какими важными и сердитыми показались мне в свое время все почтовые начальники, когда я первый раз увидел их в свой приезд с Липатом в Новоселову.

Поэтому я довольно-таки робко вошел на почту и оказался перед железной решеткой с тремя окошечками, у которых сидели с той стороны три человека в форменных мундирах. В первом окошечке виднелся лысый бритый мужчина немолодых лет, с большими седыми усами и с таким же сердитым выражением на лице, как у нашего Ананьева. У второго окошечка сидел тоже старик с седой бородой вразлет, как у адмирала Макарова. Этот почтовый начальник не выглядел таким сердитым, как первый, наоборот, в глазах у него все время играли какие-то смешинки. А в третьем окошечке сидел знакомый нам начальник будущего Комского почтового отделения, который приезжал к нам нанимать дом у Ерлыковых под почту. И я решил обратиться со своим делом к нему. Однако он принял меня не очень-то приветливо. Выслушав сбивчивое объяснение о цели моего прихода, он кивнул в сторону сидящего рядом с ним длиннобородого старика и сказал:

— К Иннокентию Игнатьевичу — начальнику конторы.

Такой прием окончательно смутил меня, и свое прошение с документами я подал начальнику конторы уже молча, без всяких объяснений.

Иннокентий Игнатьевич, не говоря ни слова, принял от меня пакет, вынул из него мои документы и стал вни-

мательно читать прошение. Потом стал расспрашивать меня, где я живу и чем занимаюсь. Узнав, что я служу в Комском волостном правлении помощником волостного писаря, он поинтересовался, чем именно я там занимаюсь. Когда я сказал ему, что веду все делопроизводство волостного суда, он многозначительно гмыкнул и снова стал читать мое прошение. Потом подержал его в руках, словно взвешивая, и сказал:

— Прошение придется переписать. Оно очень помято. Неудобно будет посылать его в таком виде начальнику почтово-телеграфного округа. Пройдите сюда... Иван Аркадьевич,— обратился он к усатому старику,— впустите молодого человека и устройте его за своим столом...

Прошение мое не особенно было помято, а только свернуто вчетверо. Но ведь с начальством спорить не будешь. К тому же я сразу сообразил, что Иннокентий Игнатьевич хочет проверить, как я пишу — медленно или быстро, много ли делаю ошибок и помарок.

И вот Иван Аркадьевич проводит меня за решетку и усаживает на свое место. Потом дает мне три листа чистой бумаги и транспарант, и я с первого же захода довольно быстро переписываю свое прошение.

Иннокентий Игнатьевич с интересом просмотрел его и сделал на нем какую-то пометку. Потом в заключение сказал:

— У вас не хватает к прошению справки о состоянии здоровья. Пройдите в больницу к доктору Овчинникову и попросите его от моего имени освидетельствовать вас и написать соответствующую справку. Идите, а то не застанете его там.

У доктора Овчинникова на приеме никого не оказалось. Узнав, в чем дело, он сразу же пригласил меня к себе, приказал раздеться и стал выстукивать и выслушивать меня со всех сторон. Потом посмотрел мой язык, глаза и уши и в заключение опять спросил, для чего нужно мне ее. Пока я одевался, он написал и вручил мне эту справку. Я поблагодарил его и довольный, что все идет у меня на лад, поспешил из его кабинета.

— Постойте, молодой человек,— окликнул он меня.

Я в нерешительности остановился.

— Вы пришли ко мне за справкой о состоянии здоровья и получили эту справку. Что вы должны теперь сделать?

— Должен отнести ее на почту и приложить там к своему прошению,— без запинки ответил я.

— Да не об этом речь,— с досадой сказал доктор.— Что вы должны сделать сейчас, в этом кабинете, получив от меня эту справку?

— Не знаю,— смущенно ответил я.

— Как же вы не знаете? Интеллигентный человек, а простых вещей не понимаете. Вы должны заплатить мне за визит три рубля.

Тут я совершенно растерялся. Краска стыда залила мое лицо, и я невнятно пробормотал:

— Я не знал этого. И у меня нет трех рублей.

— А сколько у тебя есть? — грубо спросил доктор.

— У меня нет ни копейки.

— Откуда ты такой выискался? — сердито спросил доктор.

— Из Комы,— с виноватым видом ответил я.

— Ну, что же делать. Иди! Но на следующий раз без денег ко мне не являйся. Не приму.

И доктор Овчинников повернулся ко мне спиной. Как оплеванный вышел я из больницы. «Хорошо было бы отнести ему эти три рубля,— думал я по дороге на почту,— но где их взять? У меня их нет. Отец приехал сюда тоже без копейки и теперь думает о том, к кому меня устроить на жительство на время ученичества. Одно дело Кома, где я жил у Малаховых как дома. Другое дело Новоселово. Конечно, Тарас Васильевич тоже близкая родня. Но одолжаться у них как-то стыдно».

Иннокентия Игнатьевича в конторе не было. Мне пришлось некоторое время ожидать его, и я стал рассматривать новоселовскую почту. В служебном отделении — за решеткой — около трех окошечек стояли столы для работы. Над каждым окошечком висела вывеска. У Ивана Аркадьевича: «Прием и выдача простой корреспонденции». У Иннокентия Игнатьевича «Страховые операции», а у третьего окошечка: «Прием и выдача заказных писем и телеграмм». В углу слева, сразу за Иваном Аркадьевичем, стояло два больших шкафа, видимо, для писем и посылок, затем огромный железный ящик для денег и документов. Дальше были двери, которые уводили в соседнюю комнату. Там, прямо против дверей, у окна, виднелся телеграфный аппарат, за которым сидел и что-то выстукивал будущий начальник Комского почтового отделения.

Из аппарата время от времени бежала, извиваясь, телеграфная лента, и молодой человек все время скручивал ее в большую катушку. А в помещении для публики, где находился я, стояла высокая конторка, небольшой стол и два стула.

Пока я смотрел на все это да соображал, чему и как я должен буду здесь обучаться, в контору пришли две нарядные барышни. У нас в Коме так одеваются только учительницы. А эти барышни были еще совсем молоденькие и до учительниц, видать, еще не доросли. Тем не менее держались они свободно и уверенно. Одна из них подошла к первому окошечку и очень кокетливо попросила Ивана Аркадьевича продать ей пять почтовых открыток и несколько марок. А вторая постояла около третьего окошечка и потом довольно строго сказала молодому человеку:

— Господин Угрюмов, я вас жду... Кончайте скорее стучать на своем дурацком аппарате...

— Прошу прощения! — сказал Угрюмов. — Сейчас кончаю.

— Сначала примите мою телеграмму, а потом стучите сколько вам угодно.

И барышня капризно сунула в окошечко листок бумаги.

А потом приходили еще какие-то люди. И не простые мужики, как у нас в волости, а одетые по-городскому. Одни спрашивали у Ивана Аркадьевича письма и газеты, другие сдавали ему какие-то пакеты. Потом явился молодой человек, похожий на того студента, с которым я работал у крестьянского начальника, и подал Угрюмову сразу несколько телеграмм. Тот подсчитал в них слова, записал их в книгу, получил с него деньги, выдал квитанции и сразу пошел стучать на своем аппарате.

А два человека в дорогих пальто пришли получать какие-то денежные переводы. Они важно расселись за столом и стали ожидать Иннокентия Игнатьевича. И как только тот показался в конторе, вскочили, подошли к его окошечку и весело с ним заговорили, как со своим хорошим знакомым. И пока он отсчитывал им деньги, они все время говорили о том, что должны еще получить по крупному переводу и как бы так сделать, чтобы не было задержки с выплатой тех денег. А Иннокентий Игнатьевич их все время успокаивал и уверял, что все будет в порядке.

Когда эти господа ушли, я подал Иннокентию Игнатьевичу справку о своем здоровье. Он просмотрел ее, спросил, как чувствует себя доктор Овчинников, и, не дожидаясь ответа, сказал:

— Теперь все в порядке. Поезжайте в Кому и работайте пока в своем волостном правлении. Как только вопрос в Томске разрешится, мы вас вызовем. Недели через три, я думаю... Не раньше. Но на всякий случай будьте готовы.

Потом Иннокентий Игнатьевич посмотрел на мою длинную шубу, подпоясанную кушаком, усмехнулся и прибавил:

— И полушубочек надо сшить. Поаккуратнее. На государственной службе будете состоять. В почтовом ведомстве. Это вам не волостное правление, где все провоняло табаком и овчиной. В таком виде больше пристало в ямщиках ходить. Ну, бывайте здоровы...

И Иннокентий Игнатьевич стал заполнять какие-то почтовые бланки.

После поездки в Новоселову я как ни в чем не бывало продолжал работать в волости. Более того, по совету Ивана Фомича, я на пять дней созвал волостной суд, чтобы в случае моего поступления на почту не оставлять после себя груду нерассмотренных дел. И по моему вызову в волость съехались наши судьи и десятки мужиков из всех наших деревень разбираться со своими кляузными делами. И наша волость, как и раньше, на несколько дней наполнилась шумом и гамом, и дедушко Митрей ходил и ходил к тетке Матрене за пивом для судей и для нашего начальства.

Пока тянулось ожидание вызова в Новоселову, я надоедал Ивану Фомичу расспросами о своей будущей работе на почте: чему там будут обучать меня и где я буду работать потом, когда закончу свое обучение? Особенно интересовал меня вопрос о том, обязательна ли для почтовых работников казенная форма, в которой я видел в Новоселовой Иннокентия Игнатьевича, Ивана Аркадьевича и господина Угрюмова. А может быть, эта казенная форма совсем не обязательна и я смогу служить после своей подготовки в штатском платье?

За время своей двухлетней работы в волостном правлении я почти каждый день видел нашего комского урядника, причем всегда в казенном полицейском мундире. И фельдшер Стеклов, и учителя являлись к нам тоже

одетымн по форме, с какими-то зиачками н светлымн пуговнцами. А во время работы в канцелярии крестьянского начальника я наблюдал его н станового пристава, одетых тоже по форме. И хотя я привык уже видеть этих людей облаченнымн в казенные мундиры с погонами, петлнцами н яркими, светлыми пуговицами, однако смотрел на ннх все еще по-кульчекски, то есть помннл о том, что в народе чиновннков называют лягавыми.

Я понимал, конечно, что казенную форму на учителе и фельдшере мужики ие одобряют, но терпят, а погоны, петлицы, кокарды и светлые пуговицы пристава и крестьянского иачальника приводят их в ярость. Все это я хорошо поиимал и не мог при этом уйти от мысли, что мне в недалеком будущем придется облачиться в форменную почтовую одежду с петлицами, со светлымн пуговицами и большой кокардой на головном уборе н я оторвусь уже от своей крестьянской родовы, отдалюсь от иашей крестьянской жизнн н приобщусь по своему внешнему облику к этим начальникам, поставленным высшей властью над иародом. А потом, я был уверен, н в этом у нас в волостн ни у кого не было сомненнй, что иарод так илн иначе в скором времени начиет расправляться с начальством. Во время этой кутерьмы мужики не будут особеиио разбираться, кто служит в полиции, а кто иа почте, а будут бнть всех, кто носнт формеиные мундиры. Так что в случае чего мне, как писарям, учнтелям н фельдшерам во время первой мобилизации, придется прятаться где-ннбудь от кулачной расправы мужиков.

Все это я довольно иевразумнтельио нзложил Ивану Фомнчу. Он подумал иемиого и иачал иаставлять меня уму-разуму.

— Ты прав в том,— объяснил ои мне,— что ие хочешь отрываться от своих родных, не хочешь терять своей кровной связи с иародом. Будь тем, кто ты есть. Учись, думай, работай, подражай хорошим прнмерам, но во всех случаях жизии оставайся самим собой, человеком из народа. Иначе грош тебе будет цеиа.

Ты прав н в том, что иарод так или иначе непремеино будет сводить счеты со своим начальством. Это вопрос времеин. И тебе иадо поиять, что почтовые работники не отиосятся к тому начальству, которое называют в народе лягавымн. И вообще, они ие иачальннки. Подобно учителям н фельдшерам, они не притесняют и не обдирают народ. Наоборот, они должны помогать ему.

Один по части здоровья, другие по части грамотности, а почтовики по части установления почтовой и телеграфной связи для населения. Так что на этот счет ты особенно не волнуйся. Хоть тебя и заставят на почте надеть казенную форму, но от этого ты не сделаешься «лягавым» в том смысле, в каком народ представляет себе крестьянского начальника и станового пристава. И не думай о том, что мужики будут расправляться с тобой.

Почта и телеграф им нужны будут для того, чтобы установить в жизни новый порядок, без становых приставов и крестьянских начальников. Тебе надо кончить все свои сомнения насчет казенной формы. Не такой уж это важный вопрос, чтобы придавать ему большое значение. Для тебя сейчас есть вещи поважнее. Сейчас тебе надо думать о том, как жить и что делать, когда ты закончишь свою служебную подготовку на почте и сделаешься самостоятельным человеком, обеспеченным постоянной работой и твердым, хоть и небольшим, жалованьем.

И дальше Иван Фомич стал вразумлять меня насчет того, что мне надо будет делать, когда я пройду в Новоселовой практический курс почтово-телеграфного дела.

— Парень ты толковый, старательный и в течение трех месяцев освоишь это несложное дело и научишься работать на телеграфном аппарате. И тогда тебя назначат в одно из почтовых учреждений Томского почтово-телеграфного округа, куда входят все почтовые и телеграфные учреждения Томской и Енисейской губерний. Это значит — около двух десятков больших городских контор и несколько сот отделений. С твоими данными тебя назначат, наверно, в Ачинск, Барнаул или Новониколаевск, где, говорят, почтовые работники буквально задыхаются от работы. Знаешь, сколько теперь идет писем от солдат? Ведь несколько миллионов стоит под ружьем, и все пишут и пишут... А могут загнать куда-нибудь в глубинку, вроде нашей Новоселовой или Балахты. Это, конечно, хуже, но не беда. Оттуда можно перевестись под благовидным предлогом в какой-нибудь город. В почтовом ведомстве, я знаю, это возможно. Сейчас тебе важно выбраться отсюда. А там открытая дорога. Я советовался насчет тебя с сисимским учителем. Он говорит, что сейчас издаются хорошие пособия, по которым можно самостоятельно готовиться за гимназию, за реальное училище. Он сам выписывает «Гимназию на дому» и

готовится по ней. Через год, говорит, буду сдавать экзамен за шесть классов, а через два года за весь гимназический курс. А потом собирается учиться в университете. И все сам, один, без посторонней помощи. Шуточка сказать! Хорошо было бы тебе съездить к нему в Сисим да расспросить его обо всем. Вот о чем иадо тебе думать, а не об этом дурацком казенном мундире со светлыми пуговицами, в который тебе не хочется влезать. Это хорошо, конечно, что тебе не хочется выглядеть чинушей. Но можно хорошо работать и в почтовой форме. Работай и учись, читай и учись, может быть, и в самом деле выйдешь в люди. А мы... а мы будем корпеть в сельских писарях и ждать лучших времен. Но это уж другой разговор!

Вызов в Новоселову, как ни ждал я его с каждой почтой, застал меня врасплох. Он был запечатан в большой конверт и оказался маленькой бумажкой от Иннокентия Игнатьевича о том, что вопрос о моем поступлении учеником в почтово-телеграфную контору наконец разрешен и теперь мне следует как можно скорее приезжать к месту своей новой работы.

Получив такое письмо, я прежде всего показал его Ивану Осиповичу. Из всех моих писарских учителей он один оставался в волости и знал, что я жду вызова в Новоселову. Ои прочитал письмо Иннокеития Игнатьевича, и лицо его просияло.

— Сейчас объявим или как? — спросил он меня. Потом подумал немного и решил: — Лучше завтра всем скажем, а сегодня сообщим об этом только Фомичу.

И мы стали сортировать привезенную Липатом почту.

Тем временем в волость стали приходить наши завсегдатаи. Раньше они являлись к нам часа за два, даже за три до приезда Липата из Новоселовой. И в нашей канцелярии получалось что-то вроде праздника. Мужики в прихожей при виде фельдшера, урядника, нескольких учителей, местного богача Паршукова и прочей комской «алистократии» переставали шуметь и матюгаться, а если и матюгались, то очень осторожно, чтобы не привлекать к себе внимания. Ну и писаря тоже чувствовали себя все время на народе и держались как в гостях. Все было обходительно и уважительно, как на большом празднике. А с отъездом Ивана Иннокентиевича все стали приходить к нам как-то неохотно, недружелюбно поглядывали на закрытую дверь Ананьева и молча ждали, когда

мы рассортируем нашу почту. Так и сегодня. Первым, как всегда, пришел наш комский фельдшер Стеклов с Таисией Герасимовной. Потом заявился агент компании «Зингер» Кириллов, а потом стали подходить наши остальные завсегдатаи. Позже других явился Иван Фомич. Он, по старой привычке, стал помогать нам рассортировывать полученную почту. Увидев наши веселые заговорщицкие лица, он сразу догадался, что я получил вызов в Новоселову, и тоже расплылся в улыбке. Потом вызвал меня в судейскую, взял у меня бумажку от Иннокентия Игнатьевича, прочитал ее и вдруг почему-то расстронлся. Я, глядя на него, совсем растерялся и не знал, что делать, как вести себя. Но Иван Фомич поплакал самую малость, а потом рассмеялся, схватил меня в охапку, крутанул несколько раз и сказал:

— Это я от радости за тебя немного расчувствовался. Теперь тебе открытая дорога. Только знай работай. Ну а мы будем уж здесь коптеть. Наше дело конченое.

На другой день я с утра явился к Ананьеву и заявил ему, что получил вызов из Новоселовой и уезжаю туда насовсем учеником в почтово-телеграфную контору. Ананьев не выразил ни радости, что я устраиваюсь учеником на почту, ни сожаления, что я покидаю волость и заменить меня некем. Он равнодушно выслушал меня, попросил передать все судебные дела Ивану Осиповичу, отсчитал мне семь рублей пятьдесят копеек заработанного мною жалованья, а потом стал своим кривобоким почерком сочинять какую-то строгую государственную бумагу.

А мне почему-то было жаль покидать нашу душную, грязную, пыльную, пропитанную табачищем волость. Я пришел сюда робким, тихим, послушным подписаренком, проработал здесь два с лишним года, познакомился со всей подноготной писарской работы. Я перевидел и близко узнал здесь самых разнообразных людей. Иван Фомич, Павел Михайлович и Иван Осипович ничему плохому меня не учили. И сами они казались мне людьми очень хорошими. Во всяком случае, за два года, проведенных мною в волости, я не имел ни одного случая убедиться в том, что они взяли с мужика взятку, присвоили волостные или частные деньги или «нагрели» кого-нибудь.

Уходя из волости, я вспомнил добрым словом даже Ивана Иннокентиевича. Он не являлся для меня образ-

цом трудолюбия. Он был, безусловно, ленив. Но это, видимо, нисколько его не волновало. Он знал, что пользуется в волости именно такой репутацией, и не считал нужным играть несвойственную ему роль трудолюбивого человека. Он чувствовал все смешное и обладал неистощимым запасом веселых историй. При всем этом он знал свое дело. Он как-то незаметно следил за работой волостного правления и направлял ее.

С волостным старшиной, волостным заседателем и волостными судьями мне расставаться было не жалко: помощники волостного писаря смотрели на них, как на людей, которыми надо все время командовать, куда-то их посылать, что-то им поручать, что-то от них требовать и как можно чаще напоминать им, что они ничего в волостных делах не смыслят.

Мне жаль было расставаться даже с нашими волостными арестантами. В большинстве своем они были люди неплохие и попадали в волостную тюрьму из-за какого-нибудь пьяного недоразумения. Даже волостная «тюрьма», то есть две камеры в сторожке дедушки Митрея, не выглядела для меня страшной. Конечно, ехать в иее на отсидку из какой-нибудь деревни под конвоем десятского было стыдно. Но стыдно было, пожалуй, только в своей деревне. А в самой волостной тюрьме сидеть было даже приятно. Если бы не допросы урядником мелких воров и арестованных цыган, то все мои воспоминаиия о волостной тюрьме остались бы в памяти как ряд смешных происшествий.

Конечно, многое еще зависело от моего возраста. Я был еще мальчик, благополучный деревенский мальчик. Я был здоров, трудолюбив и не сознавал свою жизнь без работы. И будущее предстояло передо мной как огромиое поле, на котором придется вечно трудиться. Поэтому я не очень-то печалился, едучи с Липатом в Новоселову, так как знал, что там, как и в Коме, мне надо будет прежде всего усердно работать.

ОБ АВТОРЕ

Игнатий Гаврилович Ростовцев родился 13 декабря 1899 года в деревне Кульчек Новоселовского района Красноярского края в семье крестьянина-хлебопашца, коренного сибиряка. Окончил сельскую начальную школу, затем церковноприходское двухклассное училище. С четырнадцати лет начал самостоятельную жизнь сначала подписарником в волостном правлении, затем почтово-телеграфным служащим в Новоселове, Ачинске, Томске и Красноярске.

В 1926 году окончил Иркутский государственный университет по словесному отделению педагогического факультета. Затем аспирантуру при Государственной академии искусствознания (ГАИС).

С 1937 года И. Ростовцев находился на редакторской работе в Одесской студии художественных фильмов.

В годы Великой Отечественной войны со справкой «Годен к нестроевой службе с использованием в тылу» прошел с боями от Белгорода до Праги, участвовал в войне с Японией. Войну окончил командиром отделения в звании гвардии сержанта. Награжден орденом Красной Звезды и медалями.

С 1946 года — редактор сценарного отдела киностудии «Мосфильм». Принимал участие в создании ряда выдающихся произведений советского киноискусства. Печатался в периодической кинопрессе. В 1962 году вышла в свет книга И. Ростовцева «Броненосец «Потемкин» — о знаменитом фильме С. М. Эйзенштейна.

Ныне И. Ростовцев проживает в Москве.

СОДЕРЖАНИЕ

Игнатий Гаврилович Ростовцев

НА КРАЮ СВЕТА
Записки очевидца

Редактор *М. Вострышев*
Художник *В. Григорьев*
Художественный редактор *А. Дианов*
Технический редактор *Г. Бойцова*
Корректоры *В. Дробышева, Г. Голубкова*

ИБ № 3624
Сдано в набор 20.09.84. Подписано к печати 14.02.85. А13007. Формат 84×108¹/₃₂. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 36,12. Усл. краск.-отт. 36,12. Уч. изд. л. 39,69. Тираж 75 000 экз. Заказ 1388. Цена 2 р. 80 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 62

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25